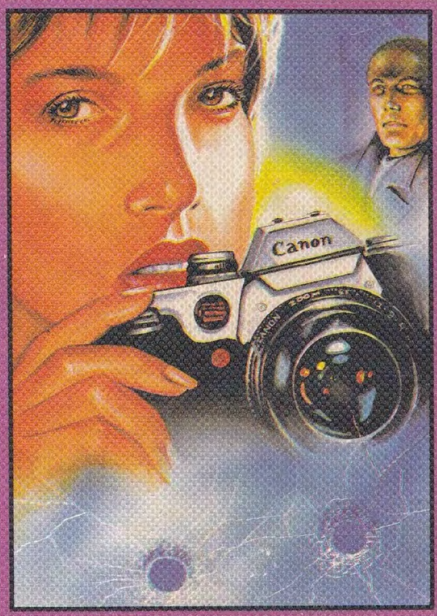
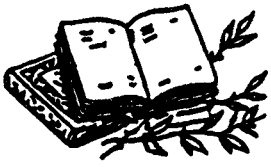


Кир Булычев

КЭРРИ

Scan Kreyder - 02.04.2019 - STERLITAMAK

БОЛЬШАЯ
БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ
И НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ



Кир Булычев

СОЧИНЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ

Том первый

ЗАПОВЕДНИК ДЛЯ АКАДЕМИКОВ

Фантастический роман

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
1999

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6
Б90

Оформление художников
А. АКИШИНА, И. ВОРОНИНА

Булычев Кир
Б90 Сочинения: В 3 т. Т. 1: Заповедник для академиков: Роман. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1999. — 544 с. — (Большая библиотека приключений и научной фантастики).

ISBN 5-300-02496-1 (т. 1)
ISBN 5-300-02495-3

Кир Булычев (настоящее имя Игорь Всеволодович Можейко) — автор интереснейших фантастических повестей и романов для детей и взрослых, научно-популярных книг, сценариев к кинофильмам. Пишет он и детективы, в которых присутствуют и захватывающий сюжет, и неожиданная развязка.

В первый том Сочинений включен детективный роман «Заповедник для академиков». По воле автора читатель попадает в 1932 год. Лидочка Иваницкая отправляется в санаторий ЦЭКУБУ «Узкое» на окраине Москвы. Она и не подозревает, что впереди ее ждут разочарования, опасности, альтернативные миры...

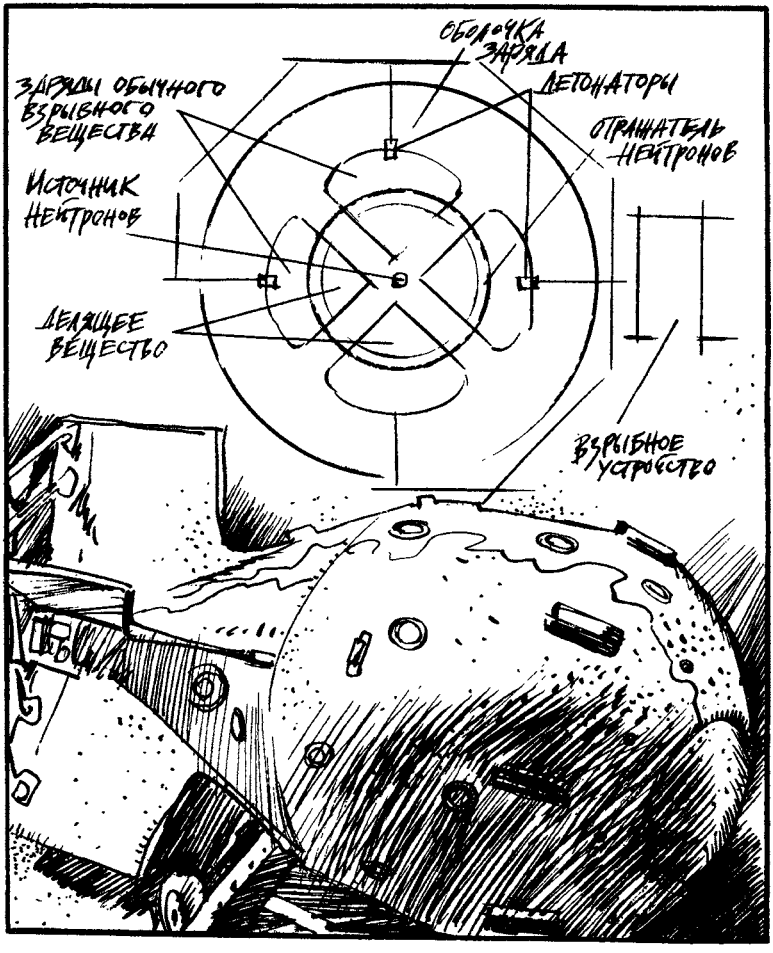
УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

ISBN 5-300-02496-1 (т. 1)
ISBN 5-300-02495-3

© Кир Булычев, 1994
© ТЕРРА—Книжный клуб, 1999

КАК ЭТО БЫЛО

Часть первая



ГЛАВА ПЕРВАЯ

22 октября 1932 года

День был такой дождливый и сумрачный, что Лидия не уловила момента, когда он, закончившись, стал мокрой октябрьской ночью, хотя на часах было всего около шести и люди возвращались со службы. На трамвайной остановке у Коровьего Вала народу было видимо-невидимо, все молчали, терпели дождь, а оттого почти не двигались — словно стая воронов на рисунке Бёклина. Лидочка пожалела, что не взяла зонтик, хотя отлично знала, почему не взяла — зонтик был старый, одна из спиц торчала вверх, к тому же он был заштопан. Она не могла ехать в санаторий ЦЭКУБУ с таким зонтиком. А у шляпки поля были маленькие, капельки дождя свисали с полей, росли и срывались, норовя попасть на голую шею — и, как ни кутайся, им это удавалось.

«Семерки» долго не было, а когда трамвай пришел, Лидии не удалось в него влезть, потому что она была с чемоданом и не протиснулась в дверь — чужие коленки, каблуки и локти оказались сильнее.

Трамвай ушел, сверкая теплыми желтыми окнами, люди внутри шевелились, оживали, а те немногие, кто остался за бортом, смотрели на уходящий трамвай с пустой ненавистью.

Следующий трамвай не шел так долго, что Лидочка совсем промокла и готова была вернуться в общежитие — обойдемся без ваших милостей, Академия наук! Но идти обратно было еще противнее, чем стоять. И Лидия решила, что, если она досчитает до тысячи и трамвая еще не будет, она уйдет. Когда она досчитала до тысячи шестисот, показались огни трамвая, и на этот раз Лидия влезла в вагон, как обезумевшая миллионерша, которая рвется добыть место в шлюпке тонущего «Титаника». Те, кто лез вместе с ней, ругались, конечно, но поддались ее напору. Лидия втиснулась в конец вагона, там меньше толкали, по-

ставила чемодан на пол между ног и хотела отыскать петлю, чтобы держаться, но петли близко не было — все расхватали. Лидочка расстроилась, но тут высокий мужчина с маленькой изящной головой в зеленой тирольской шляпе и усиками а-ля немецкий фашист Адольф Гитлер подвинул ей свою петлю, а сам ухватился за стойку.

— Вам так будет удобнее, — сказал он.

В душном тепле набитого трамвая вода начинала испаряться и люди — пахнуть. Возникли запахи нечистого белья, пота, пудры, табака и сивухи. Но от мужчины в тирольской шляпе пахло приятно и иностранно. Хороший мужской одеколон. И плащ на нем иностранный. Наверное, дипломат. Или чекист. Нет, чекист не стал бы носить такие усы.

Высокий мужчина смотрел на Лиду спокойно и уверенно — так, наверное, положено смотреть на женщин на Западе, охваченном мировым кризисом.

Старый вагон трамвая жестоко раскачивало на рельсах, дребезжали стекла в рамах, кондуктор выкрикивал остановки, люди, отогревшись, пустились в разговоры, наверное, в лодках после гибели «Титаника» люди тоже начали разговаривать.

Женщина в большом сером платке говорила своему спутнику, жидкой бородкой и бледностью напоминавшему расстригу, о том, что Пелагея не пишет, что у них там голод страшный, а расстрига перехватил боковым зрением взгляд Лидии и зашипел, что все это обывательские слухи, которым нельзя верить. И женщина в сером платке быстро согласилась с ним, что это обывательские слухи, и вспомнила о свояке, который уехал на Магнитку, где хорошо платят, а высокий иностранец с усиками а-ля Гитлер заговорщицки улыбнулся Лидочке — не надо было ни подмигивать, ни поднимать брови, чтобы достичь понимания.

Лидочка подумала, что этот иностранец, наверное, тоже едет в Узкое, что было маловероятно, так как по Большой Калужской и улицам, что текут рядом с ней — Донской, Шаболовке, Малой Калужской, — стоит столько жилых домов и учреждений, что простая математика отрицает возможность такого совпадения.

С Октябрьской площади трамвай повернул на Большую Калужскую и побежал, то разгоняясь, то подползая к остановкам, мимо Голицынской больницы и деревянных домишек с огородами, фонари горели по улице редко и тускло, прохожих не было видно. На остановках людей выходило больше, чем входило, и вагон постепенно пустел. Та деревня, что, голодная и пугливая, но невероятно

живучая, вторглась в Москву в последние годы, не могла и не смела селиться в центре, а осваивала полузастроенные просторные, отгороженные заборами домишки Сокольников, Марьиной рощи, Калужского шоссе и иных московских углов...

Возле иностранца освободилось место, он уверенно взял Лидочку за мокрый плащовый локоток и посадил. Он смотрел по-хозяйски, как она садится, словно она была его старенькой, нуждающейся в заботе мамой, а потом сказал текучим приятным голосом:

— Приедете домой, обязательно ноги в горячую воду. Разогрейте — и в воду. А то завтра гарантирую вам жестокую простуду.

Лидочка хотела было ответить ему, что вряд ли сможет достать таз с водой в санатории ЦЭКУБУ, но такой подробный ответ мог означать желание знакомства с ее стороны, а хорошо воспитанные девушки так не поступают.

— Я не шучу, — сказал иностранец, его рука лежала у нее на плече.

Надо было ее оттуда убрать, но как? Двумя пальцами? Это слишком брезгливо. Смахнуть движением плеча — неуважительно к старшему. Впрочем, старшинство в таких случаях не играет роли. Через несколько минут они расстанутся навсегда.

Тут, к счастью, освободилось еще одно место, и Лидочка сразу сказала:

— Садитесь, вон место.

Иностранец послушно сел напротив Лидочки, и плечу стало легко.

Но теперь они были вроде бы знакомы. И можно было продолжать беседу.

— Вы учитесь? — сказал иностранец. Ему приходилось тянуться к ней, чтобы она могла его расслышать. Опустевший трамвай безбожно дребезжал и гремел.

— Я работаю! — крикнула в ответ Лидочка.

Она посмотрела в запотевшее окно, протерла его ладошкой. За окном было темно и неизвестно.

Женщина в сером платке и расстрига сошли. Они остановились под фонарем на остановке и смотрели на Лидочку, словно прощались. А может, ждали, когда трамвай уйдет, не хотели показывать, в какую сторону направятся. Трамвай поехал дальше.

Иностранец что-то говорил, но Лидочка не слышала.

Трамвай дернулся, разворачиваясь, покатился по кругу — за окном в лужах были видны перевернутые фонари.

Иностранец поднялся и сказал:

— Приехали! Если вы, конечно, не хотите прокатиться обратно до Октябрьской площади.

— Это Калужская застава?

— Вот именно, — сказал иностранец.

Он был быстр и ловок. Он соскочил на землю и протянул Лидочке руку, помогая сойти. Лидочка приняла любезность и, как ей показалось, еще более себя закабалила.

— До свидания, — сказала она решительно.

— Рад был с вами познакомиться, — сказал иностранец.

Лидочка оглянулась, стараясь понять, куда ей идти. Было сказано: на Калужской заставе в половине седьмого за отдыхающими будет автобус. Вы его увидите.

Ничего Лидочка не видела — площадь была обширна, и не понятно, где она заканчивалась, потому что совсем близко она была перерезана пропастью, откуда шел дьявольский дым и вылетали красные искры. Очевидно, что эту демонстрацию ада производил паровоз, который тащил по глубокой выемке состав с грузом. Дождь, блеск воды в лужах, еще не облетевшие толком деревья, палисадники перед крепкими домиками, убегающими в два ряда к Москве. И ни одного автобуса, ни одного мотора. Сразу стало так одиноко, что захотелось нырнуть в трамвай, который как раз в этот момент зазвенел, перекликаясь с паровозом, сыпанул искрами из-под дуги и полетел, легкий, по кругу, чтобы вернуться в город. Внутри была видна лишь согбенная фигура кондуктора, который сидел на своем месте и пересчитывал деньги из сумки. Надо было его спросить, куда идти, но теперь поздно.

Дождь сыпал еще сильнее, и, главное, он был куда более холодным, чем полчаса назад. И почему она не взяла зонтик!

— Я вижу, что вы в некоторой растерянности, — сказал иностранец, о котором Лидочка забыла. — Может, вас проводить?

— Куда? — удивилась Лидочка.

— Это вам лучше знать. — Иностранец показал очень ровные белые зубы, наверное, искусственные. — Но если вы ищете автобус из Санузии, то пошли вместе.

— Мне не в Санузию, — сказала Лидочка разочарованно. — Мне в санаторий ЦЭКУБУ «Узкое».

— Совершенно верно, — сказал иностранец. — Санузия — это прозвище нашей с вами обители, придуманное его веселыми обитателями. Это название вольной и славной республики ученых.

Он уверенно взял у нее из рук чемоданчик и пошел вперед, вроде бы не торопясь, но достаточно быстро, и Лидочке пришлось за ним спешить.

Они пошли прямиком через площадь. Подошвы Лидочкиных ботиков скользили по неровным, неухоженным, кое-где ушедшим в глубокие лужи булыжникам. Будь Лидочка одна, пошла бы вокруг площади по дорожке вдоль палисадников, но иностранец не думал об удобствах дамы, а дама не стала жаловаться. На иностранце, кстати, были рыжие шнурованные сапоги под самое колено на ребристой каучуковой подошве и клетчатые брюки гольф, такие мягкие на вид, что хотелось пощупать пальцами.

В центре площади на широком мосту через ущелье железной дороги фонарей вообще не было, и Лидочка старалась ощупывать носком ботика дорогу впереди, чтобы не грохнуться. Иностранец вышагивал не оборачиваясь, и Лидочка поняла, что и он боится поскользнуться.

Впереди тянулись цепочкой тусклые фонари. Под одним из них стояла кучка людей. Люди эти сначала были маленькими, недостижимыми, а потом выросли до нормального размера. Почти все они стояли под зонтами и не страдали от дождя.

Из-за зонтов их лиц не было видно, зато свет фонаря отражался от зонтов, и все это напоминало провинциальный театр, ночную сцену на площади Вероны или Модены...

— Товарищи, — сказал громко иностранец, не доходя нескольких шагов до людей с зонтиками, — не вы ли несчастные, ожидающие попутного транспорта в государство Санузия?

Зонтики зашевелились, закачались, словно их владельцы только сейчас заметили иностранца и Лидочку, а может быть, только теперь приняли их за людей, достойных приветствия.

— Матя! — завопил вдруг один из зонтов утробным басом. — Матя Шавло! Ты приехал?

Зонтик побежал навстречу иностранцу, затем качнулся, показал, что под ним скрывался толстый человек в широкополой шляпе, как у Горького в Сорренто. Человек раскачивал зонтом и тянул руку к иностранцу.

— Рад видеть тебя, Максимушка, — пропел иностранец, — жалею, что не могу раскрыть навстречу тебе объятия, потому что страшно промок.

— Небось по Риму только в авто «альфа-ромео», — сказал толстяк и хрипло засмеялся, обращаясь к оставшимся сзади слушателям, словно хотел, чтобы все разделили его радость.

Лидочка стояла близко от толстяка, ей хотелось нырнуть под зонт, который все равно болтался без дела.

— На время или насовсем? — спросил Максим.

— Такие вопросы решаются там. — Иностранец по имени Матя ткнул пальцем в черное небо.

— Понимаю, — сказал Максим, — мне не надо уточнять.

Лидочка услышала обращенный к ней женский голос:

— Барышня, идите ко мне, у меня зонтик большой.

Большой черный зонт качнулся назад, показывая Лидочке, куда спрятаться.

Не говоря ни слова, Лидочка нагнула голову и нырнула под зонт, словно вбежала в сухой амбар, и только потом, наслаждаясь счастливой переменой в судьбе, сказала:

— Спасибо.

Женщина, которая спасла Лидочку, была молода, обладала надтреснутым и интеллигентным голосом, какие раньше культивировались в шикарных детских, а теперь порой возникают даже в коммунальных квартирах. На спасительнице была шляпа с короткой вуалеткой. В темноте были видны только белки глаз и зубы — женщина улыбнулась и дотронулась рукой в перчатке до Лидочкиного плеча, привлекая его поближе.

— Я вас промочу, — сказала Лидочка.

— Не думайте об этом, — сказала женщина, — у меня непромокаемый макинтош. Когда-то мой муж Крафт привез его из Лондона.

Сказано это было не для того, чтобы похвастаться визитом мужа в Лондон — да и кто будет в тридцать втором году хвастаться такой опасной привилегией? — это было деловое объяснение достоинств макинтоша.

Из-под зонта было плохо видно вокруг, но зато слышно, как иностранец Матя и его друг Максим включили в свой бодрый разговор других людей, которые были в большинстве между собой знакомы.

Загромыхал поезд, пробираясь ущельем, будто там был иной мир, горячий, таинственный и очень шумный.

— Меня зовут Мартой, — сказала женщина, — Марта Ильинична Крафт.

— Очень приятно. Лида. Лида Иваницкая.

— У вас ноги не промокли?

— Нет, у меня ботики совсем новые.

— Сейчас делают такие плохие ботики, что иногда лучше ходить вообще без них, босиком...

Вдали возникли два белых огня, как глаза чудовища, которое надвигалось на них.

— Автобус идет! — крикнул кто-то.

— Чепуха, — отозвался другой голос, — это же от Москвы едут.

Огни тем не менее приблизились, и, расплескав близкую лужу, возле группы людей остановился длинный черный автомобиль. Шофер раскрыл дверцу, оттуда стали вылезать невнятные фигуры. Они сразу раскрывали зонтики — кто-то кого-то окликнул, Марта Ильинична сказала:

— Это из университета. Как же я не догадалась, что ректор выделит авто для Александрийского!

Лидочке положено было разделить чувства Марты Ильиничны, но она не знала, хорошо или плохо то, что ректор выделил авто для Александрийского. Ей стало холодно — раньше было какое-то движение, а теперь — пустое ожидание. К тому же Лидочка опаздывала со службы и поесть не успела.

Последним из авто вылезло нечто худое и согбенное — из-под шляпы торчал длинный нос, нависший над тонкогубым лягушечьим ртом, изогнутым в ухмылке. Толстый Максим наклонил свой зонтик к этому человеку, чтобы прикрыть от дождя, но согбенная фигура принялась вяло отмахиваться, а потом открыла свой зонт.

— Но это же безобразие! — сказал Максим. — Почему нельзя довезти вас на моторе до Санузии? Вы мне ответьте, почему?

— Не доедешь, — сказал шофер, обходя авто спереди, чтобы забраться на свое место, — туда от Калужского шоссе никакой дороги нет.

— Это неправда! — сказал вдруг иностранец. — Зачем лгать? Я летом приезжал на моторе, мы отлично доехали.

— Тогда дождей не было, — сказал шофер и хлопнул дверцей.

— При чем тут дожди?! — Все ополчились на шофера, и это было нелепо, только Марта Ильинична сказала Лиде с усмешкой:

— Как у нас любят разоблачить стрелочника!

— При чем тут дожди?! — повторил грозно Максим, направив острие зонта на шофера. — Трубецкие ездили, не жаловались.

— А при царе дороги чинили, — сказал шофер, повернул ключ, и мотор послушно заревел.

Сделав широкий круг по площади, автомобиль умчался, разбрызгивая лужи. Его задние красные огоньки долго были видны, потом смешались с огоньками трамвая, который как раз разворачивался за оврагом.

— Не исключено, что он прав, — сказала согбенная фигура, у которой оказался красивый низкий голос. — Трубецкие платили, за дорогами было кому следить.

— Не вообще, Пал Андреевич, — сказал Максим, — а только за теми, что принадлежали лично им, и ремонтировали не они сами, а крепостные или зависимые бесправные люди.

— Максим, — загудел иностранец, — ну что ты несешь! Мы же не в кружке по ликвидации нашей политической неграмотности.

— Есть элементарные вещи, которые приходится напоминать, — сказал Максим.

Александрийский опирался на трость, но не потому, что почитал это красивым, а тяжело, словно поддерживал себя.

— А что с ним? — спросила Лидочка.

Марта Ильинична сразу поняла:

— У него больное сердце. Врачи говорят, что аневризма. Каждый шаг достается ему с трудом... и он еще читает лекции. Это самоубийство, правда?

— Не знаю, — сказала Лидочка. Раздражение к согбенной фигуре уже пропало. Может, потому, что Лидочке понравился голос.

Разговоры затихли — все уже замерзли и утомились от дождя и ветра. К счастью, вскоре приехал и автобус из Узкого. Он являл собой довольно жалкое зрелище — даже неопытному взору было очевидно, что он переделан из грузовика, над кузовом которого сделали ящик с затянутыми целлулоидом окошками, а внутри поперек кузова были положены широкие доски. Александрийского посадили в кабину, в которой приехала медицинская сестра из санатория. Она хотела устроить перекличку под дождем, но все взбунтовались. Александрийский спорил и намеревался лезть в кузов. Тогда иностранец, который оказался также знаком с Александрийским, сказал ему, перекатывая голосом слова, как бильярдные шары:

— А ты, голубчик Паша, намерен доставить себя в лице хладного трупа? Разве это по-товарищески?

Лидочка с Мартой влезли в автобус последними, они уселись на задней доске, глядя наружу, — сзади автобус был открыт. Лидочка шепотом спросила у Марты, кто такой Максим. Марта сказала:

— Современное ничтожество при большевиках. Администратор варьете.

Она фыркнула совсем по-кошачьи.

Автобус дернулся и поскакал по неровному, узкому, сжатому палисадниками и огородами Калужскому шоссе. Лидочке приходилось держаться за деревянную скамейку, а то и цепляться за Марту, чтобы не выбросило наружу. Но все равно было весело, потому что это было беззаботное путешествие, в конце которого должен стоять сказочный замок.

Медицинская сестра начала перекличку. Перекличка проходила в полной темноте, и, когда на фамилию отзывался голос, Лидочка пыталась представить себе, каков же обладатель голоса. Максима, который оказался Максимом Исаевичем Крейном, она уже знала, а иностранец откликнулся на Матвея Ипполитовича Шавло. Он поправил медсестру, которая назвала его было Илларионовичем. Но в том не было ничего удивительного, потому что она вела перекличку, подсвечивая себе ручным электрическим фонариком. Автобус подпрыгивал, луч фонарика метался по кузову...

Лидочке казалось, что путешествие тянется бесконечно, и странно было, как терпеливы ее спутники, все без исключения старше ее. Вокруг происходили оживленные беседы, двое молодых мужчин справа от Лидочки даже заспорили о каких-то неведомых ей мушках-дрозофилах, которые дали чрезвычайно интересные мутации, а за спиной Лидочки высокий мужской тенор уныло доказывал, что если бы они ехали зимой, то за ними прислали бы сани, а на санях под меховой полостью ехать в Узкое одно удовольствие, но вот не повезло — не получилось с путевкой ни летом, ни зимой, а сейчас самое плохое время, на что капризный женский голос ответил, что летом путевку бы и не дали — летом там тещи и внучки знаешь кого!

— Вы в первый раз к нам едете? — спросила Марта Ильинична.

— В первый раз.

— Вам очень понравится, вам обязательно должно понравиться. В наши дни, когда всюду потеряны критерии порядочности и класса, Узкое — единственное место, которое поддерживает марку.

— Мне говорили, — согласилась Лидочка.

— К нам сюда приезжают именитые гости, — сказала Марта Ильинична. — Рабиндранат Тагор был. А в прошлом году приезжал Бернард Шоу. Его Литвинов привез в Узкое. А куда еще? Не в Петровское же к партийцам! По крайней мере, в Узком всегда есть люди, которые могут вразумительно ответить на вопрос, заданный по-английски.

Высокий голос позади произнес:

— Конечно, его летом привозили. Сейчас бы он завяз по дороге.

— Неужели вы думаете, что Бернард Шоу специально подгадывал свой приезд под состояние наших дорог? — фыркнула Марта Ильинична.

— А я смотрела «Пигмалион»,— сказал капризный женский голос, — Бабанова была бесподобна.

От тряски Лида устала и как бы оглохла, но и задремать невозможно, хоть и клонит ко сну, — только прикроешь глаза, как тебя подбрасывает к фанерному потолку.

— Придет время, и клянусь вам, оно будет близко, — я читал, — донесся громкий, вроде бы торжествующий, но не скрывающий издевки голос Мати-иностранца, — когда сверкающая гладкая лента шоссе проляжет между Москвой и Калугой, где в тиши, знаю об этом профессионально, обитает пророк.

— В Калуге пророки не живут, — отозвался другой голос. — Кому он там будет проповедовать?

— В Калуге, в тиши своего кабинета, обитает пророк будущей эры межпланетных путешествий Константин Циолковский!

Голос Мати был сыт, молод и полон желания рассмеяться.

— Такие опасны, — вдруг сказала шепотом Марта. — От их энтузиазма уходят по этапу целыми институтами.

Лидочка кивнула.

Казалось, что грузовик ехал уже много часов, — Лидочка выпростала из-под длинного рукава кисть, чтобы поглядеть на часы. Часы, подаренные в восемнадцатом году паном Теодором, были швейцарскими, фирмы «Ролекс», цифры на циферблате явственно светились ясно-зеленым фосфорным цветом. Лидочка тогда не хотела их брать — такие большие, мужские, грубые, но Теодор сказал: «Пловцам во времени полезно иметь надежные часы». Было без шести минут восемь.

— Еще долго ехать? — спросила Лидочка.

— Разве разберешь?

Но соседка сзади услышала вопрос и громко произнесла:

— Кто знает, сколько осталось ехать?

Поднялся бестолковый спор, мужчины подвинулись к задней части фургона, стали выглядывать, чтобы понять, где же едет грузовичок. Оттого, что Крафт спорила с Максимом Исаевичем и обладательницей капризного женского голоса, проехали ли уже деревню Беляево или не доехали еще до села Теплый Стан, ничего не менялось. Вокруг была темень, а если и попадалась деревня, то как угадать ее имя по тусклым огонькам?

Матвей Ипполитович принялся властно стучать в стену кабинки, шофер притормозил, скатившись к обочине, потому что решил, что кому-то надо покинуть машину по нужде. Когда же узнал, в чем дело, то вместо ответа выругался так, что было слышно в кузове, и рывком двинул машину дальше. Лида сидела мышонком, она испугалась, что сейчас начнется выяснение, кто же начал этот опасный разговор. Когда выяснится, что виновата Лида, ее высадят в диком подмосковном лесу, не доезжая до села Теплый Стан. Тут Лиде стало себя безмерно жалко, а Максим Исаевич, который сидел у заднего борта, оттеснив Марту и Лидочку, замахал руками и закричал, что видит огни. По общему согласию было решено, что огни принадлежат Беляеву.

— Теперь держитесь! — прокричал Матя голосом массовика-затейника. — Последние две версты изготовлены специально, чтобы мы с вами нагуляли аппетит.

— Никто не хочет работать, — сердито сказала Марта Ильинична. — Можно платить миллионы, а дорожники будут играть в карты или подводить итоги соревнования.

— Соревнование — становой хребет нашей пятилетки, — сказал Максим Исаевич громче, чем надо, никто ему не стал отвечать, а грузовик продолжал путешествие к подмосковному имению князей Трубецких, вовсе не добровольно передавших его большевикам вместе с картинами, конюшнями и семейным привидением учительницы музыки, утопившейся лет пятьдесят назад от несчастной любви к дяде последнего владельца, убитого, в свою очередь, где-то под Ростовом ревнивцем, жену которого князь, несмотря на свой почтенный возраст, неосторожно соблазнил.

Грузовик снизил скорость, начал сворачивать с шоссе, и его опасно зашатало по ямам. Кто-то в темноте коротко взвизгнул. Мотор отчаянно заревел. Лида увидела белую оштукатуренную кирпичную арку, которая выплыла из-за спины и, пошатываясь и уменьшаясь, растворилась в темноте.

Лидочка подумала, насколько удивительна скорость деградации предметов и даже целых местностей, попавших под власть большевизма. Например, дорогу к имению Трубецких, наверное, держали в порядке. Если у нас на дворе тридцать второй год, значит, прошло пятнадцать лет с последнего ремонта дороги — всего-то две версты от Калужского шоссе, — но дороги как не бывало. Грузовик ухал, съезжая в очередную яму, скользил к кювету, опасно накренившись, замирал над ним, собирался с силами, выползал вновь на середину дороги и несколько метров проносился, словно железный мяч по каменной тер-

ке, затем подпрыгивал на неожиданном пригорке и снова ухал в реку, прорезавшую многострадальную дорогу.

Люди в грузовике совершали невероятные движения руками и всем телом, чтобы не вылететь наружу или не свалиться под ноги своим спутникам, они цеплялись друг за дружку, за деревянные скамейки, за задний борт и занозистые стойки, они даже потеряли способность проклинать Академию наук, которая никак не соберет денег для ремонта своей дороги, Трубецких, которые могли бы отремонтировать дорогу лет на сто вперед, и, конечно же, шофера, который мог бы ехать осторожней, но, видно, торопится к своей бабе, что ждет его за столом у бутылки рыковки.

Когда Лидочке уже казалось, что еще минута такой пытки и она добровольно выскочит из грузовичка и отправится дальше пешком, вдруг грузовик стал заметно сбавлять ход, притом пронзительно и жалобно гудеть — Лида впервые услышала его голос.

Никто в кузове не проронил ни слова, но все напряженно слушали, стараясь сквозь шум мотора и плеск воды услышать нечто новое — и тревожное. Наконец, не выдержав, кто-то нервно спросил:

— Что? Приехали?

— Да что вы говорите! — возмутился Максим Исаевич. — Мы еще и версты не проехали — неужели непонятно?

— Я боюсь, — сказала Марта Ильинична, которая также была старожилом, — что разлился нижний пруд.

— Как так разлился? — обиделся за пруд Максим Исаевич. — Что вы хотите этим сказать?

—А то и хочу, — сказала Марта Ильинична, — что вышел из берегов.

— А зачем шофер гудит? — спросил Матвей Ипполитович. — Чтобы пруд вошел обратно в берега?

Никто не засмеялся, потому что, перебрасываясь фразами и слушая эту пикировку, все продолжали ловить звуки снаружи.

Грузовик дернулся и замер. Сразу стало в сто раз тише — остался только шум дождя, а его можно было игнорировать.

Хлопнула дверца кабины. Захлюпала вода. Ясно, что шофер вышел наружу.

— Что там у вас? — спросил у кого-то шофер.

Ему ответили. Но невнятно.

Максим Исаевич высунулся из кузова головой вбок — кто-то невидимый его поддерживал, чтобы не вывалился.

— Там авто, — сказал Максим Исаевич, забравшись обратно. — А вы говорите — наводнение!

— Я ничего не сказала, — возразила Марта Ильинична.— Я только высказала предположение.

— Тише! — крикнул Матвей Ипполитович Шавло. — Дайте послушать.

— Ничего интересного, — сказал Максим Исаевич, как человек, вернувшийся с покорения Эвереста или Южного полюса и имеющий моральное право утверждать, что там лишь снег, только снег и ни одного дерева!

— Вам неинтересно, — огрызнулся Матя, — а если та машина застряла так, что вам ее не вытащить, нам придется здесь ночевать!

— Что? Что вы сказали?

И поднялось невероятное верещание — потому что все устали, все так надеялись, что через несколько минут окажутся в тепле дворца, и тут — новая опасность!

Шум не успел еще стихнуть, как послышались шаги по воде и над задним бортом появилась черным кругом голова шофера.

— Так что, граждане отдыхающие, — сказал он и сделал драматическую паузу. И все молчали, потому что неловко прерывать Немезиду. — Там мотор стоит, въехал по уши в канаву. И нам его не объехать... Понятно?

Никто не ответил — все знали: продолжение следует.

— Так что пока не сдвинем, не толкнем то есть, — дальше не поедем.

— А мы при чем? — громко и высоко крикнул Максим Исаевич.

— А вы толкать будете, — сказал шофер. — Если, конечно, уехать хотите.

— А если нет?

— А если нет — добро пожаловать с вещичками полторы версты по воде да в горку. Мое дело маленькое.

— Вы обязались нас доставить до места назначения, — сказала обладательница капризного голоса.

— Это кому я, гражданка, обязывался? — обиделся шофер. — Да я себе место в два счета найду — не то что здесь, в деревне, по лужам ишачить!

— Спокойно, спокойно! — раздался голос Мати Шавло. — Шофер прав. Никто не заставлял нас сюда ехать, и добровольцы на самом деле могут погулять под дождем. Я предпочитаю короткое бурное усилие, а затем — заслуженный отдых! Физическая работа на свежем воздухе — вот основа физкультуры трудящихся!

Говоря так, Шавло, перешагивая через доски-скамейки, добрался до заднего борта, перенес через него ногу, нащупывая упор, и все продолжал говорить:

— А что за авто, скажите, товарищ шофер? Кого понесла нелегкая на легковой машине в Узкое? Неужели никто не сказал этому легкомысленному мальчишке или покрытому сединами отцу семейства, что так себя вести нельзя?

— Сюда ногу ставьте, сюда, а теперь опирайся об меня, — слышала Лидочка голос шофера. — Вот так. А машина из ГПУ, точно тебе скажу. Я их по номерам знаю.

— Ну, это совсем лишнее — что же я, должен машину ГПУ, которая, может, приехала арестовывать очередную заблудшую овечку, подталкивать к ее неблагородной цели?

— Матя! — грозно воскликнул Максим Исаевич.

Лида между тем уже стояла у заднего борта.

— Матвей Ипполитович, — сказала она, — дайте руку.

— Прекрасная незнакомка? Я вас с собой не возьму. Вы простудитесь.

— У меня непромокаемые боты, — сказала Лидочка, опираясь пальцами на поднятую к ней ладонь. Она легко перемахнула через борт и полетела вниз, в бесконечную глубину, словно с парашютом, но Матвей поймал и умудрился притом прижать ее к себе, а уж потом осторожно поставить на землю.

— Молодец, девица, — сказал он. — Чувствую за вашей спиной рабфак и парашютную вышку в парке Сокольники. Будь готов?

— Добрый вечер, — сказал человек, подошедший из-за грузовика, — темный силуэт на фоне черных деревьев. — Мне хотелось бы внести ясность как пассажиру авто, которое так неловко перекрыло вам дорогу к санаторию.

Голос у него был чуть напряженный, как будто владелец его старательно и быстро подыскивал правильные слова и при этом решал проблему, как произнести то или иное слово, где поставить ударение. В ближайшие дни Лидочке предстояло убедиться в том, насколько она была права, — восхождение Яна Яновича Алмазова к власти было столь стремительным, что у него не оставалось времени подготовить себя к той роли, которую ему предстоит играть в жизни. Но как только жизнь немного успокоилась, появился досуг. Алмазов не стал тратить его на мещанство, на девиц или пьянки — он работал и учился. Но не алгебре или электрическому делу — он учился лишь тому, что могло помочь ему в общении с людьми, наследственно культур-

ными, знающими с рождения много красивых значительных слов. Он стал учить ударения в словах и фразах, он занимался географией и историей — настолько, чтобы не попасть впросак. Ян Янович панически боялся попасть впросак в разговоре с интеллигентом, и если такое все же происходило, то горе тому интеллигенту, который своим присутствием, вопросом или упрямством заставил ошибиться товарища Алмазова.

— Добрый вечер, — сказал Матя Шавло, все еще не отпуская Лидочкиной руки, но не помня о ней — встреча с чекистом требовала всего внимания.

Чекист протянул руку Мате и представился:

— Ян Алмазов, тружусь, как вам уже доложили, в ОГПУ. Считаю долгом развеять ваши опасения и сомнения — я никого не намерен арестовывать или обижать — я такой же отдыхающий, как вы, и хотел бы, чтобы вы забыли о моей специальности, хорошо, Матвей Ипполитович?

Матя Шавло вздрогнул, но почувствовала это только Лидочка, которой он касался плечом.

— Вы удивились, как я вас узнал, — засмеялся чекист. — Но вас же многие знают. Вы человек всемирно известный.

— Тогда пошли к вашей машине, — сказал решительно Шавло. — Что с ней случилось?

И он, скользя по глине, поспешил к перекрывшей дорогу машине Алмазова — длинному лимузину, возле которого стоял могучий детина в черной куртке и такой же кожаной черной фуражке — шофер Алмазова.

Лидочка обернулась, удивляясь тому, что никто не последовал их примеру и не спешит вытаскивать из грязи машину чекиста. Шавло, не оборачиваясь, угадал ее мысль, потому что сказал (сквозь дождь его слова донеслись невнятно, и, может быть, Лидочка додумала их):

— Мы с вами не ему идем помогать, а тем, кто остался в грузовике. В этом вся разница.

Лидочка согласилась — на самом деле ей хотелось как можно скорее добраться до теплого санатория и забыть об этой дикой дороге, схожей по трудностям с путешествием Скотта к Южному полюсу.

Тут Лидочка ухнула ногой в глубокую яму, полную черной ледяной воды, и страсть делать исторические сравнения тут же оставила ее.

Пока она, прыгая на одной ноге, пыталась вылить воду из ботика, мимо прошел Алмазов. Его плащ блестел, будто сделан-

ный из черного фарфора. Он гнал перед собой шофера грузовичка. Именно гнал, хотя никакого насилия над тем не производил. Уж больно покорно была склонена голова шофера, а руки были почему-то заведены за спину и сцепились пальцами, будто шоферу уже приходилось так ходить.

— Ну что же вы стоите, товарищи, — сказал чекист. — Навалимся?

Он сделал широкий округлый жест рукой в черной перчатке, призывая народ включиться в выполнение и перевыполнение.

Машина Алмазова попала передними колесами в глубокую промоину в дороге, и ее колеса по ступицы скрылись под водой. Лучше бы что-нибудь под них подложить, но Алмазов был сторонником прямых действий.

Подчиняясь его жестам и крикам, остальные навалились на зад машины. Спутники Лидочки казались ей черными пыхтящими тенями — по пыхтению она угадала, что справа от нее трудится Шавло, а слева — один из шоферов.

Машина чуть покачивалась, но не двигалась с места. Алмазов принялся помогать, напевно восклицая: «А ну, раз! Еще раз! Раз-два, взяли, и-що взяли!»

Они с минуту подчинялись крику и ритмично наваливались на забрызганный грязью зад лимузина, потом Шавло первым выпрямился и сказал:

— Так дело не пойдет.

— А как пойдет? — заинтересованно спросил Алмазов.

— Надо сучьев под передок наломать, — сказал шофер грузовика.

— Все равно народу мало, — сказал Шавло. — Не справимся. Поднимайте людей.

— Почему? — вдруг озлилась Лидочка, хотя понимала, что следовало подчиниться инстинкту самосохранения. — Если вместо того, чтобы командовать, вы тоже испачкаете ручки, машина, может, и сдвинется.

Чекист не рассердился.

— Порой важнее иметь человека, умеющего командовать, — ответил он, — чем стадо неорганизованных дикарей.

Дождь припустил с новой силой.

Алмазов постучал по дверце лимузина. Дверца тут же приоткрылась, и оттуда вылезла палка, которая замерла под углом вверх, будто некий охотник вознамерился стрелять из машины по пролетающим уткам. Затем раздался громкий щелчок, и палка превратилась в раскрывшийся зонт. Под прикрытием зонта

из машины выглянула ножка в блестящем ботике и светлом чулке, ножка замерла над лужей, затем из машины донесся отчаянный писк, и ножка соприкоснулась с водой, которая фонтаном взмыла вверх, обдав шелковые чулки и край юбки существа женского пола, которое таким образом вылезало из машины.

— Этого еще не хватало! — возмутилась Лидочка. — Мы толкаем, а ваши друзья... сидят. Если бы я знала!

Алмазов ничего не ответил, а маленькая женщина отважно кинулась вброд через лужи к чекисту и, вознеся зонтик над его головой, словно бы он был китайским богдыханом, пропищала нечто умиленное.

— Немедленно в машину! — приказал Алмазов, который, как показалось Лидочке, и сам на секунду растерялся от неожиданного явления. — Альбина, вы простудитесь!

Алмазов взял свою спутницу под руку и повлек к машине. Остальные стояли под дождем, всматриваясь в темноту, ибо, стоило человеку исчезнуть из конусов, образованных светом фар машины или грузовика, он становился невидимым.

Заталкивая попискивающую даму в лимузин и отказываясь принять из ее рук большой зонт, Алмазов крикнул своему шоферу:

— Жмурков, пойди к грузовику, вытащи оттуда всех мужчин. А то мы до утра прочикаемся.

Алмазов громко хлопнул дверцей лимузина, затем запустил руку в глубокий карман прорезиненного плаща и достал оттуда электрический фонарь в форме длинной трубки с лампочкой на конце. Он включил фонарь и пошел вокруг лимузина, будто только сейчас ему пришла в голову мысль убедиться в том, насколько серьезно положение его автомобиля.

Лидочке вдруг все надоело. Как будто то, что здесь происходило, было направлено именно против нее. Угадав ее движение, Матя Шавло схватил ее за руку и удержал.

— Потерпим, — сказал он, — и будем относиться с юмором к таким коллизиям.

— Юмора не хватает, — сказала Лидочка.

— Ваш друг прав, — сказал Алмазов, вынырнувший из-за лимузина. Он имел дьявольскую способность все слышать, даже если говорившие находились от него на обратной стороне Земли. — Терпение и еще раз терпение. Только так мы достигнем своих высоких целей. А цель у нас простая — освободить дорогу для грузовика. К сожалению, моему мотору дальше не проехать. — Тут же он сменил тон, как будто один человек ушел, а другой, хамский,

занял его место: — Жмурков, тебя что, за смертью посылать? Где наша ученая рабочая сила?

— Идем! — откликнулся Максим Исаевич, возглавлявший небольшое научное стадо, которое продвигалось будто бы по Дантову аду, то попадая в свет фар, то исчезая в прорезанной дождевыми струями темноте. Если возмущение и владело этой группой людей, то, вернее всего, оно было истрачено еще в машине, когда властью Алмазова их вытягивали под дождь, на холод, а сейчас все молчали, бунтовать было бессмысленно — все уже знали, чью машину надо стаскивать с дороги.

— Попрошу минуту внимания, — сказал Алмазов, поправляя фуражку, с козырька которой срывались тяжелые капли. — Женщины толкают автомобиль сзади, мужчины приподнимают передний бампер, чтобы не повредить мотор. Как только машина окажется на обочине, все свободны. Задача ясна?

Не дожидаясь ответа, он отошел к передку машины и принялся загонять в глубокую канаву несчастных своих рабов во главе с Максимом Исаевичем и очкастым молодым человеком, сидевшим в грузовике позади Лидочки.

План Алмазова удался на славу — в считанные минуты продрогшие, а потому горевшие страстью к труду ученые развернули черный лимузин, чтобы не мешал проехать грузовику, и, отпущенные Алмазовым на волю, кинулись под защиту фанерного потолка своего автобуса. Лидочка шла последней. В отличие от остальных она промокла насквозь и ей нечего было спасать. К тому же ей стало любопытно, не забудет ли Алмазов свою спутницу.

Нет, он ее не забыл. Сам открыл дверцу лимузина, велел ей выйти. Пока женщина раскрывала зонтик и попискивала, вытаскивая из машины свой баул, Алмазов давал указания шоферу, оставшемуся у машины, чтобы тот никуда не отлучался, — Алмазов по телефону вызовет ему помощь. Тем временем остальные пассажиры грузовика уже влезли в кузов, спрятались от дождя, задержалась лишь Лидочка, ведь она все равно промокла. Незамеченная, она увидела, как Алмазов повлек было свою даму к кузову, но она вдруг тихонько жалобно заверещала. Выслушав эти звуки, Алмазов пошел не к кузову, а к дверце кабины и решительно отворил ее. Оттуда на него воззрился согбенный профессор Александрийский.

— Освободите, пожалуйста, место, — вежливо, но решительно заявил чекист.

— Простите? — послышался скрипучий неприятный голос

Александрийского. — К сожалению, не имею чести быть с вами знаком...

Слова Александрийского были неразборчивы, в ответ Алмазов плевался краткими приказами, Лидочка хотела объяснить чекисту, что профессор болен, она ринулась к машине, но поскользнулась и со всего размаха уселась в лужу, а когда поднялась, то увидела, что мимо нее проходит, не глядя по сторонам, Алмазов, ловко и быстро подтягивается, переваливается через задний борт в кузов и весело, громко, перекрывая дождь кричит:

— А ну, трогай!

Голоса под фанерным кузовом подхватывают крик, машина послушно катится вперед, набирая скорость.

Лидочке надо было кинуться следом и закричать — они наверняка бы остановили машину — ведь забыли ее по недоразумению, от растерянности и страха — еще минута, и должна спохватиться Марта Ильинична... Но Лидочка не кинулась, не закричала, потому что в этот момент увидела человека, который стоял, являя собой вопросительный знак, он опирался обеими руками на трость, согнувшись и натужно кашляя.

Лидочка не сразу сообразила, что это — Александрийский... Стоит под дождем темная человеческая фигура и кашляет, но тут же она поняла: Алмазов попросту вытащил старика из кабины, чтобы освободить место для своей дамы.

— Это вы? — спросила почему-то Лидочка и потом уже побежала за грузовиком, крича: — Стойте! Стойте! Остановитесь немедленно!

Но задние красные огоньки грузовика уже растаяли в ночи, и гул его двигателя слился с шумом дождя.

Лидочка подбежала к Александрийскому — тот перестал кашлять и старался распрямиться.

— Вам плохо?

Тот ответил не сразу, сначала он все же принял почти вертикальное положение.

— А вы что здесь делаете? — спросил он.

— Меня забыли. Как и вас. — Лидочка улыбнулась, как ни странно, обрадованная тем, что она не одна на этой дороге и Александрийскому не так уж плохо, — вот и он улыбнулся.

Александрийский сделал шаг, охнул и сильнее оперся о палку.

— Беда в том, — сказал он медленно и отчетливо, — что, падая из машины, я подвернул ногу. Мне еще этого не хватало.

— Больно? — спросила Лидочка.

— Вот именно что больно, — сказал профессор.

— Я вам помогу дойти.

— Вы здесь впервые?

— Не бойтесь, — сказала Лидочка. Она старалась разговаривать с Александрийским, как с маленьким, — он был так стар и слаб, что мог упасть и умереть, его нельзя было сердить или расстраивать. — Мы обязательно найдем это Узкое — я думаю, что совсем немного осталось.

— Вы совершенно правы, — сказал Александрийский, — тут уже немного осталось. Но я боюсь, что мне не добраться.

— Это еще почему?

— А потому, что за плотиной начнется подъем к церкви, а я его и раньше одолеть без отдыха не мог. Так что придется вам, дорогая девица, оставить меня здесь на произвол судьбы и, добравшись до санатория, послать мне на помощь одного-двух мужиков покрепче, если таковые найдутся.

— А вы?

— А я подожду. Я привык ждать.

— Хорошо, — догадалась Лидочка. — Если вам трудно идти, то забирайтесь в машину и ждите меня там.

— Это разумная мысль, и в ней есть даже высшая справедливость, — согласился Александрийский.— Если меня выбросил на улицу хозяин этой машины, то она должна дать мне временный приют.

— А что он вам сказал? — спросила Лидочка, поддерживая Александрийского под локоть и помогая дойти до лимузина.

— Он сказал, что я должен уступить место даме. А когда я отказался, сославшись на мои болячки и недуги, он помог мне выйти из машины.

— Это хамство!

— Это принцип современной справедливости. Уважаемый Алексей Максимович сказал как-то: если враг не сдается, его уничтожают. Он, лукавец, очень чутко чувствует перемены в обстановке. Мне не хотелось бы попасть во враги человеку в прорезиненном плаще. Это Дзержинский?

— Что вы говорите? Дзержинский умер!

— Как, по доброй воле? Или его убили соратники?

— А я не сразу поняла, что вы шутите.

Дверцы в лимузин были закрыты. Шофера не видно.

— Эге! — сказала Лидочка. — Кто в домике живой?

— Никакого ответа, — добавил Александрийский, может быть, цитируя «Тома Сойера».

Лидочка потрогала ручку дверцы, ручка была холодной и мокрой. Она чуть-чуть подалась, и затем ее застопорило.

— Эй! — рассердилась Лидочка. — Я уверена, что вы нас видите и слышите. Так что не притворяйтесь. Вы видите, что на улице по недоразумению остался пожилой человек. Он может простудиться. Откройте дверь и впустите его, пока я сбегаю за помощью. Вы меня слышите?

Никакого ответа из машины не последовало.

— Послушайте, — сказала Лидочка. — Если вы сейчас не будете вести себя по-человечески, я возьму камень и стану молотить им по вашему стеклу, пока вы не сдадитесь. Вы не можете быть таким бессердечным, когда человек страдает.

Дверца машины распахнулась резко и неожиданно, словно ее толкнули ногой. Хоть глаза Лидочки давно уже привыкли к темноте, тьма в машине была куда более густой, чем снаружи, и она скорее угадала, чем увидела, что там, скорчившись, сидит закованный в кожу шофер Алмазова, выставив перед собой револьвер.

— А ну, давай отсюда! — заклокотал злой и скорее испуганный, чем решительный, голос из автомобильной утробы. — Долой, долой, долой!

— Да вы что! — закричала Лидочка и осеклась, потому что слабые, но цепкие пальцы Александрийского вцепились ей в рукав и тянули прочь от машины.

— Считаю до трех! — крикнул из машины шофер.

Чтобы не свалить Александрийского, Лидочка была вынуждена подчиниться ему и отступить. На секунду мелькнули растопыренные пальцы, которые потянули на себя дверцу машины. Дверца хлопнула, и стало тихо — как будто скорпион сам себя захлопнул в банке и ждет, кто сунет руку, кого можно смертельно ужалить.

— Он сошел с ума, — сказала Лидочка.

— Ничего подобного. Ему страшно, — сказал Александрийский. — Он остался совсем один, и ему кажется, что вокруг враги. А мы с вами хотим захватить государственную секретную машину и умчаться на ней во враждебную Латвию.

— Вы уже промокли?

— Не знаю, пожалуй, пока что только замерз.

— Давайте пойдем отсюда.

— Попытаемся. В любом случае оставаться здесь опасно. В любой момент шофер может открыть огонь по белополякам.

Вдруг Лидочке стало смешно, и она сказала:

— Даешь Варшаву!

Александрийский старался не сильно опираться о руку Лидочки, но совсем не опираться он не мог, и, хоть был очень легок и стеснялся своей немощи, получалось, что Лидочка тащит старика по скользкой дороге под черным дождем, что вела прямо вперед между стенами деревьев. Лидочка обернулась, лимузин Алмазова можно было угадать только по отблеску черного металла...

Шагов через триста Лидочка остановилась. Александрийский ничего не сказал, но Лидочка почувствовала, что он уже устал, — по давлению его горячих пальцев на ее руку, по тому, как он реже и тяжелее переставлял трость.

— Если вам не холодно, давайте передохнем, — сказала Лидочка.

— Давайте, — согласился Александрийский. — Скоро дорога начинает подниматься — это самое трудное.

— Выдюжите? — спросила Лидочка, стараясь, чтобы ее вопрос звучал легко, как обращение к малышу.

— Постараемся, — сказал Александрийский. — У меня, простите, грудная жаба.

— Ой, — сказала Лидочка, которая знала о такой болезни только понаслышке и с детства боялась этих слов. Что может быть страшнее для живого детского воображения, чем образ скользкой мерзкой жабы, сидящей в груди у человека и мешающей ему дышать.

— К сожалению, — продолжал Александрийский, — после прошлогоднего приступа у меня в сердце образовалась аневризма, это ничего вам не говорит, но означает, что я могу дать дуба в любой момент — стоит сердцу чуть перетрудиться.

— Негодяй, — сказала Лидочка, имея в виду чекиста.

Профессор понял ее и сказал:

— Пойдемте, моя заботница, а то вы совсем закоченеете. Как вас, простите, величать?

— Лида. Лида Иваницкая.

— Тогда, чтобы не скучать, вы мне расскажите, кто вы такая и почему вас понесло в это богоспасаемое Узкое в такое негуманное время года.

Лидочка чуть приподняла локоть, чтобы Александрийскому было сподручнее опираться, и рассказала старику, как ее уважаемый шеф Михаил Петрович Григорьев, с которым она трудится в Институте лугов и пастбищ, составив атлас луговых растений, наградил ее путевкой в Узкое за ударное и качественное завершение работ.

— Значит, вы ботаник? — спросил Александрийский. Он

говорил медленно, потому что на ходу ему трудно было дышать.

— Нет, я художник, но плохой, — призналась Лидочка. — Но у меня хорошо получаются акварели и рисунки тонких вещей — например, растений. И мне нравится такая работа.

— Это интересно. Я любил рассматривать старые атласы.

— Если в типографии не обманут, это будет хороший атлас. Красивый. Я вам подарю.

— Спасибо, — сказал профессор, — я постараюсь дожить. — Он засмеялся и оттого закашлялся. Пришлось остановиться и переждать, пока он отдышится. Лидочка решила больше не смешить старика. А то еще умрет. Ей было холодно. Просто било от холода, и надо было эту дрожь скрывать от Александрийского.

Впереди заблестела вода — по обе стороны дороги.

— Пруды, — сказал Александрийский. — Здесь система прудов, они устроены каскадом. Через весь парк. Только теперь они запущены... Простите, Лида, но я попросил бы вас остановиться — мне что-то нехорошо.

— Конечно, конечно. — Лидочка испугалась, потому что не знала, что делать с человеком, у которого грудная жаба, и ей стало страшно, что он может умереть, — он был такой субтильный, хрупкий...

Они остановились перед каменными столбами ворот; сами ворота из железных прутьев были распахнуты и покосились — видно, их давно никто не закрывал.

От ворот дорога круто шла вверх.

— Лучше всего, если вы, Лидия, оставите меня здесь, — с трудом произнес Александрийский. — Я обопрусь об этот столб. И буду терпеливо ждать помощи. Вам меня в эту гору не втащить.

— Нет, что вы! — возразила Лидочка, но она уже понимала, что старик прав. — Я вам дам мое пальто, — сказала она. — Вы его накинете на голову и плечи и будете дышать внутрь. Так значительно теплее.

— Не надо, вам оно нужнее.

— Я все равно побегу, — сказала Лидочка. — И не спорьте со мной.

Но ей не удалось исполнить свое намерение, потому что наверху, на вершине подъема, куда стремилась дорога, сверкнул огонек. Рядом с ним второй — они раскачивались, будто были прикреплены к концам качелей.

— Смотрите! — воскликнула Лидочка. — Это люди. Это нас ищут, да?

— Я хотел бы надеяться, — сказал Александрийский с неожиданной тяжелой злостью, — что кто-то спохватился. И даже послал за нами сторожа.

— Эй! — закричала Лидочка. — Идите сюда!

— Эй-эй! — отозвалось сверху, и дождь не смог поглотить этот крик. — Потерпите! Мы идем!

И еще через минуту или две донесся топот быстрых крепких ног — с горы бежали сразу человек десять. Никак не меньше десяти человек, хотя, конечно же, Лидочка в мелькании фонариков и «летучей мыши», которую притащил молодой человек с красивым лошадиным лицом, не могла сосчитать или даже увидеть толком всех, кто прибежал за ними из санатория.

Шавло, большой, теплый, принявшийся согревать в ладонях совсем закоченевшие пальцы Лидочки, сбивчиво объяснял, почему помощь не пришла сразу, а его перебивала Марта, которая держала зонтик над головой Александрийского. Оказывается, когда грузовик тронулся, Марта почему-то решила, что Лидочку поместили в кабину, потеснив Александрийского, — почему она так подумала, один Бог знает. А Шавло вообще был убежден, что Лида сидит в грузовике у заднего борта и потому ему не видна. А что касается Александрийского, то абсолютно все были убеждены, что он благополучно восседает в теплой кабине.

Каково же было всеобщее удивление, когда по приезде в Узкое обнаружилось, что в кабине находится подружка чекиста Алмазова, а ни Александрийского, ни Лидочки в грузовике нет. Алмазов вел себя нагло и утверждал, что попросил Александрийского перейти в кузов, потому что его подруга Альбина — актриса и вынуждена беречь голос. А когда Марта возмущенно заявила, что Александрийский тяжело болен, Алмазов лишь пожал плечами и ушел. Грузовик к тому времени успел умчаться в гараж, так что добровольцы во главе с Мартой отправились спасать Александрийского и Лидочку пешком.

Лидочка была так растрогана появлением шумной компании спасателей, что не смогла удержать слез; Шавло заметил, что она плачет, и стал гладить ее по мокрому плечу и неловко утешать; Марта отстранила его, тут же вмешался толстый Максим Исаевич, который сказал, что у него две дочки на выданье и он знает, как успокаивать девиц, а Александрийский ожил и стал рассказывать, как Лидочка спасала его. Никто не произнес имени Алмазова и не сказал ни слова упрека в его адрес. Правда, все смеялись, когда Александрийский, задыхаясь, поведал, как Лидочка пыталась спрятать его

внутрь лимузина, а шофер из ОГПУ готов был отстреливаться, чтобы не пустить их в машину.

Тем временем Шавло и молодой человек с лошадиным лицом, который представился Лиде как поэт Пастернак, сплели руки, как учили в скаутских отрядах, чтобы Александрийский мог сидеть, обняв руками своих носильщиков за шеи. Всем было весело, и Лидочка тоже смеялась, потому что все изображали караван, который идет к Эльдорадо. Дорога в гору была очень крутая, и Шавло с Пастернаком выбились из сил, но не хотели в том признаться. На полдороге их встретили молодые, похожие друг на друга братья Вавиловы — один физик, второй биолог, которого Лидочка знала. Ему очень нравились Лидочкины акварели, и он уговаривал ее уйти к нему, но Григорьев сказал, что только через его труп. Братья Вавиловы сменили Шавло и Пастернака.

Еще пять минут, и у высокой крепкой белой церкви подъем закончился. Справа, за открытой калиткой, голубым призраком, открывшим множество желтых глаз, лежала двухэтажная усадьба, с центральным портиком. Справа от них был подъезд, к которому вела дорожка, по сторонам горели электрические, на столбах, фонари.

Высокая дверь в дом была открыта. За ней толпились встречающие.

Казалось бы, событие не весьма важное — забыли по дороге двух отдыхающих. Но почти все обитатели Санузии в той или иной степени приняли участие в их спасении. И дело было не столько в Лидочке и профессоре, как в возможности безобидным поступком противопоставить себя чекисту и его дамочке. Шла мирная политическая демонстрация, и если Алмазов увидел ее и понял ее значение — вида он не подал.

Еще минуту назад была глубокая ночь, была пустыня и невероятное одиночество, словно Лидочка вела Александрийского через полуостров Таймыр.

И вдруг — словно поднялся занавес!

Тяжелая дверь отворилась им навстречу.

За дверью, из которой пахнуло теплом и вкусным запахом чуть подгоревших сдобных пышек, толпились люди, видно, волновавшиеся за их судьбу. Полная кудрявая рыжая женщина в белом халате взволнованной наседкой накинулась на Александрийского, и его тут же понесли, хоть он хотел стать на ноги и сам идти, направо, где за двустворчатыми дверями горел яркий свет и был виден край зеленого биллиардного стола, а Лидочка попала в руки другой медички — курносой, маленькой, с талией в

обхват двумя пальцами. Одной рукой она стащила с Лидочки промокшую и потерявшую форму черную шляпку, которую и без того пора было выкинуть, другой — словно опытный птицелов — накинула на нее махровую простыню, точно такую, как была дома, в Ялте, и забылась, как и многие другие удобные и приятные для жизни вещи. Потерявшую возможность видеть и слышать Лидочку тут же куда-то повели, она чувствовала, как поскрипывает паркет, затем началась лестница. От простыни пахло лавандой. Скрипнула дверь...

Простыня съехала, и Лидочка зажмурилась от яркого света. Она была в небольшом, узком врачебном кабинете — вдоль стены низкая койка с валиком вместо подушки и клеенкой в ногах. Возле нее табурет, а дальше, к окну, стол с толстым, исписанным до половины, в черном коленкоре журналом.

— А ну, немедленно ложитесь! — весьма агрессивно приказала девица Лидочке: девица была не уверена в себе и боялась неповиновения.

— Зачем мне ложиться? — спросила Лидочка, стараясь не сердить сестричку, которой при свете оказалось не более семнадцати. — Я совершенно промокла. Лучше скажите мне, в какой комнате я буду жить, и я переоденусь.

— Но Лариса Михайловна сказала, что вы должны вначале подвергнуться медицинскому осмотру.

— Разве обязательно для этого быть мокрой?

Сестричка тяжело вздохнула и сказала:

— Может, таблетку аспирина примете?

— Я этим займусь! — раздался голос от двери. Там стояла Марта Ильинична, которая тут же вызволила Лидочку из рук сестрички Маруси. Оказывается, она была не только сестрой милосердия, но и сестрой-хозяйкой, то есть заведовала простынями, наволочками и полотенцами. Из-за ее малых размеров и стремительности движений гостивший здесь не так давно писатель Алексей Толстой прозвал ее сестрой-козявкой, и это прозвище приклеилось к ней на века, и единственным человеком, не подозревавшим о нем, была сама Маруся.

— Он негодяй! Таким руки не подают в порядочном обществе, — сказала Марта Ильинична, как только они вышли в коридор. А так как первое свое путешествие вдоль него Лидочка совершала с простыней на голове, то коридор ей был внове.

В коридоре второго этажа размещались врачебный кабинет, комната для процедур, а также несколько жилых комнат, без удобств, наструганных из бывших классных помещений для

многочисленных княжеских детей. Здесь отдыхали обитатели Камчатки, то есть простые научные сотрудники, особых заслуг не имевшие и связями в высоких сферах не обладавшие.

С торцов коридор завершался лестницами. Одна из них вела в прихожую и к выходу на первом этаже, вторая, служебная, узенькая, — на кухню. В том же коридоре находились две туалетные — мужская и женская, — по утрам возле них выстраивались небольшие очереди, что напоминало всем о московской жизни в коммунальных квартирах, от которых никуда не денешься даже в покинутом князьями подмосковном дворце. Оказывается, достаточно пятнадцати лет, чтобы и княжеские покои под влиянием строящегося социализма стали покоями коммунального типа.

Марта Ильинична отворила дверь и подтолкнула Лидочку вперед, чтобы та рассмотрела их комнату.

Комната была так узка, что две кровати, умещавшиеся в ней, стояли не друг против друга, а вдоль одной из стен. Марта сказала:

— Как ты понимаешь, у меня перед тобой преимущество, как возрастное, так и по стажу. Моя кровать ближе к окну, а твоя — к двери. Надеюсь, не возражаешь?

Лидочка не ответила. Она была счастлива, что ее кровать стоит ближе к двери, — она не была уверена, что смогла бы пройти пять шагов, чтобы добраться до дальней кровати, — а два шага до ближней она одолела и рухнула на кровать, возмущенно взвизгнувшую всеми своими старыми пружинами.

— Ты сама снимешь ботики или тебе помочь? — спросила Марта.

— Сама, сейчас... — Лидочка понимала, что первым делом надо снять ботики, но наклониться... нет, это выше человеческих сил!

Тогда Марта быстро присела на корточки и стянула ботики, а потом мокрые чулки. Лидочка пыталась сопротивляться, но Марта лишь отмахивалась.

— Да погоди ты, не суетись, я сделаю это быстрее, — говорила она. — У тебя детей нет? А у меня двое. И каждую осень они прибегают по три раза за день промокшие до ушей. Ничего в этом позорного нет — Александрийский сказал, что ты буквально тащила его в горку на себе. Я должна сказать, что ты совершенно не производишь впечатления героини, но с другой стороны — у меня очень хорошее чутье на людей: ты обратила внимание, что я еще у Калужской заставы тебя начала опекать? Мне же не пришло в голову опекать какую-нибудь идиотку. А ты бы посмотрела, какую

мамзель притащил с собой этот жандарм! Ты не возражаешь, что я тебе тыкаю? Я вообще-то не выношу эту коммунистическую манеру — она происходит из дворницкой, но мне кажется, что мы с тобой знакомы уже тысячу лет.

— Ничего, мне даже приятно.

Тут в дверь постучали — вошла докторица Лариса Михайловна — завитая рыжая Брунгильда, которая заставила Лидочку лечь, пощупала пульс, потом велела Лидочке переодеться в сухое, принять горячий душ, а завтра с утра она ее осмотрит.

— Как там Александрийский? — спросила Марта.

— Лучше, чем можно было бы ожидать, — сказала Лариса Михайловна. — Мне кажется, что он даже доволен приключением.

— Ой, — сказала Лидочка, — а мой чемодан?

— Когда ты его в последний раз видела? — спросила Марта.

Лидочка совершенно не представляла когда. Но сама судьба в лице Мати Шавло появилась в дверях, чтобы навести порядок, — Матя принес чемодан, который он взял у Лидочки еще в трамвае, и, оказывается, не расставался с ним до самого санатория.

Лидочка наконец-то смогла как следует рассмотреть своего нового приятеля. Конечно же, он был фатом, но фатом добродушным и неглупым — его восточные карие глаза смотрели со всегдашней иронией, к тому же у него были умные губы. Другие люди определяют ум человека по глазам, а Лидочка была уверена, что бывают умные и глупые губы.

Матя готов был остаться в комнате надолго, но Марта его сразу выгнала, и Лидочка была ей благодарна, потому что знала, какое жалкое зрелище она собой представляет — спутанные мокрые волосы, не исключено, что физиономия вся в грязи... от таких женщин мужчины сбегают.

Не успел Матя уйти, как сунулся Максим Исаевич. Ему хотелось принадлежать к тем сферам, где происходят самые важные события. А так как Лидочка оказалась в центре внимания, Максиму следовало находиться поближе к Лидочке. Максима объединенными усилиями удалось выдворить. Правда, как он ушел, Лидочка не помнила — она задремала минут на десять. Ей казалось, что она не закрывала глаз, — и вдруг проснулась от голоса Марты.

— Лучше ты после ужина ложись пораньше, — говорила Марта. — А то сейчас разоспишься и останешься голодной.

— Я не голодная, — ответила Лидочка, раздражаясь на соседку. — Я ничего не хочу.

— Тебе так кажется, а потом ночью накинешься на меня и сожрешь.

— Не накинусь. — Глаза не хотели открываться, но было ясно, что от Марты не отделаться.

Марта присела на стул в изголовье Лидочкиной койки и погладила ее волосы.

— Я бы могла в тебя влюбиться, — заявила она.

Пока она не влюбилась, пришлось открыть глаза. Лампочка под потолком светила тускло, даже не набирая объявленной силы в двадцать пять свечей.

— Ты замужем? — спросила Марта.

— Да.

— Почему такая пауза? Вы в разводе?

— Нет, он уехал. В экспедицию.

— Все понятно, — сказала Марта. Она резко поднялась и отошла к темно-синему окну. Встала спиной к нему, опершись ладонями о подоконник. Она как бы давала Лидочке время и возможность исповедаться. Но Лидочка молчала. В Москве тридцать второго года не стоило откровенничать с незнакомыми. Или со знакомыми. Особенно если у тебя в семье не все благополучно.

— Он геолог? — спросила наконец Марта, не дождавшись исповеди.

— Археолог, — честно ответила Лидочка.

Господи, как он сейчас, где он? Андрею пришлось бежать из Москвы, иначе бы его взяли. Пан Теодор, их с Андреем покровитель, помог Андрею уехать, сказав при том, что у него есть для Андрея важное дело.

И лучше для всех, если Лидочка не будет знать, где скрывается Андрей, что он делает. Потому что, если ты чего-то не знаешь, ты не расскажешь об этом на допросе. Лидочка не стала спорить с Теодором, потому что у нее не было иллюзий. А теперь она ждала Теодора с вестями от Андрея. А в институте скрыла, что замужем, благо у них с Андреем разные фамилии, она — Иваницкая, Андрюша — Берестов.

— Я буду тебе верить, — сказала глубокомысленно Марта. — А знаешь почему?

— Почему?

— Если бы что, тебе бы путевку в Санузию не дали! Здесь такие люди бывают!

Марта наклонила голову по-птичьи, ждала ответа. Лидочка поднялась с постели. Ведь не скажешь ей, что путевка была горящая, досталась Лидочке случайно, потому что не смогла по-

ехать Гордон-Полонская. Фамилию на путевке поправили, директор, благоволивший к Лидочке, написал собственноручно: «Исправленному верить».

Успокоив себя, Марта оставила пост у окна и подошла поближе. Она выкинула из головы проблемы, оставшиеся за пределами Санузии. Или ей показалось, что выкинула.

Всесилие пана Теодора должно иметь пределы. Вера в беспредельность сродни религии, а она, Лидочка, никогда не сотворит себе кумира... Ну что ему стоит приехать! Хотя бы кинуть в ящик открытку. Сколько можно ждать? Она же всю жизнь ждет, и ждет, и ждет...

Марта стояла уже рядом.

Это были чужие люди, так быстро и ловко перевоспитанные советским режимом, словно до него никакой истории не было. И Лидочку порой изумляла забывчивость окружающих. Ведь Марте уже за тридцать, революцию она встретила взрослой, может быть, успела кончить гимназию. Как приятно, наверное, существовать, не помня о прошлом. А завтра уже не будет и сегодняшнего...

— Ты завиваешься или они сами вьются? — спросила Марта. И, не дождавшись ответа, продолжала: — Моя беда в том, что все мои любовники хотели, чтобы у меня вились волосы — как у цыганки. Я похожа на цыганку? По-моему, совершенно не похожа, потому что все цыганки очень грубые и брюнетки, а я натуральная шатенка. В результате я пережгла себе волосы, и они страшно секутся. Хочешь, покажу, какие у меня щипцы? Настоящие электрические, заграничные, фирмы «Филипс». Если этот Алмазов меня арестует, оставлю тебе в наследство.

Лидочка устроилась перед зеркалом и стала причесываться.

— А почему он вас арестует? — спросила она.

— Ведь не просто так он сюда приехал? Обязательно с заданием. Впрочем, не бойся, я пошутила, я колдую. Я говорю: ах, меня завтра возьмут! И даже представляю себе, как это случится. И тогда не случается. Никто не приходит. К соседям приходят, а ко мне никогда. А знаешь почему? Потому что мой Миша, это мой муж, я тебя обязательно с ним познакомлю, он главный специалист по автомобилям. Если его арестовать, то завод буквально остановится, а кто пострадает? Они и пострадают. А они не дураки.

Марта замерла с полуоткрытым ртом — ее монолог тоже был частью ритуального колдовства, и ей хотелось, чтобы Лидочка ей поверила. Лидочка сделала вид, что поверила в незаменимость Миши Крафта.

— Скажите, а молодой человек — мужчина, который нес Александрийского, это тот самый Пастернак?

— Кажется, он поэт. Не понимаю, почему им сюда путевки дают! Я очень уважаю Пушкина, но эти современные витии — Маяковские и Пастернаки — они выше моего понимания. И поверь мне, голубушка, что через десять лет их никто уже не будет помнить.

— Пастернак очень хороший поэт, — сказала Лидочка. Она не любила и не умела спорить, но ей показалось нечестным отдать на растерзание Марте такого хорошего поэта и человека, который под холодным дождем прибежал спасать их с Александрийским. Еще неизвестно, побежал ли бы Пушкин... впрочем, Пушкин бы побежал, он был хороший человек.

— Ты меня не слушаешь? — донесся сквозь мысли голос Марты. — Здесь ты можешь встретить удивительных людей. В Москве ты их только в «Огоньке» или в кинохронике увидишь, а здесь можешь подойти и спросить, какая погода. В прошлый раз здесь был сам Луначарский. Он часто сюда приезжает в субботу и воскресенье. Ты знаешь, он читал свою новую трагедию!

— В стихах? — спросила Лидочка.

Марта не уловила иронии и, сморщив сжатый кудрями лобик, стала вспоминать, как была написана трагедия. И в этот момент ударил гонг.

Звук у гонга был низкий, приятный, дореволюционный. Он проникал сквозь толстые стены и катился по коридорам.

— Ужин, — сообщила Марта голосом королевского герольда. — Восемь часов. Земля может провалиться в пропасть, но гонг будет бить в Узком в восемь ноль-ноль.

— А что у вас надевают к ужину?

— У нас здесь демократия, — быстро ответила Марта. — Но это не означает распущенности. Даже летом не принято входить в столовую с открытой грудью или голыми коленками.

— Сейчас вряд ли это кому-нибудь захочется.

— Ну, что у тебя есть?

— Платье и фуфайка. И еще вторая юбка. — Лидочка открыла чемодан. Чемодан был старенький, сохранившийся еще с дореволюции, возле замочка он протек, и на юбке образовалось мокрое пятно.

Марта дала свою юбку. Она спешила, потому что президент республики Санузии не терпит распущенности. Только попробуй опоздать к ужину!

— И что же случится?

— А вот опоздаешь — узнаешь.

Это было сказано так, что Лидочке сразу расхотелось опаздывать, и она покорно натянула юбку, одолженную Мартой, — они с ней уже составили стаю, в которой главенство принадлежало старшей обезьянке. Она решала, что кушать и когда прыгать по деревьям. Лидочка, как хроменький детеныш, уже поняла, что любая самостоятельность преступна.

Они пробежали коридором, спустились вниз к высокому трюмо и оказались в прихожей — там Лидочка уже побывала сегодня. Прихожая была пуста, если не считать чучела большого бурого медведя, стоявшего на задних лапах с подносом в передних — для визиток.

— Его убил князь Паоло Трубецкой, — сообщила Марта, не сбавляя шага. — В этих самых местах... Не отставай.

Лидочка успела лишь заметить громоздкий комод и вешалку со многими шубами и пальто — Марта увлекла ее дальше, в гостиную, где стояли пианино, и кушетка, и кресла благородных форм, но с потертой обивкой, затем они оказались в столовой — ярко освещенной, заполненной лицами и голосами. Лидочку оглушили крики и аплодисменты — они предназначались им с Мартой. Лидочка смутилась и поняла их как похвалу за совершенные ею на ночной дороге подвиги. На самом деле причина аплодисментов заключалась в ином.

Когда аплодисменты и крики стихли, за длинным, покрытым относительно белой скатертью столом поднялся очень маленький человек — его голова лишь немного приподнялась над головами сидящих.

— Это он наш президент, — прошептала Марта, вытягиваясь, словно при виде Сталина.

— Добро пожаловать, коллеги, — заговорил президент. — Будучи общим согласием и повелением назначен в президенты славной республики Санузии...

— Слушайте, слушайте! — закричал Матя Шавло, изображая британский парламент.

— ...Я позволю себе напомнить нашим прекрасным дамам, что гонг звенит для всех, для всех без исключения!

Президент поднял вверх ручку и вытянул к потолку указательный палец.

— От малого греха к большому греху!

Зал разразился аплодисментами, а Марта что-то выкрикивала в свое и Лидочкино оправдание. Пока шла эта игра, Лида смогла наконец рассмотреть зал, куда они попали. Зал был оваль-

ным, дальняя часть его представляла собой запущенный зимний сад, а справа шли высокие окна, очевидно, выходившие на веранду. С той стороны зала стоял большой овальный стол, за которым свободно сидело несколько человек, среди них Лида сразу узнала Александрийского и одного из братьев Вавиловых. За вторым, длинным, во всю длину зала, столом, стоявшим как раз посреди зала — от двери до зимнего сада, — народу было достаточно, хотя пустые места оставались. И наиболее тесен и шумлив был третий стол — слева.

— Я намерен был, — надсаживал голос президент Санузии, — выделить дамам места за столом для семейных, потому что там дают вторую порцию компота, но их странное пренебрежение к нам заставило меня изменить решение! — Голос у него был высокий и пронзительный, лицо, туго обтянутое тонкой серой кожей, не улыбалось. Это был очень серьезный человек. — Мой приговор таков: сидеть вам на «камчатке»!

Это заявление вызвало вопли восторга за левым столом.

— К нам, девицы! — закричал знакомый Лидочке Кузькин — аспирант ее Института лугов и пастбищ, где она трудилась над атласом. — К нам, Иваницкая! У нас не дают добавки компота, зато у нас дружный коллектив!

Места для Марты и Лидочки были в дальнем конце стола, и пришлось идти сквозь взгляды и возгласы. Большинство отдыхающих были мужчинами пожилого возраста, даже за столом-«камчаткой», куда усадили наказанных за опоздание женщин, они составляли большинство, так что деление по столам было скорее социальным, чем возрастным. Стол овальный — для академиков, стол «семейный» — для докторов и третий — «камчатка» для случайных и обыкновенных. Осмотревшись, Лидочка увидела, что Матю усадили за столом для семейных.

Подавальщица в белом переднике и наколке, что было совсем уж странно для советской действительности 1932 года, с сухим малоподвижным лицом, вкатила столик, уставленный тарелками с кашей. Появление каши было встречено новой волной криков, словно прибыл состав с манной небесной.

— Натужно, слишком натужно, — сказал Пастернак, сидевший рядом с Лидочкой.

— Даже страшно, — сказала Лидочка.

— Это игра, в которую играют серьезно, — сказал Пастернак. — Представьте себе, вечером после работы расковывают галерных гребцов, они садятся в кружок и устраивают профсоюзное собрание.

Официантка ловко и бесстрастно кидала тарелки с кашей, и они из рук в руки попадали на свои места. Пастернак взял стоявшую на середине стола плетенку с хлебом и протянул Лидочке.

— Спасибо, — сказала Лидочка.

— Вы, наверное, страшно промокли и продрогли, — сказал Пастернак.

Он не хотел показаться вежливым, он в самом деле представлял, как Лидочке было холодно и мерзко в темном лесу.

— А вы прибежали, как красная конница, — сказала Лидочка.

— Конница? — Пастернак улыбнулся, но как-то рассеянно, а Лидочка, затронутая его глубоко запрятанной тревогой, стала крутить головой, потому что еще не видела Алмазова.

— Он еще не приходил, — сказал Пастернак, угадав ее мысль.

— А что делать? — спросила Лидочка.

— Ничего, — сказал Пастернак. — Мы с вами не можем ничего делать, потому что этим доставим неприятности другим людям.

— Кому?

— В первую очередь профессору Александрийскому... Чем меньше мы их замечаем, чем меньше общаемся, тем незаметнее они уйдут.

— Вам хорошо, — сказала Лидочка.

— Мне?

— Вы умеете себя утешать... и обманывать.

— Но ведь нет исхода!

— А если уйти вперед?

— Куда?

— В будущее?

— Оно не будет лучше. Ни за что.

— Не может быть, — сказала Лидочка. — Подумайте, сколько уже выпало на нашу долю — и мировая война, и революция, и гражданская война...

— А голод на Украине еще не кончился, — сказал Пастернак, — и сейчас там умирают дети. Я знаю. Мне рассказывали. А потом будет хуже.

Матя Шавло пытался поймать взгляд Лидочки, а поймав, улыбнулся ей, подмигнул, всем видом показывая право на какие-то особые отношения с Лидочкой. И притом он умудрялся хмуриться, морщить нос, демонстрируя неприятие Пастернака.

Лидочка не была уверена, что может примириться с присутствием чекиста. Она должна будет сказать, сделать нечто прин-

ципиальное, чтобы он понял, какой он подонок. Чтобы все поняли.

И тут, как бы в ответ на бегущие в суматохе мысли Лидочки, дверь широко растворилась, и четкой походкой, какую позволяют себе при входе в трапезную лишь императоры или полководцы армейского масштаба, вошел Алмазов, рядом с которым семенило воздушное, нежное, как взбитые сливки, создание.

Весь зал молчал. Оборвались разговоры, замерли ложки, занесенные над глубокими тарелками, полными плотной пшенной каши, густо заправленной изюмом. Казалось, должны были вновь загреметь аплодисменты — ведь появились опоздавшие, которых принято было встречать таким образом. Но никто не аплодировал. И все замолчали — было очень тихо, и только с кухни донесся звон посуды и женский голос: «А чего с него, козла вонючего, возьмешь, все равно пропьет». Но никто даже не улыбнулся.

Алмазов отлично почувствовал атмосферу столовой. Атмосферу отторжения, общей безмолвной демонстрации, на какие так способны российские интеллигенты, когда чувствуют свое бессилие и смиряются с поражением, не признаваясь в этом.

Такую атмосферу надо и должно ломать плетью — и Алмазов умел это делать. Недаром он с восемнадцатого года был в ЧК. Но, даже обломав плеть об этих людей, Алмазов ничего бы не добился — ему сегодня не нужна была война.

В полной тишине Алмазов взял под локоть свою спутницу и повел ее, покорную былиночку, к «академическому» столу, за которым, замерев так же, как и все остальные в зале, сидели Александрийский, братья Вавиловы и неизвестный Лидочке старичок.

— Уважаемый Павел Андреевич, — сказал Алмазов, и голос его был напряжен и звенел, будто мог сорваться от волнения. — Мне очень трудно говорить сейчас. Конечно же, мне удобнее и проще было бы попросить у вас прощения приватно, без свидетелей. Но я боюсь, что оскорбление, которое я нечаянно нанес вам, это и оскорбление для всех собравшихся здесь научных работников. Поэтому я счел необходимым принести свои извинения здесь, при всех.

Лидочка удивилась чуть старомодной и гладкой речи Алмазова — словно тот записал свое выступление «перед научной общественностью» на бумажку и вызубрил его перед зеркалом.

Александрийский смутился — он, как и все остальные, никак не ожидал такого хода со стороны всесильного чекиста. Он хотел подняться, начал шарить рукой в поисках трости, но Алмазов быстро сделал шаг вперед и положил ему на секунду руку на плечо —

и рука его, видно, была так тяжела, что Александрийский послушно остался на стуле. Это движение руки — властное и рассчитанное именно на то, чтобы придавить Александрийского, прижать его к креслу, не прошло незамеченным, по крайней мере, Лидочка, даже не оборачиваясь, почувствовала, как дернулось крыло носа Пастернака, как поджались негритянские губы.

Все молчали — будто понимали, что продолжение следует.

И Алмазов продолжал, но уже глядя не на Александрийского, а обращаясь ко всему залу и начиная улыбаться:

— Поймите меня, товарищи, правильно, — сказал он. — Ночь, дождь, авария, нервы мои издерганы — третью ночь без сна, и тут появляется ваш грузовик. Для себя мне ничего не нужно, но со мной находится слабая болезненная женщина, только что перенесшая воспаление легких, правда, Альбина?

— Да, — пискнула Альбина.

— Я подхожу к грузовику и вижу, что в кабине отлично устроился мужчина средних лет. И на моем месте, наверное, каждый из вас попросил бы незнакомца выйти, чтобы уступить даме место. Правда?

И тут Алмазов улыбнулся — мальчишеской, задорной, заразительной улыбкой. Лидочка никак не ожидала, что его лицо способно сложиться в такую очаровательную улыбку. Смущенно проведя пальцем по переносице, он закончил свою апологию:

— Если бы вы, Павел Андреевич, хоть словом, хоть вздохом дали мне понять, что немощны, что плохо себя чувствуете, неужели вы думаете, что я позволил бы себе такие грубые действия?

И, сказав так, Алмазов замер, приподняв брови в безмолвном вопросе.

Видно, по либретто этого действия Александрийскому следовало кинуться ему на шею и облобызать. Но Павел Андреевич лишь пожал плечами и сказал:

— Садитесь, каша остынет.

Пастернак оценил ответ Александрийского, дотронувшись рукой до локтя Лидочки, и та кивнула в ответ, а Матя со своего стола поднял вверх большой палец — будто был зрителем в Колизее.

Последовала пауза, потому что Алмазов, видно, не мог найти достойного продолжения сцены для себя, но затем он все же собрался с духом и, согнав с лица улыбку, потянул от стола свободный стул рядом с Александрийским и приказал своей Альбине:

— Садись.

Всем было ясно — происходит катастрофическое нарушение всех традиций. В этом имении еще никогда ни один гэпэушник, ни один большевик (если не считать Луначарского, который все же был интеллигентным человеком и писал плохие трагедии) не садился за стол академиков. Вернее всего, Алмазов и не подозревал, какое святотатство он совершает, но не исключено — он знал, что делает, и делал это сознательно, ибо был человеком коварным и особенно ненавидел тех, у кого вынужден был просить прощения.

Усадив свою спутницу, Алмазов намеревался и сам сесть рядом с ней по левую руку Вавилова, а президент Санузии уже вскочил, но не посмел открыть рта. Положение спасла подавальщица с невыразительным лицом, которая громко сказала:

— А вам, товарищ с дамочкой, не сюда — вам тут накрыто, слышите?

И так как никто не удерживал Алмазова, то после короткой заминки, завершенной облегченным возгласом президента: «Там вам НАКРЫТО!», Алмазов пошел к месту за «семейным» столом, за ним вскочила и поспешила Альбина. Когда она проходила мимо подавальщицы, та протянула ей две тарелки с кашей и сказала:

— Вам и вашему.

Девица отнесла тарелки и поставила их перед Алмазовым, который сидел теперь рядом с Максимом Исаевичем и принялся есть, чтобы чем-то заняться.

Постепенно шум возник снова и все усиливался, а особенно стало шумно, когда принесли компот и вкусные пирожки из пшеничной муки с капустой. Таких горячих, свежих, пышных пирожков Лидочка не видела уже больше года, потому что в Москве хлеб давали серый, непропеченный, словно все уже забыли, как три года назад булки продавались в последних частных булочных.

Не доев пирожка, Пастернак попросил прощения, поднялся и, незамеченный, вышел из столовой. Уход его хоть и свидетельствовал о прискорбном факте — известный поэт не увлекся с первого взгляда Лидией Иваницкой, что лишало ее права писать о нем воспоминания, — зато спас ее от опасности увлечься поэтом, что тоже не даст права на воспоминания, и позволил не спеша оглядеться и рассмотреть компанию, в которую ее закинула судьба.

Подавляющее большинство людей, жадно или нехотя поедавших пирожки с жидким чаем, не относились к научной элите, а принадлежали к быстро растущей категории научных работников — старших и младших, — которые оседали в плодящихся с

началом пятилеток научных институтах и центрах, нужных для производственных успехов. Эти институты и научные центры стали как поглотителями получивших образование в рабфаках и университетах детей трудящихся и выходцев из провинции и еврейских местечек, так и прибежищем для образованных остатков господствующих классов, которые не желали покидать столицу и устремляться на возведение строек социализма в пустынях и тайге.

Осенью 1932 года, когда Украина вымирала от голода, а эшелоны с крестьянами ползли в Сибирь, когда на ошметках разграбленной деревни правили шабаш пьяные райкомовцы и никчемные подонки, близкая всеобщая гибель уже нависла над милым заповедником по прозвищу Санузия, что означало «Санаторий «Узкое». Завершая первое десятилетие своего существования, санаторий, столь весело и шумно, катаясь на лыжах, играя в волейбол на аллеях княжеского парка, загадывая шарады, танцуя по вечерам в гостиной, проведший двадцатые годы, стал закисать.

И дело не только в том, что на ужин вместо куриного фрикасе стали подавать пшенную кашу да не хватало лампочек, но в общем моральном угасании республики.

Зимой еще ремонтировали и подсыпали снегом пологую горку, ведшую от террасы особняка к среднему большому пруду, чтобы кататься с этой горы на санках и лыжах, но оказалось, что Главакадемснаб не имеет на складе новых лыж, а старые почти все пришли в негодность, так что с тридцать второго года ограничились санками. Еще в тридцатом году в конюшне «Узкого», что располагалась в полуверсте от главного корпуса по дороге к Ясеневу, стояли не только три рабочие лошадки, но и лошади для верховых прогулок, но весной двух забрали в армию, а одну увезли в академический совхоз. И так во всем...

Веселье было обязательным, как обязательной считалась физкультура. Правда, и в этом произошли важные перемены: раньше всем хотелось заниматься физкультурой, все с большей или меньшей охотой выбегали на газон перед дворцом в делали там гимнастические упражнения или бегали, а теперь занятия стали обязательными и пропустивший занятие, подобно опоздавшему к обеду, становился центром неблагоприятного внимания — его, вроде бы со смехом и шутками, тем не менее безжалостно, критиковали и вполне всерьез лишали, к примеру, второго, если оно было мясным, или компота, если он был из свежих фруктов. Потому что здоровье индивида перестало быть его собственностью — на здоровье претендовало государство.

Все эти меры не распространялись на академиков. Еще в конце двадцатых годов академики считались равноправными членами республики, теперь же им самим, за малым исключением, не хотелось участвовать в видимости детских игр. И они предпочитали общаться с себе подобными, может, потому, что им подобные (если это не были академики-нувориши, выскочки из коммунистического университета или с колхозных полей) реже занимались доносами...

Лидочке с ее места было отлично видно, что братья Вавиловы как добрые друзья болтали с Александрийским, затем в беседу вступил седой астроном по фамилии Глазенап. Академикам и дела не было до шума, что издавала «камчатка» и уступавший ей «семейный» стол, за которым сидели не настоящие ученые, а люди, попавшие в Санузию по знакомству, либо будущие академики и директора институтов.

Матя Шавло, сидевший рядом с Алмазовым за «семейным» столом, не смотрел на Лидочку, а склонился к дамочке, привезенной Алмазовым. Он надувал щеки, почесывал усики, напыживался, обольщал, и Лидочке он сразу стал неприятен, может, оттого, что она уже почитала его своей собственностью — тем «своим» мужчиной, какой всегда возникает у привлекательной девушки в доме отдыха и санатории.

Неожиданно для себя Лидочка поняла, что у нее есть союзник — справа от нее с чайником в руке стояла высокая подавальщица с худым большеносым лицом. Не замеченная никем — кто видит официанток? — она смотрела на Матю столь интенсивно и, как показалось Лидочке, злобно, что Лида не могла оторвать от нее взгляда. Без сомнения, подавальщица знала Матвея.

Подавальщица выглядела странно для своей роли — она могла быть монахиней, молодой купчихой из старообрядческой семьи, даже фрейлиной немецкого происхождения — только не подавальщицей в столовой Санузии.

Лидочка хотела обратиться к Марте, которая всех здесь знает, но Марта сидела через два человека, и до нее не докричишься, тем более что она была занята беседой с розовощеким молодцем. Марта непрерывно вещала, а молодец согласно покачивал головой, подобно китайскому болванчику.

Лидочка поднялась с места, подошла к большому самовару, взяла стакан с заваркой, налила туда кипятку, а сама продолжала наблюдать за подавальщицей.

На вид женщине было немного за тридцать — совсем еще не старая, — у нее были бледная, чистая, как будто перемытая

кожа лица и забранные под платок каштановые волосы. Серые глаза, ресницы чуть темнее глаз, бледные, неподкрашенные губы — все в лице женщины было в одном тусклом колорите. Женщина не делала попыток себя приукрасить, словно нарочно старалась быть незаметной мышкой, и ей это удалось. Можно было десять раз пройти мимо нее на улице и не заметить. И в то же время чем внимательнее рассматривала Лидочка подавальщицу, тем яснее понимала, что видит перед собой редкое по благородству линий лицо, красота которого не очевидна, будто сама стыдится своего совершенства.

Женщина уловила взгляд Лидочки и быстро обернулась, но не рассердилась и не испугалась, а увидела восхищение во взгляде девушки и в ответ на ее растерянную улыбку — растерянность возникает в момент неловкости, ведь подглядывать плохо, а тебя поймали на месте преступления — чуть улыбнулась и на мгновение прикрыла рот, будто хотела что-то сказать, но раздумала — и Лидочка успела увидеть белизну и красоту ее зубов.

— Простите, — сказала Лидочка.

— Да что вы, пустяки... — Достаточно порой интонации, двух слов, чтобы понять социальное положение человека. Подавая тарелки с кашей или разнося чай, подавальщица старалась говорить и вести себя простонародно — сейчас же она забыла, что надо таиться, — и интонацией выдала себя. В коротком обрывке фразы. И сама поняла, что Лидочка ее разоблачила, а та поспешила успокоить испугавшуюся женщину...

— У вас чудесный цвет лица, — неожиданно для себя заявила Лидочка. Секунду назад она не намеревалась говорить ничего подобного.

— Глупости, — смешалась подавальщица и быстро пошла прочь, но Лидочка понимала, что она на нее не обижена, что отныне они с подавальщицей знакомы. Любая следующая встреча не будет встречей чужих людей.

Марта поднялась и спросила Лидочку, кончила ли та ужинать.

— Какое счастье, — сказала Лидочка, — что можно уходить, когда хочешь.

— Это явное ослабление дисциплины, — ответила Марта. — Еще в прошлом году президент республики выгнал бы тебя мерзнуть на берег пруда, если бы ты посмела без спроса встать из-за стола.

В дверях они догнали Александрийского. Он шел еле-еле,

опирался на трость. Лобастый Николай Вавилов поддерживал его под локоть. Лидочка услышала слова Вавилова:

— Не надо было вам выходить к ужину. После всех пертурбаций...

— А вам, коллега, — сварливо ответил Александрийский, — не стоит меня жалеть.

Тут Александрийский спиной почуял, что их слушают, и перешел на английский. Английский язык Лидочка знала плохо, да и не хотелось подслушивать.

— Теперь спать? — спросила Лидочка.

Вместо Марты сзади ответил высокий тревожный голос президента:

— Товарищи, граждане республики Санузии! — кричал он. — Не покидайте столовую, не выслушав маленького объявления. Среди нас есть новички, еще не принятые в гражданство республики. Поэтому после ужина властью, врученной мне великими тенями, я призываю всех выйти на вершину холма и оттуда, глядя на Москву, дать клятву верности нашим идеалам.

— Дождик идет! — откликнулся Максим Исаевич. — Ну какие же клятвы при такой погоде.

— Дождь прекратился, — возразил президент. — Я своей властью прекратил его, и с завтрашнего дня наступает чудесная, теплая и сухая погода. Однако на холм идут лишь желающие. Отступники — да пусть им будет стыдно — могут лечь спать в своих берлогах.

— Кино будет? — спросил простодушный курносый парень, деревенская версия императора Павла Первого.

— Сегодня кино не будет, — сказал президент, — кино переносится на завтра, потому что новый заезд сегодня проходил в трудностях.

— Я знаю! — крикнула толстушка в синей футболке с красной звездой на правой груди. — Киномеханик снова запил!

Кто-то засмеялся. Лидочка обернулась, ища глазами подавальщицу. Та убирала со стола грязные чашки и тарелки, но на Лидочку она не посмотрела.

Все участники похода на неведомый Лиде холм прошли прямо в прихожую, где на вешалке висели все пальто. К Лидочке подошел Матя.

— Вы серчаете на меня, сударыня, — сказал Матя, делая жалкое лицо, — не обращаете на меня внимания, будто мы и не знакомы.

Следовало приподнять в немом удивлении брови и отвернуться от ничтожной помехи. Лидочка понимала умом, как следует себя вести, но на практике так и не обучилась.

— Это вы на меня внимания не обращаете, — сказала она, — потому что дружите с Алмазовым.

— Дружба с Алмазовым подобна дружбе кролика с удавом. И вы это знаете.

— Значит, просто подлизываетесь?

— И я не так прост, и он не так прост. Но он мне любопытен. Я встречал его две недели назад, когда сдавал в Президиум отчет о моей стажировке в Италии. Он нас курирует.

— Курирует? — Лидочка не знала такого слова.

— Заботится о нас, следит за нами, выбирает из нас, кто пожирнее, чтобы зарезать на ужин.

— И вы до сих пор живой?

— Какой из меня ужин!

Подошла Марта. Матю она уверенно отстранила, как старого приятеля.

— Не приставай к девушкам, — сказала она. — Лучше скажи, кто то воздушное создание, которое притащил с собой Алмазов?

— А ты его откуда знаешь?

— У каждого есть свои источники информации, иначе в этом вертепе не выживешь.

— По-моему, она актриса. Из мюзик-холла.

— Я сразу почувствовала — птичка невысокого полета.

Матя пожал плечами.

— Может быть, не пойдешь? — спросила Марта у Лиды. — На тебе же лица нет.

— Пройтись по свежему воздуху — только полезно. Усталость, в возрасте Лиды — это приятное чувство, которое способствует сохранению осиной талии, — галантно возразил Шавло.

Он помог Лидочке одеться, а Марта спросила:

— А как ее зовут?

— Девицу Алмазова? Ее зовут Альбиной. Ты ревнуешь?

Когда они вышли из дома и пошли налево по узкой, засыпанной чуть ли не по щиколотку желтыми липовыми и оранжевыми кленовыми листьями дорожке, Марта сказала:

— Это старая традиция Санузии — смотреть на ночную Москву.

— Даже когда ее не видно, — сказал Матя. Он был так вы-

сок, что Лидочке приходилось запрокидывать голову, разговаривая с ним. Но в комнатах она этого не почувствовала.

Их догнал Максим Исаевич. Он был в расстегнутом пальто, без шляпы и тяжело дышал.

— Вы меня бросили! — заявил он. — Вы меня оставили на растерзание этому занудному президенту.

Матя взял Лидочку под руку. Лидочке это было приятно.

— Если бы я был писателем, — сказал Матя, наклоняясь к Лидочке, — я бы обязательно вставил президента Санузии в роман. Вся его жизнь состоит в пребывании здесь, остальные одиннадцать месяцев — лишь скучный перерыв в его настоящей, бурной, красивой и романтической деятельности в этих стенах. Он рожден быть президентом республики Санузия, и, когда нас всех пересажают или разгонят, он умрет от скуки. Хотя сам же на нас донесет.

— Типун вам на язык! — сказал Максим Исаевич и обернулся, но вблизи чужих не было.

Слева тянулись огороды и тускло светилась оранжерея. Направо дорожка круто скатывалась вниз.

— Если бы не оранжерея и не огород, мы бы здесь бедствовали, как везде, — сказала Марта.

— Академики не любят бедствовать — подсобное хозяйство Санузии на особом положении, подобно подсобному хозяйству Совнаркома, — сказал Шавло.

Лидочка поглядела вниз, куда сбегала пересекающая их путь дорожка. За черными ветвями вдали блестела вода.

— Мы сходим с утра на пруды, — сказала Марта.

— Там благодать для прогулок, — сказал Матвей.

— А здесь в прошлом году нашли мертвое тело, — сообщил Максим Исаевич.

Он показал на вросшее в землю кирпичное сооружение, вернее всего, погреб, какие строили при богатых дворянских усадьбах.

— Меня тут не было, — сказала Марта. — Но говорят, что это был старый князь Трубецкой. Он тайно перешел границу, добрался до Москвы, он хотел достать клад, который Трубецкие зарыли во время революции.

— А почему не достал? — спросила Лидочка.

— Князь взял с собой старого слугу, из местных, чтобы он помог ему копать, — сказала Марта. — Но когда сундук показался из-под земли, старый слуга убил Трубецкого, схватил сундук и хотел бежать.

— И его поймали?

— Да, был такой процесс!

— Ничего подобного, — сказал Максим Исаевич. — Никто никого не поймал. Даже неизвестно, был ли убитый Трубецким. Какой-то бродяга забрался в погреб, а его убили.

— Просто так в погреба люди не забираются, — сказала Марта, ничуть не смутившись. — И тем более просто так их не убивают.

— А ваша версия? — спросила Лидочка. Они стояли возле погреба, дверь в него была полуоткрыта и манила Лидочку: надо было только сделать десять шагов — только десять, — и бездонная темнота подвала схватит тебя в объятия...

— У меня версии нет, — сказал Матвей. — Как вам уже донесли, я в это время находился в вечном городе — Риме.

Мимо прошла группа молодых людей с «камчатки».

— Ждете убийцу? — весело крикнул кто-то из них.

— Пошли, — сказала Марта. — Убийца сегодня не вернется.

Они пошли дальше. Дорожка вела на холм, деревья вокруг стояли пореже. Облака, что быстро бежали по небу, стали тоньше и прозрачней — иногда в просветах возникали звезды. Облака были куда светлее неба. Впереди на покатой спине холма возвышалась геодезическая вышка, похожая на нефтяную. На верхней ее площадке силуэтами из театра теней виднелись фигурки людей. Другие поднимались туда по деревянной лестнице.

— А вы там работали? — спросила Лида у Матвея.

— Да, я год стажировался у Ферми. Это имя вам что-нибудь говорит?

— Нет, — сказала Лидочка. — А оно должно мне что-нибудь говорить?

— Каждому культурному человеку — должно! — сказал Матвей и рассмеялся, чтобы Лидочка не обиделась.

А ей и не было обидно. Ферми, Муссолини — не все ли равно! Но показывать этого Матвею она не стала, а спросила:

— Он фашист, да?

— Он вовсе не фашист, — серьезно ответил Матвей.

— Тогда зачем он живет в фашистском городе?

— Там у него дом и работа.

— Мог бы уехать!

— А зачем? Ему никто не мешает. У него есть свой институт. Его очень уважают.

— За что же его уважают фашисты?

— Он физик, — сказала Марта. — Теперь все великие люди — физики. Самая модная категория.

— Вы категорически не правы, Марта Ильинична! — сказал Максим Исаевич. — Сегодня на первом месте работники искусства. Мы осваиваем марксизм в творчестве.

— Вряд ли стоит этим так смело заниматься, — фыркнула Марта. — Можно шею сломать.

— Нельзя так говорить.

— А вы работник искусства? — спросила Лидочка, желая поддержать Марту.

— Я — театральный администратор. Но я каждый год бываю в Узком и совершенно в курсе всех дел в нашей науке. Я чуть было не поехал в Калугу к Циолковскому — отсюда была экскурсия.

— Лидочка, к счастью, не знает, кто такой Циолковский, — сказал Матвей. — Можете не метать икры.

— Не икры, а бисера, — сказала Лидочка. — И не надо меня подозревать в абсолютном невежестве. Я знаю, что Циолковский поляк.

— Вот видите! — загремел на весь парк Матвей. — Он — поляк! Он всего-навсего — поляк! А вы что кричите?

— Я ничего не кричу, — надулся Максим Исаевич. — Я только знаю, что это великий самоучка, который изобрел дирижабль для путешествия в межзвездном пространстве. Недаром наше правительство обратило внимание на его труды. Вы посмотрите — пройдет несколько лет, и звездолеты Страны Советов возьмут курс на Марс.

— Макс, я порой думаю — ты дурак или хорошо притворяешься? — сказал Матвей.

— Если ты имеешь в виду мои классовые позиции, то учти, что мой отец был сапожником и у меня куда более правильное социальное положение, чем у тебя.

— Он просто всего боится, — сказала Марта. — Сейчас он боится Лидочку. Он ее раньше не видел и подозревает, что она на него напишет.

— На меня даже не надо писать, — возразил Максим Исаевич, — достаточно шепнуть Алмазову, который специально приехал за мной следить.

— Нет, ты не прав, — сказал Матвей. — Я точно знаю, что это не Алмазов.

— А кто?

— Они никогда бы не обидели тебя такой мелкой сошкой, как Алмазов. Для тебя пришлют Дзержинского.

— А Дзержинский умер! — сказал Максим Исаевич. В голосе его прозвучало торжество ребенка, который знает, что дважды два четыре, а взрослые об этом не подозревают.

— Он не притворяется, — сказал Матвей.

— Вижу, — согласилась Марта.

Лидочка ничего не сказала, но была согласна с остальными.

— А ты бы помолчала, — обиделся Максим Исаевич, обернувшись к Марте. — С твоей фамилией лучше помолчать.

— У меня отличная девичья фамилия — Рубинштейн, — сказала Марта.

— Вот именно!

После этих слов Марта должна была пойти и добровольно сдаться властям, но так как она не пошла, а стала смеяться и остальные тоже смеялись, Максим Исаевич, которому совсем не было смешно, сделал вид, что желает собрать букет из упавших листьев — мокрых и обвисающих в руках.

По дорожке от прудов поднимался Пастернак, он раскланялся с Лидочкой и ее спутниками. Марта голосом более оживленным, чем обычно, спросила:

— А разве вы, Борис Леонидович, не пойдете смотреть на Москву?

— Простите, но я не сторонник массовых смотрин, — ответил Пастернак. — Захочу, посмотрю. Но один.

Тут же он улыбнулся, видно, подумал, что мог обидеть Марту своими словами, и добавил:

— Еще лучше в вашем обществе!

— Тогда завтра, как стемнеет! — громко сказала Марта, и все засмеялись.

Через две минуты что-то заставило Лидочку обернуться. Пастернак отошел уже довольно далеко — его высокая быстрая фигура слилась с черными стволами на повороте, и не он привлек внимание Лиды — за погребом стояла подавальщица. Она была в длинном, словно из шинели перешитом пальто, накинутом на плечи. Спереди вертикальной полосой просвечивал передник. Женщина смотрела вслед Мате, но тот не почувствовал взгляда. Женщина поняла, что Лидочка видит ее, и ступила за стену погреба, и тут же пропала с глаз — словно ее и не было. Первым порывом Лидочки было окликнуть Матвея. Но Лидочка не сделала этого — стало неловко. Словно окликнешь — донесешь на подавальщицу. Что знала Лидочка об этих людях? Что

Матя Шавло любезно поднес ее чемодан до санатория? Был вежлив, а потом оказался среди тех, кто прибежал спасать профессора Александрийского? Это говорит в его пользу. Еще у него открытая улыбка и чувство юмора. И это тоже говорит в его пользу. Но в то же время знаком с Алмазовым, был в фашистской Италии и даже носит фашистские усики.

Может, у этой бедной женщины есть основания за ним следить? Затаимся, как говорил с сардонической усмешкой ее старый друг пан Теодор. Наши знания, наши наблюдения — наше богатство.

Появление новой партии желающих поглядеть на Москву вызвало шум и веселые крики с высокой вышки — Лидочке даже показалось, что вышка зашаталась от такого гомона. Она обернулась — конечно же, фигуры в шинели не было видно, да и самого погреба не разглядишь, лишь тусклый свет лампочки, горевшей в оранжерее, напоминал о встрече. Еще дальше светились окна усадьбы...

— Не бойтесь, — сказал Матя, — вышку сооружали еще до революции, она сто лет простоит.

— Простоит, если на нее не будут лазить кому не лень, — возразил Максим Исаевич, все еще недовольный Матей.

Лидочка стала подниматься первой. Ступеньки были деревянные, высокие — словно она поднималась по стремянке, придерживаясь за тонкий брус. Один пролет, поворот, второй пролет, третий... поднялся ветер, — видно, ниже его гасили деревья, а тут он мог разгуляться. Лидочка хотела остановиться, но снизу ее подгонял Матя:

— Главное — не останавливаться, а то голова закружится.

Сверху склонился молодой человек, похожий на Павла Первого.

— Вы пришли! — сообщил он Лиде. — Я очень рад. Я совсем замерз. Я думал, что вы не придете.

— Соперник! — услышал эти слова Матя. — Дуэль вам обеспечена.

— Здравствуйте, — сказал тот жалким голосом, и Матя узнал его.

— Кого я вижу! Аспирант Ванюша! Как говорит мой друг Френкель — лучшее дитя рабфака!

— Матвей Ипполитович, я даже не ожидал, — сказал рабфаковец, и Лидочке стало грустно от его тона, потому что она поняла: дуэли из-за нее не будет. Ванюша готов уступить любую девицу своему кумиру, — а в том, что Матя его кумир, со-

мнений не могло быть — глаза аспиранта горели ясным пламенем поклонника.

— Неужели вы не заметили меня за ужином?

— Не заметил, — сознался Ванюша, одаренный редкостным прямодушием, — я смотрел все на Лидию Кирилловну. Так смотрел, что вас не заметил.

— Он уже знает ее отчество! — воскликнул Матя. — Такая резвость не свойственна физикам. Неужели вы — агент ГПУ?

— Ах, что вы! — испугался Ванюша.

Лидочка обернулась туда, куда смотрели собравшиеся на верхней площадке вышки, — Москва казалась тусклой полоской сияния, придавленного облачным небом.

— Отсюда надо смотреть днем и в хорошую погоду. Если захочешь, мы потом еще поднимемся, — сказала Марта.

— А вы видели Ферми? — допрашивал Матю восторженный Ванюша.

— Каждый день и даже ближе, чем вас, — ворковал польщенный Матя.

— И он разговаривал с вами?

— Даже я с ним разговаривал, — ответил Матя и сам себе засмеялся, потому что Ванюша не умел смеяться.

— А Гейзенберг? — спросил аспирант. — Гейзенберг к вам приезжал? Я читал в «Известиях», что в Риме была конференция.

— И Нильс Бор приезжал, — сказал Матя. — Ждали и Резерфорда. Но Резерфорд не смог отлучиться.

— Почему?

— Он должен заботиться о Капице.

— Да? — Аспирант чувствовал, что его дурачат, но не смел даже себе признаться в том, что настоящий ученый может так низко пасть. Лидочке его было жалко, но, честно говоря, она слушала разговор Мати с неофитом вполуха, потому что смотрела не на отдаленную, туманную и нереально далекую отсюда Москву, а на уютно желтые окна дома, так откровенно манящие вернуться.

— Лидочка, — сказал Матя, — разрешите представить вам юного поклонника — он просит об официальном представлении, — делаю это одновременно с ужасом и восхищением. С ужасом, потому что боюсь потерять вас, с восхищением, потому что талант будущего академика Ивана Окрошко вызывает во мне искреннюю зависть.

У будущего академика Окрошко пальцы оказались горячими и влажными.

На фоне бегущих, светлых на черном облаков образовалась фигурка президента. Он пронзительно выкрикивал фразы и, поднимая руки, командовал окружившими его девицами и чьими-то дядями с «камчатки», которые повторяли хором эти выкрики.

— Подобно Герцену и Огареву на Воробьевых горах!

— Подобно гер-гер-цену и ога-га-га-га-реву на во-рога-гареву...

— Мы клянемся не уронить знамени славной Санузии!

— Мы нем-немся неуроиз амении...

— Принципы и заповеди советского ученого!

— Ицины...

— Мы пошли, — сказала Марта и потащила вниз Максима, который старался участвовать в коллективных криках. Матя молча подхватил Лидочку за локоть и повлек следом. Сзади топал Окрошко, и Лидочке были понятны его мечты — чтобы Матя упал и уронил Лидию Кирилловну. Вот тогда-то он кинется ястребом и спасет прекрасную даму.

Матя не уронил Лидочку. Но она страшно замерзла. Еще не хватало простудиться.

Внизу, у лестницы, они встретили Алмазова с Альбиной.

— Боже мой, как здесь холодно, — пропела Альбина, обращаясь почему-то к Лидочке. — Я даже не представляла, какая здесь стужа.

Матя сделал шаг в сторону, раскуривая трубку.

Альбина была хорошо одета — на ней была беличья шубка и такая же меховая муфта. Из-под фетровой с узкими полями шляпки выбивались светлые кудри.

— Вы так легко одеты, — сообщила Альбина Лидочке, словно та этого не чувствовала всей шкурой.

— Мне не холодно, — ответила Лида.

— Вы меня презираете, да?

У Альбины были слишком большие и слишком голубые — даже в ночи видно — глаза.

Сейчас Алмазов услышит, вмешается и уведет ее. Лидочка проследила за взглядом, который кинула назад Альбина, — видно, она боялась Алмазова. Но Алмазов отошел к Мате на другую сторону опустевшей площадки. Сзади стоял только Ванюша Окрошко. Но тот или ничего не слышал, или не понимал.

— Я знаю — вы думаете, что я его боюсь. Но я докажу, докажу, — шептала Альбина. — Вы еще удивитесь моей отваге.

— Ванюша, — сказала Лидочка, — нам пора идти?

Ванюша не понял, но был счастлив, потому что Лида к нему обратилась.

— Ванюша Окрошко! — повторила Лида. — Я совсем замерзла.

— Я же говорила вам, что вы замерзнете, — сказала Альбина.

Матя с Алмазовым разговаривали, отвернувшись от остальных. До Лидочки донеслось:

— Попозже... у беседки.

Алмазов подошел к ним, встал рядом с Ванюшей Окрошко.

— Ну что, мои дорогие девушки, — сказал Алмазов. — Не пора ли нам домой, на бочок?

— Да, и как можно скорее, — сказала Альбина. — Вы же видите, что Лида совсем замерзла.

— Это дело поправимое, — сказал чекист. Лидочка не сразу поняла, что он делает, — только когда Ванюша заскулил из-за того, что не додумался до такой простой мужской жертвы, — только тогда Лидочка обернулась, — но было поздно. Алмазов уже снял свою мягкую, на меховой подкладке, кожаную куртку — внешне комиссарскую, как ходили чекисты в гражданскую, но на самом деле иную — мягкую, уютную, теплую и пахнущую редким теперь мужским одеколоном.

Куртка улеглась на плечах Лидочки и обняла ее так ловко, что попытка плечами, руками избавиться от нее ни к чему не привела, хотя бы потому, что Алмазов сильными ладонями сжал предплечья Лиды. Лида вырвалась и пробежала несколько шагов, потом сорвала с себя куртку, обернулась и протянула ее перед собой, как щит, подбегавшему Алмазову.

— Большое спасибо, — сказала она. — Мне уже не холодно.

— Отлично, — сказал Алмазов, который умел не настаивать в тех случаях, когда настойчивость ничего ему не обещала, — я постарался лишь загладить тот грех, который я совершил на дороге. — В темноте жемчужными фонариками светились его зубы и белки глаз.

Лида сделала шаг в сторону на край дорожки и таким образом оказалась отрезанной от Алмазова и Мати Ванюшей Окрошко, который не успел толком разобраться, что же произошло, и со значительным припозданием спросил:

— Вам мое пальто дать?

— Зачем, на мне же уже есть пальто.

— А куртку надевали, — сказал Ванюша с обидой, и всем стало смешно.

Когда они миновали перекресток: справа — погреб, слева

вниз — дорога к пруду, Лидочка увидела, что к пруду, опираясь на палку, спускается Александрийский.

— Спасибо, — сказала Лида быстро. — До свидания. Спокойной ночи.

Последние слова она произнесла на бегу.

— Вы куда? — закричал Ванюша.

— Она лучше вас знает куда, — услышала Лидочка голос Мати. Видно, тот удержал аспиранта, потому что Лиду никто не преследовал.

Александрийский услышал ее быстрые шаги и остановился.

— Павел Андреевич, это я, — сообщила Лидочка на бегу.

— Вижу, — сказал тот. — На вышку бегали?

— Там неинтересно, — сказала Лидочка, поравнявшись с Александрийским. — Просто далекое зарево.

— Когда-то я поднимался туда. Но только днем и в хорошую погоду. Но мне кажется, что если вам хочется полюбоваться Москвой, то лучше это сделать с Воробьевых гор. Недаром Герцен с Огаревым клялись там.

— Клялись?

— Утверждают, что там они решили посвятить себя борьбе за народное счастье. Разве вы этого не изучали в школе?

— Нет.

— Простите, но сколько же вам лет?

Лидочка сказала:

— Двадцать один.

— Значит, вы должны были подвергнуться индоктринации в школе и узнать, что вместо еврея Иисуса вы должны почитать еврея Карла.

— Какого Карла?

— Вы меня поражаете — я имею в виду основоположника учения, именуемого марксизмом по имени Карла Маркса.

— Я не привыкла, что он Карл, — сказала Лидочка, — я привыкла, что он Карл Маркс. — Разумеется, вы правы.

Они шли медленно — Александрийский неуверенно ставил трость, не сразу переносил на нее тяжесть тела.

— Я не так давно стал инвалидом, — сказал он. — Я даже не успел привыкнуть к тому, что обречен. Вы не представляете, как я любил кататься на коньках и поднимать тяжести...

Профессор говорил, не поворачивая головы к Лиде, и ей был виден его четкий профиль — выпуклый лоб, узкий нос, выпяченная нижняя губа и острый подбородок. Лицо не очень красивое, но породистое.

— А вы раньше встречали этого Алмазова?

— Да, встречал. В прошлом году, когда я был чуть покрепче и даже намеревался выбраться в Кембридж на конференцию по атомному ядру, он тоже вознамерился ехать с нашей группой под видом ученого. Я резко воспротивился.

— И что?

— А то, что я никуда не поехал.

— А он?

— Он тоже никуда не поехал. Они не любят, когда их сотрудников, как это говорят у уголовников... засвечивают. А мне сильно повезло.

— Повезло?

— Конечно. Если бы не моя грудная жаба, сидеть бы мне в Соловках с некоторыми из моих коллег. Когда они узнали, насколько тревожно мое состояние, они решили дать мне помереть спокойно.

Они вышли к пруду. Пруд был окружен деревьями, которые романтически склонялись к его глади, у берега дремали утки, по воде среди отраженных ею облаков и редких звезд плыли желтые листья, словно реяли над внутренним небом. Было очень тихо, лишь с дальней стороны пруда доносился шум льющейся воды, словно там забыли закрыть водопроводный кран.

— Может быть, я стараюсь себя утешить, успокоить, а они посмеиваются и готовы забрать меня завтра.

— Сейчас наоборот, — сказала Лидочка, хотя сама не очень верила собственным словам. — Сейчас многих отпускают. Я знаю, в Ленинграде целую группу историков выпустили, Тарле, Лихачева, супругов Мервартов...

— Свежо предание, — сказал Александрийский. Он остановился на берегу пруда. Здесь фонарей не было, но поднялась луна, и бегущие облака были тонкими — свет луны пробивался сквозь них.

— Вы думаете, что он вас узнал? — спросила Лидочка.

— Вряд ли. Было темно — он вышвырнул меня, как вышвырнул бы любого из нас. Он полагал, что академики в кабинках грузовиков не ездят.

Александрийский вдруг повернулся и пошел вдоль пруда куда быстрее, чем раньше. Он стучал тростью и зло повторял:

— Ненавижу, ненавижу, ненавижу!

— Не волнуйтесь, вам нельзя волноваться, — догнала его Лидочка и попыталась взять под руку, но профессор смахнул с локтя ее пальцы.

— Бодливой корове... это я — бодливая корова! Как нелепо! Я же еще вчера был совсем нестарым и весьма подвижным мужчиной... Наверное, ненависть увеличивается от бессилия что-либо сделать.

Он быстро дышал, и Лидочка все-таки заставила его остановиться, потому что испугалась, что ему станет плохо. Чтобы отвлечь Александрийского, Лидочка спросила у него, правда ли, что Матвей Шавло был в Италии.

— Не производит впечатления настоящего ученого? — вдруг рассмеялся Александрийский. — На меня вначале он тоже не произвел. Скоро уж десять лет прошло, как я его увидел. Ну, думаю, а этот фат что здесь делает?

— Может, посидим на лавочке? — спросила Лида.

— Чтобы завтра слечь с простудой? Ни в коем случае, лучше мы с вами будем медленно гулять. Если вы, конечно, не замерзли.

— Нет, мне не холодно. — Почему-то Лидочке почудились крепкие ладони Алмазова, она даже дернула плечами, как бы сбрасывая их.

— Я не терплю отдавать должное своим младшим коллегам, но в двух случаях Академия не ошиблась — когда посылала Капицу к Резерфорду, а Шавло к Ферми.

— А как же они согласились?

— Кто?

— Резерфорд и Ферми. Они живут там, а к ним присылают коммунистов.

— Они думали не о коммунистах, а о молодых талантах. Прокофьев сначала композитор, а потом уже агент Коминтерна. Петю Капицу я сам учил — он чистый человек. И ему суждена великая жизнь. И я был бы счастлив, если бы Петя Капица остался у Резерфорда навсегда. Но боюсь, что наши грязные лапы дотянутся до Кембриджа и утянут его к нам... на мучения и смерть.

— Но почему?

— Потому что рядом с политикой всегда живет ее сестренка — зависть. И всегда найдется бездарь, готовая донести Алмазову или его другу Ягоде о том, что Капица или Прокофьев — английский шпион. А кому какое дело в нашей жуткой машине, что Капица в одиночку может подтолкнуть на несколько лет прогресс всего человечества? Это будет лишь дополнительным аргументом к тому, чтобы его расстрелять. Вы знаете, что расстреляли Чаянова?

— А кто это такой?

— Гений экономики. Талантливейший писатель. И его расстреляли.

— А зачем тогда Матвей Ипполитович вернулся?

— Во-первых, он не столь талантлив, как Капица, хотя чертовски светлая голова! У него кончился срок научной командировки, а положение Ферми в Риме, насколько я знаю, не из лучших — возможно, ему придется эмигрировать. Фашистская страна сродни нашей. Те же статуи на перекрестках и крики о простом человеке.

— Павел Андреевич!

— Вот видите, и вам уже страшно, а вдруг дерево или вода подслушают. Помните, что случилось с Мидасом?

— Не помню.

— Неужели? Это хрестоматийно! Хотя вы же дитя пролетарского образования. Так слушайте: у царя Мидаса были ослиные уши. Не важно, как он их заработал, — поверьте мне, за дело. И у Мидаса, который стеснялся такого украшения, были проблемы с парикмахерами. Тем приходилось давать подписку о неразглашении. Вы о таких слышали?

— Не в древнем мире, но слышала.

— Молодец, девочка. Так вот, один парикмахер подписку дал, а тайна, которую он узнал, продолжала его мучить. И он нашептал ее тростнику. Тростник подрос, его срезали на свирель, соответствующий исполнитель принялся в нее дуть, а свирель запела: «У царя Мидаса дворянское происхождение!»

— То есть ослиные уши?

— Называйте как хотите. Анкета есть анкета! Будем возвращаться?

— Наверное, вы устали.

От основной дорожки, шедшей вдоль цепи прудов, отходила дорожка поуже. Она поворачивала налево, проходя по перемычке, отделявшей верхний пруд от следующего, лежавшего метров на пять-шесть ниже.

Они свернули на нее. Но, пройдя несколько шагов, Александрийский остановился:

— Пожалуй, пора возвращаться.

— А что так шумит? — спросила Лидочка. — Где-то льется вода.

— Вы не догадались? Пройдите несколько шагов вперед и все поймете.

Лидочка подчинилась старику. И при свете вновь выглянувшей луны увидела, что в водной глади, метрах в полутора от

дальнего берега пруда чернеет круглое отверстие диаметром в метр. Вода стекала через края внутрь поставленной торчком широкой трубы и производила шум небольшого водопада.

— Сообразили, в чем дело? — спросил Александрийский.

— Туда сливаются излишки воды, — сказала Лидочка.

— Правильно. Чтобы пруд не переполнялся. А на глубине по дну пруда проложена горизонтальная труба, которая выходит в нижнем пруду под водой, — вы можете запустить рыбку в водопад, а она выплывет в следующем пруду. Интересно?

Александрийский совсем устал и говорил медленно.

— Я прошу вас, — сказала Лидочка. — Давайте посидим. Три минуты. Переведем дух.

— Отвратительно, когда тебя жалеет юная девица, — сказал Александрийский. — Дряхлый старикашка!

— Вы совсем не старик! — сказала Лидочка. — И когда выздоровеете, я еще буду от вас бегать.

— Я специально для этого постараюсь выздороветь, — сказал Александрийский, послушно отходя к скамейке.

По плотине быстро шел человек — занятые разговором Александрийский и Лидочка увидели его, когда он подошел совсем близко.

— Вот они где! А я уж отчаялся: решил — утонули! — Это был Матя Шавло.

— Легок на помине, — сказал Александрийский. — Что вам не спится?

— Вы перемывали мне косточки! — заявил Шавло. — То-то я чувствую, что меня тянет в парк. И что? Он называл меня развратником, лентяем, пижоном и наемником Муссолини? — Последний вопрос был обращен к Лиде.

— Любопытно, — усмехнулся Александрийский. — Он взваливает на себя сотни обвинений для того, чтобы вы не заметили, что он упустил в этом списке одно, самое важное.

— Какое? — спросила Лидочка.

— Агент ГПУ, — сказал Александрийский.

— Ах, оставьте, — сказал Матя, подходя к самому краю воды и глядя, как вода, серебрясь под светом луны, срывается тонким слоем в странный колодец посреди пруда. — Мне уже надоело, что каждый второй подозревает меня в том, что у Ферми я выполнял задания ГПУ.

— Я вас в этом никогда не подозревал, Матвей, — сказал Александрийский. — Я отлично понимаю, что Ферми читал ваши работы. Как только он увидел бы, что вы агент ГПУ, вы

бы вылетели из Италии в три часа. Кстати, Ферми не собирается покидать фашистский рай?

— Маэстро признался мне, что намерен улететь оттуда, как только он сможет оставить свой институт, — ведь он же не жена, бросающая мужа. Целый институт...

— Проблема национальная?

— При чем тут национальность?! — Матя красиво отмахнулся крупной рукой в желтой кожаной перчатке. — На институт обратили внимание итальянские военные. Говорят, что интересуется сам дуче.

— Это касается радиоактивных лучей?

— Нет — разложения атомного ядра.

— К счастью, это только теория.

— Для вас, Пал Андреевич, пока теория. Для маэстро — обязательный завтрашний день.

Лидочка увидела, как Александрийский чуть морщится при повторении претенциозного слова «маэстро».

— Это — разговор для фантастического романа, — сказал Александрийский, но не тем тоном, каким старший обрывает неинтересный ему разговор, а как бы приглашая собеседника продолжить спор.

Матя сразу попался на эту удочку.

— Хороший фантастический роман, — сказал он, — обязательно отражает завтрашнюю реальность. Я, например, верю в лучи смерти, о которых граф Толстой написал в своем романе об инженере Гарине, не читали?

— Не имел удовольствия.

Лидочка только что прочитала этот роман, и он ей очень понравился — даже больше, чем романы Уэллса, и ей хотелось об этом сказать, но она не посмела вмешаться в беседу физиков.

— Толстой наивен, но умеет слушать умных людей, — продолжал Матя, нависая над скамейкой, на которой сидел, вытянув ноги, Александрийский. Он беседовал с Александрийским, не замечая, что поучает его, хотя этого делать не следовало. Александрийский, как уже поняла Лидочка, свято блюл светившуюся внутри него табель о рангах, в которой ему отводилось весьма высокое место.

— Передача энергии без проводов, о чем мы не раз беседовали с маэстро...

Тут Александрийский не выдержал:

— Вы что, у скрипача стажировались, Матвей Ипполитович? Что за кафешантанная манера?

— Простите, Пал Андреевич, — мгновенно ощетинился Матя. — Я употребляю те слова и обозначения, которые приняты в кругу итальянских физиков, и не понимаю, что вас так раздражает?

— Продолжайте о ваших лучах, которые выжигают все вокруг и топят любой военный флот, осмелившийся приблизиться к вашей таинственной базе!

Лидочка поняла, что Александрийский, конечно же, читал роман графа Толстого.

— Пожалуй, пора по домам, — сказал Матя. — Уже поздно, и вы наверняка устали.

— Нет, с чего бы?

— И уж конечно, устала Лидочка. По нашей милости ей пришлось сегодня пережить неприятные минуты.

— Вы правы. — Александрийский тяжело оперся на трость, но весь вид его исключал возможность помощи со стороны молодых спутников. Так что они с Матей стояли и ждали, пока он поднимется.

Потом они медленно, сообразуясь со скоростью профессора, пошли по берегу среднего пруда, мимо купальни, какие бывали в барских домах еще в прошлом веке, чтобы посторонние взоры не могли увидеть купающихся господ, и вышли на широкую, стекающую к пруду поляну, наверху которой гордо и красиво раскинулся дом Трубецких — хоть и было совсем темно, лишь два фонаря светили возле него, да горел свет в некоторых окнах, дом был олицетворением благополучного уюта, респектабельности — как будто и он приплыл сюда по реке времени, либо они — Лидочка и оба физика — провалились в прошлое, когда дом еще принадлежал своим благородным хозяевам и туда не допускались незнатные физики, художники и прочая разночинная мелочь. Впрочем, что она знает об этих спорщиках — может быть, они потомки графов и князей, только таятся, чтобы их не вычистили из университета!

Совершенно забыв о присутствии Лиды, физики постепенно углубились в специальный разговор, в котором фигурировали неизвестные Лидочке, да и подавляющему большинству людей того времени, слова «позитрон», «нейтрон», «спин», «бета-распад» и «перспективы открытия бета-радиоактивности». Матя увлекся, взяв палку, разгреб подошвой листья с дорожки и стал рисовать палкой какие-то зигзаги, почти невидимые и совсем непонятные. Наконец совсем уж замерзнув, Лидочка сказала, что оставляет их и пойдет домой одна, и только тогда физики спо-

хватились и пошли к дому. И вовремя, потому что как раз когда они снимали пальто под сердитым взглядом чучела медведя, раздался гонг, означавший окончание дня. И сверху по лестнице деловито сбежал президент Филиппов, чтобы лично запереть входную дверь.

— Успели, — радостно сказал он, — а вот кто не успел, переночует на улице.

Президент Санузии наслаждался тем, что кому-то придется ночевать на улице.

Александрийский жил на первом этаже — ему было слишком трудно подниматься на второй, — поэтому он, попрощавшись, пошел коридором, соединявшим главный корпус с правым флигелем. Матя поднялся с Лидочкой на второй этаж и проводил ее до комнаты. Он сказал:

— Глупо получилось, я же вас искал. И с вами хотел поговорить.

— О чем?

— Обо всем. О королях и капусте. Но Александрийский всегда был таким настырным. И вас от меня увел.

— Мне его жалко. Ему так трудно быть немощным.

— Я хотел бы дожить до его лет и не стал бы жаловаться на болезни.

— А сколько ему лет?

— Не знаю, но больше шестидесяти. Перед революцией он был приват-доцентом в Петербурге.

Матя взял Лидочку за руку и поднес ее пальцы к губам. Это было старомодно, так в Москве не делают, Лидочка вдруг смутилась и спросила, заставляя себя не вырывать руку:

— Это так в Италии принято?

— Это принято у поклонников, — ответил Матя.

Лидочка вошла в комнату. Марта лежала на застеленной кровати и читала при свете бра.

— Ты куда пропала? — спросила она.

— Мы гуляли с Александрийским, — сказала Лидочка. — А потом пришел Матвей Ипполитович, и они стали спорить.

— Я думаю, что Александрийский ревнует, — сказала Марта. — Когда-то Матя был его учеником, недолго, в начале двадцатых. И оказался более способным, чем учитель.

— Так все считают? — спросила Лидочка.

Она взяла вафельное полотенце, сложенное на подушке, и стала искать в сумке пакет с зубной щеткой и порошком.

— Это считает Миша Крафт, который для меня — высший

авторитет, — сказала Марта. — Но я думаю, что причина в несходстве характеров. Матя при первой возможности ушел к Френкелю в Ленинград и работал в физико-техническом институте. А потом его отобрали для стажировки в Италии. То, что для Александрийского — предмет планомерного многолетнего труда, Матя всегда решал походя, между двумя бутербродами или тремя девицами. Александрийский считал его предателем, но дело не в предательстве, а в сальеризме Александрийского.

— Матвей Ипполитович совсем не похож на Моцарта, — сказала Лидочка.

— Ты же понимаешь, что дело не в простом сравнении.

Лидочка взяла полотенце и пошла в женскую умывальную комнату.

Лидочка пустила воду. Струя била косо, порциями, будто кран отплевывался. Вода была страшно холодной. Зубы ломило.

Лидочка не услышала, как открылась дверь и вошла подавальщица.

— Вы меня простите, — сказала она, закрыв за собой дверь. — Мне у вас спросить надо.

Лидочка испугалась, будто имела дело с умалишенной, готовой к иррациональным поступкам, но необязательно намеренной их совершать.

Она так и осталась стоять со щеткой в приоткрытом рту, с измазанными зубным порошком губами.

— Вы видели, что я смотрела на мужчину, — продолжала женщина. — Вы его знаете, высокий, с усиками, красивый такой.

Лидочка кивнула. Она чувствовала, как белая струйка слюны с порошком течет по подбородку.

— Мне с ним поговорить надо, — сказала женщина ровным, скучным голосом. — А мне их имя-отчество неизвестны. Вы уж помогите, подскажите мне, гражданочка.

Женщина притворялась. Говорить простонародно она не умела, и дело было не только и не столько в словах, а в том, как она их произносила, — труднее всего подделать интонацию. Если бы Лидочку спросили, кто эта женщина по происхождению, она сказала бы — гражданка, вернее всего, москвичка из образованной семьи.

Лидочка взяла стакан, прополоскала рот, сморщилась от ледяного холода.

— Вы не спешите, — сказала женщина, — мне не к спеху.

Лидочка не могла решить для себя, ответить на вопрос или сослаться на неведение. Но потом поняла, что нет никаких оснований таиться.

— Этого мужчину зовут Матвеем Ипполитовичем Шавло, — сказала Лида. — Он физик, больше я о нем ничего не знаю.

— Шавло? И хорошо, что Шавло. Его тогда все Матей звали.

Под яркой голой лампочкой, висевшей над головой, Лидочка могла разглядеть женщину лучше, чем в столовой. На вид ей было лет тридцать, может, чуть больше. Она была высока ростом и стройна, густые каштановые волосы были убраны под косынку, и без окаймляющих лоб волос лицо казалось более грубым и резким, чем в действительности. Из таких женщин получаются террористки и настоятельницы монастырей. И если у иной женщины в таком же возрасте все еще впереди — и мужчины, и радости, и дети, — у этой жизнь окончена. И если бы не неведомая Лиде, но обязательно существующая цель, эта женщина спряталась бы уже в свой тихий полутемный угол — и доживала, не расцветши. Кем бы эта женщина ни была, она не могла быть подавальщицей в академической столовой.

— Спасибо, — сказала женщина, протянув руку, будто хотела дотронуться до Лиды. — Спасибо вам. Мне не его имя нужно. Важно было, что вы меня не оттолкнули...

Лидочка поглядела на ее протянутую руку. Пальцы были тонкими, некогда холеными, изысканными в своей длине и форме, но распухшими в суставах и огрубевшими.

— Вы знали его раньше? — спросила Лидочка.

— К сожалению, — ответила женщина.

Она сочла возможным скинуть маску подавальщицы, словно выказывая этим доверие к Лиде.

— К сожалению, — повторила она. — Я не ожидала когда-либо его увидеть, как не ожидаешь повторения кошмара.

— Кошмара?

— Вы все равно не поверите. Вы еще молоды.

— Это так кажется.

Неожиданно подавальщица засмеялась. И лицо ее стало мягче, женственней и добрее.

В этот момент дверь в умывальную медленно открылась. В дверях стояла Альбина в шелковом китайском халате.

Она, видно, поняла, что при ее появлении женщины оборвали разговор.

— Я вам помешала? — спросила она высоким, чрезмерно нежным голоском.

— Чего уж, — сказала подавальщица, — я вот щетку куда-то положила, а куда — не знаю. Извиняйте.

Она повернулась и, наклонив голову, быстро вышла из умывальной.

— Как наивно, — сказала Альбина ей вслед. — Я могу поклясться, что она из бывших, а устроилась в прислуги и притворяется. Правда?

— Не знаю, — сказала Лидочка, спеша вытереть лицо и собирая свои туалетные принадлежности.

— Спокойной ночи, — прощебетала вслед ей Альбина.

ГЛАВА ВТОРАЯ

23 октября 1932 года

Утром Лидочка с трудом проснулась — за окном была такая дождливая мгла, такая полутемная безнадежность, словно дом оказался на дне аквариума, полного мутной воды.

Марта уже поднялась и приводила перед зеркалом в порядок прическу. В комнате пахло одеколоном «Ландыш». Лидочка потянулась — кровать отчаянно заскрипела. Марта резко обернулась:

— Ты меня испугала! Как себя чувствуешь?

Лидочка попыталась сесть — все тело ломило.

— Меня, по-моему, всю ночь палками били.

— А ты больше с физиками гуляй! Я удивлюсь, если ты не простудишься, — сказала Марта. — Давай вставай, скорей беги в умывалку. А то там очередь, наверное, а гонг зазвенит — опоздаешь. Филиппов тебя уморит воспитательными беседами.

— А я их не буду слушать.

— Значит, ты никуда не годная общественница. А ты знаешь, что у нас делают с никуда не годными общественницами? Их отправляют па перевоспитание трудом. Я знаю, что президент нашей республики уже разработал систему трудовых наказаний — опоздавшие ко второму удару гонга сегодня направляются на сбор опавших листьев. Под дождем.

— Откуда ты все это узнала?

— Я уже была в умывалке, все новости узнала, все сенсации.

— Даже сенсации?

Лидочка встала с постели, и ее повело — так трещала голова. Она ухватилась за спинку кровати.

— У тебя очень красивые ноги. — Марта критически осмотрела Лидочку. Ночная рубашка была ей коротка, и Лидочке стало неловко, что ее так рассматривают.

— Хороши по форме, и щиколотки узкие — знаешь, я очень люблю, когда у девушек узкие щиколотки. А вот грудь маловата.

Не выпуская расчески и продолжая лениво расчесывать кудри, Марта кошечкой поднялась с табурета, подошла к Лидочке и поцеловала ее в щеку.

— И щечка у тебя пушистенькая. На месте мужиков я бы на тебя бросалась, как тигра.

— Не дай бог, — рассмеялась Лидочка. Она взяла со спинки кровати свой халатик.

— Ты не знаешь главной сенсации, — сказала Марта, возвращаясь к зеркалу, — сегодня ночью кто-то взломал дверь в погреб. Знаешь погреб по дороге к вышке, ну тот самый!

— И что?

— Больше ничего не известно.

— А в погребе что-нибудь лежит?

— В погребе пусто — какие-то доски, но ничего ценного. Замок сломали, а в воде, там вода, нашли спички — видно, они уронили спички и не смогли зажечь свечу.

— Кто «они»?

— Почти наверняка мальчишки из деревни.

— Здесь есть деревня?

— Это условное название — деревня Узкое, я тебе потом покажу, пойдем гулять и покажу — это флигели для слуг и несколько домов — там жила прислуга. Это в сторону Ясенева, напротив конюшен.

Ударил гонг.

— Да беги же! — закричала Марта, подталкивая Лиду к двери. — Даже мыться не надо — пописай и сразу в столовую. Если не хочешь под дождем листья собирать.

— Не хочу, — сказала Лида и побежала в туалетную комнату. Там, к счастью, никого не было. Все уже ушли в столовую.

Кто-то залез в погреб. Лидочка знала, что это была подавальщица или ее сообщники. У нее здесь есть сообщники? Наверное, это сама графиня Трубецкая, которая пытается отыскать свои драгоценности. Разве так не бывает?

Приведя себя в порядок, Лидочка побежала обратно в комнату. Марты уже не было — она ушла в столовую. Лидочка натянула юбку и фуфайку: в доме было прохладно.

Верный Ванюша-рабфаковец — как она могла забыть о его существовании — ждал ее у входа в столовую, не входил, хотя уже прогремел второй гонг. Все сидели за столами, мрачная погода и темное утро подействовали на всех так уныло, что никто не стал хлопать в ладоши и изображать общественное осуждение опоздавшим. Лидочка с Ванюшей прошли к своим местам, и тогда президент Санузии поднялся во весь свой микроскопический росточек и натужно воскликнул:

— Объявляю свою президентскую волю! Опоздавшие к завтраку, среди которых есть Иваницкая, опоздавшая уже дважды, отправляются на сбор листьев в парке. Все, кто посчитает решение президента справедливым, прошу поднять руки.

Над столами поднялось несколько рук. Другие ели кашу, которую разносила пожилая, незнакомая Лиде подавальщица.

— Дружнее! — завопил президент Филиппов.

Кто же его вырастил? — думала Лидочка. Кого он приговаривал и расстреливал раньше? Наверное, был исполнителем в ЧК.

Дружное осуждение не получилось. Тем более что тут же случился казус, потому что дверь снова отворилась, и, оживленно беседуя, вошли Алмазов с Альбиной, а за ними сонный астроном Глазенап.

Лидочке так хотелось подсказать президенту: «Ну давайте, посылайте их на сбор листьев под дождем, я согласна идти с ними!» Но президент сделал замкнутое на замочек личико и отвернулся от вошедших, которые, ничего не подозревая, прошли к своим местам, раскланиваясь и здороваясь. Но тут не выдержал Ванюша.

— Почему же вы молчите, товарищ Филиппов?! — закричал он петушиным голосом. Голос сорвался, Ванюша закашлялся. — Почему же вы других товарищей под дождь в грязи копаться не выгоняете? Нет, вы не отворачивайтесь, вы не морщитесь. Чем они лучше нас?

Поднялся сразу шум, словно все ждали, чтобы начать кричать и стучать чашками, будто все хотели скандала и вот — получили!

— Я не позволю! — вопил махонький Филиппов. — Я не позволю подрывать авторитет моего поста! Меня утвердила общественность санатория, и я сам решаю, кого наказывать, а кого благодарить.

— Вы еще не ячейка! — завелась Марта Крафт. — Вас сюда не для репрессий прислали!

— Я президент!

— Вчера президент, а сегодня мы вас переизберем!

В зал вошел Борис Пастернак, ничего не понял в этом хаосе. Усаживаясь, отыскал глазами Лидочку, кивнул ей и поднял брови, спрашивая: что происходит?

Постепенно шум утих, правда, пришлось вмешаться самому Николаю Ивановичу Вавилову, который призвал не терять чувства юмора и как можно больше заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. Алмазов смотрел в тарелку.

Каша была с комками, но чай крепкий, к нему дали пончик. Лида почувствовала, что не наелась. Голова прошла. Марта говорила в ухо, что Филиппова давно уже надо гнать, но у него рука в Президиуме.

Потом Лидочка взяла свой стакан и пошла в буфетную — аппендикс между залом и кухней, где на столе мирно пыхтел большой трехведерный самовар. Она подождала, пока подавальщица наполнит заварочный чайник.

— Скажите, — спросила Лидочка, — а где вчерашняя женщина, которая нас обслуживала?

— Полина? — спросила подавальщица. — Так сегодня не ее смена. Она завтра будет.

— Вы ее сегодня видели? — спросила Лидочка.

— А вам чего?

— Она мне обещала мяты дать, — сказала Лидочка.

— Откуда у нее мята?

— Не знаю. — Лидочка подставила стакан под струю кипятка из самовара.

Позавтракав, отдыхающие расходились из столовой. Матя подошел к Лидочке и сказал:

— Не обращайте внимания. Если хотите, я с ним поговорю.

— Ничего, — сказала Лидочка, — я сама с ним поговорю.

— Я буду в библиотеке, — сказал Матя, — если вам будет скучно, приходите.

Лидочка вышла в гостиную. В большом алькове висела картина, изображавшая красивую девушку, склонившуюся к источнику. Ванюша, который шел за Лидочкой, сообщил ей тут же, что это возлюбленная князя Трубецкого, которую по приказу Петра Первого заковали в цепи в подвале дворца.

— При чем тут Петр Первый? — строго спросила Лидочка.

— Вот именно. — Ванюша был склонен заранее соглашаться с любой мудростью, которую подарят человечеству уста Лидоч-

ки. — Он ее туда отправил за измену старому князю с одним иностранцем.

Походкой Наполеона, спешащего к Аустерлицу, в гостиную ворвался президент Филиппов. Он повел тяжелым носом и вынюхал невольно замерших у роковой картины нарушителей.

— Вот вас мне и надо, — сообщил он. — Будем трудиться или хотим уклоняться?

Лидочка поглядела сверху на его высушенный, обтянутый пергаментом лобик и поняла, что с таким Наполеоном надо обращаться решительно, как то делал герцог Веллингтон.

— Никуда мы не пойдем, — сказала Лидочка.

— Отлично, — сразу согласился президент, будто именно такой ответ входил в его планы.

— Мы приехали отдыхать, — сказала Лидочка. — Мы приехали на отдых после ударной работы.

— Вот именно, — сказал Ванюша, — я могу показать мою книжку ударника.

— Не надо, — сказал президент, сверля Лидочку отчаянными голубыми глазами. — У меня самого их четыре. Продолжайте ваши тезисы, Иваницкая.

— Я все сказала.

— А я вас призываю не работать, а творчески отдыхать, — сообщил тогда президент. — Потому что каждый врач скажет, что уборка листьев на свежем воздухе — это физкультура и зарядка.

— Вот когда врач скажет, тогда я и пойду, — сказала Лидочка и намеревалась уйти из гостиной, но президент, приподнявшись на цыпочки от боевого энтузиазма, которым он был охвачен, умудрился встать на ее пути.

— А ну, бери грабли и пошли! — прошипел президент. Видно, ему не хотелось, чтобы звуки скандала донеслись до библиотеки, высокая белая дверь в которую была приоткрыта.

— Не смейте так с нами разговаривать! — прошипела в ответ Лида, которой-то нечего было скрывать от читателей библиотеки. Но президент как бы задал тон, и Лидочка ему подчинилась.

— Послушайте, молодые люди, — говорил президент. — Мне про вас известно куда больше, чем вы подозреваете. У меня выписки из личных дел на всех лежат — присылают из Президиума. Я знаю, что ты, Иван Окрошко, в аспирантуре держишься на ниточке, хоть и внешне пролетарского происхождения, ввиду общей неграмотности. Так что ты сейчас надеваешь ватник

и с песнями идешь в парк. И еще будешь мне благодарен до конца срока, что я не сигнализировал, как ты вредно отзывался о диктатуре пролетариата.

— Я никогда не отзывался, — напыжился Ванюша. Но он был уже сражен.

— А еще вопрос — кому поверят, а кому нет. У меня революционный стаж и верная служба, а у тебя? Еще надо проверить.

— А вы проверьте, — рискнул рабфаковец.

— Он идет, идет, — сказала Лидочка, которой стало жалко Ванюшу не потому, что он был раздавлен мелким мерзавцем президентом, а потому, что делалось это с садистским наслаждением в ее, Лидином, присутствии, а Ванюша не смел достойно ответить, видно, сам не был уверен в чистоте своего пролетарского происхождения. — Иди, Ваня, — повторила она. — Я тебя догоню.

Ванюша еще колебался. Он сделал шаг, остановился.

— Ватники на первой вешалке висят, там для них специально сделано, — показал Филиппов, который понимал, что Лидочка уходить не хочет, — значит, впереди второй бой и грядущая его, Филиппова, победа.

Ванюша ушел, повесив голову. Президент расправил плечики, и Лида могла дать голову на отсечение, что за последние минуты он подрос.

Мимо прошел один из Вавиловых. Президент на секунду отвернулся от Лиды, потому что надо было стать во фрунт и поклониться власти, и спинка его, узкая и согнутая, стала жалкой и патетической, его хотелось пожалеть, погладить. Наверное, он собирает марки, подумала Лида, сидит вечерами над альбомом, горбится и боится, что за ним придут. У него не может не быть, как говорят англичане, скелета в шкафу — страшной тайны прошлого.

Особенность времени заключалась именно в том, понимала Лида, что в обществе было очень мало людей, не несших в себе страха. Причем каждый боялся не только за себя, за своих близких — он боялся самого себя. Некий президент Филиппов мог подойти к тебе и напомнить о существовании забытой тетушки, которая угодила в ссылку, либо о твоем юношеском романе с дочкой генерала, а то, что еще опаснее, о том, как ты на первом курсе или даже еще в школе подписал какое-то обращение в защиту Троцкого или его платформы. Ты уже и думать забыл о Троцком и о платформе, а твоя подпись, попав в соответствую-

щее учреждение, уже зажила собственной жизнью, и вот уже допрашивают других, оставивших свои легкомысленные автографы на пожелтевшем листе бумаги. Кто таков? Не то Иванов, не то Ивашко... кто так неразборчиво подписался? Не он ли — ваш организатор и вдохновитель, не он ли держал связь со Львом Давыдовичем, нашим врагом и известным шпионом? Как? Вы думаете, что это подписался Коля Ивашкин из параллельного класса? Замечательно. Давайте подумаем, где нам теперь отыскать этого мерзавца, который втравил вас в авантюру, лишившую вас образования, свободы и, может быть, жизни... И вот ты уже в паутине.

А так как подобные случаи происходили нередко и были всем известны, скелеты, выпадая из шкафов, пришибали своих бывших хозяев хуже кирпичей, и за исключением уж самых глупых или сиротских пролетариев каждый просыпался ночью в ужасе — в шкафу зашевелился проклятый скелет! И становилось страшно проговориться в гостях или на службе о каком-то родственнике или знакомом, потому что если ты давно не видел человека, то за эти месяцы он мог превратиться во врага.

К осени 1932 года всеобщий ужас перед скелетами, ужас перец приговором, который каждый носил в себе, еще не стал всеобщим. Пройдет года три, прежде чем страх подавит собой государство. Но и тогда власть демагога или доносчика была, как и положено в сходящем с ума обществе, преувеличена настолько, что он мог погубить соседа, сослуживца или человека, от него зависящего, одной строчкой или фразой, и чем подлее он был или чем больше боялся собственного скелета, тем страшнее становился для окружающих. Ибо такой человек был подобен тонущему, который, размахивая в ужасе руками, нащупывает головы тех, кто плывет рядом, и тащит их в глубину, только бы самому остаться на поверхности.

Лидочка подумала, что в будущем ей следует больше опасаться Ванюши, чем президента Филиппова, и попробовала организовать линию обороны.

— К счастью, — сказала она президенту, — у вас на меня черных карточек нету. И я свободна.

— Нет, не свободна, — ответил президент. — Не могу я вас, гражданка Иваницкая, отпустить. Потому что я приговорил вас к общественному наказанию в присутствии многих людей, в том числе профессоров и академиков. А скажите мне, голубушка, сколько из них ждут не дождутся моей гибели? Одни по нелюбви ко мне, другие из зависти, что я полу-

чаю дополнительное питание в столовой, третьи потому, что мечтают занять мое место. Лучше уж ты иди, потаскай листья полчасика, больше мне от тебя ничего не нужно.

— Значит, ничего на меня в своих папках не нашли? — спросила Лида.

— Не надо так грубо, Иваницкая. Найти можно на каждого. А если на тебя в той папке не было, значит, в другой есть, которая не у меня лежит, а у товарища Алмазова. Может быть, ты еще хуже обречена, чем тот перепуганный Окрошко.

Он был противен, он был циничен и нагл, и он был совершенно прав. Папка с делом Лиды Иваницкой лежала, конечно же, в ОГПУ. А если не лежала, то это было чудо, а кто верит в чудеса в наши дни?

— Какой же вы мерзавец, Филиппов, — тихо сказал Александрийский, появившийся из библиотеки и подошедший незамеченным. — А я вас полагал безобидным дураком.

Президент вовсе не растерялся. Он ответил разговорно, как бы продолжая беседу:

— А теперь безобидных дураков, Пал Андреевич, не осталось. Их всех скушали. Времена голодные пришли. Если хочешь жить, приходится крутиться.

— На чужой счет, — сказал Александрийский. Он был на полголовы выше и, даже несмотря на болезненность и худобу, куда массивнее президента.

— Не за свой же. — Президент шмыгнул носом, и Лидочка поняла, что он пытается скрыть робость. — Я ведь тоже старые времена предпочитаю. Чтобы мы с вами сейчас в шарады поиграли, аспиранток в темных углах пощупали и на лыжах с горки — ау-у! Я вам всегда лучшие лыжи подбирал.

— Ну тогда я думаю, что мы с вами отлично друг друга понимаем, — сказал Александрийский. — Вы тут же забудете об инциденте и более приставать к Лиде не будете. Я ей обязан и стараюсь всегда платить по счетам.

— Я рад бы, — печально сказал президент. — Да не могу. Я уж говорил гражданке Иваницкой — здесь доносчиков человек десять найдется, кто по злобе, а кто из страха... Придется ей поработать.

— Филиппов, не надо меня сердить!

— Ой, только вы меня не пугайте, — разозлился президент. — Вам хорошо, профессор, паек, машина, квартира, похороны по первому разряду на Новодевичьем. Вы можете и не крутиться — вас и так пощадят. А для меня это президентство —

единственная зацепочка. Может, защитит, а может, и нет — если я не профессор, а научный сотрудник без степени во Всесоюзном центре по научной организации труда. Вы ведь даже и не знали, где я числюсь.

— Это где-то на Мясницкой, — сказал Александрийский, — дом три, если не ошибаюсь.

— Ну и память! — ахнул президент.

— И не только память, — сказал Александрийский. — Во мне еще остались какие-то силы — нет, не физические. Но меня поддерживает ненависть к таким, как вы, которые приспособились и научились лизать им задницы. Именно из-за вас, а не из-за Алмазова происходят все мерзости и преступления в нашей России. Вы готовы отнести на плаху собственную мать...

— Пал Андреевич!

— Не перебивайте меня!

— Я же за вас волнуюсь. А что, если кто услышит?

— Пускай слышит! К счастью, я настолько приблизился к настоящей смерти, что могу себе позволить пренебречь смертью, которую придумали ваши наниматели и друзья. Я стал свободен только потому, что завтра умру. И я познал истину — умрете и вы, Филиппов, и Алмазов, и Ягода, и Менжинский — и даже эта девочка Лида. Поэтому скорпионья возня, которую вы ведете, лишена смысла. И когда вас через три года расстреляют, то вы перед смертью еще успеете позавидовать мне, который ушел в могилу мирно и солидно, и даже с похоронами по первому разряду.

— Бог с вами, Пал Андреевич!

— Идем, Лидочка, он тебя больше не тронет.

Александрийский тронул Лиду за рукав:

— Посидим на веранде. Там крыша, и мы не промокнем.

— Давайте я все же немножко поубираю листья, — сказала Лидочка.

— Вы его боитесь?

— Мне неловко перед Окрошко. Он там один.

— Если он джентльмен, то уберет за вас.

— Идите погуляйте с профессором Александрийским. Это будет мое вам задание, — сказал, вдруг просветлев, президент. — Я заменяю уборку территории прогулкой с профессором.

— Ох, хитрец! — Александрийский приподнял трость, словно хотел ударить Филиппова, по тот быстро, не оглядываясь, пошел прочь, на кухню.

— Будет брать пробу с супа, — сказал Александрийский. —

Каждый вечер приезжает его жена, и он выносит ей целую сумку продуктов. Научный организатор труда, глаза бы мои на него не смотрели!

Они стояли в прихожей. Справа был гардероб, где висели пальто и плащи отдыхающих, слева за дверью — раньше Лида не замечала — была вешалка, на которой было несколько ватников и прорезиненных плащей, — оказывается, там одевались наказанные.

Из биллиардной доносились редкие удары. Пока Александрийский одевался, Лида заглянула туда — это была очень светлая комната с громадным дореволюционным столом и даже специальными высокими скамеечками для зрителей. По стенам висели фотографии и акварели. Вокруг биллиарда лениво бродили братья Вавиловы, отыскивая удобные для удара шары.

— Видите черный диван? — спросил Александрийский, подойдя сзади.

Под окном и на самом деле стоял диван, обыкновенный, черный, кожаный.

— На нем умер философ Соловьев, — сказал Александрийский. — Он был в друзьях с князем Трубецким, часто гостил здесь. И умер. Впрочем, откуда вам знать философа Соловьева?

— Мой папа о нем рассказывал, — сказала Лидочка.

— Папа? А кто он?

— Он был морским офицером.

— Он жив?

— Надеюсь, — сказала Лидочка, и Александрийский не стал спрашивать далее.

Они вышли в парк, обогнули дом и перешли под колонны перед фасадом. Там под портиком была скамья, куда не доставал мелкий дождь. Александрийский сразу сел — он быстро уставал. Лидочка не стала садиться, она прошла к краю веранды — хотела поглядеть, как там трудится аспирант Окрошко. Аспиранта она не увидела, но зато на дорожке, ведущей к холму с вышкой, увидела высокую обтекаемую фигуру Мати Шавло. Он шагал, медленно покачивая вперед и назад зонтом, словно подчеркивая им свои мысли.

Матя остановился, видно, намереваясь повернуть обратно к дому, но тут из-за угла дома появилась подавальщица Полина — Лиде было ее хорошо видно — и окликнула Матвея. Дул ветер, поскрипывали высокие лиственницы, росшие у кухни, шумел

дождь — звуки беседы до Лиды не долетали, зато видно было, как Матя резко обернулся к женщине, которая остановилась шагах в десяти от него, и стал ее слушать, наклонив зонт в сторону, чтобы не мешал. Подавальщица говорила быстро, прижав руки к груди. Она была без зонта, во вчерашней шинели.

...Полина сказала что-то неожиданное, удивившее Матю. Настолько, что он откинул зонтик назад, как ружье, на плечо, а сам сделал шаг вперед. Женщина выставила руку, как бы останавливая его движение. И заговорила вновь. Но он не хотел больше ее слушать. Это видно было по тому, как зонтик принял вертикальное положение, а сам Матя развернулся и пошел к дому. Женщина не пыталась его задерживать. Она стояла под дождем, прижав кулаки к груди.

Матя уходил от женщины все быстрее, вот-вот побежит. И буквально врезался в Алмазова, который шел в ту сторону, где гулял Матя. Алмазов был в кожаной куртке и кожаной фуражке — к такому наряду зонта не требовалось...

— Что вы там увидели? — спросил Александрийский.

— Ваш любимец Шавло беседовал с одной таинственной женщиной, — сказала Лидочка. — Она ищет сокровища Трубецких. Она предложила Матвею Ипполитовичу долю, если он ей поможет таскать сундуки.

— А он, конечно же, отказался, — сказал Александрийский.

— Судя по поведению, да. Но почему, профессор?

— Неужели, девушка, вам это не ясно? — удивился профессор. — Матя Шавло бескорыстен, и слухи о том, что он привез из Италии два вагона барахла, сильно преувеличены.

— Вы ему завидуете, профессор? — сказала Лида. — Нет, не отрицайте, по глазам вижу, что завидуете.

— Разумеется. Я меняю костюмы только четыре раза в день, а он — восемь.

Лидочка продолжала наблюдать за Матей. Сквозь стволы и переплетения почти голых ветвей ей было видно, как он перекинулся несколькими словами с Алмазовым. Матя махнул рукой назад — этот жест мог сопровождать рассказ о подавальщице, которая приставала к ученому. А может быть, разговор шел о другом.

— Что еще нового? — спросил Александрийский.

— Теперь они беседуют с Алмазовым.

— Не может быть, чтобы столько людей любило гулять под дождем.

Александрийский поднялся со скамейки и, опираясь на

трость, подошел к Лиде. Алмазов и Матя все еще продолжали говорить. Потом Алмазов пошел обратно к дому. Получалось, что он специально выходил под дождь, чтобы перекинуться несколькими словами с Матей. Или Матя что-то сказал, заставившее Алмазова изменить свои планы?

— Подглядывать плохо, — сказал Александрийский. — Идите ко мне. Хотите, пойдем в дом? Здесь холодно и неуютно.

И в самом деле в парке было холодно и неуютно. Снова поднялся ветер, он трепал листья, все еще висевшие на мокрых черных ветках. Лист жести на крыше круглой беседки оторвался и неровно бил по дереву. Лидочка проводила Александрийского до дома, но тут увидела Ваню Окрошко.

— Я добегу до него, — сказала Лида.

— Она принесла кусок сухаря белому рабу, — сказал Александрийский.

— И среди рабов есть люди с черной кожей, но белым сердцем.

— Беги, благородный ребенок, но опасайся самой себя.

— Почему себя?

— А потому что в России слово «жалеть» синоним слову «любить». Пожалеешь — влюбишься.

— Еще чего не хватало! — искренне вырвалось у Лидочки. — Я тысячу лет замужем!

— Простите, не знал. Вы так молодо выглядите.

Сбежав с веранды, Лидочка увидела, что Матвей Шавло идет один, Алмазова он где-то потерял. Матвей заметил Лиду, но не сделал попытки к ней приблизиться и заговорить. Словно не заметил. Он был чем-то удручен или опечален, но Лидочке не было его жалко — каждый в наше время заводит себе друзей по вкусу.

В движениях людей, в запутанном и совсем не санаторном рисунке их действий, в напряжении их отношений Лидочка ощущала предчувствие беды, которая должна скоро обрушиться на этот тихий уголок.

Я как черепаха — мне тысяча лет, думала она, я знаю, что будет наводнение, что идет ураган, а никто не хочет этого видеть. Вы все погибнете в его волнах... И ты, Матя Шавло, талантливый физик с усиками а-ля Гитлер, погибнешь раньше всех.

Сзади Александрийский окликнул Матю:

— Матвей Ипполитович, вы не спешите?

— Я совершенно свободен.

— Ваш собеседник вас отпустил?

— Если вы имеете в виду Алмазова, то они, по-моему, никого и никогда не отпускают на волю.

— Может, у вас найдется минутка, чтобы просветить меня по поводу излучения нейтронов?

Лидочка пошла дальше и уже не слышала, о чем они разговаривали.

Ванюша сгреб громадную кучу листьев и стоял, рассматривая ее, как муравей глядит на Эверест.

— Я готова вам помочь, — сказала Лидочка.

— Вы? Зачем вы пришли? Не надо было приходить.

Ванюша промок. Кепка была ему велика, а ватник висел на нем, как на вешалке. Он был карикатурен. Оказывается, если человека обрить, а потом дать обрасти щетиной, если его малость поморить голодом, затем натянуть на него грязный ватник и рваный треух или кепку, он становится непривлекательным и неумным. Как правило. В том сила ватника и лагерной стрижки, что любой лейтенант охраны искренне считает себя умнее, добрее и лучше, чем заключенный, имеющий гражданское звание академика или писателя-сказочника.

— Я не шучу, я на самом деле хотела вам помочь.

— Я все сделал. Уходите, пожалуйста.

— А если бы на мне тоже был такой ватник? — спросила Лидочка.

— В том-то и беда, — сказал аспирант, — что вы смогли остаться человеком, а я сдался. Я всегда им сдаюсь. Мне так хочется быть свободным, что я всегда им сдаюсь. Вы даже не представляете, что они со мной делают!

Он готов был заплакать и потому повернулся и быстро пошел прочь, в чащу, не разбирая дороги. Он волочил за собой грабли, и они подпрыгивали зубьями вверх.

Наверное, надо было вернуться — без зонтика совсем промокнешь. Но Лидочке так не хотелось в комнаты, что она решила чуть пройтись, и тут же как назло натолкнулась на Алмазова. Лидочка понадеялась, что он ее не заметит, но он заметил, широко улыбнулся. Он был очень здоровым и хорошо скроенным человеком. И мог бы показаться приятным, но от улыбки его лицо становилось подлым.

— Иваницкая, — сказал он. — Я до сих пор испытываю неловкость от вчерашнего инцидента. И я постараюсь искупить свою вину. Знаете, что я предлагаю? Заходите к нам с Альбиной. У меня есть чудесные конфеты — вишня в коньяке. Не приходилось пробовать?

— Большое спасибо, — ответила Лидочка с легким приды-

ханием. Так королева Виктория отвечала индийскому набобу на предложение подарить ей алмаз Кохинор.

— Замечательно, — сказал Алмазов. — Вы меня обнадежили. Теперь я буду в нетерпении ждать.

И неожиданно он схватил Лидочку за подбородок так крепко, что стало больно, и повернул ее голову к себе, чтобы заглянуть ей в глаза. А его глаза казались слепыми.

Лидочка рванулась, правда, несильно — уж очень растерялась, а Алмазов уже отпустил, как бы отбросил за ненадобностью ее лицо и сказал, делая первый шаг в сторону:

— Молодец, девочка. Мы будем дружить.

Лидочке хотелось крикнуть ему вслед что-нибудь обидное, но разве найдешь слова, когда тебя шлепнули и тут же ушли.

Без сомнения, если бы Александрийский увидел сейчас эту сцену, он бы съязвил что-нибудь о Лидочкиной жалости к мужчинам. Хорошо, что он не видел.

И гулять расхотелось — и дождь стал таким отвратительно мелким, холодным, словно ее посадили в яму, полную лягушек.

Лидочка вернулась в дом, разделась под стеклянным взором медведя, прошла сквозь лабиринт, образованный раскрытыми и оставленными сушиться зонтами, к биллиардной. Там все шла партия. На диване, на котором умер философ Соловьев, сидели три похожих друг на друга розовощеких научных сотрудника в толстовках, которые они, видно, специально взяли в Узкое, чтобы донашивать. Если они и знали о кончине философа, то не спешили последовать его примеру.

Лидочка прошла дальше в библиотеку. Она была невелика, но высока, и с верхних полок застекленных шкафов никто никогда книг не брал. Рыхлая скучная библиотекарша лениво вязала в мягком кресле. За столиком сидел старичок, который вел пальцем по передовице в «Известиях», и молодая женщина с круглым лицом короткими пальцами листала модный журнал двухлетней давности и вздыхала, вглядываясь в рисунки.

Лида подошла к полке с подшивками московских журналов «Вокруг света» и «Всемирный турист». Эти журналы и им подобные, недостаточно идейные издания, были уж два года как закрыты, и их постепенно извлекали из библиотек и сжигали. Но до Узкого, видно, еще не добрались.

Лидочка взяла подшивку «Всемирного следопыта» за тридцатый год, отнесла ее к столику и, как только раскрыла, обнаружила, что отлично помнит все, что там было напечатано. Тут

раздался гонг на обед, и Лидочка не стала испытывать судьбу — она уселась за стол одной из первых.

Ванюша вяло ел борщ, избегая встречаться с Лидой взглядом. Пастернака не было видно. За «академическим» столом сидел один старик Глазенап и крутил головой в поисках собеседника. Почувствовав такую нужду, президент Филиппов оставил свое место в торце «академического» стола и подсел к Глазенапу. Алмазов смотрел на Лидочку в упор, а Альбине был виден и понятен этот взгляд. Она дважды тронула рукав спутника белыми пальчиками, но тот не обращал на нее внимания.

Мне еще не хватало такого поклонника, подумала Лидочка и впервые здесь почувствовала, что страх, владевший прочими людьми, вторгся и в ее, казалось бы, защищенное от него сердце. До этого момента Лидочке казалось, что бояться может лишь тот, кому есть что терять. Ей же нечего было терять в 1932 году нашей эры... Но пока ты существуешь здесь, ты хочешь жить. Между твоей жизнью и смертью стоят Алмазов и другие люди, которые при исполнении служебных обязанностей надевают фуражку с голубым околышем. Ты можешь сейчас же встать из-за стола и уехать в Москву. И вернуться в свое тесное, населенное тараканами и людьми общежитие, а завтра дверь откроется без стука и, растянув до ушей слишком красные губы, войдет чекист Ян Алмазов и пригласит тебя в кино.

Есть не хотелось. Здесь кормили куда лучше, чем в городе, куда лучше, чем в институтской столовке или диетической столовой на Мясницкой. Марта говорила, что подсобное хозяйство еще тикает, поставляет ученым то поросенка, то яички. Но жители Узкого сильно воруют — идет война между директором санатория и прислугой.

Не дождавшись третьего, Лида поднялась и пошла прочь. В дверях она встретила Марту, за которой топал Максим Исаевич.

— Лидуша, ты куда пропала? — спросила Марта.

Лида хотела было ответить, но мужская рука легла ей па плечо.

— Ты что не доела казенных котлет? — спросил Шавло. — Желания нет или мяса в них нет? Это я сам сочинил только сейчас и поспешил догнать тебя и сообщить.

— Это замечательные стихи, лучшие в мире стихи, — сказала Лидочка.

— Вы курите? — спросил Матя.

— Нет, но вы кури́те, кури́те, я не возражаю.

— Пошли в биллиардную?

В биллиардной было пусто. Они сели на черный диван, и Лиде было неловко перед покойным философом — как будто бы они подвинули его, беспомощного, к стенке.

— Вы знаете, — сказала Лидочка, — что на этом диване умер философ Соловьев?

— Который был другом хозяина дома, который с другими был тоже знакомый... вы любите детские стихи? Я люблю детские стихи.

— Вы очень веселый. Что случилось? — спросила Лида. В конце концов это он ее сюда завлек, поэтому она имеет право задавать ему вопросы.

— Голова работает, работает, — сказал Матя, — а потом в ней — щелк — и есть идея! Мы с Александрийским разговаривали. Он меня замучил — зануда отечественной физики. Если бы он не был таким занудой, из него получился бы второй Резерфорд.

— Или маэстро Ферми?

— Нет, маэстро Ферми — любимец богов. Это выше, чем талант.

— Вы его уважаете?

— Я его обожаю. Я расставался с ним, как с недолюбленной девушкой.

— А почему вы уехали?

— Потому что кончился срок моей командировки и для меня оставался лишь один выход — вернуться домой.

— Или?..

Сигареты Мати испускали иностранный аромат. Приятно было нюхать их дым.

— Или изменить родине, — сказал Матя, — что для меня исключено. Да не улыбайтесь, это не от страха. Я вообще не такой трус, как вам кажется.

— А мне не кажется.

— Тем более. Передо мной стояла дилемма — либо остаться за границей, уехать в Америку, куда меня звали, либо же покорно вернуться сюда и снова стать одним из научных работников, имеющих право выезжать на научные конференции в Бухарест или Ригу... Пока кто-то из твоих коллег не сообщит, что ты во сне видел Троцкого...

— И вы выбрали такой путь?

В биллиардную вошел Алмазов, уселся на высокую скамеечку. Между ними был зеленый, очень пустой стол. Алмазов сидел на голову выше.

— А что ему оставалось? — спросил Алмазов, глядя на Ли-

дочку. — Если у него в Москве старая мама и сестра, страдающая последствиями менингита.

Он тоже закурил, у него были папиросы «Казбек», и запах от них был неприятным.

Матя не обиделся на то, что Алмазов подслушивает и выдает его семейные тайны. Он вообще был добродушно настроен и, как большой, красивый, талантливый и даже избалованный жизнью человек, обижался куда труднее, чем люди несчастные и маленькие. В нем была снисходительность к чужим слабостям.

— Подслушивать плохо, Алмазов, — сказал Матя. — Я уединился с прекрасной дамой не для того, чтобы терпеть ваши угрозы.

— А куда вы от меня денетесь, — усмехнулся Алмазов.

— Не думайте, что вы всесильны, — сказал Матя, — вы даже больше слуга, чем я.

— Вы тоже слуга.

— Чей?

— Директора вашего института, например.

— Слуга Якова Ильича? Да вы с ума сошли! Для него такая мысль была бы оскорбительной.

— Вы слуга нашего государства, нашей партии и в конечном счете вы мой слуга, — сказал Алмазов, затягиваясь. Он был одет странно, но никто этой странности не замечал — на нем был широкий модный пиджак, но брюки галифе и блестящие сапоги.

— Давайте не будем спорить, каждый все равно останется при своем мнении. Мне кажется, что скорее вы мой слуга, Ян Янович, — сказал Матя. — Я вам нужнее, чем вы мне.

— Вы нужны не мне, а нашей родине, — сказал Алмазов.

— Мы договорились обходиться с вами без громких слов.

— Куда от них денешься, Шавло. Кстати, доктор Шавло, сбрейте фашистские усы. Предупреждаю, это для вас плохо кончится.

— Потому и не сбриваю.

— Вы любите Гитлера?

— Не выношу. Но лучше Гитлер, чем некоторые другие.

— Не рискуйте, Шавло.

— Гитлер — борец за права рабочего класса. Вы не читали его работ, комиссар. Не сегодня завтра мы найдем с ним общий язык!

— Немецкие рабочие во главе с товарищем Тельманом не покладая рук борются с призраком фашистской диктатуры. Фашизм не пройдет!

Лидочка вдруг поняла, что Алмазов не такой умный, как кажется сначала. Что она и другие люди награждают его умом, потому что видят в нем не человека, а представителя страшной организации, а значит, и частицу ума этой организации. И вот когда Алмазов говорит как часть организации, его надо слушать и бояться, но если он вдруг начинает говорить от себя, значит, говорит еще один человек, который боится. И значит, уже не очень умный.

— Все, — сказал Матя, разводя руками, — вы меня убедили, Ян Янович, я готов занять место в одном ряду с товарищем Тельманом и Розой Люксембург.

— Ее убили, — сказал Алмазов.

— Ай-ай-ай, — сказал Матя. — Вы?

— Нет, фашисты... — Алмазов улыбнулся по-мальчишески, взял себя в руки. — Ладно, вы меня поймали, Шавло. Но это случайность, которая только подтверждает общую закономерность. Все равно вы сдадитесь.

— Ни в коем случае. А на что вы претендуете?

Алмазов рассмеялся. Подмигнул Лиде и сказал:

— Вы уступите мне девушку.

— Никогда!

— Не зарекайтесь, Шавло.

— А меня кто-нибудь спросил? — вмешалась в разговор Лидочка.

— А тебя, голубушка, и не спрашивают. Ты комсомолка и должна подчиняться дисциплине.

— Я такая же комсомолка, как вы ветеран Бородинского сражения!

— Грубо, Иваницкая, — сказал Алмазов. — Но я вас прощаю.

— Даже если бы вы не были таким противным, — сказала Лидочка, отважная в тот момент отвагой кролика, который прижался к человеку и потому может скалиться на волка, — я бы все равно на вас не поглядела, потому что вы предатель.

— Я?

— Вот именно! Вчера вечером вы умудрились бросить меня на дороге вместе с больным человеком. Где же была ваша галантность?

— Лидочка, вы не правы, — вмешался Матя. — Вы были плохо одеты и непричесаны. Как же нашему другу было разглядеть за этим вашу красоту?

— Вы выходите за рамки! — громко сказал Алмазов и поднялся. Он быстро вышел, преувеличенно стуча сапогами, а Матя сказал ему вслед:

— У нашего оппонента не нашлось достойных аргументов в споре.

Он откинулся на спинку дивана, раскинул руки, так что правая рука лежала за спиной Лиды.

— Мы оба были не правы, — сказал он. — Мы дали увлечь себя эмоциям.

— Он тоже!

— Для него это не играет роли. Никто, кроме нас, не видел его лица и не слушал его оговорок. А если вы захотите напомнить... вам же хуже.

— Вы в самом деле обеспокоены? — спросила Лида.

— Да. Всерьез. — Матя посмотрел на приоткрытую дверь.

— Закрыть? — спросила Лида.

— Нет. Я думаю, он не подслушивает... Черт побери, я не хотел бы, чтобы мое дело сорвалось.

Лидочка не задавала вопросов, захочет — сам скажет. Не захочет, она переживет. Большая теплая ладонь Мати по-хозяйски улеглась на ее коленку. Тыльная сторона кисти была покрыта редкими темными волосами — как же она раньше не заметила этого?

Лидочка стала сталкивать пальцы Мати с коленки, пальцы сопротивлялись. Матя был доволен этой небольшой схваткой.

— Повышенная чувственность, — ворковал он, — свойственна творческим натурам. Не исключено, что это одно из выражений таланта.

Лидочке удалось справиться с пальцами Мати, и тот принялся рассматривать свои ногти.

— Пушкин с точки зрения обывателя — козел, — сказал физик.

— Матя!

— Обывателю куда интереснее узнать, завалил ли поэт жену Воронцова в приморской пещере, чем твердить с детства: «Мой дядя самых лучших правил... когда простой продукт имеет».

— Вы не правы и знаете, что не правы!

— Вы сердитесь! Вам это идет. Ноздри раздуваются, глазки сверкают.

— Я не сержусь. Почему я должна сердиться на санаторного донжуана?

— Лидочка, вы ангел! Найти такие точные слова!

— К тому же далеко не все великие люди были... сладострастными.

Лидочка чуть было не сказала: «Ленин, например», — но испугалась. А Матя ее почти понял.

— Дайте пример! Наполеон? Наполеон был слаб... физически слаб. Но в меру своих сил очень старался.

— А ваш Муссолини?

— К счастью, он не мой. Но совсем недавно один из его романов чуть не кончился трагедией. Одна французская актриса решила его соблазнить и в том отлично преуспела.

Почувствовав, что завладел вниманием собеседницы, Матя достал трубку, принялся ее набивать табаком. Лидочка вдруг поняла, что ждет, когда он зажжет трубку, ей нравился запах дорогого табака.

— Она сдуру начала афишировать эту связь, и ее пришлось выслать из Италии.

— Почему?

— Это же католическая страна, в конце концов!

— Но он же фашист! Ему все можно.

— Ему многого нельзя. Диктаторы, моя душечка, куда более ограничены в явных грехах, чем обыкновенные люди.

— И чем все это кончилось?

— Актриса стреляла во французского посла и ранила его. И попала в тюрьму.

— Ну в посла-то зачем?

— За то, что он хотел выгнать ее из Италии.

— Ваша история ничем не подтверждает идею о чувственности знаменитостей.

— Или возьмем, к примеру, Гитлера, — продолжал Матя. Он раскурил трубку, и Лидочка втянула ноздрями волнующий запах. Это был запах хорошей дореволюционной гостиницы — табачный дым, кожа, одеколон и кофе... — У Гитлера, конечно же, были любовницы. Мне рассказывал о его романах один приятель — немецкий чиновник от науки. Партиец.

— Коммунист?

— Нет, наци. Они тоже называют друг друга товарищами по партии.

В словах Мати была крамола, хотя, казалось бы, он не сказал ничего предосудительного.

— И он знал о любовницах этого фашиста?

— Вся Германия шепталась о его драме. Гитлер выписал из Австрии свою сестру, фрау Раубал.

— Почему из Австрии?

— Потому что он австриец, и вроде бы у него фамилия Шикльгрубер.

— Ну и что? — Лидочка чуть отодвинулась, потому что рука Мати вновь пришла в движение.

— Его сестра должна была помочь Гитлеру по хозяйству — все-таки холостяк, а у него дома бывают разные люди. Сестра привезла с собой дочку, которую звали Гели. Гели Раубал. То есть родную племянницу Гитлера, совсем еще девочку.

— А Гитлеру сколько лет?

— Ну уж точно больше сорока! В общем, Гитлер без памяти влюбился в племянницу.

— Не надо. Зачем об этом рассказывать?

— По той простой причине, что это — чистая правда.

— Я видела в «Вечёрке» рубрику «Зверский оскал империализма».

— Вы бы тоже могли стать моей племянницей. И я бы в вас влюбился. Не надо морщиться — я говорю вам: никакого секрета в том не было. И никто не считал, что это кровосмесительство или что еще... Гитлер открыто показывался с Гели, она даже поселилась в его большой квартире в Мюнхене. И Гитлер решил на ней жениться.

— Когда же это было?

— Недавно. Я уже жил в Риме. Года два назад. Гитлер ревновал, просто с ума сходил. Гели хотела ездить в Вену — она брала уроки пения. А он ее не выпускал из постели.

— Матя!

— Из дому не выпускал. Он даже стал забывать о делах, влюбленность — беда для великого человека.

— Зачем вы так сказали? А вдруг кто-то услышит?

— Негодяи тоже бывают великими.

— Ничем таким ваш фашист себя не проявил! — Конечно же, Матя питает слабость к фашистам.

— Проявит! — уверенно ответил Матя. — Поглядите, как мастерски они устроили поджог Рейхстага и уничтожение коммунистов и социал-демократов.

— Можно подумать, что вы любуетесь ими.

— Бывает совершенство кобры, — ответил Матя. — Я не боюсь вас, Лидочка, вы вовсе не доносчица. У меня чутье. Хотите узнать, чем кончился роман Адольфа Гитлера?

— А он кончился?

— В один прекрасный день, осенью тридцать первого года, между Гитлером и его юной любовницей произошел скандал. А когда он вернулся домой вечером, то Гели лежала застреленной в своей комнате.

— Что? Кто ее застрелил?

— Следствие установило, что это было самоубийство. Она украла у Гитлера пистолет и выстрелила себе в сердце.

— Потому что они ссорились? Или она не хотела выходить за родного дядю?

— Она не оставила и записки — ничего.

— Вы думаете, что ее убил Гитлер?

— Мать увезла тело в Австрию. Там ее и похоронили. Гитлер, говорят, был вне себя от горя и гнева. Он добился у австрийского правительства визы, поехал в Вену и провел несколько дней почти не отходя от могилы своей племянницы-невесты.

— Это странно, правда?

— Мне говорили, что есть разные версии... Что на самом деле ее застрелил Гитлер в припадке гнева. Он не терпел сопротивления.

— А какие другие версии?

— Ее убил Гиммлер.

— Я не знаю, кто это такой. Я знаю в Германии Гитлера и Геринга, потому что этот толстый Геринг выступал на процессе Димитрова.

— Там есть и Гиммлер — он начальник его охраны. Он мог испугаться влияния, которое оказывала на Гитлера Гели.

— Она же молоденькая девушка.

— Вот буду в Германии — спрошу у Гитлера, — сказал Матя.

— Даже не шутите так!

— Говорят, что у него в кабинете и в спальне висят большие портреты племянницы. И когда он вспоминает о ней, то начинает плакать.

— Вы мне рассказываете о каком-то ягненке.

— Я вам говорю о том, что великие натуры — натуры чувственные.

И тут все-таки что-то потянуло Лидочку за язык.

— А Сталин? — спросила она, понизив голос.

— То же самое, — ответил Матя обыкновенно, словно она спросила об их соседе.

Лидочка невольно оглянулась на дверь. Матя чуть улыбнулся и, прервав паузу, произнес:

— В Италию они меня снова не выпустят. Это понятно. Но и сидеть в тихом уголке у Френкеля, который не понимает, куда несется сегодня атомная физика, я не желаю.

— Переходите в другой институт.

— Нет такого института.

— Что же делать?

— Получить свой институт. Только так. Получить свободу работы. Лидочка, девочка моя, меня ведь на самом деле в жизни интересует только работа. Настоящая работа, чтобы в руках горело, чтобы голова раскалывалась!

— Зачем? Работа ради работы?

— Ах, поймала! — Матя легонько притянул ее за плечо к себе и поцеловал в щеку, в завиток выбившихся пепельных волос. — Конечно, не ради головной боли, а ради того, что может дать работа и только работа. А работа дает власть! Сегодня я ничто, и какой-нибудь Алмазов, ничтожество, может изгаляться надо мной, угрожать мне и даже... даже приводить свои угрозы в исполнение. Если я буду самостоятелен, если то, что я могу сделать, изобрести, придумать, исполнится, тот же Алмазов будет приползать по утрам ко мне в кабинет и спрашивать разрешения подмести пол...

— Ой-ой-ой!

— Ты еще ребенок, Лидия. Ты не понимаешь, насколько я прав. Я прав для любой ситуации, для любого государства и трижды прав для нашей Советской державы! Мы как были страной рабов, так и остались таковой. Только поменяли вывески. Наше рабство похуже рабства, которое затевал царь Иван Васильевич... В силу своей натуры я не могу быть рабом, я хочу быть господином. Умным, справедливым господином, — но не ради того, чтобы повелевать людьми, а ради того, чтобы мной никто не смел повелевать. Я не хочу просыпаться ночью от того, что кто-то поднимается по лестнице, и ждать — в мою квартиру или в твою. Не отмахивайся, ты не знаешь, — а я только что из Италии, я жил в фашистском государстве и знаю, что может сделать страх. Завтра это случится в Германии, и с каждым днем эта спираль все круче закручивается у нас. Все тирании схожи.

— Вам надо было уехать в Америку, — сказала Лида.

— Глупости, вы же знаете, что у меня мать и сестра — они бы на них отыгрались. Я уеду в Америку только на моих условиях.

— Я хотела бы, чтобы вам так повезло.

— Не верите?

— Я уже научилась их бояться.

— Ничего, у меня все рассчитано.

— Вы приехали сюда отдыхать? — спросила Лида, чтобы переменить тему. Но Матя не поддался.

— Разве вы еще не догадались, что я приехал, потому что

мне надо решить тысячу проблем? И для себя, и с Алмазовым, который тоже находится здесь в значительной степени из-за меня.

— Вы хотите, чтобы ГПУ дало вам свой институт?

— ГПУ не хуже любой организации в этой стране. По крайней мере, они быстрее догадываются, что им нужно, чем Президиум Академии или пьяница Рыков.

— Если вы живете в Ленинграде, может, вам лучше поговорить с Кировым?

— Я не хочу оставаться в Ленинграде. Это великолепная, блестящая и обреченная на деградацию провинция.

— Ну и как идут ваши переговоры?

— Об этом тебе рано знать, ангел мой, — сказал Матя. — Главное, чтобы они поверили в мою исключительность и незаменимость. Чтобы они заплатили за мою голову как следует.

— Разве Алмазов годится на эту роль?

— А он у них один из лучших. Он даже почти кончил университет. Впрочем, дело не в образовании, а в понимании момента. У них идет отчаянная борьба за власть...

— Вы рискуете, гражданин Шавло!

— Да, я рискую. Но я знаю, ради чего, и у меня высокая карта!

— Может, смиритесь?

— Девочка моя, вы не жили до революции, вы не жили за границей. По наивности, внушенной вам комсомолом и партией, вы полагаете, что во всем мире крестьяне мрут с голода, горожане покупают хлеб по карточкам и за всем вплоть до булавки по милости кремлевских мечтателей надо маяться в очереди. Есть другой мир. И я хочу либо жить в нем, либо заставить их перенести сюда часть этого мира — для меня лично.

— А вы?

— А я взамен дам им новое оружие, о котором Гитлер и Муссолини только мечтают.

— Они возьмут, а потом вас выкинут.

— Так не бывает. — Матя был убежден в себе. — То, чем я занимаюсь, их пугает. Отношение ко мне почти религиозное. Я — колдун. И если я покажу им мой фокус, то стану страшным колдуном. Они не посмеют меня обидеть. Они просты и религиозны.

Рука Мати снова перекочевала на колено Лидочке. Рука была тяжелая, теплая, и коленке было приятно оттого, что такая рука обратила на нее благосклонное внимание. Но Лидочка понимала, что хорошие девочки не должны разрешать са-

моуверенному Мате класть руки куда ни попадя. Потом его не остановишь.

Пришлось руку вежливо убрать, Матя вздохнул, как вздыхают уставшие от скачки кони.

— Вы забываете, что я великий человек, — сказал он как будто шутя.

— Я ничего не забываю, — возразила Лидочка. — Я буду ждать, пока вы станете великим человеком. Пока что вы, как я понимаю, торгуете воздухом.

— Может быть, до сегодняшнего дня вы имели право меня упрекнуть в этом. Но не сегодня.

— А что произошло?

— Пока мы разговаривали с настырным Александрийским, я понял принцип, который позволит создать сверхоружие! Я сделал шаг, до которого не дошел старик Ферми!

— Он старик?

— Господи, вы меня не хотите понять! Ферми моложе меня, ему только-только исполнилось тридцать. Но он — гений.

— А вы? Разве вы не гений?

— Если бы я был ничтожеством или хотя бы середнячком, я бы на вас обиделся, Лида, я бы вас возненавидел. Но я так велик, что комариные укусы прекрасных девочек меня не раздражают. Каждому свое.

— Вы весело настроены.

— Да, потому что я люблю женщин. Умных женщин. Больше всех я люблю вас, Лидочка, и немолодую австриячку, которую зовут Лизой Мейтнер. Я ее очаровал, она мне доверилась.

— Вы в самом деле любите ее? — Еще не хватало ревновать этого петуха к какой-то австриячке.

— Лизе за пятьдесят. Два месяца назад я провел у нее три недели в Берлинском университете. Она рассказала мне о делении атомов урана. Она считает, что именно в уране можно вызвать цепную реакцию деления атомов. Об этом не думал никто. Что вам говорит понятие критической массы урана? Той, после которой начинается цепная реакция? Ничего? Так вот, кроме меня и Лизы Мейтнер, сегодня это ничего не говорит ни одному из физиков мира. Даже Бор или Ферми сделают большие глаза, когда вы об этом расскажете. А через пять, от силы через семь лет наши беседы с Лизой за чашкой кофе перевернут мир. И на перевернутом мире, как на стульчаке, буду сидеть я, собственной персоной, в новом костюме и лакированных ботинках.

А в руках у меня будет бомба, которая может взорвать всю Москву. Смешно?

— Страшно.

— Бояться не надо, бояться будут другие.

— А если эту бомбу сделают?

— Ее обязательно сделают, — сказал Матя. — Не сегодня, так завтра. И все те гуманисты, которые сегодня вопят о сохранении мира, отлично будут трудиться над сверхбомбами или ядовитыми газами. Я лучше их, потому что не притворяюсь ягненком, а понимаю, что происходит вокруг. И, понимая, использую слабости диктаторов. На сеновал придешь, девица?

Лидочка не сразу сообразила, что Матя уже сменил тему, и переспросила его глупым вопросом:

— Что? Куда?

Потом засмеялась. Они оба смеялись, когда пошли прочь из биллиардной. Матя поцеловал Лидочке руку и сказал:

— Прости меня, мой друг желанный, мне надо будет немного почитать в постели — идеи, которые будоражат мой мозг, не дают мне спать спокойно.

Он пошел к себе в правый, северный корпус, где жили академики и профессора, — там у каждого была отдельная комната, а у академиков даже с отдельной уборной.

Лидочка была встревожена разговором с Матей. Матя не шутил и не хвастался. Он был человеком достаточно простым, открытым, он любил нравиться. Вот и Лидочке он хотел понравиться — и если он не мог играть с ней в лаун-теннис, плавать в бассейне, кататься на извозчике по набережной Неаполя, он говорил о своих научных успехах и будущей славе, во что сам верил. Но его решение продаться подороже не показалось Лиде убедительным и безопасным. Алмазов не делает подарков. Сила Алмазовых заключалась в том, что им не были нужны правила игры или порядочность. Если можно было — они брали бесплатно. Если не получалось, платили, но злопамятно помнили, что эти расходы при первой возможности надо возвратить.

Лидочка поднялась на второй этаж. Ей захотелось спать. Дома она никогда не спала после обеда, но свежий воздух и насыщенность жизни событиями склоняли ко сну...

В дверь своей комнаты она стучать не стала — не пришло в голову. Она толкнула дверь и вошла.

Несмотря на то, что день был пасмурным и перед окном длинного пенала, в котором обитали Марта с Лидочкой, стояла

колонна, преграждавшая путь свету, Лидочка во всех деталях увидела любовную сцену, которая разыгрывалась на койке Марты. Правда, потом Марта упорно утверждала, что дверь была закрыта на крючок и лишь дьявольская хитрость и коварство Лидочки, которая хотела скомпрометировать Марту в глазах общественности, и в частности ее мужа Миши Крафта, позволили этот крючок откинуть, не повредив. На самом же деле ни Максиму Исаевичу, ни Марте не пришло в голову закрывать дверь на несуществующий крючок, так как они не намеревались грешить. Максим Исаевич заглянул к Марте, чтобы дать ей последний номер журнала «Огонек», который обещал ей еще за завтраком. А уж потом, слово за слово... Ведь не секрет, что санатории и дома отдыха обладают странным и еще не до конца изученным порочным свойством снижать уровень сопротивляемости порядочных женщин перед поползновениями развратников мужского пола. Впрочем, Лидочка могла бы в том убедиться на своем опыте — ведь только что она сидела рядом с Матей Шавло и не возмущалась, когда тот клал руку ей на коленку.

Лидочка настолько не ожидала увидеть то, что увидела, что, войдя в комнату и поглядев на койку Марты, никак не могла понять, почему большие крепкие ноги Марты Крафт, затянутые в серые шелковые чулки, направлены к потолку, а между ними находится округлая спина в розовой рубашке и обнаженные ягодицы, которые подпрыгивают в такт тонким удивленным вскрикам Марты.

— Как? — вскрикивала Марта. — Как? Нет! Что? Где?

На глазах у Лидочки совместное движение полуодетых тел все ускорялось, и вопросы Марты становились все более громкими и настойчивыми.

Объяснение странному поведению Лидочки можно найти лишь в том, что ее собственный опыт в этой области был невелик и ограничивался лишь Андреем и ей никогда не приходилось видеть акт любви со стороны в исполнении иных людей. Надо сказать, что это представление Лидочке не понравилось и показалось некрасивым.

— Да! Да! Да! — торжествующе закричала Марта, и тут оцепенение спало с Лидочки, и, догадавшись, невольной свидетельницей какого таинства стала, она отступила к двери, правда, к сожалению для всех, уйти не успела.

Марта, придя в себя, воскликнула:

— Ты что здесь делаешь?

Приземистый Максим Исаевич не стал даже оправдывать-

ся — он соскользнул с Марты и ловким движением отыскал на полу возле кровати свои брюки, сделал шаг к окну и быстро стал их натягивать.

— Ой, простите! — сказала Лидочка.

— Шпионка! Диверсантка! — вдруг закричала Марта, натягивая на себя покрывало. Ее черные глаза сверкали ненавистью, и Лидочка поняла, что ей лучше ретироваться.

Так и получилось, что Лидочка оказалась одна в коридоре в половине четвертого пополудни, когда весь санаторий погрузился в послеобеденный сон.

Она спустилась вниз, прошла в гостиную. В гостиной никого не было, а библиотека была закрыта. По стеклам окон текли струйки воды, ели подступали к окнам, чтобы было еще темнее и сумрачней.

И зачем я согласилась поехать в санаторий в это мертвое время? Я же не увижу ни капельки солнца, я буду ходить по этим скрипучим лестницам и мрачным, недометенным залам, откуда даже привидения эмигрировали в Западную Европу, я буду избегать Матю, чтобы он меня не соблазнил, и Алмазова, чтобы не прижал в углу, за что ангельского вида Альбина ночью выцарапает мне глазки. А теперь еще осложнятся отношения с Мартой, которая на меня обижена за то, что я не стучусь, входя в дверь, не говоря уж о президенте Филиппове, который меня не выносит...

Пребывая в таком печальном настроении, Лидочка прошла в альков гостиной, где под портретом молодой женщины, замороженной Петром Великим, стояли павловский диван и два кресла. Возле них торшер. Лидочка решила, что посидит здесь, и хотела зажечь торшер, чтобы не мучиться в полутьме, но торшер, конечно, не зажегся, и Лидочка уселась просто так. Никого ей не хотелось видеть. Ни с кем не хотелось разговаривать.

В тот момент она услышала нежный шепот:

— А я вас искала.

Темная тень скользнула из-за киноаппарата, который стоял перед диваном, и уселась на диван рядом с Лидой.

Лида сразу узнала Альбину, спутницу Алмазова, из-за которой вчера и разгорелся весь сыр-бор. Меньше всего ей хотелось общаться с этой ласковой кошечкой.

— Я как раз собиралась к себе пойти, — сказала Лидочка.

— Ой, не надо врать, — прошептала Альбиночка. — Я же за вами от биллиардной следила. Вы у себя в комнате были, а

там Марта Ильинична с администратором из мюзик-холла, правда?

Альбина засмеялась почти беззвучно, но без желания кого-то обидеть. Ей казалось смешным, как Лида стала свидетелем такой сцены.

— Я все замечаю, — сочла нужным пояснить она. — Я даже не хочу, а вижу. Как будто меня кто-то за руку подводит к разным событиям. Вы не думайте, что это Ян Янович, он даже и не знает, как я все замечаю. А зачем ему знать?

Лидочка не стала возражать. Пускай говорит, потерплю.

Но намерение Лидочки отсидеться, пока Альбина кончит свой монолог, оказалось тщетным, потому что уже следующей своей фразой Альбина удивила Лиду.

— Вы, наверное, думаете, чего меня Ян Янович к вам прислал. А все совсем наоборот. Если он узнает, что я с вами разговаривала, он так рассердится, вы не представляете. Он меня может побить, честное слово...

Альбина сделала паузу, как бы желая, чтобы смысл ее слов получше дошел до Лидочки, а Лидочка успела подумать, что Альбина испугалась соперницы, — она, видно, решила, что Лидочка готова заступить на ее место при бравом чекисте.

— Вы уже, наверное, догадались, что я вам скажу, только вы неправильно догадались.

Альбина говорила вполголоса, впрочем, говорить громко в той гостиной было бы неприлично — такая тишина царила в доме. Альбина, поудобнее устраиваясь на узком диване, подобрала под себя ноги, и диван заскрипел, будто был недоволен тем, что кто-то посмел забраться на него с ногами.

От Альбины пахло хорошими французскими духами — Лида любила хорошие духи, и ей было грустно, что теперь у нее нет таких духов и вряд ли в жизни ей удастся снова надушиться ими. И как ни странно, этот добрый терпкий запах примирял Лиду с присутствием этой чекистской шлюшки — как будто возможность вдыхать аромат была платой за необходимость слушать ее излияния. А может, и угрозы.

— Мне бы не хотелось, — сказала Альбина, — чтобы вы сблизились с Яном Яновичем. Я человек прямой, я сразу вам об этом говорю, без экивоков.

— А почему вам кажется, что мне этого хотелось?

— Нас редко кто спрашивает, — сказала Альбина и улыбнулась, в полутьме сверкнули ее белые ровные зубы. — Нас, красивых женщин, берут, и от нас зависит лишь умение отдаться

тому, кто нам больше нравится. Только, к сожалению, даже этого нам не дают.

— Ваш Алмазов, — сказала Лидочка с прямотой дамы с хорошим дореволюционным воспитанием, — мне ничуть не симпатичен, и я не собираюсь с ним сближаться.

— Я вижу, что вы искренняя, — сказала Альбиночка, — но ваше решение так мало значит!

— Если оно так мало значит, зачем со мной разговаривать!

— Потому что я хочу, чтобы вы отсюда уехали. Тут же.

— Почему?

— Вы ему страшно понравились! Если вы останетесь здесь, Лида, вы обречены. Я клянусь вам.

— Вы ревнуете? — спросила Лида. Чтобы что-то спросить — нельзя же так: слушать и молчать.

— Господи, сколько вам лет?! — Альбина сморщила нос, нахмурилась, сразу стала старше — даже в полутьме видно. Наверное, со стороны они кажутся добрыми подружками, обсуждающими мелкие дела — какую шляпку купить или где достать муфту из кролика. Пустяки... делят чекиста Алмазова, а он Лидочке вовсе не нужен. Не нужен, но как не хочется признаваться в этом мямле с томными глазками. Боишься потерять паек и защиту, надеешься, что он возьмет тебя в жены, и станешь ты комиссаршей на конфискованном фарфоре. Эти мысли неслись где-то в подсознании и никак не отражались на лице Лидочки — она вела себя, как ирокез на ответственных переговорах с бледнолицыми.

— Разве мой возраст так важен? — спросила Лидочка.

— Я думаю, вам не больше двадцати, — сказала Альбина. — А мне уже тридцать.

— И что из этого следует? — Лидочкиному тщеславию захотелось поглядеть на себя со стороны. Приятно быть сильнее и знать, что Альбина вымаливает у нее то, что Лидочке не нужно, то, с чем она готова расстаться, не имея. Но пускай помучается.

— Вы его любите? — спросила Лидочка.

— Господи, о чем вы говорите?

— Тогда зачем вы со мной разговариваете?

— Потому что вы еще ребенок, вы не понимаете, на что себя обрекаете, если попадете в когти этому стервятнику.

— А вы?

— Обо мне уже можно не думать, со мной все кончено. Он — моя последняя надежда, нет, не надежда — он моя последняя соломинка.

Лидочке хотелось ей сказать: «Не говорите красиво!» — но нельзя переступать определенные правила поведения. Хорошо бы кто-нибудь сейчас пришел, и тогда бы разговор кончился...

Альбина, как и следовало ожидать, достала из махонькой бисерной сумочки махонький шелковый платочек. Из сумочки вырвался такой заряд запаха французских духов, что Лидочка чуть не лопнула от зависти. Сейчас бы сказать ей: меняюсь — тебе Алмазов, мне духи.

Альбина промакивала глаза, чтобы не потекла тушь с ресниц.

— Я не могу, он для меня все...

— Я даю вам честное слово, — сказала Лидочка, — честное благородное слово, что у меня нет ровным счетом никаких видов на вашего Алмазова. Мне он даже противен. Я скорее умру, чем буду с ним близка.

— Вы честно говорите?

— Я же дала честное слово.

— Тогда вам надо будет скрыться из Москвы.

Господи, она просто дурочка! Она забыла, где мы живем. Но Лидочка не могла оставить последнего слова за Альбиной.

— Приедет мой муж. Он обещал...

— Ты с ума сошла! — Только тут Лида увидела, как Альбина испугалась. — Умоляю, пускай он не приезжает!

Почему-то тут Альбина задрала широкую шелковую юбку, и оказалось, что на ее панталонах был сделан карман — оттуда Альбина вытащила помятую на углах и сломанную пополам фотографию-визитку и протянула ее Лиде. Можно было лишь угадать, что на фотографии изображен какой-то мужчина и рядом с ним Альбина — они похожи друг на дружку, даже головы склонили одинаково, а у Альбины на шее те же бусы, что сегодня, и так же завиты кудри на висках. Значит, фотография снята не так давно.

Альбина обернулась — никого близко не было — дом Трубецких застыл, сонно зажмурился в полумраке дождливого дня. Она спрятала визитку на место и оправила юбку.

— Поняли? — спросила Альбина шепотом. — Это мой муж. Вам понятно?

Лиде ничего не было понятно. И она задала глупейший из возможных вопросов.

— Он приедет, да? — спросила она.

Альбина смотрела на Лиду широко открытыми глазами, на нижних веках скопилась вода, которая никак не могла превратиться в слезы и скатиться вниз.

— Когда Георгия взяли, — сказала Альбина как во сне, ровно и невыразительно, — то он меня допрашивал... Ян. Он меня допрашивал и отпустил. Но потом приехал ко мне и сказал, что может нам помочь. Хоть дело очень сложное и помочь почти невозможно. Мой муж грузин, вы понимаете?

Лидочка ничего не ответила.

— Все это очень сложно. У них там все перепуталось. Мой Георгий — дальний родственник Ильи Чавчавадзе — это вам что-нибудь говорит? Тогда не важно, это и мне было не важно. Георгий из очень уважаемой фамилии — мы с ним бывали в Вани, там у них дом на берегу Куры, там очень красиво. Но Георгий мне говорил, что он обречен, — а я смеялась, понимаете, он театральный художник — он даже в партию не вступал... Ян сказал, что я одна могу помочь Георгию. Если я буду покорна. Вы меня поняли? Теперь я понимаю, что я тоже обречена. Даже если он спасет Георгия. Вы верите, что он спасет Георгия? Не говорите — я не верю. Он говорит, что время идет и он старается, но не все от него зависит, я играю в театре, и у меня была роль в кино — я сейчас все бросила. Он сказал, что все зависит от того, смогу ли я его полюбить. Он понимает, что я делаю это для Георгия, но, когда Георгий придет, он меня убьет. Вы не представляете, какой он у меня дикий. Но я же не могу... если есть один маленький-маленький шанс. Я должна сделать, чтобы Ян меня любил, если он меня любит, он сделает что-то — он ведь не совсем плохой, иногда бывает такой забавный... Так вы уедете, Лида?

Лида ответила не сразу. Она не думала над ответом, она думала: а что если Алмазов начнет раздевать Альбину и найдет эту фотографию? Наверное, он рассердится, — но куда спрятать фотографию?..

— Вы думаете о другом, да?

— Я думаю... что если я сейчас уеду и постараюсь скрыться, то, может, будет еще хуже. Он вас заподозрит.

— Но я не знаю, что делать! Ну просто хоть вас убивай.

И Лидочка вдруг поняла, что Альбина сказала это совершенно серьезно, что она готова убить Лиду, потому что зашла так далеко в своих жертвах Георгию, что смерть Лиды мало что меняла в ее трагедии.

— Не надо меня убивать, — сказала Лида. — Я обещаю вам, что он ко мне не притронется. А если притронется, я уеду.

— Вы мне даете слово?

— Даю.

— Только не уходите. Я вам все рассказала, а теперь вы одна

все знаете. А мне обязательно надо вам еще сказать, потому что я не могу все хранить в себе. Вы знаете... — Альбина говорила быстро, скороговоркой, глаза ее лихорадочно блестели. — Я должна вам рассказать, что он со мной делает. Георгий очень целомудренный человек, для него любовь —это слияние двух любящих сердец. Вы давно замужем?

Лидочке не хотелось слушать. Альбина была больным человеком — она уже две недели жила в постоянном обреченном ужасе, она поддерживала себя пустой надеждой на возвращение Георгия, хотя знала, как и все вокруг, наверное, знали, что Георгия она не вымолит и не заработает. А если случится чудо и Георгий останется жив, то он на самом деле либо убьет ее, либо, пожалев, бросит — он не сможет жить с ней, как, впрочем, и она... И мука Альбины усугублялась тем, что она вынуждена была сносить косые взгляды, насмешки и даже оскорбления близких, потому что все видели то, что лежало сверху, — ее жизнь при Алмазове, что вдвойне было предательством мужа.

С каждым днем Альбина все глубже увязала в двусмысленности своей жизни — отказаться от Алмазова и с этим от иллюзорной надежды спасти Георгия было невозможно. Значит, надо было сделать так, чтобы Алмазов полюбил ее, чтобы он ее ценил, чтобы ее тело казалось ему лучшим и самым желанным, чтобы ее поведение, ее послушание и всегдашняя улыбчивость ему нравились и радовали его взор. И тогда он, преисполненный благодарности и нежности к ней, освободит Георгия.

Все в Альбине было расколото надвое. Она ненавидела Алмазова — его пальцы ей были отвратительны, его улыбка страшна, а гнилой обломанный зуб — правый клык — вызывал тошноту. Все было ненавистно в Алмазове, — но надо было терпеть, улыбаться ему, разрешать его рукам трогать живот, грудь и ягодицы, вести себя так, чтобы Алмазов не догадался об ее отвращении, наоборот — думал о радости, которую он ей доставляет своими ласками. Ни на секунду Альбиночка, которая всю жизнь до того существовала в атмосфере нежного мужского поклонения, шуток и загородных пикников, мелких театральных интриг и совсем уж пустяковых ссор с ревнивцем Георгием, ни на секунду не могла расслабиться, рискуя показать Алмазову, как на самом деле она к нему относится. Ни на секунду — это было самым страшным, самым трудным, самым невыносимым и вело, как ни странно, совсем уж к неожиданным последствиям. Во-первых — Альбина, опомнив-

шись, сама не могла понять, как такое возможно, — испытывала порой ненависть к Георгию, даже желала ему смерти. Как ты смел сделать то, что ты сделал! Обидеть и рассердить товарища Сталина и товарища Алмазова! Как ты смел вести себя так, чтобы тебя арестовали и мне пришлось из-за этой твоей глупости пойти на такое унижение! Это он, именно Георгий, виновник всех бед Альбиночки, и потому он ненавистен, да ненавистен! Это настроение проходило, сменялось еще большей виной перед страдающим Георгием и пониманием того, что, как бы она ни любила мужа, на что бы ни шла ради его спасения, сами ее действия — смертный приговор их будущей жизни.

Но даже это было не самым страшным. Оказалось, что человек может пасть еще ниже, чем сам предполагает возможным. С самой первой ночи, проведенной с Алмазовым, с ночи, как и последующие их свидания, переполненной ужасом и отвращением, с Альбиной происходило нечто постыдное и необъяснимое, — но происходило. Отчаянно, но лишь мысленно сопротивляясь каждому движению Яна, рукам, которые ее раздевали, тяжелому телу, которое придавливало ее к кровати, губам, которые слюнявили ее губы и щеки, зубам, которые делали так больно ее соскам, Альбина — через пять, десять минут подчинялась ритму Алмазова, воистину становилась его любовницей и забывала на секунды об ужасе и отвращении, потому что проваливалась в пучину позорного безумного наслаждения, и руки ее, помимо воли, прижимали к себе рычавшего Алмазова, и ногти впивались ему в широкую спину, а тело раскрывалось навстречу ударам, которые он наносил ей, а губы искали рот Яна... Когда же обессиленный и потный Ян скатывался в сторону, Альбина прижимала к глазам кулачки и закусывала губу — только чтобы не заплакать, только не показать, какая громадная, удушающая волна ужаса и ненависти к себе накатила на нее... Но Алмазов ничего не замечал, он быстро, но ненадолго засыпал и во сне неразборчиво бормотал и скрипел зубами, а Альбина лежала рядом, на спине, так и не пошевельнувшись, — и мечтала о том часе, когда вернется Георгий, она встретит его, накормит, улыбнется ему, потом пройдет на кухню и выбросится с восьмого этажа: она уже примерилась — створка окна была узкой, но Альбина могла в нее протиснуться...

Не все, но какие-то невнятные обрывки этого внутреннего монолога Лидочка услышала, и поняла остальное, и сжалась в ужасе перед неизлечимой бедой этой милой, очаровательной,

элегантной женщины, созданной для милой и элегантной жизни и обреченной теперь на ничтожество и смерть. И выхода не было, и Лидочка ничем не могла ей помочь.

А сейчас Альбина была занята лишь одной мыслью — не потерять страшного ненавистного любовника, потому что тогда никто не захочет помочь Георгию и ни с чем не соизмеримая жертва Альбины окажется лишней. Ты можешь с болезненным наслаждением думать о том, что выбросишься из окна, когда твоя жертва принесет свои плоды, когда рядом будет спасенный такой дорогой ценой Георгий. Но насколько пуста и никому не нужна смерть в одиночестве, в сознании того, что Георгий мерзнет на Соловках или даже стоит у стены в ожидании залпа.

Лидочка как могла утешала Альбину, хотя понимала, что пройдет несколько минут и Альбина снова начнет терзаться подозрениями...

К счастью, Альбина разрыдалась — она дрожала, пряталась на Лидочкиной груди, словно та была ее мамой, которая утешит и спасет от безвыходности взрослой жизни.

— А я боялась, — бормотала она в промежутках между приступами рыданий, — я боялась, что вы такая... что вы хотите его отнять... а может, я думала, у вас кто-нибудь тоже там... и вы хотите, как я, спасти... А он меня заставляет еще следить, за Матвеем Ипполитовичем велел следить, с кем он разговаривает и о чем... а я совсем не умею следить и не понимаю. Они разговаривают с профессором Александрийским, они говорят про свои дела, а Ян Янович сердится, что я не понимаю... Ой, если он увидит, что у меня глаза распухли, что он со мной сделает...

Лидочке и жалко было Альбину, и хотелось уйти от нее, забыть, как уходят звери от больного собрата — ты не поможешь, но боишься заразиться.

Стало совсем темно, хотя еще не было шести. Лида думала, как сделать, чтобы Альбина ушла, — она так устала от этого разговора и чужого горя. Но никак не могла придумать повода, который заставил бы Альбину подняться.

— Я так боялась, — снова зашептала Альбина, — я так боюсь — у меня неделю назад уже месячные должны были начаться. А ничего нет. Как будто и не должно... Скажите, а может быть, это от нервов? Ведь бывает, что от нервов?

«Господи, — подумала Лида, — за что же ты так жесток к этому созданию? Чем Альбина могла прогневить тебя?»

— Конечно, — сказала Лидочка, — это очень похоже на нервы.

И тут в тишине послышались четкие женские — на каблуках — шаги.

Шаги завернули из прихожей в гостиную. Альбина вскочила.

И тут же щелкнул выключатель и зажегся свет.

В гостиной стояла Марта Ильинична, жмурилась, вертела головой, приглядывалась — увидела.

— Так я и думала, — заявила она. — Где ты могла быть? Свет нигде не горит, в биллиардной Вавилов с Филипповым шары катают... Извините, я помешала, у вас интимная беседа?

Альбина сказала:

— Ничего особенного, — и пошла из гостиной, отворачиваясь от Марты.

Марта смотрела ей вслед и, дождавшись, пока та вышла, спросила:

— Лида, ты что, забыла, кто эта тварь?

— Вы не все знаете.

— Я знаю то, что видят мои глаза. И единственное возможное оправдание для тебя, что она тебе нравится как девочка.

— Я не понимаю.

— Отлично понимаешь, котенок. Но я не об этом.

Марта уселась на диван рядом с Лидой.

— Ох, уморил он меня, — сообщила она.

Лида никак не могла вернуться к мелочам санаторной жизни после монолога Альбины. Она даже не сразу вспомнила, что была свидетельницей романа Марты, и та теперь намерена каким-то образом подвести итоги этой сцене.

— Мне надо идти, — сказала Лида.

— Погоди, успеешь, я только два слова.

Марта дотронулась до плеча Лидочки.

— Мое горе в том, — сказала она торжественно, — что я люблю одинаково страстно и мужчин, и женщин. Видимо, я существо высшего порядка.

Марта тихо рассмеялась и показала ровные желтоватые зубы.

— Максимка — мой старый приятель. Ты еще под стол пешком ходила, когда мы с ним подружились. Я это говорю на случай, если ты что-нибудь подумала.

— Я ничего не подумала!

— Нет, вижу, что подумала! Признавайся, подумала?

— Марта, клянусь вам, я даже ничего не видела!

— Как так не видела? — Этого Марта не смогла перенес-

ти. — Я думала, что всю подушку зубами изорву, а она — не видела!

— Ну видела и забыла.

— Вот и хорошо. У меня к тебе одна просьба — Мишка Крафт не должен ничего знать. У него слабое сердце и нет чувства юмора.

— Он ничего не узнает, — сказала Лида.

— Вот и отлично.

От биллиардной послышались голоса, в гостиную вошли какие-то мужчины, но Лидочке из-за колонн не было видно кто.

— Предупреждаю, — сказала Марта, поднимаясь с дивана, — если этот сексуальный маньяк будет к тебе лезть, отшей его немедленно! Иначе будешь иметь дело со мной.

— Вы о ком?

— Как о ком? О Максиме!

Марта пошла прочь, исчезла за колоннами, и оттуда послышался ее оживленный голос:

— Ну как биллиардные страсти? Надо играть на коньяк, товарищи. А коньяк отдавать дамам.

И Марта заразительно рассмеялась.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Вечер и ночь 23 октября 1932 года

Лиде не хотелось идти на ужин. Она надеялась, что, если спрячется в комнате, не зажигая света, о ней забудут.

За окном лил бесконечный дождь, но само стекло было сухим: в этом месте над входом нависал опиравшийся на колонны портал.

Два фонаря, висевшие на столбах перед домом, освещали начала дорожек, что спускались к среднему пруду. Между дорожками лежал широкий, покатый газон, а за ними стояли ряды вековых лип.

Парк будет таким же пустынным, когда вымрет все человечество — от чумы или от войны. И окажется, что все, еще вчера бывшее антуражем, не более как фоном, частично созданным человеком, а частично использованным, вдруг обернется истинным содержанием земного пейзажа, и окажется, что человек в нем вовсе не обязателен. Это было грустно, еще вчера Лидочка так бы и не подумала, а сегодня не только думала, но и понима-

ла справедливость такого решения судьбы человечества, недостойного лучшей участи. И особенно нелепо было видеть сходство в судьбах двух столь непохожих женщин. Казалось бы, ничего не было общего в приключении, которое устроила себе Марта, завлекши в постель Максима Исаевича, и той тоске, с которой отдавалась вчера и будет отдаваться сегодня Алмазову милая Альбиночка. Сходство было не в соитии, но в отсутствии любви — завтра обстоятельства могут перемениться, и тогда Марта Ильинична будет обнимать Алмазова, наивно полагая, что тот, насладившись ее прелестями, выпустит на волю Мишу Крафта, а Альбиночка, не подозревая, какая чаша ее миновала, заманит к себе в комнату театрального администратора Максима Исаевича, то ли из маленькой актерской корысти, то ли просто от ощущения особой курортной свободы и безнаказанности...

В дверь постучали.

Лидочка не стала откликаться — ей никого не хотелось видеть и было страшно, если это окажется Алмазов. Лидочка вцепилась ногтями в широкий деревянный подоконник, спиной ощущая желание невидимого человека войти в комнату. Какая глупость, что здесь не положены крючки или замки, — это идет от больничных правил, сказала еще днем докторша Лариса Михайловна. Был случай, лет пять назад, когда жена одного академика умерла в комнате от удара; пока стучали, да бегали за слесарем, да ломали дверь — она и умерла. И тогда директор сказал: у нас лечебное учреждение, а не развратный курорт для скучающих баб. И замки, а также крючки сняли. Совет отдыхающих Санузии, оскорбленный тем, что его заподозрили в стремлении к разврату, взбунтовался и устроил митинг, который постановил отказаться от компота. Но Президиум Академии наук поддержал инициативу директора — хотя бы потому, что академики были стары, но у некоторых были молодые жены, приобретенные после революции. Эти жены ездили отдыхать в Узкое и подвергались соблазнам.

Еще раз постучали. Уйдет или нет? Нет, не ушли! Дверь заскрипела, и незнакомый тихий голос несмело произнес:

— Простите, я догадался, что вы здесь, я только на минуту.

Господи, какое облегчение испытала Лидочка от того, что голос принадлежал не Алмазову.

— Входите, — сказала она, оборачиваясь, — я задумалась.

Мужчина приблизился, и по силуэту, по росту и толщине Лидочка догадалась, что рядом с ней стоит старый друг Марты, жертва отсутствия крючков Максим Исаевич.

— Вы сегодня присутствовали... — сказал он и сделал дли-

тельную паузу, за которую он успел извлечь из кармана и развернуть большой носовой платок.

— Присутствовала и забыла, — сказала Лидочка. — И вы забудьте.

— Я как член партии нахожусь в очень сложном и деликатном положении, — быстро заговорил Максим Исаевич, словно в нем открылись шлюзы и он спешил выложить заранее заготовленный и заученный наизусть текст. — Вы не представляете, сколько в театре у меня недругов и завистников. Если же кто-нибудь узнает, что я сблизился с женой сосланного элемента, разве я могу кому-нибудь доказать, что я абсолютно ни при чем — я был завлечен и совершенно не представлял, потому что был уверен, что и в самом деле меня пригласили за номером журнала «Огонек», в котором напечатан очень увлекательный рассказ Пантелеймона Романова, но обстановка меня расположила... да... Да! Что было, то было!

— Уходите, — сказала Лидочка, жалевшая теперь, что так долго слушала этого напуганного человека. В его монологе Лидочке открылся еще один секрет — сколько же ей еще предстоит их узнать! — оказывается, наш Миша Крафт, который находится в ответственной командировке, на самом деле сослан. Но почему тогда Марта попала сюда, в святая святых Академии, уж наверное, об этом должны знать сотрудники товарища Алмазова. Неужели проворонили? Значит, в комнате две соломенные вдовы, и обе таятся...

Максим Исаевич продолжал бормотать, останавливаясь лишь затем, чтобы промокнуть платком потный лоб.

— Тогда я сама уйду, — сказала Лидочка. — Из-за вас мне нет покоя в собственной комнате!

— Нет, вы меня неправильно поняли! — крикнул ей вслед Максим Исаевич, когда она выполнила угрозу, но сам из комнаты не вышел, так и остался в темноте.

Лидочка пробежала несколько шагов. Дверь в кабинет доктора была приоткрыта. Лариса Михайловна сидела за столом и писала в большой амбарной книге. Наверное, составляла отчет об истраченных лекарствах или квартальную сводку об улучшении здоровья вверенных академиков, но Лидочка вообразила, что докторша пишет донос — сидит тут день за днем и пишет донос: «Палата номер три. Содержание палаты: доктор исторических наук Пупкин и младший научный сотрудник Рабинович. Вчера до трех часов ночи вели недозволенные рассуждения об обязательном провале первой пятилетки и невозможности по-

строения Магнитогорского металлургического комбината в одной отдельно взятой стране».

Лидочка миновала кабинет докторши. Сзади скрипнула дверь. Лидочка обернулась — это из ее комнаты выглядывал Максим Исаевич.

Куда деваться?

Лидочка спустилась вниз но узкой служебной лесенке. Там пахло пищей. Отдаленно звенела посуда, слышались голоса. Белый короткий коридорчик заканчивался двумя дверями — Лидочка толкнула ту, что была прямо перед ней, — оказалось, это — клозет для уборщиц: там стояли щетки, метлы и ведра. Лидочка закрыла дверь и повернулась к другой двери. За ней обнаружился коридор: направо он вел на кухню, впереди была комната, где мыли посуду, а налево можно было пройти в буфетную и обеденный зал, откуда доносились голоса — ужин уже начался.

Лидочка стояла в нерешительности, придерживая приоткрытую дверь. Она ждала чего-то, как отбившаяся от стаи антилопа ожидает неминуемой гибели. Неизвестно лишь, откуда она грядет.

Наверху скрипнула ступенька. Кто-то осторожно спускался на первый этаж. Лиде было неприятно, что ее кто-то выслеживает. И даже страшно.

В коридоре было пусто. Лида шагнула туда и повернула налево.

Здесь было светло и многоголосо — страх исчез. Лидочка пересекла буфетную. Навстречу ей спешила толстая подавальщица с пустым подносом. За спиной стучали шаги — из моечной появилась Полина. Она прижимала к груди небольшую кастрюлю. В ту же секунду вновь отворилась дверь, ведущая на лестницу, и из нее вышел усатый мужчина в синих галифе и пиджаке — именно он и спускался вслед за Лидочкой по лестнице.

Увидев Полину, мужчина в галифе предупреждающе крикнул:

— Полина! Полина Покровская, я к тебе обращаюсь!

— А чего? — крикнула в ответ Полина, отступая назад в посудомоечную.

Мужчина пошел за ней.

— Я тебе вчера приказал — представить паспорт и трудовую книжку. Казалось бы — ясное задание?

— Я принесу, ей-богу, принесу, товарищ директор. У меня все документы у тетки на Басманной лежат, честное слово, принесу, ну завтра, а хотите, нынче в ночь поеду?

— Может, и поедешь, только пропадешь — не найти тебя.

Лучше я тебя завтра утром отправлю, приставлю к тебе сторожа Силантьева и отправлю.

— Это почему же Силантьева?

— А знаешь почему, — директор понизил голос, будто секретничал, — потому что он мне письмо прислал, что ты не та, за кого себя выдаешь, и вовсе ты не Покровская, а Полина Луганская, любовница князя.

— Это ж вранье! Вы меня с детства знаете!

— Знаю-то знаю, а сомневаюсь, гражданка Покровская, и попрошу не отвлекать меня разговорами, до утра из комнаты не выходи, а утром телегу дам, Силантьев тебя отвезет.

— Товарищ директор...

— Не могу, Полина. И не проси.

По проходу быстро прошла девочка с черной косой — принесла новый поднос с тарелками. От подноса шел вкусный запах макарон с мясом. Директор проводил поднос взглядом и увидел ненужного свидетеля — Лидочку.

— А вы что здесь делаете, гражданка?

Лидочку оттолкнула толстая подавальщица, которая примчалась за новым подносом, она поменялась подносами с девочкой.

— Посторонись! — сказала она директору, тот смешался и отступил к лестнице.

— Чтобы ни-ни! — крикнул директор оттуда и исчез.

Лидочка хотела идти в зал, но Полина ее окликнула.

— Постойте, погодите, — позвала она. — Одну секунду!

Полина не выпускала из рук кастрюлю.

— Возьми, спрячь у себя! — Голос Полины был чрезвычайно настойчив. Она протянула кастрюлю Лиде.

— Ну что вы!

— Мне же некуда спрятать! Он кастрюлю у меня в руках видел — значит, ночью они обыск у меня в комнате устроят. Разве я не знаю — я их хорошо знаю!

— Но куда я это дену?

— Вы к себе в комнату пока поставьте, под кровать, никто до завтра не будет у вас искать. А завтра, если жива буду, — возьму. Ну скорей же! Христом-Богом молю!

Полина говорила сердито, будто Лидочка была виновата в ее злоключениях. И Лидочка подчинилась. Почему подчинилась? Наверное, потому, что поверила, что жизнь Полины зависит от этой кастрюли.

Кастрюля была тяжелой, Лидочка чуть было не уронила ее.

— Да беги ты! — с раздражением к человеческой глупости вос-

кликнула Полина. Глаза ее казались громадными, черными и даже страшными. Лида стала подниматься по лестнице — и все быстрее, раз только оглянулась — увидела, что Полина стоит и глядит настойчиво вслед...

Верхний коридор был пуст. Только дверь в кабинет докторши была приоткрыта. Лидочка проскочила ее, не оглядываясь, и уже побежала к своей комнате, как услышала сзади голос Ларисы Михайловны:

— Иваницкая, что с вами? Что вы несете?

У тебя мгновение, чтобы придумать ответ.

— Ах, — Лидочка остановилась, оглянулась и ответила сразу, чтобы Лариса Михайловна не успела заглянуть в кастрюлю: — Я горячей воды налила, хочу голову помыть.

— Но сейчас же ужин!

— Вот именно! — Достаточно ли жизнерадостно звучит ее голос? — В душе никого нет, я спокойно вымоюсь.

— Только на улицу после этого — ни-ни! — крикнула добрая докторша.

Лидочка спряталась в своей комнате, закрыла дверь. Темнота в первое мгновение была спасительной, но тут же ей показалось, что Максим Исаевич так и не ушел — все еще прячется в комнате. Крепко прижав кастрюлю к животу, Лидочка нащупала на стене выключатель. Загорелся свет. Комната была пуста.

Лидочка быстро нагнулась и задвинула кастрюлю под кровать.

Лидочка высунула нос из двери — нет ли докторши? Пусто.

Она побежала к главной лестнице, которой заканчивался коридор с левой стороны. То была парадная лестница, с трюмо в рост человека между пролетами. Навстречу Лидочке поднимались незнакомые отдыхающие, по взгляду одной из женщин Лидочка догадалась, что ее прическа не в порядке. Она остановилась, поглядела в трюмо. Не прическа, а воронье гнездо. Лида поправила волосы, потом десять раз медленно вздохнула и тут подумала: ну и глупая я — чего же не посмотрела, что в кастрюле? Неужели сокровища князей Трубецких? А я их— под кровать!

С этими мыслями Лидочка вбежала в столовую, в дверях она столкнулась с Борисом Пастернаком, он уступил ей дорогу. А вот Алмазов, что сидел за средним столом, резко обернулся — через плечо посмотрел кошачьим немигающим взглядом. Альбина сидела рядом, тихая, как мышка.

Лидочка пробежала к своему месту. Там стояла тарелка с макаронами — Марта взяла для нее и сберегла. И ждала.

— Ты что? — спросила Марта.

— Задержалась, — прошептала Лида. И, не одолев внезапного озорства, добавила: — Твой поклонник прибегал, испугался огласки.

— Мой... что? Ах, мерзавец! Заяц толстозадый! Практически изнасиловал меня, а теперь перепугался.

— Девушки, — со своего стола крикнул Матя. — Сегодня танцы до утра! Первый фокстрот за мной!

— Спокойно, спокойно, — прервал поднявшийся гомон президент Филиппов. — Для сведения граждан отдыхающих, которые не в курсе дела или не прочли объявления возле входа в биллиардную, довожу до сведения, что никаких танцев до утра не предусмотрено. Танцы проводятся в большой гостиной под патефон, пластинки привезены уважаемым профессором Глазенапом, за что мы его поблагодарим.

Кто-то по примеру президента похлопал в ладоши, а потом президент завершил свое выступление:

— Завершение танцев с ударом гонга в двадцать два часа ноль минут. Попрошу заявление доктора Шавло считать неудачной шуткой.

Матя развел руками — он сдавался.

Лидочка обвела взглядом людей, сидевших за столами, оживленных и радостно зашумевших, будто они в жизни еще не занимались таким любопытным и радостным делом, как танцы под патефон. Им нет дела до бед Альбины или Полины.

Ванюша Окрошко глядел на Лидочку исподлобья, — видимо, унижение уже миновало и теперь ему страшно хотелось узнать, останется ли Лида на танцы. А где Александрийский? Его не было — надо будет узнать, не заболел ли он.

Как Лидочка ни отводила глаза, все же попалась — встретилась с глазами Алмазова, поймал он ее — подмигнул, как подмигивает рыбак попавшейся золотой рыбке. Альбина смотрела в скатерть и водила по ней вилкой.

Наверное, Лидочка должна была беспокоиться о кастрюле, желать заглянуть в нее — а вдруг там золото или адская машина? Но думать о кастрюле не хотелось — что бы там ни было, все это от Лидочки бесконечно далеко. И не очень интересно. Мало ли что хочется хранить официантке в эмалированной кастрюле.

Быстро проглотив макароны и запив их чаем с лимоном, Лидочка вскочила из-за стола, сказав Марте, что вернется к танцам.

Александрийского она отыскала быстро. Он сидел с Пастернаком в комнате у докторши Ларисы Михайловны. Там горела настольная лампа под зеленым абажуром. Пастернак держал в руке лист бумаги, он читал, лишь иногда заглядывая в него. Лидочка не посмела зайти, но остановилась перед дверью так, что ее можно было увидеть.

Александрийский, сидевший лицом к двери, почувствовал ее присутствие, узнал Лидочку и поднял худую жилистую руку.

— Ворота с полукруглой аркой, — читал Пастернак, не спеша, нараспев, для себя, не заботясь о том, слушают его или нет, — впрочем, это была лишь видимость — конечно же, он слушал, как ему внимают.

— ...Холмы, луга, леса, овсы.
В ограде — мрак и холод парка
И дом невиданной красы.
Там липы в несколько обхватов
Справляют в сумраке аллей,
Вершины друг за друга спрятав,
Свой двухсотлетний юбилей.
Они смыкают сверху своды,
Внизу — лужайка и цветник,
Который правильные ходы
Пересекают напрямик...

Лида понимала, что Пастернак говорит об Узком, об этих аллеях, увиденных точно и преображенных его талантом.

— Под липами, как в подземелье,
Ни светлой точки на песке,
И лишь отверстием туннеля
Светлеет выход вдалеке..

Пастернак оборвал чтение, за мгновение до того как послышался снисходительный голос, добродушный голос Алмазова:

— Развлекаемся?

Пастернак был неподвижен — словно превратился в камень. Александрийский поморщился.

— С какой стати, сударь, — сказал он, — вы мешаете людям? Вас не приглашали.

— А я и не мешал, — улыбнулся Алмазов. — Мы с Альбиночкой шли мимо, и нам так понравились стихи, вы не представляете. Вы поэт, да?

Или он ничего не знал, или издевался над ними.

Так как никто Алмазову не ответил, тот продолжал, будто оправдываясь:

— Я только вчера приехал, а вы, товарищ поэт, наверное, раньше меня. Так что не познакомились. Ага, смотрю — и Лида

с вами. Ну, полный набор молодых дарований. Тогда, товарищ поэт, вы продолжайте, знакомьте нас, практических работников, с изящными искусствами. Я тут заметил, что скоро зима, а вы будто о лете пишете...

Пастернак молча сложил вдвое лист, положил на колено, провел по сгибу ногтем.

— Я приглашаю вас к себе в номер, — сказал Александрийский. — Там тихо, туда не входят без приглашения.

— Правильно, — Алмазов буквально нарывался на скандал, — у вас нам будет лучше. Спокойнее.

Александрийский тяжело поднялся, опираясь на палку. Пастернак поддержал его, помог подняться.

— Вы не устали? — спросил он физика.

— Хорошая поэзия бодрит, — сказал Алмазов.

Комната Александрийского была на первом этаже, но надо было пройти длинным коридором в южный флигель. Лидочка шла сразу за Александрийским и Пастернаком, а сзади не спеша шествовал Алмазов. Словно ждал, когда можно будет продолжить сражение. Альбина отстала. Лидочка подумала, а вдруг Алмазов на самом деле — неуверенный в себе человек, он старается быть главным, страшным и в то же время обаятельным, но не умеет и от робости становится только страшным. Впрочем, Лидочка была не права и понимала это.

Они прошли длинным коридором, по красной ковровой дорожке, у высоких окон стояли вазы с астрами и хризантемами. В доме еще числился садовник, оставшийся от Трубецких.

У Алмазова была возможность спасти лицо — подняться по лестнице на второй этаж флигеля. Но он свернул в узкий коридорчик, ведущий к комнатам того крыла, Александрийский открыл дверь и пропустил Пастернака внутрь. Альбина прошептала Алмазову: «Ян, пойдем на танцы?» Все услышали. Алмазов не ответил.

— Заходите, Лидочка, — сказал Александрийский.

Пастернак сделал шаг в сторону, пропуская Лидочку. Затем вошел сам. Тут же за ним последовал Алмазов.

У Лидочки сжалось сердце... Сейчас!

— Я вас не приглашал. — Александрийский загородил дверь.

— Я имею право, — сказал чекист. — Такое же, как и все.

— Вы не у себя в учреждении, — сказал Александрийский. — Научитесь элементарной истине — есть места, куда вам вход запрещен.

— Ну зачем нам с вами ссориться. — Алмазов из последних сил старался сохранить мир. — Я же ничего не требую, я просто как любитель поэзии пришел послушать стихи. Послушаю и уйду.

— Так вы уйдете, в конце концов, или мне вас палкой гнать?! — закричал вдруг Александрийский.

— Что-о-о? — Тон Алмазова изменился — больше у него не было сил изображать из себя интеллигентного человека.

— А то, — быстро сказал Пастернак, который, как понимала Лидочка, не считал возможным оставить Александрийского одни на один с чекистом, — что я в вашем присутствии не намерен читать. Поэтому прошу вас, не мешайте нам!

Пастернак стал совсем молодым, лицо густо потемнело, кулак, прижатый к косяку двери, чтобы не пропустить Алмазова, сжался.

— Ян, — взмолилась Альбина, — я тебя умоляю!

— Молчать, сука! — Алмазов откинул ее назад, Лидочка видела ее лишь сквозь открытую дверь — Альбина ахнула и исчезла, послышался удар, звон, наверное, Альбина столкнулась с какой-то вазой.

— Или вы меня пропускаете в комнату, — сказал Алмазов низким, хриплым — из живота идущим — голосом, — или пеняйте на себя. Я на вас найду материал — буржуи недобитые! Вы к себе смеете не пускать — кого смеете не пускать... А я вас к себе пущу — пущу и не выпущу.

Альбина всхлипывала за дверью.

— А вы не пугайте, — сказал Александрийский так тихо, что Алмазов замолчал — иначе не услышишь ответа. — Я смертник. Меня нет — я все могу! И я намерен потратить последние дни моей жизни, чтобы жить именно так, как я хочу, словно не было вашей революции, пятилеток, вашей партии и вас, гражданин Гэпэу.

— А вот тут ты ошибаешься, Александрийский, — сказал Алмазов. — Я тебя к себе возьму, и ты перед смертью еще успеешь пожалеть, что меня обидел! Знаешь, что я заметил: старые немощные, как ты, жить хотят куда сильнее молодых.

Лидочка ощутила, как от Алмазова тяжело несет водкой и луком. Она вынуждена была отступить внутрь комнаты.

Александрийский молчал.

— И ты, поэт вонючий, — сказал Алмазов, обращаясь к Пастернаку, — не знаю, кто ты такой и как сюда пролез, но ты будешь у двери моего кабинета на карачках свои стишки читать, понял?

— Нет, не понял! — Пастернак прижался спиной к косяку двери, голова его откинулась назад.

— Хватит, — сказал новый, неожиданно вторгшийся во взаимную ненависть сцепившихся голосов голос. За их спинами у лестницы стоял старший из братьев Вавиловых, Николай. — Хватит шума и криков в санатории. Я прошу вас, Ян Янович, немедленно уйти отсюда. Как я понимаю, вы приехали сюда отдыхать с дамой. Но так как вы не являетесь штатным работником Академии и у вашего ведомства есть свои санатории, то я должен предупредить, что ваше поведение заставит меня обратиться непосредственно к товарищу Менжинскому и сообщить, какие слова и действия вы позволяете в адрес наиболее уважаемых советских ученых. Не думаю, что товарищ Менжинский и товарищ Ягода будут вами довольны.

— Товарищ Вавилов! — За время этой длинной фразы Алмазов успел взять себя в руки. — Простите за невольный срыв — работа, нервы... Я ухожу.

Альбина промелькнула перед дверью, прижимая платок ко лбу. Алмазов пошел за ней. Обернулся и сказал Вавилову:

— Ваши ученые позволяют себе политические провокации.

— Вот мы и квиты, — сказал Вавилов, глядя ему вслед, потом произнес: — А вы, Борис Леонидович, не хотите порадовать нас своим новым опусом?

— Борис Леонидович как раз собирался прочесть нам оду Узкому, написанную недавно, — сказал дипломатично Александрийский.

— Любопытно, очень любопытно, — сказал академик. — Возьмите меня в компанию. Я — плохой танцор, да и боюсь, что президент Филиппов устроит бег в мешках или игру в шарады с разоблачением империалистов.

— Прошу вас, — сказал Александрийский. Пока рассаживались, Александрийский — губы синие, бледный — показал Лидочке жестом на коробку с лекарствами. Лидочка налила из графина воды, и Александрийский принял пилюли. Все ждали, пока ему станет лучше и он даст знак к продолжению чтения. Александрийский стал дышать медленнее.

Вавилов отошел к окну.

— Какой мерзавец, — сказал он тихо.

— Это не он, это они, — сказал Пастернак.

— Спасибо, что вы пришли ко мне, — сказал Александрийский, — Лидочка, закройте дверь. А вы, Борис Леонидович, не сочтите за труд!

Пастернак вновь прочел стихотворение, посвященное Узкому, Лидочка запомнила последнюю строфу:

На старом дереве громоздком,
Завешивая сверху дом,
Горят, закапанные воском,
Цветы, зажженные дождем.

Странно, мы все умрем, а это стихотворение будет жить отдельно от нас, и через сто лет читатель, не ведающий о давно разрушенном Узком, будет представлять себе иные аллеи и иные поляны...

Пастернак потом читал и другие свои стихи — может, написанные здесь, а может, и раньше, но слушатели уже не могли до конца подчиниться его голосу: тень Алмазова осталась в комнате и даже сильный характером и влиянием Вавилов нет-нет, а бросал взгляд на дверь, словно за ней остался, подслушивая, Алмазов.

Пастернак назавтра собирался уезжать — если, конечно, грузовичок сможет выбраться по размытой дороге.

— Вы не останетесь еще?

— Нет, здесь плохой климат!

— Ну что вы! — наивно воскликнула Лида и осеклась со смущенной улыбкой.

— Но я рад, что вновь встретился с Павлом Андреевичем и с вами, Лида. Мне нечего подарить вам в знак восхищения... не примете ли это?

Он протянул Лидочке лист, на котором было написано «Липовая аллея».

— Может быть, — спросил академик Вавилов, — мне в настоящих обстоятельствах проводить вас до вашей комнаты?

— Не беспокойтесь, — сказал Пастернак. — Я сам провожу Лиду.

Вавилов остался у Александрийского, они принялись обсуждать какие-то университетские проблемы. Пастернак проводил Лидочку до комнаты. Он был рассеян, молчал, и Лидочка подумала, что он жалеет, что отдал ей автограф.

— Может, мне вернуть? — спросила она. — А то вы забудете слова?

— Слова? — вдруг он улыбнулся. — Слова этой песни мы знаем наизусть, — сказал он. — Простите, что я недостаточно галантен. Но уж очень негалантное время.

— Я вас прощаю. По крайней мере, вы вспомнили о существовании такого слова.

У двери в девятнадцатую комнату Пастернак поцеловал Лидочке руку и сразу ушел, будто его существование в Узком уже завершилось и он мысленно пребывал совсем в другом месте.

Лидочка толкнула дверь, дверь открылась. Комната была пуста. В тишине было слышно, как за открытой форточкой скворчит дождик, а снизу из гостиной доносится патефонная музыка.

Она вдруг разозлилась на Пастернака. Какое он имел право оставить, ее одну, когда ее преследует Алмазов? Поэты — эгоисты. Придя к такому выводу, Лидочка аккуратно положила автограф Пастернака на тумбочку — когда будет светло, она спрячет его получше, но сейчас не хотелось зажигать свет, доставать из-под кровати чемодан... А там кастрюля! Лидочка замерла — как же за суматохой последнего часа она могла забыть о тайне, которая ей доверена? Тайна ли?

Лидочка нагнулась и хотела достать кастрюлю. Бок кастрюли был прохладный и скользкий. А вдруг Полина вредительница и в кастрюле находятся документы или что-то плохое, из-за чего погибнет Лидочка?.. Чтобы превозмочь липкий страх, Лида сказала вслух:

— Шпионов не бывает! Это выдумка!

Но легче не стало — кастрюля уже не вызывала первоначального любопытства. Лида толкнула ее пальцами — кастрюля отъехала вглубь. Тебе доверили вещь — плохую ли, хорошую, но доверили. И как только ты ее приняла, ты этим вступила в какие-то отношения с Полиной. И заглядывать в кастрюлю — нечестно.

И все же... что там может быть? Любопытство, заложенное в людях, чаще всего отвергает законы осторожности и доводы разума...

Остановись, сказала Лидочка самой себе, подавальщица Полина утаила от ужина пять порций макарон с мясом, которые хотела отнести себе в деревню, чтобы накормить своих детишек.

Это объяснение показалось ей убедительным и совсем не романтическим. И она даже намеревалась подняться с колен, как дверь за ее спиной распахнулась и женский шепот произнес:

— Она у Александрийского сидит, стихи читает, у нас есть время, вы скажите, чего хотели сказать!

— Я хотел любви, — отозвался мужской голос.

Затем последовал какой-то шум, — видно, две темные фигуры в дверях, то есть Марта и неизвестный, принялись бороться: Марта не торопилась войти, а мужчина хотел закрыть за собой дверь. Что ему и удалось.

— Но почему? Почему? — требовала Марта. — У вас же комната отдельная.

— За ней следят, она под наблюдением, — ответил мужчина, и тут все еще стоявшая на четвереньках Лидочка узнала во владельце голоса самого президента Санузии товарища Филиппова. Она не сразу поверила своим ушам, потому что была уверена, что в роли соблазнителя должен выступать Максим Исаевич.

— Но если Лида вернется...

— Вы же сами сказали! — Президент громко дышал и шуршал шелковой юбкой Марты, а Марта вяло сопротивлялась.

— Нет! — вдруг заявила Марта. — Я не согласна.

Спорщики были уже в трех шагах от Лидочки, но видеть ее не могли, потому что голова ее была на уровне постели, а в комнате было совершенно темно.

— Ты бы помолчала, — сказал Филиппов, — лучше не сопротивляйся, потому что я о тебе такое знаю, что ты сама не знаешь.

— Как ты смеешь! — зашипела Марта. — Уходи!

Но страстное женское начало, управлявшее чувствами и поступками Марты, оказалось сильнее ее гражданского чувства — президент не прекратил домогательств, но в этой борьбе они продвигались медленно — кусочками шагов. Все это заняло минуту, может, две, но Лидочке, которая никак не могла решить, что для нее лучше — залезть под кровать или попытаться вырваться из комнаты, эта сцена показалась длинной, как отчетный доклад на профсоюзном собрании.

— Она войдет! — шептала Марта.

— Она там с троцкистами сидит!

— Так не ласкают, мне больно, ой!

— Не сопротивляйся, и я покорю тебя поцелуями!

— Так уж и не сопротивляйся! А кто троцкисты?

— Александрийский и Шавло — всем известно. Если бы не товарищ Вавилов — мы бы с Алмазовым всю их шайку-лейку сегодня бы повязали... Да помоги ты расстегнуть резинку!

— Нет, сам! Но Лидочка же не виновата?

— А с ней особый разговор будет. Я уже на нее компромат собираю! Ну что резинки мешаются — я же чулки не могу снять!

— А не надо снимать — вы только резинки расстегните, и само снимется — ой, я же так сказала, а вы зачем сразу делаете!

Тут они уже совсем нависли над Лидочкой, и ей стало ужасно, что в следующую секунду они об нее споткнутся и упадут не на кровать, куда увлекала их судьба и желание, а на Лидочку.

Поэтому Лидочка, придумав наконец, что надо сказать, вскочила и сказала как можно спокойнее:

— Разрешите, пожалуйста, пройти.

В ответ раздался невероятной пронзительности визг Марты, который был прерван ладонью президента Филиппова.

Лидочка рванулась мимо них и, выбегая, столкнулась с докторшей Ларисой Михайловной, которая именно в эту секунду проходила мимо комнаты девятнадцать и, услышав нечеловеческий визг, мгновенно бросилась на помощь, потому что долг медика требовал от нее немедленных действий.

Вбегая в комнату, докторша автоматически включила свет. Тут в нее и врезалась Лидочка, но Лариса, подхватив ее, не упала и не потеряла способности наблюдать и делать выводы.

В следующее мгновение в дверь ворвался и Матя Шавло, шедший сюда в поисках Лидочки и кинувшийся на помощь.

И все они — Лариса Михайловна, Матя Шавло и Лидочка стали свидетелями некрасивого и даже жалкого зрелища: нелепо запутавшиеся в руках и ногах партнеры стояли, обнявшись, у кровати.

— Уйдите, прочь! — закричал президент, поворачиваясь к дверям и жмурясь от яркого света. В горячке он не понимал, что обнажен до пояса снизу.

Но как известно, медика человеческим телом не испугаешь, и Лариса Михайловна не смутилась и спросила:

— Кто кричал?

И тогда Марте не оставалось ничего иного, как закричать:

— Это он! Он хотел надо мной надругаться! Он напал на меня в моей комнате! Лида, подтверди!

Лида не могла ничего подтвердить, потому что ей стало смешно, смех ее передался Мате, он подхватил Лиду, чтобы она не упала. И тут начала смеяться даже серьезная докторша.

Стреноженный собственными брюками, президент далеко не сразу смог спастись бегством, не смел он и проклинать виновников его несчастья, а только издавал угрожающие междометия, которые в тот момент никого не пугали.

А Лидочке настолько не хотелось в очередной раз объясняться с Мартой и выслушивать просьбы не выдавать ее маленьких тайн Мише Крафту, что она подчинилась настойчивой руке Мати и они спустились вниз, где в гостиной горела только одна из ламп, а у патефона покорно дежурил старый астроном Глазенап. А все, кто мог, отплясывали фокстрот. Было очень душно и шумно. Матя сразу подхватил Лидоч-

ку — танцевать с ним было приятно: он чувствовал музыку и, главное, знал, как надо вести партнершу.

— Вы туда случайно зашли? — спросил он Лиду.

Та кивнула и еле удержалась, чтобы не сообщить, что это второе приключение ее соседки за день. А впереди еще четырнадцать таких дней.

— А что с ее мужем? — спросила Лидочка.

— А как его фамилия?

— Крафт. Миша Крафт.

— Кажется, есть такой органик. Но он уехал, или его сослали... не имею представления.

В дверях гостиной стояла Полина и смотрела на Матю.

Музыка прервалась. Лида хотела сказать Мате, что его ищут, но Полина пропала из глаз.

Из стопки, лежавшей рядом, Глазенап взял новую пластинку, поднёс к глазам и долго шевелил губами. Кто-то крикнул из толпы:

— Румбу!

— Танго! — произнес Глазенап торжественно, словно сам собирался сыграть для присутствующих.

Началось танго, медленное и жгучее, и Лида почувствовала, как страсть овладевает Матей. Она Мате симпатизировала, но не настолько, чтобы обниматься с ним посреди зала, тем более что прошедший день сказал ей многое о странностях любви.

— Матя, — сказала она, — обернитесь к двери в столовую. Только не сразу и не привлекая внимания. Вы знаете эту женщину?

Матя послушно исполнил просьбу.

— Странно, — соврал он, — но она глазеет на меня, как знакомая.

— У вас плохая память на лица?

— Отличная. Только не ночью, — сказал Матя и засмеялся собственной шутке.

— Точно не знаете?

— Не помню, — сказал Матя, и Лидочка поверила бы ему, если бы не была днем свидетельницей его разговора с Полиной.

Попытка отвлечь Матю не удалась, и он принялся гладить Лидочкину спину. Он делал это очень профессионально, и если бы Лидочка была кошкой, то, наверное, с ума бы сошла от счастья. Но она не была кошкой и потому сказала:

— Сейчас замурлыкаю.

— За вами трудно ухаживать, — сказал Матя.

— Вы лучше расскажите мне что-нибудь очень интересное.

— Неужели сейчас?

— Как ваши дела с ужасной бомбой?

— Не скажу — я не разговариваю о делах с любимыми девушками.

— Вы правы, — согласилась Лида.

Танец кончился. Глазенап воздел горе толстые ручки и закричал, что лучше всех исполнили аргентинское танго доктор Шавло и его партнерша, за что им полагается приз.

Все захлопали в ладоши. А астроном добавил, когда шум стих, что приз будет вручен завтра за завтраком, потому что сейчас куда-то исчез товарищ президент Санузии.

Он зализывает моральные раны, хотела сказать Лидочка, но вместо этого сказала:

— Матя, можно я вас попрошу — стакан воды. Ужасно хочется пить.

Матя послушно потек в путь. Но Лида отправляла его в этот путь не случайно. В конце концов должна же в этом скорбном и довольно неприятном мире существовать одна настоящая тайна без участия Алмазова. Она понимала, что так не бывает, но теплилась какая-то надежда, что тайна, объединяющая Полину и Матю, окажется скорее интересной, увлекательной, но вовсе не страшной. Когда потом Лидочка старалась для себя восстановить последовательность событий тех часов, ей было почти смешно — насколько человек склонен заблуждаться, если ему хочется заблуждаться.

Отправив Матю на кухню — куда же еще можно пойти за водой в этом доме, — Лидочка поглядела на Полину — та исчезла.

А к Лиде шагал несчастный Ваня Окрошко.

Лида отрицательно покачала головой, и Ваня послушно остановился.

Лида прошла несколько шагов за Матей и увидела его посреди буфетной. Он ждал.

Матя улыбнулся своим мыслям — Лидочке был виден его профиль: крупный нос, покатый широкий лоб, толстые губы, выпуклые глаза — лицо человека, который обожает много есть, любить женщин и работать — все с удовольствием. Матя уже начал полнеть, но он — крупный человек, как следует располнеет он только лет через десять.

Из прохода на кухню вышла Полина.

Полина передала Мате стакан с водой, но не ушла, а что-то стала ему говорить, Матя пожал плечами, он был недоволен, но

Полина продолжала говорить. Матя отрицательно покачал головой и пошел к Лиде.

— Пейте, — сказал он, — вы о чем-то задумались?

— Спасибо. — Пить совсем не хотелось. — О чем вы разговаривали с подавальщицей?

— Вы подглядывали, моя фея?

Глазенап завел фокстрот, и они снова танцевали, но Матя был занят своими тревогами. В гостиной стало меньше людей — многие разошлись по комнатам.

— Она напомнила мне об одном эпизоде из моей жизни, — сказал Матя. — Я был тогда совсем мальчишкой и постарался потом изгнать из памяти все, что со мной произошло. У меня такое впечатление, будто это было не со мной.

Лида не стала спрашивать. Захочет — сам расскажет. Ему хотелось рассказать, но он не решался.

С каждой секундой настроение Мати портилось.

Он оставил Лиду посреди комнаты и пошел прочь, как будто забыл о том, что с ней танцует. Лида растерянно поставила пустой стакан на столик рядом с Глазенапом.

— Спасибо, — сказал старик.

Лида пошла из гостиной и догнала Матю в дверях.

Как раз в этот момент он обернулся.

— Лида, — сказал он, — не уходите, я не хотел вас обидеть.

Они стояли в прихожей — медведь с подносом в лапах скалился и косил стеклянным глазом.

— На самом деле, — сказал Матя, — я совершил дурной поступок. Но я тогда даже не догадывался, что это дурной поступок. Все так себя вели... это была гражданская война, и я был на одной стороне, а те люди были на другой... Простите, Лида, я говорю совершенно лишнее...

— Я ничего не слышала, — сказала Лида и повернулась, чтобы уйти.

— Нет, Лида, погодите, — сказал Матя. — В такие минуты нужен человек, которому ты веришь. Я знаю, что в наши дни уже нельзя верить никому, но если в обществе никто не верит никому, значит, оно погибает. Ведь верит же Ягода своей жене?

— Может быть, пойдем погуляем? — спросила Лида.

— Вы хотите сказать, что здесь у стен есть уши?

Лида пожала плечами.

— Не думаю, — сказал Матя, — хороший маленький микрофон — дело серьезное. Его еще надо из Германии привезти, валютные расходы оправдать. Нет, здесь их ставить не стали.

— Вы правы, — сказала Лида, — только не из-за валюты, а потому что нет смысла выслеживать — когда надо будет, нас заберут!

— Наша с вами задача, Лидочка, чтобы в отличие от других нас с вами не взяли — ни сейчас, ни завтра. А тут как назло лезут с угрозами!

Матя очень расстроился — он был из тех людей, кто не умеет и не желает скрывать своих расстройств.

— Вы никому не расскажете? — спросил он.

— Нет, — сказала Лидочка.

Не было у него никаких оснований доверять ей, но Матя был игроком и к тому же верил в свою способность приручать людей.

— Я был мальчишкой, гимназистом. Шел девятнадцатый год. Я был в охране поезда. — Матя поднял руку, останавливая возражение Лиды. — Честно сказать, я рисковал куда меньше, чем мои сверстники в окопах. В двадцать лет я демобилизовался по ранению, кончил университет и забыл обо всем. В конце концов я выполнил свой долг, мне не в чем раскаиваться. Вы верите?

— Я не знаю, — сказала Лидочка, потому что по всему виду Мати было видно, что у него в шкафу стоит скелет и Полина неосторожно, а может, сознательно этот шкаф приоткрыла.

— Это все пахнет пылью, — сказал Матя, словно угадал мысли Лиды.

Кто-то прошел к лестнице, музыка прекратилась, поднялись шумом голоса и потом сразу стихли — танцоры стали расходиться.

Все, что было связано с Полиной, вызывало в Лиде интерес, настолько жгучий, что она ничего не могла с собой поделать, — Полина была окутана тайной.

— А кто она такая? — спросила Лида.

— Черт ее знает. Я ее не помню. И всего, что она говорит, не помню. Бред какой-то!

Матя говорил для себя, он не притворялся.

— Но что же ей надо?

— А зачем вам это знать? — В мгновение ока Матя подтянулся, как часовой, услышавший близкий выстрел, замедленность речи и движений исчезла. И если минуту назад он исключал Лиду из враждебного мира, то теперь он мгновенно лишил ее иммунитета.

— Мне ничего не надо, — сказала Лида, — и не я вас сюда пригласила на исповедь. Спокойной ночи, Матвей Ипполитович.

— Господи, Лида, вы не так меня поняли, — спохватился Ма-

тя. — Я вам все расскажу — эта чертова подозрительность! У меня нервы натянуты, как будто на каждом по пудовой гире висит. Эта женщина требовала, чтобы я признался в том, что участвовал в одном инциденте... а я не помню, не помню я, и все тут!..

— Ага, вот вы где скрываетесь! — К ним из гостиной шел Алмазов.

Лидочка могла поклясться, что во время танцев его в гостиной не было. Он мог скрываться в буфетной и тогда слышал все, что говорилось Матей и подавальщицей... А мог спуститься по задней лестнице...

Матя пошел навстречу Алмазову, преграждая тому путь к Лидочке.

— Что вам от меня нужно, Ян Янович? — спросил он. — Я к вашим услугам.

— Ну и отлично, — сказал Алмазов. — Надеюсь, что вы не секретничали с Иваницкой?

— Мы говорили о любви и погоде.

— Отлично. И больше ни о чем?

И о том, что вы умеете появляться там, где вы не нужны, чуть было не сказала Лидочка. Но сдержалась.

— Спокойной ночи, — сказала Лида.

— Ну почему вы нас так рано покидаете? — сказал Алмазов, даже не стараясь казаться искренним. Он взял Матю под руку и повел в сторону — толкнул дверь в биллиардную — там было темно. Не отпуская руки физика, зажег там свет, затем обернулся и сказал Лидочке, широко улыбаясь: — Спать, спать, пошла спать!

Подходя к лестнице, Лидочка обернулась — Алмазов усаживал Матю на диван, на котором скончался философ Соловьев, — с дивана Алмазову было удобно смотреть на дверь. А то, что сам факт такого вечернего разговора мог кого-то удивить, Алмазова, видно, уже не беспокоило.

Пожалуйста, подумала Лидочка, поднимаясь по лестнице. Мне надоели ваши тайны, я не хочу в них участвовать. Если бы Пастернак завтра позволил, я бы пошла с ним пешком по грязи до Калужского шоссе. Лидочка остановилась у своей двери. Как бы переехать в другую комнату? Она ведь никому не мешает, она только просит, чтобы ее соседка не меняла так часто и так шумно своих любовников. Это же какой-то Казанова в юбке!

Лидочка постучала. Не исключено, что после всего происшедшего Марта рыдает на своей девичьей койке.

Никто не ответил.

Лида вошла, свет зажигать пока не стала, а спросила:

— Марта, вы здесь?

Марты в номере не было. Но это еще ничего не значило — Марта могла появиться, и не одна. Лидочка попыталась увидеть в этом забавную сторону, но настроение не располагало к юмору.

Лидочка посмотрела на фосфоресцирующий циферблат часов. Одиннадцатый час. Почему же не бьет гонг? Он должен бить в десять. Потом она зажгла лампу. Тусклая лампа висела под самым потолком, и от этого комната становилась казенной и недружелюбной. Как палата в бедной больнице.

Переодевшись в халатик, Лидочка отправилась в умывальную — надо было помыть волосы, но, наверное, в душе опять нет горячей воды, завтра возьму на кухне — в кастрюле... ах уж эта кастрюля, скорей бы Полина приходила за своей.

Лидочка вошла в умывальную. Там лампа тоже светила тускло, но, отражаясь от кафеля стен, свет казался живее.

Как только Лидочка закрыла за собой дверь, дверца в душевую кабинку открылась и оттуда выскользнула Полина.

— Ой, — сказала она, — я уж и не чаяла, что вы придете.

— Я сейчас отдам, — сказала Лидочка, стараясь не показать, как напугана неожиданным появлением Полины.

— Спасибо, что сберегли, — сказала Полина. — Ведь теперь мало кто захочет помочь.

— Подождите, я только умоюсь.

— А вы не торопитесь, — сказала Полина, — я хотела вас предупредить, что завтра ее возьму.

— Почему?

— Сегодня ночью они у меня обыск устроят — они меня так не отпустят. Я пришла вам сказать — если со мной что случится, оставьте себе.

— Спасибо, мне ничего не нужно.

— Это большая ценность.

— Возьмите кастрюлю, спрячьте где-нибудь в парке — парк громадный, в нем не то что кастрюлю, человека можно спрятать.

— Нельзя, — сказала Полина, — они увидят, как я в парк пойду. Они следят за мной.

— А сейчас?

— А сейчас как следить? С улицы не увидать, а если кто войдет, мы с тобой сразу увидим. Слушай, а как тебя звать?

— Полина, зачем вы притворяетесь крестьянкой? Это же не ваш язык, не ваши манеры.

— Какой был мой язык и мои манеры — забыто. Об этом и разговор...

Настроение Полины, до того деловое и связанное с сохранностью кастрюли, вдруг резко изменилось. Кастрюля ее перестала интересовать.

Полина отошла к окну, замазанному до половины белой краской, как в вокзальном туалете, и привстала на цыпочки, заглядывая в темноту.

— Сколько лет прошло, а он здесь, живой и сытый, — других уже давно постреляли, а он живет. Ты говоришь, почему у меня чужая речь, — а она моя. Я отвыкла от другой.

И она продолжала говорить, не оборачиваясь, словно обращаясь к кому-то снаружи.

— Вы меня осуждаете? Я кажусь вам недостаточно благородной? Допускаю. Но у меня нет иного выхода. Мне не выбраться из этой страны, я обложена, как дикий зверь, и мне не от кого ждать милости. Почему я должна быть милостивой к нему? Он пожалел меня, девчонку? Я не прошу чрезмерной платы за мое молчание. Нет, не прощение, прощение он может вымолить только у Господа. Но молчание могу подарить и я.

Полина отвернулась от окна. В тени надбровий ее глаза казались бездонными ямами.

— Я не знаю, о ком вы говорите, — сказала Лидочка.

— В девятнадцатом добровольческая армия отступала, нас эвакуировали из Киева — Петроградский Елизаветинский институт. Кем мы были? Курятник голодных, обносившихся, постоянно перепуганных, но уже привыкших к такой жизни цыплят, не забывших, что есть иная жизнь, и молящих Бога о возвращении в прошлое, чтобы не было хуже. Наше путешествие началось еще зимой восемнадцатого года, когда детям враждебных элементов не давали пайков. Тех, у кого были родственники, разобрали по домам, а сиротам на казенном коште, нищим эксплуататорам трудового народа, ничего не оставалось, как бежать из Петрограда. Кто-то из таких же, как и мы, бездомных преподавателей раздобыл два вагона, и наш институт добрался до Киева. Там пожили, то получая милостыню неизвестно от кого, то подрабатывая — старшие научились торговать собой, — а почему нет? Меня они не взяли — слишком была худая и некрасивая. Они не себе зарабатывали, они для всех зарабатывали — вы не представляете, какие мы бывали счастливые, потому что в том аду мы были вместе и заботились друг о дружке. Уже осень кончалась — красные опять в Киев пришли, — и нашей Марии Осиповне Загряжской, даме-директорше, стало ясно: надо бежать в Екатеринослав — на что она надеялась, я не знаю. Мы радовались, что будет тепло, говорили, вот поживем

в Екатеринославе, нас там ждут, уже квартиры подготовлены и жизнь сытая, — а там дальше, к морю, в Новороссийск. Мы немного до Екатеринослава не доехали. Вы курите?

— Нет.

— Ладно, потерплю... Значит, я помню, как поезд остановился, ночь была. Я проснулась от ужаса — еще ничего, только голоса снаружи, кто-то проходит мимо нашего состава. Потом тихо. Понятно, что мы на станции стоим. Поезда подходят, кто-то нас обогнал. Другие девочки не просыпались. Наш поезд дернулся, поехал, я сначала думала — дальше, а оказывается, нас перегнали на какой-то десятый запасной путь. Но все равно почти все спали. Нельзя же всю жизнь бояться... А мне не спалось. Мне бы одеться, взять узелок и уйти — это я теперь понимаю: как чувствуешь опасность — сразу вставай и уходи, никогда не разбирайся где, кто, — бросай все и уходи. А тогда не сообразила, не знала, еще маленькая была, четырнадцать лет. Мне тоже тепло было, уютно — зачем вставать и уходить. Я на второй полке лежала, на животе, смотрела в окно. Увидела, как рядом с нами другой состав остановился — вот темно было, снег с дождем, двадцать девятое декабря 1919 года — как раз под Новый год... Я смотрела на поезд и не понимала, что в нем особенно праздничного, а потом поняла — окна. В нем все окна горели электрическим светом и были прикрыты шторами — как до революции, даже ярче. Спереди и сзади платформы с пушками, а в центре новые пульмановские вагоны. Из поезда стали выскакивать солдаты — без погон, большей частью в кожаных куртках. Я не догадалась, что это красные, — у них фуражки были кожаные, а звездочки маленькие — я не разобрала. Некоторые вдоль состава побежали, кто-то в нашу сторону. И тут я слышу, как по коридору быстро идут — это те, в куртках. Мне бы хоть тогда испугаться, а я и тогда не испугалась. Я же не знала, что мы встретились с поездом вождя Троцкого, а люди в коже были его охраной.

— При чем тут Троцкий? — спросила Лида тихо, оборачиваясь на дверь, потому что имя это было запретным, смертельно опасным.

— Ни при чем, — отмахнулась Полина. — Я его и не видала. Они к нам по делу пришли — проверяли состав, ведь на соседнем пути с самим командующим, — а вдруг мы диверсию устроим? Они к нам в купе заглянули, посветили фонариком и дальше пошли. А я тут совсем проснулась и чувствую, какая я голодная. Я и говорю Таньке — не помню уж ее фамилии, — она старше меня была: пойдем к господам военным, попросим чего поесть. Мы с ней уже так делали, и другие девочки тоже.

Надо было сиротками казаться... А что казаться, мы и были сиротками. Нас жалели и не трогали. Девочек не так часто трогали, как теперь говорят... Тебе скучно?

— Нет, говорите.

— Мы оделись, выскочили из вагона, а они там стояли, курили. И среди них ваш Матя стоял. Матвей Ипполитович.

— Шавло? Не может быть!

— Он самый.

— А что он там делал?

— Что и все — курил, анекдоты травил. Что молодежь делает ночью, если спать не велят?

— Ну почему вы так уверены, что это был именно он?

— А потому, что люди не меняются. Это только в романах жена мужа через двадцать лет узнать не может. А в жизни ты никого не забываешь. Да он и не изменился особенно — тогда ему лет двадцать было. Только без усиков. Мы к ним подошли и говорим, нет ли чего покушать. С ними Татьяна разговаривала — она постарше. Тогда твой Матя засмеялся и говорит, чтобы мы через полчаса к пакгаузу приходили — и показал куда. Они нам вынесут.

— И вы не испугались?

— Ты, видно, никогда голодная не была.

— Была.

— Тогда молчи. Если человек очень голодный, у него осторожность отказывает... Приходите, говорят, через полчаса, ваш поезд никуда не уйдет, мы уже Екатеринослав берем, сейчас у себя чего поесть сообразим и вам принесем. Через полчаса мы пришли, с нами Ирка третьей пошла. Мне бы не надо связываться с девицами, они же почти что взрослые, лет по шестнадцать, а я еще ребенком была, но, конечно, увязалась, потому что была голодная и не боялась. Мы пошли с ними в этот пакгауз, а там какие-то тюки были и стол, а на столе они поставили бутыль самогона, сало и хлеб — они без обмана. Мы вместе с ними ели, они только велели, чтобы мы не шумели, потому что у них начальник строгий, если что, он их выгонит или расстреляет, итальянская фамилия, я точно не помню — они Троцкого редко называли, он для них был вроде Бога, где-то высоко, но они сказали, что, если мы будем кричать и его побеспокоим, они нас зарежут. Но чего резать, их немного было, человек десять, а нас трое, они тоже молодые были, а когда выпили, то полезли нас насиловать, но не дико, а как будто был раньше уговор — моим подругам было легче, они уже не девочки, а мне всего четырнадцать, и мне очень больно было, но, когда я хотела

кричать, твой физик — он стоял, своей очереди ждал, — он мне саблю показал и смеялся, а я плачу, прошу: дяденька, не надо, мне больно, а он смеялся, нервничал, очереди ждал... дождался! Они нам потом с собой сала дали, для девочек. Мы дальше Екатеринослава не пробрались тогда, я только следующим летом в Бердянск попала, когда там уже Врангель был. Оттуда на юг, в Батум, там у нас домик с братом остался.

— А Матвей Ипполитович? — спросила Лидочка.

— Что? Чего хочешь знать? Он мне как бы первая любовь, только без спросу.

Лидочка знала, что Полина не врет. Так все и было. И может, трудно теперь обвинять этих молодцов — они же не знали, что хорошо, а что плохо, они даже девочек накормили... Что я говорю? Я могла бы очутиться там, на пыльных мешках, в пакгаузе, а любимый ученик Ферми грозил бы сабелькой — молчи!

— А он вас узнал? — спросила Лида.

— Не знаю. Но я ему напомнила! Он говорит — не помню! А я думаю — все помнит!

— Вы ему сказали? Зачем?

— Потому что он мне нужен. Потому что он испугается за свою карьеру и поможет мне выбраться живой отсюда.

— А если он скажет, что ничего не было? Да и какое может быть наказание: девушка говорит, что он изнасиловал ее на фронте гражданской войны. А вам скажут — ничего особенного.

— Глупая ты, Лидия, — сказала Полина. — Я не знаю, чего ему здесь нужно, но не зря он вокруг гэпэушника вертится. А что, если завтра станет известно, что твой Шавло был охранником Троцкого? И не важно — насиловал, не насиловал, главное — Троцкий. И он это понимает.

В этот момент за спиной что-то скрипнуло. Лидочка даже не поняла что, но Полина метнулась — прыгнула к кабинке, — рванула дверь, крючок в сторону — а там, внутри, съежившись, сидела на стульчаке Альбина, глаза нараспашку.

Альбина не могла отвести испуганных глаз от Полины и, поднимаясь и натягивая штанишки, повторяла:

— Я нечаянно здесь, я нечаянно, я только вошла, а потом вы здесь говорите, а мне выйти было неудобно, вот я и терпела, извините, я здесь нечаянно.

И, беспрестанно говоря, Альбиночка запахнула халатик — шелковый китайский с драконами, такие за большие деньги привозили с КВЖД, и, уже не оглядываясь, побежала к двери.

— Зря я ее отпустила, — сказала Полина.

— А что было делать?

— Придушить, сразу придушить. Она все слышала. И про кастрюлю, и про Матвея Ипполитовича.

Полина еще не кончила говорить, а Лидочка уже была в коридоре — халатик Альбины сверкнул возле лестницы.

— Альбина, — позвала Лида, стараясь говорить внятно и тихо.

Альбина остановилась, словно ждала этого.

— Вы одна? — спросила она. — Тогда не страшно.

— Я прошу вас, — сказала Лида.

— Вы думаете, что я ему расскажу? — удивилась Альбина — брови полезли по гладкому лобику. — Ни в коем случае!

— Я вам так благодарна.

— Хотя мы с вами узнали такие ужасные вещи! — прошептала Альбина. — Об этом, наверное, должна знать милиция.

— Нет!

Следуя взгляду Альбины, Лида повернула голову — Полина стояла зловещей тенью у приоткрытой двери туалетной. Лидочка махнула ей рукой — уходи!

— Какая ужасная жизнь у людей, — прошептала Альбина. — А вы могли такое представить про Матвея Ипполитовича?

Дверь рядом приоткрылась — неизвестно кому принадлежащий голос изрек:

— Гонг был уже давно. Постарайтесь соблюдать тишину в общественных местах.

— Завтра все надо будет обсудить, — сказала Альбиночка. — Хорошо?

— Хорошо.

— Я только вам здесь доверяю. Как ужасно — кто-то покажется тебе приятным человеком, а он окажется насильником.

С этими словами Альбина убежала вниз по лестнице, а Лидочка еще некоторое время стояла неподвижно, потому что не могла разобраться в своих мыслях. Ей хотелось поверить Альбине, и она даже надеялась, что Альбина искренне говорила с ней. Ведь никто, кроме Лидочки, не знал, кто такая Альбина на самом деле и как она страдает от своего унизительного положения.

Расставшись с Альбиной, Лида вернулась в туалетную, но Полины не застала — жаль, могла бы немного и подождать. Тем более когда Альбина знает о кастрюле, спрятанной в комнате у Лиды. Если остается хоть маленькая опасность, что Альбина — вольно или невольно — проговорится Алмазову, то Лидочка окажется в опасности. Выбросить бы эту кастрюлю...

Лидочка дошла до конца коридора, заглянула на лестницу — Полины нигде нет. Пойти спать? Совершенно не хочется — ни в одном глазу. Снизу доносилась тихая музыка — неужели еще кто-то танцует? Лида начала было спускаться по лесенке вниз, к кухне, но тут музыка оборвалась. И Лида поняла, что никого не хочет видеть. Что она смертельно устала за этот день — если бы она знала, что хотя бы за час сможет добраться до трамвая, до какой-нибудь телеги, которая привезет ее в Москву, она бы не испугалась дождя и ветра — только бы отделаться от тягучей действительности, от ощущения, будто ты упала на дорожку из размокшей глины, набирая скорость, скользишь под уклон, стараясь уцепиться за мокрые травинки по сторонам. Но разве так остановишься, — а внизу гладкая поверхность омута, черного в тени стволов, — так и ждет, когда ты влетишь в пруд.

Лидочка вернулась к себе, по дороге заглянула в докторский кабинет. Дверь в него была приоткрыта, Лариса Михайловна, освещенная слабым светом настольной лампы, спала на кожаном диванчике, подтянув ноги. В Узком рано ложились и рано вставали. Лида поглядела на свои часы — половина одиннадцатого, — а кажется, словно далеко за полночь.

По парадной лестнице кто-то поднимался. Лида увидела, как в коридоре появился президент Филиппов, который нес, прижав к животу, патефон, за ним шла, осторожно ступая, Марта, несла пластинки в бумажных конвертах. Свободной рукой она то и дело взбивала волосы — видно, была пьяна.

— Лида, ты почему не спишь? — спросила она, увидев соседку. — Гонг уже звучал. Товарищ Филиппов тобой недоволен!

Филиппов зашагал быстрее, будто старался показать Лиде, что незнаком с Мартой.

— Вы идите, идите, — сказала Марта, — я принесу пластинки через три минуты!

И при этом она локтем отталкивала Лиду к двери в их комнату и делала страшные глаза, — впрочем, ей и не стоило для этого особо напрягаться — глаза блестели воодушевленно, и вряд ли какие соображения, этические, моральные, либо устрашение могли бы остановить Марту, которая намеревалась — в том у Лиды не было никакого сомнения — подарить свое тело товарищу президенту Санузии, чего ей не удалось сделать днем. Только бы не в нашей комнате, мысленно заклинала Лидочка, я так хочу лечь в постель. Она об этом искренне мечтала, совершенно забыв о том, что всего три минуты назад ей вовсе не хотелось заходить в комнату.

Остановившись в дверях, Марта прошептала:

— Я только отнесу ему пластинки, он такой беспомощный, все мужчины такие беспомощные.

Мысль о беспомощности мужчин страшно развеселила Марту. Лидочка, хоть и зажатая в дверях, видела через плечо Марты, как президент на цыпочках пробежал полосу света, падавшую в тускло освещенный коридор из докторского кабинета, и замедлил движение у лесенки, откуда был поворот в маленький коридорчик к комнате президента санатория.

— Ты дверь не запирай, — продолжала жарко шептать Марта, обдавая Лидочку запахом портвейна. Лида отворачивалась, но Марта этого не замечала. — Я через час вернусь, а может, позже, но ты спи, не обращай внимания, он очень страстный, ты же знаешь, какие страстные эти худенькие! — Мысль показалась Марте и вовсе забавной, и она начала смеяться высоким голосом. И Лида сказала:

— Вы идите к нему, а то всех разбудите.

— Кого еще всех?

Сказано это было тоном фаворитки, которая отныне не намерена считаться с удобствами прочих чинов двора.

— Там Лариса Михайловна, — сказала Лида, показав на полосу света из докторского кабинета.

— А мне что? Я имею право гулять, где хочу! — сказала Марта, но уже не так уверенно. — Значит, не запирай, хорошо, птичка?

Лида не стала напоминать Марте, что дверь в комнату не запирается, так как Марта знала об этом лучше, чем Лида, хотя умудрялась об этом забывать.

Марта поцеловала Лидочку в щеку и оттолкнулась от нее, как пловец от стенки бассейна, чтобы лучше и быстрее доплыть до финиша. Она прошла по центру коридора, стараясь не сбиться с установленной мысленно прямой линии, и оттого ее бросало от стены к стене. Но Лида решила не смотреть, доберется ли Марта до объятий президента. Она вытерла щеку от Мартиной помады, закрыла дверь, зажгла тусклую лампу под потолком. Лида улеглась в постель, открыла книжку и тут же поняла, что читать не хочется. Она вскочила, босиком добежала до выключателя. В комнате стало так темно, что перед глазами вспыхнули белые круги. Нащупав постель, Лидочка улеглась и закрыла глаза. Но перед глазами плыли сцены и люди прошедшего дня, впрочем, они уже не пугали и не вызывали отвращения — если их всех понять, то они не такие плохие... кровать превратилась в темный вагон, колеса постукивали на сты-

ках рельсов, по коридору шли какие-то люди, не видные, но слышные по шагам и разговору. Матя заглянул в купе и склонился к Лиде. «Не спишь?» — спросил он. «Мне придется лечь с тобой, потому что иначе они подумают, что ты одна, и я не смогу тебя защитить от иудушки Троцкого». Лидочка испытывала радостное и благодарное чувство к Мате, который рисковал навлечь на себя гнев самого военкома, но остался. Матя обратился к ней лицом, Лидочка попыталась обнять его, но на Мате была такая скользкая кожаная куртка, что ее руки соскальзывали с его спины, и от этого возникало раздражение — он сейчас уйдет. Лидочке хотелось попросить Матю, чтобы он снял эту проклятую куртку, но она знала, что он охраняет товарища Троцкого и поэтому не имеет права снять куртку, но никому нельзя было сказать это слово: «Троцкий». Это страшное слово, и оно означает вовсе не человека, и некогда было придумать, что же оно значило. Лидочка боролась с проклятой курткой — ну как ее снимешь? Матя помогал ей, но без особой охоты, потому что он был на службе и ему нельзя было снимать куртку. Ну вот наконец-то пальцы Лиды дотронулись до плеч Мати — только бы кто-нибудь не вошел в дверь! И как будто сглазила! — вагон дернулся, дверь с грохотом поехала в сторону, и в дверях возник сам товарищ Троцкий в черной маске...

Лида проснулась, продолжая оставаться в страхе, и ей все еще казалось, что она в вагоне — только поезд стоит. Она осторожно двинула правой рукой, словно желая удостовериться, там ли Матя или он успел убежать, — и почти одновременно облегчение оттого, что Матя убежал от гнева товарища Троцкого, сменилось внутренним пониманием, что все это был лишь сон, а на самом деле она лежит у себя в комнате в Узком и проснулась она от шума — оттого, что кто-то вошел в комнату. Сейчас-то было тихо, совсем тихо, но она точно знала, что ее разбудил кто-то вошедший сюда. И этот человек не хочет, чтобы она его услышала.

Надо было подняться и выгнать этого человека... Или хотя бы закричать. Ведь она не в пакгаузе каком-нибудь, а в санатории ЦЭКУБУ, наполненном народом, как банка селедкой, — сейчас закричу, и все станет на свои места. Но она не кричала, потому что кричать неловко, только такие невоспитанные люди, как Марта Крафт, могут закричать посреди ночи и всех перепугать. Вместо этого надо спокойно встать с постели и посмотреть, кто там вошел к ней в комнату.

Убедив себя в этом — на это ушло, наверное, секунды две-три, — Лида поняла, что сделать этого никогда не сможет. Слиш-

ком страшно. Она продолжала лежать неподвижно, стараясь уловить в тишине дыхание пришельца и предвосхитить его опасное движение. Подушка была невысока, и, лежа на спине, Лидочка видела только потолок и верхнюю часть дальней стены, но даже по этим деталям она поняла, что дверь в комнату приоткрыта, — на потолок и стену падал отсвет коридорной лампы.

Наконец Лиде, как ей показалось, удалось в почти беззвучных, но многочисленных шепотах старого дома различить быстрое дыхание человека. Он стоял и ждал чего-то. Не решается броситься на нее?

Дальнейшее бездействие было совершенно невыносимо, потому что чужой беззвучно приближался на расстояние броска — и у него был нож! И Лидочка скорее инстинктивно, нежели по велению разума, приподняла голову, склонив вперед шею — сама оставаясь неподвижной, — и увидела светящуюся щель в двери, которая была перекрыта черной тенью человека. Он стоял у двери, он не смотрел на Лиду, он был далеко от нее и смотрел наружу, — значит, он шел по коридору, почему-то захотел спрятаться — и спрятался в комнате Лидочки. Правда, это было самоутешением, — скорее всего, он выглядывал в коридор, чтобы убедиться, что там никого нет, а затем обратить свои подлые лапы против беззащитной Лидочки.

Но раз человек был у двери и в один прыжок ему до Лиды не добраться, Лида решила спрятаться под кроватью — она не придумала ничего лучше. Да и не было в комнате другого места, чтобы спрятаться. Окно заперто, а путь к двери перекрыт насильником.

Для того чтобы спрятаться под кровать, надо с нее слезть. Лидочка осторожно села и спустила ноги на пол, а кровать отозвалась на это осторожное движение дружным визгом всех своих пружин. Таким громким и наглым, что Лидочка спрыгнула с кровати и кинулась к окну, а насильник издал приглушенный звук, открыл дверь и выскочил в коридор. Дверь закрылась, и стало совершенно темно. Слышно было, как по коридору простучали шаги насильника, но куда они простучали и что было потом, Лидочка не знала, потому что в ушах у нее кровь стучала громче шагов.

Лида не знала, сколько она простояла неподвижно, ожидая, когда насильник вернется, чтобы довершить свое гадкое дело, но тут до нее дошло, что это — далеко не лучшая линия поведения. Она поняла также, что у нее есть два выхода — либо бежать из комнаты, либо забаррикадировать дверь. Можно, конечно, было сходить к президенту и вытребовать назад Марту, но, вернее всего, этим она огорчила бы и президента, и Марту.

Так что Лида избрала второй путь и пошла к двери, чтобы ее забаррикадировать. Для этого она взяла тот стул, что стоял у окна, и одновременно стала подталкивать к двери тумбочку. Ведь если поставить стул на тумбочку, то, открывая дверь, насильник устроит такой шум, что снова убежит.

Толкая перед собой тумбочку и держа над головой стул, Лидочка почти дошла до двери, когда натолкнулась на неожиданное препятствие.

Нечто мягкое и податливое заполнило проход в комнату и не давало тумбочке продвинуться вперед.

Не догадываясь, что это могло быть, Лидочка поставила стул на пол, обошла тумбочку и протянула вперед руку. И рука ее натолкнулась на чуть теплое человеческое лицо.

Почему-то первая мысль — может, оттого, что мозг всегда норовит изгнать из себя самое страшное, — была такая: «Ну вот, такой пьяный, что заснул!» Рука скользнула по волосам — волосы были длинные, голова под давлением руки бессильно свалилась набок — Марта? Это Марта вернулась домой в таком виде?

Лидочка хотела зажечь свет, но мешали тумбочка и стул — проще было дотянуться до двери и толкнуть ее, чтобы разглядеть Марту. Лидочка уже догадалась, что в роли насильника выступал президент. Он дотащил свою подругу до комнаты, а потом сбежал. Внутренне улыбаясь оттого, что страшное пробуждение завершилось таким обычным анекдотом, Лидочка толкнула дверь, дверь отворилась. Лидочка хотела сказать: «Марта, пора спать».

И в тот же самый момент она поняла.

Во-первых, что на полу неловко сидит, как брошенная мягкая кукла, подавальщица Полина.

Во-вторых, Полина мертва. Глаза ее были приоткрыты, и видны полоски белков, да и сама голова склонена так, как не может склонить голову живой человек.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Утро 24 октября 1932 года

Потом уж Лидочка удивилась — почему она не закричала? В таких страшных ситуациях положено кричать, звать на помощь, бежать по коридору с распущенными волосами, фактически неглиже... Трудно поверить, но Лидочку остановили и заставили молчать вовсе не уроки, полученные от жизни, а мысленный взгляд на

саму себя — она же была в одной ночной рубашке, босиком, взлохмаченная, — возможно, в подобном виде и положено бегать по ночным коридорам с криком: «Убили-и-и!» — но женщины, хорошо воспитанные, себе этого не позволяют.

Следовательно, надо было вернуться к кровати, нащупать висящий на ее спинке халатик, желательно сделать еще два шага к зеркалу и причесаться — и все это сделать в присутствии трупа женщины, с которой ты только что разговаривала. Нет, двигаться можно было только в одном направлении — в коридор, прочь из комнаты. Но в коридор идти было нельзя по той простой причине, что где-то там таился убийца, желавший в первую очередь убрать свидетеля — то есть Лидочку.

Раздираемая этими мыслями и страхами, Лидочка стояла, замерев над телом Полины.

Так прошло, может быть, несколько минут, а может — несколько часов.

Время остановилось — в доме не было ни звука, за окнами не шумел ветер... Лидочка попала как бы в центр подводного сна — вокруг зеленая темная вода, и ни звука.

Убийца не возвращался. Может быть, он стоит поблизости? Надо бежать из комнаты. Лидочка заставила себя сделать два быстрых шага к кровати, схватить халатик и сжать в кулаке. Это движение, удавшись, вселило в нее какую-то толику уверенности в себе, — оказалось, ноги подчиняются, руки движутся, глаза смотрят... Теперь бы дойти до двери — вертикальная, шириной в ладонь полоса света — щель притягивала Лиду, как бабочку фонарик. Так и не надевая халатика, она шагнула было к двери, но тут же нога натолкнулась на заголенную ногу Полины, еще хранящую остаток тепла. Не отдавая себе отчета, Лидочка подпрыгнула и отлетела назад. Сердце колотилось как сумасшедшее, воздуха не хватало. Лидочка постаралась считать, чтобы успокоить сердце, и досчитала до пятидесяти — ей был виден склоненный набок четкий профиль Полины. Никто уже никогда не поцелует эти губы... Что я думаю, что я несу! Мне же надо бежать!

Лидочка досчитала до пятидесяти. И снова двинулась к двери. На этот раз она осторожно перешагнула через Полину и замерла, схватившись за ручку двери.

В коридоре тихо...

Лида прижала лицо к щели. Направо коридор был пуст. Теперь надо приоткрыть дверь пошире, высунуть голову в коридор и поглядеть в другую сторону.

Лида потянула дверь на себя, и дверь неожиданно заскрипела. Лида снова замерла. Она подумала: вот я сейчас увижу, что коридор пустой. А дальше что? Куда я побегу? К кому?

Алмазов? Ему по должности надо бы оказаться здесь первым. А может, это он оставил тело убитой Полины здесь, потому что Альбиночка все рассказала ему и теперь он хочет погубить Лиду?.. Может быть, позвать Матю? А что, если убийца и есть Матя? Полина пригрозила его разоблачить — он испугался...

Бежать к президенту и стаскивать его с Марты?

Нет... спасительным облегчением возникла самая простая и естественная мысль — дежурная докторша Лариса Михайловна!

Лидочка накинула халатик и со смешанным чувством страха и облегчения выскользнула в слабо освещенный дежурной лампочкой, над лестницей, коридор, который с другой стороны тонул в полной темноте, и именно оттуда за ней наверняка наблюдал убийца.

Но если он и наблюдал, то кинуться на нее не посмел — понимал, что у Лидочки будет время закричать и, может, даже убежать.

Ступням было холодно — оказалось, Лидочка забыла обуться.

До кабинета врачихи — четыре двери. Между дверями по три шага — казалось бы, всего девять. Но их надо пройти, а спину тебе сверлят глаза убийцы: путь до кабинета Ларисы Михайловны казался бесконечным.

Лидочка добежала до кабинета на цыпочках. Дверь была закрыта, Лидочка легонько ткнулась в нее — не открывается. Лидочка нажала сильнее — ручка послушно повернулась вниз, но дверь была заперта. Как же так! Лидочка даже рассердилась — ведь доктору положено оставаться рядом с больными. Куда могла уйти Лариса Михайловна?

Лидочка постучала костяшками пальцев. Изнутри никто не отозвался.

Тревога заставила через плечо поглядеть в черную даль коридора. Показалось, что там кто-то шевельнулся.

Лидочка в отчаянии трясла дверь. Конечно же, заперто!

Оставаться больше возле двери на виду у убийцы, который вот-вот решится и бросится на нее, было невозможно. В комнату она не вернется — хоть убейте! Значит, для нее оставался лишь путь по лесенке вниз, к кухне, к столовой. Почему-то Лидочка была уверена, что убийцы там нет, что он, когда бежал, испугавшись, из ее комнаты, не посмел повернуть к освещенному концу коридора, под лампочку над лесенкой, а укрылся в

темноте. Может, потому, что сама Лидочка поступила бы именно так.

Но куда она денется, оказавшись внизу?

Лидочка не успела ничего придумать, как услышала, что в темном конце коридора скрипнула половица, будто кто-то тяжелый нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Этот скрип, как материальный физический толчок, спихнул Лидочку вниз по лесенке, в темноту, — на ощупь к двери в коридор, соединяющий кухню и буфетную, туда, где Полина вчера передала ей кастрюлю... Еще этой кастрюли не хватало! А может, Полина вернулась за кастрюлей, как обещала, а в дверях ее настиг убийца? Или уже была ранена, но надеялась, что Лида ей поможет?

В полной темноте, нащупав дверь в коридорчик, Лида замерла. И тут же услышала, как наверху, над самой головой, снова скрипнула половица, — кто-то преследовал ее! Вот другой звук — старая деревянная ступенька прогнулась под подошвой башмака, вот еще короткий скрип — человек осторожно спускался по лесенке, приближаясь к Лидочке и полагая, видно, что ей от него не сбежать!

Лида рванула на себя дверь — та не поддалась! Оказывается, она попала в ловушку... Уже было слышно сдавленное дыхание человека, который спускался по лесенке, — он тоже волновался, спешил, но старался унять быстрое дыхание и сердцебиение. Он настолько приблизился к Лиде, что ей было слышно, как толчками к нему в легкие прорывается воздух.

Ручка двери повернулась вниз, дверь послушно и почти беззвучно отворилась вперед, и Лидочка сразу же захлопнула ее за спиной. Буквально в тот же момент преследователь — видно, ускорив свое движение, — ткнулся в дверь — тяжело и гулко ударился в нее, но дверь удержала его, а Лидочка уже бежала налево, ее голые ступни стучали по гулкому пространству буфетной. В столовой она налетела на угол стола, и было очень больно. Пришлось на секунду остановиться, чтобы сообразить, где же дверь в гостиную. И тут она услышала, как хлопнула дверь сзади, — значит, преследователь открыл ее, и его тяжелые шаги, уже не скрываясь, забухали по полу.

Лидочка превозмогла кошачье, инстинктивное и опасное, желание спрятаться под большим столом, затаиться там; различив высокий прямоугольник белой двустворчатой двери, она ринулась к ней, и ей даже повезло — она толкнула нужную, правую половинку и оказалась в гостиной.

Преследователь топал за ней, тоже ударился об угол стола,

и стол, тяжело царапая по паркету ножкой, проехал к двери; на пол упало и разбилось что-то стеклянное.

Ах, насколько лучше быть преследователем, особенно в темноте, в доме, полном лестниц, дверей, переходов и тупиков! Ведь ты смотришь перед собой, ты все время видишь свою жертву, ты соизмеряешь свои усилия и скорость с усилиями жертвы. Тебе не надо ломать голову над проблемой — прятаться или бежать? За тебя решает несчастный кролик. А каково жертве? Лидочка не могла даже обернуться, чтобы посмотреть, кто за ней гонится и быстро ли он ее настигает.

Как бы уже почувствовав прикосновение когтей убийцы к горлу, к волосам, Лидочка помчалась вперед, выскочила к темной парадной лестнице, пробежала по узкому коридорчику, что вел в южный жилой флигель. Она бежала без опасения наткнуться на что-нибудь и упасть, потому что слева от нее тянулся ряд широких окон, пропускавших внутрь видимость ночного света, который складывался из явлений, не способных светить, но тем не менее вкупе создававших то ночное освещение, которое так способствует появлению привидений.

Сзади, но уже на большом расстоянии — кролик обретает способность определять расстояния до смертельной опасности — грохнула — вдребезги — фаянсовая ваза, такая большая, что Трубецкие ее не смогли вывезти, а крестьяне и реквизиторы — украсть. Грохот прокатился по всему дому, и в значительной степени из-за этого столкновения замедлилась резвость убийцы. Скорее всего, это и спасло Лидочку.

Она достигла конца коридора и тут же поняла, куда она бежит!

Направо, теперь налево... в маленький коридорчик — и вот белая дверь. Добежав, Лидочка, чуть не падая, хотела постучать в нее, но дверь сама открылась ей навстречу.

В комнате горел свет — лампа на большом письменном столе. И хоть свет ее был закрыт от глаз круглым зеленым абажуром, Лидочка зажмурилась — так это было ярко.

Не успев погасить скорость бега, она уткнулась носом, ударилась ладонями, чуть не сшибла с ног Александрийского, который стоял недалеко от двери, открыв ее навстречу бегущим Лидочкиным шагам, будто был уверен, что Лидочка бежит именно к нему и нуждается в его помощи и защите.

Александрийский отступил на шаг под ударом Лидочки, но удержался и даже смог обнять ее за плечи, защищая и останавливая. За это мгновение Лидочка уже поняла, что ей надо де-

лать, — она вырвалась из рук Александрийского и обернулась к открытой двери, ожидая, что там появится лицо убийцы. За дверью была лишь темнота. Лидочка захлопнула дверь.

— Скорее! — прохрипела она, потому что от напряжения не могла говорить иначе. — Заприте! Он там!

— Лидочка, — сказал Александрийский, он уже стоял рядом, отстраняя ее от двери, — успокойтесь, ничего не случилось, садитесь!

— Нет, заприте, заприте! Вы ничего не понимаете!

— Ничего не понимаю? Совершенно точно, — согласился Александрийский, по-вольтеровски улыбаясь. — Но польщен таким поздним, а вернее, ранним визитом.

Лидочка замерла. Прислушалась.

Никто в дверь не ломился.

— Что случилось? — спросил Александрийский. — На вас лица нет. — Тут он увидел, что Лидочка босая. — Сейчас же идите, иди на ковер! Вы же простудитесь!

— Вы ничего не понимаете!

— Всему следует искать самые элементарные объяснения. Я бы сказал, что некто очень страшный попытался войти к вам в комнату и посягнул на вашу девичью честь.

Александрийский продолжал улыбаться, и Лидочке стало противно, что по ее виду можно подумать такое. Он, наверное, думает, что я сама кого-то пригласила, а потом испугалась. Он же старый, ему все кажется смешным...

— Вы ничего не понимаете! — сказала еще раз Лидочка и перешла на ковер — на ковре ступням было теплее.

— Куда уж мне, — сказал Александрийский. — Я бы пожертвовал вам мои шлепанцы, но они, к сожалению, на мне.

— Он ее убил! — сказала Лидочка. — Понимаете, он ее убил, а потом хотел убить меня, потому что я видела.

— Что видела? — спросил Александрийский.

— Марта ушла, я одна была, я думала, что это Марта вернулась, а это она лежит, вернее, сидит на полу...

Рассказывая, Лидочка понимала, что Александрийский ей верит или почти верит, но, даже веря ей, слушает это как историю, приключившуюся с молоденькой девчушкой, у которой действительность и ночное воображение настолько перепутаны, что она и сама не знает, где же проходит грань между ними.

— Вы уверены? — сказал он, когда Лидочка в нескольких сбивчивых фразах рассказала о том, как нашла Полину и как по-

том за ней гнался убийца. — Вы уверены, что эта женщина была мертва? И тем более убита?

— Но я же ее трогала!

— Вы трогали ее в темноте? Не зажигая света?

— Я видела — у нее глаза были открыты...

— И вы ни разу не видели вашего преследователя?

— Я слышала. Этого достаточно. Я ничего не придумываю! Да он же вазу в коридоре свалил!

— Это не вы?

— Это он, честное слово — он.

— Этот грохот и заставил меня подняться, — сказал Александрийский. — Я сидел работал — не спалось. — Он показал на бумаги, разложенные на столе под лампой. — И тут услышал страшный грохот... потом появились вы! И знаете... — Улыбка, не исчезнув с лица, вдруг стала смущенной, может быть, неверное тусклое освещение в комнате было тому виной. — Такая тишина и пустота, словно уже наступил конец света. Я его ждал чуть позже... И вдруг — грохот, топот, и влетаете вы, как летучих конников отряд? И жизнь вернулась, но не успел я обрадоваться этому, как обнаруживается, что и вы — черный посланец, дурной гонец, таким еще не так давно отрубали головы... Не сердитесь, милая Лида, сейчас я отправлюсь вместе с вами, мы поднимемся и обнаружим, что никакой Полины в вашей комнате нет, что вам все померещилось.

— Вы так говорите, будто я ребенок, а людей не убивают.

— Людей у нас убивают. И слишком много, и, боюсь, будут убивать еще больше. Но не так, Лида, а по правилам убийства. Книга убийств именуется у нас уголовным кодексом, а сами основания для убийств — статьями.

Александрийский запахнул халат и сказал:

— Вам придется взять мои ботинки. У меня небольшая ступня. Я бы пожаловал вам шлепанцы, но для меня надевание ботинок — операция сложная и длительная: я с трудом нагибаюсь. А шлепанцы уже на ногах.

Лидочка послушно надела ботинки. Они были удобно разношены, хоть и велики. Время двигалось медленно — профессор все никак не мог завязать пояс. Лидочка смотрела на его длинные, тонкие, распухшие в суставах пальцы — как они неуверенно двигались. И она поняла, что профессор был старым и больным человеком.

— Пойдем, покажите мне сцену преступления, как говорит моя старая подруга Агата Кристи, не знакомы?

— Нет, я не слышала о такой подруге. — Зачем он говорит о каких-то подругах?

— Разумеется, мы должны были первым делом позвонить в Скотленд-Ярд, — продолжал Александрийский, направляясь наконец к двери. Халат у него был темно-вишневый, бархатный, чуть вытертый на локтях, с отложным бархатным воротником — дореволюционное создание, похожий был у Лидочкиного папы. — Но у меня в комнате нет телефона, а в Москве нет Скотленд-Ярда. Впрочем, если вы правы, мы позвоним в МУР из докторского кабинета, и с рассветом примчатся бравые милиционеры. Сколько сейчас времени?

Лидочка поглядела на свое запястье — часов не было, часы остались в комнате. Александрийский заметил это движение и сказал:

— Двадцать минут седьмого.

— Как? Уже утро? — Внутренние Лидочкины часы уверяли ее, что вокруг глубокая ночь.

— Утро больших приключений.

— Павел Андреевич, вы мне совсем не верите?

— Нет, не совсем. Вы ничего не изобрели.

— Но ошиблась?

— Возможно.

Александрийский открыл дверь, пропуская Лидочку вперед. Она услышала, как нервно и мелко он дышит. Как же он будет подниматься на второй этаж?

Лидочка замешкалась — ей не хотелось вновь оказываться в коридоре, но тут она услышала голоса — в коридоре разговаривали, — слов не разберешь, но по тону слышно было, что разговор идет относительно спокойный, без крика. И все страхи сразу испарились — Лида смело пошла вперед. Александрийский последовал за ней.

В коридоре горел свет, на ковровой красной дорожке были рассыпаны большие и маленькие осколки большой китайской вазы, что недавно стояла на высокой подставке возле зеркала. В центре этой груды черепков возвышалась дополнительным холмиком груда окурков. Почему-то Лидочка в первую очередь увидела эту гору окурков и поразилась тому, сколько их накопилось в китайской вазе и сколько лет никому не приходило в голову заглянуть внутрь.

Только после этого Лидочка увидела людей, собравшихся вокруг останков вазы. Это были президент Филиппов в ночной пижаме, совсем одетая, будто и не ложилась, Марта Крафт, а так-

же докторша Лариса Михайловна и какая-то неизвестная Лидочке личность произвольного возраста и серого цвета, очевидно, из отдыхающих, потому что была в халате.

— Вот и она! — воскликнула Марта при виде Лидочки.

— Это вы сделали? — спросил президент. В обычной жизни его волосы были тщательно уложены поперек лысины, а сейчас он забыл о приличиях и на голове образовалось неаккуратное воронье гнездо.

— Я в первый раз это вижу, — сказала Лидочка.

— Тогда объясните мне, почему вы здесь оказались в такое время и в таком виде?

Еще за секунду до этого Лидочка намеревалась сообщить президенту как официальному лицу про труп в ее комнате и про то, как ее преследовал убийца. Но тон президента и воронье гнездо на его голове сделали такое признание нелепым и наивным. Президент Филиппов был недостоин таких откровенных признаний. К тому же он не выносил Лидочку и не скрывал этого, так что любое признание он тут же обратил бы ей во вред.

— По той же причине, по которой вы очутились здесь в такое время и в таком виде, — сказала Лидочка. Она не хотела, чтобы ее слова звучали наглым вызовом, но именно так и вышло. Глаза президента сузились от возмущения, он приоткрыл рот, вновь закрыл его — и Александрийский, и Марта поняли, что сейчас могут последовать совершенно ненужные разоблачения, но не успели перебить Филиппова, как тот закричал так, что было, наверное, слышно в Москве.

— Это вы позвольте! — кричал Филиппов. — Это вы поглядите, в каком вы виде, и сравните с Мартой Ильиничной, которая вполне прилично одета, так что я попрошу без намеков на наши отношения: а вот вы в шесть утра выходите из мужской комнаты черт знает в чем, и совершенно не стесняетесь, и даже бьете государственные изобразительные ценности — вы не представляете, сколько это сокровище стоит, по нему Эрмитаж плакал, а мы не отдали, я вас отсюда за разврат выгоню, ясно?

— Филиппов! — умоляла его Марта, повиснув на нем, чтобы отделить его от Лидочки, к которой президент направился с целью изгнать ее из обители академиков. — Филиппов, подожди, не трогай Лиду, она совершенно ни при чем. Если она была у Александрийского, то она не разбивала вазу, а если разбивала вазу, то она не была у Александрийского.

— Не была? Не была? А это что?

Указующий перст президента уперся в пол. Все посмотрели туда и увидели, что Лидочка обута в мужские ботинки.

— Это ваши ботинки, профессор?! — с пафосом воскликнул президент Санузии, и профессор, не задумавшись, сразу признался:

— Мои. — И, сообразив, что такое признание может повредить Лидочке, продолжил: — Но заверяю вас, товарищ Филиппов, что ваши подозрения совершенно неуместны. Мое состояние, что подтвердит находящийся здесь доктор, к сожалению, совершенно исключает любое физическое напряжение. Так что присутствие Лидии в моей комнате объяснялось вполне невинными платоническими причинами.

— В шесть утра! Ха-ха-ха, я смеюсь, — сказал президент.

— Как лечащий врач я должна сказать, — вмешалась в разговор Лариса Михайловна, — что профессор Александрийский болен ишемической болезнью и имеет аневризму сердца, так что любое физическое напряжение опасно для его жизни.

Лариса Михайловна очень волновалась, щеки ее пошли красными пятнами, она выражалась канцелярским языком, который ей казался более убедительным в разговоре с таким человеком, как президент Филиппов, и, как ни странно, именно этот стиль возымел действие, президент спохватился и сказал:

— Я вас, Пал Андреевич, не ставлю в вину и к вам отношусь со всем уважением. Но наши с вами девушки...

— Наши коллеги, — терпеливо поправил его профессор.

— Вот именно, они не вызывают доверия.

— Филиппов! — воскликнула Марта Ильинична.

— Не о тебе, не о тебе, — отмахнулся президент.

И тут наступила пауза, потому что оказалось, что больше подозреваемых нет.

Президент, почувствовав, что следствие зашло в тупик, спросил у Александрийского:

— А она у вас давно?

— Почему вы спрашиваете? — удивился Александрийский.

— А потому что если недавно, то она могла свалить вазу, а потом к вам убежать.

— Вы ошибаетесь, — сказал Александрийский твердо, но, конечно же, не убедил этим Филиппова.

— Тогда все по палатам, — приказал президент. — Я тушу свет. Все по палатам!

— Я провожу Лидочку, — сказал профессор.

— Она сама дойдет.

— А я провожу, — сказал профессор, не улыбаясь, — потому что мне надо будет забрать мои ботинки, которые я ей одолжил.

Все снова посмотрели на ботинки, которые свидетельствовали о Лидочкином моральном падении. Потом докторша взглянула на профессора, и взгляд ее был так красноречив, что Лидочка не сдержала улыбки.

— Вы с нами дойдете до комнаты Лидочки, — сказал Александрийский, который тоже прочел немой вопль во взгляде врачихи. — Вы поможете мне подняться по лестнице, а я потом соглашусь смерить давление.

— Честное слово? — Покрытое пушком доброе лицо докторши покрылось счастливым румянцем.

Какой умница! — сообразила Лидочка. Теперь докторша волей-неволей попадет в комнату и сама увидит Полину.

— Спокойной ночи, — сказал президент, подтягивая резинку пижамных штанов, — отдыхайте, товарищи. Я пошел к себе.

— И правильно сделаете, — капризно сказала Марта, разочарованная в кавалере. Она первой поспешила к лестнице, и Лидочка сказала ей:

— Не спеши, подожди нас.

— Ладно, — согласилась Марта, но Лидочка все равно беспокоилась, как бы Марта не убежала в комнату, и не спускала с нее глаз. Лариса Михайловна и Лидочка поднимались медленно, помогая идти Александрийскому.

Александрийский опирался на руку Лидочки, и той было неловко от того, какая у нее молодая и гладкая рука и как сильно в ней бьется кровь, тогда как пальцы профессора столь холодны и сухи, а сердце сокращается часто и мелко.

Наверху лестницы Лариса оставила их — побежала к себе в кабинет.

Александрийский прислонился к стене.

— Вам плохо? — спросила Лидочка.

— Сейчас, — сказал Александрийский. — Я иду.

Лариса Михайловна прибежала из своего кабинета и протянула ему стаканчик с мутной жидкостью. Александрийский послушно выпил.

— А вы где были полчаса назад? — спросила Лидочка у Ларисы Михайловны.

— Я навещала профессора Глазенапа, — сказала Лариса, — у него был ночью приступ почечных колик. А вы меня искали? Вам что-то надо было?

Лариса Михайловна всегда чувствовала себя виноватой, словно боялась потерять место.

— Пошли, — сказал Александрийский. — Поглядим, нет ли у вас в комнате привидений.

Они остановились у двери.

Лидочка поняла, что первой войти должна она. Ведь она одна видела Полину мертвой.

Она потянула на себя дверь. Дверь открылась. Александрийский положил легкую руку ей на плечо.

Лидочка нащупала выключатель — он был справа от двери. Она старалась не смотреть под ноги. Выключатель послушно щелкнул. Лида продолжала стоять, зажмурившись.

— Ну что ты, — сказала за спиной Марта, — заходи же!

Лидочка не могла заставить себя шагнуть, потому что натолкнулась бы на тело Полины, но глаза приоткрыла.

Комната была пуста.

Лидочка смотрела туда, где должна была лежать Полина, она шарила глазами по стене, по полу в поисках крови, следов борьбы — каких-нибудь следов того, что здесь только что лежало тело мертвой женщины.

— Я так больше не могу. Это анекдот какой-то, — сказала Марта и, отстранив Лидочку, вошла в комнату. — Ты что, привидение увидела?

— Да, — сказала Лидочка.

— Ну что ж, — сказал Александрийский, — надевайте ваши туфли, отдавайте мои ботинки, встретимся за завтраком.

— Да, да, одну минутку, — сказала Лида. Она с трудом заставила себя миновать то место, где лежало — но ведь лежало же! — тело Полины.

Ночные туфли без задников стояли рядышком у измятой кровати. Вторая кровать была застелена, и Марта первым делом сорвала с нее одеяло, как бы стараясь показать присутствующим, что только что покинула ложе и намерена немедленно улечься вновь.

Лидочка сняла ботинки профессора и повернулась к нему, протягивая их.

— Честное слово... — сказала она.

— Поспите немного, — сказал профессор, — вы так устали. А перед завтраком зайдите ко мне, хорошо?

— И перед завтраком тоже! — сказала Марта. — Ну уж, профессор!

И она захихикала. Только тут Лидочка сообразила, что Марта пьяна. Исчезновение Полины каким-то образом способство-

вало постепенному возвращению Лиды в нормальный мир привычных ощущений и логических связей.

Профессор держал в руке ботинки.

Лариса Михайловна сказала от двери:

— Я провожу Павла Андреевича, вы не беспокойтесь, это мой долг. А вам пора спать.

Дверь закрылась. Марта задрала юбку и стащила ее через голову.

— Как я устала от всего! Ноги не держат. — Сквозь ткань юбки ее голос звучал глухо, а ноги в черных шелковых чулках были крепкими и обтекаемыми.

Лида подошла к двери. Она смотрела на то место, где была Полина. Может, в самом деле она была живой и лишь казалось, что она мертвая? А потом она встала и ушла... Конечно же, так и было! И хоть оставалась неловкость от того, что Лида потревожила Александрийского, но лучше так, чем снова увидеть мертвую женщину. И как только она мысленно произнесла слова «мертвая женщина», Лидочке вспомнилось собственное прикосновение к ее виску, ощущение теплой воды — ведь это была кровь? — Лидочка постаралась вспомнить, что же она сделала потом: палец — она взглянула на него — был чист. Значит, она вытерла его? Но ведь она его не вытирала! Лидочка взглянула вниз — по серой ткани халатика протянулась короткая, почти черная полоса — кровь уже высохла, но это была кровь, и никогда не убедишь себя в ошибке. Лида была уже уверена, что Полину она видела, что Полина была убита, что у нее была рана на виске. И был преследователь — убийца, который хотел догнать и убить Лиду. Все было...

Марта кинула юбку на стул, стала снимать чулки, пальцы плохо слушались ее и соскальзывали с застежек.

— Как плохо быть женщиной, — громко сказала Марта. — Мы никогда не научимся расстегивать чулки. Для этого надо родиться мужчиной, не так ли, уважаемая леди Иваницкая?

Не дождавшись ответа, Марта выругалась — что совсем уж не вязалось с ее респектабельным обликом, — и, не снимая пояса и правого чулка, который не смогла отстегнуть, она упала на кровать и стала спазматически дергаться, вытаскивая из-под себя одеяло. Не вытащила и заснула — начала дышать ровнее, глубже, потом захрапела.

А Лидочка все стояла посреди комнаты, не решаясь вернуться в постель. Она нащупала ногами туфли, надела их, прошла к

окну, надеясь, что уже начинается рассвет, — скорее бы кончилась эта ночь! Но никаких признаков рассвета за окном не намечалось, будто ночь только-только вступила в силу. Сквозь приоткрытую форточку доносился занудный звук дождя. Мокрый воздух вползал в комнату.

Марта похрапывала. Если ей сказать про Полину, она только рассмеется. На тумбочке у кровати Лидочка нащупала свои часы. Фосфоресцирующие стрелки показывали почти семь часов. Как хорошо, что Марта похрапывает в комнате, — это как гарантия, что никакой убийца сюда не сунется. А если сунется, то Марта закричит так, что примчатся машины с Лубянки.

И хоть спать не хотелось, выйти в коридор нельзя — безопасный мир кончается за дверью.

Не снимая халата, Лидочка легла на кровать. Она ждала, когда пройдет час, — когда начнет просыпаться Санузия. С утра вступят в действие совсем другие законы жизни — не такие кошмарные, как ночью.

Кто мог убить Полину? Конечно же, были случайные люди и случайные ситуации, но если их отбросить, то останутся те, кому мешала Полина и ее тайна. Конечно же, первым кандидатом на роль убийцы оказывался Матя. Да, сказала себе Лидочка, как это ни жутко, как ни противоестественно — милый, добродушный Матя имел все основания убить эту несчастную женщину. Ведь она знала о нем страшную тайну — его участие в насилии. А что, если это раскроется? Что скажут об этом маэстро Ферми или Резерфорд? Ведь Матю больше никогда не пустят за границу. Для Мати это непереносимая травма. Конечно же, он по натуре не убийца, но, если его сильно испугать, он способен на неожиданные и глупые поступки. Впрочем, как можно называть убийство глупым поступком? Матя — убийца! Несовместимо. Сказать бы об этом его маме, у него, наверное, чистенькая, с белым воротничком мама — учительница, которая допрашивает сына, стоит ли в Пизе падающая башня и целы ли фрески Фра Анжелико в Вероне? Она сама была в Италии студенткой-бестужевкой, еще до первой революции, и ей кажется, что жизнь там находится под угрозой всемирной пролетарской революции, и потому она очень жалеет итальянские фрески, на которых итальянские пролетарии обязательно выцарапают гвоздями неприличные слова... Лида, Лида, куда тебя заносит воображение? При чем тут мама Мати Шавло? Ее сын — возможный убийца. А вдруг это Матя преследовал Лиду по коридорам дома Трубецких и разбил китайскую вазу эпохи Тан? Вот это уже совсем немыслимо и бездарно — даже думать о таком противно. Убийцами быва-

ют биндюжники, слесари и бродяги, но не может же быть убийцей доктор наук, физик с мировым именем!

Лидочка замерла, даже думать перестала — по коридору кто-то прошел, шаги были частыми, мелкими, быстрыми, хлопнула дверь в туалетную комнату. Там — далеко, как на соседней планете, — зашумела вода. Лидочка поглядела на часы. Время двигалось так медленно... Четверть восьмого... Но убить мог и другой. Допустим, Алмазов. Конечно же, Алмазов. Алмазов наверняка убивал уже людей. И Альбина рассказала ему про Полину, про то, что услышала в туалетной. И Алмазов понял, что Полина представляет опасность для Мати. Ведь Матя ему нужен? Матя сам говорил, что нужен. Значит, надо было убрать несчастную подавальщицу... А потом бегать по коридорам за Лидой? Чушь какая-то! Алмазову ничего не стоит послать послушного президента Филиппова — тот под любым дождем в любую распутицу доберется, как тот раб с ядом анчара, до отделения ГПУ и приведет оттуда молчаливых сдержанных сотрудников. Зачем Алмазову самому этим заниматься?.. Алмазов мог поручить Альбине проколоть сердце Полины длинной булавкой. Им такие булавки дают в ГПУ — с алмазными шариками на концах, — и Лида явственно увидела, как сверкает алмазный шарик на кончике булавки и Альбина, облеченная в белый балахон, на цыпочках бежит по коридору, догоняя Полину, что несет, прижав к груди, голубую кастрюлю, крышка которой легко подпрыгивает, выпуская изнутри клубы пара и даже издавая время от времени короткие свистки. Именно эта кастрюля и служит, как понимает бессильная вмешаться в события Лидочка, центром всей интриги — обладание ею и стало проклятием дома Трубецких. Вот Полина оглядывается и видит преследовательницу — лицо Альбины искажает страшная гримаса, и она показывает издали Полине длинную иглу, как бы предупреждая, каким образом Полина будет убита.

— О, нет! — с таким криком Полина кидает кастрюлю и убегает по коридору, крышка с кастрюли падает и катится отдельно, но внутри кастрюли — такое клокотание пара, что невозможно разобрать, в чем же ее тайна. Вместо того чтобы схватить, как от нее ожидалось, кастрюлю и прекратить преследование подавальщицы, Альбина выставляет вперед иглу и стремительно приближается к Полине. Лидочка пытается предупредить Полину, которая не смотрит на преследовательницу, что ей грозит смертельная опасность, но изо рта не вырывается ни звука, будто рот набит пастилой... От страха и отчаяния Лидочка открыла глаза и поняла, что нечаянно заснула и сцена пре-

следования Полины Альбиночкой — не более как кошмар. В комнате стало чуть светлее. Лидочка приподнялась на локте и увидела, что окно из черного стало светло-серым. И слабый свет проникал в комнату, освещая вздернутый к потолку профиль Марты — куда более жесткий и старый, чем наяву, когда Марта следит за выражением своего лица. Как бы почувствовав взгляд Лиды, Марта повернулась на бок и потянула на себя одеяло.

На часах было около восьми. Слышно было, как медленно и обыкновенно просыпается дом, как доносятся откуда-то человеческий разговор, шаги, звук падающей воды и переставленного стула. Почему так страшно? И сразу Лидочка вспомнила ночные беды и даже хотела привстать, поглядеть, не вернулась ли мертвая Полина, но поняла, что это тоже психоз, продолжение кошмара, — с возвращением дня Полины уже не может быть. И никаких убийц... от этой счастливой мысли Лидочка свернулась клубочком и заснула глубоко, без снов, как будто намеревалась спать весь день.

И тут же ударил гонг!

Страшно и тревожно, словно вызывал не на завтрак, а на Страшный суд.

— Заткнись! — закричала спросонья взбешенная Марта. — Заткните ему глотку.

Гонг ударил снова — из какого же металла он сделан, если звук его проникает сквозь стены и двери, забирается под одеяло и подушки?

ГЛАВА ПЯТАЯ

24 октября 1932 года

Лидочка закрыла уши. Кровать Марты заскрипела.

— Я знаю, — сказала Марта с отвращением. — Это Филиппов. Он садист. Я в этом убедилась вчера — ты не представляешь, какой он садист!

Марта потрясла Лидочку за плечо, чтобы та просыпалась, — Марте не хотелось страдать в одиночку.

— Какой? — сонно спросила Лидочка.

— А такой, что оставил меня с носом. Импотент — это самое высшее выражение садизма!

Лидочка не могла не улыбнуться.

— Ну и рожа, — продолжала Марта, и Лидочка догадалась,

что она глядится в зеркало на стене. — Еще вчера я была соблазнительной молоденькой графиней, — а сегодня кто? Сегодня я кухарка, которая так и не научилась управлять государством.

Кухарка... что же связанное с кухаркой? Конечно же, кастрюля. Что с кастрюлей? Может, Полина ночью приходила именно за кастрюлей? Но как поглядишь, если Марта возвышается над тобой и глаз с тебя не спускает?

Лидочке бы удалось изгнать из головы мысль о Полине, если, надевая халатик, чтобы бежать в туалетную, она не увидела бы на нем след крови — полоску, оставленную вчера. Даже затошнило. Захотелось тут же улечься обратно в постель и, дождавшись, пока Марта уйдет, быстро собрать свои вещи и бежать отсюда.

Но Марта не собиралась уходить без Лидочки.

— Скорее, скорее, ты не представляешь, какой он поднимет скандал! Он будет требовать нашего изгнания — так уже было, — и пропадут наши денежки за путевки, не говоря уж о письме в местком. За безнравственное поведение. Самое уморительное, что я, кроме него, ни с кем безнравственным поведением не занималась. Где справедливость, граждане судьи?

Стараясь не глядеть на полоску крови на халате, Лидочка надела его, потом опустилась на колени и полезла под свою кровать, чтобы поглядеть, стоит ли там злополучная кастрюля. Но ничего увидеть толком не успела, потому что Марта, требовательно заявила:

— Не будь дурой, Иваницкая! Твои туфли стоят у моих ног. Только последний идиот будет искать их под кроватью.

Так что пришлось обуваться под строгим взглядом Марты.

В умывальной, куда они пришли последними, Марта все торопила Лиду, и Лида поняла, что любовница самого президента настолько трепещет его гнева и изгнания, что не смеет войти в столовую одна, без Лиды. И когда они шли в столовую. Марта подгоняла Лиду, как надсмотрщик дядю Тома. Марта дала ей понять, что теперь, добившись своего — сладкого тела Марты Ильиничны, Филиппов постарается выжить ее из санатория, опасаясь, что она проговорится кому-нибудь о их близости и уменьшит его шансы в будущем удержать место. Оказывается, выборная должность президента республики курировалась ГПУ, точнее, отделом товарища Алмазова, потому что в Узкое порой привозили иностранные делегации и отдельных выдающихся представителей зарубежной научной и литературной мысли — так что президент Санузии не мог быть случайным человеком.

Лидочка шла в столовую, не думая о Полине и о ночных де-

лах. Ею овладела странная тупость, ей было все равно, куда она идет и почему, и ее даже удивило обычное утреннее веселье в столовой, смех и громкие голоса молодежи на «камчатке», ее изумило то, что ничего не подозревающий Пастернак мирно беседовал с какой-то толстой дамой в пенсне, что Александрийский, хоть и был бледнее обычного, спокойно уплетал рисовую кашу и никому не было дела до нее и Полины... А где подозреваемые? Лида поглядела на место Мати — его там не было, но тут же обнаружилось, что это открытие и гроша ломаного не стоило, потому что именно в тот момент Матя, проходя мимо Алмазова, наклонился, что-то сказав.

Президент Филиппов постучал ложкой по пустой кастрюле и воскликнул:

— Второй удар гонга уже был!

— Был! — поддержали его нестройно за столами.

— Отдыхающие из девятнадцатой комнаты за два дня умудрились во второй раз безнадежно и преступно опоздать к завтраку. И если в первый раз мы ограничились выговором, то сейчас, я думаю, мы не имеем права либеральничать!

Филиппов был маленький, худенький, толстовка на нем казалась мятой и несвежей.

Лида взяла за руку замершую, как кролик перед коброй, Марту и уверенно потянула к столу.

— Вы меня слышите? — постарался рычать президент.

— Слышу, слышу, — ответила Лидочка, усаживаясь на свое место.

— Мы устроим общественный суд! — кричал президент.

— Общественный суд! Ура! — «Камчатка» буйствовала, ликовала: предстояло зрелище. В такую погоду перспектива драматического зрелища всегда радует.

Пастернак поморщился. Николай Вавилов наклонился к брату, заговорил не улыбаясь. Матя уткнулся в тарелку. Алмазов презрительно смотрел на президента, а Альбиночка смотрела на Алмазова.

— Только не бойтесь, — прошептал, склонившись к самому уху, Максим Исаевич,— мы что-нибудь придумаем.

— А что они могут сделать? — запищала Марта.

— Суд — это суд, — сказал Максим Исаевич и громко вздохнул.

Александрийский сидел к Лидочке в профиль. Шум за столом стих. Вошел, опираясь на палку, старый Глазенап. Лидочка испугалась, что идиот Филиппов и его привлечет к суду, но Фи-

липпов промолчал. Он уселся на свое место, луч света, отразившись от стоявшей перед ним начищенной кастрюли с кашей, попал ему в глаз, и глаз сверкнул, как у дракона. Кастрюля... Надо будет вернуться в комнату до Марты и посмотреть в конце концов, что в той кастрюле!

— А когда будет суд? — спросила Лидочка у Максима Исаевича.

— Спроси меня чего-нибудь полегче, — сказал тот, потом добавил: — Филиппов сначала посоветуется со своим активом.

— И с начальством, — добавила Марта. Она была зла. — Никогда не подозревала, что человек может быть так неблагодарен!

— А он тебе должен быть благодарен? — спросил Максим Исаевич, прищурившись. Щечки его порозовели.

— Разумеется, — сказала Марта и добавила, чтобы у собеседника не оставалось сомнений: — За мою бессмертную красоту.

Лидочка ждала, когда появится подавальщица. Сегодня смена Полины. Если все, что было ночью, — бред фантазии, то Полина сейчас войдет.

С двумя чайниками кофе с молоком вошла незнакомая старуха в белом нечистом халате. У старухи было много золотых зубов — она, видно, гордилась ими и все время улыбалась.

Когда старуха поставила чайник на стол неподалеку от Лидочки, та спросила:

— А где Полина?

— А кто ее знает, эту барыню, — рассердилась вдруг старуха. — Я что, нанималась вам чаи разносить, да? Мое место на кухне, посуду мыть, мне не платят, чтобы я чайники носила!

Лидочка поковыряла ложкой в каше. Налила себе кофе. Кофе был суррогатный, жидкий, невкусный и уже остыл. Она ждала только, когда поднимется из-за стола Александрийский. Он не спешил. Придется подождать его в гостиной.

Выходя из дверей, она оглянулась — сразу несколько человек смотрели ей вслед — Матя, Алмазов, Александрийский, президент. Каждый взгляд Лидочка ощутила отдельно, как различные прикосновения.

Лидочка подошла к картине, изображавшей несчастную жертву крепостнических повадок Трубецких. Девица смотрела печально, словно догадывалась о грядущей судьбе. Или о ней знал художник. Может, успею сбегать наверх, к себе в комнату, погляжу наконец в эту кастрюлю!

Но как только Лидочка пошла к выходу из гостиной, в две-

рях столовой появился Александрийский. Он шел быстрее обычного.

— Как хорошо, что вы догадались подождать, — сказал он.

— Я специально вышла.

— Вы готовы отправиться на прогулку?

— Конечно.

— Тогда пойдемте, не тратя времени даром, пока все еще за столом.

Лидочка помогла Александрийскому одеться, потом оделась сама. Из столовой вышел Пастернак. Он спешил. Увидев Лидочку, он сказал:

— Простите, я хотел проститься с вами. Я сейчас уезжаю.

— Как жалко, — искренне сказала Лидочка.

— Я хотел вам сказать, что двадцатого ноября у меня должен быть вечер в Доме железнодорожников. Если вам интересно, приходите.

— Большое спасибо, — сказала Лидочка.

— Тогда я с вами прощаюсь. Через десять минут уходит грузовик, они за продуктами поедут и меня захватят.

— Я была рада с вами познакомиться, — сказала Лидочка.

Она почувствовала, что Пастернаку не хочется с ней расставаться. Он будто ждал еще — последних, нужных слов, но слов не получилось.

— Лида, — сказал Александрийский отцовским голосом, — нам пора.

— Простите, — сказал Пастернак, — до встречи.

Лидочка посмотрела, как Пастернак, через две ступеньки, легко взбежал на второй этаж. Она открыла дверь, пропуская Александрийского вперед. У него была узкая согбенная спина. Александрийский еще в дверях стал раскрывать большой черный зонт. В лицо колотил промокший ледяной ветер. Зонтик никак не раскрывался, его рвало из рук профессора.

— Давайте я сама, — сказала Лидочка. Она вышла на улицу, раскрыла зонт и быстро повернула его горбом против ветра. — Мы куда идем? — спросила Лида.

Стало холодно, ее москвошвеевское полушерстяное пальто пропускало ветер, и через несколько минут пропустило бы и воду. Вокруг был влажный сумрак, и парк вдали скрывался, расплывался в водяном мареве. За последние два дня деревья совсем облетели — лишь кое-где дергались под ветром последние желтые листья. Две белки перебежали дорожку перед Лидой и стремглав кинулись вверх по толстому кленовому стволу.

— Сорвут заготовки! — крикнул Александрийский.

— Кто сорвет? — не поняла Лидочка. — Кулаки?

— Погода плохая, — серьезно ответил Александрийский. — Белки не смогут положить в закрома собранный урожай.

— Мне их жалко, — сказала Лидочка.

— Вы не правы. Сначала надо выяснить их классовый состав. А потом уж жалеть. Под видом белки может скрываться классовый враг, вы подумали?

— Я подумала, что вам лучше помолчать на такой погоде, — сказала Лидочка. Она остановилась и под защитой зонта, который с трудом удерживал профессор, вытащила провалившийся под пальто шарф, отчего грудь Александрийского была совершенно открыта. Затем Лидочка перехватила зонт, который профессор с трудом удерживал, потому что ветер стучал и ломился в него, как будто пришел с обыском.

Они вышли за ворота усадьбы — широкая дорога вела вниз, мимо кладбища к прудам и основному въезду, другая, от ворот направо, — к каким-то хозяйственным строениям.

На развилке стояла массивная старая церковь, дверь в которую была полуоткрыта, и внутри было темно, а на полу были видны рваные листки бумаги.

Александрийский взял Лидочку под руку и повел направо. Пришлось идти по скользкому глинистому валику между наполненными водой колеями. Лидочка перепрыгнула через колею и пошла по обочине, держа перед профессором зонт. Сама она уже успела промокнуть.

Профессор не оценил этой жертвы.

— Мы идем в гости к Полине, — сказал он. — Жаль, что вы проспали, но я надеюсь, что мы успеем туда первыми. И все тайны разрешатся сами собой.

— А вы знаете, где она живет?

— Я узнал сегодня утром.

— Как?

— Не важно.

— Значит, вы мне поверили?

— Разумеется, я вам поверил! Ведь кто-то уронил китайскую вазу. Но мне хотелось бы услышать ваше мнение — кому нужна была ее смерть?

Фраза была позаимствована из рассказа Конан-Дойля, но, видно, у Александрийского не было в памяти других пособий в сыскном деле.

Лидочка подумала, что теперь глупо скрывать от профессо-

ра то, что ей было известно о Полине. Ведь почти наверняка причиной ее смерти стал разговор в умывальной. И Лидочка пересказала исповедь Полины о насильнике Мате.

Александрийский был настолько увлечен рассказом, что остановился, спрятал, наклонившись, голову под зонт и непроизвольно перебивал Лидочку восклицаниями: «Нет, ты только подумай!», «Вот наглец!», «Вы говорите, поезд Троцкого?». А когда Лидочка закончила рассказ появлением нечаянного свидетеля — Альбины, профессор, охваченный детективным азартом, сжал худые кулаки и громко произнес:

— В лучших традициях Агаты Кристи! Вы знакомы с Агатой?

— Нет.

— Это английская писательница. Уже сегодня — мировая величина... Значит, ее укокошил Матвей?

— Может, она живая?

— Мало шансов. Потому что у нас уже двое подозреваемых.

— Алмазов тоже?

— Он узнал обо всем от своей любовницы.

— Альбина дала слово!

— И вы поверили этой шавке? — Александрийский решительно двинулся вперед.

Лидочка удивилась — за время их недолгого знакомства профессор не позволял себе грубых слов.

— За что вы так ее не любите? — Лидочка почувствовала себя защитницей Альбины. Но ее тайну она раскрыть не могла. — Ведь Альбину могли толкнуть на это обстоятельства.

— Не бывает обстоятельств, заставляющих стать бесчестным.

Лидочка сомневалась в правоте Александрийского, но возражать не стала.

— Хотя я не вижу мотива у Алмазова. Такие, как он, даже имея основания, не убивают сами, а вызывают сотрудников. Пожалуй, вы правы — Полина испугала Матю. У Шавло есть дела с Алмазовым?

— Вы тоже так думаете?

— Матвей сейчас на распутье. У него Фаустов комплекс — он ждет выгодного покупателя.

— А участие в насилии скомпрометирует его?

— При чем тут насилие? Кого испугаешь насилием? Напрягите свой хорошенький мозг, мадемуазель!

— Я вас не понимаю.

— Поезд Троцкого! Вы понимаете, какое это преступление? Он служил в охране Троцкого!

Тут профессор Александрийский поскользнулся и чуть было не въехал галошей в глубокую колею. Лидочка еле успела подхватить его, но выронила при этом зонтик. Так что пришлось прервать разговор.

Когда наконец профессор вновь твердо стоял на дороге, а зонт прикрывал его от дождя, Лидочка смогла разобрать, что справа тянутся низкие, вросшие в землю одноэтажные строения с множеством окон. В некоторых горел слабый свет — даже днем в такую погоду там было совсем темно.

— Здесь жили слуги, — сказал профессор. — А теперь живет обслуживающий персонал. Вы чувствуете разницу?

— Конечно, — сказала Лидочка. — Персонал — это звучит гордо!

— Вы умненькая девочка, — сказал Александрийский. — Вы вызываете во мне злость тем, как вы молоды, хороши и недоступны. Злость потому, что моя жизнь уже промчалась, а ваша еще только начинается. Вы комсомолка?

— Нет, — сказала Лидочка. — Я стара для этого.

— И не были комсомолкой?

— Нет, я недавно приехала и не успела поступить.

— Откуда, простите?

— Издалека, — сказала Лидочка. — Нам здесь поворачивать?

— Да, — сказал Александрийский рассеянно.

Тропинка привела к двери в торце длинного одноэтажного флигеля. Александрийский долго вытирал ноги о сделанный из пружин коврик у двери, Лидочка сложила зонтик. Александрийский толкнул дверь и вошел. Перед ним протянулся длинный низкий узкий коридор, над которым висели, еле освещая его, две лампы. По обе стороны тянулись одинаковые темно-зеленые обшарпанные двери.

— Это людская, — сказал Александрийский. — Закройте за собой дверь, чтобы не дуло. Нам нужна шестая комната.

Ближайшая к ним дверь отворилась, и в ней показалась девочка лет десяти в коротком тусклом платье, с толстой косой, лежавшей на плече. Девочка уныло доила косу, глядя на Лидочку.

— Здравствуй, — сказал Александрийский. — Где тетя Катя живет?

— Тама. — Девочка неопределенно ткнула пальцем вдоль коридора.

Как будто по мановению этого пальчика, дальше по коридору открылась дверь, оттуда высунулась женская голова в папильотках и позвала:

— Паша, иди сюда, я жду.

Александрийский весь подобрался, стал даже выше ростом, и палка, на которую он только что опирался, превратилась в легкую изящную трость. Он уверенно и легко пошел к женщине, Лидочка за ним.

Подойдя ближе, Лидочка узнала в этой полной, простоволосой бабе в халате, поверх которого была натянута фуфайка, респектабельную администраторшу, которая регистрировала их по приезде.

— С кем это ты? — спросила администраторша, глядя на Лидочку. Потом вспомнила и сказала: — А, помню, Иваницкая, от Института лугов и пастбищ. Заходить будете?

— Нет, — сказал Александрийский.

— А зачем ты ее привел?

— Ее это тоже касается.

— Тебе лучше знать, — сказала равнодушно администраторша.

— Больше никто ключей не спрашивал?

— А спросят?

— Могут спросить. Тогда ты нас не видела.

— А я вас и так не видела, — сообщила администраторша. — В твоем возрасте опасны молодые девочки.

— Я бы рад, — сардонически улыбнулся Александрийский. — Но не могу. И не ревнуй, мы еще с тобой повоюем.

— С тобой повоюешь, — сказала женщина и, не закрывая двери, исчезла в своей комнате. Девочка стояла сзади Лидочки, она сунула конец косы в рот и обсасывала его.

— Вы давно знакомы? — спросила Лида.

— Лет десять назад Катя была красавицей. Она и сегодня хороша собой, но десять лет назад...

— Десять лет назад и ты, Паша, был еще орлом, — сказала женщина, вынося им ключ и протягивая Александрийскому. — Не то что теперь — руины, извини за грубое слово. Как, есть надежда, что выздоровеешь, или помирать придется?

— Ты жестокая женщина, Катя, — сказал Александрийский жалким голосом. Этого Лидочка не ожидала, даже обернулась к нему, словно хотела убедиться, что он мог так сказать.

— Значит, не выздоровеешь, — сказала Катя. — Но проскрипишь еще пару лет. А жаль. Да ты ко мне все равно бы не вернулся...

— Не знаю, — сказал Александрийский...

— Направо поворачивай, будто запираешь, понял?

— Ладно, — сказал Александрийский.

— А то заходи, чаю попьем.

— Спасибо. Какой номер?

— Через одну на моей стороне. А она не вернется?

— Думаю, что не вернется.

— А то неловко получится.

— Я бы не стал тебя подводить.

— С тебя станется. Ты же, Паша, всегда только о себе думал.

— О науке.

— Это так у тебя называлось — думать о науке. А наука для тебя что? Это ты сам и есть наука.

— Наука сегодня куда больше и сильнее меня — я только ее раб.

— А, что с тобой спорить! Иди смотри.

— Так ты точно не знаешь, кто она такая на самом деле?

— Я ж тебе Христом-Богом клянусь — Полина она и есть Полина. Ее Денис еще с дореволюции знал.

— Здесь?

— А где же?

— А Денис сейчас где?

— В Москве. Ты пойдешь или так и будешь стоять?

Александрийский пошел к двери в комнату Полины, Лидочка за ним, Катя осталась у своей двери. Лидочка услышала за спиной ее голос:

— А молодые тебе опасны, Паша. Помрешь ты с ней.

Александрийский, не оборачиваясь, отмахнулся. Сзади хлопнула дверь.

Профессор согнулся, вставляя в замочную скважину ключ.

— Как будто закрываете, — напомнила Лидочка.

— Помню, — сказал профессор.

Дверь отворилась. Профессор повернулся к Лидочке, хотел пригласить ее войти, но тут увидел девочку с косой.

— А ты что здесь делаешь?

— Гляжу, — сказала девочка.

— А глядеть тебе нельзя, — сказал Александрийский.

— Почему?

— Потому что я тебе глаза выколю, — сказал профессор. — А не будешь смотреть, конфету дам, так что выбирай, что тебе интересней.

— Мне смотреть интересней, — сказала девочка.

— Иного ответа я от тебя не ожидал. Держи рубль.

Профессор достал из кармана брюк рубль. Девочка взяла его и продолжала стоять.

— А теперь — брысь отсюда.

Девочка раздумывала.

Открылась дверь в комнату Кати, и та крикнула:

— А ну, иди сюда, уши оторву!

Девочка демонстративно вздохнула и побрела прочь.

— И это могла быть моя дочь, — сказал Александрийский. — Надо будет спросить, чья она... — Он тоже вздохнул и добавил: — Я первым туда войду.

В комнате было сыро, холодно и совсем темно — маленькое окно, расположенное низко к земле, пропускало слишком мало света. Александрийский стал шарить рукой по стене возле косяка двери в поисках выключателя. Но Лидочка сообразила, что в комнате нет электричества, — на столе стояла трёхлинейка. Рядом с ней она разглядела коробку спичек.

— Погодите, — сказала она Александрийскому. — Я зажгу.

Она зажгла лампу, подкрутила фитиль. В комнате стало чуть светлее, ожили, зашевелились тени.

— Какое-то средневековье, — сказал Александрийский. — Почему не провели электричество?

— Потому, — ответила Лида, осматриваясь.

Комната была обставлена скудно. Продавленный диван был застлан серым солдатским одеялом, покосившийся платяной шкаф с открытой дверцей был печально и скучно пуст, лишь черная юбка висела на распялке. У дверей стояли высокие шнурованные башмаки.

— Лидочка, будьте любезны, загляните под диван, — сказал Александрийский. — У нее должен быть какой-нибудь чемодан или саквояж.

Под диваном было мало места для чемодана — всего сантиметров десять — пятнадцать, но Лидочка не стала спорить. Прижав щеку к полу, она заглянула под диван — там было темно, что-то зашуршало, когда Лидочка сунула руку. Лидочка отдернула руку и вскочила.

— А там мыши, не бойся, — сказала Катя, которая вошла в комнату.

— Я не боюсь, — сказала Лидочка, переводя испуганное дыхание. — Там нет чемодана.

— У нее баул был, — сказала Катя. Она уже причесалась, от этого лицо ее изменилось — стало миловиднее. Девочка, получившая рубль, снова появилась в дверях, но войти не посмела. Из-за нее выглядывал парень лет пяти. Он сопел.

— Баул был, черного цвета, старый, — повторила Катя. — Она как с ним приехала, так он у нее в шкафу и стоял. — Катя показала на открытый шкаф.

— А одежды у нее много было?

— А у кого, кроме твоих любовниц, много одежи бывает? — спросила Катя, глядя на Лидочку.

Александрийский отмахнулся от Кати и пошел вокруг комнаты, жмурясь, потому что света было мало.

— Она давно здесь поселилась? — спросил Александрийский.

Лидочка поежилась — как же Полина жила в таком мокром холоде? Впрочем, другие живут, и с детьми.

— А ей повезло, — сказала Катя. — Когда она к нам приехала, в этой комнате как раз Марфута померла, судомойка у нас была, из старых, Марфутой звали, она и померла. Вон, видишь, от нее икона осталась. И наш директор отдал комнату Полине. Конечно, на комнату другие были желающие, но он отдал. — Катя шмыгнула носом. — У нас третий день не топят — печь общая, железная, на весь флигель, а с дровами опоздание, дорогу развезло, никак не проедут. А мы мерзни. Надо тебе в Академии поговорить, Паша.

— Чего же ты раньше не сказала? — спросил Александрийский. — Ведь здесь дети.

— А я как тебя увидела, всю ночь проревела, как дура, — думала, лучше бы помер — одна тень от человека осталась.

— Ладно, ты мне рассказывай про Полину.

— У нас на кухне и в столовой работать некому — трех человек выслали, а Марфута померла.

— Как так «выслали»? — спросила Лидочка.

— А к нам милиционер приходил, — сказала девочка хрипло.

— Как выслали? У нас уж третий раз проверяют — чуть кто напишет, так и проверяют: если имение Трубецких, то здесь агенты буржуазии спрятаны. А ты посмотри, как я живу, это что, я — агент, да?

Катя взмахнула полными руками, платок, которым она была покрыта — концы завязаны крест-накрест на животе, — откинулся — руки были полные, красивые. И тут же, как птица крылья, — под живот. Холодно.

— Проклятие князей Трубецких, — сказал профессор.

— У нас всегда не хватает кому обслуживать — нам и присылают черт знает кого, за комнату люди соглашаются, весь коридор засрали.

— А к нам милиция приезжала, — сказал мальчик. Катя стукнула его по затылку. Мальчик заныл. Катя сказала:

— Ты его не жалей, он мой, не обижу.

— И когда Полина появилась здесь? — спросил Александрийский.

— Скоро месяц как приехала. Голодная, мы сначала тоже думали, что беженка с Украины, с голода, а потом ее Трофим узнал. Тогда она молоденькой была, девчонка совсем. А он узнал. Я-то тут не жила, ты знаешь, я московская.

— Я знаю, — сказал Александрийский.

Лидочка увидела, что из-под лампы торчит уголок бумаги. Она вытащила сложенный вчетверо листок. На нем крупно и неровно написано несколько строк. Там, где Полина вспоминала и лизала грифель, буквы были яркими, а к концу слова карандаш становился тусклым, еле видным.

«Передайте директору, что я срочно уехала, — энергичным, почти мужским почерком, крупными буквами было написано там, — не успела попрощаться. По семейным обстоятельствам. Жалованье пускай возьмет себе. Я потом напишу, где буду. Полина Покровская».

Лидочка прочла записку вслух.

— Так и напишет, — сказала Катя, — написала им одна такая. Видно, почуяла, что пахнет жареным. Надо еще посмотреть, может, что из вещей пропало. И так разворовали — вы даже не представляете, какие люди пошли! Скоро одни стены останутся. Вы знаете, что еще три года назад тарелок было на всех по три, а то и по четыре на отдыхающего, а теперь уже еле-еле по одной. Чайники, кастрюли — все воруют, а она на кухне была.

— Катя, хватит, — сказал Александрийский. — Ты же чужую роль сейчас играешь.

— Какую роль? — откровенно удивилась администраторша.

— Простолюдинки с классовым чутьем, — сказал Александрийский и не сдержал вольтеровской улыбки — все лицо собралось в лучи морщин, а глаза блестят.

— Как знаю, так и говорю, — обиделась Катя. — Ты ведь тоже не такой простой. А в партию вступил.

— Ладно, не будем об этом. — Профессор поморщился. Те-

перь улыбалась Катя — словно они были дуэлянтами, обменявшимися уколами.

Лидочка подошла к окошку. В тусклом свете дня она увидела на подоконнике смазанное темное пятно. Она провела по нему пальцем. Пятно было еще влажным. Грязь.

— Павел Андреевич, — позвала она. Тот не услышал.

В коридоре послышались шаги и голоса.

Лидочка быстро провела рукой по раме — окно было одностворчатое, открывалось наружу. Обе щеколды были открыты. Лидочка опустила нижнюю, потом, продолжая движение, стерла грязь с узкого подоконника. Почему она так сделала? Она узнала голос. Голос в дверях принадлежал Алмазову.

— Кого я вижу! — воскликнул он. Он скрипел кожей куртки, сапогами, карманами. Нечто невероятно скрипучее! — Что вас привело сюда, друзья мои?

Он изображал из себя персонажа какого-то спектакля, заставшего жену с любовником.

Вторжение Алмазова не прошло безболезненно, — разумеется, он не смотрел под ноги и потому отшвырнул, сам того не желая, мальчика. Тот тут же ударился в громкий рев, девочка с косой заверещала: «Вы чего маленьких бьете!» Катя стала поднимать сына, утирать ему нос и спрашивала при том:

— Ты ушибся? Да потерпи ты! Что, не видишь, у дяди револьвер!

— Помолчите! — приказал Алмазов потревоженному муравейнику. Он поморщился, пережидая вопли. И повторил, теперь уже без актерства: — Я вас спрашиваю, гражданин Александрийский, вы что здесь делаете?

Только тут Лидочка увидела ранее скрытого крупной широкой фигурой Алмазова президента Филиппова, который выглядывал из-за плеч чекиста.

— Ничего, — сказал Александрийский.

— Как так ничего?

— Мы гуляли, — кивком головы Александрийский показал на Лидочку, — потом мне захотелось навестить мою старую приятельницу Катю...

Александрийский показал на Катю — она все еще сидела на корточках и утешала ревущего сына, а девочка тоже сидела на корточках, но по другую сторону мальчика, как будто училась утешать детей.

— Да катитесь вы отсюда! — закричал вдруг Алмазов. — У меня от вас голова раскалывается.

Катя молча подхватила под мышку мальчика и, обогнув Алмазова, исчезла. За ней убежала девочка. И сразу стало тихо.

— А теперь, — сказал Алмазов, — я вас попрошу.

— Катя сказала нам, — продолжал Александрийский, — что ее соседка не вернулась со вчерашнего дня. И дверь была открыта. Она сама не смела заглянуть сюда и как раз собиралась пойти к директору... — С этими словами профессор протянул Алмазову письмо Полины. — Все обычно имеет самые простые объяснения.

— А мы их проверяем, — сказал Алмазов, со скрипом склоняясь к горящей лампе, чтобы прочесть при ее свете записку. Он читал, шевеля губами, и только сейчас Лида подумала: а ведь он плохо учился. Плохо учился, но мечтал убежать в индейцы или стать бомбистом, как сам господин Савинков.

— Куда она уехала? — спросил Алмазов.

— Это ваша работа, — сказал Александрийский.

— Хорошо, — сказал Алмазов, пряча записку в карман френча. И очевидно, разговор остался бы без последствий, если бы не неосторожные слова профессора.

— Кстати, — спросил он уже от дверей, — а вы почему здесь оказались?

— Что? — Алмазов красиво приподнял бровь. Лидочка подумала, что он отрепетировал этот маленький жест у зеркала. Стоит по утрам перед зеркалом — то поднимет бровь, то опустит...

В одно слово Алмазов смог вложить такую угрозу, что Александрийский опустил глаза, а остальные замерли, будто ждали, что сейчас карающая десница пролетарского гнева обрушится на профессора.

Но почему-то Алмазов предпочел не выказывать гнева, а сказал после тягучей паузы:

— Мы получили сигнал.

Он не стал уточнять, какой сигнал и откуда. Функцией ГПУ было всезнание, и потому сигналы поступали в ГПУ как выражение этого всезнания, ибо, если бы сигнала и не поступило, Алмазов все равно должен был все знать.

— Посторонних прошу удалиться, — сказал Алмазов.

— Помогите мне, — произнес Александрийский, и Лида поняла, что встреча с Алмазовым далась ему нелегко, — профессор утомлялся скорее, когда волновался.

Лидочка вывела профессора в коридор. Там стояла Катя.

— Ты слышала? — спросил профессор.

— Слышала, что вы ко мне по старой памяти зашли, я вам и сказала, что Полина с вечера не вернулась.

— Ну, прощай, моя хорошая, — сказал Александрийский. — Главное, не бойся никого.

— Я человек маленький, — сказала Катя. Она вдруг потянулась к профессору, обняла его и поцеловала в губы.

— Задушишь, — сказал профессор. Оторвался от нее, и вовремя, потому что из комнаты Полины высунулся президент и крикнул:

— Кто здесь сигнализировал?!

Катя ушла к Алмазову, а ее дети остались в коридоре у двери, им было страшно за мать — они, как звереныши, чувствовали, какая опасность исходила от Алмазова.

Снаружи по-прежнему моросило, но ветер вроде бы перестал, Лидочка раскрыла зонт.

— Мы будем дальше гулять или вернемся домой?

— Я устал, — сказал профессор.

Обратно они шли медленно, несколько раз останавливались передохнуть, возле церкви профессор долго копался непослушными пальцами, расстегивал пальто, достал жестяную коробку с пилюлями.

Лидочка помогла ему застегнуть пальто, что было нелегко, если держишь в руке зонт.

Теперь они были далеко от всех.

— Мне получше, — сказал профессор. — Не так болит проклятое.

— Не ругайте собственное сердце, — сказала Лидочка.

— Ты права, мне не в чем его упрекнуть. Оно меня грело, потому что пылало.

— Как у Данко?

— Я не люблю этого писателя, — сказал профессор. — Что же ты думаешь теперь?

— А вы что думаете? — спросила Лидочка. Ей захотелось чуть подольше не расставаться с тайной, известной лишь ей одной, — тайной открытого окна.

— Я не стал бы делать окончательных выводов, — сказал Александрийский. — Я даже не стал бы настаивать на том, что Полина умерла. Но очевидно, поздно вечером или ночью она собрала свой баул и пошла в Санузию, пошла к вам! Эх, если бы кто-то мне ответил на два вопроса!

— Какие?

— Первый: зачем ей ночью к вам идти? Может быть, вы что-то скрываете от меня?

Лидочка скрывала от профессора историю с кастрюлей. По-

тому что не считала себя вправе распоряжаться чужой тайной, которую ее попросили сохранить.

И еще — открытое окно.

Тут Лидочка вспомнила об окне и рассказала профессору о грязном следе на подоконнике.

— Это запутывает и без того сложную картину, — сказал Александрийский.

— А мне кажется, упрощает, — сказала Лидочка. — Ведь, вернее всего, Полина не хотела уходить коридором, где люди, дети... и вылезла через окно.

— Глупо, — проворчал Александрийский. — Глупо, доктор Ватсон, любой Шерлок Холмс выгнал бы тебя с работы.

У ворот им встретились братья Вавиловы, они были в широких пальто и одинаковых темно-серых шляпах. И зонты у них были одинаковые. Лидочка подумала, что или они вдвоем были за границей, или один из них привез брату шляпу и зонтик.

— Ты думаешь? — сварливо спросил Александрийский. — Или глазеешь на Вавиловых?

— Я не знаю, — сказала Лидочка.

— Человек пролез в окно с улицы!

— Почему?

— Потому что у него подошвы были грязные. Ведь в комнате нет луж!

— А кто это был?

— Кто угодно. Убийца, грабитель или даже сама Полина — если было поздно, а она хотела взять вещи. После разговора с тобой.

Они вошли в дом. Лидочка помогла профессору раздеться.

— Конечно, — сказал он, входя в пустую биллиардную и усаживаясь на узкую скамеечку подальше от входа, — конечно же, я принимаю последнюю версию. Разговор с тобой, а потом встреча с любовницей этого гэпэушника привели Полину к убеждению, что надо бежать. Было очень поздно, она испугалась разбудить кого-нибудь во флигеле, влезла в окно, взяла свой баул, но тут спохватилась, что забыла что-то вам сказать. Или что-то взять у вас. Что это могло быть? Ну, подумайте!

— Не знаю. — Лидочке показалось, что ее голос звучит неубедительно. Сейчас он догадается, что Лидочка врет.

— Вы можете и не знать, — согласился профессор.

В биллиардную заглянул аспирант Окрошко с таким же юным другом.

— Простите, — сказал он, покраснев при виде Лидочки. — Мы думали, что вы не играете.

— Входите и играйте, молодые люди, — заявил профессор. А Лидочке негромко сообщил: — Я пойду к себе и немного полежу. Можете меня не провожать. Вы устали.

— Я вовсе не устала, — сказала Лидочка.

Она проводила профессора до его коридорчика.

— Главное, — сказал профессор решительно, останавливаясь перед своей дверью и принимая задумчивый вид, — главное отыскать, где она спрятала баул. Вот вам задание, Лидия.

— Какой баул? — не сразу сообразила Лидочка.

— Баул Полины. Если она была убита, то ее баул должен остаться здесь.

— Но если она убита, лучше, наверное, найти ее труп, — сказала Лидочка.

— Заблуждение, — сказал профессор. — Ее труп уже лежит на дне пруда или закопан в лесу. А вот баул... баул преступник не стал топить.

Профессор был убежден в том, что он — Шерлок Холмс. Лидочка не стала с ним спорить, хотя была убеждена, что если ты собрался закапывать или топить труп, то добавить к этому грузу и баул — вовсе не трудно.

— Все-таки как вы думаете, — не выдержала Лидочка, — что случилось с Полиной?

— Это загадка, которую мы разрешим по ходу расследования, — сказал Александрийский.

Он открыл дверь к себе в номер и поднял руку, прощаясь.

— Попрошу вас навестить меня перед обедом. Надеюсь, к этому времени у вас будут для меня новости, — сказал он. — Мы разделим с вами функции. Вы будете моими ногами и глазами, я — вашим мозгом.

Лидочка не посмела оспорить это решение, хотя предпочла бы не знать ничего о Полине, убийствах и всей этой Санузии.

Желание заглянуть наконец в кастрюлю и разгадать таким образом тайну возможной смерти Полины Покровской измучило Лидочку, пока она возвращалась с профессором в санаторий. Она с трудом вытерпела последние наставления Александрийского и побежала наверх, надеясь, что Марты, и уж тем более Марты с очередным поклонником, в комнате не окажется.

Лидочке повезло. Ее мечта сбылась — никто не встретился

на дороге, никто не остановил и не окликнул ее, комната была пуста, а кровать Марты аккуратно застелена.

Прежде чем закрыть за собой дверь, Лидочка поглядела в обе стороны коридора — коридор был пуст.

Лидочка затворила дверь, быстро опустилась на колени возле своей кровати, заглянула под нее... там ничего не было. Лидочка даже легла на прикроватный коврик, чтобы поглубже засунуть под кровать руку, и дотянулась пальцами до плинтуса: пусто. Лидочка уселась перед кроватью и стала думать.

Кастрюлю мог обнаружить любой, кто догадался бы залезть под кровать. Но ведь надо было догадаться! Значит, кто-то обыскивал комнату? Или Полина сама успела открыться кому-то перед смертью? Нет, открыться она не могла, да и Лидочка ни с кем о тайнике не разговаривала.

Что теперь делать?

Коврик был жестким, пол — холодным. Надо было бежать... бежать из этого санатория!.. Жаль, что Пастернак уже уехал, придется одной брести по размокшей дороге... Нет, по дороге опасно, по той дороге и пустится погоня. Лучше уходить через деревню Узкое... Только нельзя терять времени. Сначала она спустится к Александрийскому и скажет ему про обыск. А чем Александрийский поможет? Он и сам боится Алмазова...

Что же было в кастрюле? Что-то достаточно серьезное для Полины и ее врагов...

Тут Лидочка поймала себя на мысли, что она теряет драгоценное время, сидя на коврике и не производя никаких полезных действий.

Впрочем, бежать некуда. Алмазов знает, что ты от него никуда не денешься. Он догонит тебя, если захочет, в лесу, на Калужском шоссе, и даже в Институте лугов и пастбищ.

Но я же ни в чем не виновата! Я только приняла на сохранение кастрюлю неизвестно с чем. С неизвестным? А если там была мина для уничтожения товарища Алмазова? Вы же знали, что должна делать в таких случаях советская гражданка. Советская гражданка должна немедленно информировать представителя общественности в лице президента Филиппова... А вы этого не сделали. Вы предпочли пойти на укрывательство врага.

Лидочка продолжала сидеть на полу, обхватив руками коленки, словно была погружена в гипнотический транс. Словно ее на расстоянии загипнотизировал Алмазов...

Лидочка с трудом поднялась. Пришлось уцепиться за спинку кровати. Надо спуститься к Александрийскому. Если уж ты

выбрала себе союзника, держись за него, каким бы беспомощным он ни оказался. Сила женщины в том, что она умеет выбрать мужчину, а потом за него держится. Хочет он того или нет.

Этот афоризм так понравился Лидочке, что она вышла в коридор, улыбаясь. Хотя коленки все еще дрожали.

Сделав несколько шагов, Лидочка остановилась, чтобы перевести дух. Мадам, сказала она себе, вы меня удивляете. У вас никуда не годятся нервы. Если бы вас хотели арестовать, давно бы арестовали. Если вы на свободе, значит, они пока не хотят арестовывать. Можно не спешить.

Такое простое объяснение отсутствия Алмазова вдруг утешило Лидочку, она даже остановилась и наконец-то глубоко вздохнула. Хотя объяснение и не обещало хорошего конца, оно давало передышку, по крайней мере обещание передышки.

Может быть, не следует идти сейчас к Александрийскому, ведь за ней следят?.. Но они все равно знают, что Лидочка ходила к Полине вместе с профессором. Кто поднимет руку на такого старого и немощного, к тому же всемирно известного ученого? Им достаточно Лидочки. Да и не знает профессор ничего о кастрюле. Лидочке захотелось закричать так, чтобы они услыхали: «Александрийский не подозревает о кастрюле!»

Лидочка шла, чуть дотрагиваясь до стены кончиками пальцев, чтобы не упасть, если откажут коленки, — не верила она коленкам.

За мной следят, напоминала она себе, а интересно откуда? Дойдя до лестницы, Лидочка резко оглянулась, ожидая, что из-за угла высунется голова преследователя.

Пусто. Только из докторского кабинета доносятся голоса.

Тогда Лидочка быстро сбежала вниз по лестнице. Снова обернулась. Никого. Преследователи оказались хитрее, чем она рассчитывала.

Не спуская глаз с верха лестницы, Лидочка сделала несколько шагов в сторону гостиной и со всего маха врезалась в рыжую горбунью с мучным в веснушках лицом. Горбунья была в длинном синем халате и держала в одной руке ведро, в другой — серый мешочек.

— Извините, — сказала Лидочка.

— Ты мне и нужна, — сказала женщина. — Я горничная у тебя, помнишь?

— Нет, извините.

Что нужно еще этой женщине? На вид рыжей горничной

было лет тридцать, халат ее сверху был расстегнут, и видна была белая шея и верх груди — тоже в веснушках.

— А я тебе и говорю, — сказала горничная. — Из-за тебя я работы терять не намерена. Мне она говорит, давай, говорит, ты по номерам смотри, у нас уже тарелок не осталось, а про вилки и говорить нельзя, последнюю, говорит, сорока в клюве носила. — Женщина рассмеялась, открыв широкий лягушачий рот, полный зеленоватых зубов.

Лидочка инстинктивно сделала движение, чтобы обойти горничную, потому что в словах и действиях ее была угроза. Лидочке эта женщина была неприятна.

— Простите, — взмолилась Лидочка. — Я вас не понимаю.

— Еще как понимаешь, гражданочка, — сказала горничная, — как если тебе положить некуда, если варить не в чем, то пойди и купи что хочешь, а нет, так и не покупай, а зачем воровать — я доложу директору — ты втрое заплатишь.

— Да пустите вы меня! — Это был какой-то бред — горничная не пропускала Лидочку, покачивалась перед ней — широкое плоское тело перекрывало узкий проход. Лидочка уже решила, что горничная ненормальна, и хотела бежать назад, но та вдруг протянула ей серый мешочек:

— Ты мне три рубля дай, я никому не скажу — мне чужого не надо, мне даже стыдно понимать, как можно чужое брать.

Лидочка послушно взяла мешочек. Мешочек был тяжелым, в нем были какие-то небольшие размером, но увесистые вещицы, словно каменные шахматные фигурки.

— Это что? — спросила Лидочка.

— Не знаешь? — Горничная, будто издеваясь над Лидой, рванула на себя, перехватила мешочек. — Нет, ты три рубля дай, а не то я командиру гэпэушному скажу — он мне спасибо скажет, зачем вы кастрюли воруете.

— Кастрюли?

— Я и говорю — кастрюли. Мне Раиса велела — ты, говорит, по комнатам посмотри, как убираться будешь, отдыхающие наши тоже люди — хорошую кастрюлю не купишь ни за какие деньги, а если у кого найдешь, принеси, я уж сама с ними поговорю. А я у тебя нашла и думаю: ты ведь богатая, а мае каждая копейка на счету...

— Какая кастрюля? — прервала женщину Лидочка.

— Ясно какая, какая под кроватью у тебя стояла. Ты мне трешку дай, я скажу, что кастрюлю на улице нашла, мне чужого не надо, что было в кастрюле — вот оно, бери.

Женщина стояла, протянув руку с мешочком, и вдруг Лидочка ощутила неуверенное и боязливое состояние горничной, которая сейчас рисковала ради трешки.

— У меня нет с собой трех рублей, — сказала Лидочка. — А в комнате есть, если хотите, поднимемся наверх, я вам передам, вы не думайте, я не хотела воровать кастрюлю, мне нужно было куда-то вещи положить...

— Я понимаю, почему не понять, — с готовностью согласилась горничная. — Я подождать могу, мне много три рубля, ты мне рубль дай, и я довольна буду.

— Нет, почему же, я согласна, я понимаю. Но если можно, пойдемте наверх, я вам отдам.

— Мне сейчас не надо, я же верю! — почти кричала горничная. — Ты мешочек возьми, мне чужого не нужно... — Горничная отступала, мешочек тяжело оттягивал руку Лидочке.

Горничная убежала — только тяжело заскрипели половицы.

Господи, сказала себе Лидочка. Наверное, Алмазов выслеживает меня, это провокация... Но отказаться было нельзя — в этом мешочке тайна Полины...

Лидочка быстро взбежала по лестнице и нырнула к себе в комнату.

Марта все не возвращалась. Стало чуть светлее, можно было не зажигать света. Лидочка уселась к себе на кровать, и высыпала содержимое мешочка на покрывало.

Она не думала заранее, что там будет — золотой ли клад, драгоценные камни либо патроны. Но все равно была удивлена, когда увидала на покрывале несколько страшно старых, словно выкопанных из земли предметов, грубых, покрытых либо копотью, либо черной краской. Лишь одна вещь была почище иных — грубая по рисунку, трехслойная агатовая камея. Фон ее был голубоватым, а белая женская голова анфас была сделана по канонам восточной красоты: пышные дугообразные брови, рыбками глаза, широкий овал лица, на голове средневековый, византийского типа венец, внизу надпись непонятными значками, вернее всего, грузинскими или армянскими. Камея размером с куриное яйцо была окружена замазанной черной масляной краской узкой рамкой, такой же краской была покрыта и цепочка. Несмотря на грубость, на неприятный цвет рамки и цепочки, камея являла собой нечто настоящее, не поддельное. Хорошо бы показать ее Андрею, подумала Лидочка, он понимает в таких вещах... Откуда эти вещи у Полины?

Что они значат? Лидочка подняла черный, покрытый подобием сажи, массивный перстень с печаткой-грифоном... Потом она надела на шею камею, шагнула к зеркалу. В тусклом зеркале камея отражалась плохо — темный овал в черной оправе на серой блузке не лучшая одежда для бала.

Тут в дверь ударили — не постучали, а ударили, словно не хотели дать возможности ответить «нельзя!». Лидочка правой рукой прикрыла медальон, а всем телом — к кровати, хотела спрятать остальные вещи.

Ворвался Матя.

— Вот вы где! — сказал он укоризненно. — Я вас обыскался. Где вы пропадали?

Он был взлохмачен, раздражен, будто обижен на Лидочку. Закрыл за собой дверь и, не глядя на разложенные на кровати вещи, прошел к окну, выглянул в парк, словно там таились преследователи. Лидочка стащила через голову медальон.

— Почему я вам понадобилась?

— Вся эта история мне безумно не нравится, но мне совершенно не с кем посоветоваться.

— Кроме меня?

— Не кривляйтесь, Лида. Мне на самом деле не с кем поговорить, кроме вас.

Он сел на стул, вытянул длинные ноги в измазанных желтой грязью капиталистических горных ботинках.

— У меня такое ощущение, будто меня обложили с собаками.

Лидочка присела на кровать и стала не спеша, чтобы не привлекать внимания Мати, убирать в мешочек вещи — перстень, маленький кубок, звено толстой цепи, печать, черепки...

— Первое и самое главное: где Полина?

Лидочка чуть не ответила ему: «А я была уверена, что вы ее убили!» Что было бы глупо и, наверное, очень опасно, если Матя и на самом деле убил подавальщицу.

— А что случилось?

— А то, что она меня сегодня ночью шантажировала — перепугала смертельно, я готов был убить ее или выполнить все ее требования.

И тут только до Лиды дошла простейшая истина — если Матя не убийца, то он и не подозревает, что Лида знакома с Полиной. И тогда он должен удивиться, если Лида признается в знакомстве. А если он уверен, что Лида знакома с Полиной, тогда придется признать, что милый интеллигентный доктор наук, любимый ученик Ферми — просто-напросто злодей. И она, Лида,

как последняя дура, сидит с ним вдвоем в комнате вместо того, чтобы бежать к Алмазову и требовать помощи.

— Извините меня, Матя, — сказала Лидочка, понимая, что опоздала с этим вопросом, — но я не знаю, кто такая Полина.

— Вы?

Лидочка продолжала складывать тяжелые игрушки в мешочек, а ступнями постаралась покрепче встать на пол, чтобы рвануться к двери, если Матя сделает опасное движение.

— Да... — сказал наконец Матя грустно, как будто он был разочарован вопросом Лиды. Но не стал с ней спорить. — Полина, Полина — это подавальщица в нашей столовой, да?

Как будто он требовал подтверждения у Лиды.

Нет, так просто Мате не отделаться!

— Какая подавальщица?

— Высокая, худая такая, ну вы же ее знаете! — Матя не выдержал.

— Конечно, знаю, — согласилась Лидочка. — Высокая, худая, нос такой с горбинкой. Совсем не похожа на подавальщицу.

— Совсем не похожа.

Неужели это он гнался за мной по коридору ночью и разбил ценную вазу эпохи Тан?

— Эта подавальщица, — сказал Матя, — обвинила меня в очень опасном... проступке.

«Проступке»? Ничего себе формулировка! Он насилует девочек и через много лет называет это проступком. Если у Лидочки были какие-то сомнения в виновности Мати, они отпали. Человек, не совершавший насилия, всегда относится к нему отрицательно и полагает его преступлением. А тот, кто виноват, — скорее назовет его проступком.

Матя вытащил длинную пачку сигарет.

— Здесь курят? — спросил он.

— Марта курит, — сказала Лидочка.

Она встала и подвинула к Мате пепельницу. Для этого ей пришлось наклониться к нему, и, наклоняясь, она замерла от неожиданно навалившегося ужаса... Выпрямилась, снова села на кровать. Матя ничего не заметил. Он закурил, по комнате распространился приятный заграничный запах.

— Вы знаете, я буду с вами совершенно откровенен, — сказал Матя. — В самом деле, я был мальчишкой, я совершил... я виноват, но прошло столько лет.

— Вы были за красных или за белых? — спросила Лида.

— Конечно же, я был в Красной Армии! — воскликнул Матя.

— Тогда вам нечего бояться. Красная Армия своим все уже простила.

— Это было в пьяном угаре, — сказал Матя. — Несколько девиц и мы, молодые красноармейцы. Можно придумать много ярлыков — дебош, пьянка, распутство.

— Это был единственный дебош, в котором вы участвовали?

— Не шутите, — сказал Матя, глубоко затягиваясь. — Мне не было двадцати лет. Я был совсем другим человеком. Я был мальчишкой.

Ему нравилось называть себя мальчишкой.

— А она-то при чем? — Лидочка думала, куда бы спрятать мешочек.

— Она утверждает, что мы... мы на нее напали.

— А вы на нее напали?

— Не говорите глупостей, Лидия! — Голос доктора наук звучал строго, как на уроке.

— Если вы на нее не нападали, чего вы переживаете?

— Она потребовала, чтобы я на ней женился!

— Чего? — Лидочке вдруг стало смешно. Неужели Матю можно заставить что-нибудь делать против его воли? До того момента Лидочке казалось, что Матя великий мастер устраивать жизнь к собственному удовольствию.

— Ей нужна другая фамилия, московская прописка.

Лидочка поднялась и отнесла мешочек к чемодану, что стоял на стуле возле зеркала. Она открыла чемодан и, не таясь, спрятала мешочек под белье — она была уверена, что Матя ничего не заметит.

Неожиданно Лидочка поняла, что за последние несколько минут их отношения изменились. Независимо от того, был ли Матя убийцей или, как полагает профессор, он к такому не способен. Вчера Матя притягивал к себе Лидочку — он был иностранцем, знаменитым физиком, который знал нечто таинственное и почти страшное про атомное ядро, словно сошел со страницы фантастического романа с гениальным злодеем на обложке, который запустил прямо на читателя сверкающий луч из своего аппарата. Сейчас перед ней сидел растерянный и слабый мужчина, которому некуда было пойти пожаловаться на тетю, которая его обижает. Лидочка сразу почувствовала себя старше него.

— Неужели она просто так подошла к вам и сказала: я знаю, что вы себя плохо вели много лет назад. Теперь женитесь на мне! Так не бывает.

— Оказывается, бывает.

— Алмазов и без жалобы не даст вас в обиду.

— Алмазов не рискнет пойти со мной на соглашение, если она ему расскажет.

— Почему?

— Потому что я должен быть чистым. Он же будет продавать меня своему начальству. А товар должен быть не порченым. Не думайте, что я циничен, я просто напуган. Все может рухнуть — в лучшем случае я буду преподавать физику в начальной школе Тобольска.

— Они построят для вас специальный институт за колючей проволокой, — сказала Лидия, полагая, что шутит.

Но Матя не воспринял ее слова как шутку. Он вскочил и сжал кулаки. Он готов был ударить Лиду. Лида быстро сказала:

— А что было потом?

— Потом? — Кулаки Мати, очень маленькие по сравнению с длинным торсом, разжались. — Она ушла... я не спал всю ночь... Сегодня утром я пошел к ней — она оставила мне адрес. Она живет во флигеле — вон там. Я пошел туда и увидел, что из флигеля выходят Алмазов с президентом. Что они там делали?

— Не знаю, — сказала Лидочка. — Я ушла от Полины раньше.

— Что? Вы там тоже были?

— Я провожала туда Павла Андреевича.

— А что надо было Александрийскому?

— Там была записка. Записка от Полины, что она уехала. Она взяла все свои вещи и уехала.

— Вы в этом уверены? — Радость Мати показалась Лидочке искренней.

Лидочке хотелось сказать о том, как она нашла Полину ночью, но этого она сказать не могла. Если ночью за ней гонялся Матя Шавло, он и без ее подсказок все знает.

— Куда она уехала? — спросил Матя.

Он подобрал ноги, и Лидочка с женским раздражением увидела, что на ковровой дорожке остались желтые следы грязи. Где он отыскал такую грязь? Мог бы и вытереть ноги.

— Она не пишет куда.

— Может, она поняла, что со мной у нее ничего не выйдет? — сказал Матя. — Правда?

Лидочка подумала, что Мате страшно хочется, чтобы все обошлось, — он даже согласен немножко потерпеть, пускай зубик или пальчик поболит, только чтобы знать, что завтра он проснется, а все уже прошло!

— И отправилась к Алмазову?

Ну кто ее тянул за язык! Зачем испортила настроение Мате?

Но Матя уже справился с собой.

— Если она отправилась к Алмазову, — сказал он, — тогда мне пора подавать заявление о переводе в районную школу. А жаль... За страну обидно...

— Вы смешной человек, — сказала Лидочка, — начали с себя, а кончаете страной. Обычно люди делают наоборот — сначала говорят о пользе стране, а потом оказывается, им нужно новое пальто.

— У вас мужской ум, Лида.

— Это плохо?

— Для женщины — ужасно.

— А чем плохо для Страны Советов, если она лишится вашей бомбы? Ведь я еще вчера поняла, что вы хотите подарить ей бомбу в обмен на всякие блага для вас.

— Иначе бы они меня не поняли, — сказал Матя. — Каждый меряет окружающих по себе. Если бы я начал объяснять свои желания соображениями высокой политики, они бы решили, что я жулик.

— Следовательно, вам надо было сделать вид, что вы жулик, чтобы они поняли, что вы радеете за Советский Союз.

— Грубо, но правильно.

— А может быть, страна обойдется без ваших благодеяний?

— Вы — злая девочка.

Матя закинул ногу на ногу, и комочек желтой грязи упал на ковровую дорожку.

— Ладно, я не сержусь, — сказала Лидочка. — Я понимаю, что вам нелегко. Такой груз на плечах.

— Вы стараетесь издеваться и подкалывать меня по очень простой причине, — сказал Матя, — потому что вы не имеете представления о субъекте разговора.

— О бомбе?

— О новом принципе энергии. И в этом нет ничего обидного, хотя бы потому, что большая часть физиков тоже не имеет об этом представления, а те, кто имеет, посмеиваются, думая, что читают фантастический роман. А читают они не фантастический роман, а грустное будущее всего человечества. Вам интересно?

— Да.

— Я не буду занимать вашу прекрасную головку расчетами и выкладками. Я скажу только, что сегодня уже известен радиоактивный элемент под названием уран, куда более энергичес-

кий испускатель энергии, чем сам радий. О радии-то вы, надеюсь, читали?

— А об уране не слышала, я всегда думала, что это — планета.

— И планета тоже. Писатели придумали сверхбомбу уже много лет назад, и некоторые даже связывали ее мощь именно с распадением атомов, от чего высвобождается колоссальная энергия!

— А физики в это не верили?

— Физики, конечно же, не верили. Потому что у них не было желания проверять всяческие бредни.

— А вы говорили, что не бредни.

— Физики тоже бывают разные. Резерфорд до сих пор от ядерной реакции отмахивается, как черт от ладана. Мы в Римской школе обогнали Лондон на целую эпоху. Ферми убежден, что реальное создание бомбы вопрос десяти... ну, пятнадцати лет. А я убежден, что бомба будет готова через пять лет. Конечно, если вложить в это дело много миллионов и привлечь крупные умы.

— Разве недостаточно существующих бомб?

— Вы надеетесь, что люди увидят, сколько у них всякого гадкого оружия, и скажут: давайте в будущем сражаться только дубинками? Сейчас любое крупное государство готово тратить половину доходов на разработку нового оружия. И победит тот, у кого это оружие будет более мощным.

— Матя, миленький, с кем вы собираетесь воевать?

— Глупейший вопрос. Воевать всегда найдется с кем. Я не сомневаюсь, что завтра в Германии к власти придет Гитлер. Вот и реальный враг.

— А вы могли бы сделать такую бомбу?

— Лидочка, вы мыслите категориями вчерашнего дня. Никто сегодня в одиночестве не сможет сделать радиоактивную бомбу. Этим должны заниматься тысячи людей, тысячи — одновременно в разных институтах и на многих заводах. Только тогда эта проблема будет решена. Сегодня мир стоит на пороге отчаянной гонки. Ставка в ней — жизнь всей нации. Я могу дать голову на отсечение, что первым в гонку кинется Адольф Гитлер. Как только он захватит власть в Германии, он обратит все силы на создание бомбы.

— Почему?

— Он убежден, германскому народу необходимо жизненное пространство за счет славян. Путь к победе будет лежать только через атомную бомбу, понимаете? И если я ее не сделаю, то ее сделает Гейзенберг.

— Кто?

— Немецкий физик.

— Почему же он будет делать бомбу для фашистов?

— Потому что Гитлер обещает Гейзенбергу жизнь. И Гейзенберг сделает ему атомную бомбу!

— Вы вещаете, как пифия.

— Я вижу будущее. Потому что я ученый. Потому что я величайший провидец нашего века. И потому что я очень испуганный человек. Вы знаете, что случится, если бомбу сделает Гитлер, а у нас ее не будет?

— Он на нас нападет?

— Он с наслаждением разбомбит наши города, он убьет вас и меня, он превратит нашу страну в пустыню.

— А Запад?

— Запад будет потирать руки от удовольствия. Потом он спохватится, начнет делать собственную бомбу, но опоздает. Когда Гитлер победит нас, он обратит свои тевтонские легионы против прогнивших романских народов. И им придет конец!

Произнося последнюю фразу, Матя поднял к потолку руку, словно сектантский проповедник. Но он не был страшен, трогателен — да, но не страшен.

Рука Мати устало упала на колено.

— В ваших глазах скепсис, — сказал он, — вы очень далеки от этой проблемы, и вам кажется, что все обойдется. Так думали обыватели в семнадцатом году — обойдется, обойдется, обойдется! Вечная трагедия русского народа...

— Папа всегда говорил, что не бывает тайного оружия или возможности покончить с врагом одним ударом, он говорил, что война двадцатого века — это война экономистов.

— Когда же он это говорил?

— Еще до революции.

Матя поднялся.

— Мне надо идти, — сказал он. — Все повисло на шелковой ниточке. Алмазов — человек авантюрного склада. Он склонен со мной сотрудничать. Но для него мое предложение далеко не самое главное в жизни. Он согласится меня поддержать, только если ему это выгодно, если он сам не рискует головой. Еще вчера он дал слово свести меня с Ягодой — это ключевой человек.

— А почему не с военными? — спросила Лидочка.

— Потому что реально страной правит служба безопасности. Если я поставлю на кого-то из командармов, я могу потерять голову вместе с командармом.

— Вы говорите страшные вещи.

— Когда-нибудь вам надо было открыть глаза, Лидочка. И мне очень хотелось бы надеяться, что эта наша беседа — не последняя.

— Какое им дело до вашей биографии?

— Все просто. Алмазов чувствует, что игра пошла большая, но трусит. Это естественно. Он же физику учил в реальном училище, а это немного. Там слово «атом» не проходили. Ему надо мобилизовать заграничную агентуру, чтобы она подтвердила, что игра стоит свеч, а заграничная агентура — это другой департамент. Начинается большая игра, и в этой игре я должен быть чист. Алмазов не станет рисковать с человеком, о котором могут сказать, что он насильник, убийца.

— Убийца?

— А я не знаю, что случилось с Полиной! Я не знаю — нет ли среди нас соперника Алмазова, который хочет сорвать переговоры! Может, даже фашистского шпиона!

— Это кто же?

— Если бы я знал, я бы его отдал Алмазову. Потому что шутки шутками, но речь идет о судьбе мира. Ты можешь любить большевиков или их ненавидеть. Но ты не можешь быть равнодушной к народу — к детям, старикам, женщинам. Я пошел на сделку с дьяволом ради спасения невинных!

Матя отставил ногу и закинул назад голову. Он видел себя героем. А Лидочка казалась ему достойной его внимания особой.

Они стояли совсем близко — Лидочка чувствовала икрами кровать, Матя прижался спиной к платяному шкафу — между ними оставалось от силы сантиметров двадцать.

Матя положил руки на плечи Лидочке — она ожидала этого жеста. Теперь главное было собрать все силы, чтобы в решающий момент рвануться в сторону.

— Я клянусь тебе, — сказал Матя... он перевел дух, сглотнул слюну, — я клянусь тебе, что у меня чистые намерения и чистые руки... Судьба мира... — Он горько усмехнулся, глаза Мати были совсем близко от Лидочкиных глаз. Он меня сейчас поцелует... это еще не так страшно, это даже приятно, но главное — ускользнуть потом... — Судьба мира зависит от того... — Теплые узкие ладони Мати начали спускаться с плеч по спине и притом притягивать Лидочку к Мате. Положение становилось угрожающим. Как хорошо, если ты не убийца, подумала Лидочка. — Судьба мира зависит от того, удовлетворит ли комиссара Алмазова мой моральный облик. Ты представляешь? — Лидочка успела отклонить лицо, и поцелуй пришелся в щеку. — Имен-

но сейчас, — шептал Матя, — именно в этот трагический момент...

— Ну уж — моральный облик, — сказала Лидочка. — Вы же боитесь, что Алмазов узнает, что вы были в поезде Троцкого.

И она осеклась. Потому что не могла этого знать и не могла узнать этого ни от кого, кроме Полины!

Объятия Мати, такие нежные, на мгновение ослабли — Лидочка рванулась в сторону двери.

— Я никому не скажу! — пискнула она, потому что Матя, бормоча невнятно, будто гудя, рванулся к ней, и в этом движении была настоящая опасность — ему не понадобилось и секунды, чтобы перейти от ласк к угрозе. Лидочка дотянулась до двери и потянула ее на себя, но ручка застряла, не поддавалась — только в самые страшные моменты сна ручка в двери, обычная ручка, заедает — словно сообщник Мати держит ее с той стороны.

А Матя дотянулся до Лиды, схватил сзади за шею и стал тянуть на себя, чтобы она не открыла дверь, а Лида держалась за дверь, точно за соломинку, чтобы ее не поглотило море, — оказалось, что у нее цепкие руки: Матя был вдвое ее выше и вдесятеро сильнее, но еще несколько секунд Лидочка держалась за ручку двери, но воздух кончился — в глазах пошли круги... она отпустила дверь...

Марта, которая нажимала на ручку с той стороны двери и потому не могла войти сама, но и не давала выйти Лидочке, широко распахнула дверь, и фигуры Мати и Лидочки показались ей сомкнутыми в пароксизме любви. И она крикнула:

— Простите, простите, я не хотела! Продолжайте, товарищи!

И она захлопнула дверь снова.

Но к счастью, Матя не сошел с ума, он отбросил Лидочку — она упала на кровать Марты, — кинулся к двери, раскрыл ее — и побежал прочь по коридору.

— Прости! — повторяла Марта, вбегая в комнату. — Я тебе все испортила.

Лидочка часто дышала, пыталась массировать себе горло, сил не было, она даже не могла подняться с чужой постели. Марта склонилась над ней.

— Тебе воды дать? Он такой грубый, да? Мне с самого начала он показался очень грубым.

Лидочка начала кашлять, и Марта, схватив стакан, помчалась за водой. Она торопилась так, что половину воды по дороге разлила.

— А он тебе нравится как мужчина? — спросила она от две-

ри, вернувшись с водой. — Мне он сначала понравился, но я от него отказалась, как только увидела, что ты заинтересована.

К счастью, Марта не умела долго думать о чужих проблемах — у нее хватало своих.

— Если бы ты могла себе представить, кто мне сегодня нравится, ты бы лопнула от зависти, — сказала она.

Лидочка подошла к зеркалу, причесалась. Надо было идти к Александрийскому, он уже, наверное, ждет. Интересно, что он думает о радиационной бомбе?

— ...А я его спросила, как же она? — говорила между тем Марта, и Лидочка поняла, что упустила начало фразы. — А он сказал, чтобы я не беспокоилась. Но я еще тысячу раз подумаю, прежде чем скажу ему «да». Я же тоже человек, я понимаю, что для нее это может быть трагедия, — она согласилась на все ради артистической карьеры. И тут он встречает меня. Я понимаю, что это решение далось ему нелегко — при его положении, нет, я еще тысячу раз подумаю. Потому что если Крафт узнает — а ты же знаешь этих доброжелателей, — то он меня убьет. И будет прав. Но так трудно приказать сердцу... ты что скажешь?

— Как будто мое мнение что-нибудь изменит.

— Изменит, я клянусь тебе, что буду следовать ему!

Марта оттеснила Лидочку от зеркала и, достав из шкатулки щипчики, принялась выщипывать брови.

— Ты имела в виду Алмазова?

— А разве я тебе не сказала?

— Мне все равно, с кем ты спишь, — только делай это так, чтобы мне не мешать.

Лидочка направилась к двери.

— Ты мне ничего не сказала! — крикнула вслед Марта. — Я же нахожусь в душевной травме.

Лидочка сбежала по лестнице, миновала гостиную, в биллиардной сидела Альбиночка, совершенно одна. На диване, на котором умер философ Соловьев, она сидела, поджав под себя ноги и прижимая к груди довольно большую дамскую сумку.

Остановившимися глазами Альбина смотрела в окно на струи дождя.

— Альбина, — сказала от двери Лидочка, — я же просила вас ничего не говорить!

— Что? Кому? — Глаза у Альбины были слишком велики, и от этого она казалась каким-то ночным животным. Лидочка видела картинку, изображающую лемура лори. Только у лемура

была короткая шерсть, а голова Альбины увенчана копной пышных кудрей.

— Про Полину!

— Какая Полина? Не кричите, пожалуйста.

— Вчера вы слышали наш разговор с Полиной. В туалетной.

— Я не хотела! Честное слово, я не хотела, а он стал меня допрашивать. Вы не представляете, как он любит допрашивать, он меня все время допрашивает.

— Он спросил?

— Он стал меня допрашивать, почему я так долго была в туалетной, с кем я встречалась, с кем говорила. Лидочка, дорогая, не сердитесь — у меня, кроме вас, никого нет, даже слово сказать, а вы меня презираете? Я ничего про кастрюлю не сказала, только про Шавло, только про Шавло!

— Может быть, Полину из-за ваших слов убили, — сказала Лидочка, которая, как обнаружилось в тот день, еще не научилась быть снисходительной и терпимой.

— Ой! — Альбина подняла руки с зажатой в них сумкой так неловко, что сумка перевернулась и из нее выпал черный блестящий револьвер. Словно удар грома, он стукнулся о пол и поехал по паркету под биллиард.

Альбина в ужасе замерла, как зайчонок перед питоном.

Первым движением Лидочки было поднять револьвер и вернуть Альбине. Но для этого ей надо было обогнуть биллиардный стол или проползти под ним. Лидочка понимала, что Альбина сейчас ничего сделать не в состоянии. Она за пределами страха.

Но Лида не успела исполнить свое намерение. Она спиной почувствовала опасность.

Ухватившись пальцами за край биллиардного стола, она обернулась. В двери стоял Алмазов. Он был холоден и деловит.

— Я тебя ищу, — сказал он Альбине, не замечая Лидочку.

— Я сейчас. — Альбина открыла глаза.

— Тебе помочь? Ты плохо себя чувствуешь? — спросил Алмазов тоном человека, спешащего, но знающего, что некий набор слов по правилам игры следует произнести.

— Нет, все хорошо. — Альбина, будто проснувшись, поднесла тонкие руки к вискам, вонзила длинные с ярко-красными ногтями пальцы в волосы и сильно потянула их назад так, что глаза стали китайскими, а лицо усохло. Потом она выдернула пальцы, запутавшиеся в волосах, — чуть не вырвав с корнем

пряди, проснулась и лихорадочно, как в бреду, сказала Лиде: — Я так на вас надеюсь!

— Что? — спросил сразу Алмазов. — Что это означает?

— Я все сделаю, — сказала Лида, будто не слышала Алмазова.

Стуча каблучками, Альбина пробежала через биллиардную и послушно замерла собачонкой у ног Алмазова.

— Пошли? — сказала она.

Алмазов крепко взял Альбину под руку и вывел из биллиардной. Лидочка выглянула за ними вслед. Они не оборачивались — широкий, кривоногий, крепкий Алмазов и тростиночка Альбина, еле достающая ему до плеча. Они быстро и деловито шли вверх по лестнице. Ванюша Окрошко с другом сбегали с лестницы им навстречу и остановились у медведя с подносом.

— Одну партию, — сказал Ванюша.

Лиду охватила паника.

— Подождите! — крикнула она молодым людям, шагнула назад в биллиардную и захлопнула за собой дверь. Тут же полезла под биллиард. Револьвер, тяжелый, черный, блестящий, спокойно дожидался Лиду. Она схватила его, вылезла, держа за рукоять, — а куда теперь его спрятать?

Дверь осторожно приоткрылась. Заглянул Ванюша.

— Что-нибудь случилось? Надо помочь?

Лидочка стояла, заложив руки с револьвером за спину.

— Я же попросила подождать, — сказала она. — У меня разорвался чулок.

Ванюшин взгляд метнулся вниз — к чулкам.

— Ваня! — прикрикнула на него Лидочка. — Закройте дверь!

Дверь закрылась. Оставить револьвер здесь? Спрятать под диван? Чтобы через десять минут пришла какая-нибудь рыжая горничная? Нет, надо его вынести! Лидочка решительно расстегнула пуговки блузки и сунула револьвер себе под мышку. Прижала локтем — и решительно пошла к двери.

Ванюша и его друг ждали. По их взглядам Лидочка поняла, что забыла застегнуть блузку.

— Идите играйте, — приказала Лидочка молодым людям.

Те послушно направились к дверям биллиардной, не смея оглянуться, хотя по спинам было видно, как им хочется это сделать.

А Лидочка побежала к Александрийскому, боясь больше всего, что револьвер такой тяжелый и скользкий, сейчас он выст-

релит, сбежится народ и ее арестуют за стрельбу из револьвера в уполномоченного ОГПУ, что без сомнения и совершенно справедливо будет приравнено к террору.

Однако револьвер вел себя этично, он так и не выстрелил до самой комнаты Александрийского.

Александрийский же, истерзанный нетерпением, встретил Лиду не в своей комнате, а в коридоре, где сидел, накрыв острые колени пледом, в кресле, поставленном на месте погибшей китайской вазы. Клетчатая кепка нависла над его тонким горбатым носом, и оттого профессор был похож на постаревшего Шерлока Холмса, о чем он и сам подозревал, иначе зачем ему было сосать черный карандаш, словно курительную трубку.

— Ватсон! — воскликнул он скрипучим голосом, увидев семенящую по коридору Лидочку. — Что с вами? Кто вас терзал?

Лидочка потянулась застегнуть блузку, но револьвер угрожающе соскользнул вниз, и Лидочке пришлось бесстыже сунуть правую руку за пазуху и вытащить пистолет. Рука ее дрожала не так от страха, как от неловкости ситуации, а профессор закрылся ладонью от направленного на него ствола и воскликнул:

— Господи, еще этого не хватало!

— Простите, — вымолвила наконец Лидочка. — Я не хотела.

— Если не хотела, то не цельтесь в меня! Обычно в меня целятся те, кто хочет попасть.

Лида сделала шаг вперед, уронила револьвер на колени Александрийскому, с облегчением отошла назад и стала застегивать пуговки на блузке.

Александрийский взялся было за револьвер, хотел поднять, но вместо этого совершил странное и сложное движение ногами, задрал край пледа, сунул револьвер туда и придал острому морщинистому лицу игриво-идиотский вид старого сатира.

— Как вам гулялось, мадемуазель? — спросил он.

Лидочка глядела на эту процедуру обалдевшим взором, но тут ее ласково тронули за талию, и мужской голос произнес:

— Простите.

Оказывается, сзади приблизился престарелый астроном Глазенап. Он покачал сиреневым венчиком кудрей, окружавшим смуглую лысину, и сказал:

— Павел, я могу дать голову на отсечение, что знаю твою тайну.

— Тайну?

— Я знаю, что ты спрятал под плед, когда меня увидел.

— Что? — Вопрос дался Александрийскому с трудом.

— Я не могу сказать этого при девушке, — рассмеялся Глазенап, обернулся и с удивлением уперся выцветшими глазами, утонувшими в черепашьей коже глазками, в ее почти обнаженную грудь. — Нет, не могу, — повторил он и засеменил дальше к лестнице. Остановился, не дойдя трех шагов до лестницы, и зашелся в хохоте.

— Опасно! — закричал он. — Опасно так стоять перед Павлом Александрийским, милая девушка! У него там под пледом... там, там — вы не поверите — револьвер!

Лидочка даже ахнула. Пронзительный голос Глазенапа разносился по всему дому.

— Что ты несешь! — крикнул Александрийский.

— Я в переносном смысле, — захохотал Глазенап и, согнувшись от хохота, стал подниматься по лестнице. — Я в переносном смысле, чтобы не испугать девушку. Ах ты, старый греховодник!

— Так меня пугать нельзя, — сказал Александрийский. — Я умру раньше, чем собирался... — Он прикрыл глаза и медленно дышал. Лидочка поглядела в окно. День хоть и приблизился к половине, был таким же серым и полутемным. Лидочка представила себе, какой толщины тучи нависли над Москвой, — может, уже никогда не будет солнца?

— Я должен признаться, — сказал Александрийский тихо, — что я ждал вас с докладом о происходящих событиях. Но не в таком виде.

Он хрипло засмеялся.

— У меня важные новости, — сказала Лидочка.

— Подозреваю. И очень заинтригован. Давайте заглянем ко мне в комнату, с меня хватит одного Глазенапа.

Профессор медленно поднялся, Лидочка помогла ему.

— Такая погода на меня плохо действует, — сказал он, словно прося прощения за немощь. — Раньше я не подозревал, что погода может на меня влиять. Погода была сама по себе, а я сам по себе.

В комнате Александрийский попросил Лидочку закрыть дверь на щеколду, потом прошел с револьвером в руках к горящей настольной лампе и, надев очки, начал разглядывать оружие.

— Это револьвер Алмазова, — сказала Лидочка. — Я думаю, что это его револьвер.

— Я и без вас знаю. Глядите.

Лидочка подошла к профессору и заглянула через плечо. Сбоку к револьверу была приделана серебряная табличка с гравированной надписью: «Отважному борцу за чистоту Революции Я. Алмазову — Ф. Дзержинский. 12.12.1922 г.».

— Зачем вы отняли у чекиста именное оружие? — спросил Александрийский.

— Это Альбина, — сказала Лидочка.

— Тогда садись и рассказывай.

Пока Лидочка рассказывала. Александрийский чертил на большом листе бумаги каракули, словно генеалогическое дерево.

Он почти не перебивал, и Лидочке снова показалось, что старику приятно участвовать в столь драматических событиях, потому что участие в них наполняет его жизнь и даже продлевает ее.

— Итак, — сказал он, все выслушав и продолжая рисовать, — у нас с вами есть револьвер системы «наган», который, по моему разумению, не имеет никакого отношения к событиям. Не имеет?

— А если Полину убил Алмазов?

— Думаю все же, что он ее не убивал. Если ее вообще кто-нибудь убивал. Зачем, скажите, Алмазову было бросаться с обыском к ней домой?

Тут же Лидочка вспомнила о содержимом кастрюли. Может, пришло время рассказать о ней профессору? Но профессор перебил ход ее мыслей.

— В любом случае револьвер надо будет вернуть владельцу, — сказал Александрийский.

— Кому?

— Алмазову.

— Но мне его дала Альбина.

— Лидочка, что вы говорите! Вы представляете, какими несчастьями не только для Альбины, но и для всех, кто окружает Алмазова, обернется пропажа нагана? А если Альбина намерена пустить его в дело? Нет, нет, мы обязаны возвратить наган владельцу, иначе небо свалится на землю — перепуганный чекист подобен стаду диких буйволов. Интересно, что делают с чекистами, которые теряют револьверы Дзержинского? Наверное, их распинают на Лубянке.

— Но как возвратить? Я же не могу подойти к нему и сказать: вы тут одну штучку потеряли.

— Оригинально. Я представляю картинку! Нет, вы должны спрятать наган и сообщить Альбине, где он лежит. Но перед этим обязательно взять с Альбины слово, что она не пристрелит чекиста. История учит — вы ей передайте это, пожалуйста, — что еще никто ничего не добился, стреляя в негодяев. Они неистребимы, как головы горгоны, — их можно убить только

вместе с системой, которая их породила. Но боюсь, что это дело для наших внуков...

Александрийский перестал рисовать и взял наган в руки. Склонив набок голову, он любовался табличкой с выгравированной надписью.

— Ни в коем случае не передавайте наган Альбине из рук в руки... Добро бы обыкновенная пушка, а то — реликвия великой эпохи! Если в ближайшие годы вашего Алмазова не пустят в расход, этот наган станет экспонатом Музея революции.

Александрийский подошел к платяному шкафу и положил наган на него.

— Мы с Конан-Дойлем считаем, что улики должны лежать на виду — тогда их никто не видит, — сказал он.

— А мы не возьмем его с собой?

— Сначала надо отыскать безопасное место.

— Я хотела вам сказать, что ко мне приходил Матя... Матвей Ипполитович.

— А этому что было нужно? — Александрийский сразу подобрался, словно кот, увидевший птичку.

— Он искал Полину.

— Как так искал?

— Он сказал, что не видел ее с ночи.

— А зачем она ему понадобилась? — Александрийский агрессивно наступал на Лиду, словно она была в чем-то виновата.

— Она его шантажировала, она требовала, чтобы он на ней женился, дал свою фамилию, помог устроиться...

— Бред и неправда. Она бы не посмела. Он ее убил, а теперь ищет оправданий.

— А если он ее не убивал? Он сказал, что ходил к ней во флигель, но увидел там Алмазова.

— А чем она его запугивала?

— Что расскажет тот случай... когда он участвовал в насилии. В насилии над ней и другими девочками.

— Этим вашего Матю не испугать, — отмахнулся Александрийский. — Такой грех молодости только красит его в глазах Алмазова.

— Я ему то же самое сказала.

— Надо было промолчать. С убийцами следует вести себя осторожнее.

— Вы правы. Он оказался очень нервным.

— Что еще?

— Я сказала, что знаю о поезде Троцкого!

— Вот! Именно! — Александрийский обрадовался так, словно уже разоблачил убийцу. — В самое больное место! Я же говорил, что ему плевать на насилия и убийства, — но Троцкий! Троцкий, предатель партии и марксизма, наш главный соперник и враг, — тут уж не до супербомбы — от такого Мати мы побежим как от зачумленного! Ясно, он боялся именно этого. И Полину ухлопал из-за этого. И вас задушит из-за этого... Что молчите? Он вас душил? Ну, признавайтесь, он забыл о вашей несказанной красоте и начал откручивать вам головку или сразу в сердце ножик? А? Почему молчите?

— Марта вошла в комнату, и он не успел меня задушить.

— Вот именно! — Профессор зашелся в вольтеровском смехе.

— Павел Андреевич, — Лидочке было вовсе не смешно, — вы забываете, что он мог меня в самом деле убить!

— Вы живы! Остальное — лирика, сентиментальная литература. Главное — Шавло фактически признался в убийстве Полины. Как только Алмазов узнает, что Шавло так замаран, он побежит от него как черт от ладана!

— Но ведь речь идет о сверхбомбе, о спасении нашего Союза от фашизма!

— Сверхбомба — дело завтрашнее, дело непонятное и рискованное. А Шавло — сегодняшняя угроза. Ты увидишь, как Алмазов от него отвернется. Вот и замечательно. Это и требовалось доказать.

Раздался отдаленный удар гонга.

— Обед, — со значением сказал профессор. — Теперь можем со спокойным сердцем и за супчик!

Следующий удар раздался куда ближе — президент Филиппов шел по коридору и бил восточной колотушкой в старинный и тоже восточный гонг.

— Пойдем, пойдем, — сказал Александрийский. — Пока мы живы, есть надежда. Где моя трость? По дороге мы с тобой должны отыскать укрытие для нагана.

— Мы его не будем брать с собой?

— Ни в коем случае! Любая случайность может быть губительна. Мы не знаем — а вдруг в коридорах уже обыскивают прохожих.

Лидочка поежилась — раньше, когда она таскала револьвер под мышкой или лазила за ним под биллиард, в том был элемент игры, а в игре всегда можно сказать: я с вами больше не играю — и пойти домой. А слова Александрийского как бы подводили итог — никто больше с тобой играть не намерен.

Профессор почувствовал, какое впечатление оказали его слова на молодую спутницу, дотронулся до рукава блузки и сказал:

— Считайте, что я пошутил. Но не забывайте об осторожности. Разрешите, я вас возьму под руку? Учтите, что у нас с вами платонический роман — в иной вид романа никто не поверит.

— А жаль, — искренне сказала Лидочка.

— Это лучший комплимент, который я получал за последние месяцы, — сказал профессор. — Вперед!

В столовой Альбины не было. Алмазов, мрачный, как туча, сидел в одиночестве, и никто не смел к нему приблизиться.

— Внимательно следи за всеми подозреваемыми. Два глаза хорошо, четыре лучше, — успел сказать Александрийский, прежде чем они разошлись к своим местам. — После обеда встречаемся у медведя!..

— Иваницкая! — сказал Филиппов убитым голосом. — Я буду вынужден!

Прежде чем сесть на свое место, Лидочка подошла к президенту и, наклонившись к его уху, прошептала:

— Вы мне надоели!

— Как? — сказал президент вслух. Но Лидочка уже шла к себе.

— Что ты сказала этому козлу? — спросила Марта.

— Что он козел..

— Лидуша, ты молодец, я тебя все больше уважаю. Но смотри — он тебе обязательно отомстит. Он жутко мстительный.

Матя сидел за столом.

Лидочка не сразу его увидела — он сидел не на своем месте, почему-то он оказался рядом с Максимом Исаевичем, он оживленно с ним беседовал. Лидочка сразу перестала слышать, о чем щебечет Марта, она уловила тот момент, когда Матя поймал взгляд Алмазова и в ответ на его кивок склонил голову. Лидочка посмотрела на Александрийского, тот подмигнул ей — он тоже видел немой разговор Алмазова и Мати.

— Сегодня на второе рыбные котлеты. Обожаю рыбные котлеты, — сообщила Марта. — Мы до революции жили в Таганроге, тогда еще не было карточек, ты не представляешь, сколько там было разной рыбы. И куда это все подевалось?

Алмазов поднялся и, не доев котлету, пошел к выходу. Президент сорвался со своего места и поспешил следом, но был от двери возвращен на место. На Лидочку он не глядел. Матя про-

должал сидеть. Принесли котлеты. Котлеты были вялыми, они разваливались под нажимом вилки.

— Ты совсем не ешь, — сказала Марта, мгновенно смолотившая свою порцию.

— Возьми, — сказала Лидочка. — Я котлеты не трогала.

Матя поднялся и пошел к двери.

Лидочка поглядела на Александрийского. Тот отрицательно покачал головой. Он был прав — если Лидочка сейчас выбежит в пустую гостиную, она неизбежно привлечет к себе внимание Алмазова и Мати.

Чем бы заняться? Лидочка подвинула к себе компот. Он был совсем не сладкий и чуть теплый. Первые из обедавших стали подниматься и потянулись к выходу.

— Они здесь воруют просто ужасно, — сказала Марта. — Еще два года назад здесь был такой компот, что ложка стояла, ты представляешь?

Поднялся Александрийский. Глазенап увидел его, стал быстро говорить и сам смеялся. Александрийский вежливо и тонко улыбался. Потом пошел к двери. Ему снова пришлось задержаться — его окликнул незнакомый Лидочке человек, сидевший за столом академиков. Видно, недавно появился.

Александрийский разговаривал с ним. Лидочка поднялась и вышла в гостиную. Ни Мати, ни Алмазова там не было.

Возле вешалки она увидела растоптанный комочек желтой глины. В такой глине были измазаны башмаки Мати. Лидочка подняла кусочек. Он был почти сухой.

— Что обнаружил доктор Ватсон? — спросил, подходя, Александрийский.

— Я хотела бы узнать, — сказала Лида, — где наш подозреваемый наступил в эту глину?

— Здесь нет никакой тайны. С таким же успехом эта глина могла попасть сюда с моих галош, — сказал Александрийский. — Куча этой глины лежит по дороге к тригонометрическому знаку. Когда мы ходили туда вчера вечером, я наступил в эту грязь. И наверное, не я один.

— Да, не один, — согласилась Лидочка. — Матя тоже. Но сегодня.

— К сожалению, мы не можем строить наши умозаключения на случайных уликах, — сказал профессор. — Вы нашли наших недругов?

— Нет.

— Я тоже не нашел. И что будем делать дальше?

— Может, пойдем погуляем? Дождик вроде перестал.

— Великолепная идея, — сказал Александрийский. — И полезно, и приятно.

— А вы мне расскажете об атомной бомбе — мне кажется, что вы с Матей совсем по-разному ее понимаете.

— Вы совершенно правы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вечер и ночь 24 октября 1932 года

Они медленно шли по полого поднимавшейся дорожке, которая вела мимо теплиц, заброшенных недавно на волне коллективизации огородов, к тригонометрическому знаку.

Александрийский отдал зонт Лидочке — дождь перестал, но, когда налетал резкий порыв ветра, он собирал капли, скопившиеся на ветках, и кидал в лицо, как заряд настоящего ливня.

Александрийский тяжело опирался на трость, ему было нелегко говорить на ходу, поэтому они часто останавливались передохнуть.

Тонкий нос профессора покраснел, он шмыгал, порой доставал из кармана пальто носовой платок и промокал им нос. Лидочка подумала, что в детстве ему строго внушали, что хорошие мальчики не сморкаются на людях. И ей хотелось сказать: «Павел Андреевич, сморкайтесь, после революции это разрешили», — но, конечно, она не посмела так сказать.

— К сожалению, ситуация с созданием сверхбомбы — назовем ее бомбой атомной, это название не хуже любого другого — на самом деле серьезна. Наверное, вы, Лидочка, решили, что Матя набивает себе цену и морочит голову нашей секретной полиции.

— Нет, я думала, что Матя не дурак и вряд ли его продержали бы три года в Италии, если бы он был обманщиком.

— Матя — редкий тип ученого, который двумя ногами стоит на земле. Каждый из нас не без греха, но наши грехи компенсируются нашими чудачествами, нашей одержимостью, скажем, нашими патологическими извращениями. Мы все, талантливые люди — посмею отнести себя к таковым, — ненормальны, потому что сама талантливость ненормальна. А вот Матя нормален. Я его знаю уже много лет — одно время он был моим студентом. Крайне способен, почти талантлив. Из таких выходят неплохие директора ин-

ститутов и ученые секретари, но никогда — гении... Матя умеет думать. Он овладел логикой. К тому же у него замечательный нюх на перспективное, на все новое, что может принести ему выгоду... Впрочем, я несправедлив. Я недоволен им и потому стараюсь его принизить... Пошли дальше — до крайней лиственницы. И там отдохнем. Вам не холодно?

— Нет.

— У Мати еще одна удивительная способность — он смотрит на все со стороны. Он никогда не становится участником, он всегда — наблюдатель. А в этом есть преимущества — ты сохраняешь способность к трезвой оценке происходящего. Знаете, я думаю, что ни Ферми, ни Гейзенберг, ни Бор — никто из них не догадывается о том, к чему пришел Матвей. Он увидел в их движении к цели закономерности, которые они сами, в азарте труда и открытий, не замечали. И поверьте, сейчас открытия в ядерной физике сыплются как из рога изобилия. Матвей связал две несовместимые для остальных проблемы — мировой политический кризис, войну, до которой мы докатимся через несколько лет, и возможности ядерной физики. Более того, я подозреваю, что своими выводами он ни с кем не стал делиться. Он унес конфетку в уголок, стал ее жевать и рассуждать: а где дадут целый торт?.. Вот и наша лиственница... Как красив Божий мир и как жалко мне его покидать! Нет, не надо сочувствовать или спорить — это неизбежно. Медицина не умеет чинить порванные сердца. Лет через сто хирурги научатся брать из бедра хорошую чистую артерию и вшивать в сердце, — но это фантазии, которые меня уже не касаются...

— Я читала у Беляева, как одной женщине пересадили голову.

— Это лучшая повесть Беляева, — сказал Александрийский. — Может, потому, что она первая, — она полна удивления перед величием еще не сбывшейся науки. Но, если вы заметили, фантастика в нашей стране кончилась, ее заменила коллективизация и индустриализация. Нам не нужно мечтать и воображать — за нас это делают в Цэка.

Александрийский проводил глазами белку, которая бежала через прогалину, держа в зубах большой орех.

— К сожалению, Матвей катастрофически прав. Мы провели с ним несколько часов в спорах — он старался привлечь меня к себе в союзники, ему нужны более солидные имена, чем его имя... И знаете что? Он меня убедил. Я совершенно и бесповоротно верю в возможность создания сверхбомбы на основе ре-

акции деления ядер урана. Никаких чисто физических возражений этому я не обнаружил. Боюсь, что не обнаружат и другие ученые. И при организационных способностях, силе убеждения и напористости Матвея работы над бомбой могут начаться в ближайшее время. Если не заговорит Полина.

— А вы думаете, что Алмазов ищет ее именно поэтому?

— Алмазову нужна Полина. Ему нужно самому допросить ее. Нужно понять, что она знает о Мате и чем это грозит не только Мате, но и проекту века и лично товарищу Алмазову. И ему также важно понять, что выгоднее — уничтожить Полину, позволить это сделать перепуганному за свое будущее Мате или оставить ее как угрозу. Ох, какая интрига!

— Ничего интересного! Это же люди. Вы не знаете Полину, а я ее немножко знаю.

— И вам ее жалко?

— Конечно, жалко. Я же почти не верю, что она жива.

— Ей лучше было сидеть дома и не провоцировать события. Каждый из нас — раб собственной судьбы. Судьба Полины — ничтожная песчинка по сравнению с судьбами, на право распоряжаться которыми замахнулись ваши друзья Матя и Алмазов.

Они медленно пошли дальше. Впереди холмом, заваленным гнилыми листьями и заросшим жухлой травой, поднимался старый погреб.

— Почему вы все время говорите о том, что Матю надо остановить? Ведь завтра бомбу начнут изобретать французы и англичане, которые нас ненавидят, завтра она попадет к фашистам. Гейзенберг сделает ее для Гитлера.

— Слышу аргументацию Матвея. Это он сказал?

— Он сказал.

— Не бойтесь Гейзенберга. Бойтесь тех, кто ближе. Бойтесь Мати.

— Бомба — надежная защита от фашизма!

— Опять Матвей! Да пойми ты, прекраснодушное дитя, что эта бомба — не просто бомба. Энергия, которая высвобождается при разделении атома урана, так велика, что одной бомбы будет достаточно, чтобы снести с лица земли Париж.

— Или Москву?

— Подумай же, что случится, когда у Алмазова и его друзей — у Сталина, Молотова, Кирова, Тухачевского, — у этих убийц окажется в руках абсолютное оружие! Неужели ты думаешь, что они постесняются его употребить в дело? Неужели ты думаешь, что они не сбросят его на Париж, сберегая собор Парижской Богоматери?

Неужели ты не видишь, как отряды чекистов входят в Лондон? Неужели ты не понимаешь, что страшные преступления, которые уже совершила или еще совершит сталинская банда, будут удесятерены? Они же с помощью тщеславного Мати завоюют весь мир, экспроприируют весь швейцарский сыр и шоколад, чтобы самим его сожрать!

— А Матя?

— Матя? Если он доживет до торжества мирового коммунизма с атомной бомбой, то, возможно, будет стоять на трибуне среди победителей. Но вернее всего, на каком-то этапе его отстранят или уничтожат. А впрочем — что я знаю? Я вижу только смерть и всадников Апокалипсиса, я вижу бандитов Муссолини и Сталина, которые рвут карту мира... О, если бы у меня были силы убить Матю, чтобы спасти людей, я бы пошел на это, несмотря на то, что моей грешной душе так скоро предстоит держать ответ.

— Вы так ненавидите большевиков? — Голос Лиды был тих и несмел.

— Я понимаю, какую страшную ересь ты сейчас услышала, и я благодарен тебе за то, что ты не помчалась к Алмазову с требованием арестовать меня. Ты молчишь? Ты еще не решила? Это несложно — я беззащитен.

— Вы ничего обо мне не знаете, — сказала Лида.

— Это значит, что ты меня пощадишь?

— Вы не любите большевиков?

— Я боюсь их, я боюсь того, что они сделали с моей страной, и еще больше боюсь того, что они сделают со всем миром. И умираю от страха, когда думаю о том, что они сделают, объединив усилия с Матей и теми послушными учеными, которые ради куска хлеба, страха иудейска ради, ради славы, ради карьеры прибегут к ним на помощь, чтобы делать бомбу... и если они останутся живы, то даже забудут покаяться.

Они подошли к погребу. Между ним и дорожкой ярким пятном желтела расплывшаяся куча глины. Видно, ее завезли для хозяйственных надобностей еще летом, а потом почему-то забыли о ней — гигантским оладьем она покрыла черную землю, траву, облегла молодой клен.

— Вот видишь, — сказал Александрийский. — Я же говорил тебе, что уже видел эту глину.

— А Матя не только видел, — сказала Лидочка, — но и ходил по ней.

— Если тебе интересно, — Александрийский думал о бом-

бе, — я покажу тебе принцип, по которому можно построить атомную бомбу. Один воин еще не войско и даже три воина не войско, — но с какого числа воинов начинается войско?

— Подождите одну минутку, — сказала Лидочка, — я все же загляну в погреб.

— Только не промочи ног, — сказал Александрийский. Он оперся о трость обеими руками и стал смотреть на лес.

Лидочка осторожно обошла по краю пятно глины, потянула на себя прикрытую, почти развалившуюся дверь в погреб. Та заскрипела и с трудом поддалась. Вниз вело несколько ступенек — свет почти не проникал внутрь, и потому непонятно было, глубок ли погреб.

— Ты меня слышишь? — спросил сверху Александрийский.

— Слышу, — откликнулась Лидочка. Она увидела на ступеньках желтые следы — человек, который совсем недавно спустился в погреб, не заметил, что наступил в глину. Вернее всего, потому, что было темно. Следы были большие, но нечеткие, и нельзя было сказать, кому они принадлежат. Зачем же человеку было спускаться в погреб?

— Когда собирается войско атомов, у них возникает желание кинуться на врага, — донесся голос Александрийского и исчез, заглушенный звоном в ушах. Лидочка еще не видела ничего, но с внутренним предчувствием, точным и неотвратимым, она уже знала, что найдет сейчас на полу погреба, и страшилась сделать еще шаг вниз, но и не могла вернуться к Александрийскому, пока не убедилась в том, что права.

Придерживаясь рукой за отвратительно холодную и влажную стену, Лидочка спустилась вниз. Нога ее попала в воду — ботик сразу промок.

Тело Полины — Лидочке пришлось присесть, чтобы дотронуться до него, — показалось сделанным из скользкой ледяной глины. Лида сначала дотронулась, обожглась скользким холодом, только потом различила в полутьме белое, с открытыми большими глазами лицо...

Видно, она все же на несколько секунд или минуту потеряла сознание, потому что снаружи донесся трубный глас Александрийского:

— Что с тобой, Лидия?

— Я иду, — сказала Лида, — я иду, — повторила она, потому что других слов не помнила.

Она упала на руки Александрийскому. Тот не ожидал этого

и не смог ее удержать, и потому Лидочка уселась на землю, к счастью, не на желтую глину.

— Она там, — сказала Лидочка.

Александрийский был безжалостен. Подняв Лидочку на ноги, он потребовал, чтобы она закинула голову и считала до ста и не думала о том, что увидела в погребе.

А Лидочка и не думала об этом. Как ни странно, страх миновал почти сразу, после того как она вылезла на свежий воздух. Конечно, больше всего на свете Лидочке хотелось забраться в постельку, закрыть глаза и быстро-быстро заснуть. Но она понимала, что Александрийский этого не позволит. Александрийский был сердит на себя, потому что не поверил в важность улики, которую можно было назвать «тайна желтого следа», и потому потерял лицо — в погреб пришлось лезть Ватсону, и именно Ватсон совершил открытие, когда Шерлок Холмс рассуждал о делении атомов.

Но сам Александрийский в погреб, конечно же, не полез, зато, пока Лидочка приходила в себя, он разрабатывал схему дальнейших действий. Больше таких ошибок не должно быть!

— Вам лучше? — спросил он.

— Мне хорошо, — попыталась ответить с иронией Лидочка. Иронию Александрийский не уловил.

— Если Полину убил Матвей, — сказал Александрийский, — то остается надежда на то, что, каким бы соблазнительным ни казалось сотрудничество с ним для Алмазова, он не решится пригреть элементарного убийцу. Нам остается главное: поймать Матвея на месте преступления.

— На каком?

— Когда он будет прятать труп. Поезд Троцкого отходит на задний план.

— Но он же спрятал Полину!

— Ничего подобного! Здесь он ее не оставит. Он дождется темноты и унесет тело к пруду... или в лес.

— Откуда вы все знаете?

— Если бы вы задумались, пришли бы к тому же выводу. Убийца — человек в этом деле неопытный. Иначе бы не волок жертву по коридору, не прятался бы, испугавшись чего-то, к вам в комнату, не убегал бы, бросив труп, не гонялся бы за вами по коридорам... Масса всевозможных «не»! Я утверждаю, что ночью, пока мы все были внизу, убийца вернулся к вам в комнату, утащил труп через кухню сюда...

— Почему тогда он не отнес его до пруда?

— Он не посмел надолго уйти из дома. А вдруг вы поднимете шум и начнут проверять комнату за комнатой? А его нет. Он и поспешил домой.

— А письмо? — спросила Лидочка.

— Какое письмо?

— Письмо Полины, в котором она сообщает, что уезжает.

— Может быть, она и в самом деле собиралась уехать, но Матя ее догнал...

Лидочка понимала, что Шерлок Холмс не прав — Полина не стала бы уезжать, оставив кастрюлю у Лидочки.

— Нет! — Лидочка замерла. Она решила задачку! — Я поняла! Это Матя! Он надеялся, что, если Полина уехала, ее не станут искать. И написал записку! Он сам написал, а не Полина. Она была уже мертвая!

— Что натолкнуло вас на такую версию? — вежливо спросил Александрийский. В вопросе не хватало только обращения «коллега».

— Грязный след на подоконнике. Не Полина же залезала к себе в окно! Матя залез, написал записку. С точки зрения преступника, это правильный шаг. Я об этом уже где-то читала!

— Но ведь записка подписана Полиной!

— Трудно мне с вами, Шерлоками Холмсами, — заявила Лидочка. — А вам приходилось видеть письма, написанные Полиной? Да просто никому не пришло в голову выяснять: ее это почерк или чужой. Даже Алмазову. Но только Мате надо, чтобы Полина благополучно уехала и все о ней забыли.

— И тут он узнает, что забыли не все. Что вы разговаривали с Полиной перед ее смертью, а Альбина этот разговор подслушала и передала Алмазову.

— Да, вся его выдумка с отъездом Полины оказалась зряшной.

— Теперь осталось только доказать, что убийца — Матя, и все станет на свои места. Тогда мы с вами можем подавать документы в МУР на должность сыщиков, — сказал Александрийский.

Они остановились перед дверью в дом.

— Нет, — сказала Лидочка, — нас не примут по классовому признаку.

— У меня трудовое происхождение, — возразил Александрийский. — Мой дедушка был священником, а папа — всегонавсего профессором Дерптского университета.

«Странно, мы даже шутим, как будто забыли, что рядом лежит несчастная мертвая женщина, что среди нас ходит ее убийца, который готов убить снова. Только что я буквально умирала от ужаса, меня мутило, я дрожала, а сейчас я уже улыбаюсь в ответ на вольтеровскую усмешку профессора».

— А что мы будем делать дальше? — спросила Лидочка. — Мы забыли договориться.

— Ждать темноты, — сказал Александрийский. — Раньше он не посмеет перетаскивать тело.

— Вы уверены?

— Он ни за что не оставит Полину в погребе, — сказал Александрийский. — И вы бы тоже не стали так рисковать — погреб буквально в шаге от кухни, туда прибегают играть детишки из деревни, туда могут заглянуть влюбленные, — да мало ли что? Нет... Матвей не посмеет его там оставить. Особенно теперь, когда он понимает: труп Полины — приговор ему и его чертовой бомбе.

— А когда станет темно?

— Когда станет темно и тихо, убийца выйдет из дома, вытащит из погреба труп и понесет его вниз, к прудам. Или, если решит, что пруды слишком очевидное место для того, чтобы прятать трупы, потащит его дальше, закопает в лесу... я не знаю, чем все кончится. Но я знаю, чем начнется. Значит, с наступлением темноты мы должны наблюдать за погребом. И увидим убийцу. А сейчас мне надо отдохнуть. Вы совершенно забыли, что я старый больной человек.

— Да, забыла, — сказала Лидочка. — Вы не производите впечатления старого и больного человека, мистер Шерлок Холмс.

— Спасибо, Ватсон, вы умеете польстить старому мастеру...

Они вошли в дом.

Астроном Глазенап с помощью библиотекарши развернул длинный бумажный плакат, на котором красными буквами было написано: «Свободу узникам кровавой Речи Посполитой!» По их виду было понятно, что они не представляют, что делать с плакатом далее.

— Что здесь происходит? — спросил Александрийский. — Вы ждете Пилсудского?

— Ах, вы все забываете, Павел Андреевич, — сказала библиотекарша. — Сегодня же политический маскарад под лозунгом «Свободу пролетариату!».

— Я в погребе ноги промочила, — по секрету сообщила Лидочка профессору.

— Вы с ума сошли! В такую погоду! И мне не сказали.

— А чем бы вы мне помогли?

— Отнес бы вас на руках, — сказал профессор. — А ну, быстро наверх!

— Когда встречаемся?

— Как только последний луч солнца погаснет на шпиле Кельнского собора,— сказал Александрийский. — И постарайтесь не оставаться одна. Убийца опасен!

Лидочка помогла ему раздеться и повесила пальто на вешалку. Потом сняла свое пальто. Прибежал взволнованный президент Филиппов. Почему-то он был в немецкой каске-пикельхельме времен первой мировой войны.

— Иваницкая, вам задание! — сказал он, увидев Лидочку. — В вашей комнате материал для маскарадной одежды. Марта Крафт вам все объяснит.

— Что? — не поняла Лидочка.

— Сколько раз надо повторять! Вам следует срочно облачаться. По разнарядке вы будете исполнять роль игуменьи. Костюм примите у Марты Крафт, в вашей палате.

— Еще чего не хватало! — воскликнула Лидочка.

— «Отче наш» знаете? — сказал президент. — Ваша цель — прислуживать мировому империализму. А вам, Пал Андреевич, будет сидячая роль.

— Какая же, позвольте полюбопытствовать?

— Роль Британской империи в виде паука.

— Я польщен, — сказал Александрийский и прикрикнул на Лидочку: — Сколько раз вам говорить — бегите домой, переоденьтесь!

Лидочка взбежала наверх. Подходя к своей двери, замедлила шаг. Вдруг ею овладело странное тревожное предчувствие. Ну, сейчас-то чего бояться, сказала себе Лидочка. Страшное осталось снаружи. А здесь горит свет, из кабинета докторши доносятся женские оживленные голоса, — может быть, медсестры тоже готовятся к маскараду? И что-то иррациональное удерживало Лидочку от того, чтобы потянуть за ручку двери. Что-то там, за дверью, поджидало ее и хотело напасть...

Ну хоть бы кто-нибудь прошел по коридору — она бы попросила открыть дверь — в шутку, смеясь...

Из кабинета выглянула Лариса Михайловна. Она весело спросила:

— Вам помочь?

— Нет, спасибо, — благодарно откликнулась Лидочка.

Она повернула ручку и толкнула дверь.

Было темно — шторы и занавески в комнате опущены. Свет проникал внутрь только из коридора. Лидочка стояла в дверях, скованная страхом, не смея сделать шага вперед... и вдруг из темноты на нее надвинулся скелет. Он шел, кривляясь, дергаясь, и Лидочка поняла, что сейчас умрет от страха... Тут сзади раздался пронзительный вопль!

Вопль был настолько страшен, что Лидочка, несмотря на охвативший ее ужас, обернулась и увидела, что в дверном проеме медленно оседает потерявшая сознание Лариса Михайловна, которая так не вовремя заглянула в комнату.

Лидочка сделала было движение на помощь докторше, но вспомнила, что скелет не дремлет... посмотрела на него и скелета не обнаружила — вместо него над ней возвышалось странное и не очень страшное существо, которое состояло из полных ног в черных шелковых чулках и черных же резинках, отделанных кружевом, из розовых панталон, обнаженного живота приятного телесного цвета, черного кружевного лифа, — но вместо шеи и головы там наверху дергалась и колыхалась некая черная с белыми пятнами масса. Лидочка только через минуту сообразила, что смотрит на прекрасное тело Марты Крафт, которая старается снять через голову черный балахон с нарисованным на нем скелетом — маскарадный костюм «Голод в Индии», который она только что примеряла, чем и ввергла в ужас Лидочку и Ларису Михайловну.

Докторша скоро пришла в себя — даже нашатыря не понадобилось — и была очень смущена своей женской слабостью, а Марта, которая чувствовала себя неловко, хотя ни в чем на этот раз не была виновата, утешала ее и просила прощения у Лидочки. Лидочка отмахнулась.

— По крайней мере, ты сегодня одна, и это уже достижение.

— Знаешь, — согласилась Марта, — как ты права! Все мужчины хотят от меня лишь одного, и никто не думает о том, что я тоже страдающая единица, человек, наконец!.. Как ты думаешь, я правильно сделаю, если сейчас брошу все силы на подготовку диссертации?

— Наука этого не переживет, — буркнула Лидочка.

Марта принялась смеяться, потом снова примерила костюм «Голод в Индии» и стала допрашивать Лидочку, идет ли ей образ скелета. Она так и говорила «образ скелета».

Лидочка разулась, поставила влажные ботики к еще горячей

печке, потом достала из чемодана сухие теплые носки и, надев шлепанцы, отправилась к Ларисе Михайловне попросить чего-нибудь от головной боли и начинающейся простуды. Той было неловко за обморок, она достала большую коробку лекарств, и они с Лидочкой потеряли несколько минут, выбирая лекарства получше.

— Вы у нас в первый раз? — спросила Лариса. — Сегодня день самый интересный — у нас для каждой смены маскарад устраивают. Но раньше из кладовой княжеские сундуки доставали — там карнавальные костюмы еще с ихних времен остались. Тогда мы все одевались коломбинами, царевнами и рыцарями. А сейчас товарищ Филиппов очень боится товарища из Гэпэу и потому выбрал все политическое. Дурак он, правда?

— Дурак, — с готовностью согласилась Лидочка.

— А мне он велел быть угнетенным пролетариатом Запада и надевать старый мешок. Только он меня в этом мешке и видел! Интересно, откуда он этот скелет раздобыл! Неужели тоже в сундуках? Сколько лет я здесь, а не видела.

Голова все равно болела — начиналась простуда. Именно простуды Лидочке и не хватало. За окном стемнело — снова пошел дождь. Было лишь начало пятого, а уже сумерки, как глубокой зимой. По коридору мимо кабинета прошли молодые люди, одетые в красноармейскую форму.

Санузия жила счастливо и легкомысленно. И если у людей, что приехали сюда на заслуженный либо добытый по блату отдых, были важные и грустные проблемы в Москве, то, приехав сюда, они согласны были забросить их за шкаф и две недели прожить бездумно, потому что лес, отделявший Санузию от Москвы, был надежной границей — академики жили в заповеднике. Они вернутся, и их будут вычищать, увольнять, допрашивать, разоблачать, изгонять или награждать. Но это будет потом, потом, потом... Нелепо и несправедливо, что из всех людей, собравшихся здесь танцевать, кушать борщ и дышать воздухом, лишь ей, Лиде, почему-то приходится таить в себе тяжкое и смертельное знание о мертвой женщине, которая лежит в холодном погребе, и знать, что среди зверят в заповеднике таится волк-убийца, а ставкой в игре, идущей за кулисами дома, стала сверхбомба, способная стереть с лица земли Париж... Снизу поднимался праздничный, пока еще сдержанный, предновогодний, предмайский, праздничный шумок, заставляющий людей двигаться чуть быстрее, говорить чуть громче и смеяться чуть живее, чем обычно.

Лидочка вернулась к комнате, открыла дверь. Уже вот-вот стемнеет, и надо будет идти снова в холодный промокший парк и следить за убийцей. Как бы ни был плох этот человек, но можно представить себе ужас убийцы, которому предстоит выйти под дождь, забраться в погреб и, рискуя попасться случайному прохожему на глаза, волочить по грязи труп женщины...

— Господи, — сказала вслух Лидочка, понимая притом, что убийцу представляет в виде Мати и жалеет Матю, который так любит красивую жизнь, свою работу, славу и ее — Лидочку...

Лидочка протянула руку к выключателю, но не успела зажечь свет.

— Нет! Не смей! — раздался мужской голос. Дверцы платяного шкафа распахнулись, и темная фигура, выскочив оттуда, бросилась на Лиду. А Лида, смертельно уставшая от этого дня, поняла, что она уже не в силах бороться за свою жизнь — она даже согласна, чтобы ее убили, только чтобы не мучиться и не ждать...

Мужчина подхватил падающую Лидочку и прижал к себе. Но он не стал убивать ее.

Лида пискнула, представляя себе, как сейчас вонзится в нее кинжал или холодные, уже знакомые пальцы сожмут ее беззащитное горло. Мужчина прижал ее к стене и зашептал знакомым шепотом.

— Один поцелуй! — молил шепот. — Только один поцелуй, и я смогу жить спокойно.

— Да погодите вы!

— Нет, я не могу больше годить! Ты должна мне сказать «да»!

— Нет, не должна. — Лида продолжала бороться с конечностями агрессора, но делала это довольно вяло, потому что уже поняла, что это не ее убийца и вообще у него иные интересы.

— Марта, — мужчина страстно дыхнул на Лидочку луком и принялся целовать ее шею, — ты должна... ты же обещала...

— Это не я, — попыталась возразить Лидочка. Но ее не слышали.

Ищущие губы поклонника наконец-то достигли рта Лидочки, поклонник был невменяем от страсти.

В этот момент дверь распахнулась, загорелся свет, и краем глаза Лидочка увидела в дверях остолбеневшую от удивления Марту Крафт.

Хватка поклонника ослабла, и Лидочка, освобождаясь, поняла, что ее пытался лобзать юный аспирант Ванюша Окрошко. Тот тоже понял свою ошибку и малиново покраснел.

— Откуда он взялся? — спросила Лида. — Проходу от твоих поклонников нету!

— Как ты посмела! —Марта неожиданно обрушила гнев на Лидочку. — Он же еще совсем ребенок. Как ты смела завлечь его?

— Это я завлекла?

— Разумеется, не я. Меня не было в комнате.

— Так это он меня лобзал? — спросила Лида. — Или я его?

— Нет! — закричал молодой человек. — Это я не вас целовал, я целовал Марту Ильиничну.

— Вот видишь, — сказала Лидочка мрачно, — можешь продолжать.

— Ой, — сказала Марта, — а я думала, что ты его у меня хочешь отнять!

— Он твой, — сказала Лида, — только скажи ему, чтобы в будущем он не прятался по шкафам — у меня там платье висит и блузки. Он мне все луком провоняет.

— Это неправда! — закричал Ванюша. — Марта Ильинична, скажите, что это неправда.

— Нет, — сказала Марта, — ты этого не могла подстроить. Ты не успела бы подстроить!..

Марта была совершенно серьезна — она решала задачу с двумя неизвестными. Весь мир был чреват изменой, никому нельзя было доверять.

— Где мой маскарадный костюм? — спросила Лидочка.

— Нет, вы скажите ей, — настаивал молодой человек, — вы скажите, что я не ел лука! Здесь лука отродясь не давали.

— Я не знаю никакого маскарадного костюма, — сказала Марта. — Совершенно не представляю, что ты имеешь в виду.

— Я ничего не имею в виду, — сказала Лидочка. — Мне все это надоело. Филиппов сказал мне, что одеяние монахини у нас в комнате.

— Вы забыли. Марта Ильинична, — возрадовался вдруг молодой поклонник. — Я вам лично помогал нести этот костюм. Вам так понравился материал. Помните, вы сказали, что хотели бы быть такой монахиней.

— А идите вы к чертовой бабушке! — закричала вдруг Марта, схватила со своей кровати черную одежду и кинула Лиде. — Все меня в чем-то подозревают, все у меня что-то вымогают. А ну, иди отсюда, луку, видите ли, он наелся и лезет с поцелуями... — И, видя изумление аспиранта, добавила: — К моей лучшей подруге.

За аспирантом закрылась дверь. Лидочка, не обращая внимания на притихшую Марту, натянула длинную, черную, до пола, одежду и, подойдя к зеркалу, сама себе в ней понравилась.

Марта сидела на постели и зашивала саван «Голода», скелет лежал у нее на коленях и шевелил ногами. Зрелище было патологическое. Но Марта не замечала. Она была полна своих тайных и невеселых мыслей.

— Не сердись, — сказала Марта неожиданно. — Ты, наверное, думаешь, что у меня бешенство матки?

— Я ничего не думаю.

— Просто мне так отвратительно жить на свете, — сказала Марта, — что для меня эти дни в Узком — спасение. Без них я бы задохнулась в коммуналке... Если тебе нужен этот мальчик — возьми его себе. Честное слово, мне не жалко.

— Нет, спасибо, — сказала Лидочка. Надо было стянуть через голову монашеское одеяние, но не было сил этого сделать. Она разулась, сделала два шага, упала на кровать и еле смогла спросить Марту: —Ты никуда не уйдешь?

— Нет, я буду скелет по себе подгонять.

И Лидочка с великим облегчением, словно неделю не дотрагивалась до подушки, заснула.

Проснулась Лида, как ей показалось, через две минуты, хотя поняла, что спала куда дольше. За окном было черно, в комнате уютно и мирно. Марта сидела на своей постели, аспирант на стуле, лицом к ней. Он помогал ей, держал одеяние, а Марта его зашивала.

Лидочка поглядела на часы. Было уже около шести. Она проспала больше часа.

— Меня никто не спрашивал?

— Алмазовская Альбина забегала, но я не стала тебя будить.

Как только Марта произнесла это имя, сразу вернулась грозная действительность. Альбине нужен револьвер, чтобы застрелить негодяя Алмазова. А может быть, чтобы вернуть?! Почему я решила, что Альбина спит и видит, чтобы стрелять в своего благодетеля? Да посмей она, завтра же погибнет и ее муж, и она сама. Может быть, Алмазов дал ей револьвер, чтобы защищаться?

— А Александрийский не приходил?

— Ему на второй этаж подниматься нельзя, — сказала Марта. — Трудно.

Лидочка поднялась и удивилась, не узнав себя в монашеском одеянии.

— А когда начнется маскарад?

— На ужин велено идти одетыми. Будет массовое действо. Фигуры вчерашнего дня и победивший пролетарий. Товарищ Алмазов обещал быть в одежде победившего пролетария. То есть до пояса обнаженный и в цепях.

— А цепи в подвале?

— И еще какие цепи! — сказал Ванюша.

Длинное платье Лидочки было рассчитано на женщину более высокую и потому волочилось сзади по полу. Когда она спешила нижним коридором к комнате Александрийского, то мельком увидела свое отражение в высоком трюмо — черная летучая стройная фигура, казалось, пришла сюда из прошлого. Ну что ж, маскарад так маскарад — нам хочется плясать и веселиться на костях поверженного империализма.

Лидочка постучала в дверь. Никто не откликнулся. Значит, Александрийский ушел без нее? Это же опасно!

Из-под двери был виден белый уголок. Лида подняла его. Это была записка от Александрийского.

Без обращения и без подписи — Александрийский был осторожен.

«Я буду в парке до 19.00. Потом вы меня смените». Записка была более чем исчерпывающей. Теперь важнее всего отыскать Альбину — можно представить, в каком она сейчас состоянии. Но идти к Алмазову Лидочка, конечно же, не посмела, она надеялась, что Альбиночка сама ее ищет.

Лидочка вернулась в прихожую — приготовления к празднику продвинулись уже далеко: стены в прихожей и гостиной были увешаны плакатами и лозунгами, некоторые из них были старыми и разорванными — они остались от старых маскарадов. На рояле лежал большой бутафорский топор, а три доктора наук, возглавляемые Максимом Исаевичем, волокли по коридору из кухни колоду для разрубания мяса — Лидочка догадалась, что на ней мы будем рубить головы тиранам или, наоборот, революционерам. Об этом Лидочка спросила у восточного типа джентльмена с эспаньолкой, которого ранее видела лишь мельком. Джентльмен был облачен в красные штаны, и потому не исключалось, что топор принадлежит ему. Джентльмен признался, что он палач, и сказал, что выполнит любое пожелание прекрасной монахини и отрубит что угодно кому угодно. Лида была тронута его душевной щедростью и подумала, что Алмазов нуждается в таких бодрячках, но палачу говорить об этом не стала.

В столовой Альбины тоже не было — там аспиранты вешали бумажные гирлянды и флажки с шаржами на отрицательных персонажей истории.

Стоило Лидочке подняться до половины лестницы, направляясь к себе, как она столкнулась нос к носу с Матей, который, глубоко задумавшийся, осунувшийся и бледный — даже жалко смотреть на него, — спускался навстречу. Он был одет обычно, но на шее, на веревке, висела борода из соломы. Матя не сразу заметил Лиду, и та в надежде, что разминется с ним без слов, припустила наверх.

— Лида, — вслед ей сказал Матя, — не изображайте из себя пионерку, которая машет красным галстуком и бежит по рельсам, чтобы остановить поезд.

— Простите, — сказала Лидочка. — Я задумалась.

— Вы никуда не годная лгунья.

Они стояли, разделенные пролетом лестницы, не делая попыток сблизиться. По лестнице то и дело проходили и пробегали участники маскарада, одержимые желанием все сдвинуть с мест и перетащить из комнаты в комнату.

— А вам будет легче, если я скажу правду? Я не хотела вас видеть.

— Так-то лучше. Извините меня, Лида.

— Это ничего не изменит.

— Жаль. Вы мне, честное слово, очень нравитесь. И я не хотел причинить вам боль или обиду. Нечаянно получилось.

— У вас все нечаянно получается?

— Принимаю ваш сарказм... Да, я бываю несдержан. Но поверьте, что мною руководят не злые умыслы... — Матя криво усмехнулся, и черные усики спрятались под нос. — Может, со временем вы меня поймете и простите.

— Может быть, — сказала Лидочка. Ей положено было видеть ужасный лик убийцы, а ей было жалко Матю, который хотел всем сделать лучше. — Дорога в ад выстлана...

— Вы начитанный ребенок, — сказал Матя.

— Я не ребенок.

— Но и не монахиня. Это тоже ложь.

— У нас маскарад, — сказала Лидочка.

— У нас уже пятнадцать лет маскарад. Вы видели палача в красных штанах комиссара?

— Да.

— Известный в Москве стоматолог и доносчик. Будьте с ним осторожнее.

— Я уж не знаю, с кем быть осторожнее.

— А меня можете не бояться... — Матя пошел было вниз по лестнице. Лидочка стояла, смотрела ему вслед. Потом он обернулся и произнес слова, которые Лидочка от него ожидала: — Я бы тоже хотел вас не бояться. Все, что было между нами, пускай таким и останется...

— Не только между нами? — спросила Лидочка.

— У вас змеиный язычок, — сказал Матя беззлобно. — Но вы правы.

— Вот вы где, — сказал Алмазов, выходя из-за спины Лидочки и дружески хлопнув ее чуть пониже спины жестом друга, которому все дозволено. — Я хотел, Шавло, перекинуться с вами парой слов. У вас найдется для меня минутка?

— Хоть две, — сказал Матя.

— На это я и не надеюсь, — Алмазов рассмеялся. — А давайте не тратить времени, а то моя роль на маскараде требует, чтобы я занялся туалетом. Как насчет вашей комнаты?

— Отлично, — сказал Матя.

— Тогда поднимайтесь.

Алмазов быстро сбежал с лестницы и полуобнял Матю. Он был на голову ниже Мати, но куда шире в плечах и сильнее. Рядом с ним Матя казался большой рыбой — самым широким местом в его обтекаемой фигуре были бедра. Так они и ушли по коридору к Матиному номеру — Матя жил в том же флигеле, что и Александрийский.

А Лидочка получила возможность добежать до комнаты Алмазова, она знала, что тот живет на втором этаже, где и остальные академики. Марта рассказывала ей, что там в каждой палате есть свой умывальник и даже уборная.

Когда Лидочка вбежала в небольшой вестибюль, куда выходили несколько одинаковых белых дверей, она остановилась в нерешительности — какая дверь Алмазовых? Ей было страшно, что вот-вот вернется Алмазов, увидит ее здесь, как безбилетницу в ложе Большого театра. Ноги ее стремились убежать, но она понимала, что увидеть Альбину — очень важно, особенно для самой Альбины.

Одна из дверей открылась, и вышел астроном Глазенап в одежде римского патриция и маленьких старых очках на крупном, обвисшем от старости носу.

— Простите, — сказала Лидочка с облегчением, астроном будто был ниспослан ей свыше, — вы не скажете, в какой комнате живет Алмазов?

— Алмазов? — Глазенап сделал умственное усилие. — Алмазов? А чем он занимается? Биофизикой?

— Нет, — сказала Лидочка, и что-то в ее голосе заставило Глазенапа вспомнить.

— Ах да, — сказал он. — Только я не рекомендую вам, нет, не рекомендую, вы еще молодая девушка, вы еще можете остаться честной!

— Мне нужна женщина, которая живет с ним.

— Не надо, — повторил Глазенап, — она обречена, в глазах написано, что обречена.

— Мне очень важно, скажите, пожалуйста!

— Нет, не скажу. — Глазенап топнул ножкой. — И вы мне потом скажете спасибо, что я вас оградил от такой опасности!

— Господи! — взмолилась Лидочка.

Дверь в соседнюю комнату открылась, и оттуда зайчонком выглянула Альбина, встрепанная, дрожащая.

— Альбина!

— Я предупреждал, — сказал Глазенап, закидывая край тоги на руку и торжественно убывая.

— Заходите, заходите, — лихорадочно зашептала Альбина. — Я думала, что с вами что-то случилось, я думала, что вас не увижу, честное слово, это такой ужас, вы не представляете!

Она отчаянно тянула Лиду, но та вырвала руку.

— Я не пойду к вам, он может вернуться.

— Ах да, конечно, вам же нельзя. — Альбина будто проснулась — она была не в себе. — Вы мне принесли, да?

— Нет, я не посмела носить его с собой, — сказала Лидочка.

Они стояли в дверях, сблизив головы, и громко шептались. Как будто их объединяли какие-то невинные девичьи секреты. Видно, так и подумал старший из братьев Вавиловых, выходивший из своей комнаты в одежде крестьянина-бедняка: в онучах, лаптях, ватных полосатых штанах и поддевке.

— Спускайтесь, — сказал он им, улыбаясь, — скоро гонг — праздничный ужин.

Лидочка взглянула на часы. Половина седьмого.

— А где он? — зашептала вновь Альбина, как только Вавилов отошел.

— Я его спрятала.

— Он мне нужен.

— Я его положу в условленное место, и вы его возьмете.

— Мне он сейчас нужен.

— Я смогу это сделать только после ужина.

— Честное слово? А может, вы не хотите мне его дать? Вы боитесь, что я выстрелю?

— Да, я боюсь.

— Но я выстрелю в себя, вы не бойтесь, я выстрелю в себя.

— Еще чего не хватало!

— Потому что он меня обманывает, я все поняла, он меня обманывает... Знаете что?.. Ближе, ближе... Мой дорогой муж, мое сокровище, мое солнышко, мой ненаглядный — он его убил, его уже нет, я знаю — он его убил и теперь смеется надо мной. Но я убью себя, и он не сможет смеяться надо мной. И ему станет стыдно.

— Альбина, успокойтесь. Может, ваш муж жив.

— Нет, я знаю, я знаю! Я по глазам его знаю — он врет, а глаза его врать не могут. Они смеются. Я убью себя, и он перестанет смеяться.

— Подумайте — у него же нет совести, ему будет все равно. Лучше, если вы будете жить...

— Ему станет стыдно, я знаю, ему станет стыдно. На одну секунду, на одну минуту — пускай хоть на минуту... вам не понять... Лида, я вижу, что вы не хотите возвратить револьвер. Только посмейте! Я вас уничтожу!

— Я не хочу, чтобы вы умирали.

— Я уже мертвая. А вы должны мне вернуть револьвер после ужина. Сразу после ужина вы подойдете и скажете мне, где вы его спрятали. Если вы не подойдете, то я скажу Яну, что револьвер у вас. И он вас посадит в тюрьму. Я вас не буду жалеть, потому что меня никто не жалеет.

Альбина закашлялась.

— Все! — крикнула она. — И не стучите, и не зовите! — Она нырнула внутрь комнаты, и слышно было, как повернулся ключ в замке.

— Альбина!

Никакого ответа.

Лида поняла, что и в самом деле глупо стоять перед этой дверью.

Она пошла обратно. И вовремя — у лестницы ей встретился Алмазов.

— Что вы в наших краях делаете? — спросил он весело. Он весь лучился радостью — что-то ему удалось добыть.

— Я заходила к Глазенапу, — сказала Лида. — Мне надо было взять у него венок.

— Какой венок?

— Для римского патриция — он у него сломался.

— А где венок?

Алмазов полуобнял Лидочку за плечи и потянул к себе.

— У Глазенапа никто не открывает. Вы его не видели?

— Умница, — еще шире засмеялся Алмазов. — Глазенап внизу. В ночной рубашке, а член торчит наружу.

Лида выскользнула из его объятий и побежала к себе. Алмазов смеялся вслед.

И, только добежав до своей комнаты и вломившись в нее, что сделать было нелегко, потому что Марта с Ванечкой сунули в ручку двери ножку стула, которую Лидочка в отчаянии сломала, Лидочка поняла, что она спасена. И ей было плевать на то, что Ванечка натягивает на себя одеяло, а Марта кричит придушенно:

— Ну сколько можно! Там же сказано — у нас не принимают.

— Я на вас не смотрю, — сказала Лидочка, проходя к своей кровати и садясь на нее. — И Миша Крафт ничего не узнает.

— Вот это лишнее, — сказала Марта. — Ванечка, отодвинься от меня, крошка, у меня пропало настроение.

Они стали возиться под одеялом, разбираясь в своих перепутанных руках и ногах. Лидочка взяла свои ботики, ботики были теплыми изнутри, но не высохли — да и когда им?

Пока Лидочка натягивала ботики, раздался первый гонг, Марта засуетилась, она намерена была перещеголять всех костюмом. Ванечка уже надел маску зайчика и покорно застегивал ей крючки на сером балахоне.

— Ванечка! — Лида не стала дожидаться, пока Марта закончит приготовления к маскараду. Она взяла монашеский клобук и побежала вниз. Самое трудное взять с вешалки пальто и незаметно выйти — там же сейчас столпотворение. По дороге на Лидочку напал приступ чиха — даже из глаз текли слезы.

Многие внизу были в масках — так что Лидочка не угадывала отдыхающих, — Лидочка подумала, что сейчас самое удобное время для настоящего детективного убийства — некто, одетый монашкой, падает к ногам палача в красных штанах... Это только в России трупы плавают в холодной воде заброшенных погребов, а в культурном мире они умеют плавать красиво.

Голова разламывалась, и мысль о том, что сейчас придется идти на улицу и мокнуть под дождем, была ужасна. А где Матя? Расталкивая участников маскарада, Лидочка протолкалась в гостиную — она даже не знала, в каком костюме был Матя. В костюме кулака? Или попа? Ни в прихожей, ни в биллиардной, ни

в гостиной кулаков не нашлось. Были опричники, городовые, короли, капиталисты, но ни одного кулака. Сколько времени прошло с тех пор, как она встретила Алмазова, возвращавшегося после разговора с Матей? Полчаса? А вдруг Матя ушел перетаскивать труп? Ведь сейчас очень удобное время — все здесь. Даже повара и подавальщицы — все, кто мог, столпились в гостиной. Снаружи только дождь.

Лидочка посмотрела на часы — семь часов пятнадцать минут. Каково там профессору! Ужас ее положения заключался в том, что Лидочка не могла взять свое пальто — ее было видно толпившимся по соседству. Гонг ударил вторично. В дверях появился президент. Он держал гонг над головой. Вот он взмахнул булавой и ударил в третий раз.

— Представление начинается! — кричал он. — Все в гостиную! Действие первое: казнь французского короля Людовика.

Максим Исаевич спросил:

— Лидочка, вы такая бледная. Может, вам принести лекарство?

По лестнице спускалась Альбина, крестьянская девочка. Она цепко держала под руку Алмазова. Алмазов был до пояса обнажен, через мускулистое плечо свисала цепь — он являл собой образ скованного пролетария.

Появление пролетария было встречено криками и аплодисментами.

Максим Исаевич одним из последних побежал в гостиную. На мгновение прихожая была пуста.

— В столовую, в столовую! — кричал президент. — Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй. Праздничный ужин по поводу маскарада в честь пятнадцатой годовщины революции по старому стилю начинается!

Сегодня же двадцать пятое октября, вспомнила Лидочка.

Она нырнула в гущу пальто и долго не могла отыскать своего — оно оказалось завешено другими пальто и плащами.

Была половина восьмого, когда Лидочка наконец выбежала из дома и поспешила к погребу.

На полдороге к нему горел одинокий фонарь.

Темнота сгустилась, и оттого деревья стояли тесней и даже воздух был гуще, как будто идешь сквозь застывший холодец.

Поднялся ветер, деревья, просыпаясь, зашевелились, начали покачиваться и шуршать мокрыми ветвями, сучьями и поскрипывать стволами, отделываясь от последних листьев. Здесь

совершенно не было места живым людям — словно в заколдованном лесу, куда выдают пропуска только нечистой силе.

Лидочка добежала до развилки — правая дорожка вела вниз, к прудам, другая — к тригонометрическому знаку. Слева возвышался холм погреба.

— Павел Андреевич! — позвала Лида негромко, и звук голоса тут же угас, словно не мог пробиться сквозь дождь и сплетение мокрых ветвей.

— Павел Андреевич!

Профессора не было. Лидочке показалось, что, если он укрывается где-то близко, она бы это почувствовала. Но все ее чувства говорили, что лес вокруг пуст. Может, ему стало плохо? Справа, чуть ниже по склону, была густая купа кустов, и Лидочка поспешила туда, скользя по гнилой листве и грязи. Она спешила и раз даже упала, правда, на коленки и почти не ушиблась. В кустах никого не было — и даже человечьим духом не пахло. Отсюда вход в подвал был виден четко — очень черное пятно на черном склоне холма, налево убегала прямая и блестящая под фонарем дорожка к дому. Она была пуста. Окна дома ярко светились, свет лучами лился между колонн и заливал мокрую веранду. Но ни звука, ни движения из дома не доносилось.

Вдруг Лидочку посетила тревога — нет, не страх, а опасение, что с Александрийским могло случиться что-нибудь плохое. А что если убийца увидел его и напал — ведь Александрийский не может оказать сопротивление даже кошке. А что тогда?

Лидочка вышла из укрытия кустов и полезла вверх по склону, к дорожке. Ноги скользили, приходилось все время поддерживать подол монашеского одеяния: он давно уже намок и стал грязным и тяжелым.

Перед входом в погреб Лидочка остановилась. Ей понадобилось немало времени — впрочем, как мерить время, которое умеет то остановиться, то кинуться вперед? — прежде чем она заставила себя нагнуться и ступить вниз.

— Павел Андреевич, — позвала она. Звук глухо метнулся в стесненном мокром пространстве погреба. Никто не ответил, да и кто мог ответить?

Лидочка спустилась вниз — девять ступенек, она запомнила с прошлого раза. На десятой нога коснулась воды. Ну почему у нее нет фонарика? Фонарик — вот величайшее изобретение!

Но если ты спустилась сюда, то хочешь не хочешь придется нагнуться и шарить в ледяной воде. Страшно не было — было

отвратительно от безысходности. Ну почему именно ей надо этим заниматься? Чем она прогневила Бога?

Внутренне сопротивляясь тому, что делала, Лидочка шагнула вперед, вода хлынула через верх ботиков — теперь уж простуды не миновать. И как будто испугавшись этого, организм Лидочки сжался в судороге, и она начала чихать — это были болезненные спазмы, она задыхалась, она потеряла ориентировку — где верх, где стена, где вода, — она сделала несколько шагов вперед и уткнулась в дальнюю стену погреба. И тогда уже поняла, что на полу, в воде, нет никакого тела. Ни тела Полины, ни тем более тела профессора. Правда, на секунду ее уверенность в этом поколебалась — руки наткнулись на тугой кожаный тюк... И тут же Лида вспомнила, что у Полины был баул, который никто после ее исчезновения не видел.

А дальше сразу стало легче, — правда, она шарила по погребу по щиколотки в ледяной воде, руки ее были мокрыми по локоть, но от сознания того, что погреб пуст, наступило облегчение.

Из погреба Лидочка вылезла с трудом, так тяжел был подол монашеского одеяния. Несмотря на жгучий холод и ветер, она понимала, что домой возвращаться ей пока нельзя, — она же не знает, что с Александрийским. Она могла предполагать, что он дождался, когда убийца вышел из дома и вытащил из подвала свою жертву. И понес ее куда-то. Значит, профессор последовал за убийцей. Как бы тот ни был силен, с такой ношей на плече он двигался медленно, и профессор мог следовать за ним. Если убийца кинул труп Полины в пруд, то он уже, вернее всего, возвратился в дом. А за ним профессор. А если он понес тело далеко в лес, чтобы закопать его? Могло же так быть! И тогда профессор со своей тростью бредет за убийцей, уже не чая вернуться домой... А что если убийца, услышав, как треснул сучок под неосторожной ногой Александрийского, обернулся и увидел согбенную тень преследователя? Вот он бросает на землю тело несчастной Полины, вытаскивает из кармана нож, а то просто тянет вперед сильные длинные руки и, сверкая глазами — глазами Мати? — сверкая глазами, приближается к профессору, и тот бессилен убежать или сопротивляться!

Преодолев новый приступ кашля и ощущая, как горит голова и как безумно холодно закоченевшим ногам, Лидочка беспомощно оглянулась, не зная, куда ей идти дальше...

Куда он мог пойти? Она бы пошла вниз — всегда легче идти вниз, если тащишь тяжелую ношу. И наверное, лучше идти по

дорожке, чем напролом через кусты, — ведь шансов встретить кого-нибудь в это время совсем немного.

Рассуждая так, Лидочка подняла тяжелый подол и крутила его, выжимая воду. Черная вода тяжело лилась на желтую глину. Лидочка отошла в сторону — теперь и она была мечена этой проклятой глиной. Далеко сзади стукнула форточка — Лида догадалась, что это форточка, потому что за этим звуком в парк сразу вырвались многочисленные перепутанные голоса, зазвучала музыка. Как странно — граница, проходящая между кошмаром страшного погреба, ледяной воды, шуршащих кустов, убийства, смерти... и маскарадом в честь пятнадцатой по старому стилю годовщины Октября, столь зыбка и тонка, что Лидочке стоит сделать всего тридцать — сорок шагов, толкнуть дверь, войти в тепло протопленную прихожую, повесить мокрое пальто на вешалку... Но нельзя сделать этих шагов, а надо идти дальше от дома, в непроницаемую тьму октябрьской ночи, где — а это вовсе не выдуманная опасность — ее поджидает в засаде готовый на все, загнанный в угол убийца. А идти надо, потому что иначе себе до конца дней не простишь, если Павел Андреевич лежит сейчас где-то там, внизу, и ему нужна твоя помощь...

Выжав, как могла, подол, Лидочка подобрала его. Подол тяжело оттягивал руку. Лидочка вышла на дорожку, ведущую к пруду. Один фонарь остался далеко сзади — он почти не давал света, но рождал длинные, разбегающиеся тени деревьев и, покачиваясь на столбе под ветром, заставлял эти тени шевелиться, словно они были тенями толпы людей, преследующих Лидочку.

Второй фонарь качался на столбе внизу у пруда. Были и другие столбы, — но фонари на них были разбиты, или в них перегорели лампочки.

Лидочка шла все быстрее и быстрее и добралась до пруда. Там, под фонарем, видная издали и беззащитная, она вынуждена была остановиться, потому что на нее напал новый приступ кашля.

И тут, как раз под фонарем, она увидела раздавленную и растащенную поскользнувшимся каблуком желтую глиняную плюху. Взглядом проследив желтую полосу до валика земли, намытого ручейком, пересекающим дорожку, Лида заметила, что валик перерезан дважды: убийца здесь волочил жертву — пятки Полины скребли землю...

И Лида поняла, что убийца — рядом.

Стоя под фонарем у берега пруда, она понимала, насколько она беззащитна. В этом монашеском многопудовом одеянии ей и не убежать — любой догонит, и задушит, и кинет в пруд. Ведь только в первый раз трудно убить человека, а потом это становится таким же обыкновенным занятием, как приготовление яичницы. А почему яичницы? Какая такая яичница — она пахнет яйцами... это очень неприятный запах... Лидочке стало противно от запаха яичницы, хотя умом она понимала, что никакого запаха нет, — лес пахнул гнилью, холодом, водой... Это у меня поднимается температура, подумала Лидочка. Мне надо спешить на танцы. Лучше всего танцевать, потому что, когда танцуешь, можешь прижаться к партнеру и он тебя обязательно согреет. Господь создал мужчин только для того, чтобы они вытирали женщин махровыми полотенцами и высушивали их своим телом... Что я думаю! Остановись, сказала себе Лидочка. Фонарь качался почти над головой, и собственная тень Лидочки совершала вокруг нее какие-то нелепые скачки.

Лидочка поняла, что никого она здесь не найдет, кроме собственной смерти. Но она заставила себя пойти дальше, она добрела до плотины между верхним и средним прудами. Верхний пруд был большим, идиллическим, со всех сторон он был окружен деревьями, которые росли на пологих откосах, и питался водой из ручья, который стекал по густо заросшему оврагу. Средний пруд, отделенный от него насыпной плотиной, по которой проходила дорожка, ведущая в лес, находился на более пологой и открытой местности усадьбы Трубецких. На том пруду сохранилась старая купальня, устроенная так, чтобы посторонние не могли увидеть за деревянными стенками господ, которые решили искупаться. Нижний пруд упирался в дорогу, ведущую от Калужского шоссе, и соединялся с другой системой небольших прудов, уже за забором усадьбы.

Сейчас, ночью, с плотины между верхним и средним прудами трудно было различить истинные размеры прудов, а нижний и вовсе был лишь сверканием искорок от далекого-далекого фонаря у въезда в парк.

Лидочка пошла по плотине, потому что это был самый удобный и прямой путь от погреба в лес. Она говорила себе, что далеко не пойдет — да и куда идти, — вот еще десять шагов... нет, еще пятьдесят... перейдет плотину, посмотрит, что там, — и повернет обратно. Было очень тихо — ветер стих, и сразу стало спокойно. Тишина была совершенная — куда более совершен-

ная, чем полное беззвучие, потому что ее деликатно подчеркивал шепот дождевых капель. Вода была спокойной и ровной, но из-за дождевых капелек ничего не отражала. Чем ближе Лидочка подходила к дальнему концу плотины, тем явственнее доносился до нее новый непонятный звук — пустой и журчащий. И только оказавшись на той стороне пруда, у скамейки, словно забытой в этом дальнем углу парка, она вспомнила, что это за звук, потому что была здесь днем: звук происходил от водяной струи, которая переливалась через край колодца, сооруженного посреди пруда и представлявшего не сразу понятное для непривычного человека зрелище. Поскольку трудно сообразить, почему в глади пруда, в трех или четырех метрах от берега, обнаруживается круглое метровое отверстие, — отверстие в воде. На самом же деле это было простое приспособление для того, чтобы лишняя вода переливалась из верхнего пруда в средний.

Сообразив, что означает звук, и вспомнив о назначении колодца, Лидочка пересекла плотину, чтобы заглянуть в средний пруд — где же выходит там эта труба? Но ее не было видно. Значит, слив был ниже уровня воды в среднем пруду. Разница в уровне воды в прудах была не меньше пяти метров, значит, колодец среди пруда был глубже пяти метров. Лидочке почему-то захотелось убедиться в этом, она довольно долго искала на берегу камешек, чтобы кинуть в колодец, который привлекал ее невероятностью своего образа — круглая дыра в воде! А в воде не бывает дыр! Она кинула камешек, чтобы по звуку определить, какой глубины колодец, но звук падения до нее не донесся. Тогда Лидочка захотела заглянуть в колодец, но для этого надо было пройти метра четыре по воде. Или найти доску, чтобы перекинуть с берега... Что я тут делаю? Чего мне дался этот колодец? — спохватилась вдруг Лида. Разве я сошла с ума? Что мне от того, глубокий он или мелкий? Но, задавая себе эти вопросы, Лида на них не отвечала — мы же не отвечаем себе на свои вопросы, если знаем ответ! И Лидочка знала — хоть и не формулировала для себя причину такого интереса к колодцу в пруду — ее тянуло к нему, потому что она для себя решила задачу: где спрятать труп Полины. Она бы сбросила его в колодец — он был фантастичен, он был нелогичен, он был как пасть морского чудовища, которое требует человеческой жертвы. Както Лидочка читала о древнем многометровом колодце в Чичен-Ице. Конечно же, древние майя или ацтеки кидали туда невинных девушек — боги могли создать его только для жертвоприношений.

Впрочем, в этом была и хитрость, понятная только Мате и Лидочке: ведь иной человек, устроенный просто, никогда не догадается искать в колодце — с его точки зрения, убийца должен кинуть труп в пруд, а не устраивать себе трудности, подобно Тому Сойеру, когда он освобождал из тюрьмы старого друга негра Джима. Потому Лидочка была убеждена, что, если в поисках трупа даже спустят воду из всех прудов — в колодец никто не заглянет! Снимаем шляпу перед физиками! Она рассуждала так, словно уже нашла труп Полины...

Кашель миновал — теперь можно бы возвращаться. Но профессора она так и не отыскала. Хотя вернее всего, он уже дома, пьет чай, забыв о Мате.

В лесу хрустнул сучок — Лидочка быстро обернулась. Там, на дальнем берегу, зашевелились кусты.

Лидочка замерла.

Это дикая собака, сказала она себе, а может, барсук. Это не человек. Человек — это слишком страшно.

Она кинула взгляд на дом Трубецких — до него тысяча километров — и в гору. Квадратики его светящихся окошек были недостижимы, как лунные кратеры. Лидочка стала медленно отступать — она была на открытом пространстве, а тот, другой, затаился в кустах и потому имел преимущества: он увидит, куда она бежит, и догонит ее без труда... если бы еще не эта чертова одежда! — пудовая, настолько насыщенная водой и облепленная грязью, что втащить ее в гору можно только трактором. Лидочка наклонилась и подобрала подол — руку оттягивало его тяжестью.

Я гуляю, колдовала Лидочка, я медленно и с достоинством гуляю — почему-то ей хотелось, чтобы преследователь понял, что она гуляет именно с достоинством. Она шла по плотине и проклинала себя за то, что так очевидно обратила внимание на колодец.

Если бы не это, Матя бы ее не тронул, он бы пожалел ее, ведь он не садист — его заставили обстоятельства... Лидочка сошла с плотины и побрела к дому, делая вид, что не спешит. Ей очень хотелось разжалобить Матю, и она как бы репетировала слова, что произнесет, когда он ее догонит.

— Я никому не скажу, — бормотала Лидочка, бредя вверх по дорожке, — честное слово, никому не скажу... Только ты меня не трогай, я еще так мало жила...

По замерзшему заколдованному парку голых черных деревьев, часто и мелко переступая ногами, семенила простоволосая монашка, сжимая в кулаке черный грязный подол. Монаш-

ка причитала — то ли молилась, то ли пела и часто, по-птичьи оглядывалась, будто ждала погони... Но погони не было видно — кому нужна промокшая монашенка.

Лидочка миновала погреб, не заметив этого, — ей казалось, что она, задыхаясь, несется по дорожкам и дорожки эти невероятно длинны и запутанны... Но уже был близок дом Трубецких и спасение.

Посреди дорожки стоял мужчина.

Фонарь подсвечивал его сзади, создавая силуэт памятника, какой-то средневековой фигуры — Лютера или гражданина Кале, принесшего ключ завоевателю. Виной тому был и длинный плащ, почти до земли, расширяющийся и каменный в ночном безветрии.

Лидочка замерла.

Вот и все. Мне уже даже не страшно. Страшно, когда ждешь опасности, а потом становится все равно...

— Лида, — негромко окликнул ее командор. — Это вы, Лида?

Памятники не окликают девушек и не сомневаются.

— Это я, — сказала Лида почти неслышно и пошла к нему, все еще не узнавая человека, но уже вспоминая его голос.

Человек откинул остроконечный капюшон плаща. Мелкие капли дождя искорками под светом фонаря принялись колотить человека по редким волосам. Лида разглядела усы, крупный нос и черные провалы глазниц.

— Пан Теодор? — сказала она. — А что вы здесь делаете?

— Глупейший вопрос, — ответил пан Теодор, склоняясь для поцелуя к протянутой руке Лидочки. Усы были мокрыми и холодными, а губы теплыми.

— У нас мало времени, — сказал пан Теодор. — Давайте спустимся к беседке.

Пан Теодор, называвший себя хранителем времени, шагал впереди. Его черный блестящий плащ пришел в движение и раздулся подобно колоколу. Зачем же он в такую погоду ходит без шляпы? Неужели он не чувствует холода и дождя?

В первые мгновения встречи Лидочка была слишком взволнована, чтобы задавать вопросы. Потом, когда она, задыхаясь от усталости, часто перебирая ослабевшими ногами, волочила пудовое платье, тоже не находила сил, чтобы спросить. И только когда пан Теодор вошел в беседку и остановился, обернувшись к ней и ожидая, что она к нему присоединится, Лидочка

попыталась задать главный вопрос. Но голос подвел ее. Получился невнятный хрип.

Теодор рассматривал ее, ничему не удивляясь.

Беседка была открытой, отделенной от зарослей лишь подгнившими перилами, крыша протекала, вода, просачиваясь сквозь нее, собиралась в крупные капли, которые звонко и ритмично молотили по доскам пола.

— Что с Андрюшей? — спросила наконец Лидочка.

— Он передает тебе привет, — сказал пан Теодор. — Он здоров.

— Я хочу к нему! Мне все это надоело.

— Там, где он находится, женщинам лучше не появляться.

— Там опасно? Андрею грозит опасность?

— Там трудно.

— Скажите, где он. Я поеду к нему.

— Нет.

— Я вас ненавижу.

— Мы с тобой иногда должны подчиняться обстоятельствам.

— Так пройдет вся жизнь. Я не могу больше ждать!

— Если окажется, что он не сможет к тебе вскорости возвратиться, — сказал Теодор, — ты отправишься в будущее. Но сегодня я еще не могу сказать тебе наверняка...

— Он в лагере? Его арестовали?

— Может быть, ему придется оказаться и в лагере.

— За что? За что мы должны все это терпеть?

— У вас есть свобода выбора. А у них... — пан Теодор широким жестом показал на освещенные окна дома Трубецких, — выбора нет никакого. Они лишь подчиняются и погибают.

— Или убивают других, — ответила Лидочка.

— Чтобы в свою очередь погибнуть.

— Андрюша там мерзнет. — Лидочка вдруг смирилась с запретом, наложенным на ее мечты Теодором. Она поняла, что не переубедит и не разжалобит его. Теодор выполнял свой долг.

Жестом старого человека пан Теодор расстегнул плащ, вытащил большой светлый платок, вытер плешивую голову и пригладил кустистые черные брови.

— Я приехал сюда не из-за Андрея, — признался он. — Про Андрея я мог бы рассказать и в Москве. Ты не чувствуешь неладного?

— Здесь все неладно. Мне страшно.

— Вот видишь! — Пан Теодор был доволен, как врач, поставивший роковой, но точный диагноз. — Ты интуитивна. Не далее как вчера я встречался с другими хранителями времени.

Мы пришли к общему мнению, что ближайшее десятилетие грозит России и всей Европе неисчислимыми бедствиями.

Лидочка смотрела на старика, не понимая. Какие бедствия для Европы, когда здесь убили Полину и пропал Александрийский?

— Напряжение временно́го поля превысило все известные нам величины, — сообщил пан Теодор скучным голосом.

— Вы знаете, что убили Полину? — спросила Лидочка.

Она отчаянно всматривалась в лицо Теодора, надеясь увидеть в нем признание того, что он знает больше, чем хочет показать.

Но пан Теодор даже не удивился.

— Полина? Да, она погибла. Ее убили.

Он не смеет признаться, что ему тоже холодно, подумала Лида. Он же очень старый человек. Он приехал сюда из Москвы, а от Калужского шоссе, вернее всего, шел пешком по грязи. Но он исполняет свой долг.

— Вы пришли не ко мне? — догадалась Лидочка.

— Нет. Но я боялся, что ты можешь угодить в альтернативный мир.

— Этого не случилось?

— Нет, в альтернативном мире другие жертвы и другие преступники.

— Мне лучше не спрашивать? Вы все равно не ответите?

— Я спешу. Когда-нибудь я расскажу тебе обо всем. Ты помнишь о том, что история имеет варианты? Существует магистральная линия развития любой цивилизации, и, пока она движется по этому пути, ее выживание и прогресс весьма вероятны. Но порой этот поезд ошибается на стрелке и попадает в тупиковый путь. И тогда мир может погибнуть.

— А как вы догадываетесь, какой из путей настоящий?

— Это вычисляется. И даже заранее. По нарастанию напряжения временно́го поля. Мы ни разу не ошибались. Не ошиблись и сегодня.

— А где гарантия того, что мы сейчас не на ошибочном пути?

— С чего ты решила?

— Вокруг меня погибали и погибают миллионы людей. А вдруг в другом мире, на другом пути они останутся живы?

— Не судите о мире по своему шестку, — сказал Теодор. — И ты, и я — маковые росинки. Речь идет только о судьбе Земли в целом. И Земля, несмотря на все страдания, должна выжить.

— Зачем нам все это знать?

— Вселенная во всех ее вариантах и отклонениях остается тем не менее единым организмом, масштабов и смысла которого нам не дано осознать. Поэтому нам, хранителям времени, остается лишь прослеживать основные ложные ветви и следить за тем, чтобы никто из наших людей не сгинул в тупиковом мире...

— Но это для нас с вами он ложный! А для них настоящий.

— Разумеется, — сразу согласился пан Теодор.

— Вы не знаете будущего?

— Нельзя увидеть то, что еще не случилось.

— Тем более вам не дано заранее определить, какой путь полезен, а какой вреден. Иначе получается суд, который заранее знает, что подсудимый виноват, и заранее вынес приговор.

— Есть объективные признаки ложного пути.

— Вы меня не убедили.

— Что ж. — Дождевая капля повисла на кончике носа пана Теодора. Он смахнул ее. — Надо кому-то верить. Нельзя прожить, никому не веря.

Лида вздрогнула от неожиданного всплеска воды в пруду. Теодор даже не посмотрел в ту сторону. Плащ его совсем промок, рука, сжимавшая край плаща, была мокрой и костяной, неживой.

— А почему появляется... альтернатива? — спросила Лидочка.

— Далеко не каждое событие рождает альтернативу, — ответил Теодор. — История гасит случайные очаги. У нее есть свои бактериофаги, которые убивают опасные девиации. Но порой ничто не может остановить раздвоения.

— И вы это чувствуете?

— Я думаю, что и ты чувствуешь.

— Значит, это Матвей, — уверенно произнесла Лидочка. — Матвей изобретает сверхбомбу.

— Мне пора уходить, — сказал Теодор. — Будь осторожна. Завтра станет ясно... И не простудись. Ты совсем больная.

— Вы сами простужены.

— Это будет тысячный в моей жизни насморк.

— Когда я вас увижу?

— Через день, через год, через сто лет... — Улыбаясь, Теодор сверкнул очень белыми зубами.

Он не шутил. И Лидочка с содроганием ощутила холодное прикосновение вечности.

Теодор ушел.

Незаметно, бесшумно. Лидочка растерянно обернулась — черная блестящая фигура командора замерла в десяти шагах, почти скрытая мокрыми ветками лещины.

Теодор достал из глубокого кармана небольшой плоский серебряный предмет. Лидочка знала, что это — «портсигар», прибор, позволяющий передвигаться во времени и проникать в альтернативные миры.

Черная средневековая фигура растворилась в воздухе, на месте ее на секунду вспыхнуло слабое зеленое сияние. И все исчезло.

Значит, в альтернативном мире у Советского Союза будет бомба?

Лидочка ввалилась в прихожую. При виде нее чучело медведя оскалилось еще больше — ему еще никогда не приходилось видеть более грязной и несчастой женщины.

Лидочка действовала как во сне, хотя со стороны могло показаться, что она ведет себя разумно.

Она сняла пальто и после нескольких попыток повесила его на крюк вешалки. К счастью, в прихожей никого не было — публика веселилась в столовой и гостиной.

Лидочке не пришло в голову поглядеть на часы, иначе бы она поняла, что сейчас лишь начало девятого и маскарад только начинается. О маскараде Лидочка начисто забыла — она помнила только, что ей надо зайти к Александрийскому, чтобы проверить, жив ли он.

В прихожую вбежала Альбина. Она увидела Лидочку.

— Ну что же вы! — закричала она с порога. — Я места себе не нахожу.

— Все в порядке, — ответила Лидочка. — Я знаю, где она лежит.

— Я о револьвере, — прошептала Альбина. — Я жду весь вечер.

— Какой револьвер? — Лидочке не хотелось обижать Альбину, но у нее раскалывалась голова, и музыка, доносившаяся из гостиной, вкупе с драматическим шепотом Альбины ее страшно раздражали.

— Немедленно отдайте мне револьвер! — почти закричала Альбина.— Иначе я скажу вы знаете кому!

Лидочка обрела способность думать, но у нее не было никакого револьвера, и отдать Альбине она ничего не могла. Надо было отделаться от Альбины и скорее идти к Александрийскому.

— А я скажу, что не видела никакого револьвера, — сказала она.

— А я скажу... — Альбина замолкла и сжалась — она спиной почувствовала, что вошел повелитель.

Обнаженный Алмазов был весел — он поигрывал концом цепи и был похож скорее на пирата, чем на пролетария, намеренного освободить свой класс.

— Альбина, нам выступать, — сказал он, мальчишески улыбаясь, и тут увидел Лидочку. Лишь Альбина, находившаяся в истерическом состоянии, могла не заметить, как выглядит Лидочка. Алмазов такой невнимательности позволить себе не мог.

— Что с вами? — спросил он сразу — вся маскарадность в мгновение ока слетела с него.

— Я пошла погулять... — Лидочка шмыгнула носом и закашлялась. — Я... поскользнулась и упала... а я ужасно выгляжу?

Алмазов смотрел на ее ботики, измазанные желтой глиной.

— Вам надо тут же переодеться, — сказал он. — Обязательно. У вас есть лекарства? А то боюсь, что наш доктор тоже отплясывает за свободу пролетариата.

Алмазов подошел ближе — от него сильно пахло водкой. Сказал, наклонившись:

— Нашли время бегать по улицам и падать в лужи... нашли время.

Но тут же он засмеялся, подхватил Альбину под руку и потащил, не оборачиваясь, в гостиную, откуда доносилось пение «Марсельезы».

Удостоверившись, что Альбина с Алмазовым ушли, и не дожидаясь, пока появится кто-нибудь еще, Лида поспешила к Александрийскому.

Лидочка была почти убеждена, что профессор, узнав, куда направляется Матя, возвратился к себе. Но с каждым шагом ее уверенность падала и вместо нее рос страх, что профессор не откликнется на стук и ей придется снова идти под холодный ночной дождь — искать Александрийского в лесу. И не к кому обратиться за помощью. Пастернак уехал еще утром.

Лидочка коротко постучала в дверь, ее знобило, как будто она стояла на зимнем ветру. Дверь отворилась сразу — видно, Александрийский ждал визитов.

— Лидия! Что с вами! Куда вы делись! Я схожу с ума! — Старик был взволнован — у него даже кончики губ опустились и зло дрожали. — Почему вы не вышли? Что вас задержало?

— Господи, — сказала Лидочка, — какое счастье! С вами ничего не случилось!

— Что могло со мной случиться, кроме простуды?

Выглядел старик ужасно — вокруг глаз темные тени, щеки ввалились, руки дрожат, — словно за то время, пока они не виделись, профессор постарел на десять лет. Сейчас он был похож не на Вольтера, а на древнего пророка из Библии.

— Можно я сяду? — спросила Лида. Если бы он не разрешил, она бы все равно села — на пол.

Александрийский только тут понял, что ей плохо.

— Конечно, — сказал он, словно выпустил злой дух и сразу подобрел. — Конечно. Вы вся дрожите. Вы промокли. Лида, скажите, что произошло?

— Какое счастье, — сказала Лидочка. Она не могла сдержать слез. Сидела мокрая и грязная на стуле и поливала слезами ковер. — Какое счастье! — бормотала она между приступами кашля и потоками слез. — Я уже думала, что он вас убил... он вас убил, а потом за мной бежал, до самого дома...

— Погодите, погодите, вы можете рассказать внятно?

— Еще бы... Я пошла за вами, а вас нет... Я пошла за ним, я думала, что вас убили. А вы где были?

— Вы мою записку нашли?

— Нашла.

— Я ждал вас до девятнадцати часов. Как было уговорено. Было уговорено?

— Но они все разговаривают... маскарад...

— Я ждал вас до девятнадцати пятнадцати. И рад бы ждать далее, но, к сожалению, у меня не было на это сил. И я не мог понять, что с вами произошло... — Александрийский подошел к ней и навис, как аист над лягушкой. Но не клюнул, а погладил по мокрой голове. — С ума сойти! — сказал он. — Зачем вы купались?

— А Матя? Убийца?

— Он не вышел, — сказал профессор. — Наверное, он выйдет позже, когда все в доме заснут.

— Значит, вы его не видели?

— Я повторяю — я вернулся и стал искать вас, и я был, к сожалению, бессилен что-либо сделать, только ждать и злиться на вас.

— А я все знаю, — сказала Лидочка, глупо улыбаясь. Ей стало тепло, даже жарко, и ей было приятно сознавать, что доктор Ватсон опять оказался проницательнее самого Шерлока Холмса. — Я все знаю, мистер Холмс. Я пришла — вас нет, я полезла в погреб, а Полина исчезла... нет Полины.

— Во сколько это было?

— Потом. Потом... я пошла за ним до пруда...

— Вы видели убийцу?

— Я не хочу его видеть... я вообще никого не хочу видеть. Я буквально провалилась — видите, как я одета? Я монахиня, честное слово, только из эксплуататорских классов — вы можете представить, что я из эксплуататорских классов?

— Лидочка, сейчас вы пойдете к себе, ляжете и будете спать. И все пройдет. Вы мне только скажите — вы видели убийцу?

— Он спрятался, он смотрел на меня из кустов, а потом бежал за мной до самого дома, вы представляете?

— Нет, — сказал профессор, — я не представляю. Я думаю, что, если бы он хотел, он бы вас догнал.

— А я убежала...

— Хорошо, хорошо. Но главное: вы видели, куда он перепрятал труп?

— Я догадалась — только не смогла туда залезть.

— Куда?

— В ко-ло-дец! Хитро, да?

— Какой колодец? Ну какой еще колодец? Здесь нет колодцев!

Лидочка почти не видела профессора — слезы лились из глаз.

— В пруду, — сказала она, — есть волшебный колодец, там дьявол прячет своих агнцев, смешно?

Как сквозь сон, Лидочка видела и слышала, что профессор нажал на звонок, лежавший на столике у его кровати. Он держал его, не отпуская, а Лидочка плакала. А потом прибежала женщина в белом халате — и она стала что-то делать, и было щекотно...

Ночью Лидочка просыпалась несколько раз — почему-то она спала не в своей кровати, а в белой маленькой комнате, где был столик, на столике стояла лампа, женщина в белом приходила и уходила, Лидочка все хотела к себе в комнату, но ее не пускали...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

25 октября 1932 года

Лидочка проснулась, причем ее будили, и один голос требовал, чтобы Лидочка скорее проснулась и куда-то шла, а другой — Лидочку защищал и хотел, чтобы она спала и дальше, потому что она

жестоко простужена и не исключено, что у нее воспаление легких. Лидочка с сочувствием слушала второй голос и внутренне с ним соглашалась. Ей очень хотелось пить, но она не смела попросить воды, потому что обладатель паршивого голоса только и ждет, что она проснется. И тогда выскочит из-за кустов.

— Она в первую очередь больная, а уж потом вы решайте свои проблемы, — сказал приятный голос, и Лидочка догадалась, что он принадлежит краснощекой докторше Ларисе Михайловне. Лидочка чуть приоткрыла глаз — дышать носом она не могла, и потому она лежала очень некрасивая, с приоткрытым ртом и дышала, как старуха. Ага, так я и думала — над кроватью стоял президент Филиппов. Конечно же, от него ничего хорошего не дождешься...

Лидочке казалось, что она приоткрыла глаз незаметно, но Филиппов заметил и закричал — словно поймал вора:

— Все! Она проснулась!

Раз попалась, можно попросить воды. Все равно уж не спрячешься.

Глаза открылись с трудом, будто к ресницам были привязаны гирьки.

— Пить, — сказала Лида.

— Сейчас, моя девочка, — сказала Лариса Михайловна. Она подвела ладонь под затылок Лиде и приподняла ее голову.

Лида нащупала губами носик поилки, вода была сладкая и теплая.

— Вы ждали, что я проснусь? — спросила Лидочка, стараясь в вопросе передать благодарность докторше.

— Лежи, отдыхай, — сказала Лариса Михайловна.

— Здесь не больница, а санаторий, — сообщил президент. — Если больная, то мы сдадим ее в больницу. Правильно?

Последний вопрос относился к вошедшему в маленький санаторный бокс Яну Алмазову. Алмазов был строг, печален, одет в военную форму с ромбами в петлицах.

— Ну как, наша авантюристка пришла в себя? — сказал он. — Вот и замечательно. Сейчас мы с вами оденемся, Иваницкая, и вы нам поможете. Вы ведь нам поможете?

— Товарищ командир, — сказала Лариса Михайловна. — Больную нельзя поднимать с кровати. Ей нужен полный покой. У нее воспаление легких.

— Это только предположение, а я думаю, что у нас насморк, — сказал президент, и Лидочке показалось, что он при этих словах помахал хвостом.

— Сначала мы решим все наши дела, — сказал Алмазов, — в больницу всегда успеем.

— Я протестую! — сказала Лариса.

— А мы ваш протест запишем куда следует, — сказал Алмазов, — запишем, а потом спросим, почему это вдруг доктор из нашей любимой Санузии так шумно протестовала? Может быть, они с Иваницкой были знакомы? Или дружили даже?.. Ну!

Последнее слово прозвучало резко, и Лида хотела заткнуть уши, потому что такой Алмазов был беспощаден. Но почему он так сердился на нее, она совершенно не представляла. Его крики мешали сосредоточиться и вспомнить, что случилось. Кажется, был маскарад?

— Вы были освобожденный пролетарий, — сообщила Лидочка Алмазову.

— Давайте не будем валять дурочку, — сказал Алмазов. — Ты совершенно в своем уме. Будешь одеваться или мне тебя одеть?

Лидочка посмотрела на докторшу и поняла, что та не хочет встречаться с ней взглядом. Значит, ей тоже страшно! Лидочке стало жалко добрую Ларису Михайловну.

— Мне надо в уборную, — сказала Лида.

— Обойдешься ночным горшком! — воскликнул президент.

— Как так? — удивилась Лидочка. — Здесь?

— А мы поглядим! — Из президента буквально сочилась радость от того, что он мог унизить Лидочку.

— А ну, отставить! — сказал Алмазов брезгливо. — Пускай одевается и идет, куда ей надо.

— А если она уничтожит улику?

— Ей же хуже, — сказал Алмазов.

— А такой худенький, — сказала Лидочка вслух, с сочувствием. Президент догадался, что она говорит о нем, и выругался, а Лариса Михайловна сказала:

— Постыдились бы женщин.

Президент хотел ругаться и дальше, но Алмазов сказал:

— Доктор права, не надо переходить границ.

— Выйдите, пожалуйста, — сказала Лидочка, — мне же надо одеться.

— Еще чего не хватало! — даже обиделся президент. Можно было подумать, что он играет в игру, а Лидочка все время норовит нарушить правила.

— Правильно, — сказал Алмазов. — Давайте выйдем, Филиппов.

— Ей не во что одеваться, — сказала Лариса Михайловна. — Все было мокрое и еще не просохло.

— Дайте ей свои туфли — у вас вроде нога побольше. Чтобы через три минуты она была полностью одета.

— Но ей же нельзя!

— Я это слышал, Лариса Михайловна. Но поймите — мы на работе, мы не в бирюльки играем. К сожалению, нам известно, что гражданка Иваницкая, надеюсь, не по своей воле, оказалась втянута в грязные интриги наших врагов. Так что шутки в сторону, Лариса Михайловна. Или вы нам помогаете и этим помогаете Лидочке, к которой я отношусь с симпатией. Или мы с вами будем вынуждены говорить иначе.

Лариса Михайловна поддерживала Лидочку, ведя ее по коридору к умывальной, а остальные шли сзади и громко разговаривали.

— Вы слишком либеральны, — сказал президент. — С ними так нельзя, товарищ комиссар.

— Дурак, — ответил Алмазов. — Зато она сама оделась, а теперь как ей доказать, что она больная?

Лидочка понимала, что этот разговор ведется специально, чтобы она его слышала и трепетала. А ей было все равно. Даже интересно — что же они подозревают? Будь она здоровой, испугалась бы куда больше, — а сейчас она боролась с кашлем и головной болью и в конце концов не выдержала и, повиснув на руке Ларисы Михайловны, зашлась в приступе.

Краем глаза Лида увидела, как приоткрылась дверь в девятнадцатую палату и оттуда выглянула Марта. Лицо у нее было жалкое и испуганное, а из-за ее плеча выглядывал Максим Исаевич. Дверь захлопнулась...

Пока Лидочка была в умывальной, где докторша помогала ей привести себя в порядок, чекисты молча стояли снаружи.

— Что с ним? — спросила Лида шепотом.

— Ума не приложу! — слишком громко ответила докторша.

— Все в порядке? — спросил Алмазов с издевкой, когда женщины вышли из туалетной. — Полегчало? Тогда я предложу вам совершить маленькое путешествие.

— Я ее одну не отпущу, — сказала Лариса Михайловна.

— Ради бога, — сказал Алмазов. — Мы же не садисты. Если ваш медицинский долг велит вам сопровождать ваших

пациентов куда ни попадя — сопровождайте. Только чтобы потом не плакать.

Филиппов рассмеялся высоким голосом.

— Скажите ему, чтобы перестал вилять хвостом, — сказала Лидочка.

Президент осекся — с надеждой посмотрел на Алмазова.

— Я прослежу за этим. — Алмазов засмеялся. — Да не обращай внимания, — сказал Филиппову, — не обращай. У тебя тоже будут маленькие радости.

Путешествие по лестнице, а потом по нижнему коридору было долгим. Лида шла и гадала — куда ее ведут. Оказалось — к Александрийскому.

— Может, вы вернетесь? — предложила Лида Ларисе Михайловне.

— Ничего подобного, — ответила та. — Вы у меня единственный пациент.

Она тоже догадалась, куда они идут.

Дверь к Александрийскому была раскрыта. В дверях стоял рабфаковец Ваня. Везет же Марте с любовниками, подумала Лидочка. А на вид — фанатик физики.

— Как он? — спросил Алмазов.

— Терпимо, — сказал Ванечка.

Александрийский сидел в кресле, закутанный в плед и схожий с очень старой вороной, — никакого Вольтера в нем не осталось.

Он неуверенно повернул голову в сторону Лидочки.

— И вас привели, — сказал он.

— А чего вы ожидали, Павел Андреевич? — удивился Алмазов, входя в комнату. — Мы же не дети, мы занимаемся серьезными делами.

Он оглядел комнату.

— Уютно, — сказал он, — мебель княжеская. Мне такую пожалели. Придется поговорить в Президиуме — о кураторах надо заботиться.

Алмазов умел менять тон и улыбку столь стремительно, что за ним не уследишь, — он всегда опережал тебя.

— Проходите, Иваницкая, — сказал он, — садитесь на стул. Как вы себя сейчас чувствуете, профессор? Присутствие доктора не требуется?

— Обойдусь, — сказал профессор и спросил у Лидочки: — Как вы себя чувствуете? Вам надо лежать.

— Кому лежать, а кому стоять, где лежать и стоять, с кем лежать и стоять — решаем здесь мы!

— Решает Господь Бог, — сказал Александрийский.

— Все его функции на земле взяло в руки наше ведомство, — сказал Алмазов совершенно серьезно. — Итак, все посторонние, покиньте помещение. Лариса Михайловна и Филиппов — вы останетесь в коридоре и следите друг за другом — чтобы не подслушивать! — Алмазов опять рассмеялся. — Ванечка, побудьте на улице, у окна, чтобы никто не приблизился.

— Слушаюсь, — сказал Ванечка. — Одеваться?

— Оденься, может, потом придется погулять по парку.

Когда комната опустела, Алмазов подошел к двери и плотно ее закрыл.

— Ну вот, — сказал он, — теперь остались только свои. Замечательно... — Он широко взмахнул руками, как бы ввинчивая себя в кресло, впрыгнул в него. Он был игрив. — Я собрал вас, господа, для пренеприятного известия — к нам едет ревизор. Ревизор — это я, поросятушки-ребятушки. А вы будете говорить мне правду. Первое, что мне нужно: узнать, как в вашем дуэте распределяются роли и кто, кроме вас, здесь работает.

Лидочка начала чихать — ее зябко трясло. Алмазов терпеливо ждал.

Потом сказал только:

— Ну, сука!

— Вы не имеете права!

— Помолчите, профессор, вы мне уже надоели — вы слишком типичный. Честно говоря, мне жалко Иваницкую. Она хороша собой, она молода, я был бы рад взять ее себе, но боюсь, что не рискну. — И уже обращаясь к Лидочке: — Мне надоела ваша подружка Альбина — она обливает меня слезами и соплями, ну сколько можно! Пришлось даже показать ей сегодня приговор ее супругу — по крайней мере, она не выйдет из комнаты.

— Ой! — сказала Лидочка. — Как вы смели так сделать!

— Не жалейте ее, она слабый человечек, и у нее не было выхода. Она была обречена с самого начала. Выход, который я ей предложил, — наилучший. Я освободил ее от мужа, от чувства вины перед ним. Она боялась, что я сдержу свое слово и освобожу ее мужа, больше всего остального. Потому что ее муж по правилам игры, в которую она играла, должен задушить ее как изменницу. А она очень хотела жить. Теперь же она порыдает еще недельку и найдет себе нового мужчину и новую жизнь. Я к ней замечательно отношусь и надеюсь, что именно так и случится. Если правда... — Тут Алмазов сделал довольно дол-

гую паузу и совершенно неожиданно закончил фразу так: — Если вы, конечно, не потопите ее, как члена вашей контрреволюционной группы.

— Как так? — не понял Александрийский.

— Иваницкая, — обратился Алмазов к Лидочке, — скажи, деточка, как к тебе попал мой револьвер? Мой револьвер?

Лидочка ждала такого удара. Несмотря на болезненное состояние, она поняла, что именно в револьвере и заключается главнейшая угроза. Это вооруженный заговор, это кража оружия... Лида в панике обернулась к профессору. Неужели они сделали тут обыск или запугали профессора?

— Не смотрите, не смотрите, — усмехнулся Алмазов. — Подсказки не будет. Где револьвер?

— Какой револьвер? — сказала Лидочка, стараясь выглядеть невинно оскорбленной.

— Послушайте, граждане, — сказал Алмазов. — То, что сейчас происходит, — часть неофициальная, так сказать, дивертисмент. По сравнению с тем, в чем я вас подозреваю и буду обвинять, — это пустяк. Но я хотел бы, чтобы вы поняли всю важность этого пустяка для вас лично. Для вас обоих. Альбиночка рассказала мне, что вы, находясь у меня в комнате, куда были ею приглашены, увидели кобуру, которую я легкомысленно, скажем, как последний дурак, оставил висеть на стуле. Несмотря на просьбы и мольбы Альбиночки, которая боялась, что подозрение падет на нее, вы взяли револьвер, а я, виноват, не спохватился до сегодняшней ночи. Должен отдать вам должное — вы не производите впечатления преступницы, хотя отлично знаю, что это совсем не аргумент в юриспруденции.

Алмазов замолчал и задумчиво почесал ровный пробор, словно исчерпал известные ему слова и теперь вынужден искать новые.

«Господи, маленькая мерзавочка! — думала Лида, зачем же ей было обвинять меня — единственного человека, которому она сама верила... а верила ли? Я же вчера ее перепугала, потому что не вернула пистолет. И она поняла, что ей предстоит допрос — и Алмазов, конечно же, доберется до правды... и тогда она придумала почти правду, в надежде, что он поверит... и чего я сержусь на это существо? За что? Что она могла поделать?..»

— Вы не хотите мне отвечать, — вздохнул Алмазов. — И не надо. Считайте, что все обошлось, я вам поверил и сам решил нести ответственность за потерю именного оружия. Ради ваших прекрасных глаз я готов пойти на плаху. Верьте... а я вам рас-

скажу другое. И может быть, вы умеете складывать два и два — и когда сложите, сообразите, что вам делать дальше. Только не вздыхайте и не делайте вида, что вам плохо. Вы меня внимательно слушаете?

Алмазов говорил с легким южным акцентом — нет, не одесским, а, скорее, ставропольским или ростовским. Конечно же, он не из Москвы, думала Лидочка, он приехал, чтобы завоевывать мир, — он Растиньяк, он покровительствует актерам или актрисам. Лидочка поглядела на профессора, тот сидел, прикрыв веками глаза, и был недвижен, даже не дышал, но пальцы, лежавшие на пледе, порой оживали и вздрагивали.

— Я буду предельно откровенен. Я приехал сюда для переговоров деликатного свойства с доктором Шавло, Матвеем Ипполитовичем. Суть этого разговора — обороноспособность нашей социалистической родины. Матвей Ипполитович был готов приложить свои усилия для того, чтобы Советский Союз вышел вперед в развитии особенной бомбы. Я думаю, вам, Павел Андреевич, нет нужды это объяснять.

— Такую бомбу сделать нельзя, — сказал Александрийский, не открывая глаз. — Это вздор, авантюра... вы лучше бы посоветовались с серьезными учеными.

— Так, значит, Шавло беседовал с вами об этом?

— А разве я спорю с этим заявлением? Он говорил, и я осмеял его.

— Я спрошу об этом его самого.

— Спросите.

Алмазов ходил по комнате — у него были замечательно начищенные сапоги, сверкающие сапоги, — и вдруг Лидочка поняла, что сапоги ему чистит Альбина. Ночью он спит — большой, мускулистый, крепкий, громко храпящий... а она чистит сапоги.

— В отличие от вас у меня такое мнение, — сказал Алмазов, — что любое оружие, которое может принести нам пользу, нужно испытать. Любое! И мы знаем о том, что среди ученых еще есть некоторые сторонники реставрации монархии и скрытые реакционеры. А также прямые враги!

Алмазов остановился посреди комнаты. Лидочке показалось, что он любуется своим отражением в сапогах. Он несколько раз качнулся с носков на пятки и обратно.

— В разгар переговоров товарищ Шавло, честный ученый и коммунист, исчез. Вот так...

Алмазов хотел, чтобы его голос прозвучал тревожно, но он был плохим актером.

— А что за спектакль вы устроили? — спросил профессор. — Зачем вы вытащили из постели больную женщину?

— Потому что вы с ней подозреваетесь в похищении или убийстве Шавло.

— Этого еще не хватало!

— Все следы ведут к вам, — сказал Алмазов. — Я уж не говорю о похищении револьвера.

Лидочка кинула взгляд на профессора. Может быть, он вернет Алмазову этот проклятый револьвер? И тут же спохватилась, даже отвернулась к стене, чтобы Алмазов случайно не прочел ее мысль, — признаться в обладании револьвером для профессора было все равно что признаться в заговоре — Алмазову только этого и надо: револьвер утащила диверсантка Иваницкая, а нашелся он у вредителя Александрийского. Обоих к стенке!

— Вчера вечером Матвей Ипполитович сам сказал мне, что вы его преследуете клеветническими обвинениями, — продолжал Алмазов, не дождавшись признания.

— Какими?

— Вот это вы мне и скажете!

С трудом, опираясь на ручку кресла, Александрийский поднялся.

— А с чего вы решили, милостивый государь, — спросил он, — что доктор Шавло убит? Да еще нами?

— Потому что никто, кроме вас, в этом не заинтересован.

— Ваш Шавло уже добежал до Москвы, — сказал Александрийский.

— Почему вы думаете, что Шавло убежал? — Алмазов был искренне удивлен.

— Потому что он убил Полину, — сказал Александрийский.

Лидочка не думала, что профессор способен на такое. Ведь это донос! Неужели его желание обезвредить Матю столь велико, что он предпочел забыть о чести? И тут она поняла: ведь Матя и чекист заодно! Обвиняя Матю, он выбивал почву из-под ног обвинения.

— Какую еще Полину? — поморщился Алмазов. — Она же уехала. Я сам читал ее записку.

— И проверили ее почерк?

— Зачем?

— Это почерк Шавло, — сказала Лидочка. Хоть фигуры в этой комнате играли непривычные для классического детектива роли, все же шло раскрытие преступления — как у Конан Дойля.

— Зачем Шавло убивать какую-то официантку?

— Вы знаете зачем. Она его шантажировала.

— Доказательства! — У Алмазова дрогнули уши.

— Пускай он сам все это расскажет, — вздохнул Александрийский. — Я искренне сожалею, что мне пришлось принять в этом участие.

— Я знаю, где он спрятал тело Полины, — сказала Лида.

— Это уже становится интересным. Где же?

— Сначала он спрятал ее в моей комнате.

— Не сходите с ума.

— Потом в погребе... снаружи по дороге к тригонометрическому знаку.

— Что вы несете?!

— Я ее там нашла.

— Как?

— Потому что у него ботинки были в желтой глине.

— Как у вас?

— У меня? Когда?

— Вы вчера пришли вся промокшая на маскарад, — а ноги в желтой глине?

— Да. Я лазила в погреб, там был труп Полины. Потом он его унес.

— Куда?

— В пруд.

— В пруд? Мне что, бригаду водолазов надо вызывать, чтобы проверить ваши глупости?

— А я вам покажу труп!

— Лида! — крикнул Александрийский.

— Да, я покажу, куда он ее спрятал. А потом у него не выдержали нервы, и он убежал.

— А револьвер?

— Не брала я ваш револьвер! Неужели вы верите, что я пришла к вам в комнату и угрожала Альбине? Вы сами в это верите?

— Я верю во что угодно. Пошли!

— Сейчас?

— А почему мы должны терять время? Немедленно.

Алмазов шагнул к двери, толчком открыл ее — президент отпрыгнул в сторону, Лариса Михайловна стояла поодаль.

— Быстро, — приказал Алмазов президенту. — Любое теплое пальто! Я там видел на одной гражданке бурки — она в библиотеке сидит. На полчаса. От моего имени, — а она пускай почитает газеты, очень полезно.

Президента как ветром сдуло.

— Вы намерены идти на улицу? — спросила Лариса Михайловна.

— А вы тоже бегите одевайтесь, вы нам можете понадобиться. Быстро. Ну вот, — Алмазов улыбнулся, — бегать они уже научились — все-таки пятнадцать лет дрессировки.

— Почти все дрессировщики плохо кончают, — сказал профессор.

— Помолчите, пророк! — отмахнулся Алмазов. — А вы, Иваницкая, расскажите, как вы узнали о смерти Полины.

Прежде чем Лида успела уложиться со своим рассказом, прибежал президент с лисьей шубой и бурками — такой шубы Лида раньше даже не видела. Затем вернулась Лариса Михайловна. Чтобы не привлекать внимания, Алмазов велел президенту открыть заднюю дверь. Но их все равно увидели, к окнам приклеились десятки лиц. Среди них наверняка и владелица шубы. Бедненькая, что у нее в душе творится!

Вся группа остановилась возле погреба. С утра дождь перестал, хотя было по-прежнему пасмурно и дул ветер. Блин желтой глины был гладок. Все следы затянуло.

Алмазов сам залезал в погреб, потом гонял президента за переносным фонарем. Лидочка впервые увидела погреб при свете. В грязной стоячей воде утонул широкий, разношенный туфель Полины. Алмазов велел Ванечке нести туфель с собой, и тот нес его брезгливо, обернув каблук в сомнительной свежести носовой платок. Потом Ванечка вытащил баул, наполовину наполненный мокрой одеждой. Лидочку знобило, но было терпимо, только хотелось отдохнуть.

Процессия спустилась к пруду.

— Вот здесь он ее нес, — сказала Лидочка.

Алмазову не надо было показывать на желтое пятно на дорожке.

— И где же труп? — спросил Алмазов, когда они дошли до берега пруда. Здесь он задавал вопросы, и все беспрекословно подчинялись. Даже Александрийский, который шел, опираясь на руку Ларисы Михайловны. Когда останавливались, она мерила ему пульс и один раз дала пилюлю.

— Да перестаньте с ним нянчиться! — вырвалось у Алмазова. — Он здоровей нас с вами.

— К сожалению, даже вы никогда не сможете убедить меня или другого честного врача в состоянии сердца Павла Андреевича, — сказала отважная Лариса Михайловна. Алмазов сардонически усмехнулся.

На плотине Алмазов вышел вперед. Как пес, почуявший дичь, он махнул рукой, приказывая остальным отстать.

— Здесь, — сказал он вдруг, отыскав глазами Лидочку. Он как бы назначил ее помощником по следствию.

Лидочка молча кивнула.

— Значит, он приволок ее сюда... — Алмазов велел всем оставаться на месте и сам вышел на плотину, глядя по сторонам, — вот он присел — еще одна царапина на земле — еще желтое пятно... Алмазов пошел быстрее, как по следу, потом остановился... Он уже был совсем близок к колодцу, в который со всех сторон круговым водопадиком стекала вода.

Две утки, что остались зимовать на пруду, подплыли к Алмазову, уверенные, что он принес им гостинец.

— Здесь, — сказал Алмазов, показав на пруд. — Надо пройти сетью. Филиппов — на полусогнутых, быстро! За сетью!

— Почему здесь? — спросила Лида.

С ней Алмазов был согласен разговаривать.

— Видишь, какие глубокие следы, их даже размыть не смогло. Он сюда ее тащил, вон трава как смята — это же элементарно.

— Нет, — сказал Ванечка-рабфаковец, — тут мелко.

— Зачем же ему было тащить труп сюда, — сказала Лида, — если у ближнего берега глубже?

— Справедливо, — сказал Алмазов.

— Мне бежать или погодить? — спросил Филиппов.

— Погоди.

Алмазов метался по берегу, как собака, потерявшая след. Он понимал, что решение близко, что надо сделать еще усилие...

— Стоп! — закричал он радостно. Так, наверное, кричал Ньютон в яблоневом саду. — Ну и дурачье! Ведь никогда бы не нашли! Филиппов, нужны две доски покрепче. Две, понял?

— А там есть, — сказала Лидочка, — вон плавают.

— Отставить две доски! Одну доску и крючья — крепкие крючья.

— С какой целью, товарищ Алмазов?

— С целью вытащить труп из этого колодца. И учти, что труп может лежать довольно глубоко. Если крючьев не найдешь, будь готов, что тебя опустят в колодец на веревке. Понял?

Президент съежился, представив себе, что будет, если его опустят в колодец. И побежал.

— И он послушно в путь потек, — осклабился Алмазов, — и утром возвратился с ядом.

Президента не было долго — минут пятнадцать. Все замер-

зли, кроме Лидочки, у которой была замечательная лисья шубка. Алмазов не спеша осматривал местность, порой нагибался, искал в мокрых листьях...

— Дурак, — сказал он вдруг. — Дурак, если решил ее убить. Мы бы ему все простили... за бомбу. Любую биографию бы ему сделали. Вы мне верите, профессор?

— Верю, — сказал Александрийский. — Но и для вас есть пределы, за которые вы не станете заходить. Зачем вам рисковать ради абстрактной бомбы собственной жизнью?

— Что меня могло остановить? Поезд Троцкого? Он бы еще глубже сидел на крючке.

— До поры до времени, — туманно ответил профессор.

Издали Лидочка увидела женскую фигурку, что приближалась от купальни. По беличьей шубке и шляпке с узкими полями Лидочка узнала Альбину. Альбина вроде бы гуляла, никуда не спешила. Лидочка несколько раз поглядывала в ее направлении, прежде чем Альбина вышла на плотину.

— А что вы делаете? — спросила она растерянно. Будто бы они собирали землянику, и она знала, что они собирали землянику, но из вежливости спросила, не малину ли они собирают.

— Сейчас труп будем вытаскивать, — сказал Алмазов. — А ты зачем выбралась из дома?

— Погулять, — сказала она. — Мне надо гулять, я совсем скисла без свежего воздуха.

Лидочка не сердилась на Альбину — она чувствовала вину перед ней.

— А вот Лидия отрицает похищение моего личного оружия, — сказал Алмазов.

— Отрицает? — удивилась Альбина. — Значит, она права.

— Ты мне ваньку не валяй, — рассердился Алмазов, — а то сейчас в пруду искупаешься.

— Смешно, — сказала Альбина, но не засмеялась. Алмазов хотел еще что-то сказать, но тут увидел бегущего с горы президента, а с ним двух мужчин — шофера и директора санатория — с крюком и с веревками. И об Альбине забыли.

Когда для совершения действия, требующего участия двух-трех человек, собирается полдюжины, они неизбежно начинают мешать друг другу, возникает лишняя суматоха, поднимается крик и работа исполняется куда медленнее, чем хотелось бы ее руководителю.

Пока стоял крик, все махали руками и поочередно прова-

ливались в тину, Александрийский отошел в сторону и поманил Лидочку.

— Вы плохо себя чувствуете? — спросила Лида, увидев, насколько бледен профессор. Видно, ее возглас долетел до докторши — та мгновенно оказалась рядом.

— Я вам помогу дойти до санатория, — сказала Лариса Михайловна. — Это безумие — с вашей болезнью здесь находиться.

— Не беспокойтесь, я себя отлично чувствую, — ответил профессор сварливым голосом. И отвернулся от доброй Ларисы Михайловны.

Подчиняясь мановению руки, Лидочка приблизилась к Александрийскому.

— Мне так страшно, — сказала Лидочка.

— Не это сейчас главное, — отмахнулся профессор. — Главное — ни за что, никогда, даже во сне, не признавайтесь, что вы прикасались к пистолету Алмазова.

— Я понимаю.

— Дело не во мне, не в справедливости, не в законе — даже если вы останетесь живы, он найдет способ отправить вас на всю жизнь за решетку. Единственная надежда — полное незнание!

— Дайте его мне, и я незаметно подкину его Алмазову.

— Глупости!

— Я потеряю его в парке.

— Вы! Его! Не видели! Никогда в жизни! — последние слова прозвучали так громко, что Лидочка обернулась, опасаясь, что Алмазов услышал. Но тот был занят.

Суматоха завершилась тем, что с берега к колодцу были положены доски и в колодец спустили веревку с толстым, взятым из весовой крюком на конце. Нагнувшийся над люком директор водил веревкой, стараясь зацепить то, что лежало глубоко в колодце. Это ему не удавалось, и его сменил Ванюша из рабфака. Вскоре раздался его торжествующий крик, веревка натянулась — все стали тянуть ее.

Президент Филиппов завопил:

— Идет, идет, приближается!

Лидочка зажмурилась — она подумала, что не вынесет нового лицезрения несчастной Полины.

Крики стихли. Затем послышались удивленные возгласы.

— Это еще кто? — спросил Филиппов.

— Не узнал, что ли? — сказал Алмазов.

— Да разве узнаешь...

Лидочка открыла глаза.

Президент и Ванюша уже вытащили и волокли по воде к берегу тело Матвея Шавло, доктора физических наук, любимого ученика Энрико Ферми, снабженное широкой соломенной маскарадной бородой, а потому не сразу узнанное.

Его волокли к берегу, и все молчали, потому что первым должен был заговорить Алмазов. Но Алмазов тоже молчал.

Нет! — чуть не закричала Лидочка. Этого не может быть! Там должна быть Полина, и мне ее не жалко. А Матю мне жалко!

Доска от многих подошв стала осклизлой, шаталась и сбросила на полпути людей — с шумом, плеском и ругательствами они свалились по колени, а то и глубже в тину, труп медленно поплыл в глубину, и Алмазов завопил, чтобы его не упустили. Лидочка не стала смотреть, как ловят Матю, — она все равно еще не верила в то, что видит Матю, а не какую-то куклу, нарочно загримированную под Матю.

Альбина стояла неподалеку, но смотрела в другую сторону, на средний пруд, на купальню, будто гуляла по пустому парку.

Лиде был виден и Александрийский. Он глядел на то, что происходило у колодца. И вдруг пошатнулся. Ладонь его поднялась, легла на сердце — будто его ударили в сердце.

Лидочка обернулась — что он увидел?

Матя лежал на берегу — только ноги в воде.

А на доске, что соединяла колодец с берегом, остался человек — это был санаторский шофер. Он стоял на коленях, наклонившись вперед и погрузив в пруд руку. Почти по плечо, даже не засучив рукава.

— Эй, начальник! — крикнул он. — Гляди, что я нашел!

Он выпрямился, все еще стоя на коленях, и показал Алмазову, что поднял со дна пруда, — что-то черное, блестящее... револьвер!

Алмазов сделал два шага к воде, протянул руку и принял револьвер. Потом отыскал глазами Альбину, стоявшую неподалеку и равнодушно глядевшую на тело Мати Шавло.

— Вытри, — сказал он ей. — У тебя платок есть?

Альбина подошла к револьверу, приняла его из руки Алмазова.

— Можно я вытру? — спросил президент. — У меня платок чистый.

— Она это лучше сделает, — сказал Алмазов.

Лидочка поняла, что он не хочет, чтобы президент или кто еще из посторонних увидели, что это его револьвер.

Сам же Алмазов присел на корточки, повернул голову Мати, и Лидочка увидела за ухом в щетине коротких волос черную дырку. Туда ударила пуля, она разбила кость и убила человека. А потом его притащили сюда и кинули в колодец...

Все, что она наблюдала с того момента, как из колодца вытащили мертвого Матю, было кошмаром, которому нельзя верить, ни в коем случае нельзя, потому что сейчас Матя поднимется и скажет: «Ну как, славно я пошутил? У нас в Риме и получше шутки выделывали», — и засмеется.

Лидочка старалась поймать взгляд Александрийского, но тот был погружен в свои мысли. Он неотрывно смотрел на длинное и какое-то очень плоское тело Мати, ступнями оставшееся в воде, — так что из воды торчали лишь наглые и уверенные в себе носки иностранных ботинок на каучуковой подошве, как автомобильная шина. Легче было смотреть на ботинки, — а на лицо смотреть было невозможно. Потому что лицо было совершенно мертвым. И оно не имело отношения к Мате, а было лицом трупа Матвея Ипполитовича Шавло.

Вытащив из кармана Мати бумажник, Алмазов отошел повыше, к скамейке.

— А вы садитесь, — сказал он неожиданно. Его слова относились к профессору и Лидочке. — Вы у меня больные, немощные, в ногах правды нет. Садитесь, садитесь...

И что удивительно — Александрийский и Лидочка, как бы находившиеся по иную сторону стекла, нежели остальные, пошли к лавочке, и Лидочка была рада, что сможет сесть, — ее только беспокоило, что лавочка мокрая, а лисья шуба чужая, но ведь, если Алмазов приказывает, это как бы приказ правительства. И нельзя ослушаться.

Дождавшись, пока они уселись. Алмазов встал чуть в стороне от скамейки, так что теперь он образовывал собой вершину правильного треугольника — двумя другими вершинами были скамейка с обвиняемыми и тело Мати.

Остальные были публикой, зрителями, и потому они образовали небольшую стенку напротив Алмазова. Алмазов оглядел стенку, и она ему не понравилась.

— Ванечка, — сказал он, — отведи пока мужиков к купальне. И там с ними останься. Тебя, Филиппов, это тоже касается.

После ухода лишних свидетелей в зрительном зале остались лишь Лариса Михайловна и несколько в стороне — Альбина, которая осторожно и тщательно протирала своим широким шер-

стяным шарфом мокрый грязный наган с дарственной табличкой Дзержинского.

— А теперь можно поговорить по существу, — сказал Алмазов, начиная процесс. — Вы будете сознаваться или будете упорствовать?

Ответа не последовало.

— Положение изменилось. — Теперь Алмазов нахмурился. Он сознавал серьезность момента. — Час назад я излагал вам, граждане, мои теоретические соображения. Теперь же перед нами есть вещественное доказательство — труп молодого ученого, который стремился быть полезным для нашей страны. Ученого, убитого вами. Вам понятно?

Так как вопрос был обращен к Лидочке, она не удержалась от ответа.

— Как же так, — сказала она, — здесь же Полина должна быть.

— Как видите, вам не удалось запутать следствие и сбить его с правильного пути, придумав какую-то мифическую Полину. А вместо Полины, как я и предвидел с самого начала, — перед нами Матвей Шавло. Что вы на это скажете?

— Честное слово, я ничего не понимаю, — сказала Лидочка.

— А вы?

— Я тоже не понимаю, — сказал профессор.

— Хотите, я расскажу вам, как было совершено преступление? — спросил Алмазов. Никто ему не ответил. Тогда он продолжал: — Я не знаю точно, когда было замыслено это страшное преступление, — Алмазов словно репетировал свой выход в роли общественного обвинителя. — Но мы можем отсчитывать его мгновения с того момента, когда, зная о слабости и душевном состоянии находящейся здесь Альбины, гражданка Иваницкая проникла ко мне в комнату и смогла похитить оружие для выполнения террористического акта.

Лариса Михайловна непроизвольно сделала шаг к револьверу, как бы желая убедиться, что ей говорят правду.

Алмазов остановил ее коротким рубящим жестом и продолжал:

— Когда все было подготовлено, Иваницкая, пользуясь своей красотой, выманила товарища Шавло в темный парк, к погребу, и там, выстрелив из пистолета, совершила кровавое злодеяние. Затем она спрятала тело в погребе, и, как только подошел ее наставник и учитель, заматеревший в подобных злодеяниях враг нашего народа Александрийский, они отнесли тело Шавло к этому колод-

цу, полагая, что никто и никогда не сможет их заподозрить и отыскать труп.

— А зачем? — спросил Александрийский, который был совершенно спокоен. — Зачем нам это делать?

— В этом разберется суд, — сказал Алмазов. — Я же могу только высказать мое предположение. — Он подошел к скамейке, на которой сидели обвиняемые, и навис над ними, по своей привычке раскачиваясь: носки-каблуки, носки-каблуки, носки-каблуки... — Мое предположение заключается в том, что рука убийц направлялась из-за рубежа фашистским центром. Цель ваша ясна — обезоружить государство рабочих и крестьян в сложной международной обстановке.

Странно, подумала Лидочка, он говорит не человеческим, а каким-то особенным окологазетным языком. Он, наверное, этого не чувствует. Он просто не умеет выражать по-русски определенного рода мысли.

— А как мы его несли? — спросил Александрийский.

— Кого?

— Как мы несли Шавло до пруда?

— Ручками, — ответил Алмазов, — своими холеными ручками.

— Но мне же нельзя даже ста граммов поднять, — сказал профессор.

— Это все мимикрия врага — сам небось поднимаешь гири, тренируешься!

— Я могу свидетельствовать, — вмешалась Лариса Михайловна, — я как врач утверждаю...

— Помолчи, врач! — В последнее слово Алмазов вложил все свое отношение к Ларисе Михайловне. — Там будет экспертиза работать. Судебная. Ее не купишь.

Алмазова что-то смущало, его самого, видно, не удовлетворяла построенная им стройная схема. И от этого он раздражался.

— К тому же, — сказал он, — мне пришлось наблюдать вчера Иваницкую, когда она вернулась с улицы после совершения террористического акта. Вы бы посмотрели — в глине по пояс, мокрая, как драная кошка, — страшно смотреть. Разве так с прогулки возвращаются?

— Это физически невозможно, — убежденно повторил профессор. — В Мате килограммов сто.

— Доволокла бы, — сказал Алмазов. — И на следствии она в этом сознается. — Алмазов вдруг улыбнулся: — А не исключено, что у вас были сообщники. Как вы посмотрите, если

вам помогала местная докторша, Лариса Михайловна Будникова?

Лариса Михайловна начала отступать.

— Вы шутите, вы шутите, да? — повторяла она тупо — она была так напугана, что попыталась бежать, но остановилась, добежав до края плотины, и медленно, как на плаху, пошла обратно.

Алмазов не стал ждать, пока Лариса Михайловна вернется.

— Вопросы есть? — спросил он.

— Глупо, — сказал Александрийский. — Все это глупо, неправда и придумано вами.

— А у меня есть свидетели, — сказал Алмазов. — Вы забыли. У меня не только миллион улик, у меня не только ваши завтрашние признания, у меня есть Альбиночка. Альбиночка, скажи дяде, ты видела, как Лидочка Иваницкая выкрала мой револьвер? Ну, скажи, киска.

— Да, — сказала Альбина, глаза ее, несчастные и слишком большие, казались почти черными. — Я скажу...

Дальнейшее произошло так быстро и обыкновенно, что никто даже не двинулся с места.

Она подняла руку с револьвером, который так и не успела толком вытереть, и начала стрелять из него в Алмазова. Она сделала это так неожиданно, не предупредив никого, не сказав каких-то нужных слов, которые положено говорить убийце. Только Алмазов за какую-то долю секунды догадался, что сейчас произойдет, и догадался, что его убьют, потому что он жалобно попросил:

— Не надо!

Он не приказывал, он просил: «Не надо». И тут же начал падать. Так что Альбина успела выстрелить только три или четыре раза, а потом он уже лежал — голова к голове с Матей Шавло.

Издали, от купальни, мчались Ванюша-рабфаковец и другие мужчины. Впереди всех — президент.

Президент хотел добежать до Альбины, но прежде чем он добежал, Альбина успела сказать то, чего никто, кроме профессора и Лидочки, не услышал.

— До свидания, — сказала она, — ты хорошая, Лидочка, мне очень жаль. Но я тебе немножко помогу... Ты же знаешь, что они убили моего Георгия.

Она не ждала ответа, она была погружена в себя, в свои последние секунды, когда надо сделать так, чтобы наладить порядок в том мире, в котором тебя уже никогда не будет.

— Ты хорошая, — сказала она и подняла револьвер. Президент остановился. Альбина повысила голос, и люди, что подбегали к ним, тоже услышали, что она говорила: — Это ошибка! Матвея Шавло тоже убила я! Матвея Шавло мы убили вместе с Алмазовым! И притащили его сюда. Вы меня слышите? Алмазов хотел стать фашистом, но Шавло сказал, что донесет, честное слово!

Ванюша, добежавший первым, кинулся было к Альбине, как лев в прыжке, но Альбина выстрелила в него, промахнулась, и неловко, обернув пистолет против своего лица, выстрелила себе в глаз, и успела еще выбросить пистолет и схватиться, падая, за глаз... и сквозь пальцы хлынула черная кровь...

Хоть дорога до Москвы была совершенно непроезжей, несколько машин примчались в Узкое уже через два часа. Правда, Лидочка этого вторжения не видела. Она лежала в боксе, и температура у нее была тридцать девять и пять. В тот день Лариса Михайловна не разрешила следователям с ней говорить, и главный следователь Шехтель оказался настолько разумен или гуманен, что Лидочку допрашивал лишь на третий день, а за это время уже успела устояться версия случившегося, и об этой версии Лидочка знала — на то была Лариса, негодяй Филиппов, перепуганный больше всех, и, уж конечно, Марта, для которой события в Санузии стали замечательным, на всю жизнь, приключением и которая, что самое радостное и удивительное, сумела уложить в постель самого следователя Шехтеля, а тот оказался изумительным, неутомимым и очень грубым мужчиной.

Следователь Шехтель и его группа пришли к выводу, что ответственный сотрудник ОГПУ Ян Янович Алмазов превысил свои полномочия и использовал служебное положение в корыстных целях, для чего привез с собой в санаторий Академии наук жену врага народа, расстрелянного месяц назад Георгия Лордкипанидзе. Не сговорившись со своим сообщником Шавло Матвеем Ипполитовичем, связанным с некоторыми кругами в фашистской Италии, Я.Я. Алмазов убил его, втянув в это дело Альбину Смирнову-Лордкипанидзе, и пытался затем обвинить в этом преступлении заслуженного деятеля науки, профессора, члена-корреспондента Академии наук СССР тов. Александрийского П.А., а также научно-технического сотрудника Института лугов и пастбищ Иваницкую Л.К. Однако в случившемся после этого конфликте Я.Я. Алмазов был убит его невольной сообщницей А.Смирновой, которая после этого покончила с собой. Все лица, в той или иной степени замешанные в этих событиях, были

приглашены дать подписку о неразглашении обстоятельств дела, относящегося к категории государственных преступлений. Принимая во внимание то, что все участники этого дела, как преступники, так и пострадавшие, погибли насильственным путем, признано целесообразным дело закрыть и обстоятельства его не предавать огласке.

Дождь прекратился буквально на следующий день, но Лидочка вновь начала воспринимать красоты природы только дня через четыре, когда впервые спустилась в столовую и президент Филиппов при виде ее закричал:

— Третье опоздание, третье опоздание! Вы что, гонга не слышите, отдыхающая Иваницкая! От имени совета нашей республики я объявляю вам строгий выговор.

Все стали аплодировать и кричать:

— Браво, президент, браво!

И Ванюша, которого оцарапало пулей Альбины и на ухо которого был налеплен пластырь, тоже аплодировал.

На Лидочку многие смотрели с интересом, потому что, конечно, знали, что она каким-то образом связана с таинственными и не очень понятными событиями, приведшими к нескольким смертям в санатории. Но говорить об этом было не принято. Единственное, что напоминало о событии, — решение президента Филиппова до конца той смены отменить запланированные танцы и игры.

А еще через два дня дорога подсохла настолько, что из Академии за Александрийским, которому надо было снова ложиться в больницу, прислали автомобиль, и Павел Андреевич предложил Лидочке, если ей не жаль покинуть Узкое на два дня раньше срока, поехать в Москву вместе с ним.

Поездка была медленной — пожилой шофер ехал осторожно.

До этого Лидочка с Павлом Андреевичем, разумеется, разговаривали, но не выходили на дождь и старались, чтобы их не видели вместе, — санаторий кишел чекистами.

— Павел Андреевич, — сказала Лидочка, — нам скоро расставаться. А я так ничего и не знаю.

Александрийский начал крутить ручку, и перед ними поднялось большое стекло, которое отделило их от шофера.

— Люди, которые ездят в таких машинах, имеют секреты от шоферов, — сказал он.

Он обернулся к Лидочке. В машине было полутемно, Александрийский снял шляпу к снова стал похож на Вольтера.

— Вас что-то интересовало, Лидочка?

— Я ничего не поняла.

— Неужели было что-то непонятное в этой истории?

— Было.

— Тогда спрашивайте.

— В колодце должна была быть Полина. Ее притащил туда Шавло.

— Вы так думаете?

— Павел Андреевич, умоляю!

— Я полагаю, что она и сейчас там лежит, — сказал профессор.

— Вы с ума сошли! Я же видела... ну, что я говорю... ну там же Матя!

— И Полина. Ее не нашли, потому что ее там никто не искал.

— Ну объясните!

— Полина лежала снизу, под Матей. Его зацепили крюком и вытащили... А кому придет в голову снова лезть в колодец и искать там второй труп? Да и всем там было не до поисков трупа.

— А вы знали, что там лежит Полина?

— Разумеется.

— И что теперь будет?

— Я думаю, что ее достанут и похоронят. Уезжая, я оставил директору письмо, в котором предложил еще раз осмотреть колодец.

— Они сочтут это шуткой.

— Надеюсь, что не сочтут...

Машина свернула на Калужское шоссе. По небу плыли быстрые сизые облака, у палисадников сидели на лавках женщины и торговали яблоками и картошкой.

— Но кто тогда мог убить и притащить туда Матю? Неужели в самом деле Алмазов?

— Я, — сказал Александрийский.

— Вы? Вы его убили? Вы способны убить человека?

— Любой способен убить человека, если для этого не требуется подходить к нему вплотную и душить его.

— Но вы же не могли его тащить! Вам же нельзя!

— А я и не тащил его, — сказал Александрийский, — он провел ладонью по стеклу, словно проверяя, надежно ли оно прилегает к спинке сиденья. — Мне вредно. — Он улыбнулся.

— Вы не шутите?

— Я стоял у погреба и ждал вас. Было уже около семи, я совсем замерз и начал даже на вас сердиться. Куда вы пропали? Там маскарад, — а вдруг эта мерзкая девчонка совсем обо мне забыла?

И тут я увидел, как дверь из кухни отворилась и оттуда вышел Матя Шавло. Он быстро дошел до погреба и нырнул внутрь. Тут я, конечно же, забыл о холоде — моя версия оказалась правильной. Этот человек — убийца. Моей первой реакцией было удовлетворение. Ага, попался, голубчик! Теперь Алмазов не посмеет с тобой якшаться. Стоит только мне сообщить куда следует. Алмазов откажется тебя знать...

Вскоре Матя выволок из погреба тело Полины и поволок к пруду, не скрываясь, потому что он спешил, и производил столько шума, что услышать меня никак не мог. И чем я дальше следовал за ним, тем более меня охватывали сомнения. Почему я так уверен в том, что большевики с отвращением выкинут убийцу из своих рядов? Да они схватятся за него двумя руками! Им он куда важнее грязный, гадкий, вонючий — такой он послушнее у них в руках. И вдруг я понял, что, разоблачая Матю, я только помогаю ему и большевикам. Но что делать? Промолчать — и дать возможность Мате и Алмазову делать свои карьеры? Получать Ленинские премии?

Александрийский перевел дух и продолжал:

— Тем временем Матя дотащил труп Полины до пруда и остановился. Я смотрел и думал — ну, что он сейчас будет делать? Привяжет к телу груз — и в воду? Но вокруг не было ни одного камня или железки — Матя рыскал взором по лесу, — я как бы стал его сообщником и понимал, как велико его отчаяние. Ведь если труп бросить в пруд, он всплывет, а этого Матя боялся... И тут он увидел этот колодец. И сообразил то, о чем догадались потом и вы. Он потащил труп по плотине, а я, почти не скрываясь, последовал за ним, потому что к тому мгновению я пришел к выводу, что буду вынужден убить Матвея Ипполитовича Шавло, талантливого физика и крепкого молодого человека, потому что иначе я не могу его остановить и избавить от страшных последствий всех людей на Земле. Если у большевиков будет ядерная бомба, они покорят весь мир! К тому же я не видел другого способа наказать человека, убившего беззащитную женщину... убившего ее дважды — первый раз изнасиловав ее, когда она была девочкой, а второй раз — сегодня. — Александрийский сглотнул слюну и замолчал. Лидочка тоже молчала. — Он отыскал какую-то доску и сам, провалившись чуть ли не по пояс в воду, страшно ругаясь — я никогда не подозревал, что Матвей Ипполитович может так ругаться, — страшно ругаясь, дотащил тело Полины до колодца и, встав на край колодца, стал перетаскивать труп через край, чтобы кинуть внутрь.

И вот тогда, слушая эти ругательства и видя нелепую фигуру этого чужого мне человека, который, надрываясь и пыхтя, склонился над колодцем, я понял, что у меня есть выход. И единственный выход. Я достал револьвер, который взял с собой, потому что намеревался вернуть его вам для передачи Альбине, и в тот момент, когда тело Полины ухнуло в колодец, а Матя, стоя на краю колодца склонился, как бы стараясь разглядеть результаты своего труда, я выстрелил в него — когда-то я хорошо стрелял. Он так и не узнал, что он умер. Он, видно, чувствовал облегчение, что отделался от Полины, и с этим счастливым чувством умер...

Внутренним взором Лидочка увидела эту сцену — она же была там сразу после смерти Мати. А вдруг Матя умер не сразу — он мучился, умирая в этом страшном колодце, лежа на холодном трупе Полины...

— Вы меня ненавидите? — спросил Александрийский.

— Нет, — сказала Лидочка. — Я не могу осуждать ни вас, ни Альбину...

— Ни самого Матю?

— Я никогда не думала, что так устану за эти дни отдыха.

— Ну ладно, не надо говорить, если не хочется, — согласился профессор. — Можно я доскажу вам, чем все кончилось? Или не хотите?

— Доскажите.

— Он без звука упал — и исчез в колодце. Я даже не надеялся, что получится так ловко. Вы не представляете, как все было фантастично! Только что передо мной пыхтел, шумел, двигался большой человек — и вдруг тихо-тихо... И будто никого не было. Я кинул в колодец револьвер, но он не долетел и упал в воду. Я не мог идти в воду и достать его — тогда было бы трупом больше. Так что мне оставалось лишь молиться, чтобы револьвер засосало в тину.

— Но его нашли.

— Нам повезло — если бы не Альбина, мы бы уже были в тюрьме. Но вы не переживайте. Я бы всю вину взял на себя. Вам ничего не грозило.

— Наивно! — сказала Лидочка. — Неужели вы думаете, что Алмазов отпустил бы меня? Он бы и Ларису Михайловну посадил, и уж наверняка — Альбину.

— Странная женщина, — сказал Александрийский. — Зачем она в него стреляла? Зачем ей было нас спасать?

— Кто-то должен спасать, а кто-то губить.

— Почти Экклезиаст? Будем видеть в ней провидение, которое избавило нас от гибели.

— Он убил ее мужа, — сказала Лидочка. — Сначала сказал, что она должна... отслужить и купить его жизнь... а потом убил мужа. И она знала об этом. Она мстила ему.

— Ужасно, — сказал профессор, — значит, Алмазов получил по заслугам?

Машина набирала скорость. Близилась Москва — уже появились встречные автомобили.

Если сейчас не сказать, то не скажешь никогда. Лидочка открыла уже рот, чтобы объяснить профессору то, чего он не хотел понимать. Что каждый из нас может брать на себя право распоряжаться лишь собственной судьбой. Взяв на себя право судить и убивать, милейший профессор заодно приговорил к смерти и Альбину, которой Алмазов не простил бы пропажи револьвера, и Лидочку, которая была в этом обвинена, и, вернее всего, докторшу Ларису Михайловну, которая осмелилась защитить профессора и Лидочку. А может быть, и всех обитателей Санузии, включая астронома Глазенапа и академика Николая Вавилова... впрочем, нет, академиков у нас все же не убивают, Вавилову ничего не грозит.

Но Лидочка не успела ничего сказать. Александрийский постучал в стекло. Шофер остановил машину. Александрийский опустил стекло, достал деньги и велел шоферу купить букет астр, что стоял в банке рядом с женщиной, сидевшей на скамейке у своего палисадника. Шофер открыл заднюю дверцу, передавая букет.

— Это вам, — сказал Александрийский. — Я надеюсь, что вы навестите меня в больнице, куда я отправляюсь без особых надежд на выздоровление.

Букет пахнул дождем и горечью осеннего сада. Александрийский дал ей свою визитную карточку с золотым обрезом.

Лидочка сошла на Октябрьской площади — отсюда ей на «семерке» было недалеко до дома.

Лидочка подождала, пока машина уедет, потом подошла к урне, она хотела выкинуть букет.

Пьяный человек в заячьем треухе, слипшемся от дождя, сказал:

— А букет-то разве виноватый? Лучше мне отдай. Пропью.

Он весело засмеялся. Лидочка отдала ему букет. Тут подошел трамвай.

Лидочка не навестила Александрийского в больнице. Но зна-

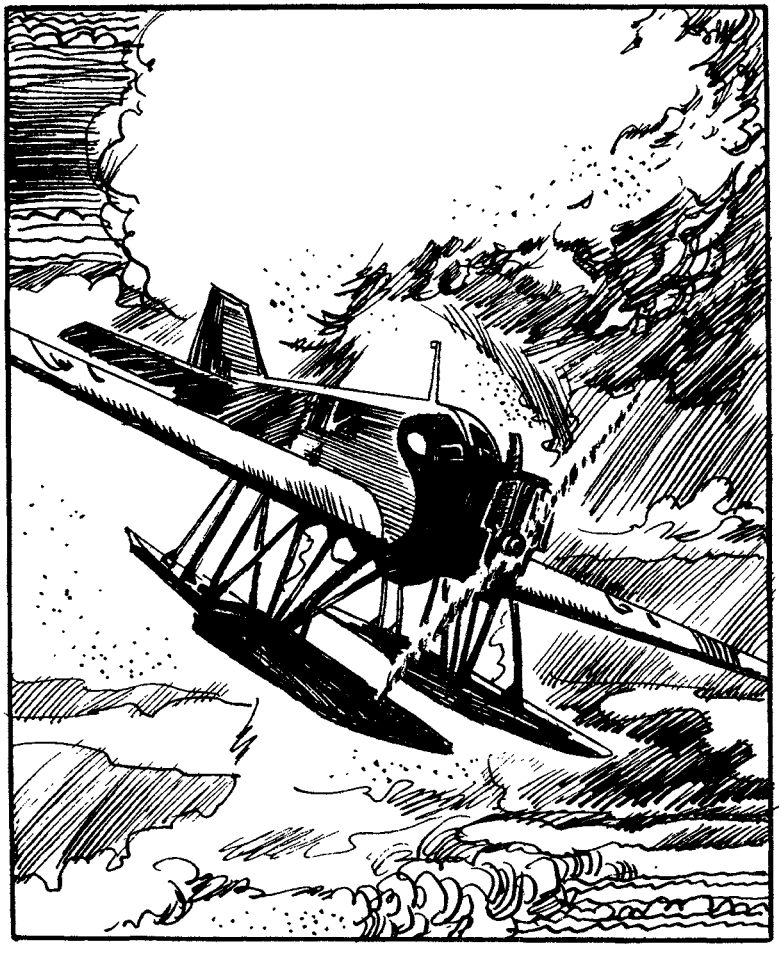
ла, что он жив, — к Новому году в «Правде» она прочла о награждении ряда выдающихся ученых. В том числе и П.А. Александрийского — недавно учрежденным орденом Ленина.

Черные фигурки и осколки так и остались лежать в мешочке. Правда, медальон с изображением восточной красавицы Лидочка раза два надевала. Однажды он зацепился за шпильку, и кусочек черной краски на рамочке отлетел. Под краской оказалось золото. Лидочка соскребла краску с рамки — вся рамка была золотой. Золотыми оказались и черные фигурки, — значит, кто-то когда-то не хотел, чтобы догадались об истинной цене этих вещей. Лидочка тоже не хотела знать об их цене. Она спрятала их в мешочек и больше не надевала медальон. У нее оставалось странное чувство, что она — не более как временный хранитель этих вещей и за ними придет их настоящий хозяин.

Как-то на улице она встретила Марту. Та сказала, что президента Филиппова арестовали, а Лариса Михайловна по-прежнему работает в Узком. Больше ничего Марта не успела рассказать, потому что спешила на свидание.

КАК ЭТО МОГЛО БЫТЬ

Часть вторая



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вечер 24 октября 1932 года

Предчувствие того, что в ближайшие часы произойдет отделение ветви от основного ствола истории, превратилось в абсолютную уверенность как по внутреннему убеждению, так и по сигналу, полученному Теодором Сверху. Как всегда, сигнал принес Гонец. Теодор его не знал, не встречал раньше: в последние десятилетия так бывало все чаще — старые Хранители времени умирали, погибали, пропадали без вести — как ни гони по реке Времени, все равно его не обмануть, ты все равно стареешь, и когда-то твое тело или разум совершают ошибку. И ты умираешь, так и не узнав до конца — кем был, кому служил и ради чего был столь отличен от прочих людей. Твое всемогущество, вернее, то, что полагает всемогуществом простой смертный, оборачивается лишь одиночеством. Но все люди одиноки перед ликом смерти. Почему Хранителю быть иным? Среди Хранителей существует мнение — не следует называть его уверенностью, — что Хранитель не умирает, а переходит лишь в иное качество служения Высшей цели. А были и такие, что полагали Высшую цель — Богом.

Теодор, зная уже, что в тупиковую ветку уходить придется именно ему, с сожалением ликвидировал свое имущество, а самое ценное перенес в тайник, о существовании которого кроме него знал лишь Гонец, попрощавшись, будто собрался в недолгую командировку, с квартирной хозяйкой в Мытищах, где снимал комнату на даче, и убедившись, что не оставил никаких следов в 1932 году, он поспешил в Узкое, потому что боялся упустить момент, с которого начнется разбегание рельсов. Этот момент мог быть внешне незначительным, даже случайным, он мог лишь предшествовать основным событиям — те были на поверхности, но не они давали импульс расхождению.

Пан Теодор не был всеведущ и не мог проникнуть ни телесно, ни взором в пределы стен дома Трубецких, да и не знал всех действующих лиц драмы. Впрочем, Гонец рассказал об Алмазове, Шавло и Александрийском. Потому, оставаясь в парке, таясь в кустарнике, чтобы его не увидели из окон, пан Теодор более всего наблюдал за комнатами Алмазова с Альбиной и Александрийского — благо их окна выходили на одну сторону. Зеленая точка индикатора, укрепленная на ремне наручных часов, давно уже тревожно мигала и разгоралась. Вот-вот вспыхнет сигнал разбегания — тонкий ослепительный луч.

Момент разбегания случился, когда Лидочка отобрала револьвер у Альбины, но Теодор не видел этой сцены и не мог догадаться о ней, лишь почувствовал острый укол в запястье и зажмурился от ослепительности мгновенного луча.

Случилось!

Пана Теодора настигло неприятное чувство разочарования в своих возможностях — раз он не узнал, что послужило толчком к возникновению альтернативы, он может упустить следующие мгновения и не придавать им должного значения.

Лучик пульсировал, и его пришлось прикрыть комочком особой пасты — теперь уж в нем не было нужды, — сама интенсивность света показывала, что разведение линий произошло кардинальное и оно не сможет компенсироваться само по себе.

Нет нужды рассказывать о том, как пан Теодор провел последующие часы, как безнадежно и противно промок и промерз и как, собирая по частичкам наблюдения за Санузией, он смог реконструировать ход событий и узнал о причине смерти Полины и о судьбе револьвера Алмазова. Он даже стал свидетелем того, как Матя спустился в подвал, вытащил тело Полины и, задыхаясь от страха и напряжения, поволок его к пруду.

К этому моменту Теодор отлично знал, что центром событий, приведших к раздвоению действительности, был физик Матвей Шавло — именно к нему тянулись силовые нити перемен. Очевидно, его судьба в ближайшие часы будет определять возникновение и развитие альтернативной ветви.

Медленно пробираясь кустами следом за натужно дышавшим Матей, Теодор поражался — он никогда не уставал поражаться непредсказуемости человеческих поступков. Казалось бы, антураж привилегированного санатория для ученых меньше всего располагал к шекспировским страстям, но вот они кипят на глазах пана Теодора, и не будет ничего удивительного, если за теми толстыми стволами лип скрываются макбетовские ведьмы.

Незаметно следуя за Матей, Теодор ломал себе голову, что тот намерен сделать с трупом Полины? Очевидно, он тащит его к пруду — утопить? Или закопать за прудом, в лесу?

Пан Теодор так увлекся собственными догадками и наблюдениями за Матей, что чуть было не попался на глаза Александрийскому, который следовал за своим коллегой и которого Теодор вначале не узнал, лишь отметив про себя, что драма подходит к финалу — к взрыву, который и должен определить перемену курса истории.

Зная, что первое мгновение уже позади, Теодор не догадывался, да и не мог догадаться, что вначале различие между расходящимися ветками заключалось лишь в том, что Александрийский, торопясь догнать Матю, неладно наступил на мокрый сук, поскользнулся и упал на колено — ничего страшного не произошло — лишь сбилось дыхание да заболела лодыжка, так что Александрийский стал чуть заметно прихрамывать.

Однако эти мелочи и помогли совершиться очевидному скачку.

Когда Матя дотащил труп Полины до верхнего пруда, он некоторое время стоял у самого берега, переводя дыхание и соображая, видно, как ему лучше поступить дальше. Его внимание привлекло журчание воды, стекавшей через край колодца. Он посмотрел в сторону, затем, оставив труп на берегу, прошел несколько шагов по берегу, чтобы убедиться, что слух и зрение не ошиблись — в воде зияет круглое отверстие — колодец.

Итак, отметил про себя Теодор, мы принимаем решение.

Матя снова подхватил труп Полины и поволок его вокруг пруда, к тому месту, где от берега до колодца было ближе всего. На той, дальней от Теодора стороне пруда было совсем темно — последний фонарь стоял у купальни. Так что Теодор скорее догадывался о дальнейшем, нежели наблюдал его.

Матя некоторое время ходил по берегу — в поисках доски или бревна, но далеко отойти от тела своей жертвы не осмеливался. Наконец на откосе он нашел то, что искал, и снес доску к воде. Доски едва хватило от берега до колодца, и потому она неверно вздрогнула, когда Матя подхватил тело Полины и вступил на этот мостик.

Увлекшись наблюдением за Матей, пан Теодор на несколько секунд упустил из виду Александрийского. За это время старик, с неожиданной для его состояния резвостью, преодолел расстояние до доски, и его черный силуэт возник близко от Мати.

Матя свалил труп в колодец, как грузчик сваливает на землю тяжелый мешок. Через секунду или две из глубины колодца

донесся всплеск — Матя выпрямился и расправил плечи, словно человек, отделавшийся от тяжкой ноши и готовый теперь хорошо отдохнуть.

И вот тогда Александрийский сказал:

— Вы преступник, Шавло!

Теодор не знал, разумеется, сказал ли что-нибудь Александрийский Мате в том, основном стволе истории, где в этот же момент происходит такая же встреча. И неизвестно было Теодору, чем эта сцена завершится здесь и чем — по ту сторону Времени.

Если бы Теодор был способен преодолеть взором эту пропасть, он бы узнал, что в основном времени Александрийский выстрелил без предупреждения, потому что был чуть спокойнее, там у него не болела лодыжка.

— Что? Кто там? — Матя не сразу узнал Александрийского. Но сразу увидел в его руке наган, — возможно, отблеск далекого фонаря высветил гладкость ствола.

— Это вы... А, профессор! Вы меня напугали!

— Вы не имеете права жить, Шавло, — сказал Александрийский. — И не только потому, что вы убили эту женщину, а потому, что ради своего блага вы готовы убить многих людей...

Вернее всего, Александрийский намеревался сказать что-то еще, но Матя не дал ему продолжать — он кинулся к нему, и Александрийский выстрелил. Вспышка ослепила Теодора, он на мгновение зажмурился и так и не узнал, как же получилось, что Александрийский промахнулся с такого расстояния, а Матя ринулся к нему, но промахнулся ногой мимо бревна, ухнул в воду по пояс и застрял там, разгребая воду резкими широкими движениями рук и не продвигаясь к берегу.

— Стойте! Стойте! — закричал на него Александрийский, забыв, наверное, что в револьвере еще есть патроны, — он начал отступать и вспомнил о нагане, лишь когда Матя уже выбрался на мелкое место, совсем по-звериному, ловко и быстро встал на четвереньки и, не разогнувшись, бросился к Александрийскому. И тогда Александрийский выстрелил вновь и снова неудачно.

А Матя — наконец-то глаза Теодора привыкли вновь к темноте — дотянулся до ног старика и рванул его на себя с такой силой и злобой, что Александрийский со всего маха упал на спину, и Теодор услышал, как гулко и опасно его затылок ударился о что-то твердое.

Александрийский дышал — Теодор слышал его рваное дыхание.

Матя поднялся на ноги, сделал шаг вперед — словно уже

некуда было спешить; Теодор ждал, что он наклонится подобрать наган, но вместо этого он занес назад ногу в тяжелом красивом башмаке и со всего размаха ударил носком Александрийского в висок. Тот ахнул и дернулся.

Матя снова занес ногу, и пан Теодор сделал усилие, чтобы не вмешаться, не кинуться к Мате.

Матя еще раз ударил Александрийского, и дыхание профессора прервалось. Матя начал ругаться. Он ругался негромко, но очень зло, будто только сейчас понял, какой опасности избежал и как ненавидит чуть не убившего его, Матю, человека.

На темной сцене у пруда появилось еще одно действующее лицо — Алмазов.

— Вы что здесь делаете, Шавло? — спросил он, сбегая по берегу, легко, как настоящий атлет.

Матя потянулся за наганом и стал шарить рукой по траве в поисках оружия.

По тому, как он это делал, Алмазов, конечно же, догадался о намерениях физика и потому побежал еще быстрее — так, что, не останавливаясь, врезался в наклонившегося Матю, и от этого мгновенного прикосновения Матя со стоном упал на бок.

Далее Алмазов действовал не спеша.

Он запахнул куртку, надетую на голое тело маскарадного пролетария, затем отыскал наган, вытер его о штаны и присел на корточки возле Александрийского. Матя медленно поднялся и сел.

— За что вы его застрелили? — спросил Алмазов.

— Это он! — громко сказал Матя, и лицо его скривилось, как у мальчика, готового заплакать. — Это он хотел меня убить!

— Почему? — спросил Алмазов.

— Не знаю! Честное слово, не знаю!

— Врешь, — сказал Алмазов.

Александрийский захрипел, шевельнулся, будто намеревался подняться. Матя не выдержал и кинулся на него. Он пытался было снова ударить его, но Алмазов, хоть и был куда ниже Мати ростом, легко остановил его, больно ударив рукоятью револьвера по вытянутой руке. Матя схватился за руку и заныл. Он не переносил боли.

Алмазов внимательно оглядывался — он ничего не трогал, не двигался с места. Глаза уже привыкли к густому сумраку. Он увидел, что Матя промок, словно купался в пруду. Он увидел доску, конец которой, поднимаясь из воды, лежал на краю колодца... Алмазов сделал повелительное движение рукой, требуя, чтобы Матя отошел в сторону, и тот подчинился, и Алмазов, не

опасаясь нападения сзади, присел на корточки возле Александрийского.

— Вы меня слышите? — спросил он. — Что случилось?

— Это он! — почти закричал Матя.

— Заткнись!

— Шавло убил Полину, — произнес Александрийский спокойно и ровно, словно сидящий в кресле здоровый человек. — Она в пруду.

Александрийский глубоко вздохнул. И замолк.

— Не верьте ему, он сошел с ума! — Но Шавло уже не смел снова кинуться к профессору. Из него будто выпустили воздух.

Безмолвие профессора встревожило Алмазова. Он протянул руку, поднес ладонь к лицу профессора. Воздух был недвижим. Алмазов приподнял веко.

— Ты его убил, — сказал он.

— Я же говорил! — невпопад ответил Шавло.

— Беги за врачом, — приказал Алмазов.

— Нет! Не хочу!

— Ну что ж, я тогда вызову людей другим способом, — сказал Алмазов, поднимая руку с револьвером, и тут он ощутил пальцем знакомую наградную серебряную планку. Ему не надо было разглядывать револьвер — он уже знал, что это его наган.

— Пожалуйста, не надо, — просил Шавло.

Алмазов не слышал его. Он старался сложить простые мысли — и все они сводились к тому, что некто только что стрелял здесь из его, алмазовского ревнагана, из украденного у него ревнагана, и, если эта история всплывет, Алмазову ее припомнят. Может быть, не сегодня. И если даже не сегодня, то замечательная, гениальная схема с Шавло лопнет.

— Ладно, — сказал Алмазов, продолжая размышлять, кто и каким образом мог забраться к нему в номер и выкрасть оружие. — Рассказывай все как есть. Ничего не скрывая. В этом твой единственный шанс.

— Он... — Матя показал на Александрийского. — Он мертв?

— Ты его убил, — сказал Алмазов.

— Нет! Он сам!

— Какую Полину ты убил?

— Я не знаю никакой Полины!

— Так мы с тобой ни до чего не договоримся, — вздохнул Алмазов. — И учти, профессор, времени у нас в обрез. В любую секунду сюда могут прийти.

— Но вы скажете, что он сам? Ему стало плохо с сердцем?

— У него проломлен висок, — сказал Алмазов. — Ты его застрелил, а потом бил по голове.

— Я не стрелял!

— Ты типичный фашист!

— Я коммунист!

— Или ты рассказываешь, или я вызываю людей.

— Я гулял... он подстерег меня! У него был пистолет...

— Мое терпение лопнуло, — сказал Алмазов.

И тут он догадался. Его озарило.

— Она в колодце? — спросил он и тут же повторил с утвердительной интонацией: — Она в колодце. Ты думал, что ее никогда не найдут. А профессор тебя увидел. И ты его застрелил. А потом добивал — уронил револьвер и добивал! Откуда у тебя револьвер?

— Ну честное слово, не знаю! Он был у Александрийского!

Алмазов пошел по дорожке от пруда. Он прошел совсем близко от беседки. Шавло бежал за ним, ему было трудно бежать, он задыхался — видно, наступила нервная реакция.

— А как же наши планы? — вдруг Шавло нашел спасительный аргумент. — Мы же с вами хотели работать вместе.

— Недоумок, — огрызнулся Алмазов, нарочно не останавливаясь и не замедляя шага, потому что понимал, как Мате тяжело оправдываться на бегу. — На что мне нужен физик, который убил женщину, а потом своего учителя. Я тебе передачи носить не намерен.

Матя Шавло не улавливал радости в голосе чекиста. И он бы умер сейчас от изумления, если бы смог заглянуть в озаренную светлой догадкой душу Алмазова. Алмазов менее всего намеревался теперь прикрывать проект, ради которого он оказался в Узком. Первый испуг провала, отягощенный догадкой о пропаже револьвера, уже миновал и сменился трезвым пониманием того, что вместо спесивого и самовлюбленного сотрудника, он, Алмазов, после этой ночи получает в свое распоряжение раба, который никуда отныне не денется и проживет остаток своих дней в постоянном ужасе перед разоблачением.

— Шавло, — неожиданно сказал Алмазов, подходя к мокрой скамейке. — Садись.

— Как так? — Шавло остановился и оглянулся назад, словно боялся, что их сейчас догонит Александрийский.

— Не бойся, он не встанет. — Алмазов не сдержал улыбки, и Шавло, к своему потрясению, увидел, как отражают свет выбежавшей из-за облака луны его ровные зубы. — Говори спокойно, рас-

сказывай все как было. И мы с тобой вместе решим, что лучше сделать. Ну садись, в ногах правды нет. Небось дрожат коленочки?

Они сели на скамейку.

Теодор стоял в двадцати шагах сзади. Он был недвижен. Ему хотелось вернуться к пруду и проверить, на самом ли деле Александрийский мертв. Но он не мог себе этого позволить — он не жил в этом времени. К тому же он верил опыту чекиста: если Алмазов сказал, что профессор умер, значит, умер.

Матя рассказывал Алмазову, как Полина нашла его и шантажировала, как он был вынужден ее убить, спасая великий проект. Это была единственная жертва. Клянусь, единственная жертва. И он не думал о себе...

Алмазов поддакивал, не переспрашивал, и Теодор уже догадался, что его волнует совсем иное. Он предположил, что Алмазов рассуждает, как избавиться от тела Полины и как объяснить смерть Александрийского. На самом же деле тот думал о своем револьвере — как он попал в руки к Александрийскому.

— Хватит, — сказал Алмазов, резко поднимаясь. — Вы остаетесь здесь. Никуда без моего разрешения — никуда. И если кто-то попытается пройти к пруду, вы не должны пускать. Надеюсь, это вам можно доверить?

Теодор отметил про себя, что Алмазов возвратился к нормальному обращению — перестал тыкать Мате, словно барин дворнику.

— Я побуду, — сказал Матя. — Конечно же. Только вы недолго.

— Как управлюсь.

Алмазов ушел наверх, к дому.

Теодор остался в кустах, из носа лило, и нельзя было высморкаться — Шавло закричит при любом подозрительном звуке или движении. Он жалеет теперь, что не выпросил у Алмазова револьвер, подумал пан Теодор. Но Алмазов не доверил бы ему оружие.

Шавло не мог сидеть. Он пошел к пруду, но через несколько шагов остановился и вернулся к беседке. Потом повернулся к кустам, в которых стоял Теодор, и замер. Он почувствовал неладное, почувствовал присутствие человека.

— Кто там? — спросил Матя. — Кто там, не прячься, я тебя вижу.

Теодор стоял неподвижно. Матя сделал неуверенный шаг к кустам, в темноту, но Теодор знал, что он не осмелится пройти дальше.

Так они и ждали. Матя замерз, и на него волнами накатыва-

ла дрожь — он отошел подальше от зарослей и принялся подпрыгивать под фонарем.

Теодор понял, что в его распоряжении несколько свободных минут. И он может позволить себе истратить их ради удовлетворения своего любопытства. Он заглянет — благо для него это возможно — в основной поток времени и увидит, в чем же различие, что там произошло. А потом возвратится сюда. Достав портсигар и перенесясь с его помощью в мир, в котором осталась Лидочка, Теодор увидел, как от пруда бредет к дому Александрийский. Живой. И понял, что Матя убит... Потом он встретил Лиду, поговорил с ней. И поспешил обратно. И вовремя.

Черный силуэт Алмазова показался на фоне дома. Алмазов бегом спускался по дорожке.

— Я уже заждался, — сказал Матя.

— Идите в дом! — приказал Алмазов. — Вы ничего не знаете, ничего не видели. Быстро!

— А как же?..

— Я уже распорядился.

— Может, нужна моя помощь? — Голос у Мати был глухой, заискивающий.

— Идите к едреной матери! Чтобы я вас до завтра не видел!

Матя пошел в гору. Он горбился, и ноги плохо слушались его, как будто он был пьян.

Алмазов поглядел ему вслед.

Потом, когда Матя растворился в темноте и отдаленно хлопнула дверь в дом, Алмазов с отчаянием ударил по столбику беседки так, что беседка пошатнулась. И изощренно, длинно выматерился.

Теодор был в недоумении. Он понимал, что положение Алмазова было затруднительным, но вряд ли можно считать его отчаянным, трагическим. В сущности, Алмазову не было дела до Александрийского, которого можно отвезти в Москву и там сдать в морг как скончавшегося от сердечного приступа, вряд ли Алмазова могла беспокоить смерть Полины, от которой было совсем несложно избавиться. Матя теперь привязан к нему. Для Алмазова события сложились очень выгодно. Но Алмазов в отчаянии... Почему? Чего-то Теодор не знал.

Так и не догадавшись о причине отчаяния Алмазова, Теодор дождался, когда через час к пруду спустились люди в темных плащах и кепках, по-военному похожие друг на друга. Он наблюдал за тем, как унесли тело Александрийского и, приглушенно переговариваясь, погрузили его в черный фургон, кото-

рый подогнали к воротам. Пока все это происходило, другие люди вытащили из колодца и перенесли к тому же фургону тело Полины. Обыскав его, Алмазов разрешил кинуть его внутрь фургона. И лишь после того как фургон уехал, Теодор тоже покинул Узкое, убежденный, что последующие события не будут иметь отношения к санаторию.

Алмазов злился из-за того, что догадался, кто похитил его наган. Это могла сделать только Альбина, в отчаянии от коварства чекиста, так долго скрывавшего смерть ее мужа. Это была ее месть, и наган предназначался для него, Алмазова!

Его вовсе не смущала нелепость такого предположения. Зачем его невольной любовнице передавать оружие немощному старику, когда куда проще совершить казнь самой? Главное: наган был украден и использован с преступными целями...

Как только фургон с трупами уехал, Алмазов кинулся к себе в комнату, возле которой он заранее поставил сотрудника, приказав внутрь не заглядывать, но и не выпускать никого. Сотрудник шепотом доложил, что происшествий не было, и был отпущен.

Убедившись, что он один, Алмазов толкнул дверь — она была закрыта изнутри на щеколду. Он даже не стал стучать. Он отступил на шаг и, вложив в рывок всю свою злость, буквально прыгнул на дверь — легко ее вышиб.

Но он не услышал шума от падения двери на толстый ковер, потому что его взгляд сразу же уперся в стройные ноги Альбины в черных шелковых чулках.

Видно, Альбина подвинула под люстру стол и завязала веревку на крюк, на котором крепилась люстра. А потом оттолкнула стол — он был легкий и неслышно опрокинулся на ковер.

Алмазов стоял в дверях — даже не закроешь, дверь лежит у ног. Тошнота подступила к глотке, он не мог заставить себя дотронуться до женщины, которая так нагло обманула и обокрала его, несмотря на то, что он относился к ней с глубоким искренним чувством.

Алмазов был разгневан, потому что никому, выходит, нельзя на всем свете довериться, нельзя даже чуть-чуть, на щелку, приоткрыть душу и впустить туда чужого человека. И если бы она оказалась живой, в тот момент он добил бы ее собственными руками, переломал бы шейные позвонки, сжав горло сильными пальцами.

Приступ злобы быстро прошел. Алмазов был человеком действия и понимал уже, что каждая лишняя минута для него смер-

тельно опасна, — стоит какому-нибудь из местных мухоморов выйти по нужде, как Алмазову обеспечен смертный приговор, — тут уж не важно, за убийство ли жены врага народа или за половую связь с этой женщиной.

Алмазов поднял дверь и приставил ее к дверному проему, чтобы застраховать себя от случайного взгляда из коридора. Затем он поставил на ножки стол, залез на него. Стол пошатывался — он не был рассчитан на такой вес. Алмазов поддержал одной рукой легкое, еще теплое тело Альбины. Стол выдержал. Другой рукой он, напрягшись, сорвал с крюка веревку.

Затем Алмазов сел со своей ношей на стол, опустил ноги, спрыгнул на ковер и отнес тело к дивану — шума не было.

Он положил Альбину на диван и снял с шеи петлю. Теперь он уже не испытывал к ней ненависти. Важнее было избавиться от совсем уж лишнего трупа.

Лицо Альбины было спокойно и не похоже на лицо удавленницы, оно даже сохранило свою красоту. Алмазов провел рукой по щеке и прошептал:

— Дура ты, дура.

Неожиданно веки Альбины дрогнули — чуть-чуть.

Алмазов боялся верить собственным глазам — а вдруг он ошибся, — это было бы слишком большим везением! Он взял кисть ее руки, стараясь уловить пульс, и уловил его — слабый и частый.

— Идиотка, — говорил он ей потом на допросах. Он никому, разумеется, не доверил эти допросы. Могли всплыть интимные подробности их отношений, смертельно опасные для карьеры Алмазова. — Идиотка! Даже повеситься толком не смогла!

Альбина смотрела на него виноватыми, полными слез глазами, она и в самом деле раскаивалась в одном — что неправильно повесилась, — а теперь ей уже не дадут повеситься. Веревка была слишком толстой для такой легкой женщины, она прошла под подбородком и за ушами...

Алмазова она разочаровала. Так и не сказала ему, кому передала наган, и не назвала сообщников. Впрочем, Алмазов и не настаивал — дело прошлое. Теперь есть куда более важные дела!

Он мог и, наверное, в интересах дела должен был пристрелить Альбину.

Он объяснил ей эту необходимость.

— Как знаешь, — сказала Альбина.

На первых допросах он ее бил, потому что когда-то она ему сказала, что страшно боится боли, и, когда в постели, овладевая ею, он делал ей больно, она вскрикивала и умоляла ее пожалеть.

Теперь она словно не чувствовала боли. Только следы остались — на лице и на груди. Алмазов не всегда мог сдержаться.

В конце концов расстрела он ей не подписал. Всего пять лет как жене врага народа. Он не считал себя изувером и сам платил за свои ошибки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Март 1939 года

Ни Алмазов, ни Шавло не читали Фрейда, этого матерого идеалиста и фактического прислужника реакционных кругов Запада, которого вообще мало кто знал в Советском Союзе. Но в постоянной двойственности их отношений, в сплачивающей их ненависти было нечто от фрейдистских мотивов. Оба мечтали о дне, когда увидятся в последний раз, но представляли себе этот день по-разному, хотя с обязательным унижением, а то и уничтожением соперника и союзника. Алмазов и Шавло были не только связаны общим делом, на карту которого они поставили свои жизни, но и самой тайной зарождения этого дела. Они были чем-то схожи с опостылевшими друг другу супругами, которые тем не менее оборачивают общий фронт против соседей или иных врагов: ведь им столько раз приходилось сообща отстаивать казавшееся окружающим бредовым и пустым дело, искать союзников, переубеждать скептиков и плести интриги против недоброжелателей. Положение усугубилось еще более, когда пал их покровитель, всесильный нарком НКВД Генрих Ягода, — он был уничтожен, а с ним пошли под расстрел почти все высшие чины наркомата, отменные палачи и опытные следователи, дерзкие шпионы и ловкие администраторы — Сталин убрал целое поколение чекистов, взлелеянное еще Дзержинским и не способное, как оказалось, к беспредельному террору, который был поручен ими же взращенному третьему эшелону бессовестных, бессмысленных, садистских убийц. Тогда, два года назад, ни Шавло, ни Алмазов не были уверены, что проведут на свободе еще одну ночь, их взаимная ненависть еще более усугубилась от опасности, которая могла, как молния, избрать одного из них, а могла поразить обоих.

У обоих в те страшные дни возник соблазн — утопить напарника, спасая бомбу. Но оба знали, что слишком велик риск оказаться с напарником на одном эшафоте.

О телеграмме Сталина и Жданова, которую те направили 25 сентября 1936 года из Сочи, где вместе отдыхали, в Москву чле-

нам Политбюро («считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение тов. Ежова на пост наркомвнудел, т.к. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока...»), Алмазов узнал лишь через четыре дня — к счастью, был в Москве. Именно 29-го Политбюро приняло постановление «Об отношении к контрреволюционным троцкистско-зиновьевским элементам». Алмазов в тот же день сумел пробиться к Ежову, который формально еще не вступил в должность, — для всей страны Ягода еще был могуществен, как древнегерманские боги Валгаллы. Ход, придуманный Алмазовым, был прост и в случае успеха гарантировал покровительство новой власти. Он пришел к Ежову, который, принимая дела и раскидывая пасьянс — кому на уничтожение, а кому на пьедестал, — и не думал до пленума заниматься конкретными объектами ГУЛАГа, с жалобой на Ягоду и его заместителей, которые срывают создание сверхоружия, средства возродить идею мировой революции. Ежов не стал тратить время на Алмазова, велел ему возвращаться в Полярный институт и работать, пока не вызовут. Алмазов, внешне хладнокровно, оставил на столе у Ежова список срочно необходимых материалов и людей, который еще несколько дней назад вез к Ягоде, и покорно удалился. А через два месяца Ежов, уже приняв дела, вызвал Алмазова с Шавло и уделил им около двух часов. Ежов понял, что перетряска столь громадного и влетевшего в копеечку учреждения, как Полярный институт, ему невыгодна. Средства и людей вкладывал Ягода, однако Ежов знал, что тот не только вредил, но и умел схватиться за хорошую идею. Была и другая причина заботы Ежова: о бомбе знал Сталин — он сам подписывал приказы о начале строительства и сам передал Госбезопасности заботу о бомбе.

Два месяца, прошедшие между рискованным визитом Алмазова к Ежову — лишь игроки напоминают о себе при смене власти — и вызовом Алмазова с Шавло в Москву, были самыми длинными месяцами в жизни обоих руководителей проекта. Все связи в НКВД были нарушены, руководители исчезали один за другим, успевая перед смертью покаяться на партийном собрании и крикнуть «Да здравствует товарищ Сталин!» перед молчаливой тройкой, осуждавшей на смерть. О Испытлаге и городке в тундре все как будто забыли. Страна кипела от ненависти к троцкистам, зиновьевцам, каменевцам, бухаринцам, диверсантам, врагам, вредителям, а работы в Институте шли как прежде, но дело не двигалось, потому что человек, ожидающий результатов онкологических анализов, редко начинает строить себе новый дом.

Среди заключенных ползли слухи о том, что новый нарком, русский, с таким приятным лицом, настоящий большевик, наведет порядок, освободит невиновных и страна вздохнет свободно — хватит вводить в заблуждение товарища Сталина! Зэки уже были по ту сторону пропасти между свободой и неправедностью и не знали еще, как повезло им, что были они схвачены и приговорены раньше, потому что в ином случае их ждали бы не десятилетние сроки, а расстрелы. Именно с расстрелов и начал новый нарком, и, пока число истраченных патронов не перевалило за миллион, он не мог остановиться.

Надеялись на перемены к лучшему и многочисленные ученые, заточенные в шараге — Полярном институте, где они, кто год, кто два, а кто и четыре, не будучи арестованы и обвинены в чем-либо, трудились в тюрьме, хотя и были только «временно мобилизованы для выполнения государственного задания особой важности».

Наконец Алмазова и Шавло вызвали в Москву.

Они не знали причины вызова и не знали, вернутся ли они сюда. Обоим нечего было терять — они оставляли за собой лишь бомбу, — осенью 1932 года они решили посвятить ей свою жизнь, поставили все, что было, на один номер. С тех пор у них не было иного выбора: либо они делали атомную бомбу, либо погибали. Впрочем, если у Шавло оставались в таком случае призрачные шансы продолжить дело под присмотром других чекистов, то Алмазов без бомбы был обречен на уничтожение как близкий человек Ягоды.

В самолете и во время посадок для дозаправки они держались рядом, в стороне от охраны, и старались придумать аргументы для наркома в пользу логической необходимости для страны иметь такую бомбу. Будто их выверенные и убедительные речи могли достичь ушей вождя.

Они не знали, что вождь сам вспомнил о бомбе. Еще неделю назад в разговоре с новым наркомом совсем о другом.

— Ну как у нас дела в Полярном институте? — спросил он. — Что-то там тянут с испытаниями. Надо поторопить товарищей.

Больше о бомбе тогда не говорилось, но Ежов мысленно поблагодарил Алмазова за недавний визит, потому что смог удивить Сталина своей информированностью о Полярном проекте, чего вождь никак не ожидал.

Ежов заставил их просидеть около часа в приемной, которая кипела деятельностью — словно Ежов руководил революцией, — мимо пробегали, пролетали фельдъегери, адъютанты, незаметные люди в штатском и вельможи в полувоенных френ-

чах. Среди них почти не было знакомых Алмазова, хоть он и провел половину своей жизни — в революции — в ЧК и знал там сотни людей. А если и попадался знакомый, он предпочитал не узнавать Алмазова, потому что не знал, зачем тот вызван к наркому.

Ежов оказался хрупким, голубоглазым, моложавым человеком. Он не поднялся из-за огромного стола, и Шавло догадался, что Ежов не любит стоять рядом с высокими людьми.

Ежов был вежлив. Не на допросах он всегда был вежлив.

Алмазов хотел было доложить об обстановке на объекте, но Ежов не стал его слушать. Тихим монотонным голосом он объяснил посетителям, что они сорвали дело, порученное им партией, дело, в которое народ вложил громадные силы, а страна — средства. Бомба, завершение работ над которой было обещано уже в этом году, наверняка не готова, и надо разобраться, вредительство это или просто головотяпство.

Маленький голубоглазый нарком сделал паузу, и Шавло хотел было начать оправдываться — широко открытые задумчивые глаза Ежова как будто просили его: ну оправдывайся, объясни, не обижай меня. Но, почувствовав это желание, Ежов тут же продолжил речь, и слова застряли у Мати в глотке. Ежов без бумажки — у него была отличная память — сообщил, сколько миллионов рублей стоили четыре года работы, сколько тысяч человек строили и погибали там, сколько оборудования и сырья потребовалось... и все без отдачи?

А Алмазов молчал. Он лучше Мати знал о нраве и манерах Ежова. Он надеялся, что эта речь сама по себе положительный признак. Если бы Ежов захотел их арестовать, он избрал бы более эффективный способ, чем чтение длинного обвинительного заключения. Но понимание этого лишь усиливало его ненависть к Шавло, который и на самом деле — в этом Алмазов был полностью солидарен с наркомом — тянет резину, убеждая в трудностях там, где их, наверное, и нет. И не исключено — и Алмазов в последние месяцы все более подозревал Шавло, — вся история с бомбой — выдумка, чтобы спастись от суда, и никакой бомбы не будет.

Неожиданно Ежов оборвал монолог и обратился к Шавло:

— Скажите мне, почему срываются работы? Вы не видите в этом саботажа руководства НКВД? Может быть, вы полагаете, что комбриг госбезопасности Алмазов занимается вредительской деятельностью? Говорите. Здесь, как вы знаете, вам ничего не грозит... кроме меня.

И вдруг Ежов весело, по-мальчишески улыбнулся.

Этот идиот сейчас меня продаст, чтобы спасти свою бомбу, думал Алмазов. Он не понимает, что если я пойду на дно, то только с ним. И когда Ежов обратится с таким же вопросом ко мне, на первом же допросе я расскажу о тебе все, фашистский выкормыш!

— Все, что вы сказали, товарищ нарком, — вальяжно загудел Матя, словно и не был смертельно перепуган всем этим спектаклем, — лишь доказывает, насколько серьезно и успешно идут наши работы.

Он замолчал, и Ежов в удивлении уставился на него, потеряв инициативу в разговоре и не совсем понимая, что же хотел сказать этот усатый фат в потертом костюме.

— Мы не намерены пускать партии и правительству пыль в глаза, изобретая еще одну обыкновенную большую бомбу. Вы понимаете?

Ежов послушно кивнул.

— Мы делаем бомбу, в сравнении с которой все бомбы мира не более чем детская игрушка, мы делаем бомбу, которая разнесла к чертовой матери Содом и Гоморру. Мы намерены с ее помощью перевернуть всю историю Земли. И все укоры, которые вы здесь обратили в наш адрес, лишь подтверждают мою правоту.

— Как? — спросил нарком.

— Потому что времена одиноких Давидов с их камешками прошли. Великое дело требует великих усилий.

Это была лучшая речь Матвея Шавло — цитаты из нее достойны были бы украсить его нобелевскую речь.

Матя глубоко вздохнул, и Ежов после недолгой паузы обратился к Алмазову.

— А вы что скажете, Ян Янович? — спросил он.

— Я тут был у вас два месяца назад, — сказал Алмазов. — И оставил список крайне необходимых для строительства материалов и специалистов. Мы, к сожалению, срываем все сроки, установленные партией и правительством, и надежда — только на вас. Простите, но я должен сказать, что прежнее руководство НКВД не смогло осознать масштабы стоящих перед нами задач и мы существовали на голодном пайке.

— И это вы называете голодным пайком?

Ежов ловким и уверенным движением кадровика раскрыл зеленую папку, и Алмазов увидел собственный запрос, оставленный два месяца назад. В списке некоторые строчки были вычеркнуты, другие обведены, на полях стояли галочки и вопросительные знаки.

Увидев этот список, Алмазов понял, что спасен. Если нар-

ком намерен обсуждать с тобой вопросы снабжения, значит, он оставляет твою голову на месте.

Они провели у Ежова еще полчаса, отстаивая свои требования и просьбы, кое-что Ежов был готов решить, кое-что велел согласовать с Вревским. Шавло надеялся провести хоть денек в Москве. Но когда они вышли от Ежова, к нему подошел печального вида майор госбезопасности и сказал:

— Вас ждет машина.

— Зачем? — мгновенно испугался Шавло.

— Чтобы ехать на аэродром.

— Но я хотел встретиться с некоторыми людьми, заглянуть в Ленинку, наконец!

— Людей мы вам пришлем, — сказал майор, будто подслушивал разговор у наркома или заранее знал о его содержании, — а если надо, перевезем и библиотеку Ленина.

«Они не могут оставить меня в Москве. Не хотят рисковать. Ну ладно — жив, почти свободен, и проект не закрыт!» Это уже достижение, ради которого можно и не сходить в Ленинскую библиотеку, куда он, кстати, и не собирался.

Тридцать шестой год закончился быстро — Ежов и на самом деле выполнил многие из обещаний, да и сама реальность Советского Союза помогала Мате — по договоренности с новым замом Ежова Вревским при сортировке арестованных списки физиков и химиков направляли в Полярный институт, и там их проглядывали Шавло и начальники лабораторий. Если встречалось знакомое или известное имя, то человека можно было вытащить на Ножовку, поселить в шараге, чтобы не сгинул. Шавло считал, что делает благородное дело и эти люди должны быть обязаны ему, но странно — никто этой точки зрения не разделял хотя бы потому, что среди ученых института царило убеждение, что все они были арестованы, независимо от статьи, по наводке Матвея Шавло, которому нужны были мозги и руки, чтобы на чужом горбу въехать в рай. Те же, кто так не думал, зная о действительных, часто не имеющих никакого отношения к институту обстоятельствах своего ареста, предпочитали молчать. Шавло догадывался, что его не любят, и знал почему, но тем не менее умело поддерживал в шараге видимость институтских отношений, вплоть до терминологии — там были и заведующие лабораториями, и старшие научные сотрудники, а членкоры и академики получали прибавку к пайке. Этого Матя добился у Алмазова, и тот, посопротивлявшись, оценил тонкость

идеи Шавло. Отныне академики получали в месяц дополнительно к норме полкило сахара, десять пачек папирос и еще кое-какую мелочь. Была и система премий — высшей считалась плитка шоколада «Красный Октябрь». Ученые подшучивали над лагерной пародией на Советскую страну, но принимали условия игры как продолжение вольной жизни.

Тридцать седьмой год прошел тревожно — новички рассказывали о творившемся в стране ужасе, об арестах и терроре, о процессах. Шавло уже не мог перетаскивать к себе ученых — Алмазов постановил, что нормы снабжения увеличиваться не будут — хватит тебе института с шестьюстами сотрудниками. Не считая народа на предприятиях, испытательном полигоне и в раскиданных вокруг Ножовки лагпунктах.

Ежов был недоволен ходом дел — Сталин не раз вспоминал о бомбе и поторапливал «железного» наркома.Тот устраивал разносы Алмазову, Алмазов кричал на Шавло, Матя срывался, обвиняя физиков и инженеров в саботаже. Жили на нервах. И тем не менее сложение многих сотен лучших умов мира под плеткой и в направлении указанной плеткой цели, как бы непроизводительно эти умы ни использовались, давало свой результат. Мате и тем из физиков, кто понимал, к чему они стремятся, было ясно: они далеко обогнали коллег в Европе и Америке, потому что нигде работа над бомбой еще не стала практическим проектом.

Летом тридцать восьмого года убежденность в реальности создания бомбы под кодовым именем «Мария» настолько окрепла, что было решено ускорить завершение испытательного стенда, а также развернуть работу над второй бомбой, которую, разумеется, будут звать «Иваном».

Ежов легко выделил из средств НКВД нужные суммы, не согласовывая это с Наркомфином, потому что к тому времени понял, что хозяин, которому он был столь рабски предан, готовится его убить. Сталин шел к этому обычным для себя и понятным для любого сообразительного человека путем — сначала человека, на которого в скором будущем повесят всех собак и уничтожат, как виновника всех поражений, начинали теснить в должности... В августе 1938 года первым заместителем к Ежову был назначен Лаврентий Берия, его старый недруг и ненавистник, которого Ежов неоднократно старался сковырнуть, еще когда тот был в Тбилиси, но в этом не преуспел — Берию любил Сталин. Берию Сталин прочил на место Ежова — и ужас перед новой чисткой уже застилал взоры ежовского окружения.

В сентябре Ежов вызвал Алмазова к себе и заявил, что сни-

мает его за саботаж. Алмазов, до которого также долетали дуновения нового холодного ветра, сыграл ва-банк, что его уже не раз спасало. Он сказал, что не оспаривает решения наркома, но проект без него остановится. Шавло не будет и не сможет работать. Дальнейшее зависело от того, насколько разумен Шавло, продаст ли он Алмазова ради сохранения места или поддержит.

Ежов был пьян. Чуть пошатываясь, он протопал на высоких каблучках к двери, открыл ее и крикнул секретарю:

— Телеграмму в Испытлаг. Полярный институт. Матвею Шавло. Переходите подчинение Вревскому. Алмазов арестован как враг народа. Подтвердите. Нарком Ежов.

Алмазов стоял за спиной Ежова, и именно тогда он понял, что Ежов уже не уверен в себе. Еще в прошлом году он не стал бы разыгрывать при подчиненных такой спектакль.

Мате в кабинет телеграмму принес шифровальщик из управления. Телеграмма была секретная, правительственная, шифровальщика сопровождал майор.

Матя думал недолго. Некое подсознательное, животное чувство подсказывало ему, что все это — испытание. К тому же Алмазов был величиной известной и чаще всего управляемой. Новый шеф мог подмять Шавло и уничтожить проект. Матя и Алмазов вместе уже шесть лет. И Матя написал на бланке, который положил на стол майор:

«Снятие Алмазова срывает работы на строительстве. Прошу освободить меня от должности и направить на любой участок, где я могу принести пользу Родине. Директор Полярного института Шавло».

Алмазов ждал в приемной Ежова, когда принесли телеграмму от Шавло. Ежов вызвал к себе Алмазова и, не показав ему телеграмму, закричал:

— Мать твою! Если к Октябрьским не испытаете — оба пойдете под расстрел. Хватит!

Алмазов улетел обратно на Ножовку.

Ежов имел беседу со Сталиным. Тот был предупредителен и добродушен, что было опасным сигналом.

Ежов докладывал о подготовке процесса в Магнитогорске, накопилось много текущих дел; Сталин был терпелив и снисходительно подмахивал бумаги, почти не читая и подчеркивая этим доверие к наркому, которому осталось так мало жить.

— Что касается нашей «Маши», — сказал Ежов и улыбнулся, ожидая ответной улыбки хозяина, — то она обещала разрешиться от бремени к Новому году.

Сталин не улыбнулся в ответ.

— Что-то давно твоя блядь свой живот носит, — сказал он. — Мне это надоело. За эти деньги мы можем построить каналы с Севера в Среднюю Азию, напоить хлопковые поля, принести радость людям. Вместо этого вы играете в детские игры. Маша-Даша-Паша! Новый год? Сколько лет они там возятся?

— Иосиф Виссарионович, — произнес чужие слова Ежов, — мы делаем не просто новую бомбу, как кажется некоторым. И даже не тысячу бомб. Мы делаем современные Содом и Гоморру — абсолютное оружие, обладание которым сделает нас хозяевами мира. Извините, Иосиф Виссарионович, но я ответственно заявляю, что постоянно знакомлюсь со всеми материалами и с ходом работ. Ничего подобного мир еще не знал.

— Содом и Гоморра, говоришь? А еще коммунист, — упрекнул Сталин Ежова. Он размял разорванную папиросу и набил трубку приятно пахнущим табаком. — А вот мы пошлем твоего заместителя товарища Берию проверить объект и получим его экспертное мнение, вы не возражаете, Николай Иванович?

— На настоящем этапе, — сказал Ежов, собрав всю решительность, какая в нем оставалась, — я бы очень просил вас, Иосиф Виссарионович, сохранить проект в абсолютной тайне. Каждый лишний человек, даже такой проверенный коммунист, как Лаврентий Павлович, — дополнительная опасность. Мы не можем рисковать. — И прежде чем Сталин успел возразить и даже высмеять наркома, тот положил перед ним тонкую папку. — Здесь донесения наших разведчиков и результаты анализа научных публикаций Германии и Америки. Они еще не начали воплощать атомную бомбу в жизнь, но теоретически перегнали нас.

Сталин открыл папку, пролистал, закрыл и, положив на нее руку, спросил:

— Сколько времени понадобится Гитлеру, чтобы сделать бомбу?

— Надеюсь, не меньше двух лет, — сказал Ежов. — Так считаем мы в Ножовке.

Он как бы снижал свое значение, присоединяя себя к физикам, жившим за колючей проволокой, но в то же время такой ответ звучал как ответ человека, вникшего в дело.

— А американцам?

— Им это пока не приходит в голову, — сказал Ежов. — Они могли бы все сделать быстро. Но мы догадались, а они нет.

— Значит, у нас есть еще фора?

— Сами посмотрите и убедитесь, Иосиф Виссарионович.

Когда Ежов ушел, Сталин внимательно прочел все документы, подколотые в папке. Они были изложены подчеркнуто элементарно. Но если они не фальшивки, то доказывают, что бомба по крайней мере не очередной бред авантюристов, расхищающих народные деньги, и в самом деле мы обогнали их, мы сообразили кинуть на этот проект людей и деньги, и если это настоящий туз... Сталин снова принялся читать донесения о работах в Германии, Италии и Америке. Ежов прав — идея витает в воздухе. И возможно, он ее недооценил. Он сам будет контролировать проект Полярного института. И оставит Ежова... впрочем, надо подумать. Ежов уже сделал свое дело, ему пора переходить на должность козла отпущения... А может, рано? А может быть, есть резон в словах «железного» наркома? Дадим ему еще полгода. Но не больше.

Алмазов не благодарил Шавло за то, что тот его спас. Хотя Мате хотелось услышать благодарность.

— Ты чего улыбаешься? — спросил Алмазов, вернувшись из Москвы и зайдя в кабинет Шавло. — Думаешь, ты благородный? Да ты просто понимал, что я тебя утащу за собой.

— Это еще бабушка надвое сказала, — ответил Шавло.

— Я один на тот свет не пойду, — сказал Алмазов. — Давай чай пить.

В кабинете Шавло на третьем этаже института была двойственность, рожденная либо какими-то идиотскими инструкциями, либо фантазиями снабженца. Внутри кабинет был обшит панелями, как райкомовский, в нем стоял буквой «т» стол, правда, стулья вокруг были разномастные и шатучие, что всегда оскорбляло взор Шавло, но добиться в ХОЗУ других стульев он не мог и даже подозревал, что Алмазов избрал именно такой путь его унизить. Дверь изнутри была обита черным дерматином и пришпилена ровными рядами блестящих кнопок. Но снаружи, со стороны предбанника, где сидел весь «аппарат» Шавло, она была нагло, нищенски фанерной.

Не провели для Мати и звонка, так что ему приходилось по сто раз на дню выходить в предбанник, чтобы отдать указания или впустить посетителя.

Ночевал Матя в комнатке за кабинетом. Там умещался старый диван, сейф, два стула и школьный столик, где Матя иногда ночами работал, если не спалось. По крайней мере он спал один, не так как академики — в камерах человек на двадцать, лабораториями

или отделами. Внутри общайтесь сколько хотите, с другими отделами — никогда. Даже гулять физиков выпускали по отделам — на плоскую бетонную крышу шараги.

Шавло поднялся и вышел в предбанник. Там умещались три стола. Стол его референта — Сельвинского, который вел и внутреннюю бухгалтерию проекта, связанную с расходами, — их контролировал сам Шавло, чтобы не бегать за каждой мелочью к Алмазову или в бухгалтерию Испытлага. Сельвинский, дальний родственник известного поэта, сидел в лагере по бытовой статье, и по праздникам его заставляли выступать с чтением стихов своего родственника, а слушатели — чекисты, вольные и несекретные сотрудники — так и не знали, кто же сидит у них в лагере — сам Сельвинский или его однофамилец. Справа — стол машинистки и стенографистки Раисы, женщины мрачной, угрюмой звериной красоты, которая никогда не отказывала в любви чекистам и некоторым из сотрудников. Она всегда была готова угодить Мате и не раз оставалась с ним на диванчике в директорском закутке. Матя, хоть его к ней и влекло, от нее утомлялся и понимал, что не может удовлетворить эту усатую скуластую самку с громадными черными раскаленными глазами и жадными бедрами.

За третьим столом сидела секретарша Мати — Альбина Лордкипанидзе.

Когда она отбыла свои пять лет, Алмазов, не выпускавший ее из вида, неравнодушный к ней и в то же время непростивший, как и непрощенный, сделал так, что ее оставили на поселении, хоть и расконвоировали. А так как кадры для Шавло подбирали чекисты и он мог иметь свое мнение о распределении по лабораториям физиков или инженеров по цехам, то в один прекрасный день весной 1938 года он увидел в своем предбаннике Альбину — он давно просил секретаршу, вот и получил.

Альбина изменилась — она подурнела, волосы потеряли блеск, а кожа — упругость. Нежность обернулась со временем ее врагом — трепетный лесной цветок не может стоять в вазе — он быстро и некрасиво вянет.

В лагере — она потом сама сказала Мате — она не мучилась на общих работах, а работала в пошивочной мастерской. Значит, просто погасла.

Когда приходил Алмазов — а Алмазов появлялся в институте порой по нескольку раз на день и предпочитал сам наведываться к Мате, нежели вызывать того к себе в управление, — Альбина делала вид, что его не замечает, а Алмазов всегда был вежлив, и особенно если приходил с утра, бодро, даже прищел-

кнув каблуками сапог, здоровался со всеми, и ему отвечал, приглядываясь и не сразу узнавая, подслеповатый Сельвинский, пела «Доброе утро» Раиса, а Альбина молчала. Алмазов улыбался и проходил к директору, как будто ему достаточно было и того, что Альбина его слышит.

Матя никак не мог понять, почему он держит Альбину здесь — то ли мстит ей таким образом, то ли, наоборот, бережет: на воле она будет арестована вновь и тогда может рассказать лишнее. А может быть, чувства Алмазова сложнее, чем кажутся. Сам же Матя был с Альбиной вежлив, корректен, ничем и никогда не преступил грани официальных отношений — впрочем, она была женщиной не в его вкусе. А если бы была? Нет, от нее исходит тихая опасность, как от бациллы чумы, притаившейся в брошенной на дороге детской игрушке. Образ ему понравился, и он представлял себе эту куклу... или медвежонка, способного погубить прохожего.

Срыв у Алмазова произошел в середине марта 1939 года, после того, как не удалось провести испытания ни к Октябрьским, ни к Новому году. Ежов дал слово, что он сам расстреляет Алмазова и Шавло, если они не выполнят обещаний ко дню Красной Армии, но Алмазов, под давлением Мати и понимая, что тот прав, чуть не на коленях умолил пьяного и страшного в гневе маленького наркома подождать, пока кончится полярная ночь, — в мороз и в ночь испытания проводить бессмысленно — невозможно вести контроль и съемку. Кому нужны испытания ради того, чтобы показать миру еще одно полярное сияние?

Ежов не знал, подействуют ли эти аргументы на Сталина, но Сталин легко и сразу согласился еще чуть-чуть отсрочить испытания, чтобы вести их днем. Теперь Ежов регулярно доставлял Сталину материалы о состоянии атомных исследований в других странах, и Сталин понимал, что нас еще не догнали. Более того — разрыв еще больше увеличивается, если верить чекистам и нашим физикам: мы на пороге первого взрыва, они же пишут статьи в журналах и дают нам добавочную информацию.

Ежов, которому уже был подписан смертный приговор, цеплялся за проект, как за щепочку, не подозревая, что Сталин вырвет ее на следующий же день после испытаний — будут они удачны или нет. Народ устал от ежовского террора — Сталин в последние недели сам называл происходящее в стране ежовским террором и даже обсуждал конфиденциально с Берией перемены во внутренней политике — когда надвигается большая

война, надо дать передышку, а то люди начинают связывать аресты и казни с именем самого вождя. И это недопустимо.

Со дня на день на строительство должен был приехать его новый куратор Вревский — это не сулило ничего доброго. Замкнутый, дотошный, с бульдожьей хваткой, Вревский был во всем противоположностью Алмазову. Вревский полагал Алмазова цыганским жульем, а Алмазов называл про себя Вревского крохобором и пауком. Они не выносили друг друга, хоть виделись лишь раза три в Москве.

Четырнадцатого марта Алмазов плохо выспался — он пил вечером со своими сотрудниками, чего раньше себе не позволял, но надо было с кем-то пить. Ночью ему снилось, что он снова с Альбиной и она так же ласкова и послушна, котеночек, любимый котеночек... От этого утром было еще гаже. Когда пришел к себе в управление, выяснилось, что за ночь случились всякого рода происшествия, и все, конечно же, неприятные: покончил с собой, выбросившись с седьмого этажа, математик, профессор, причем нужный для проекта. На семнадцатом объекте взорвался газ — трое зэков погибли; газ был на вес золота, баллоны везли через всю страну. Завтра приезжает Вревский — мог бы еще несколько дней подождать, — и тут позвонил Шавло и сказал, что первого апреля испытания не получаются, надо потянуть резину еще дней десять.

Алмазов ничего не ответил. Он бросил трубку и поехал в институт.

Дороги с весной совсем раскисли — сплошная грязь, а через две недели, как начнется апрель, станут еще хуже. Даже перед институтом не могли настелить. Алмазов закатил скандал хозяйственнику, который, на свое несчастье, попался ему на глаза у шараги, а тот ответил, что досок на тротуары не осталось, — все стройматериалы ушли на строительство полигона. Это была ложь, наглое вранье, но Алмазову некогда было распутывать махинации прорабов и хозполковников.

Он ворвался в кабинет Шавло, не поздоровавшись даже с Альбиной и остальными в предбаннике, — плевал он на них.

— Ты что! — закричал он высоким голосом, не закрыв за собой дверь в кабинет Мати. — Хватит! Теперь на твое место я могу поставить любого аспиранта и он кончит лучше тебя.

— Ставь, — сказал Матя. Он, выйдя из-за стола и стоя перед Алмазовым, казался тому нарочито наглым и вызывающим.

Матя тоже жил на нервах, а в санчасти даже валерианки не

было. И он тоже стал кричать на Алмазова. Дверь в кабинет оставалась открытой, и те, кто был в предбаннике, слышали скандал до последнего слова.

— Я знаю, на чьи деньги ты здесь сидишь! — кричал Алмазов. — Фашист проклятый!

— Лучше быть фашистом, чем якшаться с такими убийцами, как ты!

— Убийцами? — Алмазов был поражен. — Кто посмел назвать меня убийцей? Ты, который хладнокровно отправил на тот свет невинную женщину и убил старика? Ты, по которому плачет каторга? Да ты что, забыл, гад, кто тебя спас от вышки?

— Я даже не буду отвечать на твои пустые вымыслы, — сказал Матя, увидев открытую дверь и ощущая тишину за ней, — люди боялись дышать. — У тебя расшатались нервы.

— Нет, не нервы. И ты знаешь, что не нервы. И у меня есть свидетель — у меня всегда есть свидетель.

— Так, значит, ты поэтому ее ко мне подселил? — не выдержал Матя. — Ты садист.

— Испугался, голубчик?

— В таком состоянии я с тобой разговаривать не буду!

— Нет, будешь, иначе я тебя пристрелю.

— При свидетелях не пристрелишь, струсишь.

— Моя мечта — разрядить в тебя всю обойму. И меня оправдает любой суд.

— Посмотрим, кто нужнее там. Таких, как ты, вешают на каждом суку. А я один.

— Да ты... да я тебя!

— Катись ты к чертовой бабушке! — И Матя, который стоял близко к Алмазову, увидев движение того за пистолетом, к кобуре — комбриг никогда не расставался с оружием, — заломил ему руку за спину, и Алмазов был вынужден наклониться. Он замер перед рывком. И тогда Матя в самом деле испугался.

— Ян, — заговорил он быстрым шепотом, — опомнись. Это нервы. Мы не можем поодиночке — приди в себя, я прошу тебя.

— Отпусти, — также тихо, шепотом ответил Алмазов.

Матя отпустил его.

Хотя не спускал глаз с кобуры.

Алмазов потер кисть руки.

— Первое апреля, — сказал он, — и ни днем позже.

Это было сказано тоже тихо.

Потом он вышел из кабинета, но не прошел сразу всю приемную, а остановился и внимательными черными глазами ос-

мотрел каждого, словно никогда раньше не видел и удивлен существованием этих людей.

Матя сделал несколько шагов вслед за Алмазовым и заметил, как тот приходует его сотрудников, и понял, что, если Алмазов уберет их, спрячет, переведет в какой-нибудь лагерь, это будет с его, алмазовской, точки зрения правильно. Матя отказывал себе в праве на ту же точку зрения и старался не думать, что слова, услышанные Сельвинским и женщинами, опаснее для него, чем для Алмазова.

Когда за Алмазовым, хлопнув по-фанерному, закрылась дверь в коридор, Матя хотел выйти и сказать, чтобы все шли по домам, прятались, уезжали, но сразу не вышел, потому что понимал — им негде скрыться.

Не закрывая двери в приемную, он вернулся к себе за стол, но не успел сесть, как вошла Раиса.

Она была бледна, и глаза ее лихорадочно блестели. Она была напугана.

— Матвей Ипполитович, — сказала она неестественно низким голосом, — у меня зуб разболелся. Честное слово — просто невозможно. Разрешите, я в медчасть?

Она смотрела на него в упор и умоляла — отпусти, дай шанс!

Не зная еще, как она хочет этот шанс использовать, Матя сказал:

— Беги, конечно. Беги.

Слышно было, как в предбаннике она чем-то звенит, открыв ящик своего стола. Потом скрипнула вешалка — и слышен стук ее сапог. Все. Убежала. А остальные?

Матя вышел в предбанник. Альбина и Сельвинский смотрели на него.

— Шли бы вы по домам, — сказал он. Они послушно поднялись и стали собираться. Матя смотрел на них и повторял мысленно: честное слово, я не виноват, честное слово. Но вот за Раису поручиться не могу.

Они не успели уйти — обоих взяли в коридоре. Раису взяли тоже. Она, бедная, не успела застраховаться, доказать свою лояльность. Алмазов распорядился об аресте, как только вернулся к себе в управление. И заботился при том он не столько о себе, сколько о Мате. Матя был нужен, пока не взорвется бомба.

Матя вскоре узнал, что Сельвинского расстреляли в ту же ночь «при попытке к бегству». С Раисой оказалось сложнее — она была штатным осведомителем и в этой роли сидела в предбаннике у Мати. Она и была самой опасной. К счастью для Ал-

мазова, лейтенант, которому она была подчинена, сам испугался и принес ее письменные показания Алмазову. Алмазов велел отвезти ее в Устьвымлаг и внедрить там. Но по дороге машина провалилась под лед и утонула в реке. Об этом Матя тоже узнал — слухами лагеря полнятся.

А вот что случилось с Альбиной — он так и не узнал. И не стал спрашивать Алмазова. Хотя надеялся, что тот ее не убил, ведь Альбина безопасна... хотя есть ли в нашем мире безопасный человек? Впрочем, Матя ее не боялся, как не боялся и погибших своих сотрудников, потому что знал: пока он нужен Ежову и Сталину, он будет жить, а когда его надо будет убрать, то не все ли равно, в чем его обвинить — в убийстве женщины и старика или в шпионаже в пользу Троцкого?

На следующее утро Алмазов встречал нового замнаркомвнудел Вревского. Вревский был из выдвиженцев наркома, раньше сидел в провинции, и, когда Ежов подбирал себе помощников, Вревского вызвали в Москву. Вот и вся история, если не считать того, что за полгода Вревский вознесся от замзавотделом до замнаркома, — но в те времена подобные взлеты и куда более быстрые падения стали обыденными.

Алмазов поехал на станцию на своей машине, хотя от станции до штабного корпуса было всего метров триста.

Когда шесть лет назад Алмазов в поисках площадки впервые попал на Ножовку, здесь был никелевый рудник, к которому вела узкоколейка. В первый же год к объекту подтянули две нитки широкой колеи. Три поколения строителей — тысяч девять — отдали души на стройке. Но задание партии выполнили. С тех пор сменяющееся начальство приезжало с ревизиями и инспекциями в штабных вагонах и выходило на настоящий перрон настоящей станции «Полярная». Начальство менялось, а Алмазов, который отсиживался здесь, все еще оставался в живых: порой он понимал, что, усаживая в вагон очередного начальника, он провожает его на Голгофу. Вревский был новый, Вревский был близок к Ежову. Но Ежов еле держится, надеясь на удачное испытание. Тогда, он думает, его пощадят. Так же думает и Вревский.

На перроне стояла охрана — сытые парни в романовских полушубках.

Алмазов поспешил к двери вагона, которую осторожно открыл охранник.

Вревский был простоват на вид, краснолиц, брови и ресницы

желтые, почти белесые, тонкие в ниточку губы и тяжелые скулы — пришло новое поколение чекистов, от станка, из навоза, из исполнителей и палачей. Интересно, умеет ли он читать или только подписывается под приговорами, с недоброжелательством подумал Алмазов, который не знал досье Вревского — до революции следователя.

Они были с Вревским одного роста. Вревский сильно пожал руку — короткие толстые пальцы, жесткая ладонь.

Вревский пошел к машине. За ним поспешили адъютанты, помощники, охрана.

— Вы позаботитесь о моих людях? — спросил Вревский.

— Разумеется, — сказал Алмазов.

Вревский был в кожаном пальто с меховым воротником и пыжиковой ушанке, на ногах пилотские унты. Когда подошли к машине, он стал всматриваться вдаль, в сторону объекта, но ничего не мог увидеть — хоть полярная ночь завершилась, в девять утра лагерь был окутан серой мглой.

— Поедем ко мне? — спросил Алмазов. У него в кабинете был накрыт завтрак. — Позавтракаем?

— Я завтракал, — ответил Вревский, — так что предпочел бы сразу на полигон.

— Хорошо. Тогда поехали. — Алмазов был сама покорность. Про себя он отметил, что Вревский говорит интеллигентно, что не вязалось с его внешностью.

— Мне нужен ваш профессор, — сказал Вревский.

— Я сам все объясню.

— Не говорите глупостей, комиссар, — оборвал его Вревский. — Что вы понимаете в физике?

— Я понимаю в людях, — обиделся Алмазов.

— Давайте не будем тратить времени даром. Где Шавло?

Вызвать Матю было сложно — пришлось бы останавливать машину, звать адъютанта, который с гостями ехал во второй машине, посылать его в заводоуправление... Алмазов решил, что проще заглянуть к Шавло и взять с собой. О чем он и сообщил Вревскому.

— Действуйте, — ответил тот, глядя в окно машины. Хотя ничего особенного, кроме проплывающих мимо, светящихся тусклыми желтыми окнами зданий, он не видел.

Свернули к заводоуправлению. Снега в том году выпало мало, дорога была разбита, и машину швыряло, как на волнах.

— Театр начинается с вешалки, — процитировал кого-то Вревский. Алмазов не понял.

— Простите?

— У хорошего хозяина и дороги хорошие, — пояснил Вревский.

— Живем на голодном пайке, — сказал Алмазов. — Каждый человек на счету. Хочу просить вас о помощи.

— Никто не имеет столько, сколько вы, — упрекнул Вревский. — Одних рабочих по списочному составу семьдесят две тысячи.

— Вас ввели в заблуждение, — сказал Алмазов. — Это легенда. Если наберется двадцать тысяч работоспособных, можно сказать спасибо.

— А что вы с ними делаете? Кислотой травите?

Тут Алмазов впервые увидел, как улыбается Вревский. Словно не умеет, но учится. Губы разъезжаются в стороны, исчезая совсем, — вместо рта получается шрам через все лицо.

— У нас особо трудные условия, — сказал Алмазов. — Очень высока смертность.

— Небось питание и одежду получаете на семьдесят тысяч?

— Очевидно, вы еще недостаточно знакомы с системой ГУЛАГа, — возразил Алмазов. — А мы, к сожалению, в нее каким-то боком входим. Хотя бы по части обеспечения людьми и материальной частью.

— Так везде, — сказал Вревский. — Растаскивают, что государство отрывает от честных тружеников для того, чтобы преступники могли безбедно существовать.

Поднялись в кабинет Шавло. Алмазов мог голову дать на отсечение, что Шавло видел, как они подъехали, но не вышел их встретить. Маленькая месть. Ну ничего, он за нее заплатит. Алмазов за эти годы научился управляться с причудами физика.

Шавло их встретил в коридоре, у открытой двери к себе.

В предбаннике на три стола был лишь один обитатель — средних лет мужчина с тупым лицом, который неуверенно тыкал указательным пальцем в клавиши «ремингтона». Он с опозданием вскочил и щелкнул каблуками при виде двух начальников, вошедших из коридора.

— Что у тебя там за образ? — спросил Алмазов, пройдя в кабинет, словно не имел отношения к опустошению приемной.

— Вашей милостью, — ответил Шавло, отметив про себя, что Алмазов тыкает ему при посторонних, а это свидетельствует о царственном гневе.

— Ах да, — отмахнулся Алмазов.

— Вы не представили меня, — сказал Вревский.

Алмазов поднял брови в знак удивления. Ему отказал инстинкт самосохранения. Виной тому — наглость профессора.

— Вревский Иона Александрович, — сказал замнаркома, протягивая короткопалую руку. — Наслышан о ваших успехах.

Шавло пожал руку замнаркома. Тот оглянулся, куда бы сесть, — в кабинете Шавло стояли лишь жесткие шатучие стулья (еще один знак презрения Алмазова). Впрочем, никто из начальства раньше не навещал профессора в шаражке.

— Чем же прогневил вас наш сотрудник? — спросил Вревский, снимая кожаное, подбитое хорьком пальто и протягивая его Алмазову.

— Арестовал моих секретарш и помощника. Теперь на несколько дней работа встала.

— Не понравились? — Вревский обернулся к Алмазову.

— Не понравились, — ответил тот. — Были сигналы. И достаточно убедительные. Товарищ Шавло у нас бывает доверчив и наивен, как и другие крупные ученые. Он забывает, что мы работаем в окружении врагов.

— Верните сотрудников, — приказал Вревский.

— Я постараюсь, — сказал Алмазов, глядя на Шавло и улыбаясь одними губами.

Вревский внимательно рассматривал Матю. Тот ему понравился. Он не угодничал перед Алмазовым и не боялся его, хотя и прожил бок о бок много месяцев и зависел от него полностью. А Вревский перед отъездом ознакомился с делом Алмазова и понял, что не хотел бы зависеть от этого человека. Понял Вревский и беду, что обрушилась на Матю. Видно, с секретаршами его связывали не только деловые отношения. Здесь, где так мало чистых женщин, Алмазов, вернее всего, наказал его. Но в этом случае Вревский бессилен. И не станет он претендовать на нарушение монополии Алмазова. Суум квикве, каждому свое, как говорили в университете.

Алмазов выстукивал ногтями по крышке письменного стола, гневался. Зря он гневается, подумал Вревский. Это признак слабости. И если с бомбой получится, а судя по всему, это не просто утопия, Алмазову хорошо бы усвоить, что Шавло перестанет быть его рабом. Не исключено, что мы стоим сейчас в обществе великого человека, героя труда, любимца самого товарища Сталина. Ты слишком близко к Шавло, Алмазов. А я могу видеть перспективу.

— Простите, что мы так не к месту ворвались к вам. Но я назначен куратором вашего проекта и попросил бы вас провести для меня небольшую экскурсию по строительству.

Вот так. С нужной долей твердости, даже приказа. Но интеллигентно.

Шавло с приязнью смотрел на замнаркома. Простое крестьянское скуластое лицо. Резкие морщины, волосы бобриком. Светлые, пшеничные волосы, и не поймешь, тронуты ли они сединой или нет. Сколько ему лет? Наверное, под пятьдесят. На груди орден Красного Знамени. В конце концов даже по теории вероятности в НКВД должны быть и порядочные люди. Особенно после того как вместе с Ягодой полетели самые одиозные палаческие головы. Возможно, Вревский и есть новое поколение чекистов.

— Я приглашу начальников участков? — спросил Шавло, не оборачиваясь к Алмазову, будто того и не было. Мальчик ты, мальчик, подумал Вревский. Он же тебя выпорет за попытку бунта на корабле. Но это уже не мое дело. Я — высшая благородная инстанция. Я прихожу на выручку слабым и несчастным, как товарищ Чапаев на боевом коне.

— Нет, не беспокойтесь, Матвей Ипполитович. Мне достаточно вашего с Ян Яновичем общества.

— Мы можем пригласить специалистов, теоретиков, экспериментаторов. — Шавло вел себя как школьник, к которому в гости пришли товарищи, и он спешит показать им всех своих солдатиков. — У нас тут три академика есть.

— Вы для меня — три академика. — Вревский растянул в улыбке щель рта. — И по дороге вы расскажете мне, почему бомба до сих пор не взорвана.

Алмазов почернел от злобы, но пока сдерживался, хватало ума понять, что его гнев может быть истолкован против него.

— Ян Янович, чего же вы стоите? — спросил Вревский.

Вревского, юриста по образованию, человека далекого от естественных наук и техники, вовсе не удивили масштабы обогатительных комплексов и лабораторий, даже подземные ангары, в которых будут рождаться последующие бомбы. Вревский не удивился размаху строительства хотя бы потому, что за последние годы нагляделся строительных площадок похлеще этой. Он сам курировал Магнитострой, бывал в Кузбассе, под Кривым Рогом, на Хибинах — куда только не кинет судьба бойца-чекиста! Но что поразило Вревского — так это испытательный стенд.

Неизвестно, кто придумал этот термин. В конце концов термин был не хуже любого другого. Ведь бомбу следовало испытать. Не исключено, что все обещания Шавло и его сумасшедших академиков, как омолаживающая простокваша академика

Богомольца, — чистая липа. Фукнет эта бомба — и дело с концом. Тогда утрем сопли и полетят новые головы.

Конечно, и Алмазов, и его начальники предпочли бы сначала провести испытания на небольших макетах, два на два метра. Но оказалось, если верить физикам, с атомной бомбой это не проходит. Меньше чем определенная масса атомной взрывчатки ее не устроит. В руководстве НКВД на этот счет возникали большие сомнения, но ученые стояли на своем. И все проверки и перепроверки приводили к тому же прискорбному результату: для того чтобы узнать, рванет ли атомная бомба, надо сделать атомную бомбу и ее взорвать. Ни больше ни меньше.

И сделать это надо было как можно скорее. Пока Гитлер отложил работы за пределами теоретических изысканий, потому что ведущие физики-евреи удрали от него в Америку, а оставшиеся либо слабы, либо уверяют, что сделать такую бомбу дороже, чем завоевать Польшу. Так что Гитлер предпочтет завоевать Польшу — его ресурсы малы, усилия на пределе возможного. Он не может кинуть на изготовление бомбы сто тысяч человек и арестовать для этого тысячу лучших умов государства.

Но остается Америка. К ней переметнулись еврейские умы. Они ненавидят фашизм. А некоторые — коммунизм. В Америке есть мозги и есть такие деньги, о которых стране коммунизма не приходится и мечтать. И еще — у них уже есть приборы и заводы, на которых можно изготовить за месяц то, на что нам потребуются годы. Но этих лет у нас нет. Значит, надо получать оттуда. Над чем и трудится наша разведка. Хотя и ее возможности не бесконечны. Нам помогают настоящие коммунисты, патриоты, но агенты, человеческий материал, который приходится использовать, требует валюты и продажен. А активность нашей разведки ведет к провалам. Уже было несколько прискорбных провалов, и каждый заканчивался либо арестом наших людей в Германии или Америке, либо, если они убегали, — казнью дома. Людей не было, но заданий никто не отменял. Приходилось подскребывать по донышкам.

Есть сведения, что в Германии и в Америке уже встревожены, уже стараются сложить вместе кусочки странных узоров и понять, что такое изготавливают коммунисты, — мир империализма всегда настороже, всегда опасается коммунистов, своего неотвратимого противника.

Вревский, привыкший даже сам с собой рассуждать элементарно, понимал, что неудача с бомбой станет его последней неудачей. Эта бомба досталась ему как проклятие по наследству от погибших чекистов. Если все получится, лавры будут пожи-

нать военные, и лично товарищ Сталин. Если бомба провалится или спохватившиеся империалисты нас догонят и перегонят, товарищ Вревский получит пулю в затылок.

Машины остановились на высоком пологом холме, словно специально расположенном природой так, чтобы был виден с одной стороны комплекс заводов и лагерей, а с другой — испытательный стенд.

Если бы Вревский не был предупрежден и со свойственной ему обстоятельностью не изучил заранее фотографии, он бы изумился зрелищу. Но и сейчас чувство, овладевшее им, было близко к изумлению.

В километре от холма, а может, и ближе начинался город.

Это был немецкий город, аккуратный и благополучный.

Ближе к холму раскинулись какие-то склады и сараи, дальше начинались жилые кварталы — узкие кривые улицы, церковь, ратуша на небольшой площади... При внимательном изучении обнаруживалось, что город недостроен. Справа от него высились сооружения, которые не вязались с мирной европейской жизнью, — авиационный ангар, танкодром с боевой техникой, а рядом — карусели и парашютная вышка.

— Хотите поглядеть поближе? — спросил Алмазов.

— Давайте, — согласился Вревский.

Дальше пришлось идти пешком по целине — дорога была разбита. Порой по ней проползали, утопая в холодной грязи, тягачи, тянулись повозки, запряженные битюгами.

Уже на подъезде к городской окраине они догнали телегу, в которую были впряжены десятка два заключенных, — как бурлаки с картины художника Репина, они, напрягаясь, тянули груз бутового камня, рядом шли вохровцы, покрикивали на заключенных. Вревский отвернулся. Он понимал, что необходимость толкает Алмазова на столь варварские методы. Но видеть это было невыносимо. Ведь наступил тридцать девятый год, более двадцати лет минуло со дня Октябрьской революции.

— Мы беспощадны к изменникам Родины, — сказал Алмазов, словно читая неприятные мысли Вревского.

— Ладно уж, — отмахнулся Вревский. Ледяной ветер, бивший в лицо, проникал сквозь кожу и подкладку. — Ладно уж, разве я не понимаю, что вам никто не дает техники и даже гужевого транспорта, а требовать у нас все мастера.

— Точно, — сказал Алмазов.

— А вы, полагаю, научились уже не видеть? — спросил Вревский у Шавло.

— Я все вижу. — Матя встретил взгляд замнаркома.

— Это вредно, — сказал Вревский. — Это сокращает жизнь.

Внутри города все было устроено разнообразно. Некоторые улицы были замощены всерьез булыжником и торцами, другие остались грязными, жижа чуть не по колено. Город был невелик: улицы коротки, часть домов — декорации, но со стороны он выглядел убедительно. И нет смысла теперь спрашивать, кто придумал сделать такой испытательный стенд. Ясно, что идея в свое время понравилась Ягоде и не была потом отвергнута Ежовым.

Заключенные, которых охрана при виде начальства загоняла в тупики, и подворотни и подъезды фальшивого города, выглядывали как могли, смотрели на генералов НКВД в сопровождении самого Шавло — многие знали, что он директор Полярного института, но ходили слухи, что он и сам зэк, как нередко бывало. Но вот зачем этот город — мало кто догадывался. Многие верили в нелепый слух, будто этот город возводится, чтобы снимать кино из жизни германского пролетариата, который борется с фашизмом. Но другие, понимавшие нелепость киноверсии, были близки к истине, полагая, что здесь готовятся испытать новое оружие... Иначе зачем здесь такая шаражка и профессора под конвоем.

В то время, когда группа гостей и чекистов обходила городок, оказавшийся меньше, чем казалось при взгляде с холма, за ней наблюдали другие люди, которые как раз в это время вышли подышать воздухом в «обезьянник», так в шараге называли огороженную колючей проволокой прогулочную площадку на крыше массивного семиэтажного здания Полярного института. Туда были собраны со всех лагерей, а то и привезены с воли люди, которым в любой цивилизованной стране были бы гарантированы университетские кафедры или лучшие лаборатории. Только, конечно, не в Германии: среди них было немало евреев.

Шавло добыл для прогулок в «обезьяннике» двадцать тулупов. Хорошие были тулупы, настоящие, длинные. Так что гулять выходили партиями по двадцать человек.

В тот день Юрий Борисович Румер, великий математик и физик, дождался из Москвы новых целых очков — исполнилась мечта, которую он пронес через Мариинские лагеря. Румер стал выпрашивать подзорную трубу у членкора Некрасовского, который сам сделал ее в лаборатории, угробив на это списанный микроскоп. Но тот уже обещал ее Рухадзе, тому самому, кото-

рого так звал к себе Резерфорд. Рухадзе был великодушен, и Румер первым стал смотреть на полигон.

— Наш водит начальство, — неуважительно сказал Румер. Его длинные черные волосы выбивались из-под ушанки. — Идет торговля великими идеями.

— Нашими идеями! — крикнул Козлов, ненавидевший Матю, ибо не без оснований полагал, что его арестовали и посадили сюда исключительно потому, что Мате позарез нужны были высокого класса разработчики. Взяли его через два дня после свадьбы.

— Разговорчики! — прикрикнул тягач, стоявший у входа в «обезьянник».

— Рожи все новые. Значит, старых — тю-тю, — сказал Некрасовский.

— Может, по случаю прихода к власти масла выдадут. Желтого такого. Слышал? Его из коров делают, — сказал Козлов.

На крышу поднялся Баттини. Он по доброй воле приехал из Италии, чтобы помочь строить справедливое общество. Матя его вытащил из смертельного Курдалага — полгода не слезал с Алмазова, твердил, что без этого итальянца бомбы не будет. Баттини шел с тягачом, или дядей. Обычно дяди — сопровождающие и следящие за каждым шагом офицеры НКВД — ходили за учеными в шараге лишь на испытаниях или когда работа требовала общения с вольными. Но за некоторыми, например за Баттини, дядя ходил всегда.

— Господа, — сказал Баттини, который за шесть лет скитаний по лагерям потерял глаз, зато неплохо выучил русский язык. — Есть секретные известия. Установлен окончательный срок: девушка Мария должна лишиться невинности четвертого или пятого апреля текущего года.

— Молчать! — закричал дядя. По тишине, наступившей на крыше, он понял, что его итальяшка выдал какую-то секретную информацию, за что он, лейтенант Пустовойт, может пострадать.

Матя Шавло показал Вревскому направо — там виднелся прямой проход между строящимися домами — наружу, в поле, к длинным фермам и теплицам, пока еще не застекленным, да и мало было надежды на то, что стекло успеют сюда завезти.

Вревский почему-то поднял голову и увидел, что молодой изможденный зэк в разорванном и кое-как зашитом ватнике и в ушанке с оторванным ухом, словно у драчливого пса, ввязавшегося в драку, замер, глядя на него с лесов. К спине зэка была

прикреплена доска с грузом кирпичей. Веревочные лямки были завязаны на груди.

Лицо зэка было знакомо.

Ничего в том не было удивительного. И до революции, и в революцию, и после нее Вревский встречал тысячи людей, и сотни имели основания смотреть на него злобно.

Вревский обладал отличной зрительной памятью. Но зэк был грязен, голоден, обморожен. И узнать его было очень трудно — надо было услышать его голос.

Вревский не стал останавливаться, хотя сердце его кольнула тревога. Надо бы сказать адъютанту, чтобы выяснил, кто этот зэк. Вревский даже приостановился, чтобы отдать распоряжение, и посмотрел назад и наверх. Но зэка уже не было. Ушел.

— И как ваше впечатление? — спросил Алмазов.

— Сейчас вернемся, и вы мне все расскажете, — сказал Вревский.

Они вышли к «парашютной» вышке, на вершине которой и уляжется «Маша». Это произойдет за день до испытаний.

Там Шавло объяснил, каким образом будет взорвана бомба. Потом все сели в поджидавшие аэросани.

Андрей Берестов смотрел на то, как Вревский садится в сани, с верхнего яруса лесов, теперь уже невидимый бывшему следователю. Наверное, ему повезло, что Вревский его не узнал. Узнавши, не оставил бы в живых. Вряд ли ему нужны свидетели его дореволюционной следовательской деятельности. Генералы НКВД должны быть выходцами из народа. И хоть в секретном деле Вревского лежала его подлинная биография, никто, кроме тех, кто держал его на поводке, не подозревал, что этот каменный большевик начинал в Симферополе как царский следователь. И если на пути Вревского попадался кто-то из старой жизни, он был обречен.

Чекисты расстались с Шавло у ворот в колючей проволоке. За ними был пустырь, за пустырем шарага. Вревский полагал, что Алмазов отвезет профессора обратно. Ведь тот оказался здесь не по своей воле. Но Алмазов молчал. Шавло тоже был удивлен, но просить не стал. Уже совсем стемнело, и прожектора и фонари разбрасывали вокруг неровный, неверный и нервный свет.

От небольшой группы чекистов, что стояли у ворот и ждали начальство, по знаку Алмазова отделился командир в романовском полушубке.

— Проводишь, — приказал Алмазов.

Шавло поежился. На нем было иностранное поношенное демисезонное пальто. Видно, купил когда-то в своей Италии и не думал, что оно окажется последним. Впрочем — Вревский мотнул головой, изгоняя неприятную мысль, — почему же последнее? Мы еще войдем в этот самый Рим и возьмем у них все, что понадобится победившему пролетариату. Вревский уже привык мыслить штампами — так безопаснее.

Шавло не стал прощаться.

Это была маленькая демонстрация. Он быстро пошел через неровное снежное поле, по которому мела поземка. Чекист потопал сзади.

Вревский посмотрел на Алмазова. Тот пожал плечами и сказал:

— Черт с ним, все они такие. Сколько волка ни корми...

...Шагая по снегу, проваливаясь в покрытые тонким ледком лужи на разбитой дороге, Шавло проклинал Алмазова и всю эту чертову власть, которая так обманула его, проклинал себя, который ей так легко доверился, а может, слишком испугался. Ну ничего, не сегодня завтра он взорвет бомбу. И тогда Алмазов — именно Алмазов из всех людей на свете — окажется его наградой. Он так и скажет: я не хочу никакой награды, я хочу голову Алмазова...

Матя посмотрел вперед — над ним нависал, хоть было до него еще далеко, главный корпус института. Семь этажей, а наверху «обезьянник», по которому иногда гуляет с коллегами и он, показывая этим, что мало чем от них отличается, — и самое интересное, многие этому верят. За зданием установлен сильный прожектор, вечером или полярной ночью он то и дело елозит лучом по небу, создавая светящийся, мутный фон, на котором четко выделяется квадрат дома и точки — человечки в «обезьяннике». Они наверняка видели, что Шавло водил по полигону чинов из НКВД. У физиков есть неплохая оптика — там же Некрасовский, оптический гений. Значит, они сейчас видят, как их руководитель, дрожа от холода, топает по снегу под конвоем. Пускай. Может быть, напишут воспоминания. И кто-нибудь зачитает их при вручении Матвею Шавло Нобелевской премии.

— Смотри, — сказал Румер, возвращая Некрасовскому подзорную трубу, — наш Матя идет яко посуху.

— Недостаточно услужил, — ответил Козлов. — Научится себя вести, в следующий раз привезут домой в «ЗИСе».

Кто-то засмеялся.

Тягач, стоявший у решетки, крикнул, чтобы собирались, шли вниз, следующая смена ждет прогулки.

Алмазов отвез высокого гостя к себе. Пока они осматривали испытательный стенд, в столовой его каменного дома, стоявшего поодаль от объекта, в пределах бывшего районного центра, был накрыт обед. Обед готовили в двух вариантах — на всю здешнюю верхушку НКВД и на двоих — Алмазова и гостя. Еще по дороге Алмазов выяснил у Вревского, какой обед он предпочитает. Вревский сказал — скромный. Тут же вперед был послан нарочный: чтобы верхушка разувалась и отдыхала. Сегодня пусть пьют по своим квартирам.

Мебель в доме у Алмазова была хоть и не единая по стилю, но мягкая, большей частью старинная, конфискат. Мебели было много, мог бы поделиться и с Шавло. Впрочем, поправил себя склонный к справедливости Вревский, мы не были у Шавло дома. Он не знал, что Матя спал в закутке за своим кабинетом. Но по сравнению с «дортуарами» ученых это был дворец, потому что он давал уединение и туда можно было привести женщину.

Сервиз у Алмазова был красивый, с синими узорами, мейсенский. Вревский в этом разбирался. Он похвалил сервиз. Алмазову было приятно, словно сервиз не был конфискатом, а достался ему по наследству от дядюшки.

Они выпили по первой, за знакомство, потом, хоть и были вдвоем, — за товарища Сталина. Затем еще один тост обязательный, за отважного наркома НКВД товарища Ежова. Алмазов наливал Вревскому, но не спешил. В хороших правилах было наливать гостю столько же, сколько и себе. Если ты спешишь подлить гостю, значит, хочешь его споить, а если не в очередь долил себе, значит, жаден и склонен к пьянству. Чекисты пили правильно, не спеша, хорошо закусывали. Вревский, разумеется, не обезоружился перед малознакомым и не очень приятным Алмазовым, но помягчел. У них общая цель — угодить Родине.

— Вы для образца взяли какой-нибудь немецкий город? — спросил Вревский. — Для полигона?

— Вы имеете в виду испытательный стенд? Моя идея. Уникальному оружию — уникальный полигон.

На самом деле идея сделать полигон в виде немецкого города принадлежала Мате, и ему бы не получить на нее одобрения, если бы она не понравилась предыдущему, уже расстрелянному наркому Ягоде.

— Так когда же испытания? В Москве ждут.

— Я знаю. Сам уже извелся. Я же здесь без отпусков, фактически в добровольной ссылке. Вы кушайте, Иона Александрович.

— Вы мне сообщите срок испытаний? Вы же переносите его третий раз. Это может для вас плохо кончиться.

— Вы видите, как нам трудно!

— Хватит мне мозги полоскать! Говорите прямо — когда? Вам Родина дала все — и людей, и средства. А вы саботируете!

— Мы уложимся в срок.

— Первого апреля?

— В первых числах апреля. Мы уточним.

— Советую уточнить окончательно. Думаю, что сам Николай Иванович приедет на испытания.

— Я рад, что наш нарком найдет для этого время, — сказал Алмазов после паузы. Новость была опасной. В случае неудачи потерявший над собой контроль Ежов может расправиться с виноватыми и невиновными на месте.

Выпили еще. Алмазов сходил на кухню, сам взял там у сержанта-повара отбивные и принес в комнату. Вревскому не хотелось есть.

— Слушайте, Ян, нам крайне нужна сейчас бомба, — настойчиво произнес он. — После того как мы ликвидировали преступную шпионскую группу в армии, среди наших врагов поднялись крики о том, что наша армия сильно ослаблена.

— Какая чепуха! Мы же избавились от них именно для того, чтобы укрепить РККА! — театрально возмутился Алмазов.

— Налей, — попросил Вревский. Последнее время он стал много пить. Он боялся, что его арестуют и убьют. Что вот такой черноглазый, рано и красиво седеющий на висках Алмазов будет бить его ногами. А ведь будет бить!

Кто же тот молодой зэк, который так смотрел на него? И тут Вревский вспомнил: Андрей Берестов. Конечно же, дело об убийстве Сергея Серафимовича Берестова в пятнадцатом году в Ялте. Так и не раскрытое. Смотри-ка, как ты только ни скрывался от меня, как ни бегал, а кончил в Испытлаге! Смешно. Нет, ты мне, голубчик, не опасен. В делах управления кадров НКВД лежит моя биография, в которой сказано все что надо. Так что Андрей Берестов мне не страшен, хотя когда они решат меня убрать, то мою работу царским следователем мне поставят лыком в строку. Формально именно за это меня и будут судить... И отыщут этого Берестова, и сделают его свидетелем или участником заговора, который я возглавлял... Вревский уже выстроил собственный процесс и уже вынес себе приговор. И ненавидел всех — и карлика Ежова, и усатого таракана Сталина, и, конечно, этого чистильщика сапог Алмазова, и Берестова, из которого выбьют показания против Вревского...

— Иона Александрович, вы меня слышите? — Голос Алмазова пробился сквозь пласт мыслей, замешенных на водке.

— Слышу, куда я денусь?

— Вы мне говорили о международной обстановке. — В голосе Алмазова звучали собачьи нотки.

— В Испании у нас не все получается. Там тоже обнаружилось много вредителей. Сейчас отзываем и ликвидируем. Тем более что Франко пользуется открытой поддержкой международного фашизма и империализма. И фашизм, и невмешательство — все против нас.

Алмазов покорно кивал — пай-мальчик. Никогда раньше не слыхал!

— Нам нужна короткая победоносная боевая кампания, которая показала бы всему миру нашу силу, силу РККА, силу рабоче-крестьянского строя.

— А есть уже идеи? — спросил Алмазов.

Отбивные остыли. Алмазов был зверски голоден, но не смел есть мясо, раз Вревский к нему не прикоснулся.

— Важен масштаб конфликта и его международный эффект.

— Может, на Дальнем Востоке? — спросил Алмазов.

— Оттяпать у японцев какую-нибудь сопку и протрубить на весь мир? Мелко мыслишь, Алмазов. Лучше мне налей. Мы хотим ударить больнее.

— Германия?

— Ты учти, Алмазов, — сказал спокойнее Вревский, — мы — мирный бронепоезд, стоим на запасном пути. И экономика у нас мирная. Так что влезать в долгую позиционную войну не имеем права перед нашим народом. Один удар, второй удар... так, чтобы пролетариат Запада, видя силу наших войск, поднялся против империализма. А ведь ждет нас пролетариат... ждут наши братья.

Алмазов кивнул.

— Чего киваешь? Не согласен?

— Наоборот. Именно для этой цели мы жертвуем своим трудом и здоровьем.

Шеф военной разведки адмирал Канарис и Шелленберг приятельствовали настолько, насколько это было допустимо на вершине власти в Берлине. В тот четверг они сговорились покататься верхом в Трептов-парке, но погода выдалась отвратительная, налетел косой дождь со снегом, что редко бывает в мартовском Берлине; впрочем, в ту весну все перепуталось, и, как за-

метил адмирал, даже забывчивые старожилы такого не помнили.

Чтобы не отказываться от намеченного свидания — ведь верховая езда была лишь предлогом для встречи, хоть и подчеркивала склонность руководителей военной и эсэсовской разведок друг к другу и противостояние их партийным провинциальным неучам, — они решили съездить на ленч в ресторанчик на берегу Зеддинзее.

Так как господа не готовились к ленчу заранее, они позволили себе явиться в ресторан в костюмах для верховой езды, тем более что «Ментона» была местом уединенным, спокойным, лишних там не бывало.

— Одна из причин, почему Мюллер не выносит вас, Вальтер, — сказал Канарис, осторожно пробуя белое вино, — это его собственный комплекс неполноценности.

— Ему не пришлось учиться в школе, — улыбнулся Шелленберг.

Канарис подумал, как тот чертовски молод, элегантен и при том незаметен, как внимательно он умеет слушать. Я, старая боевая лошадь, готов и хочу попасться на эту удочку, даже зная отлично, что он продаст меня Гейдриху, сегодня же вечером, изложив во всех подробностях нашу беседу, ведь он боится, не установил ли Гейдрих подслушивающего микрофона под этим столиком.

— Я бы тоже предпочел сейчас ехать верхом, — сказал Канарис. — В лошадь трудно воткнуть микрофон.

— Случилось что-нибудь серьезное? — спросил молодой шеф внешней разведки СС.

— Каждый день случается что-нибудь серьезное.

Канарис отпил из высокого бокала. Вино было хорошее, французское. Преимущества мира с Францией заключались в том, что такое хорошее вино доставалось лишь достойным людям. Если оно станет трофеем, его будут пить фельдфебели.

— Гейдриха решено осчастливить Богемией, — сказал Шелленберг. — Но он не оставит своего поста здесь.

Он чувствовал, что Канарис намерен сообщить нечто важное, но, не имея привычки делать подарки, прикидывает, что может получить взамен.

— Я намерен направить записку Гиммлеру, — сказал Шелленберг. — Я убежден, что ваши источники резко занижают военный потенциал Советов. В частности, вы с презрением пишете об их новых танках. Это хорошие танки.

— Может быть, — слишком легко согласился Канарис. — Я как раз думал о Советах. Что особенного сообщают ваши агенты?

— Особенного? Я бы сказал, там царит затишье.

— Политическое?

— Да. Готовятся перемены в Государственной безопасности.

— Я и без вас, Вальтер, знаю, что Ежов дышит на ладан, а Сталин готов кинуть его на съедение волкам Берии. Но не странно ли, что он все еще держится? А подобные доклады и предсказания мы получаем с начала тридцать восьмого года.

— Сталин непредсказуем. Он — политический гений.

— Осторожнее, Вальтер. Политический гений в современном мире только один. Второму нет места.

Шелленберг по-юношески смешался — тонкая кожа щек зарделась.

— Я не имел в виду фюрера, — сказал он. — Это несоизмеримые величины.

— Разумеется. Тогда скажите мне, коллега, что вы слышали о русском Институте полярных исследований? Или, короче, Полярном институте?

— В первый раз слышу, — сказал Шелленберг.

— Один из моих агентов, — сказал Канарис, — был заключенным в лагере, на Полярном Урале. В исключительных случаях мы идем на это — малый срок, уголовное преступление, ничего политического.

— Вы счастливый человек, адмирал, — сказал Шелленберг. — Я был бы счастлив иметь агентов, готовых идти в сталинский концлагерь.

— Он возвратился.

— И что же? — насторожился Шелленберг. — Ежов открыл еще три лагеря? Или расстреляли еще сто тысяч кулаков?

— Всего один лагерь. И называется он Полярный институт.

— В Ленинграде есть Арктический институт или что-то в этом роде.

— Институт, о котором я говорю, существует уже пять или шесть лет. Представьте себе, Вальтер, в тундре, поблизости от Ледовитого океана воздвигнуты здания научных корпусов, складов, туда подведена железная дорога.

— Одноколейная линия проходит вдоль всего Урала.

— Не перебивайте меня, Шелленберг. Дело, о котором я говорю, настолько важно, что вам стоит выслушать меня без улыбок.

Принесли мясо. Пришлось замолчать. Шелленберг был встревожен. И не столько тем, что в тундре у Советов оказался какой-то завод или склад — не первый и не последний. И чем дальше они запрятаны в тундру, тем меньшее влияние они смогут оказать на будущий конфликт. Шелленберга больше интересовали склады и заводы у западной границы России. Хотя он не был настолько наивен, чтобы игнорировать неизвестное и тайное строительство в зоне вечной мерзлоты.

— Вы давно знаете об этом? — спросил Шелленберг. И в вопросе уже содержался упрек военной разведке, которая, как всегда, утаивала важную информацию от партии.

— Я потерял не одного агента, стараясь добраться до этого института.

— Значит, вы знали давно.

— Я не знал. Я имел основания подозревать. Уже два года меня смущает это строительство.

— Если бы вы поделились со мной раньше, мы бы объединили усилия и давно туда добрались.

— Вы сами проговорились, коллега, что у вас нет агентов, готовых отправиться в большевистский лагерь.

— Это была фигура речи.

— Отлично сказано! Вы были выдающимся учеником в гимназии!

— Вы не ответили на мой вопрос.

— Только не раздражайтесь. Вы отлично понимаете, Вальтер, что с моей добычей я уже могу идти к фюреру и пожинать плоды моих трудов. Но я обращаюсь к вам, так как полагаю, что в таком важном деле нам следует объединить усилия. Именно нам с вами. Без Гейдриха и даже без Гиммлера.

— Это исключено.

— Я знаю, что исключено. И тем не менее дослушайте меня до конца. Вы, надеюсь, отдаете мне должное и почитаете меня умным человеком.

— И очень хитрым, — вежливо улыбнулся Шелленберг.

— А жаль, я боюсь за хитрых людей, — ответил Канарис. — Обычно они кончают тем, что умудряются перехитрить самих себя. Ешьте, остынет.

Минуту или две они ели в молчании.

— Не беспокойтесь, — сказал Канарис, заметив, что Шелленберг присматривается к официанту, меняющему тарелки. — Вы здесь давно не были. Я выкупил ресторан для своего ведомства. Здесь не бывает ненужных людей. Именно поэтому он от-

крыт в такое неподходящее время года и тем более в такую отвратительную погоду. — Канарис повернулся к окну, их отделяли от ненастья тяжелые шторы.

— Что же необыкновенного в Полярном институте?

— Итак, повторим, — сказал Канарис. Он дотронулся наманикюренным ногтем до четкого пробора. — На Полярном Урале среди вечной мерзлоты строятся семиэтажные корпуса института, туда проводится широкая колея, туда стянуты заключенные нескольких больших лагерей. Там... — Канарис перевел дух и тихо спросил: — Хотите посмотреть фотографии?

Шелленберг кивнул.

Фотографии были маленькие, стопка умещалась в кармане адмиральского кителя.

— Миниатюрная камера, — сказал Канарис. Словно просил прощения.

На первых фотографиях можно было различить большие дома — словно стоявшие не в тундре, а в средней полосе России. Бесконечные склады, вагоны на путях...

— Вы уверены, что все это снято именно там?

— В голой тундре! Рядом с Ледовитым океаном. Но это еще не все!

Шелленберг посмотрел на следующую фотографию и произнес, отодвигая ее к Канарису:

— Это что, рождественская открытка?

— Снято рядом с институтом.

— Что?

— Я не шучу. Ради одной этой фотографии стоило посадить в сталинские лагеря половину моих агентов. Вы понимаете, что это означает?

— Откровенно говоря, я растерян.

— Трудно поверить в то, что не укладывается в привычные рамки. Но я даю слово старого офицера — в Советской России, в снежной тундре построен не только промышленный комплекс, но и самый настоящий немецкий городок. Да, да! С кирхой, с ратушей...

— Не может быть! Этим домам по пятьсот лет!

— Проняло? — Канарис наслаждался растерянностью коллеги. Он щелкнул пальцами и приказал официанту: — Кофе!

— Зачем это там построено? — спросил Шелленберг.

— Задайте мне вопрос полегче, Вальтер. Но я могу сделать одно реальное предположение: этот городок построен, потому что Сталин готовится к войне с Германией.

— Почему? — Голова Шелленберга работала не столь быстро и ясно, как хотелось. Он знал за собой этот недостаток — тупость в критические моменты. Поэтому он, хороший ученик, не раз проваливался на экзаменах.

— Зачем иначе идти на колоссальные расходы и строить именно немецкий город?

Шелленберг молчал. Он не знал ответа на этот билет.

— Затем, чтобы взорвать его к чертовой бабушке! Именно немецкий город, именно взорвать! — выкрикнул Канарис.

— Нет, — сопротивлялся Шелленберг. — Это слишком дорогое удовольствие для русских...

— Это мы, немцы, можем рассуждать об экономии. А Сталин не знает такого слова. Если ему надо построить в тундре город, он просто приказывает. Если для того, чтобы построить город, надо убить двадцать тысяч человек, заморить голодом еще миллион, он сделает это, не моргнув глазом. Для него нет ограничений. И если русские разрабатывают сейчас новое секретное оружие, чтобы уничтожить Германию, Сталину может доставить наслаждение провести испытания именно на немецком городке.

— Эти дома из фанеры? — спросил Шелленберг.

— Мой агент принимал участие в строительстве городка. Там все натуральное. Знаете, как его называют заключенные?

— Разумеется, нет.

— Его называют Берлином. Смешно?

— У меня возникла одна идея, — сказал Шелленберг. — Вы же сами сказали, что Сталин непредсказуем. Допустим, что он решил создать там зимний туристический центр...

— И строить его в строжайшей секретности? Чушь!

— Тогда для нас самое важное, — сдался Шелленберг, — узнать, что это за оружие.

— Великолепно! И у меня есть некоторые соображения по этой части. Для чего мне надо подключить к работе вашу русскую агентуру из управления А-6.

— Я должен буду доложить об этом шефу.

— Нет, Вальтер, вы не будете об этом докладывать, — твердо возразил Канарис.

Принесли кофе, ликер и любимое печенье сладкоежки Шелленберга. И тот испытал благодарность к адмиралу.

— Почему я не буду докладывать? — спросил Шелленберг.

— Потому что когда мы с вами будем готовы, то выйдем с совместным докладом к фюреру. Если вы доложите об этом Гейдриху или даже Гиммлеру, вы получите выговор за то, что так отстали

от военной разведки. И докладывать Гитлеру будет кто угодно, но не вы, вы же потеряете на этой истории и пост, и карьеру, и доброе имя. — Канарис протянул холеные пальцы через стол и дотронулся до руки Шелленберга. — Вальтер, я искренне симпатизирую вам. И не хочу вашей гибели. Если в ближайшие месяц-два ваши агенты не смогут найти сведений, к которым не нашли хода мои люди, вы погибли. Если мы с вами сделаем все сообща, вы сможете занять место Гейдриха, а он пускай остается протектором Богемии и Моравии. И Бог ему в помощь.

Канарис не спеша допил кофе и поставил чашечку на стол.

— Что же должны узнать мои агенты? — спросил Шелленберг.

— За последние годы Сталин арестовал тысячи и тысячи ученых. Но, как вы знаете, Вальтер, далеко не все они гниют в лагерях. Большинство продолжают работать за решеткой. И это коммунистам выгодно — они имеют рабов, благодарных им за то, что живы.

— Не говорите об этом Гиммлеру, — улыбнулся Шелленберг. — Он умрет от зависти.

— Мы далеко отстаем в масштабах и цинизме... Хотя, допускаю, догоним. Если ввяжемся в большую европейскую войну.

— Фюрер не допустит этого. Он величайший мастер ходить по острию ножа.

— А когда он поскользнется, то угодит на лезвие яйцами, это очень больно.

Шелленберг отвернулся, скрывая улыбку. В своих шутках Канарис заходит слишком далеко. И не хочет понимать, что дозволенное адмиралу не дозволено молодому подчиненному Гейдриха.

— Вся логика нашей империи, — продолжал Канарис серьезным голосом, — толкает нас к войне. Вы знаете Чехова?

— Это русский писатель?

— Правильно. Мюллер никогда о нем не слышал. Чехов писал где-то, что если в первом действии драмы на стене висит ружье, то в четвертом акте оно должно выстрелить. Мы живем в стране, где ружье слишком давно висит на стене. Мы вооружены куда сильнее, чем нужно для аншлюса. Фюрер воображает себя мессией. Он безусловно втянет нас в войну.

— Не с кем, — осторожно возразил Шелленберг.

— А Польша? А Греция? А Югославия? Гитлер презирает эти народы. И полагает себя безнаказанным. И потому он пойдет на Восток. Сталин тоже знает об этом. Он страшится измены в своем лагере, но еще больше страшится нас.

Канарис был циничен, он был циничен даже по отношению к фюреру, и это претило Шелленбергу, который понимал, что рано или поздно цинизм Канариса, его показная беспартийность приведут его к измене. И тогда надо будет держаться от него подальше.

— Мы отошли от основной темы, — мягко, но со скрытым упреком сказал Шелленберг.

— Вы правы, коллега, — ответил Канарис. — Все слишком завязано в один клубок. Так вот, помимо ученых-физиков, которые арестованы, так сказать, естественным путем, за пересказанную сплетню или плохое социальное происхождение, по моим сведениям, есть большая группа физиков и близких по специальности ученых и инженеров, которые были изъяты из своих институтов за последние пять лет без всякого суда. Кто они, что о них известно, кто из них вернулся... это должны узнать ваши люди.

— Вряд ли это возможно.

— Возможно. У этих профессоров и инженеров остались семьи. Я допускаю, что они каким-то образом поддерживают отношения.

— Почему именно физики?

— К сожалению, я не могу сейчас прочесть вам, мой юный друг, лекцию об атомной физике, но я обязательно пришлю вам папку, Вальтер, а вы обещаете мне прочесть ее сегодня же ночью. Это изумительно интересное чтение. Некоторые физики подозревают, что мы имеем дело с оружием будущего, с ужасным оружием, мой друг.

— Почему его нет у нас?

— Потому что у Сталина нашлись головы, которые догадались об этом, и нашлись лишние сто тысяч рабочих рук, чтобы все это сделать. Я хотел бы ошибиться, но боюсь, что я прав.

— Что еще должны сделать мои агенты?

— Проверить, как действуют урановые рудники в России и не закупала ли Россия уран, пусть через подставных лиц, на мировом рынке.

— Почему именно уран?

— И третье, не менее важное: поднимите всю вашу агентуру в Америке, чтобы выведать, чем занимаются физики, сбежавшие из рейха. И их еврейские друзья.

— Почему именно они?

— Эти люди имеют все основания бояться и не любить нас. Значит, быть нашими врагами.

— Это потребует времени, мой друг.
— Времени у нас нет, Вальтер.

18 марта Вальтер Шелленберг доложил Гиммлеру о том, что, по сведениям его агентуры в России, русские разрабатывают новое оружие, вернее всего — основанное на разложении атомов. Гиммлер сначала не понял, что это за оружие, и решил, будто речь идет о новых отравляющих газах. И потому приказал Шелленбергу представить письменный доклад, который рейхсфюрер СС изучит на досуге. Теперь наступило время сделать решительный ход. Шелленберг не любил осложнений и с отвращением воспринимал неудовольствие начальства. Он всю жизнь старался быть хорошим, но незаметным учеником.

— По моим сведениям, — сказал он, глядя на ковер, которым был устлан пол в кабинете шефа, и прослеживая медленным взглядом сложный персидский завиток, — военная разведка тоже вышла на эти данные.

— Не исключаю, — буркнул Гиммлер, видно, думая уже о другом. — В конце концов они должны иногда работать.

— Адмирал настолько встревожен, что послезавтра идет на прием к фюреру...

Шелленберг не поднимал глаз, потому что знал — Гиммлер уже уперся в него сверкающими стеклышками пенсне и встретить его взгляд означало выдать свою хитрость — Шелленберг не выдерживал взгляда рейхсфюрера.

— Когда его принимает фюрер? — спросил Гиммлер.

— Послезавтра, — ответил Шелленберг.

— Мы должны доложить раньше, — быстро сказал Гиммлер.

— Завтра воскресенье, господин рейхсфюрер, — напомнил Шелленберг. — Фюрер намерен провести его в Оберзальцберге.

— Так какого черта вы тянули с докладом, Шелленберг! Вы что, не могли ко мне прийти на день раньше? Или хотя бы предупредить меня. — Гиммлер быстро поднялся с кресла и, обойдя стол, навис над Шелленбергом. Тот вскочил, всем своим видом изображая раскаяние. — Вы думаете, я не знаю, что все это значит? — Гиммлер побледнел от гнева. — Я все знаю! Вы спелись с Канарисом! На лошадях катаетесь? В лесу? Чтобы никто не подслушал, как вы планируете измену рейху?.. Молчать!

Гиммлер поднял трубку белого телефона — прямая связь с рейхсканцелярией. Но фюрер уже уехал — дорога была плохая, кортеж не мог двигаться достаточно быстро, поэтому Гитлер ре-

шил покинуть Берлин чуть пораньше, о чем Шелленберг был осведомлен.

Гиммлер бросил трубку.

— Что вы скажете в свое оправдание? — спросил он, словно Шелленберг должен был высказать последнее желание перед неминуемой казнью. Но Шелленберг по тону шефа уже понял, что гнев стихает.

— В тот момент, как я проанализировал информацию, я тут же отправился к вам.

— И долго анализировали?

— Честно говоря, — вздохнул Шелленберг, — я недостаточно разбираюсь в физике. И если бы не поспешность адмирала Канариса, я бы, может, и сегодня к вам не пришел.

— Вот именно! В этом и есть ограниченность моих сотрудников. Вместо того чтобы обратиться к тем, кто компетентен в данном вопросе, они предпочитают глядеть по сторонам, и в результате плоды пожинают посторонние. Вы меня поняли, Вальтер?

«Они все называют меня Вальтером не потому, что подчеркивают этим нашу близость или равенство, а наоборот, чтобы показать, что я в их глазах мальчишка».

Так как было очевидно, что Шелленберг все понял и раскаивается, Гиммлер отпустил его, сказав, что постарается получить аудиенцию у фюрера по крайней мере вместе с Канарисом, если уж не удастся сделать это раньше.

Что и требовалось доказать.

Адольф Гитлер подошел к карте мира, висевшей на стене его кабинета в рейхсканцелярии.

Кейтель, обогнав его, ткнул указкой в точку, о которой шла речь в докладе Канариса, в подтверждении его, сделанном Гиммлером.

Эта точка лежала в столь безбожном отдалении от всех прочих мест и городов Земли, что угроза, исходившая от нее, казалась абстрактной и ненастоящей.

Фюрер смотрел на карту. Остальные молчали.

Во время всего доклада и популярных разъяснений Канариса о сущности ядерного распада Гитлер казался невозмутимым и ничем не показал своего отношения к событиям. Потом спросил, а что делается по этому вопросу в Германии. Срочно вызванный в рейхсканцелярию Шахт сообщил, что ничего, за исключением теоретических исследований. Канарис уточнил, что это объясняется

массовым отъездом физиков из рейха, поскольку большинство из них евреи.

— Понятно, — сказал тогда Гитлер.

— Они оседают во Франции или в Америке.

— Больше в Америке. Это еврейская империя, — сообщил фюрер.

Никто не оспорил этого заявления.

— И в Америке наверняка уже делают такую же бомбу, — сказал Гитлер. Он не спрашивал, он утверждал.

— Мы мобилизовали всю нашу агентуру, — сказал Гиммлер. — Записка о том, кто и где работает над этой проблемой, уже практически готова. Но насколько мы знаем, практических результатов и даже общей государственной программы у американцев пока нет.

— Завтра они узнают о русских, послезавтра примутся за дело, а через три дня всех обгонят. Когда мы можем начать нашу программу?

Фюрер обернулся с этим вопросом к Гиммлеру.

— Мы уже созвали ученых в Берлин. Завтра я встречаюсь с Гейзенбергом. Это мировая величина.

— Правильно, — согласился Гитлер. — Покажите мне еще раз на карте...

Он долго разглядывал точку на карте. Все молчали.

— Любопытно, — сказал он, прослеживая взглядом линию, соединяющую Берлин и Полярный Урал. — Сколько потребуется нашему самолету, чтобы долететь туда и возвратиться обратно? Ты меня слышишь, Герман?

— Это непростой перелет, — ответил Геринг. Он был в новом серо-голубом мундире рейхсмаршала авиации. Воротник был немного туговат, и оттого шея стала красной и щеки тоже потемнели. — Скорее всего, это самоубийственный перелет.

— Почему?

— У меня нет самолета, который мог бы долететь до Урала и вернуться.

— А у русских есть! У литовцев, у ничтожных литовцев есть! Все летают чуть ли не вокруг Земли — лишь рейхсмаршал Геринг таких машин не имеет. Тогда вызовите мне из Америки Линдберга — он мне нравится. Славный парень и настоящий ариец. Пусть прилетает со своим самолетом.

— Какую цель вы ставите нам, мой фюрер? — спросил Геринг, будто и не было первоначального отказа.

— Самую простую — долететь до места, сфотографировать

с воздуха и благополучно возвратиться! — Фюрер говорил тоном учителя, давно уже разочаровавшегося в своих учениках.

— Это бессмысленно, мой фюрер, — отважно бросился в бой Геринг. — Для того чтобы сфотографировать этот объект, мы должны будем рассчитать полет таким образом, чтобы машина оказалась над объектом днем. А днем не только фотограф видит свою цель, но и цель видит фотографа.

— Пускай его увидят, — сказал Гитлер. — Мне важно, чтобы он вернулся.

— Я сегодня же поговорю с генералом Мильхом, — задумчиво произнес Геринг. — Мне кажется, я нащупал одну идею...

— Я даю тебе время до завтра, Герман, — сказал фюрер. — И учти, что это будет не последний такой полет. — Гитлер обернулся к руководителям разведки:— Вам же я приказываю считать этот проект русских опасностью номер один. Не возражай, Генрих, — эти слова и жест предназначались для желавшего что-то сказать Гиммлера. — Моя интуиция говорит о том, что именно там, у полюса, и зарождается великое столкновение космических сил. Лед и пламя! Мы должны хранить холод!

Фюрер отпустил всех. Он был озабочен проблемой, представлявшей в его глазах куда большее значение для судеб мира, чем возможная и даже желанная война с большевизмом.

Уже давно было известно о возникновении при манипуляциях с радиоактивными веществами опасного излучения. Оно могло быть смертельным, оно могло быть мгновенным и длительным, как эманации радия, оно могло стать дополнительным фактором бомбы.

Матя не раз напоминал Алмазову, что необходима отдельная биологическая лаборатория, но по каким-то неведомым Мате причинам Алмазов сопротивлялся, утверждая, что этим занимаются в специальном институте. «Наше дело рвануть — а про всякие лучи они понимают лучше нас».

Ничего не добившись от Алмазова, да и не будучи достаточно настойчив, Шавло все же уговорил Александрова выделить для исследований хотя бы двух человек из его лаборатории. У Александрова же не хватало людей, а те, что были, часто болели, потому что Алмазов не соглашался завозить сюда овощи и давать витамины. Академикам — ладно, но просто сотрудникам института, которых несколько сот, — никогда! «Голодные злее будут». Так что, хоть в шараге и было получше, чем в лагере, люди болели и умирали.

Алмазов, не желая тратить время на радиационную защиту, поступал по глубокому убеждению, что невидимого не существует. Это было частью его стихийного, а затем укрепившегося на полях гражданской войны атеизма. И уверения Шавло в существовании невидимой опасности он воспринимал как очередную хитрость директора института, желавшего за государственный счет улучшать кормежку своих людей и увеличивать штаты. Даже ссылка на рентгеновские лучи, которые просвечивают человека насквозь, на Алмазова не производила должного впечатления. «Так ты завтра и фотоаппарат объявишь вредным», — сказал он.

Где-то, что-то он докладывал, где-то в других институтах НКВД кто-то занимался проблемами радиации, но здесь, в Полярном институте, Шавло с трудом добился согласия своего же подчиненного на дополнительные опыты. Впрочем, Матя подозревал, что и Александров, и Франк отлично осознают опасность радиации, но не хотят рисковать ни собой, ни товарищами. В конце концов Александров сдался и выторговал под этот проект новые валенки к Новому году для всех сотрудников, а также получил и электрика, который был нужен, чтобы по описаниям и привезенным из Германии расчетам сделать счетчик Гейгера — такой, чтобы его можно было носить с собой.

Шавло заглянул в радиационную группу в середине марта. Группа размещалась в подвале, в сырости и холоде — Александров к себе наверх ее не допустил. В узком длинном подвале работала стационарная модель счетчика, на свинцовом столе лежала связанная крыса, на белых циферблатах дрожали стрелки. Сами разработчики стояли за свинцовым экраном, в котором были прорезаны окошки, — через них с помощью своеобразного ухвата связанных крыс отправляли на испытательный стол. В клетках вдоль стены бегали, сидели, лежали, подыхая, другие крысы и морские свинки. На клетках были бирки — степень облучения и дата облучения.

Мате достаточно было увидеть животных, попавших под сильное излучение, чтобы у него засосало под ложечкой от плохого предчувствия.

На следующий день он обманом, чуть ли не силой затащил сюда Алмазова. На Алмазова лаборатория и морские свинки не произвели должного впечатления. Но все же он спросил осунувшегося и побледневшего за последние месяцы Сашу Гуревича:

— Чем можно прикрыться от ваших лучей?

— Рекомендуем свинцовый костюм, — ответил Гуревич.

Хазин, который фотографировал крысу сквозь окошко в свинцовой стенке, обернулся и добавил:

— Нам бы тоже не помешало. По костюму. Хотя спирт тоже помогает.

— Вылечивает? — серьезно спросил Алмазов.

— Забываешься, — ответил легкомысленный Хазин.

Когда они уходили, Алмазов сказал:

— Если морские свинки не нужны, их можно пустить на корм.

Он не сказал — кому, понимай как знаешь, но у Гуревича вырвалось:

— Вы с ума сошли.

Алмазов отметил про себя, что Хазин фотографирует и у него есть аппарат со штативом. Он всегда отмечал и запоминал нужные вещи и полезных или вредных людей. Надо будет во время испытаний взять Хазина с собой — лишний фотограф не помешает.

Об этом он сказал Мате, когда они выбрались из подвала под мартовское — над самым горизонтом — негреющее солнце.

— Разреши, переведу их на особое питание? — спросил Матя.

— Но только двоих, не больше. Хотя они могли бы и своими жертвами питаться.

Алмазов засмеялся.

Дополнительное питание не помогло.

Саша Гуревич умер через три дня — неожиданно отказало сердце. Но Александров сказал Мате, что Саша был все равно обречен, — они с Хазиным получили слишком большие дозы радиации. И вообще надо эти опыты прекратить, потому что радиация из подвала проникает на другие этажи. И Матя согласился, тем более что до испытания оставались считанные дни, переносной счетчик Гейгера все равно не успели сделать, да и результаты испытаний оставались тайной будущего — пока «Машка» не взорвется, никто не скажет, какое она дает излучение.

Матя думал, что вопросы радиации придется отложить на будущее, но оказалось, что визит в подвал имел последствия, инициатором которых оказались Алмазов и те неведомые Мате силы в медицинском институте НКВД, которые тоже занимались радиацией как возможным оружием будущей войны. Их опыты были настолько засекречены, что и сам Алмазов лишь перехватил как-то слухи, что испытания там проводят на людях.

Позвонил заместитель Алмазова полковник Акакий Баскаев, крайне вежливый осетин, настолько заросший рыжими волосами, что Мате казалось, что он так и не смог произойти от орангутана.

— Товарищ Шавло, завтра в тринадцать совещание по медицинским вопросам. Пожалуйста, не забудьте.

Совещание проходило в кабинете Алмазова.

Приехали два чина с петлицами капитанов госбезопасности. С ними штатские жуликоватого вида, какой бывает у лекторов по марксизму-ленинизму. Алмазов сказал, представляя штатских:

— Эти товарищи из нашего медицинского института. Ученые-гигиенисты. Я правильно говорю?

— Правильно, — ответил за гигиенистов один из капитанов.

— А других наших товарищей не представляю, — сказал Алмазов.

Те щелкнули каблуками, признавая таким образом право Мати на существование.

Жулик, что был потолще и лысый, развернул план полигона. Оказывается, он был введен в курс дела. Матя с удивлением поглядел на Алмазова — тот кивнул, подтверждая этим свое решение.

Лысый жулик прикрепил план к стене заранее заготовленными в пухлом кулачке кнопками, а второй жулик, курчавый, начал читать диспозицию, показывая указкой, где решено расположить клетки с дикими животными и домашним скотом, какие будут привезены растения и даже микроорганизмы. Мате стало скучно, он отвлекся, но тут услышал слово «слон».

— Вот именно слон, — повторил жулик, встретившись с удивленным взглядом Мати. — У нас достигнута договоренность с Свердловским зоопарком, который как раз намерен проводить списание ряда животных по возрасту и болезням. Мы поговорили с товарищами. Они согласились. Сейчас мы готовим зверей к доставке.

— Какого черта вам понадобился слон? — удивился Алмазов.

— В соответствии с научным заданием, — смело парировал лысый жулик. — Нам было приказано охватить испытаниями максимально возможный круг живых существ.

— А это даже интересно, — сказал Матя.

— Ты не понимаешь, — огрызнулся Алмазов. — Ведь слона сюда волочить надо, ему нужны охрана, люди, жратва, тонны бананов, мы где это все достанем?

— Ну уж это преувеличение! — обиделся за слона один из

капитанов. — Слоны картошку едят, морковь и капусту. Нормально питаются.

— Обойдемся без слона, — отрезал Алмазов.

— Но мы везем и других животных.

— Других везите, — отмахнулся Алмазов, — каких хотите везите, но чтобы без слонов.

Матя подумал, что наверняка они притащат тигра, жалко тигра, убьют ведь.

А жулик тем временем продолжал твердить о трудностях с обогревом воды, из-за чего не удалось выполнить задание по рыбам и земноводным.

— Хорошо! — рявкнул Баскаев. — Закругляйтесь. Как насчет человеческого материала?

Матя насторожился.

— Здесь уполномочен я, — сказал один из капитанов — человек без лица, не запомнишь, даже прожив год в одной комнате. — Принято решение о привлечении к опыту семидесяти человек разного возраста и обоего пола, преимущественно мужского.

— Женского зачем? — спросил Баскаев.

— У них другие реакции, — сказал толстый жулик. — Совсем другая физиология. Очень полезно для сравнения.

— И как их будете размещать? — спросил Алмазов.

— Мы предполагаем воспользоваться вашим советом, — сказал капитан, преданно глядя на Алмазова. — Мы создаем из материала временные семейные единицы, чтобы расселить их по основным строениям города.

Господи, понял Матя, они собираются убивать людей! Этого еще не хватало!

— Погодите, погодите! — Матя отложил карандаш. — Зачем вам люди?

— А кто, вы думаете, в городах живет? — Баскаев был явно готов к такому вопросу. — Мыши, да?

— Мыши и морские свинки предусмотрены, — поспешил вставить курчавый жулик. — О них мы доложим ниже.

— Спасибо, уже доложили, — сказал Матя. Он поднялся. — Я протестую против включения живых людей в число подопытных животных.

Оба капитана и жулики смотрели на Матю обалдело. Словно он оскорбил их дурными словами.

— Товарищ Шавло, — произнес Алмазов. — Вы, видимо, забыли, что мы здесь собрались не шутки шутить. Идет речь о

создании особого оружия, необходимого социалистической родине. Вы забыли об этом?

Матя отвернулся. Он уже был свидетелем эмоциональных спектаклей Алмазова. Они исполнялись не для него и не для Баскаева, которые знали Алмазова как облупленного, их должны были с содроганием выслушивать случайные зрители. И нести слухи о железном характере комиссара во все концы страны.

— Мне все равно, какое у нас оружие! — тоже закричал Шавло. — Не вы этих людей рожали, и не вам их убивать! Я не намерен участвовать в преступлении.

— Значит, вы намекаете на то, что я преступник? — спросил Алмазов.

— Не намекает, он так говорит, — подсказал Баскаев.

— Я только говорю, что не позволю ставить под угрозу жизнь людей, тем более женщин.

— А ну-ка, капитан, — произнес Алмазов, указуя пальцем на одного из командиров, — откройте глаза нашему профессору на то, кому он сочувствует и кого он называет людьми и даже женщинами. Давайте, читайте!

Капитан тут же вытащил из портфеля аккуратно сложенные листы бумаги, и Матя с фатальным ужасом понял, что вся эта сцена с первого до последнего слова была предугадана Алмазовым и сыграна им. Вплоть до жеста капитана, доставшего списки.

— Подряд читать? — спросил капитан.

— Да, покажите нам, кому мы должны сочувствовать.

— Арский Наум Соломонович, — прочел капитан. — Приговорен к высшей мере наказания за участие в террористическом акте против детского дома в городе Туле, в результате которого погибло шестеро детей и около двадцати было искалечено...

— Сволочь! — с чувством сказал Баскаев и сжал покрытые рыжей шерстью кулаки.

— Аюталибов Хасан, — продолжал монотонно и медленно, будто недавно научился читать, капитан, — приговорен к высшей мере наказания за шпионско-диверсионную деятельность. Подослан из-за рубежа татарской террористической организацией.

— Дальше.

— Берестов Андрей Сергеевич, боевик партии эсеров, профессиональный убийца и немецкий шпион, приговорен к высшей мере наказания за участие в покушении на товарища Куйбышева.

— Читать дальше? — спросил Алмазов.

Шавло молчал. Он понимал, что ничего не докажет этим уб-

людкам, лишь даст Алмазову возможность лишний раз покуражиться над ним. Нет, не сейчас он отомстит ему, но, когда придет его час, месть будет безжалостна.

— Не надо читать, — сказал Баскаев. — Товарищ профессор осознал свою ошибку. Он больше не возражает.

Шавло видел испуганные глаза одного из жуликов. Тот часто моргал и, видно, мечтал об одном — скорее убраться из этого кабинета.

— Товарищ Шавло, — услышал Матя голос Алмазова. — Я даю вам слово коммуниста и работника органов, что все без исключения люди, которые будут участвовать в нашем эксперименте в пределах города, были ознакомлены со степенью риска, которому они подвергаются. Им было сказано, что они могут выбрать между приведением в исполнение приговора и разумным риском... на войне как на войне.

— Это точно, — подтвердил Баскаев.

Шавло молча собрал со стола свои бумажки и пошел к выходу.

Никто его не останавливал. Он спиной чувствовал тяжелые взгляды чекистов и понимал, что его подвели нервы. Надо было держать себя в руках. В конце концов он ничем не помог этим несчастным. И не мог помочь. И конечно же, Алмазов прав, — по крайней мере, теперь у них будет какой-то шанс. И он, Матя, позаботится о том, чтобы, если кто-то из них выживет, он был помилован. Надо будет сказать об этом самому наркому Ежову. Вот именно.

И уверенность в том, что он обязательно вступится за осужденных перед наркомом и кого-то спасет, его успокоила. А к вечеру ему удалось забыть о заседании и переключиться на более важные и горячие дела.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

4 апреля 1939 года

Когда рейхсмаршал ВВС Герман Геринг дал обещание фюреру немедленно послать к Заполярному Уралу разведывательный самолет, он не кидал слов на ветер. Он вспомнил о «Ханне». «Ханна» было кодовым словом для аэроплана «Хейнкель-115», секретно изготовленного для выполнения особых миссий люфтваффе.

Активная деятельность русских на побережье Ледовитого

океана долго не вызывала особого интереса в Германии, так как этот район не мог влиять на расстановку сил в будущей войне. Русские осваивали эту ледяную пустыню, потому что нуждались в пути снабжения Дальнего Севера и Восточной Сибири. Железных и автомобильных дорог эта империя не удосужилась там построить, и на всем гигантском пространстве, превосходящем Европу, лишь одна железнодорожная нитка, созданная царем для вторжения в Северный Китай, прочерчивала Сибирь, прижимаясь к ее южным пределам.

Разумеется, отсутствие приоритетных интересов не означало полного пренебрежения к тому, что там происходит. Известно было, что за внешней частью айсберга — полярными станциями и посылкой учителей к эскимосам и лопарям — скрывалась империя концлагерей, таинственная и гигантская. Люди, проводившие годы в страшном рабстве в тайге и тундре, рубили там лес, копали золото и никель — кормили сырьем русскую военную машину. Но оттуда было почти невозможно убежать и добраться до цивилизованных мест, поэтому представления немецкой разведки о системе и функциях лагерей Севера были отрывочны и не всегда точны.

Интерес к русской Арктике увеличивался по мере неуклонного приближения к войне, которая не могла не вспыхнуть между столь близкими по сути и столь враждебными декларативно тоталитарными системами. Нет больших врагов, нежели соседи или различающиеся немногим племена и религии. Католики резали гугенотов куда яростней, чем сарацин.

Россия стояла на пути господства арийской Германии над всем миром и выполнения фюрером исторической миссии спасения мира от космического огня и очищения льдом человеческой расы, — расы сверхлюдей, которая возвратит себе утерянное некогда господство над миром. Он обязан был, как учил великий Горбигер — неистовый седобородый философ-воитель, — очистить Землю от тех, кто произошел от непредвиденных грязных мутаций конца третичного периода, кто умело подражает людям, даже может совокупляться с человеком, порождая новых мутантов, — они страшнее животных и дальше от человека, чем животные, так как чужды естественному порядку Вселенной.

Ради великой цели предстояли великие жертвы, но в конце ждала великая слава. И к ней надо было идти хитростью, накапливая силы, и напролом, когда силы уже накоплены.

Гитлер надеялся в ближайшие годы избежать войны с Англией и Америкой, ибо часть их населения, особенно в Англии, относи-

лась к лучшим образцам арийской расы, и обрушить первый удар на Восток с двумя целями — сокрушить еврейский коммунизм, ограничить и по мере сил привести к ничтожеству грязных славян, а затем пробить путь в Тибет, в Индию, где ждала истинная мудрость древних магов. Но все это могло случиться только после того, как Третий рейх станет достаточно сильным, чтобы сокрушить Сталина, скорпиона, почти наверняка не лишенного доли еврейской крови, как то было и с их первым вождем — Лениным и всеми, уничтоженными скорпионом вождями первого поколения. Гитлер понимал Сталина, видел даже порой аналогии в их политике и учитывал, так как считал себя в отличие от Сталина человеком гуманным и мудрым, его ошибки и слабости, чтобы их не повторять. В свое время французская революция погубила себя тем, что якобинцы перебили друг друга. То же пытается сделать Сталин. Гитлер уже помог ему, использовав патологическую подозрительность и трусость предводителя русской коммунистической банды, сожрать собственных генералов и маршалов. Но это лишь первый ход в игре.

Сейчас, после успеха в Мюнхене, после аншлюса Австрии и присоединения Чехословакии и Мемеля, наступает пора решительных мер.

Весной 1939 года Гитлер уже знал, что следующим шагом на его пути станет еврейско-славянская Польша, ненавистная еще с первой мировой, унизившая Германию, отобрав с помощью Франции ее исконные восточные земли. Польша нужна не сама по себе. Польша — это лишь плацдарм для покорения России. Хотя надо будет любой ценой добиться на этом этапе благожелательного нейтралитета Сталина. И Гитлер верил в то, что ему снова удастся обвести вокруг пальца этого кавказского бандита, неспособного подняться над сегодняшней выгодой и сегодняшними страхами. Он же рожден восточным базаром — ему надо показать пачку денег, и тогда все вино — ваше.

Так Гитлер сказал как-то близкой ему женщине, Еве Браун, хотя и не имел обыкновения обсуждать с ней политические проблемы. Но тогда понравилась собственная мысль и надо было выразить ее вслух, чтобы понять, как она звучит. Ева в тот момент вязала, она была во всем покорна фюреру, она бросила сцену и кино, как только Гитлер приблизил ее к себе, и эта тихая, светлая улыбка, с которой она неизменно встречала своего повелителя, это спокойное стремление к домашнему уюту и видимое равнодушие к светской жизни, с одной стороны, радовали Гитлера, с другой — раздражали. Он не мог себя понять, оттого сердился. На самом деле он про-

должал любить Гели Раубал, упрямую, страстную, может, даже неверную ему племянницу, которая закатывала скандалы фюреру, пришедшему тогда к власти, если он не пускал ее в Вену, где она брала уроки оперного пения. Он сделал Гели предложение. Он готов был на все, чтобы подчинить ее себе хотя бы с помощью супружеских законов, непокорную и отчаянную Гели. Она была еще юной девушкой, он — сорокалетним и уже могущественным лидером национал-социалистов. Она покончила с собой, после того как Гитлер перед свадьбой категорически запретил ей возвратиться к своим музыкальным занятиям в Вене. Она посмела покончить с собой без его разрешения для того, чтобы сломить его, наказать, унизить перед всем миром! Но не подчинилась. Гитлер даже не смог быть на ее похоронах — его кузина, мать Гели, увезла тело в Австрию, а Гитлера, как радикального политика, в Австрию тогда не пускали. И в тридцать восьмом году, присоединив Австрию к империи, он специально распорядился о примерном наказании всех тех полицейских и правительственных чиновников, которые санкционировали, подписывали и исполняли запрет на его поездку.

Гитлер отдавал себе отчет в том, что Ева красива, что Ева покорна, что она — образец нордической женщины. И ему, хоть и был он уже всесилен в империи, льстили робкие и восторженные взгляды, которые кидали на Еву дипломаты или офицеры на торжественных приемах и выходах. Но если он всегда боялся измены Гели Раубал, в верности Евы он был, разумеется, уверен, и это отнимало у любви пряность и трепет авантюры, ибо Гитлер все равно оставался авантюристом и игроком. Гели заставила его проиграть — Ева была слишком легким выигрышем.

— Ему надо показать пачку денег — и все вино наше, — сказал Гитлер о Сталине, — потому что он рожден восточным базаром.

— О, да, — ответила Ева, подняв на Гитлера преданный взгляд. В тот момент она думала о том, как плохо и стыдно перед собой и мамой жить в грехе, даже если твой возлюбленный — великий человек. Почему же он ни разу не сделал ей предложения? Почему он не хочет должным образом оформить существующие между ними отношения, почему он не хочет, чтобы у них были дети? Почему? Ведь он же делал предложение этой истеричке Гели Раубал. Ева об этом знала.

Гитлер отошел к окну. Мягкие склоны гор уже освобождались от снега. Небо было синим, весенним и чистым, как бывает только в горах.

Конечно же, Сталин, как тертый бандит, чует, что главная

опасность для него таится именно в Гитлере. Конечно, он суетится, уничтожая соратников, объявляя их фашистскими шпионами. Конечно, под Сталиным, под его сапогами лежит гигантская империя, где бесплатно с рассвета до ночи трудятся миллионы запуганных рабов... Интересно, а почему он всегда ходит в сапогах? Наверное, это комплекс человека, изгнанного из духовного училища и не прошедшего в молодости очищающего горнила войны. Этот Сталин фактически не воевал, на него не падали снаряды, и в него не целился враг. Тогда понятно, почему он всегда ходит только в сапогах и военной форме. Ну что ж, мы заставим тебя использовать форму по назначению — в России отвратительные дороги, когда ты будешь бежать в Сибирь, тебе пригодятся твои сапоги...

— Сталину пригодятся сапоги, когда он будет бежать в Сибирь, — произнес Гитлер вслух, и Ева, оторвавшись от вязания, сказала:

— Конечно, Адольф.

Что же он строит там, в полярной ночи? Почему именно немецкий город? Неужели это на самом деле репетиция удара по рейху? А не стоят ли за этим городом другие, куда более страшные и могущественные силы, — силы космического пламени, найденные еврейскими магами и колдунами? А может быть, город создан для ритуального сожжения в расчете на то, чтобы перенести заразу этого огня на настоящую Германию?

Гитлер обеспокоился. Как человек, предпочитавший верить в то, что исполняет волю магов и пользуется их тайной и молчаливой поддержкой, он допускал, разумеется, и существование вражеской магии, правда, до тех пор, пока это отвечало его интересам.

Гитлер прошел к телефону и приказал немедленно соединить его с рейхсмаршалом авиации.

Геринга отыскали в Берлине, он был у себя в управлении лесничеств, эту второстепенную должность он исполнял, пожалуй, увлеченней, чем прямые обязанности.

— Герман, — спросил Гитлер. — Я хочу знать, что делается для разведки объекта, о котором мы говорили вчера.

— Я надеюсь, что мы сможем принять меры в ближайшие дни.

Несмотря на то, что это была специальная правительственная линия связи, собеседники предпочитали не говорить открыто.

— Не в ближайшие дни, а сегодня, вчера!

Геринг засмеялся, и Гитлер отвел от уха трубку, чтобы не

слышать этого смеха. Герман родился летчиком и солдатом, он хороший товарищ, верный, надежный член партии, но никогда не станет умным человеком.

— Я нашел машину, — сказал Геринг. — Мною вызваны для беседы надежные пилоты.

— Привлеки к делу Канариса и Шелленберга, — сказал Гитлер. — Они в курсе дела, каждый сможет тебе чем-то помочь, если они проникнутся духом крайней важности этой миссии для судьбы рейха. Ты понял меня?

— Да, мой фюрер. — Геринг не смеялся. — Я сделаю все от меня зависящее.

— Где находится твой самолет?

— В Лапландии, — ответил Геринг.

После короткой паузы Гитлер вспомнил о «Ханне» и рассердился на себя настолько, что, холодно попрощавшись с Герингом, повесил трубку.

О «Ханне» должен был вспомнить он сам, а не Герман! Ведь создание ее было предпринято по идее фюрера, когда стало понятно, что в ближайшие годы или месяцы придется воевать на Крайнем Севере. Для того чтобы отрезать Россию от возможных союзников, следовало захватить Скандинавию и установить контроль над Северным морем, что требовало создания хорошо поставленной воздушной полярной разведки.

Год назад заводы Хейнкеля, разрабатывавшие модель скоростного торпедоносца дальнего действия «Хейнкель-115», двухмоторного гидроплана, поднимавшего до десяти тонн и имевшего скорость более 350 километров в час, получили задание на базе этого гидроплана разработать самолет-разведчик, который в дополнение к существующим качествам мог бы погрузить резервный запас горючего для дальнего перелета, садиться и взлетать как с суши, так и с любого озера или реки, а также подниматься до высоты в 6 — 7 километров. Первый из этих гидропланов, снабженный всем, что могло понадобиться для полетов в сложных полярных условиях, был назван «Ханной».

Тогда же встала проблема — а откуда же он будет совершать полеты над Норвегией, Баренцевым и Карским морями, Исландией и Гренландией? Базирование «Ханны» в Любеке было невыгодно. Для того чтобы добраться до целей, гидроплану пришлось бы пересекать Балтийское море, Скандинавию или Финляндию, что почти наверняка лишало полеты секретности.

Помогла стратегия Сталина, который полагал, что для безопасности его страны необходимо как можно дальше отодвинуть

ее границы от жизненных центров, не понимая, что этим он удлиняет коммуникации, и без того безобразные в России. Сталин начал требовать у вполне лояльной к нему Финляндии ее южные, самые плодородные и густонаселенные провинции — так называемый Карельский перешеек. Якобы для обеспечения безопасности Ленинграда от той же Финляндии. С каждым днем ноты и ультиматумы Москвы в адрес Финляндии становились все агрессивнее — и финляндские руководители понимали, что самой Финляндии не выдержать напора России, она не продержится и недели. Потому начались переговоры между финским правительством и правительствами других европейских стран — Финляндия просила помощи у Швеции, Англии, в то же время неофициальная военная миссия посетила Берлин. В финской армии были сторонники мира с Германией, хотя высшее командование во главе с Маннергеймом относилось к такому союзу сдержанно, не столько из-за недоброжелательства к фашистскому правительству или к Германии, как потому, что надеялось избежать войны и рассчитывало на поддержку Лиги Наций, Великобритании и Швеции.

Но все же после тайных переговоров между финскими и немецкими генералами было достигнуто соглашение о том, чтобы переправить на север Лапландии самолет-разведчик «Ханна», который мог принести пользу обоим государствам, — и Германия, и Финляндия были крайне заинтересованы знать, что же происходит в полярных областях России.

Осенью «Ханна» успела совершить три пробных полета, но с наступлением полярной зимы ее полеты потеряли смысл. Озеро, на котором она стояла, замерзло, и, хоть «Ханна» была амфибией и могла, поджав поплавки к брюху, выпустить шасси, морозы, дурная погода и невозможность фотографировать ночью делали ее бесполезной. Может, поэтому Гитлер за зиму забыл о гидроплане.

Гитлер сел за письменный стол и стал рисовать гидроплан, реющий над горами. В том, что «Ханна» есть и готова к полету, он увидел благоприятный перст судьбы.

Отношения Германии с Финляндией были настолько нестабильными и антигерманские настроения среди финнов, несмотря на русскую угрозу, так очевидны, что пребывание «Ханны» в Лапландии было одним из самых тщательно охраняемых секретов финских ВВС. Разумеется, и разговора о том, чтобы к отлету гидроплана из Берлина прибыли высокие чины, быть не мог-

ло. Канарис, Шелленберг и генерал авиации Мильх попрощались с пилотами в особняке управления А-6, которым руководил Шелленберг, — скромном двухэтажном доме на окраине Берлина.

«Хейнкель-115-К» не мог взять на борт всех людей, которых желали бы послать руководители разведки: приспособленный специально для полетов в высоких широтах и даже выкрашенный в белый цвет, чтобы легче сливаться со льдом, лишенный опознавательных знаков, гидроплан был переоборудован таким образом, что все свободное пространство было занято запасными баками с бензином. Конструкторы остроумно расположили запасные баки в громадных, похожих на гусиные лапы поплавках и заменили ими торпедные аппараты. Масляный бак буквально вползал в тесную кабину — более трех человек «Ханна» вряд ли разместила бы и обогрела в дальнем перелете. Зато при крейсерской скорости более трехсот километров «Ханна» могла пролететь без посадки до десяти тысяч километров.

В особняк управления А-6 были вызваны трое: первый пилот, ас Испании, кавалер Испанского креста подполковник Юрген Хорманн, оберфельдфебель штурман-наблюдатель Карл Фишер, отобранный авиационной разведкой как опытный воздушный фотограф, имевший опыт работы за линией фронта в конце первой мировой войны, и второй пилот, сотрудник ведомства Канариса, именовавший себя по старой памяти капитаном, Иван Васильев, самый старший в экипаже по возрасту, ставший летчиком еще в 1912 году в русской армии, уже тогда завербованный немецкой разведкой, ибо, будучи на полетах в Бремене, проигрался в карты и не нашел ничего лучшего, как совершить глупейшую, даже наивную попытку ограбить небольшую ювелирную лавку, и был пойман через час после преступления. К этому греху, не столько страшному, как позорному для поручика, прибавился и другой, когда он совершил неудачный побег из полицейского участка. Спутники Васильева по гастролям и даже его механик так никогда и не узнали, где он провел три дня, сам поручик объяснил свое исчезновение романтическим приключением, а попреки товарищей, которых он заставил поволноваться за свою судьбу, он с ходу отмел. За эти три дня германским абвером поручику была вручена сумма, равная карточному долгу, не более того.

Во время первой мировой войны пилот Васильев неоднократно впутывался в различные неприятные истории, но никто не мог при том поставить под сомнение его пилотский талант и

отчаянную отвагу. Васильев часть войны провел в Севастополе, потом служил в Трапезунде, в гражданскую летал мало — у него была прострелена левая рука, и он недостаточно владел пальцами, или утверждал, что недостаточно владеет. Но тем не менее он прошел весь путь с Белой армией и был пилотом последнего белого самолета, покинувшего Севастополь трагической осенью 1920 года. Канарис ценил этого агента, но понимал, что Васильева надо держать под контролем, не давать ему много пить и не допустить, чтобы он разбогател. Канарису нужен был трезвый и немного голодный Васильев. Трижды Васильев переходил границу и путешествовал по Советской России, выполнив некоторые важные поручения абвера, но и провалив другие, не менее важные задания. Он был котом, который гуляет сам по себе, теперь, к пятидесяти годам, довольно ободранным котом, но полным фанаберии и убежденным в том, что его славная богатая жизнь только начинается.

Вот этого человека Канарис и предложил Герингу третьим членом экипажа. Во-первых, он был русским и, более того, в отличие от профессионалов-эмигрантов настоящим русским, знавшим жизнь в России и даже побывавшим в Сибири, в зоне, и бежавшим оттуда. Во-вторых, Васильев был верен Канарису, потому что никому, кроме Канариса, не был на этом свете нужен. И Канарис был верен Васильеву. Наконец, Васильев не выносил коммунистов от мала до велика, и эта ненависть была немаловажным фактором для Канариса. Он был согласен на союз с самим дьяволом. Но только против мирового коммунизма.

Шелленберг пытался возражать против выбора Канариса, но ни у него, ни у Гейдриха не было достойной кандидатуры. Васильев был профессиональным разведчиком и притом профессиональным пилотом. Даже в последние годы он не желал уйти на покой, а трудился в небольшой авиакомпании, которая занималась перевозками грузов и почты.

Шелленбергу было интересно посмотреть, как составится экипаж, важнейшее в подборе группы разведчиков — их взаимная лояльность. А здесь попались такие разные люди!

И в самом деле, при первой встрече, когда участников полета оставили в пустой гостиной, а начальство незаметно наблюдало за ними, они держались настороженно и почти враждебно, тем более что не знали, в чем же заключается таинственное и срочное задание, ради которого их сюда привезли, вытащив среди ночи из постелей.

Юрген Хорманн, тридцать три года, сорок боевых вылетов,

шесть испанских и два русских самолета на боевом счету, красавец, коротко подстриженный, темноволосый, голубоглазый ариец, известный многим девицам рейха по фотографии в «Патруле» и «Иллюс-трирте», был выбран, разумеется, не за красоту и боевые заслуги, а потому, что до Испании участвовал в обеспечении немецких полярных экспедиций и не раз — в поисковых работах. В частности, именно ему удалось отыскать двух спутников адмирала Нобиле.

Хорманн всем своим видом показывал незаинтересованность в старших спутниках и первые полчаса просидел на стуле, закинув сапог на сапог и с преувеличенным интересом читая последний номер географического журнала, который взял со стола.

Карл Фишер, приземистый увалень в роговых очках, вовсе не похожий на человека, который значительную часть жизни провел в путешествиях, чуть церемонно представился остальным и принялся выпытывать у Хорманна, что он знает о причинах такой спешки. Хорманн ничего ответить не смог и не захотел. Тогда Васильев, поджарый и загорелый, с морщинистым мятым лицом и редкими, некогда буйными волосами, отыскал в буфете бутылку и несколько чистых бокалов — он знал, где искать и что искать, ибо лучше своих спутников представлял себе стандартный набор, имеющийся по разнарядке абвера в каждом из конспиративных особняков.

Васильев разлил коньяк в три рюмки, спутники вежливо поблагодарили его, но не присоединились, и Васильев в одиночестве выпил первую, и вторую, и третью рюмки. Он отлично понимал, что немцы, сидящие в гостиной, не так опасаются друг друга, как его — явно иностранца, — никуда не денешься от акцента, хоть уже скоро двадцать лет живешь в Берлине.

Так что наблюдение за экипажем мало что дало руководителям разведки, и по истечении получаса пустого ожидания, так ничего и не выяснив, Канарис и Шелленберг вошли в гостиную в сопровождении полковника из разведки люфтваффе.

Представляться не пришлось — хоть и нечасто, но портреты и фотографии шефов разведки появлялись в прессе, к тому же каждому из пилотов так или иначе приходилось сталкиваться с обоими.

По предварительной договоренности говорил Канарис.

Решено было ничего, или почти ничего, от экипажа не скрывать, они должны знать, что следует искать и что это может означать. Канарис рассказал, что, по сведениям, полученным от агентуры, русские построили в тундре полигон, изображающий

немецкий город. Он показал нечеткие, тайно сделанные фотографии и этим вызвал охотничий интерес у всех троих пилотов. Вернее всего, объяснил Канарис, русские намерены испытать на этом городке радиационную бомбу, надеемся, что у них из этого ничего не выйдет. Но всегда надо исходить из худшего — допускать, что враг силен. Неизвестно сейчас, в самом ли деле речь идет о бомбе или чем-то ином, неизвестен срок испытания бомбы, а в том районе у абвера нет своих людей. Фюрер весьма встревожен таким развитием событий и обращается к пилотам с просьбой сделать все от них зависящее и более того, чтобы проникнуть в тайну русских.

— А если это не бомба, а кино снимают? — спросил, ухмыльнувшись, Васильев со своим режущим немецкий слух откровенным российским акцентом. — От русских можно ждать всего, может, готовится эпопея «Взятие Берлина», на главную роль приглашен еврейский артист Чаплин, который будет играть Сталина.

Канарис вежливо выслушал реплику русского. Юрген Хорманн поморщился, будто укололо в зубе, а Карл Фишер позволил себе чуть наклонить голову, признавая этим, как опытный разведчик, что любое объяснение, пусть даже самое дикое, может оказаться правильным, если ты имеешь дело с русскими.

— Если там будут снимать кино, вы должны выяснить, где расположена съемочная аппаратура и где живут великие русские актеры,— вмешался в разговор ироничный Шелленберг.

Беседа с заинтригованными теперь участниками полета продолжалась часа два, после чего шефы уехали, а их сменили разведчики групп обеспечения полета, которые должны были работать с каждым из пилотов в отдельности. Предусмотреть следовало все — от документов для Васильева, которому придется, если самолет удастся посадить неподалеку от города, отправиться туда, взяв на себя самую опасную часть миссии, до русских карт тех краев, достаточно неточных, но все же лучших, нежели немецкие, так как разведочные полеты в Арктике только начинались.

Приезжал профессор физики, который объяснял, какой может быть атомная бомба и по какому принципу она может действовать, — Юрген завел с ним занудный спор на тему, почему мы позволили этим недоумкам из России сделать бомбу, а сами плетемся в хвосте в ожидании, когда нас разбомбят. Юрген оказался порядочным занудой и человеком тоскливым и капризным. Зато Карл Фишер уже на второй день сблизился с Васильевым, потому что

не питал к нему нордического презрения, которым был преисполнен Юрген, и знал из опыта старых дел, что лучше попасть в переделку с человеком, который считает тебя своим товарищем, чем ломать фасон и потонуть у самого берега, потому что тебе кто-то забыл протянуть руку. Нельзя сказать, что Васильев ему нравился, — Карл чувствовал в нем подонка того типа, который обычно скрывается за эвфемизмом «авантюрист». Но ведь через неделю они расстанутся, и дай Бог — навсегда.

В последний день перед отлетом полковник из разведки люфтваффе, который обеспечивал полет, передал им тяжелый свинцовый ящик — от физиков. Если удастся, в ящик надо было набрать земли, как можно ближе к зоне испытаний.

— Ничего потяжелее не нашлось? — спросил Васильев, приподняв ящик за угол.

— Физики говорят, что атомные лучи могут быть очень опасными, — сказал полковник. — А свинец их останавливает.

— Черт знает чего придумали! — буркнул Васильев, но Юрген принял ящик и наставительно произнес:

— Мы выполняем задание партии и лично фюрера. И не имеем права рисковать собой более, чем необходимо.

— Ты будешь рисковать в кабине самолета, а я по горло в воде, — оставил за собой последнее слово Васильев.

Двадцать шестого марта 1939 года три человека сошли с пассажирского самолета, который прилетел в Хельсинки. Обычный рейс, обычные пассажиры. Их встречал незаметный чиновник из консульства и проводил к машине, которая отвезла их в посольство.

В посольстве их ждали. В течение последних нескольких дней сквозь посольство протекала постоянная, хоть и тонкая струйка малых и больших чинов из Берлина, некоторые из них продолжали путь машиной на север, в Лапландию, к затерянной в низких приполярных лесах военной базе финских ВВС, где на небольшом аэродроме в ангаре стояли два истребителя, снаружи — учебный биплан двадцатых годов, а на озере, тщательно замаскированная, таилась «Ханна». За два дня до появления там пилотов ее начали лихорадочно готовить к полету, заправляя горючим и проверяя все системы, в первую очередь гидравлическую и электрическую, потому что гидроплан простоял всю зиму на морозе. Для этой цели и были привезены сюда три механика и специалист по электрике с заводов Хейнкеля. Затем привезли и конструктора, который должен был сам еще раз ос-

мотреть самолет и дать свое заключение. Конструктор страшно промерз в этой Лапландии и схватил ангину с осложнениями, от которой чуть не умер в больнице лапландского городка, куда его отвезли с аэродрома уже после отлета амфибии.

Для того чтобы сгладить возможные трения с финнами, при подготовке присутствовал полковник Илонен, один из влиятельных сторонников союза с Германией в финляндской армии, отчаянно сражавшийся с питомцем и патриотом российской царской армии генералом Маннергеймом, который, в частности, противился чрезвычайным и немедленным закупкам истребителей в Германии или в иной стране, потому что для него война представлялась исключительно наземным делом.

Пилоты приехали на базу к вечеру двадцать восьмого марта и на следующий день принялись осваивать самолет, конструкция которого была внове всем участникам полета. На освоение самолета им была дана лишь неделя, причем приказано было стараться «Ханну» в воздух не поднимать, за исключением крайней необходимости, — финны не должны были ее видеть, и главное, ее не должны были заметить советские агенты. Но освоить самолет без тренировочных полетов немыслимо, и поэтому, с согласия Илонена и полковника разведки люфтваффе, они совершили два полета, проверяя машину при посадке и взлете, поднялись до ее потолка и испытали, как работают два ее мотора при различных режимах. И Юрген, и Васильев, будучи профессионалами, понимали, что «Ханна» слишком капризная и недоведенная модель, чтобы спокойно доверять ей свою жизнь. Она была ублюдком, так как основная модификация разрабатывалась как торпедоносец, а использоваться она должна была как амфибия, полярный разведчик дальнего действия, для чего и была перекроена.

Как сказал Юрген:

— Если бы мне кто-то показал, где у этой проститутки центр тяжести, я отдал бы ему свой Испанский крест.

Присутствовавший при этом выпаде, уже заболевший ангиной конструктор амфибии прохрипел, что он сделал все возможное, чтобы выполнить указание рейхсмаршала, и добился главного — «Ханна» может улететь за пять тысяч километров и вернуться назад. К тому же в мире нет другого самолета с такой короткой полосой разбега.

С ним никто не стал спорить — конструктор был существом подневольным и любил это лишний раз продемонстрировать всему человечеству.

Третьего апреля они провели совещание с двумя финскими летчиками, которым приходилось летать в Арктике, о маршруте полета. База советских ВВС была в Мурманске — морская авиация. Самолеты с этой базы нередко пролетали над Северной Финляндией, и именно от них столь тщательно прятали «Ханну». Ни в коем случае нельзя попадаться им на глаза — хоть у «Ханны» хорошие скоростные данные, все же она перегружена, уступает русским истребителям в скорости, и неизвестно еще, сможет ли уйти от них, поднявшись вверх.

Поэтому из Лапландии «Ханна» должна была идти к северу, к Земле Франца-Иосифа, и лишь оттуда, с высоких широт повернуть к Новой Земле, зайдя таким образом к цели с севера, откуда русские менее всего ожидают опасности. Что касается русских истребителей в пределах самого Полярного института и его лагерей, то никаких данных у немецкой разведки на этот счет не оказалось. Канарис предполагал, что у Полярного института есть лишь посадочная полоса, используемая для целей НКВД, но военную авиацию госбезопасность в пределы своего хозяйства не допустит. Скорее, надо обратить внимание на возможное барражирование берегов бомбардировщиками полярной авиации с аэродрома в Архангельске. Но от них можно всегда уйти. Кстати, в районе Новой Земли не попасть бы на глаза русским полярникам. Их станции держат связь с Москвой.

Так как лед на озере стал совсем хрупким и подтаял у берегов, финские саперы взорвали во льду канал, по которому «Ханна» разбегалась.

В воде «Ханна» казалась куда более массивной и крупной птицей, чем на берегу, — здесь ее двадцатиметровая длина и такой же размах крыльев были куда очевиднее.

Вылет «Ханны» был назначен на вечер четвертого апреля с таким расчетом, чтобы наиболее опасные места самолет миновал ночью. Это не обещало экипажу легкой жизни, но по крайней мере избавляло от опасности встретиться с истребителями севернее Мурманска.

Еще было совсем светло — серебряный северный воздух гудел первыми комарами, которые готовились заняться истреблением таежной живности, под деревьями в тени елок еще лежали основательные пятна снега, лишь на южных склонах и лужайках он растаял.

Они выстроились на берегу, на стапеле, полковник из люфтваффе и конструктор с замотанным шарфом горлом пожали им на прощание руки и пожелали счастливого возвращения. Пол-

ковник из люфтваффе сказал, что рейхсмаршал только что звонил из Берлина и передал экипажу пожелания успеха в его опасной и благородной миссии. Затем они спустились в надувную резиновую лодку, которая останется на борту.

Поднявшись в люк «Ханны», они втащили лодку за собой — люк был большим, но все равно лодку пришлось поставить боком, а она была тяжелой.

Затем Юрген прошел вперед в узкий прозрачный нос амфибии, где умещалось лишь кресло пилота. Карл Фишер уместился спиной к нему, пониже, за маленьким штурманским столиком, Васильев пока что улегся, подогнув ноги, на масляном баке, потому что его смена будет следующей. Юрген передал на берег, что к отлету готов, и с берега ответили, что последняя радиограмма принята, с тех пор и до возвращения — абсолютное радиомолчание. Лишь в случае угрозы неминуемой гибели Карл Фишер должен был дать радиограмму шифром, который знал только он.

«Ханна» медленно начала разбег, держась точно середины канала во льду, чтобы не поцарапать и не повредить дюралевые поплавки. Васильев подтянул под себя ноги в теплых унтах, вжался спиной в холодную стенку кабины и чуть приподнялся, чтобы смотреть вперед через плечо Юргена. Тот уверенно взял штурвал на себя, и «Ханна» тяжело, будто нехотя, оторвалась от воды в тот последний момент, когда казалось, что они врежутся в дальний берег озера, и пошла вверх. Юрген повернул штурвал влево, и «Ханна» начала клониться на крыло, выходя на курс. Вершины елей еще были совсем близко, но Васильев уже знал, что Юрген — пилот Божьей милостью, и если кому-то суждено доставить их живыми на Полярный Урал, так это подполковнику Юргену Хорманну.

Пока строили испытательный стенд, зэки упражнялись в выдумывании ему названия. В конце концов укрепилось — Берлин. Даже охрана не называла иначе.

Утром на разводе выкрикивали: «Вторая бригада — на Берлин!»

И никто не удивлялся. Правда, наверху это слово не употреблялось.

Вокруг строительства ходило много легенд и слухов. Одни полагали, что это полигон, на котором будут тренироваться наши десантники — воздушная пехота. И когда победим фашистов, то десантники пойдут на помощь германскому пролетариату и лично товарищу Тельману. Были такие, кто думал, что скоро Гитлера возьмут в плен и привезут сюда — в ссылку, чтобы жил в

привычной обстановке. А может быть, этот Берлин готовят как столицу автономной республики немцев Поволжья — надо же на освоение Севера кинуть настоящих тружеников. В общем никто всей правды не знал, а так как между лагерями и шарагой, где сидели физики, никакой связи не было, то настоящей догадки и не могло возникнуть.

Дома в городе строились по-разному, не без обмана. По спецификациям, которые получало лагерное начальство, строения в Берлине должны были отвечать международным строительным стандартам. Снабжены подвалами, фундаментами, гидроизоляцией и так далее. Но на вечной мерзлоте ты не очень-то сделаешь подвал или гидроизоляцию. Правда, лагерным строителям было полегче, чем настоящим, — никто не требовал отапливать город, в нем даже не было для этого коммуникаций. А раз так, то дома не будут нагреваться, растапливать вечную мерзлоту и проваливаться в болото.

По северным масштабам объем работ был громадным, никогда здесь такого не видали. Следовательно, и воровство расцвело вокруг Берлина громадное. Замешаны в том были настолько высокие чины, что Шавло с Алмазовым бороться с ними были бессильны. С того момента, когда шесть лет назад началось грандиозное перемещение лагерей в эти края, строительство дорог и даже заводов — кирпичных, цементных, лесообрабатывающих фабрик, зданий института и подчиненных ему структур, — с тех пор и развернулось не менее грандиозное воровство. Никогда еще в истории Советского государства не возникало столь масштабной панорамы. За последние пять лет в связи со здешними хищениями и злоупотреблениями прошло четыре больших уголовных процесса, но все они глохли на уровне начальников управлений. Никто не знал, сколько должна стоить бомба, следовательно, она стоила вдесятеро больше, чем необходимо.

Андрей провел в Испытлаге полтора года, сначала каменщиком, чему он выучился в Воркуте, а потом штукатуром. Он не только покрывал дома штукатуркой, но и украшал их по трафаретам немецкими барельефами и завитушками, другие же делали витражи для кирхи и лепнину для ратуши. Неизвестно почему, но руководство НКВД требовало приближения к идеалу. Никто бы, даже сам Ежов, не смог объяснить, почему дома с барельефами лучше разрушать, чем просто дома, но решение об испытаниях в «обстановке, максимально приближенной к действительности», было принято пять лет назад, утверждено Совнаркомом, подписано Кагановичем, Молотовым и Сталиным, так что

никто не задавал лишних вопросов. К тому же многим участникам строительства было выгоднее, чтобы город получился подороже, посложнее, пошикарнее, — чем шикарнее составляющие, тем дороже раскраденное. Так что ХОЗУ НКВД, будь на то воля партии и товарища Ежова, закупило бы или конфисковало в Эрмитаже картины Дюрера и Рембрандта, чтобы украсить ими «берлинскую» ратушу. А потом отыскало бы в ГУЛАГе копиистов, чтобы заменить в Эрмитаже настоящего Дюрера на копии.

Зима была трудная. Начальство торопилось, из Москвы прилетали ревизии, со жратвой было хуже некуда.

Весной некоторые лагеря убрали в другие места — объем работ уменьшился; все заводы давно дымили, остался неоконченным лишь Берлин.

Архитектором по Берлину был Гриша Блюмфельд — он и в самом деле до ареста занимался немецким градостроительством и имел неосторожность опубликовать книгу «Средневековые города Германии: логика стиля» как раз перед одним из процессов, по которому проходил его двоюродный брат. Существование Гриши оказалось следствию на руку — он был явным доказательством причастности к делу немецкой разведки. Не лишенный чувства черного юмора следователь во всех документах прибавил Грише приставку «фон», так он и получил свои десять и пять по рогам под фамилией фон Блюмфельд, как он сам говорил: «Узнала бы об этом моя покойная матушка Сара Ефимовна!» Грише было за шестьдесят, он был человеком веселым, даже порой надоедливо веселым, словно служил по ведомству веселых людей под номером один. Он так привык всех веселить, что не мог остановиться, даже когда знал, что получит за это в морду.

В остальном он был славным и безобидным человеком, но германское зодчество знал больше по картинкам и описаниям, и, хоть ему доставляли всякие планы и фотографии, во внутреннем устройстве своих домов он не был уверен. Для этого на стройке были прорабы, народ жуликоватый и озорной. Если бы не надзор Алмазова, получились бы дома пустыми коробками, а так в них хоть были узкие лестницы, стекла, крыши — неуютно, но не дует.

К середине марта работы были в основном закончены. После этого работали на строительстве вокзала, где стоял паровоз с вагонами, ангара, в который закатили большой самолет, и парка культуры с зоосадом. Самолет был краснокрылый двухмоторный, из полярной авиации, говорили, что на нем летчик Лева-

невский летал в Америку, не долетел, возвратился, за что был тут же расстрелян, а самолет его отдали в жертву полигону.

Что в Берлине на самом деле полигон, Андрей удостоверился, когда в товарных вагонах навалом привезли сотни три человеческих чучел в натуральную величину, на фанерных скелетах с подставкой сзади, подобных мишеням на стрельбищах, в которых положено стрелять как во врагов Советской власти, но в настоящих шинелях и касках.

Мишени расставили между танками, привезенными к городу на платформах, а потом дошедшими своим ходом до места, а также за ангаром и в распадке за последними избами. Среди строителей и дорожников сразу пошли шутки, будто это не мишени, а участники нового массового процесса, поэтому их привезли расстреливать. Уже за первый день часть чучел раздели — шинель вещь ценная. Потом был большой шмон, но все равно нашлись не все шинели. Пришлось брать со склада новые и ставить у чучел охрану.

Андрей Берестов стоял на краю городской площади, у бокового входа в ратушу, разглядывал пять чучел, прислоненных затылками к стене, с густо забеленными рожами, ждал, когда просохнут, чтобы перерисовать в Гитлера и его свору. Тут его и отыскал учетчик Райзман, уткнул в Андрея укороченный на фалангу, отмороженный указательный палец и велел идти в штаб стройки, который занимал барак за авиационным ангаром.

В бараке было пустыннее, чем раньше, — чертежники уже собирали свое барахло, копировщиц увезли еще вчера, техники и счетоводы проверяли, все ли взято из ящиков столов. Прораб шестого участка Геза Ковач, из венгров-интернационалистов, которого знал сам Ленин, сидя на опустевшем столе, пил с лейтенантом Паукером разбавленный спирт. Шли относительно приятные дни после завершения объекта, когда спешка и нервотрепка переместились в другие бараки и штабы.

Андрей спросил Гезу, зачем и кто его вызывал. Лейтенант Паукер, которому Андрей еще зимой вырезал трубку из карликовой березы, налил полстакана, и Андрей выпил и сказал спасибо, но Геза засмеялся и заметил, что такому молодому парню пить плохо. Паукер приказал:

— Теперь иди.

И показал на дверь, обитую клеенкой; там сидел капитан Сталинский. Молодой капитан, чуть постарше Андрея, карьера которого складывалась сказочно, потому что он был детдомовс-

ким и получил фамилию случайно, но крайне удачно. «Сталинский детдомовец» — такого не оставишь на второй год в училище, такого не погонишь пересдавать зачет. Вроде бы ясно, что не Сталин, но имеет отношение.

Саша Сталинский отрастил усы, и никто не посмел возразить, хоть усы получились слишком сталинские.

Сталинский был особистом в мире особистов, особо доверенным кадровиком и обычно не имел дела с зэками.

Андрей постучал, вошел. Конурка у Сталинского была невелика — но места для стола, сейфа и двух стульев хватало. Саша поводил усами, как таракан, но, кроме усов, ничего похожего на Сталина не имел — курносая угорская рожа.

Но Андрей, хоть и был встревожен — зэк всегда встревожен необычным поведением начальства, потому что начальство создано и придумано для неприятностей, — все-таки обратил внимание не на Сашу, а на женщину, которая сидела перед ним по другую сторону стола. Женщина была молода, волосы пышные, золотые, наверное, крашеные, но с сединой. Лицо у нее было нежное, как со старой рождественской картинки, глаза голубые, блестящие, всегда готовые превращаться в озера слез. По лицу — морщинки, тонкие оттого, что очень тонка голубоватая кожа, морщинки у губ, у глаз, под глазами, на лбу — морщинки.

Женщина поглядела на Андрея со страхом, хотя ей, на вид вольной, здесь таких было немало, нечего бояться обычного зэка.

— Постой, — сказал Саша Сталинский, — сейчас я кончу оформлять.

Андрей встал у стены, стал разглядывать большой график производительности труда, что висел под портретом товарища Ежова — «железного» наркома НКВД.

Женщина смотрела на руку Саши, смотрела, как он пишет. Словно надеялась на какой-то благоприятный исход этого процесса. Будто ее сейчас отпустят на волю. А Саша, кончив писать, расписавшись сам, промокнул написанное старым пресспапье, брюхо которого было сплошь синим от долгой работы, потом отложил пресс-папье и сказал:

— А теперь познакомьтесь с вашим супругом.

Женщина покорно повернула голову к Андрею, словно была к этому готова.

Саша не смеялся, но был доволен.

— А ты, Берестов, не изображай радости и удовольствия.

Если бы не указание начальства, никогда бы тебе такую шалаву не отдал.

Сталинский развернул бумагу так, чтобы Андрей мог прочесть написанное. Мог, да не успел.

— Здесь распишись, — сказал Саша.

— Дайте прочесть, — сказал Андрей.

— Берестов, ты мне надоел. Или ты подписываешь, или идешь в карцер. Я тебе гарантирую скорую гибель от холода и голода. Как пить дать.

— Ну почему нельзя? Даже следователь давал.

— Я тебе не следователь, а оперативник. Ты у меня в разработке. А это твоя жена. Альбина Берестова, будьте знакомы.

— У меня есть жена.

— У тебя была жена, Берестов. А теперь у тебя только номер. А номер на братской могиле мы не ставим. Подписывай, не томи. Твоего мнения не требуется. Только — что ознакомился.

Андрей к этому времени уже успел прочесть сверху — типографское «Постановление», дальше мелко, неразборчивым почерком Саши Сталинского. А, да черт с ним! Ознакомился, не ознакомился — апеллировать некуда.

Когда расписывался, увидел, что там уже есть подпись этой молодой женщины. Она подписалась странно: «Альбина Смирнова-Лордкипанидзе».

— Эй, Винокур! — крикнул Саша Сталинский.

Заглянул сержант.

— Следующие пришли?

— Готовы.

— Тогда этих в красный уголок.

Сержант показал жестом, что надо уходить, и они вышли. В предбаннике ни Гезы, ни Паукера не было. Зато стояли три мужика из соседнего барака — Андрей их всех знал в лицо. Они молчали. Так же, как и Берестов, не ждали добра.

А когда Андрей вошел в красный уголок, оказалось, что там уже собралось человек двадцать — большей частью зэки, некоторых Андрей встречал. И несколько женщин, тоже почти все из заключенных. Андрея стали спрашивать — не знает ли чего? Оказывается, все уже прошли через кабинетик Саши Сталинского и всех заставили расписаться на неизвестном постановлении.

Альбина потянула Андрея за рукав — в угол, к зарешеченному окну.

— Простите, — сказала она высоким, ломким, очень ясным голосом, — но я знаю, что он там писал.

— Скажите, — Андрей ответил также вполголоса, подчинившись ее настороженности.

— Это постановление о переселении, о высылке. Там сказано, по какому адресу мы будем проживать.

— Это чепуха какая-то.

— Нет, не чепуха. Гражданин Сталинский спрашивал меня, читала ли я книгу «Ледяной дом».

— Лажечникова?

— Кажется, Лажечникова. Он сказал, что какая-то царица сделала дом изо льда, и туда поселили после свадьбы шута и шутиху, и они провели брачную ночь во льду.

— Правильно, — сказал Андрей. — Но какое это имеет отношение к нам?

— Мы все будем жить в ледяном доме.

Андрей пожал плечами. У него возникло подозрение, что женщина не совсем нормальна, она и говорила странно — глядела в упор, а глаза были полны слез.

В соседнюю комнату, когда-то чертежную, прошли три доктора. Вольные, из больницы института, с ними на подхвате профессор Коган и академик Лобанов — они зэки, но их держат при больнице санитарами, когда что случается с начальством, их вызывают на консультации. Академики довольны, насколько может быть доволен человек в клетке.

Когана Андрей знал — у него было воспаление легких в прошлом году, он лежал в больничном бараке, и Коган его почему-то выделил из других больных. Даже снисходил до разговоров с молодым человеком. Они разговаривали, когда у Когана было свободное время — пол вымыт, лекарства розданы, белье принесено, — он приходил к Андрею, приносил табуретку, садился и рассказывал о своем институте, потому что полагал, что Андрею интересно слушать о том, что относится к молодости Когана.

Проходя мимо, Коган узнал Андрея, подмигнул ему.

Один из зэков, мелкое существо с испуганными мышиными глазками, сказал:

— Эпидемию подозревают. Уже многие пострадали в Усть-Ваглаге.

— Какая эпидемия? — отозвался кто-то от окна. Вроде бы равнодушно, но готовый впитывать информацию. Все замолкли — все повернулись к существу; Андрею было ясно, что существо врет, сейчас вот, на глазах придумывает, но он тоже затаил дыхание.

Но существо не успело придумать даже названия болезни,

как Коган вышел из комнаты со списком в руках, очки сползли на нос. Он запрокидывал голову, чтобы разобрать текст, хотя проще было бы поправить очки.

— Аникушин, — выкликнул он. — Берестов!

Существо всполошилось, стало перебирать ногами, словно сопротивляясь толчкам в спину. Но при том все же продвигалось к двери, бросая взгляды назад. Братцы, молили безмолвно глаза существа, за что?

Андрей поглядел на Альбину.

Она кивнула, будто хотела сказать: не робейте, я вас подожду.

Андрей давно, третий год, не видел ни одной красивой женщины. Забыл о том, что красивые женщины — реальность. Даже Лидочка переместилась в мир грез.

Интересно, почему у нее фамилия Лордкипанидзе? Грузинка? Менее всего она похожа на грузинку. Значит, замужем? Или была замужем?

Андрей вошел в кабинет следом за Аникушиным.

Два доктора сидели за голым столом. Перед ними были раскрытые общие тетради. Академик Лобанов сидел на табурете в стороне от стола и держал на коленях лист картона. Еще один врач стоял со стетоскопом в руке и ждал Андрея. Такого количества врачей сразу ему в жизни видеть не приходилось.

— Ну что ж, батенька, — произнес академик Лобанов, прежде чем остальные доктора, хоть и вольные, но куда менее авторитетные, сумели раскрыть свои тетрадки, — будем вас обследовать. Попрошу снять верхнюю одежду.

— Всю?

— Тебе сказали, раздевайся! — рявкнул один из врачей, по всему судя, чекист. — Вас тут полсотни, с каждым, что ли, рассусоливать?

— Батенька, — сказал Лобанов, он произносил это слово естественно, у другого оно прозвучало бы притворством, — не вмешивайтесь и помолчите. Вы записывайте, что вам положено.

Андрей разделся. И начался врачебный осмотр, достаточно внимательный, с вопросами о том, чем болел в детстве и что беспокоит сейчас, даже с анализом крови, который делал Коган, в то время как остальные занимались Аникушиным.

— Что все это означает? — шепотом спросил Андрей, когда Коган, порезав ему палец, выдавливал из него кровь в стеклянную трубку.

— Обследование, — ответил Коган, запрокинув голову, чтобы видеть Андрея. — Вас пересылают.

— Может, знаете, куда?

— Мне не говорят.

— Хорошего не ждать? — Андрей задал этот вопрос, потому что чуть-чуть надеялся на отрицательный ответ.

— Не знаю, Берестов, — сказал Коган, — но разве можно ждать хорошего от этих властей, если они вдруг решили исследовать ваше здоровье? Неужели совесть заговорила?

Андрей не смог сдержать улыбки.

— А раз нет, значит, им очень хочется, чтобы ваше здоровье стало хуже, потому что нет смысла сравнивать два хороших здоровья, — прошептал Коган.

Женщин осматривали после мужчин, но никого не отпускали и даже не кормили. Осмотр тянулся часов до четырех, а потом всех погнали в красный уголок, там набралось человек шестьдесят. Президиум сидел за красным столом. Было похоже на проведение собрания к годовщине Октября.

В президиуме были один из докторов, он снял халат и оказался майором, Саша Сталинский и лично комиссар Алмазов. Его Андрей видел раза три и все издали. Присутствие Алмазова придавало празднику истинность.

Когда все расселись, Саша Сталинский дал Алмазову слово, а сам налил из графина воды в граненый стакан и поставил на трибунку-загончик, по правую руку от докладчика.

Алмазов был в новом френче, хорошо сшитом, видно, из Москвы. В нем была легкая звериная элегантность.

— Граждане заключенные, — сказал он дружески, словно обращался к товарищам. — Мы собрались с вами, потому что всем нам небезразлично, как развиваться и хорошеть нашей любимой родине.

Алмазов мотнул головой, черный волнистый локон сорвался на лоб. Глаза блестели.

— Мы отобрали здесь людей, которые проявили себя за время заключения как сознательные трудящиеся элементы и имеют право на снисхождение от Советской власти, несмотря на всю тяжесть совершенных вами преступлений.

Тут Алмазов прервал речь и опечалился. Видно, как понял Андрей, он играл престарелого отца, расстроенного шалостями сына. Ждать добра от этой речи было бы наивно.

— Нашими учеными проводится, как вы уже догадались, — продолжал Алмазов, — грандиозный эксперимент. Здесь, в некогда безлюдной и холодной тундре, мы с вами воздвигли ис-

пытательный полигон, который не по зубам империалистическим государствам. Однако эксперимент не может быть завершен, пока в нем не примут участие отважные советские люди. И для этой цели были отобраны вы, товарищи!

И последнее слово должно было прозвучать, как торжественный и всепрощающий звон колокола. Но не прозвучало. Собранные в комнате были тертыми калачами и понимали, что старое мирное обращение — попытка заманить в ловушку. Вот-вот щелкнет засов...

— Не вижу воодушевления, — сказал Алмазов с укоризной. — Неужели в вас не осталось ничего человеческого? Неужели успехи нашей родины не вызывают в вас душевного порыва?

Вопрос был настолько требовательным, что кто-то в зале не выдержал и крикнул:

— Есть порыв!

— Вот и отлично, — обрадовался Алмазов. — Тогда переходим к делу. Сегодня же отобранные и прошедшие медкомиссию граждане переводятся на временное проживание в экспериментальный город, прозванный вами, как нам известно, Берлином.

Это было настолько неожиданно, что пауза затянулась надолго. Это доставило Алмазову некоторое удовольствие.

— Закрыть рты! — приказал он. — Ничего страшного не случилось. По условиям эксперимента в городе, который мы с вами построили, будут обитать люди. Обыкновенно. В квартирах и в комнатах. Вы получите питание сухим пайком, а также теплые вещи. Ваша задача — провести в этих условиях месяц. Ясно?

— А если мороз? — спросил Аникушин, высунулся раньше времени.

— Разговорчики! — рассердился Саша Сталинский.

— Пускай говорят, — ласково остановил его Алмазов. — Людям интересно, а у нас нет тайн от советских людей. Я же вас не на курорт зову, не отпускаю пока на волю. Я говорю вам — придется, может, и померзнуть, придется и подрожать. Умели гадить Советской власти, умейте и потерпеть.

Что-то он нервничает, подумал Андрей. Суетится. И вообще-то говоря, начальнику строительства незачем приходить к полусотне зэков, чтобы отправить их в карцер, даже если этот карцер строили многие тысячи заключенных для очередной дьявольской выдумки НКВД.

— А что нам за это будет? — спросил с акцентом бывший эстонский коммунист Айно Рятамаа, по прозвищу Булыжник. Лицо

у него — серое, корявое, обрамленное почти белыми редкими волосами — и на самом деле вызывало в воображении именно булыжник.

— А вы же знаете, как у нас бывает, — сказал Алмазов. — Если эксперимент пройдет нормально, все получат ордена и сроки скостят. А что? На Беломорканале многие ордена Ленина получили. И зачет. Кончилось — и вышли. И честно трудятся.

— А если не выйдет? — Булыжник спрашивал медленно и тихо. Но внятно.

— А если не выйдет, — ответил Алмазов, — то вернетесь в зону и будете вкалывать дальше. Все!

Это Алмазов крикнул, потому что вдруг как в классе потянулись руки — люди хотели задавать вопросы, но остерегались Сашу Сталинского.

Алмазов налил в стакан воды, жадно выпил, отошел к покрытому красным сукном столу президиума, а Саша Сталинский стал объяснять — довольно вежливо, видно, и в самом деле они были начальству нужны, — когда возвращаться в бараки, что можно брать с собой, как будут распределять... Алмазов смотрел куда-то поверх правого плеча Андрея. Андрею хотелось обернуться и проследить его взгляд, но он не решился — заметит. Хотя непонятно, чего он боялся. Просто боялся — в присутствии высокого начальства, вольного распоряжаться его жизнью и смертью, лучше не привлекать к себе внимания.

Саша быстро закончил инструкции — все пошли к дверям. Алмазов остался на трибуне. Тогда уже, поднимаясь, Андрей увидел, куда смотрит всесильный чекист, — на красивую Альбину, так недавно и непонятно объявленную женой Андрея.

Андрей хотел подойти к ней — спросить, понимает ли она, что происходит, но Альбина его не видела — она тоже смотрела на Алмазова: то ли с ненавистью, то ли со страхом... Считается, что в глазах можно прочесть чувства, владеющие человеком. Но это не так: прочесть можно лишь все лицо — наклон бровей, морщины у губ, линии лба — только все вместе и делает маску страдания или ненависти. А когда лицо неподвижно, по глазам ничего не прочтешь. Одно было ясно: Альбина и Алмазов знакомы, и в этом ничего странного нет — на строительстве было немного женщин и совсем мало красивых женщин. Алмазов мог использовать эту Альбину, а потом, за ненадобностью, сдать сюда. Ведь если бы он этого не желал, он бы тут же ее отсюда увел.

Алмазов наклонил голову — то ли прощаясь, то ли задумавшись.

Андрей последним из зэков покинул красный уголок и остановился в коридоре. Потом быстро вышел Алмазов. Заключенные раздались, чтобы пропустить его, вжались в стены.

Убедившись, что Алмазов ушел, Андрей заглянул в красный уголок.

Альбина стояла у стены. Глаза ее были полны слез.

— Вам помочь? — глупо спросил Андрей.

— Чем же вы мне поможете? — удивилась Альбина.

Она пошла рядом с ним к выходу. Пальцы ее были сплетены, и она ломала их, похрустывая суставами, — в этом было что-то театральное.

— А вы актриса? — спросил Андрей.

— Уже нет, — ответила Альбина.

На выходе ждала охрана — всех разделили по баракам и погнали в зону — сказали, что можно забрать свои вещи. И молчать, ни одной сволочи — ни одного слова, куда идете и зачем, ясно? Если просочится информация — виновные вплоть до расстрела, ясно?

Но конечно же, информация просочилась — в бараках было полно людей. Все уже вернулись со стройки. Собирались на этап — лагпункты эвакуировались. Люди расставались — встретятся ли? И что такое за эксперимент, когда люди должны жить, словно в ледяном дворце, в этом игрушечном городе? Кто-то в бараке предположил, что на городе будут опробованы особые лучи смерти или бациллы, а еще кто-то сказал, что его будут бомбить, недаром привезли фанерные мишени. Андрею не хотелось об этом думать — это было слишком правдоподобно.

Андрей боялся, что его и Рятамаа, жившего в том же бараке, уведут в ложный город сейчас, на ночь глядя, но Айно сказал, что охрана не глупая, чтобы ночью по морозу туда ходить, охрана сначала будет спать.

Так и случилось.

На рассвете весь барак ушел на этап, Андрей даже успел попрощаться с теми, с кем сблизился за эти месяцы, а они с Рятамаа не спеша собрались, и только к девяти за ними пришли.

Конечно же, Андрея, как и любого нормального человека на его месте, мучил страх перед неизвестностью, потому что в лагерях человеческая жизнь слишком мало стоит и поддерживается она только тогда, когда люди существуют все вместе. Но в то же время мысль о скорой встрече с Альбиной все время вмешивалась в пессимистические рассуждения и отвлекала, внося

в жизнь странную, забытую уже остроту, загадку и потому — надежду.

Это был необычный развод.

Они выстроились длинной неровной шеренгой на залитой утренним весенним солнцем и порезанной острыми тенями центральной площади Берлина. Все были с вещами. Незнакомый смуглый капитан выкрикивал фамилии. Фамилий оказалось пятьдесят шесть — пятьдесят мужских, шесть женских.

Потом вперед вышел другой мужчина, в штатском.

Он говорил легко, словно читал знакомую инструкцию:

— Сейчас вас разведут по квартирам. Там есть минимальные жилые условия. Теплые вещи. Огня не разжигать — это будет караться. Отведенные квартиры и места проживания не покидать. Это будет караться. Попыток к бегству быть не должно — вокруг, как вы знаете лучше меня, тундра. Ночью в ней холодно, и там еще лежит снег — человек виден на расстоянии многих километров. Впрочем, не мне вам это объяснять. Однако передвижения по самому городу в пределах, скажем, квартала или улицы допустимы в дневное время. Ходить друг к другу в гости дозволяется после наступления темноты.

После этого каждому была объявлена его комната.

За день, пока Андрей не был в городе, на домах появились номера, сделанные черной краской. Так что отведенная им с Альбиной квартира оказалась на втором этаже дома, одной стороной выходившего на площадь, второй — в узкую улицу. Туда же выходило окно. Над ними была еще комната, куда угодил Айно. Один. Он сказал, что придет в гости. Он был удивлен тем, что Андрей обзавелся семьей. И не знал, можно ли пошутить или это совсем не смешно. Но Альбина ему понравилась, от этого он смущался и хуже говорил по-русски.

Впрочем, Андрей тоже не смог бы сказать, рад он шутке судьбы или предпочел бы сейчас быть на этапе вместе со всеми своими товарищами. И он, и Альбина, и Айно были фишками в игре, непонятной и потому недоброй. Они были подопытными мышами в лабиринте, построенном их собственными лапками. Почему-то одному из лаборантов пришло в голову спарить двух мышат и поглядеть, как они будут тонуть рядом. И разумеется, он не стал делиться с мышами своими соображениями по поводу того, когда и в какой луже их утопят.

Андрей в этом доме еще не был. Дом был четырехэтажный, но верхний этаж оказался всего лишь декорацией. Туда и лест-

ница не вела. Может быть, в первоначальном проекте Берлина дому положено было быть нормальным, по при воровстве, царившем на стройке, конечно же, большинство домов были лишь оболочками, о чем знал Алмазов, знал Шавло, но не должны были знать Френкель или Вревский.

Внизу располагался магазин — там были устроены прилавки и даже поставлена обычная металлическая касса с ручкой. Касса работала, только в нее не вставили ленту. Полки магазина были пусты. В нем было светло — солнце, низко поднявшись над горизонтом, косо всаживало лучи в большие витрины. Так же светло или, может быть, светлее было на втором этаже в квартире Андрея и Альбины. Квартира состояла из прихожей, где была круглая вешалка, и комнаты. Ни кухни, ни умывальника, ни туалета в квартире не оказалось. В комнате, в которой теперь Андрею положено было жить, стояли широкий топчан и табурет. И все. Хорошо еще, что окно было застекленным.

Альбина не вошла в комнату следом за Андреем, а осталась в дверях.

— Плохо, что воды нет, — сказал Андрей, обозревая скудное хозяйство.

— Здесь все понарошку, — сказала Альбина, — значит, и мы понарошку.

Айно громко протопал по лестнице. Зашел к ним.

— Воды нет, — прогромыхал он, возвышаясь над Альбиной.

Альбина съежилась, как перед паровозом.

— Ничего здесь нет, — сказал Андрей.

— Надо поглядеть внизу, — сказал эстонец. — Там есть чулан, в нем могут быть вещи.

Андрей подошел к окну. Оно выходило на заснеженную узкую улицу — близко было окно другого дома, и там Андрей увидел незнакомого зэка, которого, видимо, туда вселили. Зэк показал Андрею кулак. Он был весел.

— Не беспокойтесь обо мне, — сказала Альбина, — мне все равно.

Она села на край топчана.

На ней были сильно потертая беличья шубка и небольшая круглая шляпка. Андрей понял, что она очень давно, может быть, несколько лет, не имеет ничего, кроме этой шубки и шляпки. Но эти остатки цивильной одежды говорили о том, что она вольная, а потому ее не должны были отдавать Андрею и селить в этом игрушечном городе. Ноги она подобрала под се-

бя — Андрей раньше не догадывался посмотреть ей на ноги. Ноги были в тяжелых ботинках.

Андрей не стал больше разглядывать Альбину — она чувствовала его взгляд, и он ее смущал. Андрей спустился вниз по лестнице. Перила у нее забыли сделать или уже украли. Айно шуровал в чулане за магазином, куда свалили и забыли убрать доски, бочку из-под краски и иной строительный мусор.

— Эй! — сказал он радостно. — Смотри, что я нашел!

Он держал измазанное засохшей краской ведро.

Видя, что Андрей не понял его торжества, Айно поставил ведро на пол, расстегнул ватные штаны и опорожнился в ведро. При том он оглядывался на Андрея, словно открыл новую планету, и однообразно спрашивал:

— Ладно? Хорошо? Ладно?

Не вовремя заглянул Аникушин, суетливый, шмыгающий носом, будто только что отплакал. Он увидел, чем занимается Айно, и сразу стал расстегивать ширинку, чтобы помочиться, обещал приходить к ним для этого каждый день, а потом вспомнил, зачем пришел: на главную площадь привезли полевую кухню — заботятся о нас партия и правительство.

На площади стояла очередь жителей города. У кого не было — тому выдавали миску, кружку и ложку. У Андрея все, конечно, было — не первый год в лагерях, но он взял ложку, попалась стальная, можно заточить. Суп был густой, перловый, горячий. Люди разбрелись по площади, сидели кто как, а то стояли, ели не спеша, будто с них уже сняли оковы и собрались они здесь, чтобы подышать свежим воздухом, как бы на пикник. К Альбине подошла одна из женщин, они мирно разговаривали.

Солнце светило сквозь перистые облака, но само было не видно, словно еще стеснялось светить и греть по-человечески. Длинная вереница птиц прошла на север над площадью. Птицы с удивлением глядели вниз.

Супа давали добавку, и каждый брал, чтобы нажраться от пуза. А с сытостью, настоящей сытостью, которой многие и не помнили, в людях стали возникать другие интересы. Кто-то вслух позавидовал тем, кому по разнарядке достались бабы. Аникушин подбежал к Андрею, слюнил пальцы, будто отсчитывал деньги, и говорил почему-то с кавказским акцентом: «Одолжи бабу, а, одолжи бабу, а то все равно отберем!» Вокруг хохотали. Андрей вдруг испугался, что ночью могут попытаться сделать Альбине «трамвай» — скопом изнасиловать. И он

поглядел на Айно, понимая, что в таком случае все зависело от могучего Булыжника, чью сторону он займет. Еще минуту назад Андрей и не боялся за Альбину — это же не пересылка, они же жители эфемерного города. А тут почувствовал ответственность за ее безопасность.

Айно смотрел на Альбину, Андрею не нравился этот белесый неподвижный взгляд, а рядом стоял гаденыш Аникушин и мелко облизывался — розовый кончик языка живым существом выскакивал между губ, пробегал по ним, прятался и тут же высовывался снова.

Андрей пошел к Альбине, которая ела, усевшись на деревянный ящик, осторожно зачерпывая суп из миски, стоявшей на коленях. Она или не слышала слов Аникушина, или не обратила на них внимания. Андрей встал так, чтобы прикрыть Альбину спиной от гогочущих мужиков — далеко не все были уголовниками, наоборот, в Испытлаге в последний год большинство было по пятьдесят восьмой статье, и их в Берлине тоже было немало, — но мужики подзаводили друг друга, они грубо шутили, а Андрей хлебал суп, стоя перед Альбиной, и, оказывается, любовался ею, проникался все больше нежностью к ее беззащитной красоте, понимая уже, что принял без особенного сопротивления правила наверняка смертельной игры, навязанной ему, потому что в нее вмешался неожиданный, все разрушающий фактор, позволяющий забыть о дурном исходе, наслаждаясь моментом, подобно тому, как может наслаждаться сигаретой перед казнью приговоренный к смерти.

Разрядила обстановку та женщина, что недавно разговаривала с Альбиной. Она решительно пошла к группе особо крикливых зэков, подняла миску с супом, будто намеревалась выплеснуть его им в рожи, и закричала:

— Я вам устрою «трамвай»! Вы у меня на тот свет быстро поскачете. Колчаки проклятые!

Смуглый капитан госбезопасности, который в сопровождении двух вохровцев приехал с полевой кухней, прервал взрыв хохота, вызванный словами женщины:

— Нарушение условий эксперимента, который здесь ставится, будет караться высшей мерой. На месте! Мною лично! И учтите, гады, что этот полигон круглые сутки под наблюдением. Каждый квадратный метр! — Он сделал длинную паузу, словно искал нужный завершающий аккорд, и наконец в полной тишине произнес: — Женщины распределены согласно научным спискам, так что не обсуждаются.

Капитан велел охране раздать сухой паек — по полбуханки хлеба и куску колотого сахара.

После этого они не стали задерживаться на площади. На прощание капитан велел особо не шляться. Зэки не знали, находятся ли они на самом деле под наблюдением, но от начальства можно ждать всего.

Айно молчал и шел сзади. Андрей сказал Альбине:

— Вы не бойтесь. Ничего не случится.

— Разумеется, — сказала Альбина. — Ничего не случится.

Она была заторможенная и равнодушная. Но перед тем как войти в темный зев дверного проема, она остановилась и пропустила вперед Андрея. Значит, чего-то все же боялась — темноты ли, зверей, насильников?

Когда они поднялись наверх, Альбина сказала Андрею:

— Давайте свою пайку, я спрячу.

Он передал полбуханки и кусок сахара.

Айно сделал движение, словно тоже хотел войти в долю, но Альбина не стала брать его хлеб, а сказала рассудительно:

— Вы на другом этаже живете, может, ночью захотите поесть...

— Не захочу! — Андрей впервые увидел, как Айно улыбается.

— Нет, — твердо ответила Альбина. — Нельзя. Если ночью к нам придут... за мной, то обязательно хлеб отнимут.

— Вы что говорите! — закричал Андрей.

Но Айно сказал совсем спокойно:

— Я думаю, что не придут. Они все верят, что за ними в глазок наблюдают.

Правильно, мы же все равно в камере, внутренне согласился Андрей и был благодарен Айно за то, что тот произнес успокоительные слова.

А тот, так и не отдав хлеба, потопал к себе наверх, на третий этаж.

Альбина стала вслух рассуждать, куда спрятать хлеб и сахар, потому что могут прийти воры. Она даже сбегала вниз, нашла там кусок оберточной бумаги, сделала сверток и сначала спрятала в углу под досками, потом ей это место не понравилось, и она попыталась засунуть пакет под топчан, но зазор оказался слишком мал.

Андрей не вмешивался, он стоял у окна и смотрел на Альбину, и ему нетрудно было вообразить, что ее суета — признак обыденной жизни в несуществующем, но реальном городе, не имеющем никакого отношения ни к тундре, ни к Испытлагу, ни

к Советской стране. Что они на самом деле живут где-то в Европе и сейчас Альбина занимается уборкой, конечно же, уборкой, а потом они поужинают и лягут спать... И, дойдя в мыслях до этого момента, Андрей вдруг увидел икры Альбины — она как раз встала на колени, вертя головой, в поисках иной ухоронки. Андрей но видел ни тяжелых башмаков, ни потертой шубки — так щеголю восемнадцатого века достаточно было увидеть на мгновение кусочек дамской лодыжки, чтобы воспылать страстным желанием.

— Нет, — сказала Альбина, — ничего не выйдет. Нам нужен шкаф.

Оказывается, она тоже мысленно ушла из лагерного прозябания в видимость какой-то иной жизни.

— Мы его обязательно купим, — сказал Андрей, подходя к Альбине и протягивая руку, чтобы помочь ей подняться.

И, неосторожно улыбнувшись своим же словам, он разрушил очарование игры, в которую готова была погрузиться Альбина. Может, он при том слишком сильно сжал ее тонкие мягкие пальцы и, помогая подняться, более чем необходимо потянул ее к себе.

Альбина стояла теперь лицом к Андрею, прижимая одной рукой к боку пакет с их пайкой и стараясь освободить пальцы другой руки из пожатия Андрея.

Андрей отпустил ее, но Альбина уже успела увидеть в его глазах желание и потому вдруг кинула пакет на топчан, словно отказываясь дальше играть, и зло спросила:

— Ну кто вас просил все испортить? Кто просил?

— Я ничего не сделал, — сказал Андрей. Ему хотелось превратить все в шутку. — Не надо ссориться. Мы же с вами супруги. Супруги Берестовы, так записано.

— Это не означает, что вам можно, — сказала Альбина.

Господи, ну как глупо, рассердился на себя Андрей. Да и она хороша — нельзя же все понимать буквально.

Пакет раскрылся — половинки буханки и куски сахара рассыпались по топчану.

— Знаете что, — сказал Андрей, — давайте погуляем.

— Что? — Альбина испугалась этого слова. Будто оно скрывало какой-то опасный для нее смысл.

— Погуляем по городу, а то потом станет темно. Вы давно гуляли?

— Я давно не гуляла, — сказала Альбина серьезно.

— Вот и пойдем. Вы не замерзнете?

— Нет. Но я боюсь гулять с вами вдвоем.

— Клянусь, что я ничего не имел в виду.

— Глупости, — сказала Альбина, — вы не знаете, как опасно быть женщиной. Давайте позовем Айно. Он сильнее вас.

Андрей не обиделся, а вышел на лестничную площадку и окликнул Айно. Тот сразу услышал, будто ждал у двери.

— Мы пойдем гулять, — сказал Андрей.

Айно не понял его. Он, видно, так давно не гулял, что не понимал, как можно просто ходить. И Андрей, чтобы не объяснять лишнего, сказал:

— Пойдем поглядим вокруг, может, найдем какие-нибудь нужные вещи.

— Правильно, — сказал Айно. — Только мы не можем оставить Альбину здесь.

— Она пойдет с нами.

— Тогда я возьму железную палку, я видел ее внизу.

Альбина тем временем еще раз перепрятала хлеб и при том все время думала: а там, на воле, был ли Андрей Берестов женат? Но так и не спросила и никогда не узнала, что он был мужем Лидочки Иваницкой и тем был косвенно связан с семилетней давности событиями в Узком, после которых она уже не жила, а ждала, чем же кончится эта жизнь, хотя при том в ней не было силы и решительности ее прекратить, — всю свою любовь и ненависть она истратила, пока боролась за жизнь мужа. А может, она и не знала фамилии Лидочки — Лида, Лидочка, красивая девушка...

Шавло устроил для наблюдателей бункер неподалеку от института. Не очень удобный, тесный, но, очевидно, безопасный. Алмазов велел принести туда мебель и даже постелить на доски большой ковер — он ждал приезда самого наркома внутренних дел Николая Ивановича Ежова. В бункере были установлены четыре перископа, а в бруствере проделана щель, закрытая бронированным стеклом.

Алмазов ездил встречать наркома, Шавло с собой не брал — зачем ему ездить, показывать себя чужим людям? Когда Алмазов вернулся, он сказал Мате, что товарищ Ежов не хочет наблюдать за испытаниями из подвала: товарищ нарком — не крыса. Он будет стоять в поле.

— Это опасно, — сказал Шавло. — Мы лишимся наркома НКВД.

— Без глупых шуток, — обрезал Алмазов. Разговор происходил в кабинете Шавло — почему-то Алмазов полагал, что он

безопаснее, чем его собственный. Впрочем, Шавло мог проследить логику рассуждений чекиста. Подслушивающие микрофоны в кабинете научного руководителя устанавливали под контролем Алмазова, а вот кто контролирует микрофоны в кабинете самого начальника проекта, Алмазову было не положено знать.

— Товарищ Ежов не представляет себе, какой может быть сила взрыва, — продолжал Шавло. — Лифшиц подсчитал теоретическую возможность цепной реакции.

— Ты мне говорил, — отмахнулся Алмазов. — Если она начнется, нам будет поздно рассуждать.

— Тогда я остаюсь в бункере, — сказал Шавло. — Мне еще надо довести наше дело до конца. Наркомы приходят и уходят, а наша великая родина, руководимая ленинской партией большевиков, остается.

Фраза была вызовом, фраза была крамолой. Алмазов молча проглотил вызов. Алмазов промолчал еще и потому, что признавал правоту Мати, который требовал обставить испытания как настоящие, — чтобы их наблюдали, осознавали и регистрировали десятки, сотни специалистов. Но Френкель с Ежовым категорически запретили допускать этих профессоров. Это была личная тайна Ежова, который, хоть и ставил на бомбу, понять ее значения, конечно, не мог.

— Мне его в бункер не загнать, — сказал Алмазов. — Николай Иванович страдает клаустрофобией. Я не шучу.

— Чего же вы раньше молчали! — рассердился Шавло. — Сами ковры укладывали!

— Я не знал, — сказал Алмазов. — Не было обстоятельств. Сейчас мне подсказал Вревский.

Ситуация вырывалась из-под контроля.

— Я попробую его сам уговорить, — сказал Шавло.

— Глупо.

— У нас нет другого выхода. Он намерен меня принять?

— Он сказал, что приглашает тебя обедать.

— Большая честь. Попробуем, — сказал Шавло.

Обед был устроен в салоне поезда наркома. Продукты тоже привезли с собой. Алмазов в один из недавних моментов искренности (в конце концов кто ему ближе всех на свете? Как ни странно — Матя Шавло) проговорился, что Ежов чувствует себя неуверенно, Сталин несколько раз оспаривал его решения, Берия ведет себя нагло. Ежов пытался свалить этого мингрела, но Сталин не позволил. Ежов чует опасность. Ему нужна бомба — это его надежда, иначе Сталин кинет его, как кость собакам.

Шавло раньше не видел «железного» наркома. Газетные портреты и короткие кадры кинохроники не в счет. Там Ежов казался красивым моложавым мужчиной в специально для него изготовленной форме генерального комиссара госбезопасности — большие звезды в петлицах. Такие же, как у маршалов в армии. Но иначе расположенные. Маршалов в армии было пять, троих убили, но произвели новых — Тимошенко и Кулика. А маршал госбезопасности в мире один. Он всемогущ. Он — второй человек в государстве... пока первый того желает.

Ежов боялся замкнутого пространства. Ему сразу же представлялось, что он уже попал в тесную камеру смертника и никогда не выйдет отсюда. Он даже в поезде, несмотря на возражения охраны, не закрывал занавески. Он любил яркий свет. И шум. Он сам играл на баяне. И тогда сразу становилось ясно, какой он махонький и субтильный. Потому что баян был почти с него размером.

Ему бы играть на свирели, но Сталину хотелось, чтобы на пиршествах он играл на баяне.

В стране было сто двадцать колхозов имени «железного» наркома, три города, восемнадцать других населенных пунктов, заводы, фабрики, детские сады и ясли, пионерские дружины и пограничные заставы. Страна любила и боялась своего Марата.

Когда Шавло следом за Алмазовым вошел в салон, Ежов уже сидел за столом. Он не поднялся из-за стола, полускрытый бутылками и горами салата и семги, он не хотел оказаться маленьким рядом с Шавло, которому бы никогда этого не простил. У Ежова были красивые каштановые волнистые волосы, аккуратно подстриженные и зачесанные назад, левая бровь всегда приподнята, губы капризно изогнуты — женские губы.

— За стол, товарищи, за стол! — закричал он высоким звонким голосом, когда Алмазов и Шавло вошли в салон. — Мы умираем с голода.

— Разрешите представить вам, товарищ нарком, — сказал Алмазов, — научный руководитель, так сказать, душа нашего проекта, профессор Шавло, Матвей Ипполитович.

— Слышал, слышал, все о нем знаю. Садись, Матвей, — вот сюда, справа от меня, а ты, Алмазов, — по левую руку. Вревского вы знаете, Френкеля тоже.

Шавло в самом деле знал обоих. Френкель ведал ГУЛАГом, он раза три был на строительстве — у него было рубленое, энергичное плакатное лицо, но все портили близорукие глаза под толстыми стеклами маленьких очков. Вревский замещал Ежова по каким-то общим вопросам — он тоже здесь уже бывал.

— Наливай! — сказал Ежов. — Давно мне надо было бы с вами познакомиться, но уж очень далеко вы забрались, товарищи физики. Не стесняйтесь, наливайте, Френкель, командуй!

Ежов и Шавло разглядывали друг друга исподтишка. И друг другу не понравились. Но они встретились здесь не для того, чтобы дружить, а потому, что были нужны друг другу. Жизненно нужны. Бомба Мати — последняя ставка наркома. Ежов — главная ставка Мати. Он кормит, поит и готовит к выходу в свет атомную бомбу, которую социалистическая держава должна сделать раньше, чем империалистический Запад, и этим выиграть соревнование двух систем.

Принесли суп — солянку. Густую, с осетриной и солеными огурцами. Матя ел с наслаждением — уже забыл вкус таких яств. Под солянку хорошо пилось. Но контроля над собой никто не терял.

— Откуда будем вести наблюдение над испытаниями? — спросил Френкель.

— Для безопасности наблюдателей, — сказал Алмазов, — нами подготовлен бункер со всеми удобствами.

— Яма? Блиндаж? — спросил Ежов.

Начинается, понял Шавло.

— Блиндаж.

— Не полезу, — сказал Ежов.

— Товарищ нарком, — сказал Шавло, — мы пока не знаем силы взрыва. Поэтому мы приняли меры безопасности.

— Прими меры на земле, — сказал Ежов. — И выпьем за успехи нашей советской родины. И за товарища Сталина, организатора наших успехов.

Выпили.

— В таком случае, — сказал Шавло, раздражаясь от тупости этого вельможи, грозившей опасностью и самому Мате, которому придется находиться с ним рядом, — нам придется наблюдать за взрывом на большом расстоянии. Мы многого не увидим.

— А из ямы увидим? — И Ежов весело засмеялся.

— А в бункере есть перископы.

— Ничего, возьмем бинокли и посмотрим.

Они ничего не понимают. Хотя почему они должны понимать, если они мыслят категориями гражданской войны: бомба — это комья земли и воронка в аршин диаметром.

Шавло попытался сказать что-то о катаклизме, который вызван учеными к жизни, но Ежов, выпив под отбивную еще рюмки три, пустился в монолог и стал недоступен для доводов разума.

— Я вам должен раскрыть ситуацию во внешних отношениях, — говорил он быстро, невнятно, обегая взглядом лица слушателей, но не в силах остановиться ни на одном из них. — Именно сегодня, когда германские фашисты совершили аншлюс в Австрии и агрессию в Чехословакии, когда борется, изнемогая, Испанская республика, а итальянские чернорубашечники угнетают Эфиопию, мы должны быть готовы ответить агрессорам ударом на удар. Для чего нам нужна наша бомба? Отвечаю: чтобы враги мира трепетали перед нашей Красной Армией. Вам понятно?

Головы покачивались, как у болванчиков, все были согласны...

Ежов требовал, чтобы пили еще, и Вревский проверял, чтобы все пили до дна.

— Ты мне, Шавло, не понравился, — сказал вдруг нарком. — Ты человек ненадежный и даже продажный, не наш человек... Молчи, не возражай. Я с тобой откровенно, а ты молчи. Потому что товарищей не выбирают. Сделаешь бомбу, рванешь на весь мир — будет у тебя лучший друг, Коля Ежов. Мне для друга ничего не жалко.

Он поднялся и, опрокинув графин с водкой, потянул нежную узкую руку к Шавло, и тот тоже встал и осторожно пожал тонкие пальцы. Пальцы были влажными и холодными.

Ежов снова сел, откинулся в кресле — для него за столом стояло кожаное мягкое кресло. Шавло подумал, что кресло еще в революцию вытащено из какой-нибудь помещичьей усадьбы, а потом этот салон-вагон переходил по наследству от Брусилова к Троцкому, к Фрунзе, к Ежову.

— Плохо наше дело, — продолжал Ежов. — Всюду враги. Вы даже не представляете, до какой степени они внедрились повсюду. Как сорняки. Ну как сорняки. Их полешь, они лезут, их полешь, они лезут...

Ежов велел принести баян, но удержать его в руках не смог, уронил на пол и, встав с кресла, подошел к Шавло.

— Встань! — приказал он ему. — Встань, сука!

— Встань, — прошептал Френкель.

Шавло увидел, как неверными пальцами нарком пытается расстегнуть кобуру.

Матя поднялся и отступил на шаг.

— Скажи честно, только честно — есть твоя бомба? Ну!

— Вы завтра увидите, товарищ нарком.

— Нет, не завтра! Ты не виляй, не виляй. Где бомба?

— Завтра утром будет испытание.

— Нет, тут я тебя и поймал! Испытание будет сейчас! Понял?

— Но ничего не готово.

— Ты до завтра ее Гитлеру продашь — я вас всех знаю! Френкель!

— Я здесь.

— Мы идем на испытание! Мы ее рванем. А этого... падлу я пущу в расход.

Вревский сделал осторожный шаг за спину наркому, и с великим облегчением протрезвевший Шавло увидел, что его рука поднялась, чтобы не позволить наркому вынуть пистолет из кобуры.

— Хорошо, товарищ нарком, — согласился Френкель. — Вы тогда отдыхайте, а мы все подготовим. Хорошо.

— А Шавло? Где этот сукин сын? Вот кого не выношу — это евреев! Чтобы сегодня привести в исполнение. Пошли бомбу рвать...

Приступ активности и мелкого буйства тут же миновал. Ежов остановился у угла стола, оперся о него ладонью и мирно спросил у Мати:

— Ты знаешь, как меня называет народ?

— Железным наркомом, — сказал Шавло без колебаний.

— Ежовые рукавицы, вот я кто — понял?

Шавло промолчал.

— А я вынужден стоять перед тобой, продажной сволочью, и просить: сделай бомбу, сделай бомбу, сделай бомбу... А почему? А потому, что у нас с тобой нет выхода. Мы с тобой оба этой бомбой, как веревками, повязаны. Она нас или вытянет, или с собой утянет — на куски и швах! Понимаешь?

— Понимаю, — сказал Шавло.

— Я тебя очень прошу, Матвей, — сказал нарком, глядя на Матю снизу вверх прекрасными голубыми, наполненными слезами глазами, — сделай мне бомбу. А иначе меня убьют. Этот сука Берия убьет. Он уже хозяину с утра до вечера на меня наговаривает. Ты меня понимаешь, Матвей?

Ежов взял со стола графин и отпил из горлышка. Все напряженно молчали.

Ежов уронил графин на пол. Тот покатился в угол салона.

Ежов тяжело упал на колени и пополз к Мате, стараясь обхватить его ноги, Матя отступал.

— Ты меня спасешь? Я тебя озолочу, я тебя не забуду!

Язык плохо повиновался наркому, Матя отступал, но отступать было некуда. Ежов, шустро передвигаясь на коленях, загонял его в угол, где стоял Френкель, Матя наклонился, стараясь поднять Ежова с пола, но тот отталкивал его руки и кричал:

— Нет, ты скажи, ты, сука, скажи, спасешь или нет?

— Соглашайся! — шипел в ухо Френкель.

— Я сделаю все, товарищ нарком.

Ежов остановился, вцепившись в брюки Мати, Френкель обежал наркома сзади и стал что-то шептать ему на ухо, как будто разговаривал с капризничавшим мальчишкой.

— Я согласен, Николай Иванович, — говорил Матя, но Ежов не слышал уже ответа — Френкель подхватил его, внезапно, по-детски заснувшего, и быстро понес к двери — на Ежове были сапоги на высоких каблучках.

— А как же... что же будет? — спросил Шавло, еще не осознавая ужаса происшедшего, но склоняясь перед неизбежностью беды.

Ответил Вревский.

— К утру он должен все забыть, — сказал он, щурясь на стакан водки, который твердо держал в руке.

— А если не забудет? — глупо спросил Матя.

— Тогда я постараюсь, чтобы вы перед смертью не мучились, товарищ профессор, — сказал Вревский и склонился к столу, разыскивая среди тарелок подходящую закуску.

Паузу, нарушаемую лишь стуком вилки Вревского по тарелке, нарушил Алмазов.

— Мы еще не решили вопрос, — сказал он обыденно, за что Шавло был ему благодарен, — откуда мы будем наблюдать испытания, если нарком категорически против бункера.

— Ты же знаешь, — сказал вернувшийся Френкель, подхватывая деловой тон Алмазова. — Нарком не выносит замкнутых пространств. Он как птица — чем шире простор, тем он счастливее.

Шавло искал улыбки, намека на нее, но начальник ГУЛАГа не улыбался.

— Даже если мы перенесем наблюдательный пункт в другое место, мы не успеем его оборудовать. Значит ли это, что мы переносим испытания?

— Нет, не значит, — отрезал Френкель. — Испытания состоятся завтра. Каждый день на счету.

— Хорошо, — сказал Шавло, раздражаясь, — мы установим пункт в тундре, километрах в десяти от точки взрыва. Вы увидите сам взрыв, но его воздействия на объекты не увидите.

— Зачем десять километров? Подвинь поближе.

— Ближе опасно.

Френкель подошел к окну, отодвинул штору. Из окна был виден главный корпус института.

— А сколько будет от этого дома до взрыва? — спросил Френкель.

— Четыре километра, — сказал Шавло.

— Вот с той крыши мы и посмотрим, — сказал Френкель. Как отрезал.

— Это все равно опасно.

— Вдоль края крыши положите бруствер из мешков с песком, — приказал Френкель Алмазову. Шавло его больше не интересовал.

— Отличная мысль! — Алмазов предпочел не спорить.

А Шавло подумал, что Френкель, наверное, прав, — с седьмого этажа смотреть куда поучительнее.

— А как же мои сотрудники? — Шавло только сейчас вспомнил, что они могут увидеть то, чего видеть им пока не полагалось.

— Об этом я позабочусь, — сказал Алмазов. — Сегодня ночью их всех перебросят на резервный пункт.

До того пункта было километров тридцать, бараки там пустовали.

— Там холодно, — сказал Шавло.

— Не беспокойся, альтруист, — усмехнулся Алмазов, — там уже протопили. Я знаю, что твои академики нам еще пригодятся.

— Вы свободны, — сказал Френкель. Он пожал руку Алмазову, кивнул Шавло, очевидно, как не имеющему чина.

Ты будешь лизать мне сапоги, подумал Шавло, не в силах справиться с неприязнью к всесильному начальнику ГУЛАГа.

Солнце уже перешло зенит, и, когда его закрывали облака, становилось пасмурно и хмуро.

Сначала они пошли к площади. Они не разговаривали. И потому Андрей размышлял о сути этого города. Разумеется, хоть не хочется думать об этом, Берлин — это полигон. Для какого-то особенного оружия, с созданием которого связаны молчаливые корпуса института, отделенные и от зоны, и от складов тремя рядами колючей проволоки, — ярко освещенной полосой, по которой даже в самую лютую пургу проходят один за другим наряды с собаками. Там светились окна, но Андрею ни разу не пришлось приблизиться настолько, чтобы понять, что же происходит за ними.

Сбивало с толку многообразие Берлина. Если это — отравляющий газ, то незачем было столь тщательно заниматься архитектурой. Но если это какие-то снаряды или бомбы, зачем загонять сюда людей, селить в домах — что за выдумки со зверями?

Хотя Андрей и сказал Айно, что они пойдут искать полезные вещи, на самом деле его более всего интересовала стоявшая сразу за домами высокая, схожая с парашютной, только куда более массивная, ажурная вышка, на площадках которой всегда были люди, и именно туда — об этом Андрей знал от зэков — притащили какой-то ящик, «размером с вагон», по словам соседа по бараку. И установили наверху. А может, это смертоносные лучи, подобно лучам из «Гиперболоида инженера Гарина»?

Они были не одни — многие из жителей вышли на улицы, не сиделось в домах, холодных, как зимние подвалы.

Люди рылись в кучах мусора, оставленного на первых этажах домов и на задворках. Видно, эта плодотворная идея поразила не только мозг Андрея, но оказалась соблазнительной для других граждан — ведь зэк жив тем, что удастся перехватить.

Мостовая, кое-как сложенная из бетонных плит, высохла на солнце, а по площади шагала, будто так и надо, настоящая ворона, отважная, тундровая, полярная. Народ был веселый, потому что можно было полегоньку мародерствовать без вертухаевского глаза: не только подбирать, что кинуто, но и добывать, что плохо прибито, хоть и не ясно, зачем это нужно зэку — деревянный поручень от перил, железный фонарь без начинки, вывеска с немецким сапогом и немецким словом, этот сапог обозначающим.

Нужнее была, например, техническая вата или войлок — отыскался целый чулан, забитый этим добром. Айно с Андреем решили взять на обратном пути.

Пустой и недавно покрашенный город, торцовая мостовая на центральной площади и, главное, пространство, заполненное свежим чистым воздухом и подсвеченное лучами забытого за полярную ночь солнца, никак не сочетались с городскими жителями — косматыми, небритыми, в рваных телогрейках или бушлатах, в опорках и разбитых башмаках. Это было даже анекдотично в своей неправильности. И видно, именно это зрелище натолкнуло Альбину на мысль, которой она поделилась со спутниками, когда они пересекали площадь, — длинные полосы фиолетовой тени и оранжевого солнечного света.

— Ян когда-то говорил мне, — сказала она, — что до революции в тюрьме осужденным на смерть давали вкусный обед, даже икру. И вино.

Странно, когда человек, которого ты не считаешь умным, говорит нечто, столь совпадающее с твоими собственными мыслями. Андрей не успел ответить, ему хотелось возразить, а возразить было нечем. Тут он услышал голос Айно:

— Для нас у них нашелся только перловый суп...

— И хлеб, по полбуханки. Это много, — добавила Альбина.

— Вина не будет, — сказал Айно.

Они говорили, не нуждаясь в Андрее, а он должен был бы показать, что лучше них понимает смысл происходящего.

— Нет, все не так просто, — сказал Андрей. — Зачем Алмазову, самому начальнику Испытлага, приезжать на наши проводы?

— Чтобы увидеть, как я испугаюсь, — сказала Альбина просто.

— Вы?

— Ян меня не любит, но он никак не решался меня убить.

— Убить? — глупо спросил Андрей, не в состоянии совместить в сознании всесильного чекиста и эту почти оборванную женщину.

— Смерть — это очень просто, — сказала Альбина, — а убить очень трудно. И себя и другого. К этому надо привыкнуть. Он умеет приказать, чтобы убивали другие, а сам он боится убивать. Он трус. Ян — трус.

Яном она называла Алмазова. Ян Янович Алмазов. Конечно же... Она была его любовницей? Или отвергла его любовь?

Айно и Андрей молчали. Они миновали площадь и, завернув за ратушу, вышли на поле, уставленное чучелами в человеческий рост.

Некоторые из чучел упали, утром дул сильный ветер.

Они шли между рядами чучел: с лица — солдаты в немецких касках. У некоторых были нарисованы углем лица. Эти чучела были страшными.

Все меньше встречалось жителей города. Почти все несли с собой доски, бруски или ветошь — каждый думал о морозе ночью и о том, как разжечь костер, несмотря на запреты. Даже если человеку строго-настрого запретили о себе заботиться, он все равно постарается обойти запрет.

За полем манекенов был железнодорожный тупик — здесь кончались рельсы берлинской железной дороги.

В тупике стояли старый паровоз и три вагона с раскрытыми дверями. В паровозе они увидели зэка, незнакомого — бородатого, рыжего, в надвинутой на глаза рваной ушанке. Он жал на рукоятки в кабине и гудел, словно мчался на паровозе. Андрею он помахал, как машут из вагонов стоящим у насыпи грибникам. Андрей обогнул паровоз.

— Осторожнее! — крикнул кто-то без злобы.

Оказалось, что за железнодорожным тупиком была ферма —

низкий длинный хлев, перед ним загончики, ограждённые брусьями, в загончиках топтали холодную грязь свиньи. Возле стоял толстый мужчина в высоких резиновых сапогах и ватнике.

— Сюда нельзя, — сообщил он. — Я уж сегодня ваших отпугивал.

Оказалось, что в руке у него наган, висит дулом вниз, вдоль бедра.

— Мы не нарушаем, — сказал Андрей, — нам твои свиньи, сам понимаешь, не нужны.

— Свиньи всем нужны. У нас на той неделе хряка увели, ей-богу! Хряк был с быка — а увели. Думали, что ваши, а оказывается, комендатура, на лафете вывезли, не поверишь! Осади назад!

Андрей отступил в сторону, в смешанную со снегом грязь.

— Я на вид добрый, — сказал свинарь. — А так я злой. Если что со свинками случится, я буду в ответе. Сидоренко, напарник мой, при котором хряка увели, он где? Он на общих работах, понимаешь?

— Понимаю.

— Я себя берегу и имущество. Это имущество опытное, понимаешь? Ну и пошли, не оборачивайтесь.

Они пошли дальше, спиной неприятно чувствуя свинаря. Но скоро зашли за штабели леса, видно, оставшегося от строительства и еще не разворованного. Свиноферма исчезла из глаз. Странное место — свиноферма в Берлине.

Но еще большее удивление им пришлось испытать буквально через несколько шагов.

Они попали в зоопарк.

Зоопарк был оформлен как немецкий зверинец, с аркой над входом и немецкими буквами надписью «ZOO». А потом шла двойная шеренга небольших клеток.

— А кассы нет, — сказала Альбина.

— Какой кассы нет? — не понял Айно.

— А где мы купим билет?

Звери встретили посетителей внимательными взглядами, тихим рычанием, иные спешили к решетке, словно соскучились по людям.

Справа в клетке был бурый медведь — он встал на задние лапы у решетки и скреб себя по груди когтями, выпрашивал подачку, слева — пара волков, те остались лежать, только смотрели немигающими желтыми глазами.

Потом была клетка с орлом, клетка с рысью, которая, свесив лапы, спала на диагонально поставленном суку, но неожи-

даннее и удивительнее всего был тигр; тигр быстро ходил вдоль решетки — пять шагов, поворот, пять шагов в другую сторону — снова поворот... Альбина вдруг испугалась, схватила Андрея за руку. Напротив тигра, вздрагивая каждый раз, когда тот разворачивался, в такой же тесной клетке стояла зебра. Ей, наверное, было холодно.

Короткие ряды клеток завершались обиталищами обыкновенных зверей: с одной стороны — пара лисиц, с другой — песцы. Дорожка уперлась в амбар с высокими, раскрытыми дверями. В дверях стоял махонького роста бровастый бородач в казенной лагерной ушанке, но вполне приличном пальто с каракулевым воротником.

— Добрый день, добрый день! — закричал он, словно давно ждал гостей. — Заходите. И я вам должен сказать, что наши дела никуда не годятся.

Он протянул руку и представился сначала Альбине:

— Профессор Семирадский. Свердловский университет.

— Альбина Лордкипанидзе... Только я боюсь, профессор, — догадалась об ошибке Альбина, — что вы ждете кого-то другого. А мы просто так пришли.

— Просто так? — Рука профессора, протянутая к Андрею, замерла в воздухе. — Вы не комиссия?

— Мы не комиссия, — печально произнес Айно, расстраиваясь от того, как горько воспринял эту весть профессор.

— Тогда зачем вы здесь? Ведь поймите же — это народное достояние! Ценнейшее достояние. Я не позволю такого изуверства! Я дойду лично до товарища Ежова...

Профессор начал филиппику на высоких тонах, но голос его с каждым словом становился тише и неувереннее. Он замолчал и, повернувшись, словно забыв об остальных, пошел внутрь амбара.

Они последовали за профессором, потому что он хоть и не приглашал внутрь, но и не запретил войти.

В амбаре было почти темно, только в одном месте сквозь щель в деревянной стене пробивался красный горизонтальный луч солнца...

Слон не стоял, как принято, а лежал на куче ветоши и тряпок, но он увидел, что пришли люди, и, возможно, как и профессор, надеялся на приход какой-то комиссии — он приподнял голову и шевельнул хоботом, упорно глядя на Андрея маленькими слезящимися глазами.

— Вы его не спасете, если не принять немедленных мер, — сказал профессор, словно обращался именно к комиссии по спа-

сению слона. — Но его спасут ведро портвейна, горсть аспирина и главное — теплое помещение. Ему нельзя лежать — поймите же, если слон лег, то дело плохо! Неужели так трудно понять очевидные вещи?

— Мы заключенные, — сказал Айно. — Мы не можем помочь. Мы никогда не видели портвейна.

— Я понимаю вашу шутку, — откликнулся профессор, — но я не могу находиться рядом с животными, которых так мучают! Здесь же нет отопления, этой ночью был мороз, наверное, градусов в десять. А чем я могу накрыть простуженного слона?

Слон все понимал, он тяжело вздохнул и попытался что-то выговорить хоботом, но только ухнул и захрипел.

— Потерпи немного. — Альбина высвободила пальцы из рук Андрея и подошла к слону. Андрей хотел было остановить ее, но понял, что это будет неправильно.

Альбина присела перед слоном на корточки, а мужчины стояли неподвижно и слушали, как она говорит слону:

— Ты потерпи, еще немного осталось. Ян нас всех убьет, наверное, завтра, зачем ему тратить на нас горячий суп, правда? Ты еще одну ночь потерпи, бедный мой. — Она прижалась щекой к округлой выпуклости слоновьего лба и что-то еще шептала слону, а тот пошевелил грязной, морщинистой задней ногой, стараясь, видно, подняться, но ничего не вышло.

Потом они пошли наружу. У дверей Айно вдруг вспомнил, остановился, стал копаться в кармане брюк.

— Подождите, — сказал он.

Эстонец вытащил из кармана кусок сахара и подул на него, чтобы сдуть пыль и крошки. Потом протянул его Альбине, которая шла последней, и сказал:

— Если хочешь, то можешь отдать. Это полезно.

Альбина протянула руку и взяла этот кусок, как будто жемчужину, и Андрей увидел, как она смотрит на Айно. И ему стало горько, и грустно, и даже стыдно, хотя он и не мог бы принести сюда сахар, потому что его кусок сама Альбина спрятала за топчан. Взгляд Альбины был несправедлив по отношению к Андрею.

— Ну что вы! — закричал профессор. — Это уж лишнее!

Но возглас его был подобен возгласу матери, которая возмущается слишком ценным, на ее взгляд, подарком для ее ребенка, а в самом деле она благодарна сверх меры.

Альбина вернулась к слону и протянула ему кусок сахара на открытой ладошке. Слон, двинув в сторону хобот, осторожно вытянул треугольную нижнюю губу, и Альбина положила кусок са-

хара на губу. И странно — слон не хрупал, он начал сосать сахар.

Они вышли из амбара, и профессор сказал:

— Не уходите. Одну секунду.

Он снова скрылся в амбаре, и слышно было, как он там возится.

— Приходите к нам пить чай, — сказала Альбина эстонцу. — У нас с Андрюшей еще много сахара.

И это слово — Андрюша, — произнесенное обыкновенно и мягко, сразу примирило Андрея с Альбиной.

— Конечно, приходите, — сказал Андрей.

Профессор Семирадский вытащил из амбара латаный мешок.

— Здесь бурак и картошка, мне выделяют для животных.

— Ну что вы, — сказал Андрей, — мы не голодные.

— А потом станете голодные, — сказал профессор. — Нам с животными хватит, не беспокойтесь. К тому же ваша дама справедливо заметила, что нас вряд ли здесь долго продержат живыми.

Профессор проводил их до арки, ведущей в зоопарк. Звери узнавали его и подходили к решеткам.

Профессор, оказывается, заведовал кафедрой зоологии на биофаке университета, его арестовали три недели назад и даже не допрашивали, а привезли в зоопарк, где уже были подготовлены к отправке животные. Вместе с профессором было два служителя, но один по пути пытался убежать, и его застрелили, а второй болеет, лежит в фургончике, рядом с амбаром — там они с профессором и живут.

Они постояли у выхода, как будто надо было продолжать знакомство, потому что они были приятны друг другу. Андрей сказал:

— Если сможете, то заходите к нам — хоть сегодня вечером, мы живем в синем доме за ратушной площадью.

Профессор отмахнулся:

— Как-нибудь в другой раз. На кого я оставлю зверей? А потом, может быть, они все же пришлют ветеринара и лекарства? Ведь вы допускаете такую мысль?

— Конечно, — сказал за всех Айно.

— И лучше не показывать мешок, — предупредил профессор, — здесь везде есть охранники, только они не всегда очевидны.

Они пошли дальше, а когда Андрей обернулся, он увидел, что маленький профессор все еще стоит в арке под надписью «ZOO».

Тундра была разбита гусеницами и колесами, снега здесь и в помине не осталось — черная открытая земля лучше прогревалась солнцем, и мерзлота ушла глубже. Потому дальше была глубокая грязь, перемешанная с кирпичами, щепками, железками, — то ли подкладывали под колеса забуксовавших машин, то ли этот сор попал сюда случайно.

Разбиты были все подходы к вышке, которая оказалась вблизи куда выше, чем издали. Она была ажурная, сужалась кверху и стояла на массивной бетонной подушке. Наверх вели лестницы, а в центре ходил открытый лифт, который останавливался на площадке, видно, немалой, судя по фигуркам людей, суетившихся вокруг металлического ящика метра в полтора в диаметре и больше четырех метров длиной. От ящика тянулись провода к другим приборам, стоявшим там же, или разбегались прочь, к столбам, вокруг башни и уходили вдаль.

Именно этот ящик, в котором не было ничего зловещего, стенки которого мирно поблескивали под последними лучами солнца, а люди, не опасаясь, приспосабливали, готовили его для какой-то цели, и был судьбой не только тех, кто его сейчас окружал, но и всех обитателей Берлина, и академиков в шараге, и заключенных в лагерях...

Андрей хотел бы подойти поближе, в пустой надежде разглядеть и понять, что же это за штука, в которой, как в ящике Пандоры, таятся неведомые беды, но дальше, до колючей проволоки, окружавшей башню и строения, к ней принадлежавшие, шла открытая местность.

Альбина сказала, что замерзла и хочет домой.

И они пошли обратно в Берлин, заглянув по пути в подвал за войлоком.

До дома им дойти не удалось. На опустевшей уже городской площади у въезда в их переулок стояла «эмка».

— Это он, — сказала Альбина и отстранилась от Андрея, она боялась, что взгляд из автомашины увидит их рядом и накажет Андрея.

Андрей с Айно послушно разошлись в стороны, и она пошла быстрее, оставив их сзади, словно ей грозила опасность, которой она не хотела подвергать своих спутников.

В тишине заката громко хлопнула дверца «эмки», комиссар Алмазов в длинном кожаном пальто и кожаной фуражке легко выскочил на мостовую и пошел навстречу Альбине, не замечая Андрея и Айно.

— Ты меня заморозила, — сказал он весело. — Сколько можно гулять?

Андрей остановился. Айно тоже. Но все равно они слышали каждое слово того разговора.

— Я не думала, что вы приедете, Ян Янович, — сказала Альбина.

— Я хотел попрощаться с тобой, — сказал начальник Испытлага. — Я завтра уезжаю надолго.

— Зачем вы так говорите? — спросила Альбина. — Вы никуда не уезжаете. А уезжаю я. Правда?

— Что за чепуха? — Алмазов, будучи человеком среднего роста, тем не менее почти на голову возвышался над Альбиной и казался особо громоздким в широком черном кожаном пальто. Он словно хотел что-то еще ответить, может, оправдаться, но не выдержал взгляда Альбины и повернулся к Андрею с Айно, которые остановились в десяти шагах. Нагруженные добычей спутники Альбины выглядели почти комично.

— Даже тут ты себе нашла мужской гарем, — сказал он. — Не теряешь времени даром. — Андрей понял, что Алмазов тяжело пьян.

— А я думала, что мне назначили временного мужа и соседа по вашему выбору, — сказала Альбина. — Я не верю в случайности там, где есть вы.

— Я приехал, чтобы спросить, нет ли у тебя каких-нибудь просьб или жалоб. Я выполню. Обещаю. Можешь называть меня Яном.

— Скажи, Ян, — не стала спорить Альбина, — а ты помнишь, как рассказывал мне, что до революции приговоренным к смерти давали вино и вкусные вещи?

— Дура! — сказал Алмазов. — Не путай икру и перловый суп. Никто не собирается вас вешать. И мне интересно было бы узнать, кто распространяет здесь эти сплетни.

— Я замерзла, — сказала Альбина. — Можно, я пойду в дом?

Алмазов ответил не сразу. Он смотрел на Альбину с той очевидной горячей ненавистью, которая может вылиться в любой нелепый поступок, злобный или добрый. Алмазов стоял, смотрел на Альбину, Альбина смотрела вроде бы на него, но мимо него, и пауза была слишком долгой, надо было завершить ее.

— У тебя будет просьба? Любая? Я ее выполню.

Андрею слышны были невысказанные, но звучавшие в мозгу Алмазова слова: «Ну попроси, умоляй, проси, проси... я же все сделаю!»

— Да, — сказала Альбина, — у меня есть просьба.

Такого исхода Андрей не ждал. Но просьба оказалась тем более неожиданной.

— Там есть слон, — сказала Альбина. — Его привезли сюда, а он ни в чем не виноват, ведь он не английский шпион и не троцкист, правда?

— Да говори же, мать твою! — Алмазов был взбешен, понимая уже, что просьба не касается самой Альбины.

— Слону очень холодно. Он болеет. Ему нужны лекарства. И профессор сказал, что нужно ведро портвейна.

Алмазов открыл дверь «эмки» и залез внутрь.

— Но ведь ты обещал, — сказала Альбина, склоняясь к дверце автомашины.

— Завтра, завтра днем все сделаем. Твоему слону будет тепло. Я тебе обещаю.

Хлопнула дверца, и «эмка», набирая скорость, выехала на площадь, повернула направо, к дороге, ведшей к домам управления. Андрей видел, что из окон домов на «эмку» смотрели зэки. Дверь дома напротив приоткрылась, выглянул Аникушин и спросил:

— Чего он приезжал?

Альбина пожала плечами и пошла в дом.

— Идите, отдыхайте, — велел Аникушину Айно.

Вечером, когда стало темно, во многих домах зажглись костры, чтобы согреться и поесть, если у кого что было. Костры устраивали так, чтобы снаружи не было видно, но дым начал просачиваться из окон и подъездов. Почему-то никто не прибежал, не хватал, не кричал. Словно город уже не существовал.

Об этом сказал профессор Семирадский, который все же не выдержал одиночества и пришел в гости. Он принес еще картошки, и Айно отнес бурак и несколько картофелин соседям.

— Когда на город нападала чума, то вокруг ставили карантин и никто не смел приблизиться к заразе, — сказал профессор.

Они сидели на ящиках и мешках с цементом на первом этаже, за прилавком магазина. Там и был разожжен костер. Дым выходил через дверь на улицу, смешиваясь с опустившимся на Берлин туманом. Было тепло и уютно. Профессор принес с собой флягу спирта — ему ее выдали для дезинфекции в зоопарке.

Альбина пекла на костре картошку и свеклу. И еще у них был хлеб и кипяток с сахаром — получилась видимость хоро-

шей, дружеской вечеринки. К ним, к Андрею с Альбиной, пришли гости, они их принимают. А потом пойдут спать.

Они говорили, конечно же, о судьбе города и их собственной судьбе и не могли придумать ничего хорошего, но сытость, спирт, огонь костра-камина заставляли пренебрегать реальностью завтрашней смерти, пока горела подаренная палачом сигарета.

На войлоке сидеть было мягко. Альбина устроилась рядом с Андреем — она как бы признавала его власть, профессор сидел напротив, а Айно стоял сзади профессора, чтобы лучше видеть Альбину. Андрей понимал, что Айно смотрит на Альбину, но не мог ничего с этим поделать, только думал, какое у Айно некрасивое, даже уродливое лицо.

Снаружи раздались шум и крики.

Айно поднялся и пошел к двери, сказав на ходу:

— Надо, чтобы без криков, а то придет вохра, и всем будет плохо.

— Не надо, — испугалась Альбина. — А вдруг у них ножи?

— Спасибо, я не боюсь, — сказал Айно.

— Я пойду с тобой? — спросил Андрей.

— Этого делать нельзя, — отрезал Айно и шагнул за дверь. И они остались втроем, слушая, как в крики вмешался низкий голос Айно и постепенно крики стали тише и перешли в громкий разговор.

Андрей не вслушивался, но сказал, словно хотел похвалить Айно, а на самом деле ревнуя:

— У нас в бараке Айно звали Булыжником. Правда, похож?

Ни профессор, ни Альбина ничего не ответили на слова Андрея, и ему стало стыдно, что он их произнес.

Вернулся Айно и сказал, что Аникушин украл у соседа кусок пайки.

— Уже сытый, а все равно еще хочет, — сказал Айно.

Он снова занял позицию напротив Альбины, и лицо, подсвеченное снизу неверным, слабым светом маленького костра, было не только грубым, но казалось Андрею зловещим.

— Зачем приезжал Алмазов? — спросил Андрей.

— Чтобы я его просила о жизни, — ответила Альбина.

— Значит, вы думаете, что они твердо решили нас завтра убить? — спросил Семирадский.

— Он бы мне отказал в жизни, — сказала Альбина, глядя в костер и не слыша профессора. — Он хотел, чтобы я попросила, а он бы все равно оставил меня здесь... я так думаю.

— Ну ничего страшного, — сказал неожиданно Айно. — Ты все равно попросила. За слона.

— Что за слона? — спросил Семирадский. — Вам обещали?

— Да. Завтра, — сказала Альбина. — Тогда я и поняла, что нас убьют завтра в первой половине дня.

— Почему?

— Потому что Ян всегда держит слово. Но особенным образом, с обманом. Если он дал слово, что поможет слону днем, значит, будут объективные обстоятельства, которые не дадут помочь. И он будет чист перед своей совестью. А мы все будем мертвые.

— Надеюсь, что вы преувеличиваете, — сказал Семирадский.— Я надеюсь.

Он не видел Алмазова, вернее всего, не знал о его существовании и недавнем приезде, и потому его слов никто не принял всерьез.

— И еще он хотел попрощаться, — сказала Альбина. — Мы же давно знакомы.

После этих слов наступило долгое молчание, и, видно, не выдержав паузы, профессор произнес:

— А вы слышали о художнике Семирадском?

— Разумеется, — сказал Андрей. — Он писал библейские сюжеты.

— Он был очень чувственный, — добавила Альбина.

— Это мой дядя, — сказал обрадованно профессор, словно встретил потерянных родственников.

Потом Альбина поднялась и сказала, что хочет посмотреть на звезды.

— Это можно сделать, не выходя из дома, — сказал Андрей.

— Я провожу вас, — сказал Айно.

— Только умоляю, не отходите от дома, — сказал профессор.

— Мы постоим у дверей и вернемся, — сказала Альбина.

И Андрею было нечего больше сказать. Он должен был сообразить и предложить себя в спутники Альбине, а не запрещать. Что ты можешь запретить женщине, которая знает, что завтра умрет?

— Я полагаю, — сказал профессор, протягивая Андрею кружку с разведенным спиртом, — что на вышке они поставили прибор, который определяет воздушную цель. Они будут производить налет на город на аэропланах, а с вышки их будут засекать.

— И сбивать? — спросил Андрей с мрачным сарказмом.

— Наверняка у них где-то укрыты батареи зенитных пушек, — сказал Семирадский.

Было очень тихо, чуть потрескивали головешки в костре, с улицы доносились невнятные звуки разговора.

— Я читал в газете, совсем недавно, — сказал профессор, — что в Англии проводятся опыты по этой части. Это очень важно в будущей войне.

— Для этого незачем строить город, — сказал Андрей. Голос профессора его раздражал. Ему хотелось услышать, о чем говорят Айно и Альбина.

— Да, — согласился профессор, — города не строят для того, чтобы разрушать...

— На вышке лежит бомба, — сказал Андрей. — Особая бомба. Я не знаю другого объяснения.

Андрей замолчал, охваченный тяжелой тоской. Он угодил в тупик и потерял следы Теодора. А самому уже не выбраться, не успеть...

— Я пойду, — сказал профессор. — Уже поздно.

— Я провожу вас до угла, — сказал Андрей.

Айно и Альбина стояли недалеко от подъезда, приблизившись друг к другу. Альбина сделала шаг в сторону, а может быть, Андрею все это показалось в темноте. Айно и Альбина попрощались с профессором, и Андрей проводил его до угла.

Когда они вышли на площадь, издалека донесся гулкий звук, какой получается у плохого трубача, ему ответил короткий рев.

— Они меня зовут, — сказал профессор. — Прощайте. Вы не представляете, как мне их жалко.

Когда Андрей возвращался к дому, Альбина и Айно продолжали стоять у стены.

— Не замерзли? — спросил Андрей.

— Да, конечно, — спохватилась Альбина. — Пора домой.

Костер погас, остались красные угли, они чуть грели.

— Я пойду? — спросил Айно. Как будто даже не у него, а у Альбины. Альбина промолчала.

— Спокойной ночи, — сказал Андрей. — Счастливых сновидений. Дай бог, нас до утра не взорвут.

Айно тяжело пошел по лестнице наверх.

Альбина стояла спиной к окну. Андрею слышно было, как Айно шагает по своей комнате. Перекрытия были тонкие, наверное, в одну доску — никто же не должен был в этом доме жить.

— Рано в кровать, рано вставать, завтра на парте не будешь зевать, — сказал Андрей и поперхнулся.

Бодрость его слов была лживой. Но в голове шумело от спирта, а рядом была принадлежавшая ему женщина.

— Разумеется, — тихо ответила Альбина. — Рано вставать.

Но не сделала попытки лечь.

— Так как вы формально моя супруга, — сказал Андрей, — то ложе у нас общее. Вы уж простите.

— Да, конечно, — согласилась Альбина.

Андрею было неловко. Очевидно, требовались решительные поступки уверенного в себе мужчины, а не эти пустые слова.

Он подошел к Альбине, она отступила к топчану, накрытому клочьями войлока.

— Может, хотите еще спирта? — спросил Андрей. — Там в кружке должно остаться.

— Нет, я не люблю спиртные напитки, — старомодно ответила Альбина.

Андрей протянул руку и взял ее пальцы. Пальцы были холодными, чуть влажными и покорными. Это прикосновение наэлектризовало тело Андрея, и он потянул к себе Альбину за пальцы, затем перехватил ее за плечи. Альбина была беспомощна и вынуждена была прижаться к нему всем телом.

— Альбина, Аля, — заговорил Андрей. — Простите, пожалуйста, простите, но все может случиться... завтра нас больше не будет... И мы с вами, понимаете, мы обязаны... это наша судьба.

— Андрей, — сказала Альбина шепотом, — не надо, нас же слышно — каждое слово...

Андрей замер от этих слов и услышал, как мерно шагает сверху Айно.

— Он не услышит, не бойтесь, — сказал Андрей шепотом. Он поцеловал Альбину в шею, в щеку, в глаз...

— Пожалуйста, — просила Альбина, — это вам вовсе не нужно, у вас есть девушка или жена, у вас есть девушка?

— Мы сейчас только вдвоем, — отвечал Андрей и понимал, что, какие бы слова сейчас ни сказала Альбина, его тело их опровергнет.

— Вам тоже надо, — шептал Андрей. Он отступал, притягивая Альбину к себе, — вам тоже, это же последний раз!

Он упал на топчан спиной — мягко, как падал в волейболе, — с таким расчетом, чтобы Альбина упала на него, — и это ему удалось — ее мягкая шубка накрыла его, как теплая палатка, и

он стал целовать щеки, губы, глаза Альбины, крепко сжав ладонями ее виски.

— Это неправильно, это не так, — слова Альбины вырывались из ее губ между поцелуями. — Это нам приказали, мы не любим друг друга, это их приказ... неужели вы не понимаете, что он хотел меня убить еще до смерти, — он отдал меня, чтобы унизить в последний день!

Андрей слышал эти слова, но не понимал их — он же был назначен хозяином этого нежного и даже в лагере, в грязи, не ставшего грязным существа... Андрей повернулся так, чтобы Альбина оказалась под ним.

— Вы меня хотите изнасиловать? — спросила Альбина, отвернув голову и сжимая ноги, чтобы Андрей не мог овладеть ею.

Шаги сверху прекратились, будто Айно слышал. Потом возобновились.

Странно, подумал Андрей, почему я слышу эти шаги, ведь я ничего не должен слышать. Я же люблю эту женщину, и, кроме нас, никого не осталось на свете.

— Но я вам нравлюсь, правда? — шептал он, стараясь раздвинуть ноги Альбины.

— Да, конечно, вы очень милый... Погодите, мне надо уйти, на минутку, мне надо вниз, понимаете? Мне надо в туалет.

— О господи! — вырвалось у Андрея. Он был цивилизованным человеком, он не мог игнорировать просьбу женщины, но в этом было нечто, уничтожающее страсть.

Он с трудом заставил себя отодвинуться и сказал:

— Я жду, скорее.

Альбина не ответила. Она отходила к двери, оправляя платье под расстегнутой шубкой.

Андрей сел на войлоке. Его колотило. Но не от холода.

— Скорее же, — сказал он.

— Простите, Андрей, — сказала Альбина. — Вы такой молоденький, вы еще совсем мальчик.

Она повернулась и исчезла в черном проеме двери.

Андрей не сразу понял, что ее последние слова — прощание.

Но тут он услышал — шаги наверху снова замерли. Айно слушает.

Из темноты, с лестницы донесся тихий голос Альбины:

— Айно ждет меня, простите, Андрей, но я должна пойти к нему... Я так хочу...

— Что?

Каблуки башмаков Альбины быстро затопали по лестнице,

и слышно было, как Айно пошел к двери. Как он встретил Альбину. Их голоса зазвучали неразборчиво, как во сне.

Андрей вскочил. Он побежал к двери. Остановился в поисках какого-то оружия. Он должен был испугать этого Айно, заставить его отдать чужую жену...

Уже дотронувшись до косяка двери, он понял, что никуда не побежит. Никого не будет бить и не будет битым... Возбуждение, владевшее им, проходило быстро, может, потому, что стало очень холодно, а может, и оттого, что само это возбуждение было истеричным и преходящим, сродни возбуждению кобеля.

Черт знает что... что со мной? Я хотел навязать женщине себя, свое вожделение, как насильник. За что? Ей так плохо — ей хуже всех — она же слабая, она же бессильна...

Голоса наверху прервались. Прекратились и шаги.

Он долго прислушивался — ночь была прозрачна и полна звуков — то голоса с улицы, то удара по металлу, то далекого рева мотора, то шума пролетающего в стороне самолета... Но сверху лишь изредка доносились обрывки невнятного шепота.

И чем дальше, тем глупее казалось собственное кобелиное поведение.

Хотя, впрочем, было и грустно. Потому что если завтра придет смерть, то лучше, если она придет после этого... а почему лучше?

Может, именно этой ночью легче будет убежать? В тундру, на верную смерть? Он подошел к окну. И как раз в тот момент под окном не спеша проходил патруль. Город Берлин все же охранялся.

Неожиданно сверху донесся слабый стон, шевеление — заскрипели доски... Черт, мысленно выругался Андрей, теперь спать не дадут. Но без злобы. Он закутался в войлок, даже уши заткнул, чтобы не слышать все более неосторожных звуков сверху... и заснул.

Так прошла его ночь в городе Берлине.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

5 апреля 1939 года

На следующий день Матя проснулся рано. За окном каморки, забранным решеткой, синело утро. Порой, когда Матя просыпался, ему чудилось вначале, что он на воле, может, даже в

Риме, но потом он вспоминал, как далеко отсюда до Рима, и приходилось долго уговаривать себя, что его трудное счастье ведет к вершинам, немыслимым даже для Ферми или Эйнштейна. Он должен вытерпеть этот период, — период куколки, период скованности хитиновым покровом, главное знать, что в один прекрасный день у тебя будет возможность расправить крылья.

Проснулся он в ужасе — сердце билось мелко и ненадежно. Ужас происходил от того, что Мате почудилось: к двери подходит Вревский, чтобы отвести Матю на расстрел, потому что Ежов запомнил свое унижение.

По мере того как просыпался мозг, Матя мысленно улыбнулся собственным пустым страхам — сейчас, сегодня его никто не посмеет тронуть. Только сама бомба имеет право и власть над Матей. И она обязана его помиловать и наградить. Это его кипящий котел, из которого он выйдет добрым молодцем.

Матя взглянул на часы — семь. Наверное, его коллеги, которых уже перегнали в запасные бараки, не спали всю ночь, в пустых интеллигентских вздохах и еврейских стенаниях — ах, куда нас везут? Никуда вас не везут, никому вы сегодня не нужны. Но завтра и вам будет воздано по заслугам — темницы рухнут, и свобода вас встретит радостно у входа, но меч вам в руки не дадут. Рифма получилась удачной, Матя сел, стукнул босыми пятками по холодному полу. Топили плохо. Институт, а топят, как в бараке.

Матя босиком подошел к окну — со второго этажа в утренней мгле было видно скопище бараков и складов, но город отсюда не был виден. В тот день, 5 апреля 1939 года, сказал себе Матя, в Советском Союзе была испытана созданная Матвеем Шавло ядерная бомба, которая изменила баланс сил в мире и принесла ее автору заслуженную Нобелевскую премию...

Матвей босиком пробежал через кабинет в предбанник, где дремал на стуле его ночной тягач лейтенант Приходько, наглый рыжий детина, полагавший, что Матя ничем не лучше прочих зэков.

При стуке двери Приходько открыл очи, но не встал со стула.

— Пускай сюда принесут завтрак, — произнес Шавло начальственно. Пусть лейтенант потрудится. Обычно Шавло спускался в общую столовую на первом этаже и завтракал вместе с бухгалтерами, врачами и служащими лагерного управления. Но сегодня ему хотелось как можно дольше оставаться одному. Без этих рож и наглых, ищущих, угрожающих бандитских глаз.

Он представил, как лейтенанту, который вступил на пост в

ноль часов и конечно же не позавтракал, противно прислуживать Мате. Но не пожалел его, потому что и его ненавидел.

Если бы он мог представить себе шесть лет назад, что он, победив, окажется в страшной тюрьме и, приобретя великую власть, станет бессильным и бесправным узником, ненавидимым другими узниками, если бы он, по-детски гордый итальянскими гетрами и пиджаками, мог представить, что такое ненависть к тем, кого выбрал себе в хозяева, он бы утопился в пруду санатория «Узкое».

Когда лейтенант Приходько принес чайник с жидким чаем, хлеб и миску с кашей — здесь все питались плохо, кроме руководителей НКВД, — Матя сказал ему:

— Можете сходить в столовую, лейтенант, выпейте чаю.

Матя нарочно придал голосу покровительственные и добрые интонации. Он знал ответ заранее и насладился им.

— Я на посту, гражданин директор, — сказал тягач и сжал без того тонкие губы. Тяжелые скулы покраснели.

— Тогда составьте мне компанию, — сказал Шавло.

— Спасибо, не хочется, — почти крикнул лейтенант и захлопнул дверь.

Мате стало немного лучше. «Ты сам выбрал себе такую жизнь, лакей!» — мысленно крикнул он вслед лейтенанту. И налил чаю в стакан, который держал в своей комнате. Потому что в столовой давали только алюминиевые кружки.

Представляя, каким будет взрыв, Матя допускал возможность цепной реакции, но она никак не могла выйти за порог критической массы урана-235.

Семь часов, но сегодня работ нет, только усилено оцепление — три зоны охраны, — ни одна птица не подлетит к объекту ближе, чем на сто километров. Интересно, а Эйнштейн уже знает, что при делении ядер вылетают нейтроны, или это только мое открытие? Впрочем, об этом на реакторе еще в прошлом году догадался Игорь Черенков, но потом увлекся своим свечением, Матя разрешил ему тратить ночи на эксперименты, покрывал его, не ожидая благодарности, — ученые самые неблагодарные люди на свете. Изя Померанчук, мальчишка, обнаглел настолько, что решил устроить голодовку, потому что, видите ли, не знает, за что он заточен в институте. Теоретически такие, как он, не приспособленные к жизни в условиях сталинских пятилеток, имеют куда больше шансов выжить именно здесь, на чистом воздухе... У Скобельцына снова воспаление легких. Алмазов, разумеется, и не почесался. Для него Скобельцын — лишь мрачный мужик, не желающий снимать

телогрейку даже в лаборатории и не замечающий, принципиально не замечающий комиссара. А его голова и его руки, а главное — умение работать с камерой Вильсона очень нужны... тебе же, Алмазов, черт побери!

Были бы работы открытыми, шло бы все как и прежде, он бы написал сейчас в Данию Нильсу Бору или Сцилларду в Соединенные Штаты и получил бы лекарство — еще так недавно Матя был хоть и младшим по возрасту и положению, но равным членом этого всемирного содружества, ныне разделенного политикой и враждой. Но ведь не мы первыми начали! Ган и фон Вейцзекер уже побывали на урановых рудниках в Богемии — Алмазов добыл донесение наших разведчиков. К нему теперь стекалась значительная часть оперативной информации, касающейся работ по делению атомов урана. И лишь он оказался способен оценить своевременность работ Шавло — у нас пять лет форы, несмотря на нашу отсталость, расхлябанность, неразбериху, несмотря на господство чиновников и палачей — мы впереди всех! Остальные стоят на перепутье — лучшие умы понимают: в физике происходит нечто невероятное, еще настолько не осознанное, что публикации продолжают идти в открытых журналах. Ни один политик, ни один военный не разрешил бы этого, если бы он или хотя бы сами экспериментаторы поняли, у истоков какой лавины они стоят.

Матя открыл последний номер «Натурвиссен-шафтен» — только что из Берлина. «О распознавании и поведении щелочноземельных металлов, образующихся при облучении урана нейтронами». И авторы: Отто Ган и Фриц Штрассман. Видит Бог — они еще не понимают, что открыли! Это же Нобелевская премия... та самая, которую уже трижды заслужил Матвей Шавло! Скобельцын с Франком получали барий уже три года назад, нет, три с половиной года. А догадались ли они, какая энергия выделяется при его распаде? Господи, это так просто, откройте Эйнштейна, там все написано — 200 миллионов электроновольт! Неужели гениальная Лиза Мейтнер не догадалась, что получилось у Гана рядом с барием? Ну считайте же, считайте! Вычли из 92-х урана 56 — бария. Получается тридцать шесть. Что такое тридцать шесть? Криптон! Да поглядите на фотографии, сделанные Вильсоном, — там же очевидный криптон!.. Неужели они так тупы? Нет, не тупы, они умны и умнее Мати. Надо знать свое место. Матя сильнее их лишь собственной волей к жизни и умением развить витающую в воздухе идею, он сильнее особенностью нашей Родины, силой НКВД и ГУЛАГа — кто и где смог бы выдрать из семей, из институтов, из жизни сотни умнейших физических и химических голов гигант-

ской страны и собрать их, запуганных и недокормленных, на краю света? Только товарищ Ягода, а после мученической кончины его — товарищ Ежов. И если товарищ Ежов завтра по пьянке попадет под машину или его расстреляют в подвале и Матя не успеет его спасти — придет кто-нибудь другой: Алмазов, Френкель, Вревский или Берия. И пока у нас в стране есть диктатор — остаются шансы победить все остальное человечество. Используем ли мы эти шансы — не знаю. Но мой собственный шанс в том, чтобы испытание было впечатляющим, грозным, чтобы оно убедило НКВД, убедило Сталина в том, что в его государстве есть великий человек, гений Матвей Шавло. И чтобы Сталин понял, что он полностью зависит от милости этого гения. Заносчиво? Нагло? Ничего подобного — Сталин мафиозо, Сталин — глава клана бандитов, в Италии Матя начитался об этих людях. Сталин понимает силу и ценит ее в других, если она не угрожает сталинскому благополучию. А Матя ему не угрожает. Матя хочет быть свободным и богатым. Он хочет получить Нобелевскую премию из рук шведского короля. Во славу нашей социалистической родины!

Чай остыл. Матя отставил стакан.

Сегодня все решится.

В коридоре застучали каблуки — Алмазов ставит ногу сначала на каблук, потом на носок — получается особый постук.

— Проснулся?

— Доброе утро. Хочешь чаю?

— Чаю? В такой день? Лейтенант — бутылку коньяку из моей машины! Живо!

— Слушаюсь, товарищ комиссар госбезопасности!

— Нарком как себя чувствует?

— Трепещешь, профессор?

— Не смейся.

— Какой там смех. Вчера, когда он... — Алмазов оглянулся на дверь. — Я чуть не обосрался. Даже если он что и помнит — то предпочтет забыть. А мы с тобой?

— Нас там не было.

— Молодец, быть тебе академиком. Что нового открыли наши буржуазные коллеги?

— Тебе же все переводят.

— Хочу услышать из твоих уст.

— Вот-вот поднимется большая паника.

— Я тоже так думаю. — Алмазов сидел нога на ногу, сапоги блестят и пахнут ваксой — в маленькой комнате этот запах неприятен. — Но они опоздали. Опоздали?

— У них нет института.

Лейтенант шагнул в комнату — в одной руке бутылка коньяку. — Закуску прикажете?

— Обойдемся. Уходи и закрой за собой дверь.

Алмазов разлил коньяк — в стакан и кружку.

— Я не буду, — сказал Матя. — Голова сегодня должна быть чистой.

— Вот и прочисти.

Алмазов выпил до дна — он много пил в последние месяцы, он трусил. Матя только пригубил. Он хотел видеть все — как идущий на первое, чистое свидание.

Когда они спустились к машине Алмазова, Матя сказал:

— Напомни мне, чтобы всем раздали черные очки. Это важно.

Андрей спал плохо — войлок сползал с него, открытые части тела, хоть он и не раздевался, мерзли, ему казалось, что он гибнет в степи или спасается от волков.

Но проспал он долго — так измотался за предыдущий день. Когда проснулся — уже было светло.

Оттого что слишком много снов и видений мучили его ночью, он не сразу смог вычленить себя из сна, из очередной погони, и потому топотом преследователя показались сначала тяжелые, хоть и осторожные шаги Айно на лестнице за прикрытой дверью, шепот, тихий голос, короткий смех Альбины... Предательница!

Андрей вскочил, отбросил войлок, и это движение было услышано Айно. Тот сразу заглянул в комнату и спросил:

— Будете пить чай, господин Берестов?

Андрей не ответил. Отвернулся к окну.

— Альбина, налей Андрюше чаю в кружку, — сказал Айно.

Андрей встал, готовый отказаться от жалкой подачки. Почему они, проведя ночь в похотливых объятиях, имеют право вторгаться в его комнату? Я же не просил чаю!

Оказалось, последние слова он произнес вслух.

— Я не буду обижаться, — сказал Айно. — И ты не обижайся. Мы не знаем, сколько будем жить. Наверное, надо жить хорошо?

Андрей посмотрел на Айно. Тот стоял в дверях, заполняя собой весь дверной проем, громадный, неуклюжий, белобрысый и краснорожий. Он протягивал Андрею кружку с дымящимся кипятком. В другой руке держал кусок хлеба.

Еще не простив Айно и тем более измены Альбины, Андрей сказал, как ему показалось, — с достоинством и холодно:

— Поставь на топчан. Мне надо вниз.

И тут Альбина засмеялась. «Вниз» прозвучало как желание снизойти с горы к трепещущему человечеству, а не к грязному ведру, стоящему у прилавка недостроенного магазина.

Андрей понял причину смеха, покраснел и прошел быстро на лестницу и вниз, толкнув Айно так, что тот чуть не выплеснул кипяток.

Все это было глупо, наивно и стыдно, но признаться в том Андрей не мог. Когда он возвратился наверх, там никого не было — Айно с Альбиной ушли к себе... он мысленно повторил — «они ушли к себе», и это было как бы примирением с той махонькой трагедией, что произошла в его жизни. И хорошо сделали, что ушли, — не надо ни с кем разговаривать.

Небольшой костер, который Айно развел за прилавком, уже был затушен и затоптан, Андрей растер подошвой последние угольки. Сейчас день, сейчас никто не заметит дыма.

Кружка с кипятком и кусок хлеба были на краю топчана — Андрей уселся и с наслаждением выпил горячую воду не спеша, все меньшими глотками, и хлеб откусывал так, чтобы его хватило до конца кружки.

И чем дольше он пил, тем смиреннее и разумнее относился к окружающему миру. С половины кружки к нему вернулось чувство юмора, и он смог представить, каким казался со стороны: грозный мальчик, топающий ножкой, — кто посмел отобрать у меня мою женщину? Ведь ее выдали мне на ночное пользование по личному указанию товарища комиссара! Андрюша, ангел мой, кто тебе сказал, что Альбина тут же бросится в твои объятия? Потому что ты моложе Айно? Потому что ты интеллигентный? Потому что ты русский, а он чухна немытая? А что ты знаешь об Айно, кого ты видел в нем, черт побери?

Они сидят наверху и тихо переговариваются. Они чувствуют себя виноватыми перед ним. Иначе они были бы здесь и разговаривали с ним. Они ждут, что он скажет. Смешно. А интересно, сколько этой Альбине лет? Не меньше тридцати. Как только он про себя произнес это местоимение «этой», он отдалил себя от недавно желанной добычи. Сверхплановая пайка, мне дали пайку... Интересно, а почему они создали из нас семьи, — кто и почему-то думал об этом? Чтобы все было как положено? Как в настоящую войну?

— Эй! — крикнул Андрей, зная, что наверху они слышат. — Я схожу в город, посмотрю, что там творится, хорошо?

В ответ раздались частые шаги Айно — вот он в дверях — быстро прибежал, будто ждал зова.

— Хочешь, пойду с тобой?

— Два человека всегда заметнее, — сказал Андрей. — Надо посмотреть большой подвал. Он есть под кирхой, это я точно помню — его бетонировали.

— Если его еще не залило водой. Я пойду с тобой.

— Я боюсь оставаться одна, — сказала Альбина.

Она подошла незаметно, встала рядом с Айно, на полшага сзади, и, просунув вперед узкую ладонь, взяла его за пальцы. Она не доставала ему до плеча. Айно чуть качнулся к ней, но не более.

Андрей не решил, что им ответить, как услышал с улицы приближающийся механический мегафонный голос:

— Граждане заключенные, всем оставаться в своих домах. Внимание, гражданам заключенным! Все, кто без разрешения покинет свои дома до двенадцати ноль-ноль, будут подвергнуты наказанию.

Он рванулся к окну. По площади медленно ехала танкетка. В открытом люке стоял командир с мегафоном и повторял:

— Внимание, немедленно возвратиться к дому!

— Это еще что за черт? — сказал Андрей.

— Я кому сказал, сука! — завопил командир.

От ратуши через площадь бежал зэк, вроде бы Аникушин.

Танкетка по приказу командира развернулась и под его мат, усиленный мегафоном, помчалась, подпрыгивая на неровностях мостовой, к Аникушину и принялась гонять его по площади. Аникушин почему-то заткнул уши ладонями и носился зигзагами.

Наконец ему удалось заскочить в ратушу, и танкетка поехала дальше.

— Внимание! — монотонно повторял командир. — Всем оставаться в своих домах до двенадцати часов. Тогда будет привезен горячий обед.

Голос его удалялся по улице, и, когда танкетка выехала на разбитую дорогу, ведущую к железнодорожным тупикам, командир замолчал.

— Почему надо быть в доме? — спросил Айно.

— И именно до двенадцати? А что будет в двенадцать? — спросила Альбина. Лицо у нее было помятое, у глаз и губ морщинки, под глазами угадывались мешки — всего этого вчера Андрей не видел. И волосы были темными у корней и светлыми в полураспустившихся завитках.

— Они могут врать про двенадцать, — сказал Андрей. — Поэтому я предлагаю перебраться в подвал под кирхой.

— Сейчас? — спросила Альбина. — Сейчас нельзя. Они приедут и нас накажут.

— Вот и надо это сделать раньше, чем они вернутся нас наказывать, — сказал Андрей. — Пошли.

— Так идти нельзя, — сказал Айно. — Надо взять теплые вещи. А может быть, там вода?

— Вряд ли, — сказал Андрей. — В кирхе никто не живет.

— Альбина, — сказал Айно. — Ты подожди здесь. Мы посмотрим, как там. Я приду за тобой.

Андрей не стал спорить, хотя не видел никакой нужды для Альбины оставаться здесь и ждать. Но Альбина преданно поглядела на Айно, словно он обещал ей освобождение из лагеря и путевку в крымскую здравницу.

— Конечно, — сказала она, и Айно осторожно освободил руку от ее слабых длинных пальцев. — Я буду ждать.

— На всякий случай, — сказал Андрей, чувствуя неловкость от того, будто вмешивается в чужую семейную жизнь, — не подходите к окну — побудьте на первом этаже.

— Правильно, — сказал Айно.

Альбина спустилась за ними, но не пошла к двери, а осталась за прилавком.

Айно с Андреем вышли на улицу. Погода была хуже, чем вчера. Никого на улице не было, — видно, жители Берлина всерьез восприняли запрет. Но когда они вышли на площадь и стали ее пересекать, Андрей заметил, как на них смотрят из окон.

С середины площади в просвет между домами Андрей увидел вершину вышки, на верхней площадке которой лежала та штука. Рядом с ней стояли только двое часовых. Больше никого.

В кирхе было холодно, сыро и гулко. Внутри никто не обрабатывал стены, даже опалубку кое-где оставили. Спешили. Айно, как каменщик, лучше знал, куда идти. В дальнем углу алтаря, за кучей неубранного строительного мусора, он показал на плиту, которая не была закреплена. Вдвоем с Андреем они отвалили ее — образовался квадратный, почти метровый черный люк в темноту. Андрей взял кусок кирпича и кинул вниз. Плеснуло. И тут же последовал удар. Айно сказал:

— Там есть вода. Но мало.

— Мы покидаем туда доски и эту рухлядь, — сказал Андрей. — А как спускаться?

— Я знаю, — сказал Айно, и вдруг Андрей увидел на его широком розовом лице смущенную улыбку, как у начинающего фокусника.

Айно подошел к люку и присел, опустив ноги вниз. Потом оттолкнулся широкими ладонями.

— Ты куда?

Но Айно уже прыгнул вниз — исчез. Только плеск воды, невнятный шум.

Андрей наклонился — внизу, метрах в трех, можно было угадать темную фигуру Айно. Тот возился, шаря вокруг.

— Ты спятил, — убежденно заявил Андрей. — У меня же нет веревки тебя вытаскивать.

— Не надо веревки, — сказал Айно.

Он запрокинул голову, и его глаза блеснули.

— Держи, — сказал он. И Андрей увидел, как из темноты показались концы двух палок и легли на край люка. Андрей настолько не ожидал увидеть лестницу, что и не угадал ее в этих палках.

Через минуту Айно поднялся по лестнице вверх. Он все продолжал улыбаться. Фокус удался.

— Ты откуда знал? — спросил Андрей, протягивая руку, чтобы Айно выбрался.

— Про лестницу? Я сам ее кинул. С одним моим эстонским другом, которого тут нет. Мы думали спрятаться там, когда строительство кончат, и ждать, пока уйдут.

— А потом выбраться? Ну, молодцы! Чего же ты раньше не сказал?

— Не хотел, — просто ответил Айно.

— А ты уже убегал? — догадался спросить Андрей.

— Я пять раз убегал, — признался Айно. — Там есть вода, больше, чем было раньше. А у меня есть зажигалка.

— Я знаю, — сказал Андрей, — ты же сделал мне чай.

— Правильно, — похвалил его Айно. Здесь он был главнее.

— Чего же мы не взяли Альбину? — спросил Андрей.

— А если другие люди догадались раньше? Урки? С оружием. Я хочу, чтобы Альбина была живая. У нее была плохая жизнь. Ее мужа убили. Всех убили. Я пойду за ней, а ты кидай туда доски и плиты.

Айно огляделся хозяином.

— Немного досок мы туда клали, — признался он. — Пойди посмотри.

Он показал на люк. И пошел наружу.

Андрей проводил его до дверей. Снаружи дул ветер, пошел редкий косой снег, издали, надвигаясь, жужжал самолет, летел к городу.

— Лучше закрыть дверь, — сказал Айно.

Они с Андреем потянули тяжелую дверь, оставив только узкую щель на одного человека.

Андрей смотрел вслед Айно. Тот уверенно, но осторожно, как битый-перебитый лесной житель, прижимаясь к домам, огибал площадь.

Андрей вернулся к люку и решил сначала слазить вниз и исследовать подвал. У него тоже была зажигалка.

Он спустился вниз. Воды было немного, только в углублениях, свет, хоть и ничтожно слабый, проникал сквозь люк. У Андрея были крепкие сапоги — они не промокали. Он пошел вглубь, рассуждая, кому понадобилось сооружать под кирхой такой подвал? Он искал цель, а ее не было — просто подвал был на проекте кирхи, который привезли из Архитектурного музея.

За ночь на плоской бетонной крыше института был устроен бруствер из мешков с песком. Туда же перетащили кресла и стулья. И перископы. Френкель пришел сразу вслед за Матей и потребовал, чтобы в бруствере сделали бойницы. Матя возражал. Алмазов занял нейтральную позицию, затем появился и сам Ежов — темные провалы под глазами, небрит, зол, сразу велел убрать бруствер. «Мы не крысы!» Но затем пошел на компромисс — бруствер, но бойницы. А когда свита сделала для него в мешках ложбину, удобную, по росту, он примерился, успокоился, стал ходить по крыше. На груди у него висел цейсовский бинокль. Время от времени нарком приставлял его к глазам и смотрел на город Берлин.

Матя рассматривал городок в перископ — ему нужно было увеличение, которое давал прибор. Над ратушей реял красный нацистский флаг, издали точь-в-точь отечественный. Матя решил не привлекать внимания начальства — может получиться ненужный скандал.

— Что там за флаг? — громко спросил Ежов.

Ветер, морозный поутру, дул в сторону Мати, и тому пришлось услышать и подивиться — будто мысль Мати передалась наркому!

— Какой флаг? На ратуше?

— Красный!

— Это издали красный. Вблизи фашистский, — откликнулся Матя. — Он тоже красный, а свастику отсюда не видно.

Ежову стало холодно, он отвернулся от городка, щелкнул пальцами, кто-то из свиты подбежал с металлическим стаканчиком. Ежов никому не предложил разделить с ним удовольствие.

Матя ощущал, как пуст институт, — пуст, безмолвен, впервые за эти годы. А ведь это именно те муравьи, что начиняли его, придумали этот взрыв.

Матя перевел перископ на вышку.

Видно было, что на вышке двое или трое связистов проверяют провода, что ведут сюда, на пункт управления. За ночь пришлось тянуть связь сюда, Матя-то в три лег, а Алмазов вроде и не ложился.

Осталось полчаса. Сейчас связисты кончат проверять на вышке, спустятся вниз и пойдут по городу, проверяя кабель. Они, как и все прочие десятки тысяч людей, большей частью голодных, холодных и несчастных, что находятся сейчас в радиусе двадцати километров от полигона, не подозревают, что случится здесь через полчаса. Еще неделю назад Матя наивно предложил Алмазову выдать всем заключенным и вольным черные очки и приказать в девять утра отвернуться и смотреть в другую сторону. «Добреньким прикидываешься, — усмехнулся на его слова Алмазов. Без злобы, понимая. — Мне тоже хочется быть добреньким. Но, во-первых, я не могу ставить под угрозу государственную тайну, которая нам очень дорого обошлась. Во-вторых, где я достану двадцать пять тысяч пар черных очков? Ты это знаешь не хуже меня». Алмазов нашел разумный выход: под страхом жестокого наказания никто не выходит из домов и бараков до двенадцати. Охрана отвечает за это шкурой.

— А сама охрана? — спросил Матя. — На вышках, в зоне?

— Заткнись, — сказал Алмазов. — Обойдется.

Алмазов не верил, что взрыв может ослепить за километры.

Матя проследил взглядом за тем, как связисты не спеша спускаются с вышки. Они сматывали за собой провод телефона. Видно, поддерживали связь с пунктом управления. Матя посмотрел в ту сторону. В двадцати шагах, расстелив на крыше плащ-палатку, сидели два телефониста и командир — все из НКВД.

— Ну, скоро там? — спросил Ежов, не глядя на Матю.

— Осталось двадцать минут, — ответил Матя.

— Поторопитесь. Даю вам десять минут, — приказал Ежов. — А то мы здесь все вымерзнем.

— Нельзя. — Матя подошел поближе к наркому, чтобы не кричать.

— Почему?

— Там связисты — они проверяют линию. Когда они кончат, выйдут из зоны, мы дадим сигнал.

— Можно было вчера проверить.

— Вчера тоже проверяли.

Ежов топнул ножкой. Ножка была в пилотских унтах. Ежову не было холодно. Просто у него было плохое настроение.

— Где кнопка? — спросил он высоким гневным голосом, в его горле что-то клокотало, как в петушке, который вот-вот запоет.

— Какая кнопка? — не понял Матя.

— Которая взрывает.

— Здесь, — Матя показал на взрывную машинку, что стояла сзади под охраной двух чекистов.

— Тогда я сам взорву все к чертовой матери! — сказал Ежов и направился к машинке.

Матя не поверил тому, что нарком может это сделать. Но Алмазов был сообразительнее.

— Николай Иванович, подождите! — Он успел встать между машинкой и Ежовым. Ежов уткнулся в него — он не доставал Алмазову и до плеча. — Еще не готовы кинооператор и фотографы.

— Черт с ними! — Ежов попытался отодвинуть Алмазова с дороги.

— Самолет, который будет вести съемки с воздуха, — почти закричал Матя, — прилетит точно в срок!

Он хотел было напомнить о связистах, которые погибнут, но понял, что этим Ежова не остановить. О других людях, оставшихся и оставленных в обреченном городе, о которых он знал или догадывался, он предпочитал не вспоминать хотя бы потому, что имел основания полагать, что среди них была Альбина.

— Хрен с ним, с самолетом! — Нарком был в тяжелом похмелье. Он плохо соображал, что делает и говорит.

Но Вревский, наклонив к наркому коротко остриженную голову, сказал негромко, но услышали все:

— Нам нужны эти фильмы, товарищ нарком. Мы их должны показать товарищу Сталину. Что мы ему покажем?

— Мы скажем... — Запал Ежова угасал. И тут же гнев начал подниматься вновь, на этот раз он был направлен против операторов.

— Так где они, мать их? Где твои фотографы?

Подошел Френкель — он уже сообразил. Он протянул наркому серебряную стопку. Тот, не заметив, что делает, вбросил в рот содержимое.

— Их сейчас приведут, — сказал Алмазов. — У нас все рассчитано. Главное сейчас — чтобы лишние ушли отсюда. Вы же понимаете, товарищ нарком.

— Кто лишние?

— По списку, подписанному вами, здесь остается десять человек. — Френкель достал список из кармана кожаного с меховым воротником пальто.

— Пускай уходят. — Ежов поскучнел, и Алмазов отошел от него.

Матя посмотрел на часы. До взрыва оставалось еще десять минут.

Через чердачную надстройку на крышу вышли оба фотографа и кинооператор, все трое тащили за собой штативы. И Матя пошел к ним, чтобы показать, где устанавливать камеры, — там, где кончались мешки, на открытом месте. Камерам бруствер только бы помешал.

Матя раздал фотографам и кинооператору черные очки и велел надеть их через пять минут. Оператор примерил и сказал:

— В них работать неудобно.

— Ну, как знаете, — сказал Шавло. Еще не хватало уговаривать идиотов. Хазин, который кое о чем догадывался, очки надел. Заранее. Еврей, подумал Матя, они всегда осторожные, чуют и остаются живыми там, где русские погибают.

Матя подошел к перископу.

Алмазов стоял у надстройки и смотрел, как один за другим туда уходят охранники и офицеры из свиты наркома. Сам нарком отошел к понижению в бруствере, сделанному для него, и стоял мрачный, руки в карманах. Френкель на шаг сзади. Вревский подошел к перископу — он следил за тем, что делал Матя, и повторял его движения.

Матя обошел всех и раздал черные очки.

Их надели Алмазов и Вревский.

Френкель держал очки в руке. Но ждал, пока их наденет нарком.

— Связь есть! — крикнул лейтенант от телефона. — Сигнал проходит.

— Тогда мотайте отсюда и ждите на шестом этаже. К окнам не подходить, — приказал Алмазов.

Чувствуя опасность, оба связиста поспешили к выходу.

Три минуты до взрыва.

Издалека послышался шум мотора — самолет показался с севера, он шел на высоте километра. Все было правильно.

Матя взглянул в перископ. Городок был пуст и напряжен — он ждал гибели. И Матя должен был его убить. Хотя на ручку машинки нажмет Алмазов. Так договорено.

По ратушной площади шел человечек — Мате не хотелось на него смотреть — почему он там ходит?

— Ну давайте! — закричал Ежов. — Чего вы там! Самолет уже над объектом!

Это только казалось — самолету оставалось больше километра.

— Начать съемку! — приказал Матя.

— И нам тоже? — спросил фотограф Хазин.

— Вот именно!

Алмазов пошел к машинке. Присел рядом с ней. Поглядел на часы.

— Как в аптеке! — крикнул он Мате. Алмазов волновался.

Хазин поднял аппарат и сделал снимок.

Матя надел черные очки, и все стало туманным и лишь угадываемым.

— Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, — говорил он, все замедляя счет. Ему показалось, что, если считать медленнее, тот идиот уйдет с площади и останется жив.

— Скорее! — закричал нарком. —А то я сейчас сам рвану! Давай!

И Алмазов, подчиняясь Ежову, нажал на рукоять.

И в первое мгновение ничего не произошло.

Первое мгновение было субъективно таким долгим, что Матя успел за него прожить часы горечи и унижения, провала дела всех этих лет... Он даже хотел крикнуть Алмазову, что связь оборвалась и надо ее снова проверять, как в черных очках, в центре, перед самыми глазами начала расцветать и расти огненная, ослепительная даже сквозь черные очки, искра. Искра превращалась, клубясь и молча раздуваясь, в огромный пылающий шар, который, словно внутри него крутились черти, двигался, жил, рос, грозя заполнить весь мир и сожрать их, столь неразумно оставшихся на этой крыше.

Наверное, надо было бежать, но бежать было некогда — в каждую последующую секунду вмещалась вечность, и каждая секунда относилась уже к новому миру, которого раньше не было и который сейчас был рожден гением Матвея Шавло.

Шар, ставший таким громадным, что края его дотянулись до крыши, обдав всех горячим дыханием внутренностей Солнца, вдруг потянулся вверх в надежде оторваться от Земли и где-то в небе раскрыться необозримым цветком. Но Земля не отпускала его, и потому шар уже стал похож на гриб на прямой ножке. Какой гриб? Табачник? Но у того нет прямой ножки! Наверное, это сморчок, но живой сморчок. И когда шар поднялся уже так, что на него надо было смотреть запрокинув голову и в нем уже исчезла черная стрекоза — самолет-наблюдатель, — до Мати донесся утробный и невероятный звук взрыва, такой, что пришлось

зажать уши и присесть — на секунду, но спрятаться, и, когда ужас этого звука миновал, Матя понял, что взрыв уже свершился, он уже в прошлом и он, Матя, жив. Цепная реакция не началась, лишь уран-235 выделил нужную нам энергию. И ничего больше. Значит, у нас есть оружие!

Матя, охваченный бесконечной и светлой радостью свершения, оглянулся, чтобы сказать это Алмазову, потому что Алмазов единственный здесь мог оценить и разделить восторг, но Алмазов лежал ничком, зажав уши. Матя посмотрел в другую сторону — Ежов и Френкель сидели на корточках за раскинутым наполовину брустверо, слившись в один мешок. А вот Вревский стоял в черных очках — смотрел в перископ, все как положено. Волна горячего ветра, опрокидывая перископы, обрушилась на крышу, но быстро умчалась.

А что дальше?

Кинооператор поднимал упавший штатив. Сволочь! Он сорвал съемку!

Матя кинулся к нему.

— Я сам! — крикнул он. — Долой, сволочь!

И он начал крутить ручку съемочной камеры, — к счастью, он знал, как это делать, и модель была знакомая — «кодак». Кинооператор не возражал. Черные очки упали, он тер глаза кулаками и невнятно ныл.

Матя поймал объективом уплывающий к звездам шар взрыва и снимал его, а потом повел объектив камеры вниз, чтобы увидеть, что осталось от города и полигона.

Черных очков не было — черные очки он потерял. Но теперь это уже не играло роли.

И он увидел город сквозь визир киноаппарата.

Города почти не было.

Вокруг воронки — широкой и мелкой — были раскиданы кирпичи и камни и лишь кое-где острые зубы первых этажей... И снег — такой белый десять минут назад — исчез, куда ни кинь взгляд. Земля была бурой до самого горизонта, а солнце исчезло в тумане.

Андрей натолкнулся на холодную влажную стену — он мог бы зажечь зажигалку, но решил поберечь бензин — его в ней осталось немного. Он пошел вдоль стены, перебирая руками, чтобы понять, насколько велик подвал, но через несколько шагов остановился, поняв, что в том нет никакого смысла. Велик ли подвал или не очень — были бы крепкими его своды или перекрытия...

Он стоял, и его постепенно охватывало все большее нетерпение — где же Айно с Альбиной? Может, они попались на глаза патрулю?

И в то же время Андрей чувствовал, как внутри него начали щелкать часы, ускоряя отсчет секунд, словно он знал наверняка, что именно сейчас случится то ужасное, ради чего их принесли в жертву.

Это понимание и нетерпение, рожденное им, заставили Андрея оторваться от исследования подвала и поспешить к лестнице. Он поднялся по ней — кирха была пустой и гулкой, каждый шаг отдавался до потолка: значит, пол не очень толстый.

Андрей побежал к дверям кирхи.

Он не вышел, но, прижавшись к косяку, выглянул наружу.

И увидел, как через площадь, не напрямик, а прижимаясь к стенам домов, быстро идут Айно с Альбиной. Айно тащит еще и мешок — наверное, с остатками вчерашнего пира. Вот почему они задержались. И тут же Андрей услышал, как стрекочет, приближаясь, аэроплан. Почему-то в тишине Берлина этот звук показался особенно зловещим. Самого самолета пока еще не было видно, но страх перед ним заполнял воздух.

— Скорее! — закричал Андрей. — Скорее сюда! Бегите!

Айно услышал и подчинился настойчивому зову — он потянул Альбину за руку, и они побежали.

Андрей успел заметить, как в дверях одного из домов появился человек, неизвестный Андрею, он смотрел вслед Айно с Альбиной и потом перевел взгляд на кирху. Он также принимал решение. Решение было в пользу кирхи — он решил там спрятаться... Человек пошел через площадь, но неуверенно, оглядываясь, и Андрей всей шкурой понял, что человек не успеет.

Треск самолетного мотора все приближался. Айно втащил Альбину в кирху.

— Скорее! — крикнул Андрей. — Вниз! Они сейчас рванут!

Они побежали через кирху к ходу в подвал.

Андрей понял, что времени не осталось совсем, и он не стал спускаться по лестнице, а толкнул первой Альбину, она замешкалась, Андрей закричал на нее:

— Ну! Скорее же!

Айно кинул в черную дыру мешок и этим подсказал Андрею — что надо делать. Тот прыгнул вслед за мешком, стараясь рассчитать свой прыжок по глубине подвала; он сделал это, чтобы не занимать лестницу и дать возможность спуститься остальным, — он не рассчитал, упал в воду, стало страшно холодно;

он попытался отползти в сторону, но видел при том квадрат люка и видел, как спускается Альбина, протянув руку кверху, как бы приглашая Айно. Андрей пытался подняться, но никак не мог — может, он сломал ногу?

Альбина уже достигла пола и замешкалась, почувствовав под ногами воду, — чисто инстинктивно, сама того не замечая, а Айно стоял наверху и ждал, пока она ступит на твердый пол, потому что боялся, что если он тоже наступит на лестницу, то лестница сломается и он упадет на Альбину.

И в этот момент раздался взрыв бомбы.

Андрей не знал, что это взрыв бомбы, — просто вдруг стало светло, и свет этот разгорался, проникая в глубь подвала, заставляя Андрея бессознательно отползать от него.

Но в то же время свет этот не мог ослепить — стены кирхи, частично рухнувшие от взрывной волны, и пол храма защищали их от лучей атомного света.

Андрей видел также, как медленно, будто в замедленном кино, ползет к нему Альбина, но до нее было далеко — ведь все действие заняло лишь секунду или две. И за эту же секунду погиб Айно. Андрей понял, почувствовал, почти увидел, как летевшие кирпичи стены сшибли его с ног и он мешком, бессильно, рухнул вниз в подвал.

А вокруг нарастал грохот, и он был тем сильнее, чем более тускнел свет. И вот уже не видна Альбина, и не виден Айно, и подвал темен, только не смолкают грохот и гудение в воздухе, насыщенном пылью и напоенном озоном.

Когда все утихло, все осталось в прошлом, Андрей смог подняться — глаза привыкли к темноте. Кирху или разрушило, или с нее снесло крышу, и потому, когда пыль осела, свет просочился в подвал через квадратный лаз. Андрею была видна Альбина, которая лежала в ледяной воде без чувств или мертвая, хотя почему бы ей быть мертвой? А вот Айно был мертв. Это было видно издали: половина головы была размозжена. Он опоздал прыгнуть на одну секунду.

Андрей присел на корточки рядом с Альбиной и попытался перевернуть, поднять ее, посадить. Альбина застонала — тихо и жалобно.

— Что с вами? — спросил Андрей. — Вам больно?

— Да, — ответила Альбина.

— Где?

— Мне везде больно... — И вдруг она встрепенулась и по-

пыталась, упираясь руками в пол, подняться. — Где Айно? Что вы сделали с Айно? Вы убили Айно?

С неожиданной силой она вырвалась из рук Андрея и, оглянувшись, увидела тело Айно. Она наклонилась к нему и попыталась нежно приподнять его голову. Голова была тяжела и непослушна ее рукам.

— Помогите же! — крикнула она Андрею. — Айно плохо! Неужели вы не понимаете?

Андрей подошел и присел рядом.

— Я думаю, что он погиб, — сказал Андрей.

Правой стороны лица не было — Андрей поднял безвольную кисть руки и постарался нащупать пульс. Альбина вытащила из кармана носовой платок и старалась, окуная его в воду у ног, промыть рану.

Андрей сказал:

— Альбина, не надо, это не поможет.

— Он очень сильный, — сказала Альбина, — он такой выносливый.

И в голосе ее было столько убежденности, что Андрей расстегнул ватник и рубашку Айно и приложил ухо к его груди, в надежде услышать стук сердца.

Но Айно был мертв.

Альбина не хотела верить в это. Они перетащили Айно на сухое место, Альбина положила его голову себе на колени, она не требовала врача или помощи, она просто ждала, когда Айно оживет.

Не с кем было посоветоваться, что делать дальше.

Андрей понимал, что, вернее всего, после взрыва город будут обследовать, — может, не сразу со всеми подробностями, но начнут сразу. Поэтому, когда они услышали голоса людей, шумные, громкие, гулкие, возможно, пьяные, то они затаились в своей норе, правда, никто к ним не сунул носа.

Когда голоса умолкли, Андрей осторожно поднялся наверх и сразу оказался на улице — хоть часть стен кирхи сохранилась— они были косо срезаны и поднимались из груд кирпичей, которыми был засыпан бывший зал, не было крыши, и вместо неба, как декорация в романтическом спектакле, нависала живая подвижная лиловая туча, из которой начал сыпаться дождь. Андрей выглянул наружу и убедился в том, что Берлина более не существует, только груды камней — и так до горизонта. И нет вагонов, ангара, и главное — нет вышки. Все же это оказалась бомба! И такая, какой ранее не существовало, — это была бомба конца света.

Андрей спустился вниз. Альбина не спросила его, что он там видел.

Андрей стал размышлять — можно, конечно, вернуться в лагерь. Но ведь, вернее всего, он списан, и теперь будут искать не его, а только его труп, чтобы разрезать его и посмотреть, как подействовала на ткани взрывная волна или что-то подобное. Если же увидят его живым, то почему бы им, уже принесшим его раз в жертву Молоху, не разрезать его все равно? Чтобы выяснить, почему он не подох?

С другой стороны, именно сейчас у него может быть махонький шанс выбраться отсюда. Ведь взрывом снесло все ограждения и препоны на километры вокруг. Зоны не существует. И можно уйти в тундру. Оставаясь здесь — не спасешься.

Надо дождаться темноты и попытаться уйти.

Об этом Андрей сказал Альбине.

— А я? — спросила она.

— Вы погибнете в тундре. Даже у меня практически нет шансов.

— Вы хотите сказать, что я буду обузой?

— Вы будете мертвой. После первой же ночи в тундре.

— Нет, — сказала Альбина трезво и спокойно.

Она осторожно приподняла изуродованную голову Айно и положила ее на пол — как будто осознала наконец, что он умер.

— Я же была вольной, — сказала она. — И была секретаршей самого Шавло. Руководителя проекта. И мы с ним ездили по разным точкам.

— И что же?

— Я думаю, что сейчас, после этого взрыва, — никаких ограждений не осталось, — как бы повторила она мысль Андрея. — Значит, мы можем дойти до шестого лагпункта.

— Это что такое?

— Это было место, где хотели сначала делать полигон, но оно не понравилось — там холмы и река. Там построили бараки — теперь они пустые. И я знаю туда дорогу. Если хотите, мы пойдем вместе.

Андрей не мог не улыбнуться — он отказывался брать ее с собой, а она его берет. И даже предлагает путь, обещающий ничтожные шансы на спасение.

— И это далеко? — спросил Андрей.

— Километров пятнадцать. Если идти быстро, то за темноту дойдем. Только вы поможете мне похоронить Айно.

— Конечно, — сказал Андрей. — А у вас ботинки не промокают?

— Не все ли равно? Теперь я хочу уйти, уйти далеко и жить.

— Почему? — не нашел иного вопроса Андрей.

— Потому что они отняли у меня все — и мужа, и жизнь, и свободу, и честь. А теперь, когда я думала, что в мире появился для меня Айно, они убили его. И вот теперь я не умру, вы увидите, что я не умру, прежде чем не убью Алмазова и Шавло. Хорошо?

— Хорошо, — сказал Андрей.

Альбина говорила очень тихо — она была маленькой и очень хрупкой богиней мести.

До темноты в тот день никто не появлялся в городе, и они, не рискнув разжечь огонь, поели сырой картошки — в мешке у них оставалось еще шесть картофелин и три или четыре больших бурака.

— Когда мы пойдем, — предложил Андрей, — давайте заглянем в зоопарк. Если хоть что-то уцелело, мы возьмем там овощей.

Пол в кирхе не был бетонирован, но все равно мерзлота подступала так близко, что им не удалось выдолбить могилу для Айно, — они завалили его, положив в углубление, войлоком и досками.

И стали ждать, пока стемнеет.

«Ханна» вышла к Новой Земле как раз в тот момент, когда из-за горизонта слева по курсу показалось солнце, — мгновенно разогнало туман, в котором до того лишь угадывались покрытые снегом, выпускающие к морю языки ледников, высокие горы. Подсвеченные солнцем, горы обрели мрачные, но многообразные оттенки камня и снега. Под гидропланом была открытая вода — Карское море в том году рано очистилось ото льда. «Ханна» шла на высоте трех километров со средней скоростью триста километров в час, и, несмотря на то, что они находились в полете менее двенадцати часов, все уже смертельно устали — нестандартное пилотское кресло, уменьшенное из-за того, что в «Ханне» была предусмотрена дополнительная теплоизоляция, оказалось неудобным, спина в нем страшно уставала, и потому Юрген и Васильев менялись куда чаще, чем предполагалось, — каждые два часа. Прозрачная пилотская кабина была узкой. Поэтому, когда одетые в толстые свитера и парки пилоты менялись, стараясь при том не отпустить управление, «Ханна» начинала опасно раскачиваться и Карл Фишер кричал на пилотов, чтобы не сбивали машину с курса.

Масло загустело, и качать маслонасос тоже приходилось по очереди — это оказалось нелегкой работой.

Заняв пилотское кресло после очередной смены, Васильев посмотрел вниз — на темной поверхности моря показались большие льдины, спереди стали сгущаться облака. Бывшие сначала не более как белесой пеленой, они утолщались и уже закрывали поднимающееся солнце.

— Нам их не перевалить, — сказал Васильев.

Юрген, который только что прикорнул на масляном баке, подложив под себя спальный мешок, что-то промычал в ответ, а Карл поднялся, пригляделся и сказал:

— Это циклон.

Будто сделал открытие в метеорологии.

Васильев ввел «Ханну» в слой открытого воздуха между двумя массивами облаков, этот просвет вскоре исчез, и самолет окутала серая мгла. Васильев повел машину вправо, ему показалось, что с той стороны облачность пореже, машина не всегда хорошо слушалась рулей, тем более что Васильев всю жизнь управлял лишь легкими машинами и обращался с «Ханной» резче, чем ей это нравилось. Он взглянул на указатель искусственного горизонта и понял, что поворот мог оказаться последним. Карл Фишер тихо выругался, а Юрген поднялся, будто и не засыпал, и спросил:

— Тебя сменить?

— Справлюсь, спи! — рассердился Васильев. Он был не прав: как командир экипажа Юрген должен был принимать сейчас решения. Но он был достаточно разумен, чтобы не отнимать у Васильева штурвал.

Через десять минут полета оказалось, что они удаляются от цели, но конца сплошной облачности не видно. Забортная температура быстро снижалась — стрелка на указателе ползла влево. Капли дождя били по плексигласу кабины и создавали странное ощущение осенней дачной веранды и уюта от того, что дождь стучит и льет, но он не в силах забраться в человеческое жилище. Васильев посмотрел по сторонам — на кромках крыльев и на стеклах начал быстро нарастать лед, «Ханна» вздрогнула, напоминая людям, что никакого дачного уюта она им не обещает. Началась вибрация. Юрген держал себя в руках и не требовал передать управление, за что Васильев был ему благодарен. Левый мотор затрещал и, как нервное сердце, начал давать перебои, — значит, лед уже добрался до лопастей винта.

— Я пойду вниз! — крикнул Васильев и, не ожидая ответа, повел штурвал от себя.

Из облачности вышли всего метрах в ста от воды — потом уж Карл сказал:

— А я думал, что ты нас вгонишь прямо в море.

«Ханна» шла над отдельными льдинами, между которыми были широкие разводья. Было сумрачно, дул ветер, который сносил машину с курса, и Карл углубился в расчеты, хотя, как сам признался, они не могли быть верными без видимого солнца до тех пор, пока «Ханна» не выйдет к материку, — Новая Земля осталась на северо-востоке.

Из-за циклона они сбились с курса и вышли к берегу в устье какой-то речушки, не указанной на неточной русской карте, которая была на борту. Сменивший наконец Васильева Юрген вел машину на юг, полагая, что общее направление правильно, а строительство в тундре настолько обширно, что они его вряд ли пропустят. К тому же Юргена беспокоила мысль, что над Полярным институтом может быть авиационное прикрытие и потому лучше всего выйти к нему как можно раньше, пока неладная погода, пока идет дождь, в такую погоду успеешь скрыться в облаках.

В зависимости от результатов полета и возможности подобраться к объекту, у Хорманна было два варианта. Первый: после того как они определяют место и фотографируют Полярный институт, «Ханна» опускается на одном из тундровых озер, желательно свободном ото льда, затем Васильев покидает машину и старается за ночь добраться до зоны. Если же это покажется невозможным или увиденное потребует иного решения, «Ханна» немедленно ложится на обратный курс.

Поэтому Хорманн стремился к тому, чтобы его самолет не только не заметили, но и даже не заподозрили такую возможность. Задумавшись, Юрген чуть всех не погубил — возвышенность, не указанная ни на каких картах, появилась буквально перед носом «Ханны». Пилот успел рефлекторно рвануть машину вверх, и она с трудом перевалила через пологую гору — подобные опасные встречи, понимал Хорманн, будут все чаще по мере углубления в материк, так что придется набирать высоту и попытаться перевалить облачность. Но как тогда не пропустить цель?

К счастью, по мере того как «Ханна» удалялась от моря, облака словно редели и истончались. Циклон, к счастью, был невелик, и впереди открывалась залитая солнцем тундра, над которой стремительно бежали кучевые облака, будто облегченные после вылитого ими дождя.

— Впереди самолет! — крикнул Васильев.

Юрген тоже увидел его — черную точку в разноцветном небе — и стал забирать левее, моля Бога, чтобы это был не русский истребитель, и тут же раздался крик Карла Фишера:

— Да подвиньтесь вы, черт возьми, разве не видите?

Увлеченные наблюдением за самолетом, Юрген и Васильев упустили момент, когда внизу, сначала раскиданные редко и связанные темными полосками разбитых дорожек, затем все чаще и теснее, стали подниматься строения — бараки, склады, рудники, снова бараки и склады.

Перегнувшись через плечо Юргена и мешая тому управлять машиной, Карл начал фотографировать объекты на земле.

— Не трать пленку на пустяки! — сказал ему на ухо Васильев.

— Я не знаю, что здесь пустяки! И не мне решать это.

— Может, откроем дверь? — спросил Васильев.

— Нет, слишком велика скорость — меня выбросит из машины, — ответил Фишер.

Васильев замолчал — он сплоховал, он жил еще старыми скоростями, когда можно было сидеть в открытой кабине и ветер лишь обдувал тебе лицо.

— Вот он! — крикнул Юрген. И они тоже увидели.

Далеко впереди, почти на горизонте, поднимался куб большого, даже по масштабам любого города, громоздкого многоэтажного здания, окруженного зданиями меньшими, раскиданными на огромной площади.

Правее и дальше этого здания была видна колокольня старой кирхи — именно там и начинался загадочный немецкий город.

Юрген набирал высоту, он хотел иметь преимущество перед русским самолетом, который держал курс на кирху и не обращал внимания на «Ханну», возможно, полагая ее своим аэропланом.

К тому же Юрген хотел при первом заходе дать возможность Фишеру снять широкую панораму, а лишь потом, если обстоятельства позволят, развернувшись, опуститься ниже.

Немецкий городок приближался, и было видно, что русский самолет уже достиг его... И в этот момент они увидели вспышку.

Вспышка возникла прямо по курсу, ослепительная настолько, что Васильев, бывший в отличие от Юргена без темных очков, мгновенно ослеп и отпрянул с криком, закрыв лицо руками, но Фишер продолжал снимать — кадр за кадром, хотя эти несколько кадров оказались потом просто белыми — аппарат не смог ничего увидеть в этом сиянии. Зато когда сияние превратилось в раскаленный шар и он, темнея и поглотив в своем движении русский самолет, рванулся кверху, Фишер смог сделать несколько вполне удачных снимков.

Юрген, полуослепленный взрывом, чутьем опытного летчика или, может быть, просто всей шкурой понял, что он должен как можно скорее увести «Ханну» от этого места. Не обращая внимания на опасность, он положил ее на крыло так, что Васильев, к которому все еще не вернулось зрение, свалился, матерясь, к ногам Фишера.

«Ханна» не успела завершить разворот, как ее настигла волна воздуха, рожденная атомной бомбой. Пролетев три километра, что отделяли взрыв от «Ханны», она ударила в самолет и буквально отшвырнула его, чудом не перевернув; впрочем, это чудо было совершено железными руками Юргена, который ни на секунду не потерял присутствия духа и вел себя так, словно его самолет попал под неожиданный удар урагана. Юрген сумел выправить щепочку, которую понесла к океану волна взрыва, и, преодолевая возникшие вокруг невероятные вихри, повел машину вниз, твердо намереваясь посадить ее на воду длинного озера, всего километрах в пятнадцати от Полярного института. Озеро, видно, из-за того, что в него впадала река, которая уже вскрылась, было почти свободно ото льда — вряд ли удастся найти лучшее место для посадки, ибо лед на других озерах, вернее всего, ненадежен.

Недалеко от озера был виден длинный барак с открытой дверью и выбитыми окошками — еще сверху Юрген понял, что там никто не живет.

Васильев, который обрел наконец возможность видеть, оценил посадку Юргена, хотя «Ханна» не избежала все же столкновения с тонкой льдиной. Льдина повредила один из поплавков, из которого начал вытекать бензин. Но главное — они были живы. И самолет почти цел.

Как только «Ханна» остановилась, легонько уткнувшись поплавками в мель, Фишер открыл люк гидроплана. Он обернулся к взрыву и снял кружение гигантских облаков и превращение атомного гриба в тучу, которая родила дождь и понесла его на восток...

— Это был ад, — сказал убежденно Юрген, опустив голову в шлеме на штурвал. Он был без сил.

— Пожалуй, мой друг, мы выполнили задание, и нам есть с чем вернуться за рыцарскими крестами, — сказал Васильев.

— Тебе не достанется, мой друг, — сказал Фишер, не переставая снимать атомное бедствие. — Ты иностранец, притом плохих кровей.

— Вот иностранцы, таких же, как я, плохих кровей, сделали бомбу, до которой не додумались самые арийцы из арийцев. Допускаю, — к Васильеву вернулась способность к иронии, по-

рой спасавшая, но чаще губившая его, — что среди них были евреи.

Видно, нарком НКВД успел зажмуриться, но все равно его ослепило. Хуже было с Френкелем — тот так и не надел очки, не посмел сделать это раньше Ежова. Он сидел на холодном бетоне крыши, раскачивался и стонал.

Один из фотографов тоже временно ослеп, но другой, Хазин — еврейское счастье! — в тот момент менял пленку, отвернувшись от взрыва, — нашел время, идиот! Зато сейчас он оголтело щелкал аппаратом, стараясь заснять и шар на истончающейся ножке, и общий вид погибшего города.

Все эти детали события Матя увидел сразу, но осознал лишь потом, когда миновало наслаждение свершением. Он победил! Он победил в тот момент, когда на вышке вспыхнула ослепительная искра. И он единственный в мире владеет в полной мере не только секретом нового абсолютного оружия, но и пониманием того, что это означает для человечества, которое никогда уже не станет таким же, как прежде. 5 апреля 1939 года был произведен первый в мире взрыв атомной бомбы...

А это означает, что на Земле наступает эра всеобщего мира, потому что после того, как человечество убедится в том, что абсолютное оружие, а значит, и гибель всего живого на Земле — печальная возможность, оно будет вынуждено отказаться от войн, ибо за любым ударом последует удар ответный. Впрочем, какого черта я лезу в будущее? Сегодня я победитель, а завтра они попытаются меня судить и отнять у меня славу... Теперь они все мне опасны — и Алмазов, и Френкель, и Вревский, и, уж конечно, сам Ежов.

— Доктора, черт побери! — стонал Ежов, и только сейчас Шавло услышал этот голос, может быть, потому, что стихли последние раскаты вселенской грозы. — Я ослеп! Доктора!

«Не надо было выдрючиваться», — мысленно сказал Шавло.

Вревский, снявший очки, и Алмазов, все еще в очках, уже склонились к наркому. Френкель сидел, тер глаза и стонал.

— Где врач? — строго спросил Вревский у Мати.

— В поселке, в больнице, — сказал Матя. Он, разумеется, промолчал, что Алмазов вычеркнул медиков из списка людей, которым положено было участвовать в наблюдении взрыва. Потом их, конечно, запустят в город, если там осталось что-то живое. Дураки, мы все дураки — не догадались, что взрыв будет столь силен и очевиден — на многие десятки верст.

— Почему в поселке? — Вревский был грозен. — Это пре-

ступление! — Подстраховываясь на всякий случай, он уже искал виновных.

На счастье, Ежов начал видеть — временная слепота прошла.

— Прекратить! — крикнул он, все еще щурясь. — Успеется врач, успеется. Вревский, чем кричать — проводи Френкеля вниз.

И сам Ежов, уже владея собой, подбежал к брустверу. Он смотрел на город. Шавло последовал за ним. Алмазов крикнул кинооператору, пришедшему в себя:

— Ты снимай! Возьми камеру свою и снимай. Если будет в съемке брак, лично расстреляю.

— Мог бы силком на меня очки надеть, — укоризненно сказал Ежов. Он поднял бинокль и стал обозревать в него картину разрушений. Он вел бинокль по панораме бывшего городка и неожиданно присвистнул, совсем по-мальчишески.

Матя смотрел на город — кое-где поднимались струйки дыма и горели костры, но это продлится недолго — в домах было мало древесины. Пылал ангар — горел самолет, и густой черный дым поднимался дальше.

Атомное облако превратилось в тучу, которая низко висела над полигоном.

Ежов опустил бинокль.

— Все-таки глазам больно, — сказал он. Затем он обернулся к Алмазову и Мате. — Ну что ж, славно мы рванули, — сказал он, широко улыбаясь. И Матя понял, что и до Ежова уже дошло осознание величия того, что они видели.

— Сколько, интересно, фугасных бомб рвануло? — спросил Ежов.

— Это мы попытаемся подсчитать, — сказал Шавло.

— Почему такая неуверенность, товарищ Шавло?

— Потому что часть приборов вышла из строя — взрыв оказался даже сильнее, чем мы рассчитывали.

— Не меньше тысячи бомб, — сказал Алмазов.

— Ну тогда пойдем, посмотрим, — сказал Ежов. Он уже был бодр и почти весел.

— Вы хотите туда? — Этого Шавло не ожидал.

— Разумеется. Надо же посмотреть, какие же мы с тобой изобретатели, если сами не посмотрим, чего натворили.

— Там может быть опасно, — сказал Матя и поглядел на Алмазова.

— Только попрошу без этих интеллигентских штучек, — начал сердиться нарком. — Что там такого угрожающего? Пожара испугался?

— Там могут быть опасные излучения.

— Могут или есть?

— Вернее всего, есть.

— Какие? Насколько опасны?

— Мы еще не точно знаем. Но излучения были замечены при опытах.

— Эх, дурак ты, дурак, — рассмеялся Ежов. Матя заметил, что нарком перешел с ним на «ты» именно с момента взрыва. И совсем не ясно, хорошо это или никуда не годится?

— И все же я на вашем месте, товарищ нарком... — начал Алмазов, который, как кошка, чуял беду.

Но тут, как назло, возвратился Вревский.

Он пронес свое кряжистое крепкое тело сквозь дверь надстройки. Он широко ухмылялся, и по скулам ходили каменные желваки, как на кинопортрете революционера.

— Товарищ нарком! — воскликнул он и сделал решительный широкий шаг в сторону. За ним образовался капитан госбезопасности с подносом, уставленным граненными стаканами с водкой. — Прибыло лекарство от всех болезней — по рюмочке во славу советской науки и победы над мировым империализмом!

Вревский кривлялся, но знал меру — он хотел угодить в нужный момент.

А Ежов, который склонялся было к осторожности, при виде стаканов воспылал духом.

— Вот и правильно. — Он потер ручки и зацокал высокими каблуками, приближаясь к подносу. — Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...

— Преодолеть пространство и простор! — громко подпел Вревский.

Ежов, как бы танцуя, подошел к капитану, взял стакан с подноса, ни на кого не глядя, в несколько судорожных глотков выпил его, поставил аккуратно на поднос, понюхал свой рукав и только после этого приказал:

— Ребятня, разбирай бокалы!

Все послушно приблизились к подносу, который лежал, не шелохнувшись, на ладонях у капитана. На этот раз Ежов пил медленнее, цедил, потом упрекнул Вревского, что тот забыл о закуске.

Стакан, выпитый сразу после взрыва, оглушил Матю. И остальных тоже.

И сразу их действия приняли иной характер.

Ежов, выхватив поднос у капитана, потащил его, пошатываясь, к прекратившим снимать фотографам и кинооператору, те тоже выпили, Ежов кинул поднос с крыши. Тот отдаленно зазвенел.

— А теперь ты не боишься, товарищ Шавло? — спросил Ежов, глядя на Матю совершенно трезвыми голубыми безумными глазами.

— Так точно, товарищ нарком, — ответил Матя. — Такое бывает раз в жизни.

Его вело, в голове стало пусто и гулко.

Они спустились вереницей на первый этаж.

От стены отделился сержант в темных очках.

— Сними очки, не позорь чекистов! — прикрикнул на него Ежов.

Сержант снял очки и первым вышел наружу.

Там стоял «ЗИС» наркома.

Сержант сел за руль, остальная компания, обалдевшая от психического шока и сокрушенная водкой, залезла в машину.

Ехать было недалеко. Через три километра пришлось остановиться — дальше дорога была перепахана взрывом.

Вылезли.

— Где выпить? — спросил Ежов.

Вревский сказал сержанту:

— Быстро — до института — взять водку, стаканы и через минуту обратно.

Машина развернулась, и тут, когда они остались одни, Матя ощутил страх — машина как-то ограждала их от неизвестности — от черных зубцов и груд кирпича...

— А мы пока пойдем, — сказал Ежов. — Фотографы идут?

— Через пять минут будут, — сказал Матя. — Они же пешком.

— Правильно, — согласился Ежов.

Ему было интересно, даже забыл о боли в глазах.

— Смотри, перепахало как!

От центра полигона вдоль дороги, разбегаясь, шли прямые борозды, Матя не знал, отчего они возникли. Одна из борозд пересекла дорогу, и пришлось остановиться. Матя был рад, что дальше они не поедут. Он был не настолько пьян, чтобы презреть опасность.

Над тундрой выл ветер, правда, не ледяной, а как будто лишенный теплоты либо холода. Туча, все еще ненормальная цветом, нависала над ними, и начался редкий дождик. Матя поду-

мал, как он хорошо сделал, что не забыл надеть ушанку. Он засунул руки в карманы.

— Пошли! — весело приказал Ежов.

— Зачем? — вырвалось у Мати.

— Так отсюда ничего не видно! Что мы, под дождиком плясать пришли, мать твою! Пошли, пошли...

Ежов почти игриво потащил за рукав высокого Матю, и тому ничего не оставалось, как идти к убитому городу. Алмазов шел сзади и вроде бы тоже чувствовал себя не в своей тарелке.

Дорога вскоре исчезла — она была перепахана рытвинами и бороздами, вызванными пертурбациями воздуха, смерчами, а также глыбами земли, отброшенными далеко от центра взрыва. Ежов замедлил шаги и наконец остановился у груды кирпича, в которой Матя с трудом узнал стоявшую здесь только что трансформаторную будку, — и то лишь увидев обрывки проводов и раскиданные по земле части самих трансформаторов.

— Ну где же они? — сказал Ежов. — Так и замерзнуть можно.

Вроде бы он протрезвел на холоде, но ему не хотелось оставаться трезвым. Матя лихорадочно, как на экзамене под взором профессора, старался придумать предлог, чтобы не идти в город. Он готов был влить в наркома ведро водки, он готов был и сам напиться и упасть — только бы возвратиться в безопасность института.

Сзади донеслось урчание «эмки», которая, подпрыгивая, лезла через борозды и ямы. Но и ей пришлось остановиться шагах в двадцати. Пока дверца открывалась, Матя направился было к машине — все прочь от города, но Ежов остановил его:

— Ты куда? Принесут.

И на самом деле принесли. Сержант разливал по стаканам, капитан держал поднос.

Выпили все, снова без закуски. Ежов велел выпить и сержанту с капитаном. И велел дальше идти вместе. Мате было уже все равно — секретность или не секретность. Какое ему дело — он свое взорвал! Теперь надо идти домой и спать.

— Спать хочется, — сообщил он Ежову. Голос плохо слушался его.

— Отоспишься на том свете, — сказал Ежов трезво и зло. — А если сомневаешься, я тебе помогу.

Сколько он выпил? Во мне уже два стакана. А в нем — три. И держится. А меня ведет, голова живет отдельно, и мысли из нее вываливаются через дырявую шею.

— Пошли, — сказал Ежов. — Наш долг обследовать. Где фотографы?

Те как раз подошли. Они запыхались, они были взволнованны, глаза блестели от возбуждения и водки. Матя встретил взгляд Хазина, тот боялся идти, он знал о радиации.

Дальше шли, растянувшись в цепочку. Первым шагал маленький Ежов — шуба его была распахнута, фуражка намокла и потемнела от дождя, лицо блестело от воды и пота.

— Нам нет преград! — пел он «Марш энтузиастов». — Ни в море, ни на суше! Нам не страшны ни льды, ни облака...

Он погрозил пальцем нависшему облаку, и Матя сжался, потому что ощутил, как это облако вываливает на землю запас радиоактивных отходов взрыва.

Они вышли на полигон со стороны догоравшего ангара, из которого торчал потемневший нос бомбардировщика.

Ежов пошел вокруг, не боясь огня. Он был смел пьяной отвагой. Все расхрабрились, всем было море по колено, только Матя все более сжимался от страха.

Далее они вышли на площадку, где рядами лежали полуобгоревшие трупы, и ряды их были столь правильны, что Ежов поразился зрелищу и крикнул:

— Это что? Это кто расстреливал?

Алмазов нашелся первым.

— Товарищ нарком, это чучела. Деревянные чучела. Мы испытывали силу ударной волны.

Теперь уже всем стало ясно, что лежат и в самом деле чучела с обгоревшими головами.

—А я уж испугался, — сказал Ежов и мелодично рассмеялся. — Помянем Буратино?

Помянули Буратино. Сержант с капитаном несли стаканы, поднос и мешок с бутылками.

Ежов хотел повернуть к башне, теперь исчезнувшей, к центру взрыва, до нее оставалось метров триста. И Матя понял, что дальше он не пойдет. Хоть убейте — но не пойдет.

— Хватит! — крикнул он спешившему вперед наркому. — Дальше опасно!

— А иди ты! — отмахнулся Ежов.

— В самом деле опасно! — кричал Матя. — Я прошу вас, пожалуйста, не ходите!

Алмазов остановился. Он понимал. Он не знал пределов и масштабов опасности, но понимал, что Матя ее не выдумывает.

Остановился и Ежов. Но момент сомнения в нем был краток. Он закричал весело:

— Капитан, расстреляйте этого паникера!

Капитан ГБ, к которому относился этот приказ, продолжал держать поднос со стаканами, но сержант, до которого смысл приказа дошел быстрее, принял поднос из рук капитана и отступил назад, чтобы не мешать тому расстрелять паникера.

Капитан расстегнул кобуру, он не спешил, и Матя успел смертельно испугаться. Алмазов шагнул к нему, будто прикрывая от опасности.

— Ну ладно, — сказал Ежов, — пошли дальше, чего уставились.

Он не успел сделать и пяти шагов, как остановился. На этот раз над трупом женщины. Женщина лежала лицом вниз, одежда на ней частично сгорела, и тело было красным от ожога.

— Тоже манекен? — спросил Ежов.

— Здесь были осужденные, — тихо напомнил Алмазов.

— Если и были — убрать!

Может, это Альбина, тупо подумал Матя. У него не было никаких оснований подозревать это, но он все равно испугался настолько, что ему стало дурно. Он даже не мог сказать, какого цвета были волосы женщины, они сгорели.

Матя оперся обеими ладонями об остаток кирпичной стены, и его начало рвать — как никогда в жизни не рвало, — весь ужас перед городом, перед бомбой, перед Ежовым соединился в этих спазмах.

Он слышал в промежутках между спазмами, как что-то кричал и смеялся Ежов, другие голоса, но слышал плохо — в ушах звенело, а когда он наконец смог открыть глаза, остальные уже ушли вперед, оставили его в начале улицы, возле обгоревшего женского трупа.

Как только Матя смог, он побрел прочь от башни. Ему казалось, что он бежит, на самом деле он часто, но мелко передвигал ноги, как совсем старый старик. Он спешил убежать от смертельных развалин.

Он пробежал мимо пустых машин и потом перешел на шаг — сил не было бежать. Надо было укрыться в институте, а потом все равно, только спрятаться...

И все дальнейшие события путешествия наркома НКВД товарища Ежова по местам взрыва ядерного устройства он узнал лишь на следующий день от Алмазова, который был вынужден пройти рядом с наркомом большую часть пути. Но радиационную опасность они с Матей не обсуждали.

Сначала Ежов и его спутники прошли улицу развалин, оказались на площади перед бывшей ратушей — от нее оста-

лась груда камня, а у кирхи только снесло колокольню и крышу. Они заходили внутрь кирхи. Там заметили какое-то движение. Думали, что человек, стали стрелять, но оказалась собака, ее убили. Впрочем, больше живых существ в городке не видели. Ближе к вышке даже земля спеклась, как будто керамическая посуда. Она звенела под ногами, и кирпичи стали стеклянными. Даже руин зданий там не осталось — лишь спекшиеся и оплывшие обломки кирпичей. Даже танки, стоявшие рядом с вышкой, оплыли, как кисельные... А на месте вышки была воронка — неглубокая и уже наполнившаяся водой.

И это место было настолько страшным и окончательно мертвым, что даже Ежова проняло. Народный комиссар первым пошел прочь, он уже не пел и отказался от стакана водки, предложенного верным капитаном.

Он не спросил, где Шавло, — словно забыл о нем.

Потом случился печальный казус — обвалилась стена, стоявшая посреди города, и погребла под собой вставшего слишком близко фотографа Хазина. Его сразу вытащили, чтобы не потерять отснятые пленки, но Хазин был мертв.

Рассказывая о возвращении из города, Алмазов не упомянул — то ли забыл, то ли не счел нужным — о последних словах Ежова, сказанных уже в машине.

— Ну как? — спросил тот. — Сможем мы порадовать хозяина?

— Если не подвели оператор и фотограф, — сказал Алмазов.

— Ты этим займешься.

— Постараюсь.

— Должен понять, кого он теряет, — сказал Ежов сонно. И тут же заснул. И так крепко, что сержанту пришлось на руках отнести его в штабной вагон.

Алмазов понял, что Ежов все время думал об угрозе Берии — и напился он не столько от радости свершения, как от неуверенности, спасет ли его эта бомба от расправы хозяина.

А Матя отошел часа через два — тоже отоспавшись в своем институтском кабинете на черном коленкоровом диване.

— Что-то голова болит, — сказал Алмазов в конце разговора, перешедшего на деловые рельсы. Ведь институт продолжал жить, хоть и был взбудоражен взрывом — как ни старались, скрыть его от заключенных и вольных ученых было невозможно. Многие видели атомный гриб и уж обязательно слышали голос бомбы. А со следующего дня на полигон вывезли группы контроля и специалистов — прочнистов, медиков, физиков, ору-

жейников... И было приказано принять меры по защите от радиации — они шли в ватных масках, а то и противогазах, в плотной одежде.

Нарком Ежов уехал в тот же день, не попрощавшись с Шавло. И велел передать, чтобы Шавло был готов к вызову в Москву. А в ближайшие дни Шавло пришлось беседовать со своими коллегами — он не мог более держать их в неведении, раз уж владел только секретом Полишинеля.

Совещания оказались бурными — Матя даже не ожидал такой реакции коллег. Правда, он и не ждал поздравлений и шумной радости — даже после обещания Алмазова выпустить в ближайшее время всех теоретиков. Никто не поверил этому обещанию. Как сказал Скобельцын, любые бандиты обязательно заметают следы — живые свидетели не нужны.

— Нет, — говорил Шавло, стараясь казаться откровенным. — Наступило наше время. Мы с вами выпустили джинна из бутылки, и только мы можем его укротить.

Мало кто поверил Шавло — он был давно и слишком многими нелюбим.

На удивление мало в институте оказалось и настоящих патриотов, проникшихся гордостью за успех социалистической страны. Они, конечно, были, но в их искренности можно было сомневаться. И еще меньше оказалось поверивших в тезис Мати о миротворческой функции атомной бомбы.

— Для этого ты должен отвезти все расчеты в Европу или в Америку. Если я тебе пригожусь для этого, я готов в любой момент, выдай только буханку хлеба и новые сапоги, — мрачно пошутил Капица. Шутка была опасной даже здесь, в комнате, где сидело полтора десятка физиков.

— К сожалению, — откликнулся Александров, — теперь у Сталина есть по крайней мере два-три года форы, прежде чем весь мир сообразит, что без бомбы не проживешь. А за это время он сможет такого наворотить... — Александров присвистнул, все смотрели на Матю, и, как ему показалось, с ненавистью. Он ушел, хлопнув дверью, потому что решил, что они ему просто завидуют. И это всегда было и будет. Правда, в одном он был с ними согласен — теперь, после первого успеха, их шансы выйти отсюда живыми сильно уменьшились.

Матя ждал головной боли, тошноты — он знал о некоторых симптомах радиационного облучения, но пока бог миловал. Алмазов жаловался на мигрень, но Матя успокаивал его — вернее всего, Ян переутомился. Ян не сказал Мате, что у него начали

выпадать волосы, он даже поначалу не связал это со взрывом, а врач в госпитале сказал, что это нервное.

На двенадцатый день пришла наконец шифровка из Москвы — отбыть самолетом для отчета на Политбюро. Вызывали Матю и Алмазова. Последнему приказано было забрать все проявленные пленки, фотографии и образцы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Апрель 1939 года

Сидеть и мерзнуть в подвале не было сил. Но и выходить днем было слишком опасно. Хоть и шел дождь, было сумрачно и пасмурно, все равно их заметят, как только они выйдут в тундру. С другой стороны, с каждым часом, с каждой минутой растет опасность того, что на полигон приедут всякого рода специалисты и начнут подводить итоги.

Когда еще через час Андрей выглянул из подвала, он увидел, что дождь усилился и смешан со снегом.

Он подумал, какие сейчас придумывают предлоги эти специалисты и охранники, которым надо вернуться на полигон, отыскать и опознать трупы, измерить разрушения, только чтобы не вылезать в эту страшную непогоду.

Но дальнейшее зависело, разумеется, от того, насколько начальство убеждено, что надо спешить и начинать работы сразу.

Поставив себя на место начальства, которое все равно останется под крышей, в тепле и уюте, при стакане водки, Андрей решил, что он бы уж наверняка погнал подвластных ему мыслителей и воинов разбираться с тем, что они натворили. О чем и сообщил, спустившись в подвал, Альбине.

— А слон? — спросила Альбина.

— Что вы имеете в виду?

— А слона тоже убили?

— Боюсь, что убили, — сказал Андрей и понял, что ему жалко профессора Семирадского куда больше, чем несчастного слона.

— Давайте пойдем отсюда, — сказала Альбина. — Мне тоже невмоготу здесь больше сидеть, как будто ждать, когда придут и тебя свяжут. И к тому же здесь очень вредный воздух. Я это чувствую, я очень интуитивная — каждая минута здесь очень опасна для жизни.

— Тогда пошли, — с облегчением согласился Андрей. Лю-

бое движение было выходом. — И пускай погода будет отвратительной. Чем гаже, тем нам лучше.

Альбина направилась было к лестнице, но Андрей заставил ее надеть ватник Айно — Альбина отказывалась, на ватнике была кровь, но Андрей сказал, что в ином случае он с ней никуда не пойдет, — она обязательно замерзнет ночью в тундре.

— И если вы намерены мстить за Айно, — продолжал Андрей, — то для этого нужно как минимум остаться в живых.

Он держал ватник, как держат манто, помогая даме надеть его. И Альбина повернулась к Андрею спиной и надела ватник, как манто, — он был ей велик, чуть ли не до колен, Андрей помог завернуть рукава — некрасиво, но надежно.

— Он тяжелый, — пожаловалась Альбина.

— Потерпите, — сказал Андрей. Сам он позаимствовал у покойника ушанку — своя была совсем драной и без уха.

Поднявшись из подвала и выйдя к выходу из кирхи, они остановились, не в силах сделать следующий шаг — так яростен был напор мокрого снега. Они простояли несколько минут, прижимаясь к стене под козырьком, оставшимся от крыши кирхи, пережидая это бешенство стихий, и, когда снег чуть приутих и сменился снова дождем, они услышали в отдалении сквозь стук дождя и негромкий унылый вой ветра шум тракторного или танкового мотора. Андрей был прав — кто-то направляется сюда, несмотря на безумство стихий.

Этот звук заставил их решиться.

— Нам налево, — сказала Альбина, — практически на север, вы умеете идти по звездам?

— Вы обещаете мне звезды этой ночью?

— Не знаю, — сказала Альбина тихо, словно отвечала на экзамене и не могла решить задачу.

— Лучше бы, чтобы их не было, — сказал Андрей, — звезды означают мороз. А нам он не нужен.

— Но снег нам тоже не нужен. Мы заблудимся и умрем, — сказала Альбина.

— Вы можете вернуться в зону, — сказал Андрей.

— Вы же знаете, что я этого не сделаю.

Они пошли налево, и дождь бил в спину — сразу стало холодно, они промокли, но всё же это было лучше, чем идти против ветра. Под ногами была жижа из снега с водой и грязью, к тому же улица превратилась в полосу препятствий и по сторонам торчали обломанные зубы первых этажей. Самих домов не существовало. Они превратились в кирпичные завалы. Навер-

ное, можно было бы вернуться и поискать другой путь, но Андрей опасался, что к площади уже выехали тракторы, потому упорно тащил несчастную Альбину через завалы, зная, что сама-то улица коротка, — завалы должны кончиться через пятьдесят метров.

Но когда он решил, что они уже преодолели самые сыпучие и крутые завалы, их ждало препятствие, неожиданное и особенно скорбное: перегородив проход грудой обожженного и даже пахнущего жареным мяса, лежал слон, — видно, боль от ожога или ран, полученных при взрыве, была столь велика, что заставила его подняться и побежать прочь.

Альбина начала плакать — Андрей знал, что она плачет, по ее всхлипам, но слез не было видно — Альбина уже промокла, и поля ее старенькой шляпки обвисли, как у старой поганки.

Пришлось влезть внутрь бывшего дома, чтобы обогнуть тушу, но тут Андрей увидел торчащую из-под кирпичей почти черную руку с растопыренными пальцами — там погиб невольный обитатель дома. Андрей резко потащил Альбину еще дальше в сторону, чтобы она не заметила этой руки.

Внезапно они оказались на пустом открытом пространстве — если здесь и были какие-то строения, то их смело взрывной волной. По ровному и мокрому полю сильный ветер катил камешки и какие-то тряпки. Впереди лежал труп — Андрей хотел обойти его, но Альбина смело направилась к нему, и только тогда Андрей понял, что это почему-то оставшееся целым, принесенное сюда взрывом чучело с лицом Гитлера. По странному совпадению он сам раскрашивал его за день до взрыва.

— Я думаю, — сказала Альбина, — что вам лучше снять с него шинель. Вам будет теплее.

— Нет, — ответил Андрей. — Я не хочу. Это не брезгливость — она насквозь промокла, и мне будет тяжело идти.

Альбина не стала спорить, и они пошли дальше. Тут они снова услышали треск мотора — по направлению к ним ехала танкетка.

Им пришлось спрятаться за пустым и обгоревшим танком — в своем путешествии они приблизились к центру взрыва — к парашютной вышке, от которой остались лишь оплавленные устои — как оплывшие металлические пальцы...

Неподалеку шел человек. Он был одет как зэк, но не был зэком, потому что к его груди на ремнях была прикреплена металлическая шкатулка, которую этот человек, присев на корточки, как раз открыл и положил оплавленный кусочек металла, по-

добранный из грязи. Человек тоже услышал треск мотора танкетки, выпрямился, огляделся в поисках убежища и быстро побежал к обгоревшему танку, за которым прятались Андрей и Альбина.

Увидев их, он сразу сообразил, что они такие же, как и он, беглецы, и потому сказал:

— Привет товарищам по несчастью! — И приложил палец к губам, призывая к молчанию.

Грохот мотора приближался — танкетка медленно ехала по пустырю, верхний люк был открыт, в нем стоял танкист в каске и шлеме. Танкетка миновала их укрытие и повернула в сторону бывшего зоопарка.

Лицо неизвестного зэка — а Андрей был убежден, что не видел его при заселении города и не встречал раньше на строительстве, — было измазано грязью, словно он по уши угодил в лужу, и Андрей рассудил, что тот измазал себя нарочно, для камуфляжа.

Затем опытный взгляд Андрея определил, что ватник, хоть и обыкновенный на вид, слишком нов и чем-то в пошиве отличается от обычного. Возможно, аккуратностью пошива. На ногах у зэка были хорошие непромокаемые сапоги.

— Давайте знакомиться, — сказал зэк, придерживая левой рукой на груди металлический ящик, — Иван Васильев, ссыльный, почти вольный, и можно сказать — случайный прохожий.

Правый карман ватника оттопыривался, и Андрей был почти убежден, что там у зэка пистолет.

Переодетый чекист? Но какого черта им нужно переодеваться в своем доме? Скорее, все же не зэк и не ссыльный — но ряженый.

— Не надо меня так разглядывать, — сказал зэк, — от этого я не стану ни хуже и ни лучше. Какой есть, такой есть.

— А кто вы на самом деле? — спросила Альбина.

— Почему вас это волнует? Вы боитесь, что я возвращу вас на место обязательного пребывания?

Голос зэка был знаком, словно когда-то в юности, в давнем прошлом он его встречал, не был близок, но встречал. Значит, прошло двадцать лет? И фамилия Васильев, хоть и вполне обыкновенная и носимая многими тысячами людей, сочеталась именно с этим голосом и с этим веселым и ненадежным взглядом жуира и авантюриста...

Васильев тоже присматривался к Андрею, будто старался что-то вспомнить. Хотя и Андрея после пяти лет лагерей вряд ли узнала бы собственная жена.

— В сущности, я тут все дела закончил, — сказал Васильев. — И собираюсь домой. А вы?

Он уже был убежден, что видит беглецов из здешних лагерей или даже из самого Полярного института, которые воспользовались взрывом, чтобы удрать в тундру, откуда они живыми не выберутся. Но они еще могут сослужить свою последнюю службу Третьему рейху.

— Мы тоже уходим, — сказал Андрей. Что-то связанное с этим Васильевым было ему неприятно. Он пожилой, ему за пятьдесят. Значит, в гражданскую было тридцать?

— Может быть, пойдем вместе? У вас есть цель?

Андрей взглянул на Альбину. Он медлил с ответом. Встреча с этим Васильевым могла быть спасением, а могла, и более вероятно, оказаться ловушкой.

— У нас есть цель, — сказала Альбина.

— И наверное, со мной не по дороге.

— Наверное, не по дороге.

— Хотя несчастные всегда должны тянуться друг к другу. Вместе мы сильнее любой танкетки, — и Васильев махнул рукой в сторону бывшего города. — Кстати, как этот город назывался?

— Берлин, — сказал, не задумываясь, Андрей.

— Как трогательно! — обрадовался почему-то Васильев.

Левая рука Васильева лежала пальцами на ящичке, пересекая грудь, и именно это заставило Андрея вспомнить военлета Васильева, которого он знал во время той войны. К счастью, не очень близко. И стоило вспомнить, кто этот авиатор, как остальные, связанные с ним воспоминания сложились в непрерывную цепочку.

— Вы были в Трапезунде в семнадцатом году? — спросил Андрей.

— Теперь я тебя вспомнил, юный археолог, — сказал Васильев, — и видно, я старею, и меня пора пустить на мыло — нельзя забывать старых знакомых.

Что бы ни было в прошлом, но сейчас старое знакомство сразу устранило барьер отчужденности, хотя на самом деле для этого не было оснований, — Васильев, даже воскресший в памяти, мог оказаться, к примеру, агентом НКВД или бандитом...

— Так вот, милая барышня, — сказал Васильев, — мы с вашим спутником старые приятели, и это дает мне основание как старшему товарищу задать вам прямой вопрос — а ваша воля отвечать или нет: куда и откуда вы бежите?

— Мы бежим вон туда, — просто ответила Альбина. — Я знаю, где есть брошенные бараки, в которых можно пока спрятаться.

— И помереть от голода и холода?

— У нас есть немного картошки и бурака, — сказала Альбина. — Мы будем ловить рыбу, а потом пойдем дальше. Ведь надо попробовать. Правда?

И вопрос был таким откровенным и детским, что Васильев неожиданно для самого себя был растроган голосом и словами этой несчастной блеклой худенькой женщины в громоздком рваном ватнике поверх вытертой до корней меха шубки и в шляпке, поля которой обвисли от воды, словно щупальца у черноморской медузы.

— Разговор окончен, — сказал тогда Васильев. — Вы идете со мной. И вам придется мне довериться. Я обещаю вам еду и ночевку, я постараюсь, но не обещаю, что смогу помочь вам выбраться отсюда. Правда, не бесплатно. Но я полагаю, что самое глупое в нашем положении вести беседы под дождем в ожидании, когда сюда явится оцепление, чтобы заняться вынюхиванием и выслеживанием. Большевики делали этот фейерверк не для развлечения, а потому, что им хочется убивать людей. Пошли.

И Васильев пошел от танка в тундру, к неглубокому распадку, где тек весенний ручей, вздувшийся от дождя, — склоны распадка могли скрыть их от взгляда со стороны.

Начало темнеть, но сумерки обещали быть длинными, дождь постепенно вылился весь, и стало холоднее — к тому же все они промокли насквозь. Васильев шел впереди и часто поправлял ремень, на котором висел металлический ящик. Ему было тяжело.

За Васильевым шла Альбина, Андрей замыкал шествие. Они почти не разговаривали. Говорить было трудно, каждое слово отнимало кусочек тепла и сил. Порой приходилось заходить в ручей, чтобы перебраться на другой берег, — ручей вилял по долинке. Но все равно, как объяснил Васильев, так идти лучше, чем выше, по открытому месту. Здесь, по крайней мере, твердая земля, песок и камни.

Когда совсем стемнело, зажглись звезды.

Стало подмораживать. Васильев объявил привал. Он устал. Андрей сказал:

— Если вам тяжело, я могу понести дальше.

— Я буду тебе признателен.

Васильева бил озноб — хорошо еще, что ноги у него не промокли, как у остальных. Что делать? Конечно, их можно допросить и бросить в бараке у берега озерка, даже оставить им консервов. Но оставался вариант, в преимуществе которого надо было еще убедить как самих беглецов, так и Юргена с Карлом, — лететь вместе в Берлин. «Ханна» наверняка поднимет такой груз — она уже истратила достаточно бензина.

Так ничего и не решив, он отложил решение до места — нет пользы ломать себе голову заранее. Главное — дотащиться до самолета. Андрей тянул свинцовый ящик из последних сил, но Васильеву не хотелось забирать его обратно — будем считать, что это часть платы Андрея Берестова — вот и фамилия вспомнилась, — часть платы за спасение. Андрей наверняка обдумывает возможность напасть на благодетеля, он боится, что я приведу его на стоянку НКВД или в логово бандитов-уголовников. Поэтому чем сильнее он устанет, тем мне лучше. Женщина шла молча и не жаловалась. Они терпеливые — эти маленькие женщины.

Через четыре с половиной часа изнурительной ходьбы они вышли к длинному озеру, у берега которого стоял белый гидроплан, отлично видимый на черной воде при свете половинчатой луны.

Андрей остановился.

— Что это такое? — спросил он.

— Это самолет, — сказал Васильев, будто говорил с идиотом. — Он называется «Ханна», и я на нем прилетел.

Появление Васильева с соотечественниками было воспринято его спутниками по-разному. Юрген был категорически против того, чтобы они даже приблизились к самолету, — они показались ему типичными славянами, грязными, подозрительными, злобными и способными одним своим присутствием загубить и «Ханну», и секретную миссию. Высказав свою точку зрения, он покинул остальных и уплыл на надувной лодке к «Ханне».

Андрей и Альбина слишком устали, чтобы понимать, о чем спор, Васильев, который устал не меньше их, был взбешен ограниченностью подполковника и крикнул вслед Юргену, что тот может улетать на своей идиотской «Ханне», но пускай сам отчитывается перед Герингом о провале миссии.

Карл Фишер, не удержавшийся от того, чтобы при свете магниевой вспышки не сфотографировать неожиданных гостей, волей судьбы должен был разрешить спор. Но для него никаких

сомнений не существовало — узники погибшего городка были счастливейшей находкой, куда более ценной, чем все фотографии, вместе взятые. Одно дело отправиться в Африку на поиски белого носорога и привезти оттуда его фотографию, сделанную с бреющего полета, другое — явиться с детенышем редчайшего животного. Так что Фишер, поблескивая очками и широко, добродушно улыбаясь, пожал руки зэкам, как гостеприимный хозяин, и спросил, знают ли они немецкий язык? Альбина, запинаясь, ответила, что учила, Андрей отрицательно покачал головой.

— Тогда переведите господам русским, которые, как я понял, бегут из зоны катастрофы, что мы можем оказать им помощь и вытащим их из этой «ловушка». — Последнее слово он произнес по-русски, и Васильев понял, что Фишер знает русский, но не хочет, чтобы упрямый молодой пилот его понимал.

Андрей неожиданно спросил:

— Значит, это немецкий самолет?

— Фашистский самолет? — вторила ему Альбина. Альбина была детищем Советской страны, и для нее слово «фашистский» было страшным и враждебным. Андрей же, когда понял, что его не разыгрывают, ощутил невольное облегчение, потому что в ином случае — окажись Васильев, допустим, агентом советской военной разведки или контролером ЦК ВКП(б) — ну мало ли кем он мог оказаться! — они с Альбиной были обречены либо возвратиться в зону, откуда их ни за что не выпустят живыми, либо пройти мясорубку допросов в какой-то иной советской организации, никак не более гуманной, чем НКВД.

— И вы— шпионы, — сказал Андрей утвердительно.

— Можешь называть нас именно так, можешь даже махать красным галстуком и вызывать отважных пограничников, чтобы нас задержали и предали справедливому суду. Только неизвестно, где тогда окажешься ты, — ответил Васильев.

Альбина робко потянула Андрея за рукав — обратно, в тундру...

— Погоди, — сказал Андрей. — Вы получили сведения о Полярном институте и испытаниях?

— Разумеется, — сказал Васильев, — на то и существует разведка.

Юрген смотрел на них, приблизив лицо к плексигласу кабины. Лицо угадывалось неподвижным белым овалом.

— Не обращайте на Юргена внимания, — сказал Карл Фишер Васильеву. — Это зазнавшийся юноша, напичканный предрассудками, которыми столь богата любая тоталитарная система.

Васильев приподнял бровь. Таких слов он не ожидал от скромного фотографа.

— Не бойтесь, если я говорю нечто выходящее за пределы дозволенного, значит, я отношусь к тем, кто определяет эти границы, — сказал Фишер. — Надеюсь, когда придет время выбирать между смертью в ледяной пустыне и относительным комфортом берлинских учреждений, ваши соотечественники разумно выберут второе.

С этими словами Фишер отошел в сторону, ободрив Васильева, павшего было духом от мысли, что придется бросить этих несчастных людей здесь. Теперь Васильев убедился, что настоящим руководителем миссии является не молодой ас, а именно Фишер, что было куда разумнее с точки зрения германской разведки.

Андрей с Альбиной смотрели вслед Фишеру — они также почувствовали власть в его мягком тоне и сдержанных движениях.

— Мы улетаем через несколько минут, — сказал Васильев. — Иначе нас могут засечь русские истребители, и мы никуда не прилетим. Нас должна скрыть утренняя мгла — к восходу солнца «Ханна» будет уже над морем. Решайте.

Васильев увидел, как Фишер, подойдя к кромке воды, окликнул Юргена, который не сразу высунулся, отодвинув боковую створку пилотской кабины. Васильев не разобрал, что там объяснял фотограф пилоту, потому что слушал, как Андрей говорил Альбине:

— Альбина, я не могу вас здесь бросить одну, на верную смерть. Но если вы не полетите с нами, то я останусь и погибну тоже.

— Но как можно улететь! — произнесла Альбина. — Это же измена Родине.

— К сожалению, наша Родина держит нас здесь, потому что считает нас изменниками, и еще сегодня утром сделала почти удачную попытку отправить нас на тот свет без суда и следствия.

— Это не Родина! — закричала Альбина. — Это Алмазов! Ты же знаешь, что это Алмазов!

— Алмазов такая же пешка, как любой охранник, — в любой момент его могут сковырнуть. И придет другой такой же Алмазов.

— Но что тогда все это означает? Что с нами происходит?

Это был вопрос, который она, видно, задавала множество раз, — но только себе, боясь любого собеседника.

— То, что наша страна сошла с ума, — сказал Андрей.

Было жутко холодно, одежда так и не просохла, дул холодный ветер, и звезды были еле видны на голубеющем небе — их постепенно затягивало тонкими полупрозрачными облаками.

Альбину била дрожь.

— В бараке вы не согреетесь, — сказал Андрей. — Мы умрем.

— Я знаю. Так, наверное, лучше.

— Но я остаюсь с вами.

— Ни в коем случае! Вы улетайте!

— Вы моя жена!

— Не смейте так говорить!

— Жена военного времени.

— Не смейтесь.

— Альбина, — Андрей обратился к последнему аргументу. — Только недавно, когда погиб Айно, вы сказали мне, что должны остаться жить, чтобы отомстить Алмазову. Если мы замерзнем в этом бараке, кто будет мстить?

— Я думала мстить здесь, а не там.

— Откуда вы знаете, в каком случае ваша месть будет более успешной?

Альбина подняла голубые —то ли от лунного света, то ли от холода — руки и сжала виски — она была близка к истерике.

Карл Фишер придерживал лодку у берега, Васильев медленно подошел к лодке и передал туда свинцовый ящик. Карл Фишер поставил его в лодку. Потом они посмотрели на Андрея и Альбину.

Андрей протянул Альбине руку, и они пошли к лодке. Альбина вяло сопротивлялась, как бы отдавая дань долгу сопротивляться. Они дошли до лодки и сели в нее. Васильев оттолкнулся от берега, Фишер ловко действовал байдарочным веслом, чтобы подогнать лодку к низко нависшему над водой брюху гидроплана.

Фишер поднялся в фюзеляж первым и что-то резко сказал Юргену.

Тот возразил. Фишер прошел к пилотской кабине, и до Васильева донесся обрывок сказанной им фразы:

— Как только мы выйдем из зоны опасности, вы дадите радиограмму в Берлин. Я разрешаю вам дать ее открытым текстом. В ответе вам подтвердят мои полномочия — в ином случае можете меня расстрелять.

— Я отвечаю за полет, — упорствовал Юрген.

— Вы отвечаете за то, чтобы самолет долетел до места, а все

остальное поручено мне. Я надеялся, что не будет нужды в том, чтобы открываться вам, — все шло по плану, но теперь такая необходимость возникла. И я попрошу, чтобы вы не допускали ни единого выпада или оскорбительного слова против несчастных русских.

— Я буду молчать, — сказал Юрген голосом обиженного школьника.

Остальные уже поднялись в тесную кабину гидроплана, и мужчины втаскивали резиновую лодку. Васильев понял, что Альбина слышала разговор Фишера и Юргена и, возможно, поняла его.

— А вы живете в Германии? — спросила Альбина, заметив, что Васильев наблюдает за ней.

— Давно, — сказал Васильев.

— А Андрей знал вас раньше?

— Немного знал, — сказал Андрей.

Васильев задраил дверь, и пассажиры разместились в ногах Фишера, прижавшись к трубам с горячим воздухом, которые вели от моторов для обогрева и были забраны в решетки, чтобы не обжечься. Они тесно сжались в клубок. Юрген развернул машину, включив на малые обороты один из моторов. Васильев стоял за спиной пилотского кресла, все делали вид, что никакого конфликта не произошло.

Прежде чем самолет начал разбег и заревели, заглушая любой разговор, моторы, Васильев сказал, склонившись к уху Андрея:

— Я думал, что, если она откажется, я заставлю тебя лететь с нами под дулом пистолета.

— Во-первых, не знаю, что бы из этого вышло, — ответил Андрей, — а во-вторых, я почти не сомневался, что смогу ее убедить. Мы теряли все, оставаясь там.

— Вот видишь!

— Не исключено, что мы потеряли все, полетев с вами.

— Исключено! — улыбнулся Васильев, который совсем не был в этом уверен.

К тому моменту, когда, теперь уже справа по курсу, поднялось солнце, они миновали берег океана и пошли вдоль Новой Земли, постепенно сворачивая к западу, но пока не достигли Земли Франца-Иосифа, откуда повернули на юг.

Приключений не было, если не считать того, что часа два пришлось лететь вслепую, в неприятной болтанке и Альбина тихо плакала от страха. Андрею тоже было страшно — скрипе-

ли и трещали листы металла, из которых был склепан оказавшийся таким ненадежным самолет, но он утешал себя тем, что если Альбина плачет, значит, она оживает. Первый час в облаках машину вел Юрген, потом его сменил Васильев. Юрген сидел на масляном баке, поджав ноги и стараясь никак не приближаться к русским. Ему казалось, что на них обязательно должны водиться насекомые. А на самом деле никаких насекомых на пассажирах не было — Алмазов был поборником гигиены, а в помощниках у него был академик Лобанов и еще два известных профессора-гигиениста. Так что в Испытлаге не найти ни одной вши.

К вечеру небо просветлело. Самолет к тому времени поднялся над облаками — баки его значительно опустели, и потому скорость и потолок машины увеличились. Васильев отдал Альбине свою парку, оставшись в толстом свитере, он сказал, что так ему удобнее меняться с Юргеном местами.

Когда под «Ханной» показался берег Финляндии, Фишер дал в Берлин условную телеграмму. Он запрашивал от имени Юргена, как первого пилота, где совершать посадку. Берлин спросил, сколько осталось топлива. Топлива оставалось еще на четыре часа полета. «Ханне» приказали тянуть до Берлина.

Над Балтийским морем «Ханну» встретили истребители сопровождения — в воздух было поднято два звена.

— Тебе нужно подтверждение моих полномочий? — спросил Фишер у Юргена Хорманна. Тот отрицательно покачал головой. Он не был переубежден, но внутренняя дисциплина заставляла подчиняться авторитетам.

Глубокой ночью «Ханна» опустилась на военный аэродром под Берлином. На пустынном поле под теплым весенним дождичком стояло несколько длинных черных машин — и Канарис, и Шелленберг не выдержали — примчались узнать о результатах полета.

Первым из «Ханны», выпустившей шасси и почти касавшейся брюхом бетона, выскочил — легко, будто не чувствовал груза лет, — Карл Фишер. Он был освещен фарами машин. Щурясь, он поднял вверх руку, сжатую в кулак, жестом, схожим с приветствием ротфронтовцев. Тут же из темноты возник Шелленберг и протянул Фишеру руку.

— Вас можно поздравить с успехом, штандартен-фюрер? — спросил он.

— Разумеется, — сказал Фишер и обернулся к самолету, чтобы Шелленберг и присоединившийся к нему Канарис не

упустили момента, когда вслед за несшим свинцовый ящик Васильевым спустились, щурясь и закрываясь от света, Альбина, за ней Андрей.

— Это подарок выше ожидания, — сказал сразу Канарис.

— Русские? — спросил Шелленберг.

— С того объекта. Чудом остались живы при взрыве, который мы имели честь наблюдать.

Юрген Хорманн вышел последним, как капитан, оставляющий тонущий корабль. Он был собран, мрачен и попытался доложить о выполнении миссии полковнику из разведки люфтваффе, который тоже оказался среди встречавших, но полковник, не дослушав его, пожал ему руку, обнял и поблагодарил от имени рейхсмаршала, чем несколько утешил.

Черный катафалк был запряжен воронымн конями, которые, казалось, понимали, с какой печальной целью они влекут свой груз по лондонским улицам, выступали торжественно и не позволяли себе выгибать шеи и даже глядеть по сторонам. Процессия автомобилей, большей частью дорогих, черных или серебристо-серых, как было модно в ту весну, была длиннее обычных для похорон, даже если хоронили члена палаты общин от консервативной партии. Причиной тому была неожиданность и даже нелепость случившейся катастрофы — молодой и подающий такие надежды Энтони Кроссли разбился на самолете.

От ворот кладбища следом за гробом вытянулась немногочисленная, но внушительная процессия, и в толпе любопытных, стоявшей у ворот, в которые полисмены вежливо, но непреклонно не допускали случайных зрителей, перечисляли известные стране фигуры. Сам премьер-министр Чемберлен не смог прибыть на похороны, его представлял здесь лорд Галифакс, возвышавшийся на голову над грузным, так постаревшим за последние годы Уинстоном Черчиллем, бывшим политиком, бывшим бунтарем и всем надоевшим противником Гитлера. Хоть Мюнхенский договор уже очевидно провалился и не принес мира, хоть даже пронемецкая «Таймс» вынуждена была опубликовать данные опросов Геллопа, по которым лишь семь процентов англичан считали, что Гитлер остановится в своих захватах после Чехословакии, Черчилль был, и не только с точки зрения Чемберлена, последним человеком, которого можно было допускать к высоким постам и вводить в кабинет. Черчилль — это непредсказуемость, это экстравагантность, это опасность войны с Гитлером, Муссо-

лини. Даже здесь, на кладбище, более иных лояльный к Черчиллю (который как раз вчера позволил себе грубые, просто неприличные для политика выпады против господина Гитлера) лорд Галифакс, очевидный преемник Чемберлена на посту премьера, утверждавший, что союз с коммунистами Сталина предпочтительней потакания фашизму, старался держаться от Черчилля подальше.

А Черчилль мерно вышагивал под мелким дождем, который лил в тот день над всей Европой, начиная от Москвы и кончая Дублином, и нес в себе опасные для людей радиоактивные частицы, о чем никто, кроме нескольких человек в далеком Полярном институте, и не подозревал, был глубоко опечален тем, что именно в момент опасного одиночества, когда никто не хотел его слышать, так нелепо погиб один из немногих друзей и сторонников — молодой, талантливый, полный сил и не лишенный остроумия Энтони, автор известной в определенных кругах Лондона, посвященной Черчиллю поэмы, в которой были и такие строки:

Ты для слабых хорош, ты с могучими груб,
В оппонентах угрозы не видя.
Ты зовешь дурака — дураком, дубом — дуб,
Нужно — фюрера можешь обидеть.

Рядом с Черчиллем шел Гарольд Никольсон, из немногочисленной плеяды начинающих и не имевших силы политиков, которым импонировала непреклонность сэра Уинстона.

Они мирно беседовали, пока над открытой могилой читали молитву, потому что Энтони был уже прошлым, а будущее пугало обоих угрозами и еще более — нежеланием Европы видеть эти угрозы.

— Мне шестьдесят четыре года, — сказал неожиданно Черчилль в ответ на филиппику Никольсона о том, что не сегодня завтра его призовут в правительство, ибо он — человек, нужный стране в годину потрясений. — Я устал. Я наломал дров, моими ошибками и увлечениями мне тычет в лицо каждый, кому не лень, число карикатур на меня в английской прессе исчисляется миллионами.

— Но вы можете гордиться тем, что не намного меньше их и в газетах Германии и России.

— Это не основание для гордости. Просто мне надо сбросить вес.

— Завтра Гитлер нападет на Польшу, — сказал Никольсон. — Я разговаривал с разведчиками, у них есть неопровержимые доказательства, подтвержденные в Берлине.

— Он постарается купить Сталина, — сказал Черчилль.

У него был большой старинный черный зонтик, может, доставшийся от дедушки. Теперь не делают зонтиков с бамбуковыми рукоятями, подумал Никольсон.

— И я боюсь, — продолжал Черчилль, — что Сталин пойдет на сделку, потому что мы сделали все, чтобы изолировать и запугать русских перспективой остаться с Гитлером один на один. И тогда наши дела плохи.

— Но Чемберлен все же решился дать гарантии Польше.

— Еще бы. Даже такому кролику, как он, нельзя отступать до бесконечности, можно замочить пушистый хвостик в луже, которую не заметишь задом. Они передадут власть сэру Галифаксу, чтобы он сохранял лицо империи и в то же время не обижал нашего друга Гитлера.

Гроб опустили в землю. Черчилль подошел к затаившейся за почти непрозрачной вуалью матери друга и попрощался с ней, еще раз выразив свое искреннее горе, — Черчилль умел ценить верных соратников и прощать им слабости. Он полагал, что отличается от любого тирана тем, что никогда не поднимет руку на своего сегодняшнего или вчерашнего товарища.

Никольсон шел с ним обратно к воротам.

— Вы читали в «Таймс», — спросил он, — о падении метеорита на Урале? Говорят, что он был не меньше Тунгусского метеорита.

— Да? — рассеянно отозвался Черчилль, который никогда не слышал о Тунгусском метеорите.

— Сейсмические станции отметили невероятной силы удар.

— К сожалению, — отозвался после паузы Черчилль, — русские засекретят этот метеорит, потому что у них там концлагеря для инакомыслящих.

Некоторое время они шли молча. Потом Никольсон подал голос:

— Меня порой удивляет, почему вы предпочитаете союз со Сталиным. Он не в меньшей мере тиран и деспот, чем Гитлер. Гитлер даже ближе нам — он европеец.

— Оба они — порождение ада, — сказал сэр Уинстон. — Но Сталин нам не угрожает и не сможет в ближайшие годы угрожать. А Гитлер почитает своим долгом покорить Европу и установить господство над всем миром. Сталин по-своему идеалист, как и любой коммунист, он надеется на мировую революцию пролетариата и склонен, если она не получится, заняться уничтожением собственных пролетариев, Гитлер — мистик, не-

сущий свою черную ненависть против всего мира. Гитлера я боюсь, Сталина, даже очень сильного, я презираю. Впрочем, нет, он мне любопытен, как и любой диктатор.

Краем глаза Черчилль заметил, что вышедший раньше из ворот Энтони Иден, один из немногих, разделявших взгляды Черчилля в консервативной партии, но предпочитавший держаться с группой своих сторонников в отдалении от эмоционального и непредсказуемого Черчилля, стоит у своей машины, беседуя с незаметным человеком в длинном мокром плаще и обвисшими от долгого стояния под дождем полями шляпы. Почему-то этот человек так спешил сюда, что забыл зонтик и ждал Идена под дождем.

Иден благодарно кивнул человеку и обвел взглядом выходивших с кладбища, кого-то разыскивая. Его взгляд остановился на Черчилле. Иден подошел к нему.

— Я хотел бы сказать вам несколько слов, — произнес он.

— Мы можем не стесняться Гарольда, если это не касается ваших амурных приключений, — сказал Черчилль. Это была пустая шутка, такие шутки раздражали Идена.

— Нет, — сказал он твердо, глядя на Черчилля сверху вниз; они были похожи на известную клоунскую пару — Пат и Паташон. — Это сугубо секретная информация. Я хотел, чтобы вы получили ее раньше остальных, потому что она может изменить наш политический курс.

Никольсон отошел к своей машине. Хотя был несколько покоробленн словами Идена.

— Говорите, — сказал Черчилль.

— По данным, полученным из Соединенных Штатов и подтвержденным в Кавендишской лаборатории, в России на Полярном Урале не было никакого метеорита.

— Что же там произошло?

— Там произошел колоссальной силы взрыв, взрыв, превосходящий всяческое воображение.

— Неужели у них там такие склады боеприпасов?

— Или новая бомба. Сверхоружие.

— Какого рода бомба?

— Вы слышали или читали об атомной бомбе?

— Мне встречались популярные статьи на эту тему, но я полагал, что разговоры о ней не вышли еще из рабочего кабинета Герберта Уэллса.

— Таковы предположения ученых, — упрямо повторил Иден.

— Давайте надеяться, — сказал Черчилль, — что это был очень большой склад боеприпасов.

Иден чуть улыбнулся. Он ждал настоящего ответа.

— Что предпримет кабинет? — спросил Черчилль.

— Пока что они предпочтут ждать и делать вид, что ничего не произошло.

— А разведка?

— Я беседовал с сэром Рибли. Они предпримут все возможные и невозможные меры, чтобы узнать, что там произошло.

— Если бы я был в правительстве, — сказал Черчилль, — я бы мобилизовал всю агентурную сеть не только в самой России, но и в Германии.

Попрощавшись с Иденом, Черчилль подошел к Никольсону, который стоял у своей машины.

— Скажите, Гарольд, — спросил Черчилль, — у вас есть друзья среди физиков? Так сделайте одолжение — я хотел бы встретиться с ними как можно скорее. Если можно, завтра. И если можно, с Джоном Берналом.

— Хорошо, — сказал Никольсон, не ожидая, что Черчилль передаст ему содержание разговора с бывшим министром иностранных дел.

Андрея и Альбину разделили еще на аэродроме, и он не знал, куда ее отвезли. Впрочем, он не беспокоился о ней, зная, что с ней ничего не случится.

Несмотря на двусмысленность и непредсказуемость своего положения, Андрей в первые дни не мог не наслаждаться самыми простыми прелестями жизни — горячей ванной, чистыми простынями, умеренно вкусной и умеренно обильной едой на секретной вилле управления А-6, где его содержали. Карл Фишер приезжал чаще всего утром, но порой задерживался, и Андрей мог гулять в небольшом саду особняка, окруженного высоким непроницаемым деревянным забором. Но следует признать, что в мыслях Андрея не было побега или бунта, — он предпочитал не думать о завтрашнем дне.

Произошла простая человеческая история — ему предложили выбирать между смертью и неизвестностью. И он выбрал неизвестность, как выбрал бы любой нормальный человек. Рассуждая так, Андрей понимал, что в этих рассуждениях таится слабость, потому что под словами «нормальный человек» он понимал некоего европейца или русского начала века, но никак не советского гражданина, который должен был по своему воспи-

танию и искреннему образу мыслей предпочесть смерть в лагере или тюрьме общению с фашистами — расистами и врагами Советской страны.

Андрей беседовал с Фишером искренне, тем более что никому никогда не приходило в голову брать с Андрея подписку о неразглашении тайн, которые он увидит в зоне Полярного института, хотя бы потому, что никто не думал, что он выберется оттуда живым. К тому же тайна атомной бомбы охранялась столь строго и успешно, что о действительной цели строительства знали буквально несколько человек во всем мире. Это было бы невозможно в любой другой стране, но обычно для страны Советской.

Впрочем, Андрей не знал, насколько он полезен и интересен Фишеру, которого интересовали не только события последних дней, но и вся история сооружения полигона, которая прошла на глазах у Андрея, а также описания всех людей, с которыми он так или иначе сталкивался в лагере и городке, слухи и сплетни, которые там распространялись, — Фишер знал русский, хоть говорил с акцентом и ему не хватало слов. Он использовал невиданный ранее Андреем магнитофон, записывая его слова на большие катушки коричневой пленки.

Фишер не столько допрашивал Андрея, сколько разговаривал с ним. В этом была разница между ним и отечественным следователем, и Андрей был благодарен Карлу за этот способ общения. Он привык к тому, что его допрашивали как врага, унижали и уничтожали с первых дней допросов. Фишер же был откровенен.

— Я сейчас собираю с вас налоги, — говорил он. — Вы мне должны жизнь. Но я собираю не так много, как она стоит.

— Я ничего от вас не скрываю, — отвечал Андрей.

— Я представляю государство, — продолжал Карл. — Это есть великий германский рейх. Вы его можете не любить, я его гражданин. Вам понятно? Я могу не разделять убеждений фюрера, но я выполняю мой долг. Вы понимаете?

— Разумеется.

— Фюрер говорит, что главный враг Германии — мировой коммунизм. Я согласен. Я не спрашиваю, вы согласен или нет. Мне это не есть важно. Понятно? Теперь мы узнали, что Сталин сделал супербомбу. Она может убить много человек. Очень много. Ваш Сталин сделал бомбу, эта бомба еще не взорвалась, но убила больше своих человек, чем потом убьет чужих человек. Понятно?

— Я же не спорю с вами.

— Нет, вы немного спорите. Госпожа Альбина спорит. Госпожа Альбина была больше патриот. Вы меньше — это странно, но это ваше дело. Я считаю, что Сталин — самый страшный убийца в мире. Плохие люди и плохие идеи есть везде. Но в твоей стране они стали жизнью. Завтра Сталин сделает две, пять, десять супербомб. Он не остановится. Правильно?

— Вы правы, — сказал Андрей.

Карл Фишер, как всегда в сером клетчатом пиджаке и серых штанах, чуть ниже колен заправленных в гетры, и в блестящих уличных башмаках, словно собирался идти в горы, подходил к буфету — допросы всегда проходили внизу, в гостиной, а Андрей жил на втором этаже, — доставал оттуда бутылку коньяка и рюмки. Они выпивали по маленькой рюмочке. Потом Карл поднимался, уходил на кухню и приносил оттуда блюдо с маленьким соленым печеньем. И порой, еще через некоторое время, — кофе.

— Сталин сделает бомбы и погрузит их на самолеты, — говорил Фишер.

— Как я уже говорил, бомба — это что-то очень большое. Не влезет в самолет.

— Может быть, для Сталина уже построили специальный, очень толстый самолет, правильно? Тогда этот самолет полетит, чтобы кинуть бомбу на мой дом, потому что я — враг Сталина. Но это не значит, что Сталин кинет бомбу только на мой дом. Он полетит дальше, так как его кавказский варварский голова сообразит, как можно завоевать весь мир. — Фишер волновался, замолкал и начинал протирать замшей толстые очки.

— Но что вы можете сделать?

— Это решает фюрер. Вы можете думать, что ваша роль — роль предателя. Прошу вас, Андрей, думать, что вы как трубач, как гусь.

— Как кто?

— Ах, вы не есть учились в гимназии. Очень давно враги хотели взять город Рим, что есть столица Италии.

— Вы хотите сказать, что я — тот гусь, который спас Рим?

— Вас этому тоже учат? — Почему-то Карл удивился. Но тем не менее продолжил свою речь: — Чем больше мы узнаем о вас, тем лучше мы сможем помешать Сталину. Я не знаю как. Но надеюсь, что вы не хотите, чтобы страны Европы, чтобы все они стали колониями Сталина. Чтобы везде были его лагеря и... как название? ГУЛАГ. Чтобы всех расстреливали. Вы этого не хотите?

Андрей пожал плечами, и Карл оборвал разговор.

Бабушка Карла Фишера была еврейкой, и это было хрупкой семейной тайной, которую удалось скрыть от всех анкет и бесед с начальниками. Бабушка умерла рано, от нее не осталось родственников, и Фишер, еще до прихода Гитлера к власти, еще сам не вступив в партию, но понимая, что Гитлер в Германии неизбежно победит, уничтожил лишние документы и взял клятву молчания с матери.

Фишеры были родом из Мемеля, и родственники погибли или сгинули во время первой мировой и гражданской войны в России. Если же кто из дальних родственников и остался в живых, то Фишер их не знал, а жили они в Литве. Хоть Мемель и был недавно присоединен, он все равно оставался как бы вне рейха. От детства, проведенного в Мемеле, Фишер помнил русский язык, что и помогало ему руководить русской секцией в ведомстве Шелленберга.

Спустя десять дней после прилета из Советского Союза, когда Андрей уже настолько привык к возвращению к чистой, умеренно цивилизованной жизни, что мог морщиться, видя, что утром на завтрак обязательно получает бутерброд со сливовым повидлом, кусочек масла и кофе с жидким молоком, тогда как организм его требовал куда большего, к Андрею заявился портной, весьма арийского вида мужчина. Он молча вертел Андрея, охватывая различные части тела сантиметром и диктуя данные бледнолицей девице, которая приходилась ему ассистенткой.

Андрей покорно поддался этой процедуре, ему было приятно думать, что наконец-то он наденет костюм не с чужого плеча, но энергичные действия портного вызывали некоторые опасения, по крайней мере служили основанием для размышлений. По тому, как вел себя портной, и по тому, что он заявился с ассистенткой, было очевидно, что это хороший, дорогой портной. Немецкой разведке не было никакого смысла тратиться на Андрея, если она не замыслила для него какой-то необычной роли. Вряд ли в Третьем рейхе награждают халатами, подобно древнему Китаю. Следовательно, предстоит испытание на высоком уровне, а, как битый-перебитый лагерный пес, Андрей не любил таинственных операций, инициаторами которых были начальники.

Днем пришел Фишер, он был настроен торжественно и не стал ждать вопросов Андрея, он сразу объявил:

— Вас намерен принять фюрер Германии Адольф Гитлер.

— Это еще зачем? — невежливо спросил Андрей.

— Он очень обеспокоен событиями, в которых вы принимали участие, и в то же время желает выразить благодарность лицам, которые приложили силы и умение для того, чтобы разгадать секрет бомбы. А так как фюрер информирован о том, что вы добровольно согласились покинуть Россию и лететь с нами, а также откровенно и весьма полезно сотрудничали с германской разведкой, он желал бы пожать вам руку.

— Не ожидал, — сказал Андрей. Была какая-то неловкость и неправильность в этом приглашении.

— Все ясно, — осклабился Фишер, убедившись предварительно, что его не подслушивает из-за двери повар. Почему-то микрофонов он не опасался — может, потому, что сам их устанавливал. — Ваше живое воображение подсказывает, что большевики победят Третий рейх, и когда они придут сюда, то в списке друзей фюрера найдут вас и примерно накажут. Вы этого испугались?

— Нет, — сказал Андрей, — так далеко в будущее я не смотрел.

— Тогда вы боитесь, что отчет о приеме будет напечатан в газетах и вашим родственникам в России грозит опасность. Я могу заверить вас, что встреча фюрера с вами, как и все, что касается атомной бомбы, будет обставлено строжайшей секретностью. Даже Сталин о такой секретности мечтать не есть... не может.

— Не преувеличивайте. Карл, — улыбнулся Андрей. — Все проще — я подумал, насколько изменчива судьба и далеко не всегда она делает со мной то, чего бы я сам себе пожелал.

— Вы не желаете встречи с великим человеком, может быть, повелителем Вселенной? Вам не любопытно хотя бы?

— Мне это очень интересно. Честно. И в то же время я бы отлично обошелся без нее.

— Вы все-таки остались советским человеком, Андрей, — сказал Фишер. — И вам место в концлагере. В нашем.

— С меня хватит нашего.

— В вашем вы уже списаны, — сказал Карл сердито. — Почему-то вы забываете о том, что вас не существует. Что дома, на...фатерлянд... как это... на Родине — вас уже уничтожили, как вонючих крыс.

Прием был назначен на следующий день, после скромного обеда, который Андрей вкушал в грустном одиночестве, не видя

ничего светлого в жизни и не желая вовсе встречаться с этим бесноватым фюрером, антисемитом и бандитом. Все, что он знал об этом человеке, внушало ему отвращение, которое пересиливало любопытство, в значительной степени атрофировавшееся после переживаний последних лет. Андрей с сожалением понимал, что как бы подло ни поступили с ним, но поступала так не его страна, а те бандиты, которые эту страну захватили в заложники. И, сотрудничая с силами, которые намерены были с его страной бороться, он сотрудничал не только против Сталина и его шайки, но и против России в целом, а она состоит из многих миллионов его сограждан. И он будет их врагом. И даже вполне разумные слова Фишера о необходимости выбирать меньшее из зол его никак не утешали.

— Возьмите писателя Лиона Фейхтвангера, — еще вчера говорил Карл. — Его у вас широко печатают, а у нас он запрещен, потому что нет пророка в своем отечестве.

— И его книги сжигали в Германии на площадях.

— Не надо попадаться на удочку пропаганды. Да, у нас есть свои экстремисты, бандиты, готовые сжечь на площади поваренную книгу за слова «фаршированная щука». Да, были гнусные, на мой взгляд, эпизоды, когда сжигали книги еврейских и славянских писателей. Мой сосед сжег, в частности, книгу «Хижина дяди Тома», потому что она воспевает негров, которых официально принято относить к низшим расам. Все это так. Но еврейский писатель Лион Фейхтвангер, который бежал из Германии и, наверное, правильно сделал, отправился после этого в Россию и там был принят, как герцог, вашим хитрым кавказским варваром. И потом написал книгу с характерным названием «Москва, 1937 год». Читали?

— Нет, в это время я уже сидел.

— Вот видите, вы сидели, а он писал книгу, полностью оправдывая то, что сделал с Россией ваш любимый вождь. И воспевая самого вождя, и даже воспевая процессы над невинными людьми, которых невзлюбил главный гангстер вашей Родины. И не надо поднимать ладонь и останавливать меня, Андрей. Вы находитесь в руках фашистской разведки и добровольно с ней сотрудничаете. А я вам скажу — и вы, и Фейхтвангер живете по принципу наименьшего зла. Фейхтвангеру кажется, что, воспевая Сталина, он укрепляет общий фронт против фашизма, против Гитлера. И этим спасает свою жизнь и жизнь еще многих евреев, которые боятся прихода эсэсовцев в Польшу или Румынию. Вы же предпочли жить здесь, нежели умереть в тундре.

Наименьшее зло. Так научитесь жить с открытыми глазами и мириться с действительностью. Мне тоже не все в ней нравится. Но я стараюсь выбирать собственные пути...

Андрей допивал жидкий компот, когда вошел охранник и сообщил, что в гостиной ожидает посыльный.

В пакетах и коробках, привезенных посыльным, было два костюма — один вечерний, черный, другой повседневный — клетчатый пиджак и темные брюки — все же Шелленберг расщедрился. Или решил, что Андрею предстоят еще беседы с высокопоставленными лицами в дневное время. В других пакетах и коробках были сорочки, ботинки и прочие детали мужской одежды. Интересно, подумал Андрей, а для привезенных из Германии шпионов на Лубянке шьют смокинги или хотя бы френчи?

Карл Фишер приехал без четверти шесть. Он был в вечернем костюме, однако Андрей отметил, что сам он выглядит куда шикарней своего покровителя. Фишер был скован, молчалив, и лишь однажды, когда они ехали по Берлину, который Андрей в прошлый раз толком не разглядел, и остановились перед светофором, он неожиданно произнес:

— Только, ради бога, не лезьте вперед и не проявляйте инициативу.

— Спасибо за совет, — сухо сказал Андрей.

Рейхсканцелярия подавляла не только тяжеловесным, еще лишь рождавшимся в Советском Союзе архитектурным обликом, но гулкой обширностью внутренних помещений, которые были созданы не в масштабе человека, а будто для гигантов, в существование которых, по общему мнению, свято верил фюрер, либо для расы, которая произойдет от истинных арийцев, после того как мир покорно опустится перед ними ничком.

Они поднялись на второй этаж и были встречены офицером СС, который вежливо, не спуская глаз с гостей, провел их в приемный зал, представляющий собой некое вместилище для гигантов, в котором голоса, казалось бы, должны разноситься, как в помещении пустого вокзала, но на самом деле пожирались самим воздухом и звучали приглушенно, словно собрались там не люди, а муравьи.

Там уже находился Шелленберг и рядом с ним среднего роста мужчина в черной эсэсовской форме со странным, будто бы вырезанным из бумаги лицом — у него был горбатый тонкий нос, узкий лоб, впритык к нему посажены глаза. Шелленберг, встретивший пришедших с обычной для него чуть робкой улыб-

кой, представил Андрея двухмерному человеку, фамилия которого оказалась Гейдрих, он был начальником Шелленберга и как бы членом политбюро, как попытался потом объяснить Фишер. Гейдрих пронзил Андрея глазками, а вот улыбаться он не умел, и потому губы лишь потерлись одна о другую и невнятно вымолвили:

— Рад познакомиться, господин Берестов. Вы многое сделали для рейха, и мы этого не забудем.

Слова Гейдриха перевел Фишер. Он волновался, словно Гейдрих уже догадался о происхождении его бабушки.

Вскоре вошел адмирал Канарис. Андрей не видел его после встречи на аэродроме и только теперь разглядел и признал, что лицо адмирала скорее приятное, но незначительное. Затем вплыл толстый человек в ладно скроенном голубом мундире и с несколькими орденами и знаками на груди. Андрей узнал Геринга по карикатурам Ефимова и Кукрыниксов в наших газетах — Геринг и на самом деле был похож на свои карикатуры, и это было странно, словно он должен был постараться и уйти от порочного сходства. Следом за Герингом шагали два пилота — Юрген Хорманн и Васильев, но Хорманн был в форме полковника, с Испанским крестом на груди, тогда как Васильев пришел в цивильном, не первой свежести смокинге и чувствовал себя, как показалось Андрею, не совсем уютно. На самом деле Васильев впервые в жизни должен был предстать пред очи фюрера Германии и, потеряв с возрастом значительную долю тщеславия, предпочел бы вместо этого оказаться в тихой уютной пивной.

Последним из известных Андрею (также по карикатурам) личностей Третьего рейха появился страшный руководитель СС Генрих Гиммлер, которого Андрей узнал по старомодному пенсне и скучному лицу агента внешнего наблюдения — таких любят во всех полицейских службах мира за их неприметность. Вместе с Гиммлером пришли две дамы. Одна была хороша мальчишеской, резкой, отчаянной красотой, которая редко привлекает мужчин, сразу чувствующих превосходство такой женщины в силе характера. Обнаружилось, как сказал Фишер, что это была кинорежиссер Лени Рифтеншталь, которая снимала лучшие в мире документальные фильмы. Лучше, чем ваш Дзига Вертов, заметил Карл, что говорило в пользу его эрудиции. С ней вместе шла другая красивая женщина, угадать в которой Альбину Андрею удалось, только когда женщины подошли совсем близко.

За прошедшие десять дней в несчастной лагерной замараш-

ке, хоть и со следами былой красоты, произошла необъяснимая и почти сказочная перемена — гадкий утенок, Золушка... Человечество всю жизнь мечтает о том, чтобы в утенке раскрылся лебедь, и умиленно плачет над этой участью, столь желанной для тебя самого, не желающего дураком прыгать в кипящий котел русской сказки, чтобы вынырнуть настоящим принцем.

Это была Альбина, сказочно перелетевшая из одного Берлина, ложного, в другой, тоже ложный и временно оккупированный людьми в голубых и черных мундирах, ожидающими выхода узурпатора.

Возвышенная банальность собственных мыслей никак не смущала Андрея, потому что он был поражен единственной реальностью в этом мире — хрупкой, неземной, светлой и беззащитной красотой Альбины, его собственной экспериментальной жены, отправленной на заклание комиссаром госбезопасности Алмазовым. Узнав Андрея также после мгновенного колебания, ибо его волосы отросли, а молодой организм сумел за эти дни вобрать и пустить на строительство тела и лица немецкие калории — этот молодой мужчина в черном смокинге был строен, гибок, рожден для верховой езды, африканских сафари и беговой дорожки, забыв о чинах, окруживших их, Альбина побежала к Андрею.

— Андрюша, — сказала она, задыхаясь от неожиданной радости, — я так за тебя боялась! Ты хорошо выглядишь.

Вблизи было видно, что какую-то часть красоты Альбины можно отнести на долю косметички и парикмахерши, но Альбина расцвела и сама по себе.

Альбина нарушила куртуазную торжественность поведения, но все понимали, что ей простительно. В ее истории, известной всем, была трогательность сказки о Золушке, и в каждом из мужчин присутствовал принц, желавший разделить с прочими принцами королевства право надеть на ее ножку хрустальный башмачок.

В этот момент небольшие в масштабе зала двери раскрылись и из какого-то внутреннего помещения быстрыми шагами вышел Адольф Гитлер, которого сопровождал человек со странным лицом умницы и дегенерата, — слишком густые брови нависали, завершая собой надбровья над утонувшими в глубине глазниц небольшими глазами. Лицо было резким и удобным для карикатуристов, а потому знакомым — хотя Андрей не смог сразу вспомнить, как зовут этого вождя Германии, он всегда оказывался на карикатурах Бориса Ефимова на втором плане, уступая место свинье Гитлеру и обезьянке Геббельсу.

Андрей вспомнил, что человека зовут Рудольф Гесс, когда он и Гитлер подошли совсем близко и Гитлер, очень бледный и какой-то сердитый на вид, крутил головой, разглядывая визитеров, словно и не звал их сюда и удивлен тем, что они собрались.

Альбина отпрянула от Андрея, и само собой вышло так, что все приглашенные вытянулись шеренгой, перегораживая путь фюреру, и тот пошел вдоль шеренги, начав здороваться с Геринга, который единственный оказался вне ряда, и потом пожал руки Шелленбергу и Канарису, задержался на секунду возле Фишера, что-то тихо спросив того, как старый приятель, имеющий с ним общие амурные тайны, затем пожал руку вытянувшемуся деревянным солдатиком Юргену Хорманну и добрался до русских. Фишер теперь шел на шаг сзади и был готов переводить. Он представил русских по очереди, и Гитлер сказал Васильеву, что благодарит его за долгую и верную службу великой цели, затем протянул холодные пальцы Андрею и произнес непонятную фразу. Среди гостей прошла волна легких улыбок, но лишь потом Карл перевел, что слова Гитлера означали: «Какой замечательный арийский тип. Все же Россия сложная страна, столь обильно политая спермой арийцев». Лени Рифтеншталь сделала было движение навстречу фюреру, но тот рассеянно пожал ей руку, потому что увидел Альбину и уставился на нее гипнотизирующим взглядом, способным повергать в ужас не ведающих страха фельдмаршалов и президентов, а Альбина присела, сделав некое подобие книксена, видно, вспомнила, как ее учили в детстве, и протянула царственно тонкую руку. Адольф Гитлер склонился к руке, будто хотел ее поцеловать, но, видно, целовать руки было настолько не принято в рейхсканцелярии, что он спохватился и, выпрямившись, с трудом оторвал взгляд от молодой женщины.

Затем он отступил на несколько шагов от разделившихся на две кучки гостей — граница прошла между правителями страны и теми, кто оказался здесь по их милости.

— Я пригласил вас сюда, господа... — произнес Гитлер. Фишер хотел было переводить, но Васильев сделал ему знак, чтобы не беспокоился, и шепотом, склонившись к ставшим рядом Андрею и Альбине, передавал смысл слов фюрера. — Чтобы лично высказать вам благодарность за тот великий, я не боюсь сказать этого слова, великий подвиг ради спасения Германии и всей мировой цивилизации. Вы совершили невероятное... — Голос фюрера поднялся и оборвался на этой ноте. После короткой паузы последовало: — Гибель мира готовилась и сейчас го-

товится на просторах России — брошен вызов господству льда, адское пламя прошлого прорвалось к Земле, для того чтобы разрушить плоды наших усилий и прервать ход истории. Наш долг — не допустить этого, и ваш вклад в сопротивление пламени останется в памяти потомства. Спасибо, господа.

Указательным пальцем Гитлер убрал со лба прядь волос. И замолчал. Андрей решил было, что Васильев чего-то не понял — речь Гитлера была невразумительна. Но Гитлер уже продолжал далее.

— Мы ознакомились с материалами и сведениями, которые вы привезли с собой. И я должен сказать, что сегодня я не намерен оценивать вклад каждого из участников в успех полета. Я не отделяю от общей группы и русских добровольцев, хотя бы потому, что уважаю их решительность и отвагу и высоко ценю то, что удалось узнать нашим специалистам. Именно потому, что я рассматриваю полет не просто как очередное военное задание, а как подвиг, волей провидения должный изменить судьбу мира, я пригласил вас к себе, чтобы лично выразить свою благодарность.

Андрей видел, что, произнося последние фразы, фюрер смотрит только на Альбину и обращается именно к ней.

По знаку Гитлера Рудольф Гесс обернулся вправо, и тут же там открылась дверь и вошли два офицера, один из которых нес квадратный поднос с коробочками, а второй — внушительную пачку дипломов. Они остановились в двух шагах справа от Гитлера, и тот, как не ставший взрослым мальчик, получая наслаждение от этой церемонии, провозгласил:

— За совершение чрезвычайного значения подвига, потребовавшего мобилизации всех сил и особой отваги, рейх награждает подполковника Юргена Хорманна золотым Рыцарским крестом военных заслуг.

Юрген Хорманн сделал три шага вперед, чтобы принять из рук фюрера коробку, лежащую на кожаной, с вытисненным на ней длиннокрылым орлом папке. Слова благодарности Васильев переводить не стал.

Следующим награжденным таким же крестом стал полковник Карл Фишер. Васильев сказал: «Это, наверное, первый разведчик, который удостоился. Они эту штуку реже, чем мы Героя Советского Союза, дают». И слова, хоть и тихие, для Андрея прозвучали громоподобно. Он даже взглянул быстро по сторонам, не услышал ли кто.

Третьей была красивая Лени Рифтеншталь, ей был вручен

национальный приз за культуру и искусство — лента через плечо с небольшой, словно автомобильной, шиной. Гитлер сам надел на нее ленту и попросил, чтобы Лени сняла оперу «Долина» не хуже, чем великий фильм «Гармония радости». Все хлопали в ладоши.

А потом действо перешло за грань реальности, потому что Гитлер тут же в зале, на глазах у своих соратников и, возможно, даже вездесущих советских разведчиков — почему бы не оказаться разведчиком вон тому военному, что держит поднос с коробочками орденов? — вручил белые Кресты заслуг германского орла третьего класса троим русским.

— Вы должны понять, — наставительно сказал он, — что отныне вы — предмет зависти, настоящей доброй зависти миллионов жителей земного шара, которых Германия не одарила такими крестами.

Бонзы империи согласно закивали головами, давая при том понять, что они свои кресты еще получат.

— А теперь, — произнес фюрер, завершив церемонию, — я прошу моих гостей разделить со мной скромный обед. Прошу в столовую.

Откликнувшись на его слова, двери, а вернее, врата в столовую — не менее гигантскую, нежели приемная, — отворились, обнаружив длинный стол под белой скатертью, по обе стороны которого, отступив на несколько шагов, стояли официанты с военной выправкой, в темно-зеленых фраках.

После мгновенного колебания Гитлер предложил руку Лени, и она первой пошла с ним в столовую. Остальные двинулись следом, причем как-то так получилось, что об Альбине разговорившиеся, словно мальчики после звонка на перемену, германские вожди забыли. Васильев сунул пустую коробочку от Креста заслуг в карман и тихо сказал:

— Пахнет дискриминацией.

— А что? — не понял Андрей.

— Летали вместе — им на шею, а нам — как иностранным лакеям. — То ли он был обижен, то ли шутил. Потом добавил: — Жаль, нельзя в «Правде» отметить.

Адъютанты, которых оказалось куда больше, чем было вначале, подходили к гостям и указывали им места за столом. Геринг сел по правую руку от фюрера, по левую — Гесс, далее сидел Гиммлер. Андрей оказался в конце стола и был отделен от Альбины.

Альбина сидела наискосок от Гитлера, и он, пока все уса-

живались, не раз бросал на Альбину странные недоуменные взгляды, словно был с ней когда-то знаком, но никак не может вспомнить, где и когда. Может быть, Андрей придумал это за Гитлера, но то, что он смотрит на Альбину чаще, чем на других, увидели многие.

— Что делает с женщиной косметика, — не очень вежливо, но добродушно произнес Васильев. Эта фраза предназначалась лишь для ушей Андрея и Альбины. Альбина повернулась на эти слова, не рассердилась, а чуть улыбнулась и встретила взгляд Андрея открыто, не пряча глаз, и Андрей понял, в чем основное различие с прошлой жизнью, — теперь голубые водоемы Альбининых глаз высохли и не грозили наводнением.

Обед обещал быть пресным, только для истории, — никакого вина гостям не было предложено, лишь разносили минеральную воду, потом принесли протертый пресный суп, а фюреру — кукурузный початок, вроде бы политый растительным маслом. Гитлер взял его в руку и обгрызал, наклоняя голову. Черный, столь любимый карикатуристами чуб касался початка. Гитлер двигал челюстями быстро и мелко, подобно крысе. Все молчали, послушно, как школьники, поедая суп.

Молчание нарушил Гитлер, неожиданно сказав:

— Кто-нибудь из вас удосужился сегодня посмотреть на барометр?

Почему-то, задавая этот строгий вопрос, фюрер смотрел на Геринга, который застыл, не донеся ложку до рта. Потом ответил за всех:

— Нет, мой фюрер. А что-нибудь случилось?

— Командующий моей авиацией обязан знать давление атмосферы, — наставительно сказал Гитлер.

— Ты прав, — согласился Геринг.

— А я смотрел с утра, потому что очень тонко чувствую перемены давления. Сегодня семьсот тридцать восемь миллиметров! Практически никакого давления. Я чувствую себя угнетенным и потерял аппетит. Нет, я не хочу сказать, что вы должны разделять мои тревоги и боль, — одному это дано, а другому — нет. Но самое близкое существо должно уметь разделить именно боль — на радость найдется миллион желающих, не так ли, фрейлейн?

Гитлер обращался к Альбине. Он вытер рот салфеткой и отбросил объеденный початок на тарелку.

— Да, господин Гитлер, — сказала Альбина, глядя на фюрера, и тот, первым метнувшись зрачками в ее сторону, отвел взгляд.

Русская пленница заинтересовала фюрера — каждый из присутствовавших здесь друзей и слуг Гитлера старался понять, насколько важна эта информация, может ли внимание перейти в действие, а если так, то к чему это может привести. Люди старались не переглядываться, ибо фюрер мог перехватить взгляд — это уже бывало раньше и ни к чему хорошему не приводило. Фюрер был всегда осторожен с соратниками, с близкими — тем более, но ни один из них после смерти Рэма и Штрассера не дал основания заподозрить его в измене. И так как взоры фюрера были обращены во вне империи, то остальному окружению отводилась роль соратников, хоть и подозреваемых в возможной, потенциальной неверности, но пока нужных и полезных.

Тем временем сменили приборы и стали разносить рыбу и вареный картофель.

И в этот момент самого старого и мудрого человека за столом посетила невероятная — хотя разве на свете бывает невероятное? — догадка. Он понял, кого увидел Гитлер в Альбине. Она была тенью Гели Раубал. Именно тенью. Все было схоже — и цвет волос, и форма носа, и полные губы, и громадные голубые глаза, но если Гели буквально сверкала молодостью, здоровьем — от нее будто пахло мускусом, чтобы привлекать самцов, — то Альбина была Гели, у которой отняли свежесть, молодость, звериное страстное начало, но вместо этого боги наградили ее завершенной деликатностью и изяществом облика, будто Гели прошла через какие-то невероятные испытания, как сквозь сказочную купель, и от нее остался прекрасный, правда, увядающий дух красоты.

Канарис на мгновение зажмурился, чтобы изгнать видение Гели, которую неоднократно видел и отлично помнил, хотя не был с ней достаточно знаком, не относясь к друзьям дома фюрера, однако интересовался ею и до конца не был уверен, что Гели умерла своей смертью, а не была застрелена фюрером в припадке гнева.

Когда он открыл глаза вновь, то увидел, что над ним стоит официант, ждет, когда тот возьмет с блюда горячее, но Канарис даже не заметил, что ест. Только бы не проговориться, только бы не подать виду... информация такого масштаба может стоить головы, а может сделать могущественнейшим лицом в государстве. Ведь Альбина при «разделе имущества» досталась ему — допрашивал ее сам Канарис, который многое узнал о ней с помощью тихой учительницы немецкого языка, этакой пожилой мышки, приставленной к Альбине.

Гитлеру, который был вегетарианцем, принесли его люби-

мый «кайзешмаррен» — венские блинчики, скатанные в трубочки, начиненные изюмом и политые сладкой пастой. Гесс тоже не ел мяса, но Андрею показалось, что он из тех людей, которые, придя домой, тут же лезут по полкам, и, поставив на колени кастрюлю со вчерашними мясными щами, пожирают их поварешкой. Тут Андрей улыбнулся собственным мыслям, понимая, что господин Гесс, наверное, никогда в жизни не был на кухне. С Андреем происходило то же, что происходит со многими в присутствии великих мира сего. Ты начисто отказываешься верить тому, что некогда такая персона была постоянно гонима и голодна и сама разогревала себе на керосинке скудный ужин.

За компотом Гитлер, размякший, домашний, бюргерски довольный собой и гостями, начал рассуждать об опасных переменах в климате, которые мы наблюдаем. Зимы перестают быть зимами, и летом недостаточно тепла, чтобы созрели зерновые культуры. Совершенно очевидно, что все происходящее на Земле определяется в значительной степени событиями в космосе и движением планет. Именно поэтому он, Гитлер, отдавая должное плодотворным мыслям о Полой Земле, которые развивает Бендер, все же продолжает сохранять к ним скептическое и даже отдаленное отношение, ибо из этой теории следует взять лишь гипотезу о существовании подземных полостей, в которых находятся в глубоком сне те гиганты, которые населяли Землю раньше.

Гитлер откровенно обращался к Альбине, он начал говорить все быстрее, потом неожиданно заявил, что не советует гостям пить после обеда кофе, в котором находится много вредных возбуждающих веществ.

Большинство присутствующих было смущено тем, что Гитлер практически ни слова не сказал за обедом о советской атомной бомбе, и объясняли это по-разному — одни присутствием русских, при которых Гитлер сдерживался, не доверяя им, хотя и разыграл умелый спектакль благодарности за подвиг во имя рейха, то ли причиной тому, как полагал Канарис, было замеченное Гитлером сходство Альбины и Гели, то ли причина была необъяснимая, загадочная, ибо Гитлер в понимании его окружения был воистину великим человеком, и его нелогичные ходы и чудачества воспринимались как проявления великого немецкого духа.

Гитлер первым поднялся из-за стола.

Все остальные встали тоже.

Гитлер поклонился и вдруг быстро вышел из столовой, как будто чем-то обиженный.

И все довольно долго стояли у своих мест, словно ожидая, что обиженный недисциплинированными учениками учитель вернется и задаст им заслуженную взбучку. Неловко чувствовали себя все — от Геринга до Андрея. Все, кроме Канариса и Альбины. Наконец гости начали двигаться, переговариваться и собираться по домам, некоторые подходили к награжденным, Геринг пожал руку Васильеву и сказал, что рад бы иметь его в своем ведомстве.

— Я стар, — сказал Васильев. — К сожалению, я уже стар. И в этом моя трагедия.

— Вы не старше меня, мой друг, — сказал Геринг и тут же отошел к Гессу, как будто надеясь, что тот скажет нечто более приятное.

Андрей направился к Альбине. Он надеялся, что она сообщит ему номер телефона, он не был уверен в том, где окажется завтра.

Альбина увидела его и двинулась было навстречу, но это движение заметил Канарис, который встал между русскими и сказал улыбчиво и тихо, обращаясь к обоим:

— Молодые люди, я обещаю вам, что при первой же возможности я устрою вам встречу.

Андрей понял, что Канарис не хочет их разговора, а Альбина, лучше знавшая немецкий, предпочла поверить адмиралу и сказала Андрею через его плечо:

— В самые ближайшие дни. Мы же с тобой здесь рабы.

Канарис запомнил последнее слово Альбины и потом спросил у Фишера, что означает русское слово «ра-би», но не смог передать разницы между буквами «ы» и «и» и получил ответ, что имеется в виду, очевидно, еврейский священник, и это повергло адмирала в недоумение.

Канарис угадал. Гитлер был не только очарован, но и смущен и несколько напуган иррациональным и несшим в себе странный смысл сходством Альбины и Гели. Будто почти десять лет разлуки Гели прожила в ином мире, очищаясь в страданиях от всего наносного, грубого, плебейского, что было в ней, но не потеряв внутренней силы, очевидной для Гитлера в открытом взгляде молодой женщины.

Не в силах совладать с собой, фюрер покинул столь невежливо и неожиданно высокое общество, оставив в растерянности даже ближайших соратников.

Он не знал, как вести себя дальше, что означает этот сигнал свыше, насколько он связан с его судьбой. Не исключено, что это лишь игра дьявольских сил, подсунувших ему Альбину — белую, чистую. И надо ли понимать ее имя как духовную эманацию мечты фюрера, чтобы разоружить его... Ведь недаром она появилась так неожиданно и прямо из горнила страшной бомбы, изобретенной большевиками, некоторые из которых, безусловно, близки к масонским кругам и к еврейским магам низкого порядка.

Фюрер не стал возвращаться домой, где ждала его прекрасная, покорная и пустая Ева, а позвонил из своего гигантского кабинета, украшенного портретом тяжелого напыщенного Бисмарка — не для собственного наслаждения, а для удовольствия солдафонов и патриотов, — в загородный дом Карлу Гаусгоферу. Жена того, молчаливая, хозяйственная Марта, сказала, ничуть не удивившись звонку, что Карл вскорости будет здесь, — он встречал на вокзале приехавшего инкогнито из Индии какого-то великого мага, и потому, наверное, приезд рейхсканцлера будет очень уместен.

Фюрер почувствовал облегчение. Старый генерал Гаусгофер после первой мировой войны вышел в отставку и преподавал философию в Мюнхенском университете, где и приблизил к себе послушного студента, будущего секретаря национал-социалистской партии Рудольфа Гесса. Гесс был глубоко убежден, что Гаусгофер относится к числу великих магов, и, когда его новый друг Адольф Гитлер попал после неудавшегося Мюнхенского путча в тюрьму Ландсгурт, Гесс привел туда Гаусгофера, ставшего постоянным и долголетним советником Гитлера. Гаусгофер пытался сформировать геополитику Гитлера, который внимательно выслушивал магов, сытно кормил их и даже оплачивал экспедиции в Тибет, в Гималаи. Там, по утверждению якобы посетившего те места бывшего генерала вермахта, ждет, чтобы проснуться и повести за собой человечество, раса гигантов прошлой Луны.

К тому времени, когда машина фюрера, словно крадучись, подобралась к вилле Гаусгофера, не занимавшего официальных постов в империи, но остававшегося фигурой, окутанной тайной, хозяин дома уже приехал с вокзала. Марта предупредила о звонке фюрера, и потому Гаусгофер оставил в полутемной прихожей, освещенной лишь вывезенными из Непала и Тибета светильниками, в которых лампады были заменены электрическими лампочками, Георга Гурджиева — неизвестной националь-

ности человека, выдававшего себя за бурята. Сам же хозяин поспешил с гостями в ванную, чтобы там срочно снять с них дорожную обыденную одежду, которая предназначена была для того, чтобы никто не заподозрил в них существ иного плана, нежели ирландских предпринимателей, за которых они себя выдавали во время своих путешествий у врат Тибета. Одежды, в которых путешественники должны были предстать перед Гитлером, уже были готовы, развешаны по креслам в просторной ванной комнате, вычищенные и выглаженные неутомимой и верной Мартой.

Один из гостей переоделся в оранжевую тогу буддийского монаха и водрузил головной ламаистский убор, схожий с греческим шлемом, второй же избрал куда более экзотическую одежду — это был черный балахон с капюшоном, скрывающим в тени лицо, и в этой черной неопределенности особенно ярко выделялись ярко-зеленые перчатки.

Марта встретила фюрера, вошедшего, по обыкновению, к учителю в одиночестве, тогда как охрана разбежалась вокруг виллы, отрезая ее от внешнего мира, и провела в гостиную, где Гурджиев, давно известный фюреру, почтительно поднялся и поклонился, сложив перед грудью ладони.

— Не надо, брат, — сказал фюрер, проходя к своему креслу, — у него в этой гостиной было единственное преимущество перед прочими — свое кресло. — Мы здесь все равны. Мне надо посоветоваться с учителем.

— Он сейчас придет, брат, — сказал Гурджиев, чуть утрируя свой восточный акцент. — У нас сегодня гости. Наконец сбылась мечта Посвященных — они были там.

— Что? Что ты хочешь сказать? — Но Гурджиев игнорировал вопрос фюрера и обернулся к двери, в которой показались Посвященные.

Генерал Гаусгофер, отлично выглядевший, подтянутый, упорно занимавшийся йогой и никогда не выкуривший ни сигареты, отчего казался куда моложе своих семидесяти лет, сделал шаг в сторону, пропуская гостей.

Первым вышел человек в черном капюшоне и зеленых перчатках, за ним — буддийский лама. Лицо ламы сразу привлекло внимание фюрера — у него был крупный нос, большой жесткий подбородок и такие глубокие глазницы, что глаза скрывались в них, как в колодцах.

Оба гостя поклонились фюреру, и фюрер так же молча ответил на их поклоны.

— У нас гости, Адольф, — сказал Гаусгофер. — Гости издалека. Только что они возвратились из Тибета. И впервые наше предприятие оказалось успешным. Отчет об израсходовании тридцати шести тысяч фунтов стерлингов на организацию экспедиции будет передан завтра.

— Гиммлеру, — сказал Гитлер. — Именно он будет отныне оплачивать расходы из конфиската.

— Я не понял тебя, брат, — сказал Гаусгофер.

— Мы не для того отнимаем неправедно нажитые деньги у еврейских богачей и ростовщиков, чтобы кидать их на ветер, — в мире должно быть равновесие.

— Воистину, — сказал генерал и жестом пригласил всех садиться. Потом продолжал: — Я рад, что ты, Адольф, услышал мой мысленный зов и почувствовал, что ты должен быть первым, кто услышит отчет о великом открытии.

Фюрер намеревался сказать, что знанием о великом открытии обладает скорее он, нежели мистики и маги, но понял, что отказываться от дара неразумно. Он склонил голову, признавая за собой право на телепатию.

— Разреши представить тебе — лама Ананда Мохендра.

Пан Теодор, скрывавшийся под этим экзотическим именем и недорого купивший место сопровождающего лица у мага в зеленых перчатках, известного ранее генералу Гаусгоферу как Фридрих Штамм, однако всему миру должный являться как тибетский маг Лобзанг Рапа, чуть склонился вперед, вперив в фюрера упорный взгляд, и тот быстро перевел глаза направо, к магу в черном халате и зеленых перчатках.

— Именно Ананда Мохендра, — сообщил генерал Гаусгофер, — смог провести нашего с вами брата и соратника Лобзанга Рапа в таинственные и недостижимые подземные пещеры в Агарти, храме непричастности.

Гитлер кивнул, будто эти откровения были ему знакомы, впрочем, в многочисленных и многолетних беседах с Гаусгофером, Сиверсом, Эккертом и иными магами, астрологами и восточными целителями, имевшими доступ к нему, термины и понятия обсуждались не раз, правда, далеко не всегда в понятие или термин вкладывался один и тот же смысл. И в этом была сила магов, так как сознание не могло уцепиться за нечто конкретное, подобное точке на карте, — Шамбала могла завтра изменить свою функцию и расположение в космосе, а Земля — вывернуться наизнанку, поместив человечество внутрь себя.

Гитлер сегодня был не столь внимателен и прилежен, как

обычно, — ему надо было поделиться с Гаусгофером своей тайной, но собеседники этого не чувствовали, потому что акт, разыгрываемый ими, был вершиной определенной деятельности, стоившей многих средств и приготовлений.

— Говори! — приказал Гаусгофер Лобзангу Рапе. Тот поднял зеленую руку и поправил капюшон, словно настраиваясь на должный тон.

— Мы были в тайном из тайных святилищ Лхассы, — заговорил он громко и значительно, ибо был допущен до самой главной тайны ледяного мира...

Неожиданно Гитлер, который никак не мог сосредоточиться на тайнах Тибета, вопреки ожиданиям Гаусгофера, произнес:

— Я полагаю, что подробный рассказ мы побережем до собрания Посвященных. Ты только скажи мне, брат, — ты видел?

— Я видел, мой фюрер! — воскликнул лама, странным образом нарушая обращение к брату магу, но никто не обратил внимания на эту оговорку. — Я видел три гроба из черного камня, на которых были вырезаны тончайшими иглами загадочные рисунки, — гробы были открыты, и лама Ананда, — человек в зеленых перчатках изящным жестом указал на своего молчаливого спутника, — позволил мне заглянуть внутрь и показал, что именно эти существа обитали в нашей стране в те времена, когда на месте Гималаев тянулась бесконечная ровная долина. Я взглянул на них, мой фюрер, я был очарован и одновременно охвачен бесконечным ужасом. Их тела были покрыты листами золота, видно, чтоб предохранить их от тления. Мужчины были пяти метров в длину, а женщина — трех метров... У них большие головы, узкая челюсть, маленький рот и узкие губы, в то же время их лица по-своему прекрасны...

Гитлер неожиданно поднялся и обернулся к Марте, которая как раз вошла в гостиную, неся поднос с китайскими чашечками.

— Мне чаю не надо, — сказал он.

Лама в зеленых перчатках, не услышав реплики фюрера, продолжал:

— На крышке одного из гробов, что лежала рядом с гробом, я разглядел искусно выгравированную карту звездного неба и, к своему удивлению, убедился, что расположение звезд на ней совсем иное, чем то, к которому мы привыкли.

— Спасибо, — сказал фюрер. Он быстро пошел к выходу — генерал кинулся за ним, не понимая еще, чем прогневал Гитлера. И когда он поравнялся с фюрером в коридоре, тот спросил: — Где можно поговорить с тобой наедине?

Не дожидаясь ответа, он толкнул дверь в ванную комнату и увидел, что она вся — доказательство быстрого переодевания, но Гитлер вроде бы и не заметил этого, а прошел к следующей двери — она вела в спальню. Шторы в спальне были задвинуты, там было темно.

Гитлер прошел к окну. Отодвинул край шторы, выглянул наружу. Затем отпустил штору, и сказал:

— Не зажигай света. Я все отлично вижу. Закрой дверь.

Стало почти совсем темно.

За дверью неслышно дышал пан Теодор, который проследовал за Гитлером и Гаусгофером.

— Сегодня я разговаривал с людьми, которые видели взрыв русской супербомбы.

— Вы не рассказывали мне, брат, — ответил бестелесный голос генерала, — что послали людей втайне от меня.

— Рано было рассказывать. Я соберу братьев, и мы вместе рассмотрим фотографии, сделанные нашими людьми.

— Что означают ваши слова — супербомба?

— Это атомная бомба, о которой нам уже говорили.

— Возможно ли это, мой фюрер?

— Сталин имеет атомную бомбу. Этого можно было ожидать, потому что я окружен неучами и самоуверенными выскочками. Оказывается, у нас не делается совершенно ничего, ты понимаешь — совершенно ничего для того, чтобы не отстать от русских. И если сегодня орудием пламени обзавелись русские евреи, то завтра им будут владеть евреи американские. Ты понимаешь, что это означает для нордической расы? — Гитлер почти кричал, он не мог контролировать голос, который разносился по всей вилле генерала. — А ты мне подсовываешь разглагольствования ламы о трупах в золотых гробах — я не настолько наивен, чтобы принять этого дешевого актера за настоящего тибетского ламу.

— Я никогда не скрывал, что это наш брат, засланный нами в Тибет.

— Оставим это. Поверь мне, что меня сегодня куда более беспокоят дела земные. Бомба существует! Это вызов нашей нордической расе! Это провозвестник безлунной эпохи, которая будет рождать все новых карликов, цыган и негров!

— Я не верю, что тайные и неразрывные связи, которые существуют между вашей, фюрер, судьбой и гигантами прошлого, могут оборваться из-за попытки, даже успешной, русских испугать вас. И вернее всего — бомбы нет.

— Что?

— Это инсценировка бомбы.

— Ты не знаешь — они построили город — настоящий город, они назвали его Берлином. Там были танки, самолеты, и ничего не осталось на километры вокруг.

— Я не верю, — твердо сказал генерал. — Это гипноз.

— Тебе важнее гонцы из Тибета?

— Разумеется, именно в этом судьбы мира и наша судьба. Что может изменить одна бомба в такой великой судьбе? Гиганты ждут пробуждения! Забудь о бомбе, мой фюрер!

Гитлер замолчал.

Затем, не прощаясь, прошел к двери, толкнул ее, безошибочно отыскав в темноте ручку. Пан Теодор прижался к стене, пропуская фюрера. Тот не заметил ламу. Он спустился к машине.

Пошел дождь. Опять стало сумрачно.

Гитлер приказал ехать к себе.

Только в машине он понял, почему столь раздражен своими верными союзниками, которых, как ему казалось, он ранее использовал в той мере, в какой верил или хотел верить в ледяной мир, падающие Луны или Полую Землю. Выслушивая их, он всегда интуитивно чувствовал, с какого момента их заносило и они начинали лгать, чтобы запугать или умилостивить фюрера, потому что, в сущности, были маленькими и зависящими от него людьми. За исключением великого путаника Горбигера, от которого Гитлер унаследовал безусловную веру в интуицию, в озарение как главный движитель истории. Но озарения могли посещать только его самого. Вот и сейчас — ни черта они не поняли в реальности русской бомбы и в угрозе, которая нависла отныне над Третьим рейхом. Трупы в гробах... Если отогнуть обшлага зеленых перчаток, наверняка окажется, что они забыли отодрать этикетку берлинского магазина. А он так хотел поговорить с генералом и, главное, рассказать ему про чудо, случившееся сегодня в рейхсканцелярии, когда он увидел воплощенную Гели Раубал и понял, что именно в этом таится главный мистический смысл, — через общение с русской откроется и власть над атомной бомбой. Надо только собрать воедино все данные и выстроить достаточно точную, математически проверенную и интуитивно осознанную теорию. Может быть, в иной ситуации Гитлер с удовольствием позволил бы себе поверить и в золотые трупы, и в гробы с чужими созвездиями... Но не сегодня. Сегодня генерал покинул его и оставил один на один с судьбой.

...Ева Браун вышла встретить Гитлера в холл и смотрела, как адъютант снимает с фюрера плащ.

— У нас никого не будет к ужину? — спросила она.

— Нет, — отрезал фюрер, он не сразу сообразил, кто эта бесцветная и обыкновенная немецкая женщина, — почему она встречает его?

Он быстро поднялся к себе и затворился в кабинете.

Следовало принять быстрые решения — самому, потому что именно сейчас и наступил момент перелома мировой судьбы. И не в Тибете, а в Берлине и Москве.

До полуночи Гитлер провел за столом, набрасывая варианты своих и государственных действий на ближайшие дни. Он был против того, чтобы на данном этапе расширять число лиц, видевших фотографии Фишера и записи показаний пилотов и допросов русских. В половине двенадцатого ночи он набрал личный телефон адмирала Канариса и попросил его завтра утром приехать в рейхсканцелярию. Тот был готов к звонку, он ждал его.

Сталин стоял перед раскрытым книжным шкафом, стараясь вспомнить, в какой том Салтыкова-Щедрина была вложена вырезка из «Огонька», которая так понадобилась сейчас. Он не хотел ошибиться, это было бы признанием своей слабости.

Порой Сталин вкладывал в книги нужные, не для чужого глаза, записки или документы, которые не хотел держать в письменном столе или сейфе. С времен подполья он убедился, что надежнее всего тайне лежать не там, где ее ищут. Нет абсолютных замков и засовов. Всегда, на крайний случай, можно отыскать, того, кто сделал замок, и заставить его изготовить еще один ключ.

Даже самые близкие и хитрые не догадывались, что Иосиф Виссарионович на самом деле допускал возможность временного поражения, отступления, ухода в подполье, — оппозиция и враждебное окружение были сильны и коварны. И он ни на секунду не сомневался, что в поисках союзников такие подонки, как Бухарин и Тухачевский, завязывали связи с империалистическими разведками. Однажды удалось разоблачить. Еще раз успели схватить за руку. А что будет завтра? Что замыслил Ежов, собравший в ручонках такую власть? У Ежова комплекс махонького человечка, он хочет наполеонствовать. И с бомбой он может стать хозяином всей Земли, правда, если

ему удастся ликвидировать лично Сталина. Но мы не дадим ему такой возможности.

Вспомнил! Третий том. Ближе к концу.

Сталин достал книгу и открыл ее сначала на шестнадцатой странице. Все в порядке. Короткий, в сантиметр, отрезок его рыжего, от уса отрезанного волоса был вложен так, что неосторожные пальцы наверняка бы до него дотронулись и сдвинули... Значит, никто книгу не открывал.

Сталин отошел к письменному столу.

Закурил.

...Лет пять назад он вдруг вспомнил о подвале на Лесной улице. Там, под магазином колониальных товаров некогда скрывали печатный станок. Вечером Сталин приказал отвезти его туда. Он узнал дом. Дом был трехэтажным. На месте магазина располагалась какая-то контора. Он не стал вылезать из машины, а когда вернулся домой, велел Ягоде проверить, что сейчас в подвале. В подвале лежали старые папки и сломанная мебель. Ягода, сообразив уже, почему Сталин спрашивает о подвале, предложил создать в подвале музей — восстановить типографию, спускать в подвал экскурсии молодежи, чтобы та понимала, в каких дьявольски тяжелейших условиях приходилось работать ленинцам. Сталин сказал — нет. Не надо напоминать народу, что мы таились в норах. На самом деле он решил оставить подвал для себя — если придется восстанавливать подпольную типографию для настоящей борьбы, то лучше, чтобы о ней ничего не знали. И может показаться странным, но, когда Ягоду арестовали, Сталин вспомнил о магазине колониальных товаров на Лесной улице и порадовался тому, что теперь не будет свидетеля. Словно Ягоду приказал арестовать не он, а кто-то другой, верховный Судия, охранявший опасное будущее Сталина.

Посторонний никогда бы не догадался, почему та или иная бумажка или фотография удостаивалась чести быть упрятанной в книжный шкаф. Порой и сам Сталин, случайно обнаружив в книге необычную закладку, не сразу мог сообразить, почему она там оказалась.

Но вырезка из «Огонька» к их числу не относилась. Он вынимал ее не раз, он даже захватал пальцами ее правый нижний угол. Это была репродукция с фотографии, на которой был изображен странный профиль немолодого человека, постриженного под бобрик, крутолобого, бровастого — брови были даже преувеличены как бы для удобства карикатуристов. Но еще более преувеличены были усы, моржовые, тяжелые, необычайные.

Сталин положил фотографию на стол. Конечно, он предпочел бы иметь иную, анфас, чтобы встретиться взглядом с Юзефом Пилсудским, маршалом Польши, чтобы встретиться взглядом и не спеша, негромко сказать: «Ну кто из нас победил, пся крев? Как тебе было перед смертью? Говорят, у тебя был рак? Это очень болезненно». Хорошо бы, у Пилсудского был рак. И не спасли его ни профессора из Берлина, ни мешки злотых.

Привлекательное в своей преувеличенности лицо польского маршала, начальника государства, посмевшего унизить Сталина и уйти от справедливого возмездия, вдруг ожило и начало поворачиваться к Сталину — видно, тому очень хотелось увидеть глаза маршала, помершего уже несколько лет назад. Но вдруг Сталину стало неприятно и страшно от этого кажущегося движения. Он накрыл портрет ладонью и намеревался было положить его обратно в книгу, как в дверь стукнули, — это был стук Поскребышева. И тут же дверь отворилась.

— Можно, Иосиф Виссарионович? — спросил маленький, вкрадчивый Поскребышев.

Рука Сталина сама, без волевого приказа мозга, смяла листок с портретом, пальцы скатали листок в шарик поменьше грецкого ореха, а тем временем Сталин смотрел Поскребышеву в глаза, чтобы тот не мог увидеть, что же делают пальцы вождя.

— Ну что, приехали товарищи с Севера? — спросил Сталин, поднимаясь и пряча бумажный орешек в карман кителя. Не надо Поскребышеву знать, чей портрет рассматривает Иосиф Виссарионович.

— Они ждут, Иосиф Виссарионович, — сказал Поскребышев, стараясь не смотреть на руку Сталина, опустившую в карман смятый в шарик листок бумаги. Тайна этого листка могла заключать в себе сотни тысяч жизней, судьбы городов или государств, а могла быть просто неудавшимся наброском к речи, которую товарищ Сталин готовил к встрече со стахановцами.

Через минуту в кабинет вошли товарищи с Севера.

Сталин считал себя безошибочным физиогномистом и забывал о своих ошибках в определении людей с первого взгляда. Помнил лишь о правильных угадках.

Ежов вошел первым и сделал шажок в сторону, произведя рукой широкий, будто из народного танца, жест, приглашающий остальных заходить в кабинет.

Первым послушался этого жеста Матвей Ипполитович Шавло.

Сталину нетрудно было угадать, что это и есть тот самый

физик, потому что остальных — Алмазова и Вревского — он встречал и помнил.

Шавло Сталину не понравился.

Во-первых, преувеличенно высоким ростом, отчего он склонялся к Сталину и вынужден был смотреть на него сверху, а Сталин этого не любил. Во-вторых, фатоватой внешностью — усиками а-ля Гитлер, полубаками, как на вывеске тифлисского парикмахера, вальяжностью манер, напоминающих, как ни странно, графа Алексея Толстого, к которому Сталин относился со снисходительным презрением, полагая, что в постоянном желании угодить граф халтурит и «Хлеб» написал куда слабее, чем другие части своего романа, и получилось, что фигура Сталина обрисована схематично и скучно, как сочинение на заданную, но неинтересную тему. Наверняка этот Шавло курит трубку, подумал Сталин. Но у меня он курить не будет.

— Давно хотел с вами познакомиться, товарищ Шавлов, — сказал Сталин, протягивая руку Матвею и тут же мягко освобождая ее, чтобы поздороваться с чекистами. — Мы внимательно следим за вашей работой.

Сталин прошел на свое место во главе стола, остальные по незаметным экономным жестам Ежова заняли места вдоль стола. Шавло и Алмазов — по правую руку от Сталина, Вревский и Ежов — по левую.

— Я думал, — сказал Сталин, раскрывая пачку папирос и разрывая их, чтобы набить табаком трубку, — собрать также членов Политбюро. Но решил, что эта встреча была бы преждевременной. Работа еще не доведена до успешного конца, и мы вынуждены ограничить круг посвященных в нее самыми надежными и проверенными товарищами.

Сталин замолчал и стал раскуривать трубку, отчего Матвею страшно захотелось закурить, но он понимал, что не может себе этого позволить. Впрочем, судьба, столь прихотливо ведущая его по жизни, должна все изменить. Ведь здесь, в обширном, но при том скромном, почти аскетическом кабинете, есть два великих человека, он и Сталин. И возможно, Сталин еще не понимает, что означает для него самого встреча с Матвеем Шавло. И Сталин еще не знает, что день 18 апреля 1939 года для него не менее важен, чем 7 ноября семнадцатого...

— Пленка узкая, — сказал Ежов, виновато улыбаясь.

— Знаю, — сказал Сталин. — Среди вас не было Эйзенштейна. — Он улыбнулся по-доброму, чуть лукаво и добавил: — Надо было уже лет пять назад направить его вам в консультанты.

Ежов засмеялся высоким голосом.

Как будто ожидавший, когда Ежов отсмеется, вошел низкий сутулый человек с тяжелым обезьяньим лицом, одетый до странного точно как Сталин. Прижимая к груди, он нес проектор.

— Ставьте на стол, — сказал Сталин.

Человек в сталинском френче вытянул из гнезда длинный шнур со штепселем и оглянулся в поисках розетки.

— Выключите настольную лампу, — велел Сталин.

Подчинившись, человек во френче быстро ушел в приемную и мгновенно вернулся в кабинет, неся в руке длинный белый рулон. Он развернул его, рулон оказался экраном, который он повесил на гвоздь, торчавший из стены слева от Сталина, Матя понял, что в этом кабинете такая процедура не внове. Человек во френче стоял в ожидании.

— Товарищ Алмазов умеет обращаться с аппаратом, — быстро сказал Ежов.

Но человек не уходил. Видно, не принято было доверять проектор чужим. Ежов достал из портфеля пленку, намотанную на бобину.

— Вы свободны, — сказал Сталин. — Если товарищи из госбезопасности все умеют делать сами, дадим им попробовать.

Шавло откровенно рассматривал Сталина. Тот оказался темнолицым, рябым и почти седым, и потому смотреть на него было неловко. Как на известную красавицу, которую ты невзначай застал раздетой, в одном халате с ненакрашеными губами и незамазанными морщинами. Сталин почувствовал его взгляд и, оторвавшись от наблюдения за тем, как готовят к показу проектор, обернулся к Мате и по-кошачьи уперся в него медовыми зрачками, застыло улыбаясь.

— Вы уже, наверное, смотрели этот фильм, товарищ Шавлов, — сказал он, — и вам неинтересно смотреть его снова?

— Интересно или нет, к этому фильму не относится, — ответил Шавло.

— Посмотрим, — сказал Сталин, как бы заранее не соглашаясь.

Сталин склонил голову, и Ежов подхватил это движение, карикатурно склонив свою хорошенькую головку.

— Я хочу заметить, Иосиф Виссарионович, — звонко произнес он. — Мы все, свидетели испытаний, были охвачены радостью и гордостью за нашу страну, которая открывает такие возможности перед человеком.

Сталин приподнял бровь, будто не все понял и хотел переспросить наркома, но передумал и стал раскуривать погасшую трубку.

— Товарищ Алмазов, — произнес он, пыхнув душистым дымом, — закройте шторы, если все готово.

— Все готово, — сказал Алмазов.

Он быстро подошел к окнам и стал одну за другой сдвигать тяжелые шторы. Остальные молча ждали. Каждое погасшее окно было ступенькой к темноте.

В комнате стало почти совсем темно.

Алмазов вернулся к проекционному аппарату.

— Начнем, товарищи? — Голос Сталина прозвучал сам по себе, вне его темного силуэта.

— Поехали, комиссар, — сказал Ежов.

Проектор застрекотал, как швейная машинка. Загорелся экран. Почему-то долго он был ярко-белым, хотя по нему проскакивали какие-то линии и пятна. Затем показался общий план испытательного полигона, как его увидела кинокамера с крыши института.

— Вы видите, — сказал Ежов, — обстановку на полигоне перед началом испытаний.

Шавло видел, как затухает и разгорается красный огонек трубки Сталина.

— Пускай говорит Матвей Ипполитович, — сказал Сталин.

Он заранее узнал мое имя и запомнил его, подумал Матя. По крайней мере, он ко мне относится серьезно. Он представил, как Сталин, мирно попыхивая трубкой, листает его дело. Чего там только нет — в моем личном деле! Наверное, я бы сам удивился, прочтя какие-то страницы...

Общий план. Теряющееся в тумане снежное еще поле тундры.

Правда, кое-где по нему пошли проплешины, да видны многочисленные колеи, оставленные бестолково гонявшими по тундре машинами и танками. Центром этой картины был небольшой европейский, вернее всего немецкий, городок — издали можно было различить кирху, здание ратуши и две узкие короткие улочки, дома на которых чуть не касались друг друга верхними этажами.

Город был нереален, как декорация сумасшедшего режиссера.

— Мы решили сделать центром испытательного стенда макет части города в натуральную величину, — сказал Шавло.

Он замолк и услышал, как стрекочет проектор и быстро ды-

шит Ежов. Наверное, нарком простужен. Сейчас он откашляется. Ежов глухо, придавленно кашлянул.

— Немецкий город, — с торжеством отличника уточнил Сталин. — Я полагаю, что это не случайно.

— Не по русскому же городу бить, — сказал Ежов и закашлялся.

— Правильное наблюдение, — сказал Сталин. — Продолжайте, академик.

Обращение не польстило — в конце концов Сталин мог думать, что руководители таких больших проектов всегда академики. У Шавло в шараге работали четыре академика, там были несчитанные профессора и членкоры и один член Британского королевского общества. Все были покорны и ему, и любому охраннику.

В кадре — а оператор повел камеру вбок — показались иные строения, находившиеся в стороне от городка: самолетный ангар, из которого высовывался нос двухмоторной машины, две северные двухэтажные избы, площадка, на которой стояли в ряд несколько танков, ярмарочная карусель...

— Все, что вы здесь видите, — сказал Шавло, — настоящее. Город построен из кирпичей, дома имеют фундаменты, танки и самолеты тоже настоящие.

— Теперь я вижу, — сказал Сталин, — что вы подготовились к испытаниям основательно.

После черной перебивки — видно, оператор менял объектив — они получили возможность разглядеть тот же городок куда ближе — стали видны часы на башенке ратуши. По улице медленно ехала телега, запряженная лошадью. Телега была нагружена и закрыта брезентом. Рядом шагал человек — на расстоянии не разглядишь, как он одет.

— И в вашем городе есть население? — спросил Сталин.

Наступила пауза, потому что Шавло не хотел отвечать на этот вопрос. Он ждал ответа кого-то из чекистов. Ответил Алмазов:

— Эксперимент должен быть исчерпывающим, — сказал он. — Естественно, мы не могли исключить из него живых существ. Нами было отобрано несколько наиболее опасных преступников, приговоренных к высшей мере наказания, товарищ Сталин... А также ряд животных, включая морских свинок, лошадей, собак и мышей.

— И слон! — сказал Вревский. — Настоящий, я видел.

— И слон, и некоторые земноводные, и белый медведь. Но не беспокойтесь, это все старые, списанные из зоопарков звери, — сказал Алмазов.

— Вы говорите, как будто оправдываетесь, — сказал Сталин. — А оправдания здесь неуместны, товарищ Алмазов. Народ не простит нам, если во время грядущей войны мы будем рисковать жизнями простых советских людей только потому, что пожалели нескольких жаб, слона и мерзавцев, заслуженно приговоренных к смерти. Продолжайте, товарищ Шавлов.

Все это время фильм продолжался, давая возможность зрителям подробнее разглядеть детали натюрморта.

Оператор снова сменил объектив на самый широкий, и на экране замер городок среди тундры.

— Сейчас будет, — сказал Алмазов.

— Не молчите, товарищ Шавлов, — потребовал Сталин.

— Взрывное устройство, — сказал Матя, — было установлено нами на высоте двадцати трех метров над землей.

— А как взрывали? — спросил Сталин.

— Одну минутку, — сказал Шавло. — Сейчас нам все покажут.

Пришлось подождать минуту — она была бесконечно длинной. Ежов снова откашлялся.

И вот камера поехала влево — остановилась. В центре кадра оказалась ажурная металлическая вышка, схожая с тригонометрическим знаком. На верхней площадке вышки находилось нечто темное, массивное.

— Похоже на парк культуры, — неожиданно произнес Сталин.

— Почему? — удивился Шавло.

— Потому что там есть карусель и вышка для прыжков с парашютом, — сказал Сталин и хихикнул. И тогда Шавло понял, что Сталин тоже волнуется, что ему передалось нервное напряжение его гостей, которые уже видели и пережили все это.

— На этой вышке установлено наше взрывное устройство, — сказал Шавло, переждав, пока задорно отсмеется Ежов. — Мы вырезали лишние кадры, потому что нам пришлось ждать несколько минут. Через несколько секунд вы, товарищ Сталин, станете одним из первых свидетелей нового, абсолютного оружия!

Матя еле успел договорить, как на том месте, где была вершина вышки, вспыхнул яркий свет — ослепительный даже на экране. Свет этот, почти не тускнея, начал распространяться, и вдруг кадр перекосился, вышка ушла из него...

— Что такое?! — крикнул Сталин.

И быстро ответил Ежов:

— Товарищ Шавло успел перехватить камеру — оператор временно был ослеплен.

— Говнюк, — сказал Сталин.

А тем временем горящее облако начало бешено клубиться, занимая весь экран и порываясь оторваться от земли, умчаться в небеса, унося с собой все, что попало в орбиту его кипения. Этот гигантский шар, размеры которого можно было лишь приблизительно ощутить в сравнении с предметами на Земле, лишь через несколько томительных секунд смог подняться ввысь, соединенный с землей лишь столбом — ножкой круглого, как сморчок, гриба.

— К сожалению, мы находились слишком близко к центру взрыва, — сказал Шавло, стараясь отстраниться от нового переживания тех минут. — Поэтому в кадре не помещается целиком весь взрыв.

— Но на фотографии есть! — почти прокричал Ежов. — Мы вам покажем!

Экран погас.

— Что случилось? — строго спросил Сталин.

— Меняем пленку, — сказал Шавло.

— Надо было больше пленки положить в аппарат, — строго велел Сталин, и никто не стал объяснять, что больше пленки в аппарат не поместится.

Когда экран загорелся вновь, он показал то, что только что было немецким городком.

От него почти ничего не осталось.

Груды кирпича, торчащие из них щупальца арматуры и обломанные зубы нечаянно устоявших углов. Но стены кирхи почему-то почти устояли. Правда, она лишилась колокольни. Ангар полыхал, а из десятка танков остались два — оба перевернуты, как детские игрушки...

Взгляд киноаппарата медленно перетекал от предмета к предмету, и в кабинете Сталина царило молчание, было тихо — даже на маленьком экране, приспособленном на стене над письменным столом, можно было угадать и осознать масштабы смерти, которую несло «взрывное устройство», изготовленное под руководством Полярного института при Наркомате внутренних дел СССР.

Наконец изучение убитого городка прекратилось, экран стал белым, включили свет. Алмазов начал перематывать пленку обратно.

Первым заговорил Сталин.

— Я надеюсь, — произнес он, — что вы, товарищи, знаете, как хранить эту кинопленку. В ваших руках находится один из самых главных секретов двадцатого века.

— Мы отлично понимаем это, Иосиф Виссарионович! — Ежов не мог скрыть торжества. Сталин понял величие их достижений!

— Однако, — видно, Сталин уже пришел в себя, вновь зажег погасшую трубку, — мы, коммунисты, не должны переоценивать свои достижения. Нет ничего опаснее, чем зазнайство. Вы согласны со мной, товарищ Шавлов?

— Разумеется, — сказал Матя. Он ждал совсем иных слов, неизвестно каких, но соответствующих великому моменту его победы.

— Вот именно. Пока что вы провели первое испытание нового оружия, которое показало себя эффективным средством борьбы с вражескими наземными сооружениями. Однако это еще только самый первый шаг. Нам предстоит большая и трудная работа. Скажите, товарищ Шавлов, сколько весит ваше устройство?

— Чуть более двух тонн, — сказал Матя.

— Когда, вы думаете, сможете уменьшить его вес до, скажем, пятисот килограммов?

— Я сомневаюсь, что это вообще сейчас возможно, — сказал Шавло и увидел, как Ежов укоризненно покачивает головой, будто Шавло ведет себя невежливо.

— Вот видите! — сказал Сталин. — Значит, вы не сможете поднять ваше оружие на борт самолета.

— У нас есть самолеты, которые могут поднять две тонны, — сказал Ежов.

— А мы хотели бы, чтобы самолет брал на борт три, четыре бомбы! — вдруг рассердился Сталин. Он поднялся и пошел вдоль стола, продолжая говорить: — Нам нужно воевать, а не в бирюльки играть, товарищ Ежов! Чего вы намерены добиться одной такой бомбой? Две улицы сломать? Не нужна нам такая бомба!

Он указал трубкой Ежову в лицо, и тот зажмурился.

Шавло подумал, что этот взрыв негодования не может быть совершенно искренним. Это театр, зрители в котором всерьез принимают угрозу Отелло задушить их голыми руками. И потому он решился.

— Товарищ Сталин, — сказал он. — Эффект применения нашего оружия будет в десять крат большим, если мы сбросим

бомбу с самолета. Она у нас находилась слишком близко к земле, и поэтому радиус поражения был невелик.

— Радиус поражения, говорите? — Сталину понравились слова Мати. — Ну хорошо, — продолжал он. — Показывайте, что вы мне еще принесли. Не может быть, чтобы вы ограничились одним этим кинофильмом.

— У нас есть фотографии, Иосиф Виссарионович, — сказал Ежов. — Они сняты на месте взрыва. Желаете поглядеть?

— Ну что ж, посмотрим на ваши фотографии, — сказал Сталин, усаживаясь вновь во главе стола.

Ежов раскрыл свой коричневый, с внешними карманами, скрипящий тугой кожей портфель и вытащил оттуда пакеты с фотографиями. Он улыбался сдержанно и таинственно, словно фея, принесшая Золушке пригласительный билет на бал в Дом Союзов.

Фотографии были большие, глянцевые, и Мате показалось — еще теплые после глянцевателя.

Ежов клал их по очереди перед Сталиным и сам давал пояснения. Можно было лишь подивиться памяти наркома — он сам увидел впервые эти фотографии лишь час с небольшим назад, когда они ждали, как из лаборатории на Лубянке приносили фотографии поштучно, и Шавло объяснял наркому — что же на них изображено. Ежов ставил на обороте карандашом какой-то значок и затем укладывал фотографии в стопку, проводя маленькими ладонями по краям, чтобы стопка была идеально правильной.

Сейчас же он, хорошенький, гладкий, видно, ему суждено на всю жизнь остаться мальчонкой, бросал краткий взгляд на очередную фотографию и давал объяснения высоким юношеским голосом:

— Здесь стояла водокачка. Мы ее сложили из кирпича. Мы покажем вам кирпич, когда принесем вещественные доказательства.

По его знаку Вревский поднялся и пошел к двери. Там должен был стоять капитан госбезопасности с рыжим кожаным чемоданом.

Матя вздрогнул при словах наркома. Вот что приволок сюда Ежов в кожаном чемоданчике! То, что он лазил в самое пекло, — его личное дело. Но он наверняка оттуда притащил какую-нибудь зараженную радиацией дрянь. При чемодане в приемной остался капитан госбезопасности, который не выпускал чемодан от самой шараги. Никому не доверял — как дипкурьер

свой портфель с почтой. «Товарищу Нетте — пароходу и человеку...»

Матя всю дорогу инстинктивно старался держаться подальше от чемодана, потому что, когда спросил, что там, Ежов отмахнулся: «Не лезь не в свое дело».

— Товарищ академик нас не слушает, — проник в сознание голос Сталина. — Товарищ академик, наверное, думает о следующих своих открытиях. Это похвально. Но сейчас мы хотели бы выслушать мнение Матвея Ипполитовича о результатах испытаний.

Матя хотел подняться — как в классе, но Сталин остановил его жестом руки с зажатой в ней трубкой. Другой рукой, вялой и вкрадчивой, он разбирал крупные фотографии разрушений, причиненных бомбой, а Ежов, перегнувшись через широкий стол и чуть не оторвав сапожки на высоких каблуках от пола, помогал класть фотографии парами: что было до взрыва и что стало после.

Некоторые строения можно было угадать — ту же кирху. Зато ратуша рассыпалась в горы щебня, и Сталин сказал сердито:

— Раствор пожалели. Раствор надо класть как следует.

— Условия Крайнего Севера, — вмешался Алмазов, и Сталин еще более рассердился:

— Везде есть тяжелые условия, но большевики не ссылаются на трудности. Для этого мы и доверили вам, товарищ Алмазов, ответственный участок работы. А это почему не разрушилось?

Трубка Сталина указывала на сложенный из вековых бревен, привезенный с Пинеги двухэтажный крестьянский дом, — наверное, опустел он, когда раскулачивали хозяина. Дом лишь покосился, но стоял крепко.

— Удивительно, — сказал Ежов. — Совсем близко от центра взрыва, а устоял. Русская работа, Иосиф Виссарионович.

Ежов облизал губы кончиком красного языка — губы были женские, капризные, изогнутые.

— Какая температура была на месте взрыва? — спросил Сталин, обращаясь к Шавло.

— К сожалению, — сказал Шавло, — установить это не удалось.

— Забыли, как всегда, поставить термометры?

— Нет, Иосиф Виссарионович, — обрадовался возможности исправить ошибку Мати Ежов, — термометры расплавились!

— Если расплавились, — сказал Сталин, — значит, надо было поставить другие термометры. Стойкие.

— Разрешите, я вам покажу пример? — Ежов вскочил — готовый бежать, исполнять, четко отстукивать каблуками по кабинету.

Но Ежов никуда не побежал, в дверях показался Вревский с чемоданом. Он понес чемодан к столу, и Сталин чуть отстранился, будто изготовился бежать. И Шавло понял, что у великого человека есть страх перед чемоданами, сумками и прочими возможными вместилищами смерти.

Ежов и Алмазов совместными усилиями поставили чемодан на дальнем конце длинного стола, так что Сталин мог расслабиться. Из верхнего кармана френча Алмазов достал ключик и открыл чемодан. В нем, словно куски домашнего сала, лежали предметы, завернутые в пергамент. Но что за предметы — Шавло не знал, потому что НКВД не информирует гражданских сотрудников о своих намерениях и действиях. Всей шкурой Шавло чувствовал — от чемодана исходит запах грозы.

Ежов вытащил один из свертков и пошел вдоль стола к Сталину, разворачивая его по дороге и улыбаясь, как будто там сейчас окажется слиток золота.

Он прошел за спиной Мати, и тот почувствовал словно ожог — инстинкт самосохранения завопил — беги!

Матя сидел неподвижно, напрягшись и побледнев.

Сталин перевел взгляд с приближающегося Ежова на Матю — он был интуитивен — что-то его насторожило в физике.

Ежов бухнул перед Сталиным на стол блестящий растекшийся ком — такими иногда бывают золотые самородки.

— Это, Иосиф Виссарионович, — произнес он, — ответ по поводу температуры. Мы вам на память привезли. Убедительней любых слов.

Они вытащили это из эпицентра, понимал Матя. Эта штука и этот чемодан испускают сейчас смертельную радиацию. Я попался между Скиллой и Харибдой...

Матя спасал себя — и у него не было времени рассуждать.

— Иосиф Виссарионович, — сказал он хрипло. — Простите меня, пожалуйста...

В тот момент он не знал, что скажет дальше, — предупредит ли Сталина об опасности или убежит из кабинета.

И Сталин, не разгадав еще причины столь невежливого поведения ученого, еще более насторожился и готов был уже оттолкнуть от себя блестящий самородок, и Ежов сразу обернул-

ся к Шавло — детские глаза наполнились мгновенной болью и упреком, Алмазов, сидевший рядом, больно наступил на ногу.

И Шавло понял, что выбора нет, потому что он сделал его раньше, еще на испытательном полигоне, когда позволил Ежову отправиться в пекло.

Матя криво улыбнулся. Он был бледен, высокий с залысинами лоб взмок.

— Мне нужно покинуть вас, мне, простите... я, наверное, что-то съел в дороге...

Матя был столь испуган, что и в самом деле боль в животе скрутила его так туго, что он готов был кричать.

И Сталину передалась именно эта боль. И сразу примирила его с неприятным длинным академиком, которого он, правда, еще не сделал академиком...

— Скажите в приемной, — заметил Сталин, кладя маленькую коротконалую руку на блестящую спину радиоактивного самородка. — Вам покажут.

И когда Матя вышел, Сталин добавил:

— В будущем, Николай Иванович, когда будете привозить ко мне несмелых ученых, сначала отводите их в туалет.

Чекисты улыбнулись, понимая шутку и разделяя ее.

— А теперь раскройте мне тайну, что же такое вы мне привезли?

— Это самый обыкновенный кирпич, Иосиф Виссарионович, — сказал Ежов. — Он попал как раз в центр взрыва. Так что вы можете собственными глазами убедиться в том, что температура там была высокая. И товарищ Шавло был прав, когда говорил, что все градусники полопались.

Алмазов тем временем достал из чемодана и передал наркому еще один предмет, который, будучи развернут, оказался большой неровной каплей стали. Затем последовал кусок спекшейся земли.

Сталин внимательно разглядывал каждый из трофеев и откладывал в сторону. Ежов заворачивал их в бумагу, передавал Алмазову, и тот клал их обратно в чемодан.

— Каковы результаты с живыми существами? — спросил Сталин, рассматривая главную, как бы завершающую всю серию фотографию, — фотографию великого дымного гриба, поднявшегося до низких облаков.

— В зоне испытаний, — доложил бесстрастно Ежов, — живых существ не обнаружено.

Почувствовав какую-то невнятную заминку в голосе Ежова, Сталин подбодрил его.

— Продолжайте, — сказал он. — Большие дела требуют жертв. Я понимаю ваши чувства.

Он посмотрел на дверь — Шавло пора было бы вернуться. Неужели так прихватило? Или это медвежья болезнь?

— Практически все живые существа, находившиеся в пределах километровой зоны, погибли, многие сгорели без следа. Вот общая картина взрыва. В последовательности.

— А слон? — спросил Сталин.

— Слон погиб, — сказал Алмазов торжественно, будто речь шла о генерале.

Алмазов протянул Сталину последнюю серию фотографий. Не все были удачны, на одной видно, что фотограф припозднился и не успел снять начало взрыва, — над городом уже поднималось темное вулканическое полушарие дыма и огня. Еще одна фотография взрыва получилась неудачной — опустив на секунду аппарат, чтобы посмотреть на площадку, фотограф был ослеплен и хоть попытался сделать снимок, тот получился нечетким и косым. Но Сталин сделал вид, что не обратил внимания на эту неаккуратность. Он понимал, что фотографам было нелегко.

На покрашенной голубой масляной краской стенке туалета был прикреплен фанерный ящичек — из него торчали края листков, нарванных из газет. И на них не хватает пипифакса, вздохнул Матя. Хотя это был туалет для охраны и случайных визитеров — вожди сюда не ходят.

Когда Матя вышел из туалета, лейтенант, который провожал его, сделал шаг в сторону — оказывается, он ждал, почти прислонившись к двери.

Сейчас он спросит меня, как мое здоровье, предложит лекарство? Как у них положено? Лейтенант ничего не сказал — он пропустил Матю вперед и шел сзади, шаг в шаг.

Сколько минут я себе подарил? Наверное, минут пятнадцать, надеюсь, они уже кончили рассматривать вещественные доказательства.

Лейтенант открыл дверь, и Матя остановился в проеме двери. Все обернулись к нему.

Но Шавло смотрел не на людей, он смотрел на излучающие радиацию трофеи Ежова. Керамический самородок все так же лежал перед Сталиным. Рядом — металлическая капля. К ним прибавился ком обожженной земли и изысканно, будто волей искусного кузнеца, изогнутый металлический прут...

Лицо Алмазова было напряжено и враждебно. Ежов, внима-

ние которого лишь на секунду оторвалось от фотографий, поглядел на Матю равнодушно. Но Сталин сразу уловил направление взгляда Шавло — тот смотрел на трофеи, лежавшие перед Сталиным, — и заметил, что физик не захотел возвратиться к своему месту — возле открытого чемодана. Он обошел стол и сел на три стула дальше от Сталина, чем раньше.

— Надеюсь, вас удачно пронесло, товарищ Шавлов? — спросил Сталин, не улыбаясь.

— Спасибо, — смутился не ожидавший грубости Шавло.

— Мы уж устали ждать, — сказал Сталин. И тут же — Алмазову: — Уберите наконец эти осколки!

— Разумеется, — сказал Алмазов, — мы только хотели продемонстрировать.

Он почувствовал недовольство вождя, но не знал, что послужило его причиной.

Вревский, поднявшийся, чтобы помочь Алмазову, который принялся заворачивать образцы в пергаментную бумагу, перехватил взгляд Сталина, обращенный к сверкающей металлической капле размером с небольшое яблоко, и уверенно, хоть и осторожно, словно дрессировщик, протягивающий кусок мяса в клетку непокоренного льва, подвинул каплю к Сталину.

— Возьмите себе на память о большом успехе, — сказал он уверенно, без тени лести или подобострастия.

— Мы еще решим, какой это был успех, — проворчал Сталин, не любивший оставлять последнее слово за другими, даже если был с ними согласен.

Тем не менее он подчинился, может, плененный совершенством линий и блеском этого трофея. Он взял каплю и положил перед собой, придавив ею стопку бумаг.

Ну это еще не так страшно, трусливо убеждал себя Шавло. Всего один слиток, вернее всего, Иосиф Виссарионович передаст его кому-нибудь... Шавло обманывал себя и знал, что обманывает, но сказать сейчас о том, что подарок Вревского излучает смертельные частицы, значило подписать себе смертный приговор. Сталин бы не простил Мате такого запоздалого прозрения. И был бы по-своему прав.

Сталин смотрел на Матю, будто старался прочесть его мысли, казавшиеся ему подозрительными. Но не преуспел в этом либо прочел их неправильно, потому что заговорил вполне миролюбиво.

— Теперь я хотел бы задать нашему новому академику несколько вопросов, — сказал Сталин. — Вы садитесь, товарищ

Шавлов, садитесь. И не обижайтесь на старика. Иногда я могу допустить нетактичную шутку, но всегда умею попросить прощения.

Алмазов отнес чемодан к двери, где его подхватил капитан. Матя хвалил себя — какой молодец, мой мальчик, — так мама говорит, — какой молодец, что решился и ушел из этого кабинета. И тут же вспомнил, что этот чертов чемодан летел с ним рядом в самолете — пять часов рядом... Может, я уже заражен.

— Я умею понимать шутки, товарищ Сталин, — сказал Шавло.

— Вот и молодец. Если бы все академики умели ценить мой юмор, мы бы уже давно построили социалистическое общество, правильно, товарищ Шавлов?

Поправить его или нет? Я же даже не членкор...

— Расскажите мне, товарищ Шавлов, когда будут готовы следующие бомбы?

— Мы ведем сейчас работы над вторым устройством, — ответил Матя. — Я надеюсь, что мы изготовим его к осени.

— Я не ослышался, товарищ академик? — спросил Сталин. — Вы хотите сказать, что намерены полгода бить баклуши, когда наша страна так нуждается в новом оружии?

— Товарищ Сталин, вы, наверное, представляете себе, что работа над атомной бомбой такая же простая, как над обыкновенной?

— Я ничего не представляю. Но зато я отлично знаю, что если оружие уже изобретено и испытано, то его можно поставить на конвейер.

— Но только не атомную бомбу! Изготовление каждой из них — событие экстраординарное.

— Почему?

— Во-первых, у нас не хватит плутония... Во-вторых...

— Ясно. — Сталин поднял руку, обрывая Шавло. — Товарищ академик не хочет спешить. Мы примем это к сведению.

— Я очень хочу.

— Замолчите! — оборвал Шавло Ежов. — Вы только мешаете нам работать. Поверьте мне, товарищ Сталин, я не зря несколько раз посещал испытательный комплекс и внимательно изучил на нем обстановку. Я убежден, что наш академик осторожничает...

Ежов сделал паузу, будто подыскивал уничтожающее слово для Мати. Сталин угадал это и быстро остановил Ежова:

— Товарищ Шавлов боится обмануть наше доверие. Я вы-

соко ценю его осторожность. Но мне бы хотелось соединить ее с энергией и боевитостью наших чекистов, вы меня поняли, товарищ Ежов?

— Я вас отлично понял. Мы даем вам обязательство приготовить до конца года... — Ежов запнулся и бросил взгляд на Алмазова.

— Десять бомб! — громко сказал Алмазов, словно он уже их изготовил.

— Вот видите, — словно передавая эти фантастические бомбы Сталину, протянул к нему ручонки Ежов. — Мы даем слово вождю, что до конца года мы сделаем двадцать атомных бомб!

Шавло постарался сдержать улыбку. Он вдруг понял, что находится на мальчишеской сходке, где они хвастаются перед взрослым бандитом, сколько раз летали на Луну. Или грабили магазин. Не важно...

Чекисты раскраснелись, они были взволнованны и рады возможности совершить подвиг обещания.

— Спасибо, товарищи, — сказал Сталин. — Но учтите, что мы серьезно спросим с вас в случае невыполнения социалистических обещаний.

— Они будут выполнены, — сказал Ежов, и голос его дрогнул.

— Товарищ Сталин... — пытался воззвать к его разуму Шавло.

— Я все понимаю, — сказал Сталин. — Вы должны помнить, что помимо неограниченных ресурсов, которые предоставляет в ваше распоряжение родина, мы даем вам несокрушимое оружие — горячий патриотический энтузиазм советских трудящихся. И потому попрошу вас, товарищ Шавлов, забыть о сомнениях. А вам, товарищ Ежов, надо будет подготовиться к совещанию с командованием Красной Армии. Я думаю, что им пора уже узнать кое-что о наших с вами маленьких секретах.

Шавло надеялся, что Сталин оставит его, выгнав чекистов, оставит, чтобы спросить о том, каковы же на самом деле возможности института. Он же понимает, что мальчики-чекисты просто болтают языками.

Но Сталин этого не сделал. Он поднялся, каждому из гостей пожал руку.

— Мы с вами скоро встретимся, академик, — сказал он. — После того как я приму решение, вам надо будет доложить на Политбюро.

Когда они вышли, капитан с чемоданом увязался за ними.

Матя большими шагами пошел впереди, Ежов и Алмазов, уступая ему в росте, отстали и это Ежову не понравилось.

— Товарищ Шавло, — окликнул он его, — вам никто не разрешал убегать.

Матя замедлил шаги.

Они спустились по лестнице во двор, к машинам.

— Сейчас поедем ко мне, — сказал Ежов. — Нам предстоит серьезный разговор в свете решения товарища Сталина.

Капитан с чемоданом открыл ему дверь в «ЗИС».

Алмазов и Шавло сели в «эмку» Алмазова.

— Что с тобой? — спросил Алмазов, как только они остались одни. — Что это за комедия с поносом?

— В самом деле схватило.

— Врешь. Я тебя знаю. Врешь. И Ежов это понял. Ты помни — если нужно, мы не посчитаемся с тем, что ты академик. Мы — государевы псы. А у тебя глотка не жестче, чем у другого. Академиков много...

— Все не так просто, Ян...

— Дурак, — сказал Алмазов. — Бомба уже сделана. Каждый твой шаг зафиксирован, все чертежи и материалы в наших руках. Неужели ты думаешь, что мы не найдем десять академиков, которые будут все делать не хуже тебя, но не станут капризничать при этом.

Матя отвернулся от Алмазова. Алмазов был зловеще прав. И это было отвратительно. Машина проехала Спасские ворота и выкатила на Красную площадь.

— Да, — сказал Алмазов обыкновенным голосом, — я тебя поздравляю.

— С чем? — Матя не смог сразу перестроиться на иной тон.

— С академиком.

— Меня не избирали.

— Значит, изберут.

— Товарищ Сталин пошутил.

— Такими вещами товарищ Сталин никогда не шутит, — возразил Алмазов.

Андрей увидел Альбину через неделю или восемь дней — в конце апреля. Дни после обеда у фюрера прошли тоскливо и медленно. Фишер был занят и почти не появлялся — лишь раза два приезжал с кипами бумаги, расшифровками показаний Андрея, требующими уточнений. Когда Андрей напоминал о том, что хочет увидеть Альбину и узнать наконец, что

намерена сделать с ним немецкая военная машина, Фишер отвечал:

— К сожалению, вам никто вразумительно на это не ответит. В России царит полное спокойствие, будто никакой бомбы и не было. Я вам оставлю последние номера «Правды», обратите внимание на заявление Совинформбюро. А что касается встречи с Альбиной, то тут я ничего не решаю. Как вы помните — вас как ценную военную добычу поделили две разведки. Вы попали к нам с Шелленбергом. Альбина томится в узах абвера — военной разведки Канариса. Мы и они — несовместимы. Так что терпите, мой друг.

— Но, может быть, мне позволят хотя бы гулять по Берлину?

— Чтобы вас увидел русский агент? Вы думаете, что их здесь мало? И если хоть один заподозрит в вас некоего Андрея Берестова, бежавшего из Берлина в Берлин, я за вашу жизнь не дам и ломаного гроша.

— Даже здесь?

— Тем более здесь. Учтите, Андрей, я говорю вам это со всем сочувствием и симпатией — ваша ценность уже приближается к нулю. Вас высосала наша разведка, вы вряд ли что сможете добавить к тому, что знаете. Наша система, как и все системы мира, направлена не на благо личности, а на благо державы, то есть против личности. Личностью мы всегда готовы пренебречь и пожертвовать ею. Вас выгоднее уничтожить, чем рисковать разоблачением. Сегодня Сталин думает, что его испытание осталось тайной или почти тайной. Стоит ему узнать, что в Берлине сидят по крайней мере пять свидетелей взрыва, из них два беглеца из его системы, как он примет все меры к вашему уничтожению. И моему тоже. Вам это ясно?

Фишер ушел, и Андрей стал читать «Правду». Странное, грустное и сентиментальное настроение овладело им, когда он вчитывался в пустые, в сущности, и родные только нашему соотечественнику сообщения о новых социалистических обязательствах, о переименовании городов, завершении того или иного строительства, о вредных тенденциях в буржуазных науках и отважной борьбе республиканцев в Испании... Там была даже карикатура, изображавшая Геринга и Гитлера, разрезающих на части покойную Чехословакию. Странно было сознавать, что ты знаком с этими уродцами и слышал их голоса, чего никогда не удается художникам Кукрыниксам.

Фишер дал прочесть Андрею заявление Совинформбюро, в

котором говорилось, что в некоторых американских и французских органах массовой информации появились домыслы о испытаниях в Советском Союзе нового типа оружия в районе Новой Земли. Каждому разумному человеку понятна абсурдность такого заявления, особенно в адрес государства трудящихся, которое поставило своей целью защиту мира и прав народов во всем мире. Однако Академия наук СССР уполномочена заявить, что в период 4 — 5 апреля с.г. в областях Полярного Урала и прилежащих районах Карского моря наблюдалась необычно высокая активность полярных сияний, что могло навести некоторых ученых на мысль о причастности советских компетентных органов к этим явлениям. Однако до сих пор полярные сияния проходили без помощи человека и даже независимо от его желаний. Мы надеемся, что со временем советская наука найдет способы управлять полярными сияниями и использовать их на благо нашей страны. В таком случае мировая общественность будет информирована об этом заранее.

В тоне заявления звучало издевательство — будто формально отрицая взрыв бомбы, всем своим существом, мелодией, настроением документ как бы допускал, что у Советского Союза есть все — и бомба, и управляемые полярные сияния.

На следующий день Фишер заявился снова и на этот раз принес целый пакет вырезок из американских и английских газет и журналов. Там отношение к событиям на Урале было различным, но некоторые ученые — их высказывания Фишер подчеркнул красным карандашом — утверждали о возможности создания атомной бомбы в Советском Союзе и ее успешном испытании. Например, некий венгерский физик Сциллард утверждал в «Нью-Йорк таймс», что сочетание сейсмических данных с данными наблюдений над полярными сияниями и возмущениями в мировой атмосфере указывает на то, что в России произошел большой силы атомный взрыв, — в этом нет никакого сомнения. К этому мнению присоединился и Эйнштейн, но Нильс Бор в интервью газете «Данска бладетт» был осторожен, напоминая, что сочетания природных явлений могут ввести в заблуждение физика, который ждет определенных событий, вызванных к жизни людьми. Интервью и статей было много, но, как понял Андрей, никто ничего наверняка так и не знал.

Кроме вырезок Фишер принес Андрею приглашение.

От Альбины.

Приглашение было вложено в незапечатанный конверт — длинный, голубой и плотный. Без имени адресата.

Внутри был листок плотной бумаги, подобный сложенной вдвое визитной карточке.

«Жду Вас у себя сегодня в четыре часа. Ваша Альбина».

Андрей протянул листок Фишеру, хотя низенький грузный разведчик отлично был знаком с содержанием послания.

— Что же, — сказал Фишер, — это очень любопытно.

— Почему именно любопытно?

— У меня такое впечатление, что абвер смог предоставить вашей спутнице лучшие условия жизни, чем мы, политическая разведка, вам, — сказал Фишер. Он вертел в руках конверт, потом даже понюхал его, приблизив к толстым маленьким очкам.

— Вы сделали это открытие сейчас или что-то знали раньше, но не говорили мне?

— Адмирал Канарис не делится с нами своими маленькими секретами, — сказал Фишер.

— А как я туда доберусь? — спросил Андрей, чувствуя, что вопросы заводят его в тупик.

— Это уж не мое дело. Вас пригласили, пускай заботятся.

— А вашей разведке, моим, можно сказать, покровителям, на это наплевать? — поинтересовался Андрей.

— Наша разведка принимает близко к сердцу ваши беды и заботы, товарищ Берестов, — усмехнулся Фишер. — Но порой ей удобнее отойти в сторону и наблюдать за вами... как это говорится, без натуги.

— Спасибо, значит, я не буду оставлен вашими заботами?

— Ни в коем случае!

Вскоре после этого Фишер, так ничего не рассказав, удалился, а Андрей, как всегда скудно и скучно пообедав, переоделся в новый серый дневной костюм. Он полагал, что за ним приедут. Это было в три. Потом он долго стоял у окна, надеясь, что Альбина догадается выпросить для него машину, — он даже не знает, где она живет. А вдруг она надеется на милость Фишера и его компании? А они играют с Андреем, как кошка с мышкой?

...Машина, скромный синий «опель-рекорд», остановилась перед воротами особнячка. Из нее вылез мужчина в длинном черном плаще и серой шляпе с прямыми широкими полями, надвинутой слишком низко на уши. Он позвонил, и из особняка вышел ленивый охранник в синем полувоенном костюме. Человек в шляпе показал ему свое удостоверение либо какую-то

бумажку, о которой охранник, видимо, знал заранее, потому что он сразу кивнул и вернулся в дом. Человек в шляпе стал медленно прогуливаться по тротуару вдоль решетки особняка. В этом тихом пригородном районе люди редко ходят по улицам — у владельцев особняков, как правило, есть машины, а собаки их гуляют в садиках позади особняков.

Охранник сунул голову в гостиную и сказал по-немецки, что господина Берестова ждут. Андрей с удивлением для самого себя понял, что за три недели общения с немцами незаметно для себя впитал в себя какое-то число слов и кое-что уже понимает.

Андрей поблагодарил и сразу пошел к двери.

Человек в серой шляпе распахнул перед ним заднюю дверцу машины.

Сам сел спереди, рядом с шофером в фуражке — у немцев, как заметил уже Андрей, была склонность к фуражкам, все носили их, только агенты и тайные люди носили шляпы, что было преувеличением, но близким к истине.

Человек в шляпе ни разу не обернулся и не сказал ни слова, Андрей лишь видел хорошо выбритую шею и часть затылка из-под шляпы. Шофер тоже молчал — все это было похоже на кадры из какого-то иностранного фильма с похищением героя мафией. Зато Андрей имел неспешную возможность смотреть по сторонам. Путь лежал через центр Берлина, деревья уже распустились, хоть листья были невелики, зато нежны цветом, и оттого воздух, наполненный нежарким солнцем, был подчеркнуто чист. Несмотря на дневное время, на улицах у центра было немало прохожих, а в парке, который они проехали, меж еще не оперившихся цветущих кустов были видны няни и мамы с колясками и молодые люди с книгами в руках. Если бы Андрей не знал, что находится сейчас в столице фашистского злобного государства, нацелившегося покорить весь мир, он мог бы с таким же успехом полагать, что судьба забросила его в Копенгаген или какую-нибудь Женеву. Впрочем, эти люди на улицах менее всего намеревались завоевывать мир и, наверное, мечтали, чтобы их оставили в покое гулять с колясками, читать романы или вести бухгалтерские книги.

Андрей помнил по картинкам, хотя жалел сейчас, что так мало интересовался архитектурой, величественное здание германского рейхстага, затем угадал Бранденбургские ворота, кажется, построенные в честь победы над Наполеоном, или это ворота у Белорусского вокзала построены в честь победы?..

Неожиданно машина свернула на боковую улицу, которая была застроена жилыми шести- и семиэтажными домами, и долго ехала по ней, а дома постепенно становились все ниже, а зеленые пространства между ними все шире, потом впереди, между домами, мелькнуло открытое пространство воды, но они не доехали до озера, а повернули на узкую и тихую улицу особняков, как будто, миновав Берлин, вернулись в район, подобный тому, в котором обитал Андрей.

Особняк, возле которого притормозил автомобиль, ожидая, пока откроются ворота, был несколько больше и, главное, отстоял куда дальше от улицы, так что к нему вела не узкая, устланная плитками пешеходная дорожка, а подъездная дорога для автомобилей, и вход не был дверью с медным звонком справа, а подъездом под узким портиком, который поддерживали четыре колонны.

Андрей поднялся по лестнице следом за человеком в серой шляпе, но тот не стал входить в дом, а только подождал, словно опасаясь, что Андрей убежит, пока застекленная дверь в особняк открылась и за ней обнаружился элегантный морской офицер, который на ученическом, почти правильном русском языке пригласил господина Берестова и сообщил, что его ждут.

Альбина сбежала навстречу Андрею по лестнице и сверху уже воскликнула:

— А я у окна стояла, ждала, думала, а вдруг не приедешь!

— Здравствуй, Альбина. — Андрей был искренне рад видеть Альбину, единственную родную душу в этом Берлине.

Она протянула ему руку, он хотел было ее поцеловать, но не решился, потому что не знал, какие здесь порядки, — за ними сейчас наблюдали внимательно несколько человек, как за подопытными кроликами, которых специально запустили в одну клетку, чтобы посмотреть, как они будут себя вести.

В сущности, за последние годы ему так редко удавалось оставаться одному — то есть быть уверенным в том, что никто за тобой не наблюдает...

— Пошли, пошли ко мне наверх! — сказала Альбина. — Гансик, вы свободны, я сама поухаживаю за Андреем, — сказала она морскому офицеру, и тот, не споря, щелкнул каблуками.

Андрей понял, что Альбине удалось поставить себя здесь иначе, чем ему, — если она и пленница, то в позолоченной клетке.

Альбина поднималась наверх первой, и Андрей наконец-то смог разглядеть, что она одета дорого и изысканно, но не вызывающе. На ней был брючный домашний костюм из китайской

материи, он был свободен, он как бы слегка касался ее тела, ласкал его, но при том давал возможность глазу угадать линии спины, бедер и ног и осознать их легкую изысканность.

Они вошли в гостиную, где стояли два дивана, низкий столик, на котором поместились бутылка вина и два небольших блюда с закусками.

— Я знаю, что ты пообедал, так что считай себя приглашенным на чай, — сказала Альбина, оборачиваясь к Андрею и оказываясь слишком близко от него, так что он невольно сделал движение к ней. Господи, как хороша эта женщина! И это — его грязная, обреченная на смерть, замороженная лагерная жена!

Альбина улыбнулась — он даже улыбки ее еще толком не видел — и отступила на шаг.

— Что будете пить? — спросила она, открывая дверцу бара, встроенного в высокий старинный буфет, который никак не гармонировал с современной обстановкой гостиной.

— А что пьют к чаю в вашем доме? — спросил Андрей, стараясь попасть в тон.

— Коньяк, — заявила уверенно Альбина и, поставив на столик бутылку коньяка, оклеенную черными с золотом этикетками, села на диван и показала Андрею место на другом диване — напротив нее.

Андрей понял, насколько наивны были его надежды на встречу наедине, может, даже в заросшем парке или интимности ресторана... Они сидели на сцене, и вокруг, из-за каждого угла, как из ложи, глядели невидимые, но внимательные зрители.

— Ну и как ты? — спросил Андрей, уже смиряясь с формальностью встречи. — Ты хорошо выглядишь. Красивая. Довольна жизнью?

— Спасибо, а ты? — спросила Альбина.

— Я недоволен жизнью, я плохо выгляжу, я хочу убежать или помереть, — сказал Андрей, почувствовав полное равнодушие к тому, довольны ли его словами новые тюремщики. — Я не знаю, сколько мне здесь сидеть в одиночке.

— Надеюсь, что твоя одиночка комфортабельна? — сказала Альбина, словно стараясь превратить разговор в шутку.

— Вполне. Это отдельная клетка с отдельным входом, отдельной спальней и отдельной ванной, вот только коньяка не дают, хотя, может, потому, что я не просил.

— Лучше, чем в лагере? — серьезно спросила Альбина.

— Не знаю. В лагере я был не один. Там все время были люди, неужели ты не понимаешь?

— Я не люблю людей, — сказала Альбина. — Вернее, я люблю очень немногих людей. Ты — почти такой человек.

Андрей кивнул, но его несколько покоробило то, что его оставили, хоть и допустили к грани, вне круга друзей Альбины.

— А здесь тебе хорошо? — спросил Андрей.

— Ты пей, пей, а если голодный, то я прикажу принести ростбиф. Конечно же, ты голодный!

Альбина привычным — когда она успела так войти в роль! — движением протянула руку к кнопке звонка, которой заканчивался белый провод, лежавший на подлокотнике дивана.

— Я вас слушаю, — донесся голос, словно говорили по телефону, но чуть громче.

— Ростбиф, пожалуйста, и скажи, Герберт, там не осталось жареной картошки с обеда? Той, которую ты так чудесно делаешь.

— Один момент, фрейлейн, — ответил голос.

— Сейчас повар сам принесет, — сказала Альбина.

— За что тебя так полюбил адмирал? — спросил Андрей.

— Во-первых, ты, наверное, забыл, что я была в свое время наложницей начальника строительства — Яна Алмазова. Он убил моего любимого мужа. — Альбина говорила спокойно, вяло, но Андрей понимал, что за этой вялостью есть сила убежденности, непреклонность маленькой христианской мученицы, выходящей на арену Колизея навстречу львам. — Я знаю, как и почему началась вся история с проектом атомной бомбы. Я знаю их всех с тридцать второго года. Семь лет. Теперь ты понимаешь?

— Ты мне раньше не говорила об этом.

— А ты и не спрашивал. А если бы спросил — ничего бы не сказала, зачем подписывать тебе смертный приговор?

— Спасибо.

— Не стоит благодарности.

Постучавшись, вошел очень толстый человек с веселыми свинячьими глазками. Он принес поднос с ростбифом и жареной картошкой для Андрея. К Альбине он обращался почтительно, как к королеве, и робко, как безнадежный поклонник.

— После того как начался проект и я отбыла свой срок, пять лет как чеэсир, он не выпустил меня из зоны, а перевел секретаршей к Мате.

— К кому?

— К директору Полярного института Матвею Шавло, который и стоит за всей этой историей. Я пробыла там еще два го-

да — до тех пор, пока Алмазов не понял, что я могу стать ему по-настоящему опасна. Вот поэтому меня перекинули на новую работу — быть подопытной крысой в городе, который разбомбят.

Андрей поднял бокал с коньяком.

— Крысе от крысы, — сказал он, — мои поздравления. Захватив тебя, они в самом деле приобрели ценнейшего сотрудника.

— Я никому и никогда не была сотрудником, — ответила Альбина. — Но в свое время ты мне сам сказал очень важные слова. За что я тебе или буду всегда благодарна, или возненавижу до конца моей короткой жизни.

— Что же за слова?

Коньяк был душистый и словно густой от запаха.

— Ты напомнил мне, что я обещала посвятить свою жизнь мести Алмазову. И поэтому я должна согласиться улететь с немцами. Ты помнишь?

— Я был прав, — сказал Андрей. — По крайней мере мы живы. И сыты.

Он с удовольствием принялся за картошку — он так соскучился по хорошей жареной картошке!

— И я, пока летела сюда, пока жила здесь, поняла, что ты прав. Но я не могу сама голыми руками расправиться с Яном, и всеми его палачами, и с Матей Шавло, который построил город, и сделал бомбу, и отлично знал при том, что люди погибают на строительстве и будут погибать всегда, пока она существует. И есть люди, ты знаешь, которые хоть и умерли, но ждут моей мести.

Альбина говорила так тихо и почти робко, словно просила прощения за столь решительные мысли. Но за этой робостью Андрей видел лишь непреклонную решимость человека, которому себя уже не жалко.

— Может быть, мне повезло, — сказала она. — И ты был прав...

Она тоже выпила коньяка, не морщась, как воду, равнодушно. Андрей понял, что за пределами своей миссии, своей мании Альбина пуста, почти пуста и равнодушна... И это подтвердилось буквально через несколько минут.

— Простите, госпожа, — сказал голос из репродуктора.

В дверь постучали. Вошел морской офицер.

— Фрейлейн Альбина, — сказал он, — простите, что я прерываю вашу беседу. Но вас просят к телефону — в кабинете.

Альбина кинула взгляд на часы.

— Подожди меня, — сказала она.

Пока Альбины не было — она отсутствовала минут десять, — Андрей управился с ростбифом и картошкой. Ему любопытно было бы поглядеть, как живет его солагерница, но он понимал, что находится под наблюдением, и потому предпочел остаться на диване и выпить еще рюмку коньяка. Теперь ему было приятно, сытно и даже клонило ко сну.

Альбина вошла в комнату, улыбнулась с порога улыбкой старшей сестры.

— Андрюша, — сказала она, — к сожалению, мне придется сегодня с тобой расстаться. Мне надо ехать.

— Опять допросы? — спросил Андрей. — Меня уже оставили в покое. Видно, от каменщика ничего больше не добьешься.

— Какие допросы? — удивилась Альбина. Потом сообразила и грустно улыбнулась. — Нет, у меня свидание, — сказала она.

— Надеюсь, деловое? — спросил, подмигнув, Андрей.

— Не знаю, — сказала Альбина, пожав плечами. — Сомневаюсь...

А так как Андрей смотрел на нее с невысказанным вопросом, она сказала:

— Мы еще увидимся, Андрюша. А пока — прости, мне надо переодеться. Машина ждет внизу, ты ее знаешь. Тебя отвезут домой.

Расставание было слишком холодным и не соответствовало встрече, словно Андрей чем-то провинился перед Альбиной.

Она протянула ему руку, и даже в пожатии была отстраненность — Альбина думала совсем о другом, Андрей для нее почти перестал существовать. Хотя она и проводила его до лестницы, и стояла, пока он не обернулся от входной двери, и помахала ему — китайский шелк ее костюма соскользнул, обнажив тонкую изящную руку.

Машина ждала у подъезда, и человек в серой шляпе уже заранее открыл дверцу.

Настроение у Андрея было паршивым — все это было театром, призванным продемонстрировать его ничтожество.

Когда машина, увозившая Андрея, отъехала от особняка Альбины, адмирал Канарис, который, ввиду важности задания, сам находился в пункте прослушивания телефонной связи, сказал своему адъютанту:

— А мне жалко этого парня. Он мне нравится.

— Вы имеете в виду русского пленного? — спросил адъютант.

— Он тоже думает, что он пленный, — сказал Канарис, подивившись нечаянной точности слов адъютанта. И тут же, выкинув из головы Андрея, как лишний элемент общей картины, спросил: — А какую машину фюрер послал за Альбиной?

— Старый «мерседес», — сказал сотрудник, сидевший за столом в наушниках, — к нему стекались сведения от наружного наблюдения. — Тот самый, на котором он в тридцать третьем ездил на поклон к Гинденбургу.

— Вы кончали исторический факультет? — спросил Канарис у сотрудника.

— Нет, у меня хорошая память, шеф... машина на подходе.

— Отлично, — сказал Канарис.

На следующий день адмирал Канарис катался верхом с Шелленбергом в Трептов-парке, вдали от подслушивающих ушей Мюллера.

— Фюрер глубоко увлекся русской, — сказал Канарис очевидную истину. Об этом Шелленберг знал и без него.

— Как мы ошиблись при дележе добычи, — сказал молодой собеседник. — Нам достался самый обыкновенный каменщик, а вам не только подруга русского сатрапа, но и новая возлюбленная фюрера. Но существует опасность, на нее мне указывали...

Шелленберг не назвал имени, но Канарис уже догадался, что имеется в виду ревнивый Гиммлер.

— Какая же опасность, мой друг?

— Она русская, славянка. Когда мимолетное увлечение пройдет, она плохо кончит.

— Найдите возможность передать вашему другу, — сказал Канарис, разглядывая легкие кучевые облака, барашками плывущие по теплому небу, — что фюрер полагает фрейлейн Альбину реинкарнацией Гели Раубал, мистическим возрождением его погибшей невесты. Альбина была представлена генералу Гаусгоферу и другим близким к фюреру магам...

— Не может быть!

— Разведка Мюллера опять прошляпила. Ну что от него ожидать...

— И что же?

— Вы хотите бесплатной информации?

— Я буду вашим должником.

— Отлично, бутылка хорошего французского коньяка вас не разорит?

— Так что же сказали маги?

— Они согласились с фюрером. Они полагают, что в появлении ее рядом с фюрером, в чудесном спасении от пламени космической бомбы есть перст судьбы, что именно под влиянием лучей смерти могло произойти такое чудо.

— Если мы будем переносить в область мистики русские бомбы, мы недалеко пойдем.

— Не беспокойтесь. При всем том фюрер стоит обеими ногами на земле и принимает все меры, чтобы противопоставить все, что можно, новой русской угрозе...

Некоторое время они ехали молча. Потом Шелленберг спросил:

— А как она себя ведет?

— Она — безукоризненно.

Канарис не стал рассказывать молодому коллеге об идефикс Альбины — мести Алмазову. Этот фактор может оказаться важным, и тогда лучше, чтобы он остался лишь в памяти адмирала.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Лето 1939 года

Признавая мистический характер своей миссии, фюрер делал это не под влиянием Гаусгофера или Ганса Горбигера, как принято было считать, не потому, что мистики и теософы использовали его в целях доказательства доктрины вечного льда или освобождения Тибета, чтобы вернуть к жизни гигантов прошлых веков или создать новую расу особой мутацией, а наоборот — Гитлер использовал магов для придания своей миссии особого мистического оправдания. Он верил в теории Горбигера и иные, зачастую противоречащие друг другу теории, потому что это входило в систему его собственных взглядов. Полагая себя мессией, призванным навести порядок в мире, он более все же полагался на силу танков, чем на заклинания Посвященных. Но не возражал, когда его окружение или толкователи его действий многократно преувеличивали влияние магов на поступки фюрера. Он и сам был не прочь сыграть роль великого мага, избранного судьбой для вагнеровских мистерий, но для этого ему нужна была подходящая

аудитория, желательно доверчивая и в меру наивная. Не было никакого смысла рассуждать о третьей и четвертой Лунах и генетических мутациях перед стотысячными митингами в Нюрнберге или на военных парадах; высокие материи высказывались для узкого круга, и тогда Гитлер, зажигаясь, уже сам не знал, во что же он верит, а где пересказывает читаные и выслушанные речи германских мистиков, которые так старались угадать истинное направление его мыслей.

Порой Гитлер выбирал доверчивого и умиленного слушателя, чтобы порассуждать при нем о том, как человек должен отказаться от ложной дороги ума, а обратиться к интуиции, озарению, ибо лишь через мгновенное предвидение можно продвинуться на следующую ступень эволюции человека. Но стоило ему выйти на трибуну или подойти к микрофону, из всей сложной мистической каши, варившейся в его голове, оставалась лишь воинственно-негативная сторона доктрины: а именно призыв к уничтожению тех по недоразумению родившихся на свет народов, которые мешали чистоте эволюции. Ни в одном его выступлении не найдется и следа золотых гигантов, замороженных в Тибете, или падающих на Землю Лунах. В этом было его сходство со Сталиным. Тот оставлял для широких масс трудящихся заклинания из Марксовых книг, ленинские афоризмы и собственные прибаутки, что все вместе и составляло внешнюю идеологию режима. В действительности его всегда тянуло к шарлатанам и он покровительствовал созданию ВИЭМа, опытам Лепешинской, Богомольца и Лысенко — они были аналогом тибетских гигантов Гитлера. Ум Сталина был трезвее и банальнее гитлеровского в пределах человеческого общения, но страшнее и иррациональнее, когда Сталин оставался наедине с самим собой.

Узкие собрания Посвященных происходили в полутьме затерянных святилищ — фюрер тщательно скрывал их от собственного народа. Он сам не знал, где кончается вера и начинается шарлатанство. Он был схож с ребенком, которому нужны страшные сказки. Гитлер мог на месяцы забыть о существовании своих духовных наставников, потом в пароксизме неуверенности кинуться к ним и, внимая, выкрикивать заклинания или с ученым видом кивать головой, выслушивая бредни, наивность которых была очевидна малому ребенку и которые были позаимствованы из тех страшилок, которыми пугают друг друга в детской комнате восьмилетние малыши: «И тут в комнату через окно влезла черная рука с окровавленными пальцами!..» В этом

месте должен раздаться испуганный визг. Но бородатые дяди и девушки, а то какие-то азиаты с масляными глазами базарных торговцев вовсе не визжали, они позволяли визжать самому фюреру, который в благодарность за страшные сказки хорошо кормил шехерезад и даже финансировал экспедиции в Тибет.

Но когда дело касалось истинных, его глубинных намерений, его устремлений, то он всегда оказывался на голову выше тех магов, которые полагали себя его учителями и даже покровителями. И на самом деле он верил лишь в себя и свою миссию. В свое право вершить судьбы мира. Как дурной стратег и великолепный тактик, он замечательно пользовался предоставившейся возможностью — случайной трещиной в стене вражеского замка, — чтобы ворваться внутрь. Он был гением интриги, а его учителя-мистики были никуда не годными интриганами. Потому что есть два вида интриги. Один — подсидеть противника, наушничая на него хозяину. Этот вид интриги магам и волшебникам, окружавшим Гитлера, был отлично знаком. Другой вид интриги — великими мастерами которой были Гитлер, Ленин и Сталин — заключался в том, чтобы выждать момент, когда враг отвернется, чтобы всадить ему в спину нож, желательно чужой рукой, чтобы потом отрубить и эту руку. А раз существует различие в понятии интриги, то владеющий интригой высшего уровня не может быть подвластен маленьким интриганам и шарлатанам, даже если они вполне искренни в своих фантазиях.

Великие полководцы, то есть великие злодеи, специальность которых в конечном счете сводится к умерщвлению людей и которые преуспели в уничтожении их в астрономических цифрах, могут внешне поклоняться какому-то богу или пророку, но на самом деле ни один из этих убийц никогда не был религиозен. У них в распоряжении всегда был какой-то эрзац веры — иногда для себя, иногда для внешнего пользования. И эти люди даже склонны время от времени эту языческую причуду менять. Но установленная другими религия их никогда не удовлетворяла. Она — соперник. Она — ограничитель, а великие злодеи — люди без тормозов.

Нет нужды обращаться к истории, но даже первые приходящие на ум убийцы, а самыми крупными и зловещими из них мы можем считать покорителей Вселенной, были безбожниками. Александр Македонский кончил тем, что провозгласил себя богом, чтобы не склоняться к чужим алтарям. Наполеон был настолько равнодушен к религии и презирал ее служителей, что

даже не дал папе короновать себя императорской короной, показав ему на его невысокое место в создаваемой заново земной иерархии. Ленин с каким-то деловитым наслаждением выписывал приказы о том, чтоб «расстрелять побольше попов», Сталин также предпочитал видеть в богах себя и взорвал самый большой храм Москвы, не считая сотен поменьше, чтобы он не смел подниматься своей главой выше самого Сталина...

Гитлер не мог быть покорен магам и различного рода мистикам, облепившим его двор, но он, разумеется, искал в жизни смысл, потому что понимал — для чего-то он родился на свет! Но для чего? И отвечал себе той же стандартной фразой, как и Александр Македонский, и Сталин, и Наполеон, — чтобы завоевать мир!

Зачем?

Чтобы навести порядок.

Причем, если к желанию навести порядок примешивается детская или юношеская обида, тогда тиран становится особенно жесток. Ленин не мог простить Романовым и государственной машине России смерть своего террориста-брата. Он догадался, что брат пошел по неправильному пути, надеясь начать с террора и потом создать государство счастливых. Владимир Ильич решил все сделать наоборот: сначала сделать государство счастливых, а потом уже развязать в нем террор. Неизвестно, какой детской обидой или какой завистью питалась ненависть Гитлера к евреям и цыганам, — наверное, этому есть земное и простое объяснение, но эта ненависть, как и у Ленина, придала террору и убийствам особое изуверство.

Альбина осталась ночевать у Адольфа. Она не любила ночевать у него не потому, что ощущала всей шкурой молчаливое неодобрение прислуги и охраны и боялась, что ее отравят, и не потому, что знала, что в этой постели еще недавно спала Ева Браун, а потому, что не желала показываться Адольфу утром, чтобы он видел ее морщины и складки у губ, мятые волосы и мешки под глазами. При всей своей простодушной прозорливости она не догадывалась, что Адольф более всего любил именно эти моменты утренней нежности, когда он мог не только жаждать обладания Альбиной, но и сокрушаться силе бегущего времени, и жалеть Альбину и себя, как отражение в ней, и понимать с горечью, что он потратил впустую слишком много лет и теперь не остается ни сил для настоящей любви, ни времени, чтобы покорить мир.

В ту ночь Альбина проснулась оттого, что Адольф сидел на краю своей постели, будто парализованный. Крупная дрожь била его. Потом он поднял руку, защищаясь от кошмара, и повторял: «Это он, он! Он пришел за мной! Я не звал тебя!»

Альбина затаилась под одеялом — лунный свет падал сквозь открытое окно, и видно было, что волосы Гитлера прилипли ко лбу, по лицу катился крупный пот; потом Гитлер начал произносить цифры, сочетания цифр и отдельных слогов, он говорил быстро, все быстрее, потом повторил убежденно: «Не прячься, выходи!»

Альбина заставила себя подняться и подойти к нему.

— Адольф, — сказала она, — я могу тебе помочь?

Она дотронулась до его щеки, она почувствовала, что именно такая ласка ему нужна. Он прижался к ее ладони мокрой от пота и слез щекой, потом сказал: «Вот и отлично, вот он и ушел».

И удобно улегся в постель, подогнув ноги. Альбина накрыла его одеялом и долго сидела, глядя на его резкий профиль. Дыхание фюрера становилось все ровнее, он спал глубоко и спокойно. Альбина почувствовала к нему нежность, как к любому мужчине, которому отдалась сама, по доброй воле, несмотря на то, что эта воля питалась ненавистью к Алмазову и его хозяевам.

— Что тебе приснилось? — спросила она утром. — Ты даже кричал.

— Прости, — сказал Гитлер. Он торопился, подбирал с тарелки овсянку. — Мне приснилось, что я снова на фронте, за мной пришел мой взводный, чтобы позвать меня в атаку, из которой я не вернусь живым... Как странно, я забыл этот сон, а как ты спросила — сразу вспомнил во всех деталях. И я очень испугался... — Гитлер налил себе в чашку кофе и продолжал: — Я тебе должен сказать, что на фронте я был весьма отважным солдатом и сам вызывался в вылазки и в атаку. Странно, почему я так испугался во сне.

— Если ты расскажешь об этом своему генералу Гаусгоферу, он скажет, что тебя посетил дух ледяного мира.

— Ты несерьезно относишься к генералу, — сказал Гитлер. — Хотя тебя можно понять — ты женщина и не совсем хорошо знаешь немецкий язык. Мне даже странно, что ты возродилась не в Германии.

— Я старше твоей Гели, — сказала Альбина. Уже не в первый раз... Гитлер не слышал этих слов и никогда не услышит, для него время существовало в некоей иной плоскости.

— И что ты намерен делать с русскими? — спросила Альбина, глядя на любовника открыто и доверчиво, и Гитлер с умилением подумал, что Альбина никогда не кичится умом, она доверяет ему.

— Я еще не решил, — сказал Гитлер. — Сегодня у меня совещание в генеральном штабе.

— Я так боюсь, что Сталин решит первым.

— Этого не будет. — Гитлер бросил на стол салфетку и поднялся. — Прости, но я спешу, — добавил он и быстро ушел из комнаты.

В тот же день Альбину навестил сам Рудольф Гесс, ближайший соратник фюрера и в то же время верный ученик генерала Гаусгофера.

Гесс был приятен Альбине — он был всегда вежлив, сдержан и грустен. Альбина предпочитала грустных людей. Все ее возлюбленные были грустными людьми.

Альбина с удовлетворением подумала, что Гесс все же не умнее других мужчин и, зная о ее влиянии на фюрера, полагает, что он сам сможет ею управлять. Ну что ж, пускай он так думает.

— Сверкающая ложа, — сказал Гесс, шагая по гостиной и иногда подходя к окну, как бы проверяя, не подобрался ли кто к дому; но к дому подобраться было невозможно, — полагает, что прежде чем начинать поход на Польшу, за которой твердо стоят Англия и Франция, фюрер должен достичь соглашения со Сталиным.

— Почему? — спросила Альбина, для которой и название ложи, и даже имена ее членов не были пустым звуком. Еще в мае она попросила верного друга адмирала Канариса достать для нее всю литературу по магическим силам Запада и Востока, а также рассказать, что адмирал знает о магах и астрологах, окружающих фюрера. Сказала наивно, как ребенок, который, еще не научившись толком читать, просит купить ему энциклопедию. Нестарый разведчик, единственный, пожалуй, из всех мужчин на свете, догадывался об удивительных способностях и необычном характере Альбины, которая, хоть и могла в мгновение ока избавиться от опеки адмирала, добровольно осталась под его покровительством. Более того, она соглашалась на прогулки в его обществе и рассказывала ему, вдали от чужих ушей, о некоторых новостях и мелочах, подслушанных у фюрера, о которых иным способом адмирал никогда бы не узнал.

Адмирал не только принес ей кипы книг и журналов, но и привел эксперта, которого специально держал для этой цели.

Так что любое слово Гесса, любую его просьбу Альбина знала заранее.

— Наш фюрер, — говорил Гесс, поддерживая с любовницей Гитлера тон доброго товарища, — недооценивает значения этого взрыва, его астрального смысла. Я понимаю, дорогая фрау, что для вас это все темный лес, — в ответ на добрую улыбку Гесса Альбина растерянно голубоглазо улыбнулась, — но можете поверить мне, что достаточно авторитетные ученые, постигшие тайны космических сил, уже высчитали, что этот взрыв — не более как отражение борения льда и пламени, силы нордической расы и скопища грязных мутантов.

— А что теперь делать? — спросила Альбина.

— С нашей стороны было бы безумием сейчас ускорять подготовку к большой войне, чем так всерьез занят фюрер, — ответил Гесс, надвинув на глаза слишком толстые мохнатые брови, — мы не сможем победить чуждый нам космический разум, проявившийся в этой бомбе, без помощи всего арийского мира.

— Но простите, Рудольф, я в самом деле не понимаю...

— Как только мы выступим против Польши, связанные с ней договором Англия и Франция выступят против нас — именно это нужно не только Сталину, но и тем силам зла, которые стоят за ним. Все мировое масонство, все евреи и негры мира ждут только, что мы поддадимся на эту провокацию и попадемся в ловушку. С одной стороны на нас кинется Сталин, с другой — армии наших естественных союзников и по воле зла — врагов — англичан. Мы еще не готовы к такой войне.

— Это ужасно, — искренне сказала Альбина. — Но как я могу помочь вам?

— Не мне. Вы должны помочь мужчине, который увидел в вас свою возлюбленную, вы должны помочь всей белой цивилизации... пока не будет достигнут союз с Англией против Сталина — мы должны ждать. Я уже говорил фюреру, что готов сам полететь в Англию и попытаться договориться с разумными силами там. И это возможно, потому что англичане не менее нас боятся атомной бомбы Сталина.

— Ах, мой милый ангел, он полетит поговорить с Чемберленом. — Канарис развел руками, как бы желая обнять Гесса.

Он приехал к Альбине буквально через несколько минут после того, как машина секретаря партии покинула ее дом.

— А ведь есть и другой путь — не хуже того, что предлагает проанглийская клика, которая перетащила на свою сторону часть этих мистически настроенных бронтозавров, — добиться союза со Сталиным, пускай временного.

— А если Сталин не захочет? — С Канарисом Альбина разговаривала иначе, даже голос звучал жестче. Она и казалась старше — на все свои тридцать шесть. Гесс видел в ней молодую и беззащитную глупышку, которую надеялся использовать, а перед Канарисом сидела средних лет женщина, одержимая жаждой мести и обладающая быстрым и холодным умом.

— Вот именно этот аргумент я высказывал в спорах с Кейтелем и Гальдером, — сказал Канарис. — Генералы стоят за тактический союз со Сталиным, они даже согласны отдать ему половину Польши, но обезопасить тыл. У всех немцев, дорогая, существует с первой мировой войны ужас перед войной на два фронта. Только, как ты видишь, ужас этот выражается по-разному. Гесс и его сторонники в партии хотят замирить Запад, а генералы — Восток. Но цель одна — разбить их поодиночке.

— А вы? — спросила Альбина.

— Я разделяю точку зрения военных, — сказал Канарис. — Особенно сейчас. Когда у Сталина есть бомба. Зачем лишний риск?

В тот же вечер Альбина долго разговаривала с Адольфом, совсем не о деле и, уж конечно, не о войне — глупом и грязном занятии мужчин. Но Гитлер сам заговорил о своих бедах, не заметив, как умело и незаметно подвела его к этому Альбина. Она сидела перед ним, подогнув ноги на широком диване, в скромном домашнем платье, совсем без грима, такая простая, милая и верная. Когда его предадут или судьба отвернется от него и соратники разбегутся по кустам — Альбина останется рядом.

— Ты не бросишь меня? — спросил Гитлер неожиданно.

— Нет, — ответила Альбина. — А что грозит тебе?

Тогда Гитлер стал рассказывать ей то, что она знала и без него, — о двух вариантах войны, которые разыгрывали придворные клики. Союз с Англией против Востока, который возможен именно сегодня, потому что западный мир уверен в том, что у русских есть бомба, и затаился в неожиданном страхе перед белым русским медведем, или союз с сильным Сталиным и подачка ему в виде Польши или Финляндии, чтобы освободить руки на Западе.

Гитлер не спрашивал совета Альбины — не для этого он

сюда приехал. Альбина и не давала советов. Она просто подвела его вопросами и наивными междометиями и сомнениями к третьему варианту. Гитлер не заметил, как тот сформировался в его мозгу.

Но неожиданно он сказал:

— Прости, моя белая фрейлейн, — он так называл ее иногда, в сладкие минуты, отталкиваясь от имени Альбина, — но я сегодня не останусь с тобой.

— Разумеется. Я чувствую, когда великая мысль приходит к тебе, — сказала Альбина настолько серьезно, насколько могут говорить только глупые, но любящие люди.

— Ты знаешь об этом?

— Я чувствую, Адольф.

— Может, ты скажешь ее? — улыбнулся Гитлер.

— Я могу сказать, что чувствую твои мысли, но прости, если в моих устах это будет звучать коряво, неубедительно... я ведь лишь твое маленькое зеркальце.

— Маленькое зеркальце... в этом есть что-то сказочное.

— Я знаю вас, Адольф, ближе, чем многие из мудрецов. Простите, если это звучит самоуверенно.

— Нет, ты права. Я тоже это чувствую. Недаром ты была рождена в пламени всемирного пожара, среди вечных льдов и...

— И упала к вам в руки с неба, — закончила Альбина, улыбнувшись. Она теперь нередко улыбалась, но уголки губ оставались опущенными, и потому от ее улыбки становилось грустно.

— Можно, я угадаю ваши мысли? — сказала она.

— Попробуй. Пока что это еще никому не удавалось.

— Вы знаете, что у Сталина есть вторая бомба, она будет готова летом. А третья бомба — осенью. Значит, у вас очень мало времени, чтобы победить его. Пока он не расплодился. Как таракан.

— Я продолжу твою мысль, белый кролик. — Гитлер остановил Альбину жестом узкой руки и заговорил сам, сначала тихо, затем, заводясь, увлекаясь, забыв, что вся-то аудитория состоит из Альбины, начал кричать: — Из-за этой бомбы все мои стратегические планы летят к чертовой матери. Через полгода у Сталина будет пять бомб. К тому времени, когда мы изготовим свою, у него их будет двадцать. А тогда нас уже обгонят американцы! Значит, в моем распоряжении только летние месяцы, чтобы завоевать весь мир. Только одно лето! И я должен идти вперед немедленно! Тут же! Сегодня! Вы меня слышите — вы слышите звуки боевых труб и грохот барабанов?

На следующий день состоялось запланированное еще неделю назад заседание в генеральном штабе. Гитлер весьма миролюбиво выслушал доклады генералов, связанные с подготовкой выступления против Польши в сентябре 1939 года. После окончания подводившего итоги доклада Кейтеля Гитлер поднялся и, подойдя к карте Европы, занимавшей всю стену, произнес буднично, словно речь шла о поставках шерстяных носков:

— Мы начинаем военные действия против Польши в середине июля, хотя весь мир должен думать, что день «Х» — 1 сентября.

После секундной гробовой тишины по залу прокатился невнятный гул возмущенных, испуганных, растерянных голосов.

— Это невозможно! — вырвалось у Кейтеля.

— Судьба не подарила нам больше ни одной минуты, — сказал Гитлер размеренно. — Если вы дадите себе труд задуматься над тем, что происходит в мире, то поймете, от каких факторов зависит наша победа. Так что мое решение, безусловно, не подлежит пересмотру и завтра в десять я ожидаю к себе начальника генерального штаба и командующих родами войск. Все планы кампании будут пересмотрены.

Оборвав свою краткую речь, Гитлер быстро покинул зал заседаний, чтобы не отвечать на бурю вопросов и возражений. Через час он вызвал к себе Риббентропа и приказал форсировать зондаж возможностей соглашения с Москвой. Посол в Москве Шуленбург завтра же должен попросить аудиенцию у Молотова и изложить ему вербальную ноту о желательности заключения договора о дружбе и сотрудничестве.

— Любой ценой! — приказал Гитлер. — Если Сталину захочется сожрать Бессарабию — отдайте ему, Финляндию — отдайте, половину Польши — отдайте.

После встречи с фюрером Риббентроп в полной растерянности созвонился с Герингом, который не присутствовал на заседании генштаба и ничего не знал, тот кинулся к Гитлеру отговаривать его от необдуманного поступка. До вечера Гитлеру пришлось спорить с помощниками и соратниками, которым так трудно приказывать.

В шесть вечера он исчез.

— Он у нее, — сказал Гесс, приехавший в берлогу к Гаусгоферу. — И я подозреваю, что именно эта русская сука...

— Мы не знаем, что управляет судьбами мира, — ответил на это старый генерал Гаусгофер. — Еще вчера ты убеждал меня,

что эта женщина на нашей стороне, сегодня говоришь, что предательство исходит из спальни фаворитки.

— Но мы проиграем эту войну! Мы к ней не готовы!

Гитлер был у Альбины. Он объяснял ей свой замысел, как ребенку, щадя ее милую глупую головку:

— Войны выигрываются или силой, или неожиданностью. У нас есть сочетание того и другого. Наша армия отмобилизована и хорошо снаряжена. Русская — лишена командования и отстала на двадцать лет. У поляков не осталось ни одного стратега, они могут соревноваться только с русскими в том, чья кавалерия лучше. Мы не должны дать им возможности опомниться. Пускай Сталин верит в то, что мы пригласим его к обеденному столу. Пускай наденет свой лучший мундир. Пускай спешит нам навстречу, поглощая Прибалтику и Польшу, мне только это и нужно — с растянутыми коммуникациями он еще слабее.

— А англичане? — спросила Альбина, поглаживая руку Гитлера, лежавшую на подлокотнике кресла. Гитлер смотрел на ее нежные, такие белые пальцы. Она все понимает интуитивно, сердцем и любовью.

— Англичане будут обсуждать события в палате общин и потом осудят меня весьма жестоко. Так же поступит и господин Рузвельт в Америке. Но им надо до меня добираться через Францию, а французы слишком эгоистичны, чтобы начать настоящую войну.

— Это так умно, Адольф! Но почему твои генералы не согласны?

— В отличие от меня — они самые простые люди. Банальные и ограниченные исполнители. Они уже привыкли, хоть раньше и сопротивлялись, что я начну вторжение в Польшу в сентябре. Я бы так и сделал, если бы не сталинская бомба. Но теперь я не могу ждать, пока он изготовит вторую и третью... ты уверена, что вторая на самом деле существует?

— Она будет летом. В институте говорили об этом.

— Когда мои армии будут подходить к Москве и Сталин решится ее использовать, нам с тобой надо будет уехать подальше от Берлина. Сталин постарается кинуть ее именно на Берлин.

— Почему?

— Это так просто, мой кролик! Ведь первый город, который он уничтожил первой бомбой, назывался Берлином.

Альбина не стала напоминать Гитлеру, что идея изготовить

для уничтожения Берлин исходила от Ягоды и Сталин сам об этом не знал до последнего момента.

— Тебе не жалко Берлин? — спросила Альбина.

— Наша противовоздушная оборона собьет русский самолет далеко от Берлина... Я останусь сегодня у тебя — мои генералы и партайгеноссен взбеленились, они боятся неожиданностей.

— И маги тоже?

— Счастье мое, — сказал Адольф Гитлер, — искренне я могу сказать только тебе — моя высшая цель для меня еще не открыта. И она откроется на вершине свершений — я не могу получить корону из рук римского Папы, которого я не считаю себе ровней.

Альбина кивнула, потому что она поняла, что Гитлер имеет в виду пример Наполеона, но Гитлер не думал, что Альбина могла знать об этом.

— Я допускаю, что и генерал Гаусгофер, и Гурджиев что-то знали и знают, я допускаю, что истину надо искать в том направлении, куда они указывают, но найду истину я сам.

— А они останутся в обозе? — спросила Альбина.

— Да.

— У меня был сегодня Гесс, — сказала она. — От имени магов он просил подействовать на тебя, чтобы ты заключил союз с Англией.

— Ах, какая старая интрига — давить на короля через мадам Помпадур — так звали французскую любовницу короля Людовика какого-то!

— Может, не надо было об этом говорить? Ты расстроен?

— Они будут к тебе приставать, но я не дам тебя в обиду.

— Адольф, пора спать, — сказала Альбина, изображая смешную и чуждую ей строгость. — Ты сегодня устал. А завтра рано вставать.

— Ты — мое сокровище, — сказал Гитлер и с некоторой печалью подумал о том, что Альбина тоже не сможет никогда стать достойной соратницей в великой борьбе, — белый кролик, милый белый кролик, который ничего не смыслит в борьбе титанов...

В течение июня обстановка в мире продолжала нагнетаться. Обыватель с дрожью в пальцах раскрывал сегодняшнюю газету — неопределенность предвоенных месяцев усугубилась взрывом русской бомбы.

До второй половины июня Москва, сделав первое заявление

о том, что никакой бомбы нет и она существует лишь в воображении поджигателей войны, затаилась, советские дипломаты были осторожны и молчаливы настолько, что разумные аналитики делали вывод о их полном неведении того, что происходит дома.

Наконец 18 июня последовало новое заявление Совинформбюро.

От имени Советского правительства Совинформбюро сообщало, что в результате беззаветного труда советских ученых и инженеров в СССР создано новое сверхмощное оружие, способное сокрушить любые укрепления и крепости и поразить площадь в несколько квадратных километров, уничтожив дивизию, корпус, а если нужно, то и армию врага. Однако, следуя своей миролюбивой политике, Советское правительство предлагает всем странам Европы заключить договор о коллективной безопасности, в ином случае все последствия за возможное развязывание войны агрессор испытает на себе.

Из заявления неясно было, кто же подразумевается под агрессором и кому угрожает русская нота. Но ответные шаги, которые и до того подготавливались в европейских столицах, не заставили себя ждать.

Уже до того немецкий посол в Москве имел две беседы с наркоминделом Молотовым, а советского посла Деканозова видели в ведомстве Риббентропа. Так что для участников событий быстрая реакция Берлина на заявление Совинформбюро была лишь фикцией для внешнего пользования — переговоры о создании союза велись вторую неделю. Зато реакция Англии и Франции была куда более тесно связана с заявлением. Чемберлен предупредил правительство Гитлера, что любые его новые агрессивные действия против европейских соседей, и в первую очередь против Польши, будут рассматриваться как военный вызов Великобритании и та оставляет за собой право принять решительные меры. Прочтя ноту Чемберлена и подождав, пока закроется дверь за английским послом, Гитлер сказал стоявшему рядом Риббентропу:

— Чемберлен недолго протянет. Его кабинет падет на днях.

Вечером Гитлер рассказал Альбине о ноте Англии и очередном визите посла Деканозова. Альбина разливала китайский чай по тонким, купленным ею на аукционе чашечкам. Она промолчала.

— Ты почему молчишь? — спросил Гитлер. — Ты не согласна с твоим рыцарем?

— Мой рыцарь медлит, — ответила Альбина, робко улыбнувшись. — Я боюсь, что они успеют сделать новую бомбу. И тогда...

— Что тогда?

— Я хотела бы, чтобы ты наказал тех дурных людей, которые причинили мне столько горя.

— Я обещал тебе, кролик, — сказал Гитлер. — Быстроте моих действий будут поражены даже мои собственные генералы.

Решение генерального штаба Германии начать наступление против Польши не позднее 1 сентября 1939 года было доведено до сведения командующих соединений и высших военных чинов рейха в расчете на то, что среди них найдется некто, готовый передать эти сведения за рубеж. А на случай, если изменников среди сановников империи не найдется, эта информация была пропущена через германские посольства.

Разумеется, эти сведения, вплоть до протоколов заседания генерального штаба, оказались на столах противников Германии на следующий день. Оснований сомневаться в их подлинности не было.

Через два дня из Рима примчался министр иностранных дел, зять Муссолини — Чиано. От имени дуче он умолял Риббентропа не спешить с началом войны, к которой Италия еще не готова. Гитлер отказался принять Чиано, а Риббентроп холодно произнес, расставаясь:

— Передайте господину Муссолини, что Германия обойдется без его помощи.

Когда Гитлер узнал, что напугал сентябрьской датой даже своих ближайших союзников, он был доволен. Настолько, что вечером после долгого перерыва собрал у себя магов и астрологов во главе с генералом Гаусгофером. Вместо поддержки Посвященные принялись талдычить, что, по расчету астрологов, начинать войну 1 сентября было слишком рано — звезды еще не пришли в нужное положение. Гитлер, который намеревался было поделиться с Посвященными своими истинными планами, вдруг понял, что эти люди испуганы и, наверное, среди них есть и подкупленные врагами.

Двадцатого июня Сталин в принципе согласился на переговоры о мирном договоре с Германией, и Молотов отправился в Берлин. Визит был плодотворным, решено было продолжить переговоры в июле. Гитлер дал понять Сталину, что согласен на передел Европы, если тот гарантирует неприкосновенность немецких тылов.

— Они попались! — торжествовал Гитлер, расхаживая по гостиной Альбины. — Твой грузин схватился за медный пятак, думая, что испугал меня своей бомбой. Так что золотую монетку мы оставим себе...

Гитлер замолчал, вспоминая куда более удачное высказывание о Сталине, которое он повторял так недавно перед Евой Браун. Конечно же, более удачное... надо записывать. Стареешь, и надо записывать.

— У него базарная психология! — воскликнул он торжествующе.

Уставший от компромиссов и ощущавший уже свою ненужность, посол Англии Гендерсон попытался еще раз предупредить Гитлера. Гитлер не отказался его принять — он принимал в те дни многих с одной целью — внести полный разброд и сумятицу в станы противников, включая и союзников, которые порой были опаснее противников. Гитлер неожиданно отвел посла за локоть к окну, за которым ждал своей участи притихший в те летние дни Берлин, и сказал на ухо:

— Мне пятьдесят лет, мой друг. Я хочу начать войну сегодня. Я не могу ждать, пока мне исполнится шестьдесят, как Сталину. Или семьдесят, как вашему премьеру. Я пока еще годен, они — вчерашний день.

— Боже мой! — вырвалось у посла. — При чем тут возраст, господин Гитлер? Речь идет о миллионах жизней!

— Именно о них я и пекусь, — отрезал Гитлер, сменив тон, — и Англия хорошо сделает, если уяснит, что я, как бывший фронтовик, знаю войну куда лучше, чем все ее политики вместе взятые. Я знаю, как выигрываются и проигрываются войны. Неужели не ясно, что первая мировая война не была бы проиграна, если бы канцлером Германии был я?

Посол решил вызвать фюрера на откровенность. Тот был в нервном, почти истерическом состоянии и мог сказать больше, чем хотел.

— Существует слух, основанный на данных из достоверных обычно источников, что вы намерены начать войну против Польши в сентябре.

— Я тоже слышал об этом. — Гитлер, словно гипнотизируя, уставился в глаза послу. — С точки зрения генерального штаба, этот срок малореален — генералы считают, что мы не успеем отмобилизовать нужные резервы и подтянуть механизированные силы к границам противника. Но я бы пренебрег мнением генералов. Они мыслят понятиями

начала века. Я же начинаю не первую мировую войну, а вторую.

— Мировую? — спросил Гендерсон.

— А это уже зависит от вас.

Гендерсон сообщил в Лондон, что в доверительной беседе фюрер дал понять: генералитет рейха выступает против даты 1 сентября как начала войны. Но Гитлер постарается переломить генералов.

Двадцать пятого июня Риббентроп, тайно прибыв на свидание с Молотовым в Минск, о чем западные разведки узнали с прискорбным опозданием, подписал там договор о намерениях — Советский Союз соглашался подписать пакт о нейтралитете при следующих условиях: «В случае территориально-политических изменений в областях, принадлежащих балтийским государствам — Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, а также Польше, северная граница Литвы, а также линия рек Нарев, Висла и Сан образуют границу между сферами интересов Германии и СССР».

Официальное подписание договора о нейтралитете со всеми его секретными статьями было назначено на 12 июля — следовало с помощью экспертов уточнить позиции обеих сторон. Этот срок устраивал Гитлера.

Не сразу, но умело была организована утечка информации, касающейся и этих договоренностей.

Теперь Гитлеру оставался пустяк — сломить сопротивление высшего командования вермахта.

Матя побывал в Москве в начале июня, он надеялся, что сможет задержаться на этот раз на несколько дней, потому что его вызвали на Политбюро. Должен был поехать и Алмазов, но ему в те дни стало хуже — Матя уже не сомневался, что у Алмазова атомная болезнь, названия которой еще не было придумано. Он уверился в этом еще в мае, когда ухудшилось одновременно здоровье не только Алмазова, но и тех, кому пришлось работать на развалинах Берлина, разбирать их, проводить там анализы. Некоторые из этих людей, в частности капитаны из медицинского центра НКВД, которые отбирали людей и зверей для того, чтобы убить их на полигоне, оказались одними из первых жертв этой болезни. Алмазов, который и сам понял, что заразился, но старался утешить себя, что если он будет держаться подальше от развалин, то его могучий организм справится с болезнью, наконец-то понял, что в Испытлаге должны быть настоящие медики.

Для свезенных со всех лагерей Севера врачей выделили большие бараки сразу за Полярным институтом, там же для них устроили и первые лаборатории — Александров передал туда оборудование. Эти врачи были в полном неведении касательно того, что представляла собой болезнь, первые жертвы которой погибали у них на глазах. Шавло догадался, что следует привлечь рентгенологов, — они имеют дело с подобными излучениями. В Москве и Ленинграде ночью были взяты и самолетами отправлены в Ножовку несколько крупнейших рентгенологов страны, чего, впрочем, медицина, и без того обкраденная лагерями, и не заметила. «Если начали брать рентгенологов, то завтра устроят заговор педиатров», — сказал тогда профессор Синько и тут же получил пять лет «за вражескую агитацию». К счастью для него, он был педиатром и в Испытлаг не попал.

В мае заработали сразу два счетчика Гейгера — их показаниям не хотелось верить, потому что оказалось, что и сам Полярный институт, и бараки, в которых жила охрана, и склады, и многие из вспомогательных предприятий и заводов находятся в опасной для людей зоне. Рентгенологи эту опасность пытались измерить и ставили опыты на животных. Впрочем, в их распоряжении оказалось много человеческого материала. И чем хуже становилось комиссару НКВД 2-го ранга Алмазову, который полосами облысел, у которого возникали страшные головные боли и пошли нарывами подмышки и пах, тем отчаяннее свозили в Ножовку лучших врачей страны. Никто бы не мог измерить степень его ненависти к Мате Шавло, который оставался здоровым, хоть и был в городе сразу после взрыва. Но ведь при первой возможности смылся! И больше в город ни ногой! Значит, он чуял, понимал, но скрывал от Алмазова, мечтая, чтобы тот погиб в мучениях.

— Голубчик, — сказал Алмазов хрипло (он простудился, ослабленный организм готов был поддаться любой инфекции), когда Матя пришел попрощаться перед отъездом в Москву, где собирался отчитаться на Политбюро и получить награду, — без тебя я на тот свет не уеду. Можешь мне поверить.

— Ты выкарабкаешься, — убежденно сказал Матя, — я тебя знаю — ты выкарабкаешься.

— Ладно, — отмахнулся Алмазов. Он не допускал мысли о своей смерти и потому продолжал командовать Испытлагом, скрывая истинное самочувствие от начальников.

Не появлялся на люди и Ежов. Не был снят, не был расстрелян — об этом узнали бы хотя бы в Испытлаге. Но были сведе-

ния, что болеет. Матя подозревал, что знает его болезнь, — в этом была какая-то дьявольская справедливость: породившие бомбу для уничтожения людей стали ее первыми жертвами. Себя к этим жертвам Матя не относил, да и чувствовал себя нормально — лишь обрюзг, пополнел и много пил. Как-то в разговоре со стариком Иоффе он спросил, как оградить себя от ядерных излучений, старик, который с излучениями был знаком лишь теоретически, проворчал: «Пить надо больше. И желательно спирт». Матя почему-то поверил старику. И пил. Чтобы не заболеть и чтобы вечерами ни о чем не думать. Выхода он не видел.

Ну, не будет Алмазова и Ежова — его покровителей и тюремщиков. На их место придут другие — хуже, чужие. Алмазов — при всей взаимной ненависти — спутник многих лет жизни, сам палач и сам жертва. А кем ты будешь, Матя, для следующего наркома или начальника Испытлага? Будущим Нобелевским лауреатом или зэком, годным лишь на списание, потому что и на самом деле теперь, когда главное сделано, можно обойтись и без Шавло.

В Москву Шавло поехал один.

Его встретил Вревский, как всегда подтянутый, рот — ниточка, тяжелые скулы, волосы — седеющим ежиком. Он мог бы стать «железным» наркомом, но никогда не станет — в тайных папках лежит его неладная для наркома биография, к тому же с университетской скамьи в него впитан дух преклонения перед законом. Он нарушал его дух — как не нарушишь, если ты замнаркомвнудел, — но всегда соблюдал букву. В нем не было склонности к авантюре.

Вревский сказал, что заседание Политбюро назначено на завтра, а сегодня Матю ждут у престарелого президента Академии наук ботаника Комарова. Вревский сопровождал Шавло и вошел с ним в кабинет, как будто боялся, что старик обидит Матю.

Комаров опешил, увидев чекиста в таких высоких чинах, он решил, что его посетил сам «железный» нарком. Смутившись, он забыл, что надо говорить в таких случаях, впрочем, подобного случая у него еще не было. Он протянул Мате папку — диплом действительного члена Академии наук СССР и потом, после паузы, косясь на Вревского, сказал:

— Мы рады выполнить личную просьбу товарища Сталина. — Тут же понял, что сказал не то, и исправился: — Признавая значительный вклад в науку профессора Шавло Матвея Ип-

политовича, от имени президиума я приношу свои поздравления, вот именно...

Опять наступила пауза. Можно было уходить. Мечта идиота сбылась.

Матя чувствовал себя оплеванным. А ты чего хотел? Колонный зал сверкает огнями? Актовый зал Московского университета? Что вас не устраивает, академик?

Комаров откашлялся и вдруг спросил:

— Вот именно, разумеется, я хотел воспользоваться присутствием товарища командира. Ряд крупных ученых нашей страны находится в распоряжении товарища Шавло, вы знаете?

Вревский кивнул.

— Но это наносит непоправимый ущерб нашей науке. Я прошу вас как можно скорее вернуть их. Я могу подготовить список.

— Ученые работают. Они сделали большое дело, — сказал Вревский. — Вы только что сами высоко оценили их работу. — Вревский указал на папку в руках Шавло. — Как только наша родина будет в безопасности, как только исчезнет угроза войны, они, разумеется, будут вознаграждены и вернутся домой. А сейчас считайте, что они в командировке.

— Разумеется, — сказал академик, — в командировке, но им не дают переписываться, словно они в тюрьме. Хотя бы отпускайте их в отпуск, в конце концов!

— Какой к черту отпуск! — взорвался тут Матя. — Разве вы не понимаете, что по крайней мере половину из них я вытаскивал из лагерей, я спас им жизнь, а вы смеете меня упрекать! Они бы давно сгнили!

— Матвей Ипполитович, Матвей Ипполитович, — укоризненно остановил его Вревский. — Так нельзя. Никто из настоящих ученых не гниет у нас в темницах.

— Вот именно. — Мате было стыдно перед стариком, у которого слезились глаза, ему ведь было так трудно просить.

— Можно сделать так, — сказал Вревский. — Если кто-то из членов семей некоторых ученых — тех, кто мобилизован, но не осужден, — захочет поехать на Север и жить вместе с мужем или отцом в Полярном институте, мы благожелательно рассмотрим эти просьбы.

Матя готов был материться! Он же тысячу раз просил, убеждал непреклонного Алмазова допустить до академиков их жен, тогда и они не будут чувствовать себя в тюрьме, но Алмазов жалел каждую копейку, торопясь сделать бомбу и только бомбу, и

не понимал, что довольный ученый работает втрое лучше подневольного, — этого он не понимал. Он спешил сделать бомбу и помереть от ее сверкающих лучей!

Конечно же, Матвей не сказал этого. А президент Академии был искренне благодарен чекисту — на прощание он пожал ему руку и начисто забыл попрощаться с Шавло.

— Черт с ним, — сказал Матя, когда они спускались вниз.

— Вы не правы, — рассудительно заметил Вревский. — Я глубоко уважаю академика Комарова, и в его положении совершенно естественно заботиться о судьбах ученых.

— Вам хорошо решать, а когда я просил об этом — кто меня слышал?

Вревский не стал спорить — они должны были посетить первого заместителя наркомвнудел Лаврентия Павловича Берию, который займет место Ежова, выздоровеет тот или нет. Ежов должен будет ответить за преступления... впрочем, сегодня никто не может сказать, что будет с Ежовым. События разворачиваются столь быстро, что даже самый тупой из чекистов понимает, что лучше не высовываться.

Аудиенция у Берии была краткой, будущий нарком спешил. Он был любезен, маленькие стекляшки пенсне были расположены так, что вместо глаз ты все время видел какой-то неверный отблеск, лицо его было покрыто гладким сытым подкожным жирком жуира и распутника. В то же время от него исходила сила злодейства, которой не чувствовалось в махонькой куколке — Ежове.

Берия поздравил Шавло с выборами в академики и заметил с краткой улыбкой, что и сам надеется когда-нибудь удостоиться такой же чести. Он был серьезен — и когда поздравлял, и когда высказывал свои надежды. Затем они вкратце переговорили о нуждах строительства. Берия сказал, что сам прилетит в Ножовку на той неделе, чтобы ознакомиться с делами на месте — международная обстановка усложнилась, и придется кинуть все силы на то, чтобы произвести хотя бы пять или шесть таких бомб.

— К сожалению, — сказал Матя, — это пока выше наших возможностей.

— Вы забываете, что мы с вами коммунисты, — сказал Берия, с тяжелым, будто пародийным на Сталина, грузинским акцентом. — И для нас нет невозможного. Если вам нужен миллион человек, я вам дам миллион человек, а если миллион долларов, я вам дам сто тысяч долларов. — И Берия искрен-

не засмеялся своей шутке. Что ж, пришло следующее поколение власти.

Берия спросил, не останется ли Шавло у него отобедать? Но вопрос был задан так, что ставший крайне чутким к полутонам и недомолвкам Матя понял, что Берия отдает дань вежливости, и сказал, что устал с дороги и ему надо привести себя в порядок.

— Тогда до завтра, — сказал Берия. — Надеюсь, что мы с вами сработаемся.

Вревский отвез Матю в закрытую гостиницу НКВД. Правда, по дороге согласился поездить с ним немного по Москве.

— Я вас понимаю, — сказал он, — я сам так редко бываю среди нормальных людей.

В Москве было много новых зданий. Тверская, теперь улица Горького, стала широкой, пока еще полуразрушенной, но в будущем парижской улицей. Исчез, правда, Страстной монастырь.

Когда вечером Матя, выспавшись и изучив на досуге диплом академика — все же я в десять раз более заслуженный академик, чем эти ничтожные бухгалтеры клинописи или счетчики генов у мушек дрозофил, — хотел выйти погулять в леске, окружавшем гостиницу, за ним увязался тягач — у него теперь, наверное, до конца жизни будет тягач. Тягач был в штатском, но дородный, в заслуженных чинах.

Они погуляли по небольшому парку, окружавшему особняк, и Мате вдруг показалось, что он снова в Узком, откуда и началась вся эта история. Внизу заблестел под вечерним солнцем пруд, и Матя резко повернул обратно в гостиницу. Есть вещи, о которых лучше не вспоминать.

На следующий день Матю повезли в Кремль.

Там, в большом кабинете Сталина, он увидел вождей страны. Вожди были знакомы по портретам и потому должны были быть крупнее и значительнее. Они оказались мелки и обыкновенны.

Члены Политбюро мушиным роем толклись неподалеку от двери — как будто нечто запрещало им приблизиться к столу, за которым они будут заседать, а уж тем более к месту, которое занимал Сталин. Так как Матя уже бывал в этом кабинете, он знал место, которое занимал за длинным столом Сталин. Там же в кабинете поглубже стоял и рабочий стол вождя. Матя сделал несколько шагов вдоль длинного стола заседаний, чтобы получше присмотреться к столу, за которым решаются судьбы мира.

Там лежали какие-то бумаги, журнал «30 дней», в углу, стопкой, книги и поверх них слева — настольная лампа под зеленым стеклянным абажуром, какие изготовляют, видно, с начала века, — такую и сегодня можно купить в «Мосторге». Но внимание Мати привлек блестящий предмет, лежавший на столе вместо пресса: стопка бумаг была придавлена стальной каплей от парашютной вышки — из эпицентра взрыва.

Матя невольно попятился, и, неправильно поняв его движение, Микоян сказал:

— Не стесняйтесь, академик, здесь нет тайн.

Но Матя понял, что хочет уйти из этого кабинета как можно скорее, — тот же ужас, какой преследовал его в первый визит в этот кабинет, охватил Матю. Идиот, подумал он о великом вожде, неужели он ничего не чувствует? Это же опаснее, чем ежедневно жрать мышьяк!

Вожди здоровались по очереди, бритый здоровяк — кажется, его фамилия Хрущев (Матя не ко всем переменам в Политбюро успел привыкнуть) — показал в улыбке несколько золотых зубов и спросил добродушно:

— Как у вас там летом, можно теплицы устроить?

— Теплицы? — Матя был удивлен.

— Мы устроим, — сказал Берия, опекавший Матю и не отпускавший ни на шаг.

Наркомвоенмор Ворошилов был недоволен этим и не скрывал своих намерений. Он сказал Мате, не глядя на Берию:

— Мы готовим документы о передаче ваших объектов в наркомат вооружений. Так что готовьтесь к военной дисциплине.

Берия улыбнулся и ответил за Матю:

— Мы еще посмотрим, в каком наркомате нам удобнее работать: в том ли, в котором мы за шесть лет создали оружие, или в том, где за двадцать лет ни хрена не смогли сделать.

Вышел маленький человек в полувоенной одежде — секретарь Сталина Поскребышев — и сказал, что Политбюро не состоится, ввиду того что товарищ Сталин сейчас занят.

Где, как, почему — этого не положено было знать даже самым близким его соратникам.

Пока собравшиеся в некоторой растерянности переваривали эту информацию, вперед выступил похожий на доброго козлика президент СССР Калинин. Он спросил у секретаря Сталина:

— А как же награждение?

— Награждение проведите сейчас, — сказал тот и остал-

ся стоять в дверях, ожидая, что Калинин выполнит это указание.

Калинин взял со стола коробку и небольшую книжку в темном кожаном переплете.

— Дорогой товарищ Шавло, — сказал он, направляясь к Мате и держа перед собой коробку и книжку, как ключи от сдаваемого врагу города.

Он открыл коробку — там лежал орден Ленина.

У Мати дрогнуло сердце. Он не ожидал такого сладкого сюрприза.

Он сделал шаг навстречу Калинину, а тот обернулся и растерянно спросил:

— А как же? У него нет петлицы? Может быть, у кого-нибудь найдутся ножницы, чтобы... ах, впрочем, что я говорю.

Тут все стали смеяться, потому что каждый мог представить себе, как президент Калинин продырявливает ножницами пиджак академика.

— Ладно уж, возьмите так, сами делайте дырки, — сказал Калинин, передавая коробочку и орденскую книжку, а затем вынул из кармана чистый белый платочек, чтобы вытереть слезящиеся от смеха глаза.

Матя думал, что Политбюро перенесут на следующий день и надо будет ждать, но Берия сказал ему, чтобы возвращался в Ножовку:

— В Ножовке вы нужнее. Тут они обойдутся без вас.

На следующей неделе произошло два события.

Ежов был освобожден от должности наркомвнудел и переведен на должность наркома речного транспорта, а на его место назначен Берия.

Еще через два дня нарком Берия, никого не предупредив, прилетел в Ножовку на военно-транспортном самолете.

Шифровка была получена за два часа до прилета, и Алмазов просто физически не смог собраться, чтобы выйти встретить нового шефа. Его с утра так рвало, и была такая температура, что подняться с постели он не смог.

Берию встречал Матя и заместитель Алмазова старший майор Павловский. С Берией прилетел Вревский, которого он оставил на старой должности и который, возможно, был вовсе не выдвиженцем Ежова, а ставленником Берии, впрочем, кому это сейчас важно?

Матя провез Берию в управление по недавно покрытой ме-

таллической сеткой дороге, которая огибала полигон на безопасном расстоянии.

Берии было любопытно, и он спросил:

— А зачем едем вокруг?

— Город до сих пор излучает вредные вещества, — честно сказал Матя.

— Почему я об этом не знал? — спросил Берия. Он сразу подобрался, стал упругим и даже жестким.

— Мы сами не знали, когда был взрыв, — сказал Матя. — Но потом начались случаи лучевой болезни — так мы называем поражение...

— Лучами смерти, — подсказал Берия.

— Лучами смерти, — согласился Матя.

— А откуда они исходят? — спросил Берия через минуту — у него четко работала голова. — Если взрыва уже нет? Откуда?

— Если говорить упрощенно, то процесс взрыва продолжается. При взрыве образуются различные вещества, которые распадаются и излучают, — сказал Матя.

— И надолго это?

— Период излучения зависит от периода распада вещества. Излучая, оно постепенно превращается в другое вещество, безопасное.

— И вы не знали об этом раньше?

— Были теоретические разработки... но вы поймите нас, Лаврентий Павлович. — Шавло старался, чтобы его голос звучал убедительно, ему самому уже казалось под взглядом глазок наркома, что он лжет. — Нам было не до излучений. Мы делали первую в мире бомбу. И пока она не взорвалась, мы могли только догадываться.

— Скажи мне, Матвей, — Берия неожиданно перешел на «ты», и Матя не знал, насколько это хорошо или смертельно опасно, — наш общий знакомый Ежов знал, что от этих излучений можно пострадать?

— От них можно умереть. Сейчас у нас созданы специальные медицинские управления, мы стараемся понять, что такое эта лучевая болезнь и как ее лечить.

— И пока не знаете?

— Нет.

— Плохо, — сказал Берия. — Значит, и Ежов не знал... — Потом, подумав, заговорил вновь: — А далеко могут разлетаться эти лучи?

— Главное — даже не расстояние, а время после взрыва.

Если ты попадаешь на это место сразу после взрыва, то там все буквально пронизано лучами.

— И вы совались туда после взрыва? — спросил Берия.

— Совались, — сказал Матя, словно виноватый школьник.

— И Ежов?

— И Ежов. И Алмазов.

— А что потом? Какие симптомы?

— Лаврентий Павлович, я вызову вам врачей, они сейчас проводят очень интересные опыты. В том числе у нас есть ряд лиц, по разным причинам оказавшихся в зоне заражения. Если вам это важно, мы немедленно подготовим вам все материалы.

— Вот именно, немедленно.

Берия согласился отобедать с Шавло. Матя думал, что нарком вызовет своего повара, будет, подобно Ежову, бояться отравы, — Берия ел и пил нормально, спокойно, как коллега, приехавший на соседний объект. И не спешил. Даже расспрашивал Матю о жизни в Италии, видел ли он там Муссолини, который почему-то вызывал в Берии особый интерес, больший даже, чем Гитлер, — может быть, тут играло роль сходство южного темперамента.

— Прежде чем поедем с тобой к врачам, — сказал Берия, — я хочу, чтобы ты подготовил мне визиты на все твои главные объекты. Кроме института — ученые мне пока не нужны, мне достаточно одного академика Шавло. Мне нужно, чтобы я все понял об этой бомбе. И хочу знать, когда она будет запущена на поток... — Берия поднял руку, останавливая возражения Мати. — Я все уже слышал. Я разумный человек и не какой-нибудь варвар и убийца, как твой друг Ежов. Ты должен будешь мне объяснить, почему не можешь сделать следующую бомбу послезавтра. Но так объяснить, чтобы я тебе поверил, ясно? Тогда давай еще по рюмке и пошли к твоим докторам. Я хочу все знать про лучевую болезнь. Но смотри, заразишь меня — умрешь раньше.

— Я хочу жить, — сказал Матя. — И меня уже пугали.

— Молодец, — одобрил Берия. — Значит, мы с тобой в чем-то похожи.

И он весело засмеялся.

Берия не отпускал Матю почти сутки, пока не осмотрел все, что можно было осмотреть в Ножовке. Единственное, куда он не поехал, — это в погибший город Берлин. Он рассматривал его в бинокль с крыши института.

Полярный день был в самом разгаре, солнце лишь на несколько минут опускалось за горизонт, и ночью было так же светло, как днем.

Последний разговор между Берией и Матей произошел уже утром, когда оба шатались от усталости. Берия требовал, чтобы габариты бомбы были резко уменьшены, — она должна помещаться в бомбардировщик дальнего действия. Матя доказывал наркому, что это невозможно.

— И ты не только придумаешь, как это сделать, — сказал тогда Берия, — но сделаешь это до первого сентября.

— Осталось два месяца! Это невозможно!

— Опять невозможно! Ты мне надоел. Ты растяпа. Я заменю тебя каким-нибудь другим академиком, и не липовым, а настоящим.

Матя дернулся, как от пощечины.

— А я хочу тебя обидеть, — сказал Берия. — Хочу обидеть и испугать, иначе ты не сделаешь, что я тебя прошу. Пойми, что мы не можем ждать, пока вы с академиками раскачаетесь как положено. Мы, коммунисты, все делаем не как обычные люди, мы в десять раз более жестокие и бедные — мы как боевые муравьи-разбойники. Слышал о таких? Теперь слушай меня внимательно и пойми, иначе тебя ждет долгая и мучительная смерть. И знаешь какая? Я посажу тебя голой жопой в центре полигона, и пускай сквозь тебя лезут все самые вредные лучи. Я не академик, а уже знаю, как погрузить бомбу в ТБ-4. С нее надо снять свинцовую оболочку.

— Но тогда она будет излучать...

— Ну и хрен с ней, пускай излучает. Летчики потерпят, они у нас комсомольцы. Так что раздевайте своего «Ивана».

А уже на летном поле, когда Матя провожал Берию, тот взял его крепкими пальцами за локоть и повлек в сторону от охраны.

— Скажи, у Алмазова лучевая болезнь?

— Наверное.

— Мы с тобой смотрели на лысых крыс и лысых людей, волосы всегда при лучевой болезни выпадают?

— Я думал, что вы уже все знаете лучше меня.

— Это правильно. Но все равно не мешает лишний раз спросить. Мне тот профессор, на Пушкина похожий, еврей, объяснял, что предметы и люди тоже заражаются, если они были в очень облученном месте. Значит, если у меня есть предмет, вещь из облученного места, она меня может убить?

— Наверное, может, — сказал Матя. Он не знал, что имел в

виду Берия, но сам, к ужасу своему, явственно представил сверкающую полированную каплю размером с кулак на письменном столе Сталина.

Но, возможно, Берия имел в виду что-то иное, потому что сказал, направляясь под ночным солнцем к трапу самолета:

— Значит, его можно будет не расстреливать — сам отмучается.

15 июля 1939 года, через два дня после подписания договора с русскими о мире и дележе Европы, Гитлер бросил свои войска на Польшу.

Он не устраивал никаких провокаций на границе и ничего не заявлял в свое оправдание. Он пошел на авантюру куда более отчаянную, чем при захвате Рейнской области или вторжении в Чехословакию. Он знал, что его могут спасти только быстрота и неожиданность, потому что третий фактор стратегии — сила — был временно в руках Сталина. И этот фактор также было необходимо выбить из рук Сталина.

Сметя пограничные заставы поляков, разведка которых проспала движения германских войск возле границы, обходя сильные крепостные гарнизоны, немецкие войска в течение трех дней подошли к Варшаве.

Мир был в смущении, ярости и гневе.

В день начала наступления Гитлера на Польшу в Лондоне пало правительство Чемберлена, который даже в этот момент умолял парламент не отдавать власть слишком резкому и непредсказуемому Черчиллю, а сделать премьером лорда Галифакса. Но Галифакс сам отказался от такой чести — Чемберлен и Галифакс несколько лет старались удерживать Гитлера подарками и компромиссами, а Черчиллю предстояло объявить ему войну.

Франция уже разорвала дипломатические отношения с Германией и начала мобилизацию. Испуганно готовились к войне маленькие Дания и Голландия.

На третий день мировой войны Мате Шавло пришлось дважды разговаривать с обреченными людьми.

За день до того Матя получил вызов в Москву, подписанный Берией. Медлить было нельзя, и Матя стал тут же собираться. Но когда он заглянул в свой кабинет в институте, где он бывал очень редко, потому что в институте был повышенный радиационный фон и большинство ценных специалистов и служб были эвакуированы подальше от полигона, раздался телефонный звонок.

Звонил Алмазов.

— Думаешь, я не знаю, где ты? — засмеялся Алмазов в трубку глухим, трудно узнаваемым голосом. — Я за тобой присматриваю.

— Говори, что нужно, я сегодня улетаю в Москву.

— Я знаю, что началась война, а меня на нее не возьмут, — сказал Алмазов и вновь рассмеялся. — Ты летишь бомбить Берлин?

— Честное слово, я не знаю, зачем меня вызывают, Ян. Может, чтобы уволить.

— Ты молодец, ты веселый. А я все болею, слышал?

— Ян, не кривляйся.

— Ах, как ты заговорил, Шавло! Ты забыл, кому обязан жизнью?

— Ян, честное слово, я спешу в Москву. Нарком не будет меня ждать.

— И нарком уже другой, а я его видел только издали.

— Что тебе нужно?

— Матя, ты знал, что я заболею? Ты скажи честно — я все равно ничего тебе не сделаю. Только честно.

— Я не мог удерживать вас, когда вы полезли в самое пекло.

— Значит, ты знал, да? Ты убил меня нарочно?

— Никто тебя не убивал, ты выздоровеешь.

— Мне хочется в это верить, но я не верю. И звоню тебе предупредить, что на тот свет без тебя не отправлюсь. Так и знай — ты умрешь в тот же день, когда умру я. Подохнешь, как собака! Ты меня слышишь?

— Ян, я вернусь и обязательно к тебе приду.

Слышно было, как Алмазов тяжело дышит в трубку.

— Скажи, а Николая Ивановича... осудили?

— Посмотри сегодняшнюю газету. Там некролог.

— Ты думаешь, что он болел той же болезнью? — И, не услышав ответа, Алмазов закончил: — Первая пуля ранила коня, а вторая пуля ранила меня. Ты меня слушаешь? — И он снова засмеялся.

Безумие струилось по телефонным проводам и достигало Мати. Ему было страшно, словно Алмазов был рядом с ним в комнате.

— Они нас заколдовали, — быстро говорил Алмазов. — Альбина и Александрийский. Ты почему убил Альбину?

— Ян, иногда тебе лучше бы помолчать.

— Ты хочешь сказать, что я ее убил? Нет, я не убиваю тех, кого люблю. Я не насильник, как академик Шавло.

— Нас слушают, — сказал Матя и бросил трубку. Потом тут же снял ее с рычага, чтобы было занято, если Алмазов захочет позвонить снова.

Он сходит с ума, понимал Матя, он лежит у себя, он мучается от болезни, которую ему подарила бомба, — та самая, ради которой он пошел на все. Ну что ж, каждый из нас игрок. Ты сделал слишком большую ставку, Ян... А месть Альбины... Что мы знаем о том мире? И вдруг Матя подумал, что Альбина могла и выжить, и убежать из этого города и она скрывается где-то... Когда все кончится, он обязательно ее найдет и сделает так, чтобы она жила в уюте и покое.

И Матя улетел в Москву.

На аэродроме в Москве Матю встретил Вревский, и они поехали на Лубянку.

— Что нового? — спросил Матя, как только они остались в машине вдвоем.

— События принимают тревожный оборот, — сказал Вревский. — Сегодня немецкие танки были уже замечены в пригородах Варшавы. Правда, сопротивление поляков усиливается, — похоже, они опомнились. Не знаю, успеют ли они...

— А мы?

— Я не знаю. Я ничего не знаю.

— «Иван» уехал, — сказал Матя.

— Знаю, — сказал Вревский. — Он живет сейчас в Монино, под Москвой, там есть аэродром дальней авиации.

— Но зачем? Какую роль ему отводят?

— Меня не спрашивали.

В том сумасшедшем мире Матя и Вревский доверяли друг другу более, чем иным. Но это не означало откровенности.

— Какие еще новости в Москве? Что означал вчерашний некролог о смерти наркома водного транспорта?

— Маленький нарком в самом деле умер. Никто ему не помогал умереть. Кроме вас, Шавло.

— Лучевая болезнь? — спросил Матя.

— Я не знаю, как это называется, но медики утверждают, что он получил очень большие дозы облучения, родственного рентгеновскому. Говорят, от этого умерла Мария Кюри, да?

— Она подвергалась многократному облучению в течение нескольких лет.

— Что в лоб, что по лбу, — сказал Вревский и добавил задумчиво, как бы для самого себя: — Когда это кончится, нам придется закапывать твой полигон, а то трава там не будет расти.

— Это не мой полигон, — сказал Матя.

— Не надо, товарищ академик и орденоносец. Без твоей смелой инициативы Алмазов никогда бы не пробил этот проект.

— Так сложились обстоятельства... А вы бы предпочли, чтобы бомбу сделал Гитлер?

— Ему это не по зубам.

— Американцам это по зубам.

— И пускай делают. Мне они нравятся, — вдруг сказал Вревский, чем вверг Матю в изумление.

Берия ждал их в своем кабинете.

— Я уже три раза звонил на аэродром, — сказал он сердито. — Сколько можно добираться от Филей?

— Мы ехали без сирены, — сказал Вревский.

— Помолчи, Иона, — оборвал его Берия. — Нас с Матвеем Ипполитовичем срочно ждет к себе товарищ Сталин.

— В Кремль?

— Он у себя на ближней даче, в Кунцеве. Ты, Иона, останешься за меня. Информация поступает каждую минуту, мы не знаем, что случится в мире через час. Идет большая игра.

В машине Берия вдруг вынул из кармана пакет. Служебный конверт, «Совершенно секретно».

— Прочти, — сказал он.

Матя прочел — письмо было на трех страницах, написано неразборчивым, вялым почерком ослабевшего человека. В нем докладывали наркому внутренних дел, что Матвей Ипполитович Шавло в октябре 1932 года совершил на территории академического санатория «Узкое» два убийства. Первой из жертв стала некогда изнасилованная им Полина Покровская, второй — всемирно известный физик Александрийский. В то время Главное политическое управление по инициативе гр. Ягоды покрыло преступления Шавло, так как он обещал создать во искупление своей вины атомное оружие. Во время испытаний этого оружия упомянутый Шавло сознательно заманил наркома Ежова и сопровождавших его лиц в зону опасной радиации и фактически убил их. Что, без сомнения, доказывает, что Шавло на самом деле проводил всю эту операцию по заданию немецкой и итальянской разведок. В настоящее время состояние проекта таково, что его может возгла-

вить любой из сильных физиков-практиков, а научная и организационная ценность М. Шавло утеряна. Поэтому наша страна не потерпит никакого урона, если он подвергнется заслуженному наказанию. Была и подпись — Яна Алмазова, комиссара НКВД второго ранга, начальника Испытлага, дважды кавалера ордена Красного Знамени.

Читая, Матя не смел повернуть головы к Берии. Обратить это в шутку? Наверняка Берия уже все проверил. Матю тошнило. Каков подлец! Ну почему я, дурак, не навестил его ни разу за болезнь, почему избегал его и убедил этим, что намерен и дальше существовать без него и даже лучше, чем при нем? Забыл о том, как все это начиналось? Понадеялся на благородство Алмазова?

— Ну давай сюда бумагу и не дрожи, машину раскачиваешь, — сказал Берия, отбирая пакет у Шавло.

Матя подчинился.

— Ну и как, на твой взгляд, сильно Алмазов болен? — спросил нарком.

— Да, — сказал Матя. И удивился, что его голос звучит обыкновенно.

— И скоро умрет? — спросил Берия.

— Я не знаю.

— Я поговорю с врачами, — сказал Берия. Машина повернула на узкое асфальтовое шоссе, ведущее в густой холодный лес. Переехали речку. Машина остановилась перед воротами.

Когда они шли по поляне к обыкновенному скучному зданию сталинской дачи, Берия вдруг сказал:

— Товарищ Сталин не очень хорошо выглядит. Не обращай на это внимания.

Это был приказ.

Сталин их ждал на застекленной веранде, выходившей в лес. На веранде было жарко, жужжали мухи.

Сталин полулежал в шезлонге, его ноги были покрыты одеялом.

На веранде было светло, и перемены, произошедшие с вождем за последние три месяца, были очевидны и разительны. Если бы Шавло не знал, что увидит именно Сталина, он бы никогда его не узнал.

В шезлонге лежал маленький усохший человек с темно-желтым лицом и редкими седыми обвисшими усами. Он был совершенно лыс, если не считать седой пряди волос, почему-то

сохранившейся над левым ухом и зачесанной поперек почти черной, в язвочках лысины. Веки Сталина припухли, и он с трудом открывал глаза, всматриваясь в гостей.

— Пришли, — сказал он с облегчением. — Доехали?

Голос был тих, он с трудом прорывался сквозь жужжание мух. Сталин взял лежавший у него на коленях дешевый детский веер с изображением парашютистов и краснозвездных самолетов и принялся отмахиваться от мух.

— Очень жарко, — сообщил он, — но врач велел беречься простуды. В моем состоянии простуда опасна.

— Вы сегодня лучше выглядите, Иосиф Виссарионович, — сказал вежливо Берия.

— Я сегодня никуда не годно выгляжу, — ответил Сталин. — И вчера тоже никуда не годился. К сожалению, этот ревматизм-мевматизм так не вовремя приковал меня к месту.

Сталин замолчал, рука с веером упала на колени, и он медленно дышал, чтобы набраться сил.

Гости терпеливо ждали, лишь иногда отгоняя мух. В дверях веранды стоял секретарь Сталина Поскребышев.

— Я теперь доверяю только тебе, Лаврентий, — сказал Сталин. — Другие не должны знать о моей болезни. Больной лев — слабый лев. Всегда найдется шакал, который захочет на него наброситься. А еще чаще — стая шакалов.

Матю Сталин как будто не замечал, но тот понимал, что Сталин не потерял зоркости ума и внутри него все еще крутился мотор властолюбия, способный смести с лица земли миллионы людей. Не было сомнений — у Сталина лучевая болезнь. За последние месяцы Матя нагляделся на пациентов, просмотрел десятки историй болезни. Матя знал, каков источник болезни: день за днем на расстоянии вытянутой руки на письменном столе Сталина лежала сверкающая, с яблоко размером, керамическая капля, привезенная Алмазовым и Ежовым. Если можно привести образное сравнение — она была настолько раскаленной, что сила ее лучей могла убить десятки человек. И он, Матя, знал об этом. И убил Сталина из страха за собственную жизнь, из-за того, что не смел открыть тайну своих подозрений Сталину в присутствии чекистов, которых не остановил в мертвом Берлине. Тогда он отсиделся в уборной, а Сталин не догадался, как опасна для него эта капля.

Теперь же он должен был еще тщательней скрывать свою тайну... как та японская обезьянка: ничего не слышал, ничего не видел, ничего не скажет...

— На днях, — произнес Сталин, совсем по-старчески пошлепав губами, — товарищ Молотов подписал договор о дружбе с Гитлером. Мы получаем по нему половину Польши, Прибалтику и Бессарабию. Однако Гитлер коварно обманул нас, немедленно напав на Польшу. Мы доверились ему, а он нас обманул. Он полагает, что мы будем таскать для него каштаны из огня и воевать с Францией, так?

— Конечно, товарищ Сталин.

Это уже последняя стадия — его не вытянуть из этой болезни ни за что на свете. Все доктора мира бессильны помочь ему. Неужели никто из врачей не поставил правильного диагноза?

Теперь все зависит от Берии. От того, захочет ли он привести в действие машину правосудия и стереть с лица земли букашку, несостоявшегося нобелевского лауреата? Или, может, он предпочтет спрятать это письмо в самый надежный из своих сейфов? Он, Шавло, сделал бы именно так.

— Вы слушаете меня, товарищ Шавлов? — донесся тихий голос Сталина. Он так и не научился правильно произносить фамилию. — У меня создается такое впечатление, что вы плохо меня слушаете.

— Я внимательно слушаю, товарищ Сталин, — спохватился Матя.

— Я вызвал вас, потому что мне нужна самая точная информация из самых первых рук. Надеюсь, вы не станете лукавить перед больным старым человеком... Нет? Тогда скажите мне точно, каково положение с атомными бомбами?

Шавло осторожно покосился на Берию, теперь он выбрал себе нового покровителя — без Берии или вопреки Берии ему не выжить. Он видел, как Берия прикрыл глаза, как бы дозволяя говорить правду.

Может быть, Берия и вел бы себя иначе, но пока он был заинтересован в доверии и поддержке больного и, может быть, обреченного Сталина. Он был не первым на лестнице Советской власти, и требовалось время, чтобы расчистить себе дорогу. А для этого ему нужен живой Сталин.

— Бомба номер два, товарищ Сталин, — сказал Шавло, — под кодовым названием «Иван» уже готова, и теперь для нее изготавливается новая оболочка, которая позволит погрузить ее в бомбардировщик дальнего действия.

— Правильно, — сказал Сталин. — Молодцы, что спешите выполнить это мое указание.

— Эта работа практически закончена.

— А остальные бомбы? Меня интересуют остальные. Одной бомбой мы можем только пугнуть. Но для победы мы должны иметь хотя бы несколько бомб. И поймите, товарищ Шавлов, сейчас от вас и ваших сотрудников, от их беззаветной работы на благо нашей советской родины зависит судьба и нашей страны, и всего мирового пролетариата!

Этот монолог стоил Сталину таких усилий, что он надолго закрыл глаза. Но Берия и Шавло сидели неподвижно, будто боялись его разбудить.

— Говорите, — произнес Сталин, не открывая глаз.

— Третья и четвертая бомбы будут готовы осенью — надеюсь, в октябре.

— Почему так долго?

— Дальше дела пойдут быстрее, товарищ Сталин.

— Мне не надо дальше, мне надо сокрушить наших врагов раньше. Немедленно! Сейчас! Я приказываю вам, Шавлов, под личную ответственность, чтобы к началу сентября были закончены бомбы три и четыре. Под вашу личную ответственность...

Сталин откинул голову назад и захрипел.

Вбежал Поскребышев. За ним маленький мужчина в белом халате.

— Идите и исполняйте, — сказал Поскребышев. — Я сообщу вам, когда товарищ Сталин вызовет вас снова.

Берия не оборвал Поскребышева, который посмел выгнать их. Ясно было, что больше им нечего делать на даче.

Машина Берии выехала из ворот и повернула почему-то направо — по сторонам шел лес, потом она выехала на широкое поле, кое-где поросшее кустарником, которое полого скатывалось в пойму речушки.

Берия сказал:

— Пойдемте немного погуляем, такой хороший теплый день.

Когда они отошли от машины, Берия, сверкнув пенсне, уставился змеиными глазами на Матю.

— Ваш диагноз? — спросил он.

— Лучевая болезнь, — ответил Матя.

— Без сомнения?

— Без сомнения.

— И это опасно?

— По тому, что я знаю, он проживет немного. Может быть, всего несколько дней.

— И вылечить нельзя?

— Нет, пока медицина бессильна.

Берия медленно пошел по тропинке над широким зеленым склоном.

Матя подумал, что Берия только проверяет выводы, к которым пришел сам. Видно, симптомы болезни появились у Сталина давно и интерес Берии, прилетавшего недавно в Ножовку, был вызван в значительной степени этим.

— А каковы, вы думаете, причины этой странной болезни? — спросил Берия. — Она заразна?

— В обычном смысле этого слова незаразна.

— То есть Иосиф Виссарионович не мог подцепить ее у Ежова или Алмазова?

— Нет.

— Так в чем же дело?

Шавло молчал.

— Матвей Ипполитович, — сказал Берия, останавливаясь. — Я хотел бы вам напомнить, что вы полностью находитесь в моей власти. Что я и без доноса Алмазова знаю о вас достаточно, чтобы завтра же расстрелять. В том числе я уверен, что вы отлично знали о радиации и смертельных лучах, которые испускает бомба, но скрыли это от своих шефов. Вы не сказали сначала и понимали, что если скажете с опозданием, то пощады вам не будет. Но я не хочу вас уничтожать, Шавло, я надеюсь, что мы с вами еще много лет будем работать вместе, рука об руку. Поэтому мне нужна абсолютная откровенность.

— У меня есть подозрение... — начал Матя, понимая, что сейчас вынужден будет признаться в фактическом убийстве вождя Советской страны. — У меня подозрение на оплавленный кирпич, который Ежов оставил Сталину на память. На письменном столе.

— Блестящий? Как яблоко?

— Вот именно.

— А я, дурак, даже в руки его брал! — Берия вдруг рассердился. — Ты мне мог сказать, а?

— Надеюсь, что это вам не угрожает. Товарищ Сталин часами и неделями подвергался непрерывному сильному облучению.

— Хорошо, — сразу остыл Берия и повернул обратно, к машине. — Я вытащу этот слиток для проверки. А ты обеспечь мне специалиста с измерительным прибором. Как он называется?

— Счетчик Гейгера.

— Чтобы у меня всегда рядом был счетчик Гейгера.

У машины Берия вдруг задумчиво произнес:

— Мы с тобой вступаем в атомную эру. Пути назад нет. Придется быть очень осторожными...

Сказать, что выступление Гитлера против Польши застало Европу врасплох, — значит ничего не сказать. В одночасье Гитлер разрушил все планы западных держав по развертыванию войск и мобилизации, которая должна была начаться не спеша к августу, в надежде, что все еще обойдется. Английская и французская общественность, хоть и выступала против нового Мюнхена и осознавала уже, что Гитлера можно остановить лишь силой, теперь съежилась и замолкла. Даже сведения о бомбардировке Варшавы и Кракова, о боях на Вестерплатте, где немецкий десант никак не мог одолеть польский морской гарнизон, казались лишь кошмаром из чужого мира, который не может иметь отношения к моему дому, к моей семье, к моей жизни.

Паралич охватил и всю структуру власти — Черчилль со своей антинемецкой позицией и постоянной непримиримостью к Гитлеру должен был получить немедленную власть военного времени, даже Гитлер так полагал, но заявление о подписании советско-германского договора о дружбе и нейтралитете разрушило весь карточный домик его политики. Надо было еще привыкнуть к тому, что воевать придется, вернее всего, сразу с обоими тоталитарными режимами Европы, а Америка, занятая своими дрязгами с Японией и президентскими выборами, постарается в европейские дела не вмешиваться.

Чемберлен подал в отставку, Галифакс поста премьера не принял, Черчилля палата общин не пропускала...

Черчилль укрылся в тот день в Адмиралтействе. Этот компромиссный пост парламент подарил Черчиллю, так как он был внекабинетным, ради того чтобы успокоить растерянное общественное мнение, для которого имя Черчилль связывалось теперь с честью страны, которую Черчиллю и положено было спасать, не имея к тому ни сил, ни средств.

— Какого черта? — спросил Черчилль адмирала Маунтбэттена, который сидел у камина в кабинете, еще пахнущем табаком его прежнего хозяина. — Какого черта Сталин допустил утечку информации о секретных переговорах — это же компрометирует Россию?

— Возможно, это означает, что Сталин теряет власть над страной?

— После того что он сделал с оппозицией? Не будьте наив-

ным, адмирал. — Толстый невысокий Черчилль стоял перед высоким красавцем Маунтбэттеном, родственником короля, но тем не менее толковым моряком, уперев руки в бока, будто хотел боднуть собеседника в подбородок.

— Тогда будем считать, что случилась обыкновенная утечка информации, — это бывает на разном уровне. Не забудьте, сэр, что и у русских сейчас большие перемены: скромный некролог комиссару Ежову и назначение Берии...

— Берия давно целился на этот пост. Удивительно, что Ежов продержался так долго.

— Мне кажется, что здесь все неправильно, — сказал сэр Рибли, начальник морской разведки, сидевший до того молча в одном из мягких кресел. — Ежов мог умереть, только став жертвой процесса. И Сталин готовил этот процесс — мои аналитики могут доказать это на основе советской прессы. На Ежова должны были быть свалены все грехи сталинского террора. А он умирает сам по себе. Если он убит — тогда либо проклятия, либо полное молчание. Если покончил с собой — то несчастный случай или сердечный приступ. А вы прочли некролог?

— Нет, — признался Черчилль.

— Там сказано «после тяжелой продолжительной болезни», то есть признается, что Ежов умер от естественных причин. Второе: где Сталин? Почему договор с Германией подписывался в его отсутствие? Это неправильно. Почему он ни разу не появился на людях после Первого мая, когда он в последний раз торчал на Мавзолее своего учителя? Что он готовит?

— Я видел его подпись под договором с Гитлером. И этот договор может означать гибель европейской цивилизации, — сказал Маунтбэттен.

— Я бы не разделил столь пессимистического взгляда на положение вещей, — сказал Черчилль, — если бы у красных не было атомной бомбы. Так хочется надеяться, что это розыгрыш, шутка, ошибка ученых... — Черчилль оборвал фразу.

— Вы сами в это не верите.

— Тогда скажите, сколько у них еще бомб? Сколько он сможет их поднять в воздух? И можно ли вообще поднять атомную бомбу в небо и доставить в другую страну на самолете? Почему вы ничего этого не знаете? За что правительство Его Величества платит вам скромное жалованье?

Последние слова должны были прозвучать шуткой, но таковой не стали. И Рибли ответил совершенно искренне:

— Все службы британской разведки трудятся сейчас над

этим. Но в Полярном институте у нас нет своих людей. Их нет и в Испытлаге...

— Что еще за дикое слово? — спросил Черчилль.

— Мне объяснили, что это сокращение для названия концентрационного лагеря, в котором происходят испытания.

— Продолжайте и простите, сэр.

— Но мы знаем самое важное, — сказал Рибли. — Немецкая разведка имеет фильм об испытаниях бомбы, и, более того, они смогли отправить в тот район специально оборудованный самолет, который привез образцы и даже двух русских... и эти русские кое-что знают.

— Бред какой-то! — возмутился Черчилль. — Интеллидженс сервис скоро останется лишь в славных романах о наших Лоуренсах. В момент, когда решаются судьбы мира, мы оказываемся слепыми и глухими.

— Мы принимаем меры, — сказал Рибли.

— Но какие?

— Даже здесь и даже вам, сэр, я не могу о них сообщить. Единственное, что вам должно быть понятно: в Германии, в отличие от Полярного Урала, у нас есть свои агенты. Нам легче выкрасть Гитлера, чем простого заключенного из сталинской Арктики.

— А вот немцам удалось, — мрачно сказал Черчилль. — Хотя нам эти люди нужны любой ценой, а Гитлеру — вряд ли.

— Почему? — удивился Маунтбэттен.

— Потому что я полагаю, что нам подсунули секретные соглашения Советского Союза и Германии специально для того, чтобы мы не догадались о существовании еще более секретных соглашений: когда и чем Гитлер ответит на ценные подарки, которые намерен получить от Сталина.

— И что вы думаете?

— Я боюсь, что эти подарки — атомные бомбы. Если их у Сталина хотя бы две или три, этого достаточно, чтобы стереть с лица Земли половину Парижа и Лондона, — и война Гитлером выиграна. Шок будет таков, что люди ради спасения себя и своих детей потребуют мира любой ценой.

Адмирал Маунтбэттен вытянулся, будто отпрянул от пощечины, и громко сказал:

— Вы недооцениваете добрый народ Англии, сэр!

Господи, какой ты молодой, стройный и красивый, какая отличная карьера открывается перед тобой. Но вернее всего, этого не случится, потому что два мерзавца сговорились отправить тебя на тот свет.

Сталин не бывал искренним даже с самим собой. И это порой помогало ему сохранить несохранимые тайны и обмануть людей, которых обмануть невозможно.

Остальные могут продать, сделать глупость, проговориться...

Но все же ближе других к Сталину был его секретарь Поскребышев. Недавно, уже заболевая и все более ненавидя от постоянной тошноты окружавших его негодяев, он приказал арестовать жену Поскребышева. Тот на коленях умолял вождя отпустить эту женщину. И тогда Сталин приказал Поскребышеву прекратить истерику и принести Сталину стакан чаю.

Когда заплаканный маленький Поскребышев принес стакан и поставил на стол, Сталин велел ему тут же уходить. А сам вызвал по прямому телефону эксперта из лаборатории Фесуненкова — специалиста по ядам. В стакане яда не оказалось. Сталин не отпустил жену Поскребышева, но подложил ему другую, молодую, куда более красивую.

Шла ночь на восемнадцатое июля. Немецкие войска уже подошли к Варшаве и вели бои на подступах к ней. Польские авиационные части были в основном уничтожены на земле, потому что поляки, как и все, верили в то, что войны не начинаются так вот, неожиданно даже для собственного генерального штаба.

Сталин не мог заснуть. Ломило голову, — наверное, опять давление, тошнило, как тошнило все последние недели. Кожа на тыльных сторонах кистей распухла и болезненно растрескалась, очень мучили язвы под мышками и в паху. Но врачей Сталин к себе не допускал, он не мог допустить врачей, которые растрезвонят по всему миру, что он так страшно болен и неизвестно когда придет в себя, хотя он твердо верил, что выздоровеет; он всегда выздоравливал, а сейчас он еще не стар — шестьдесят не возраст для мужчины, да и нельзя показываться врачам — начнутся анализы, подозрения на рак, Сталин очень боялся рака.

Сталин осторожно поднялся и долго сидел, медленно шевеля ступнями ног, возя ими по полу в поисках шлепанцев. Ему надо было дойти до кабинета. Он понял сейчас, лежа без сна, что именно этой ночью он еще может спасти мир и свою судьбу, — завтра будет поздно. Потому что Гитлер провел его, обманул, как обманул всех — и англичан, и французов. Но этих не жалко, — а вот как можно дать обмануть себя! Ведь поверил разведке, поверил иностранным дипломатам, поверил искренности телеграмм Гитлера и откровенно рабским преданным глазам красавчика Риббентропа, доверился этим идиотам, подон-

кам, ничтожествам — Молотову и Ворошилову. Конечно же, Гитлер облапошил их...

В переговорах Гитлер дал понять, что знает о существовании у Сталина одной атомной бомбы. Откуда он знал об этом — не важно, опять просрала контрразведка — везде предатели и олухи. Но речь шла и о других бомбах. Когда Гитлер предложил Сталину заключить с ним сверхсекретное соглашение, по которому он после начала войны, то есть в сентябре, обязуется бросить одну бомбу на Париж, а одну на Лондон, за что Гитлер навсегда отказывается от претензий на Восточное полушарие, отдавая его Сталину, Сталин не сказал ни да, ни нет, велел Молотову молчать.

И все же поверил, дурак, поверил, что Гитлер в самом деле будет ждать сентября, когда у Сталина будет три бомбы. Ведь сам бы на месте Гитлера ударил упреждающе, не поверил бы договору. Никому верить нельзя.

Теперь у Сталина всего одна карта.

Одна козырная карта. И может ли он ею воспользоваться? А если беречь ее, до какого дня? И где ударить больнее? Как уничтожить этого паршивого предателя, ефрейтора, обманщика, жалкого доходягу?

Объявить всему миру о том, что он идет на союз с Англией? И с Польшей? Чтобы наказать Гитлера.

И это на следующий день после подписания договора?

Да никакая Англия не поверит теперь ему. Этого и добивался Гитлер, так ласково предлагая еще не убитого медведя, — половину шкуры, три четверти шкуры. Бери, Сталин, ты мне теперь не страшен.

Сталин не стал зажигать света и привлекать внимание бодрствующей охраны. Он прошел к книжному шкафу и взял тот самый том, чтобы достать портрет Пилсудского, который успел умереть, и оскорбление, нанесенное Сталину, осталось неотомщенным — самое горькое оскорбление, которое можно нанести человеку гор. Человек гор — так он порой называл себя, но никогда вслух.

Сталин прошлепал к окну — снаружи светил фонарь, и его свет проникал внутрь комнаты. Он открыл книгу, перелистал. Портрета на месте не было! Украли... А потом вспомнил, что сам, еще весной, смял его и выбросил. А теперь заболел и забыл.

Никогда еще Сталин не попадал в такое безвыходное положение: через две недели, сокрушив Польшу, Гитлер ринется на

Россию, и даже если Ворошилов поведет навстречу ему свои танки, то они будут перехвачены в пути и разбиты. Вся армия в летних лагерях, и даже четыре дивизии, должные торжественно войти в Польшу и Прибалтику, так щедро подаренные Гитлером, еще не готовы. А помощи от Запада ждать нельзя.

Завтра Гитлер войдет в Варшаву, в ту самую, сладкую, недостижимую Варшаву, которую Сталин так и не сумел захватить, может, даже по собственной вине — не желал, чтобы слава досталась выскочке Тухачевскому, и задержал Буденного подо Львовом.

Завтра Гитлер будет в Варшаве. А Сталин уже никогда...

Тогда и возникло в мозгу это слово — никогда. Тогда и пришло осознание окончательности своей болезни. Он же обманывал себя от страха не перед врачами, а перед смертью. Наверное, подсознательно он давно уже понял, что спасения нет...

И только один удар, один козырь!

Поскребышев, который спал в прихожей, не раздеваясь, уже несколько недель, услышал, как Сталин шлепает по комнате и шуршит страницами. Он чуть приоткрыл дверь.

— Что-нибудь нужно, Иосиф Виссарионович? — спросил он.

— Завтра утром свяжешь меня с Ворошиловым и Тимошенко. А кто у нас командует дальней авиацией?

— Рычагов, товарищ Сталин.

— Значит, должен будет знать и Рычагов. А Берия пускай приедет ко мне в двенадцать ноль-ноль.

Голос Сталина был настолько тверд, словно он выздоровел, и Поскребышев, который понимал, что он, как жена скифского царя, будет убит и положен в курган вместе с повелителем, вдруг вознадеялся, что обошлось...

Но в комнате так пахло разлагающейся плотью, и фигура вождя была так сгорблена и немощна, что Поскребышев отринул надежду и, подойдя к вождю, помог ему вернуться к дивану, на котором тот должен был спать.

Варшава пала утром восемнадцатого июля.

Танковый корпус Гудериана смог обойти ее с юга, и в городе началась паника. Польская армия откатывалась на восток, но советские части, которые, по соглашению с Германией, должны были двинуться навстречу германцам, воссоединяя с родиной народы Западной Белоруссии и Украины, все еще не были подтянуты к границе. Все планировалось на сентябрь. Сейчас эше-

лоны шли на запад, вызывая безнадежные пробки на дорогах. В приграничных областях царили неразбериха и анархия. Наркомвоенмор Ворошилов, не имея инструкций от Сталина, до которого он уже неделю не мог дозвониться, предпринимал лишь половинчатые, неуверенные шаги, вроде бы кому-то угрожая, но в то же время готовый, если нужно, и отступить. В Кремле царила тихая и невидимая посторонним паника...

Утром, получив сообщение из Варшавы, Гитлер тут же позвонил Альбине.

— Моя судьба, добрым вестником которой ты для меня стала, свершается, — сказал он торжественно. — Варшава пала!

— А что наши? — спросила Альбина и с неловким смешком поправилась: — А что русские?

— Они все еще в растерянности. Я их понимаю, они сидят с одной картой.

— И что они с ней сделают?

— Насколько я знаю Сталина, он должен постараться мне отомстить, — сказал Гитлер. — Он погрузит бомбу в самолет и отправит ее на Берлин.

— Какой ужас!

— Неужели ты думаешь, белый кролик, что я допущу этот самолет к нашему городу? Начиная с сегодняшней ночи, вся авиация империи будет защищать столицу. На всем пути самолета с бомбой будут дежурить истребители. Твой Сталин...

— Он не мой! Я его ненавижу!

— Ты не имеешь права ненавидеть лидеров других государств, — засмеялся Гитлер, — ты слишком нежна для этого.

— Я — богиня, — сказала Альбина.

— Да, я знаю. — Гитлер перестал смеяться. — Но можешь быть уверена, что этот самолет до Берлина не долетит.

— А если он решит кинуть бомбу на Париж?

— Одну-единственную и на Париж, который ему стратегически не нужен? Он не сумасшедший. Он сейчас ненавидит меня, потому что я его облапошил.

Альбина не знала этого немецкого слова, и Гитлер объяснил и продолжал:

— Так что берлинцы будут в безопасности.

— Спасибо. — сказала Альбина и замолчала.

— Я помню о своем обещании, — сказал Гитлер. — Я возьму тебя с собой в Варшаву. Потому что, пока остается хоть один маленький шанс, что этот чертов самолет все же долетит до Берлина, я хочу, чтобы тебя здесь не было. Ты вылетаешь вместе со

мной в Варшаву. Мы с тобой будем принимать парад победителей.

— Ой, как хорошо! — совсем по-детски воскликнула Альбина. — Мне так интересно посмотреть на Варшаву, я никогда не была за границей!

Гитлер объявил о своем намерении вылететь утром в Варшаву в пять часов вечера, через несколько часов после ее капитуляции. Немедленно по получении этого известия Геринг и Гиммлер старались отговорить фюрера — Варшава еще не очищена от подозрительных элементов. Русские войска могут попытаться туда прорваться.

Но Гитлер поднял всех на смех:

— Я должен сделать это завтра — завтра или никогда. Я не намерен терять ни часа! Еще неделю назад вы валялись у меня в ногах, уверяя, что поход на Польшу — дешевая авантюра, которая загубит рейх. Так вот — завтра я принимаю там парад, и весь мир содрогнется. А послезавтра я кидаю мои войска на Москву. Мне нужно взять их столицу раньше, чем Англия с Францией поймут, что без России им не поможет даже Америка. Все!

Через два часа в воздух была поднята находившаяся в полной боевой готовности воздушно-десантная дивизия СС «Хорст Вессель». На одном из самолетов летел сам рейхсфюрер СС, который лично возглавил начавшуюся вечером и законченную к началу торжественного парада очистку польской столицы от вредных элементов, организацию временных гетто для евреев и другие меры безопасности.

Гитлер заехал за Альбиной сам — это было немыслимо для покорителя Вселенной, но он придавал особый мистический смысл тому, что Альбина будет рядом с ним как олицетворение космической расы господ.

Оттуда они поехали на аэродром. Они ехали в открытой машине, за ними — три или четыре машины, в одной из которых восседали генерал Гаусгофер, два его ассистента, человек в зеленых перчатках и тибетский лама с глубоко посаженными глазами, правда, другие спутники Гаусгофера были в цивильной одежде и низко надвинутых шляпах.

Прохожие останавливались — некоторые узнавали фюрера, и, хотя машины ехали довольно быстро, слух о том, что фюрер улетает в Варшаву, чтобы принять капитуляцию поляков и золотые ключи от этого города, разносился по Берлину со сказочной быстротой, и люди выбегали на улицы — они выстраива-

лись в несколько рядов неровным, наклоненным в сторону машин частоколом и держали в приветствии руки. Гитлер встал в машине и тоже поднял руку — чуть согнув в локте. Альбина сидела рядом с ним и смотрела на него с восхищением. Потому что он был велик, как римский цезарь.

Самолет с «Иваном» на борту уже вторую неделю стоял в полной боевой готовности в ангаре военного аэродрома в Монино. Ни одна живая душа, включая пилотов самолета и командование авиации, не знала, что за груз находится там. Знал лишь командующий авиацией командарм второго ранга Рычагов — один из шести человек в государстве. Еще несколько десятков человек догадывались.

С утра восемнадцатого, когда были получены сообщения о падении Варшавы, Поскребышев, выполняя сталинский приказ, разослал с нарочными заготовленный ранее, отпечатанный на машинке приказ наркомвоенмору Ворошилову и командующему авиацией Рычагову. Члены Политбюро не были поставлены в известность — никто не ехал в отпуск, все сидели в Москве, узнавая о новостях по радио, и опасались общаться в страхе перед Берией.

Получив приказ, Ворошилов позвонил Сталину. Поскребышев ответил, что товарищ Сталин занят.

— Мне надо немедленно приехать к нему.

— Я могу передать трубку наркомвнудел товарищу Берия, — сказал Поскребышев.

Ворошилов выматерился. В такой момент Сосо мог бы поговорить откровенно.

— Я подтверждаю, что приказ, полученный вами, Климент Ефремович, — сказал Берия, — подлинный. Иосиф Виссарионович лично при мне отправил его.

— Да ты знаешь, Лаврентий, что там написано?

— Хоть мы говорим по вертушке, я бы не стал на твоем месте объяснять мне то, что я уже знаю, — ответил Берия.

— Я должен поговорить с Сосо.

— Зачем?

— Потому что это сумасшедший приказ! Потому что я его не понимаю.

Сталин протянул руку. В то утро он чувствовал себя лучше — он всегда мог собрать в кулак все силы в моменты наибольшей опасности. Он лежал на диване, в галифе и мягкой куртке, но босой — гнойные узлы на ногах не давали надеть сапо-

ги. Телефон, по которому говорил Берия, находился на письменном столе, но шнур был длинный и дотянулся до дивана.

— Клим, — сказал Сталин прежним, привычным для Ворошилова голосом. — Обстоятельства сложились так, что мне придется несколько дней полежать с простудой. Но я никому, кроме тебя и Лаврентия, об этом не говорю — ты сам понимаешь, какая царит международная обстановка и как могут расценить простую простуду наши враги.

— Конечно, Сосо, отдыхай, Сосо. — Ворошилов ощущал себя дворовым псом, которому хозяин позволил потереться о сапог. — Мы все без тебя сделаем.

— Мне не нужно все, Клим, — сказал Сталин. — Мне нужно только, чтобы ты хорошо работал и выполнял свои функции. И если я приказал тебе отправить самолет в нужном направлении и поразить нужную цель, значит, я знаю, что делаю.

— Прости, Сосо, — сказал Клим. — Я волнуюсь. Тебя нет, немцы наступают, мы же должны выходить к линии раздела.

— А ты выходи, не обращай ни на кого внимания...

— Сосо, ты не представляешь, что делается на железных дорогах, немцы застали нас врасплох.

— А вот тут ты ошибаешься, Клим, — сказал Сталин. — Немцы не могли застать меня врасплох. Я — орешек им не по зубам. Так что готовь машины...

— Сколько?

— Сколько у Рычагова есть ТБ-4? Готовых к полету, а не на бумаге.

После некоторой паузы, из которой можно было заключить, что Рычагов находился в кабинете наркомвоенмора, Ворошилов сказал:

— Два звена. Не считая машины, которая стоит с грузом.

— Вот оба эти два звена ты и пошлешь.

— Зачем?

— Все истребители сопровождения, какие сможете поднять, будут прикрывать их за Минском. Двумя звеньями можете пожертвовать, отвлеки на них всю немецкую авиацию, но самолет с грузом должен долететь.

— Слушаюсь, Сосо, — сказал Ворошилов.

— И очень прошу тебя, Клим, — Сталин постарался придать голосу отеческие интонации, — не беспокой меня больше, я планирую очень важную операцию и надеюсь, что ты выполнишь свой долг.

— Я клянусь тебе, Сосо, — сказал Ворошилов.

Сталин повесил трубку и спросил Берию:

— Ты думаешь, он не струсит?

— Я поеду в Москву, — сказал Берия, — я постараюсь быть рядом с ним.

— Правильно, — сказал Сталин, — и смотри, какая будет реакция в мире.

Берия вышел. Сталину казалось, что он смог убедить своих соратников в том, что им руководит особая тайная цель, осознать которую они пока не могут, но со временем оценят и поймут.

На самом же деле Сталин наконец понял, что умирает, и решил свести перед смертью давние счеты.

ТБ-4 имели относительно небольшую крейсерскую скорость — чуть больше двухсот пятидесяти километров в час. В ту ночь, когда они вылетели из Монино, была низкая облачность, и, несмотря на летнюю погоду, уже на высоте трех километров они попали в полосу холодного воздуха, и началось обледенение — самолеты опустились ниже.

Экипаж машины № 12, на борту которой была атомная бомба «Иван», привык к этой чушке. Так и называли бомбу — чушкой.

Приказ о маршруте был у командира корабля, приказ на выполнение задания — у старшего майора НКВД и его помощника, который находился в бомбометательном отсеке.

Еще днем молодой командующий авиацией Рычагов, в несколько месяцев взлетевший от командира полка до командующего только потому, что был смел, никогда не вмешивался в дела старших, был неопасен и на него не оказалось серьезных доносов, придумал план, который, с его точки зрения, обеспечивал, если не гарантировал, удачу полета.

Двенадцатая машина шла медленнее остальных, она должна была отстать от основной группы так, чтобы первые машины отвлекли на себя внимание противника.

Двенадцатая машина должна была прокрасться чуть позже их, идти на максимальной высоте, используя облачную погоду, и держаться севернее. Рычагов не задумывался о смысле приказа или его возможных последствиях для всего мира — он выполнял приказ: порой удобнее иметь в командующих вчерашнего командира полка.

Советско-польской границы, проходившей западнее Минска, бомбардировщики достигли на рассвете. Вот теперь-то и на-

чиналось самое трудное. Пока что шли над расположением польских войск, их авиация в бой с советскими тяжелыми бомбардировщиками, шедшими при массированном сопровождении истребителей, не вступала. Но в районе Гродно советские самолеты привлекли внимание немецкого самолета-наблюдателя, который парил в стороне, фотографируя пути отступления поляков.

Сведения о том, что со стороны советской границы идут тяжелые бомбардировщики, Гитлер получил, когда уже был одет, а части строились на Аллеях Уяздовых для парада.

Он провел эту ночь с Альбиной и утром, когда направился в ванную, сказал:

— Я бы хотел сегодня зачать сына. Впервые в жизни такое желание. Почему?

— Потому что это мое желание, — ответила Альбина.

Она причесывалась, сидя перед трюмо. Ее смущало то, что волосы в последнее время стали выпадать, — возраст сказывался... Впрочем, она тут же изгнала эту мысль — сегодня и ее день. Она будет стоять рядом с Адольфом в момент его торжества. И тогда до свершения мести останется всего шаг.

— Ты будешь стоять вместе с женами моих высших сановников, — сказал Гитлер из спальни. — Я не могу подвергать тебя риску — возможно покушение.

— Значит, опасность грозит тебе?

— Нет, меня охраняют космические силы.

— Меня тоже!

— Ты — мать наследника нашей империи, — отрезал Гитлер.

Они завтракали, когда Гитлеру принесли очередное сообщение: тяжелые бомбардировщики русских находятся в полутора часах лета от Варшавы.

— Сколько их? — спросил Гитлер.

— Сейчас данные уточняются, — ответил адъютант. — Очевидно, шесть.

— Сколько им лететь до Берлина? — спросил Гитлер.

— Около четырех часов.

— Поднимите в воздух всю истребительную авиацию рейха, но эти бомбардировщики должны быть сбиты раньше, чем пересекут границу Германии!

Гитлер обернулся к Альбине. Она была испугана.

— А вдруг они летят, чтобы убить тебя?

— Зачем Сталину взятая нами Варшава? Что он в ней потерял? — засмеялся Гитлер.

— А вдруг он знает, что ты здесь?

— Это невероятно. О моем приезде знали лишь несколько человек. Приехали мы с тобой уже в сумерках. Нет, это невероятно...

Гитлер подозвал адъютанта и приказал усилить охрану неба над Варшавой.

Он вышел на площадь. За ночь возведенная трибуна была украшена громадными нацистскими знаменами. Алые полотнища с белыми кругами и свастиками спускались с крыш соседних домов. Где-то недалеко ревели моторы танков, которые готовились выйти на площадь.

Тщательно отобранная толпа клакеров, привезенных из Данцига и даже Берлина, закричала, приветствуя вождя. Гитлер поднял руку, прекращая крики. Альбина остановилась ниже, среди вельмож империи и их жен. Рядом с ней как бы напоминанием окружающим о ее особой роли встал адъютант фюрера. Альбина подняла голову, глядя на фюрера. Высоко в небе, то залетая в облака, то показываясь из них, мелькали маленькие самолетики.

— Это наши самолеты? — спросила Альбина у адъютанта.

— Да, это наши истребители, фрейлейн, — ответил адъютант.

Гитлеру, когда он уже стоял на трибуне, сообщили, что два самолета сбиты, несмотря на то, что их охраняли русские истребители. Еще два взяли курс южнее — очевидно, на Бреслау. Наконец, последние два упорно пробиваются к западу. Но истребителям сопровождения не хватает горючего, и они уходят назад. Единственная сложность — русские бомбардировщики прячутся в облаках, хотя возле Берлина облачность кончается, и они окажутся в открытом пространстве.

Гитлер кивнул — он не мог ответить, потому что на площадь вступила первая колонна победителей. Гитлер поднял руку, и его дух воспарил от удивительного превращения толпы людей в единую, стройную, совершенную квадратную колонну, каждая частица которой одинаково чеканила шаг, одинаково двигала руками и одинаково поворачивала голову в шлеме, чтобы влюбленными глазами увидеть Цезаря.

Гитлер посмотрел вниз, стараясь разглядеть в толпе у ног Альбину, которую обидел тем, что отдалил от себя в этот момент. Но долг выше любви. Это есть отличительная черта нордического характера. Недалеко от Альбины стоял генерал Гаусгофер — фюреру была видна лишь его лысина, обрамленная венчиком седых волос...

За три минуты до этого двенадцатая машина, долетев все же до Варшавы, стала жертвой отыскавших ее в облаках «мессершмиттов» и была повреждена. Машина теряла высоту — пилот старался выровнять самолет, хотя выровнять такую тяжелую машину трудно. Он тянул к центру Варшавы, такой у него был приказ — произвести бомбометание над центром Варшавы. И когда самолет готов был сорваться в штопор, старший майор НКВД, отвечавший за выполнение задания партии, смог раскрыть бомбовый люк, и «Иван» вывалился наружу.

Самолет все тянул по касательной и разбился в районе Мотокова. «Иван» рухнул в районе здания Сейма в нескольких сотнях метров от трибуны, на которой стоял фюрер.

Альбина, почувствовав неожиданный удар в сердце, обернулась и увидела совсем близко над домами особый свет, испускаемый бомбой... Она сразу поняла и хотела было кинуться наверх — к Адольфу, но не успела...

Альбине показалось, что неведомая ангельская сила поднимает ее в небо, чтобы она могла наконец соединиться с ее любимым, единственно любимым мужем Гоги. Перед смертью она забыла обо всех других...

Гитлер погиб не от взрыва, а под обломками рухнувшей на него стены дома. Когда через несколько часов порядок в городе был восстановлен настолько, что начались раскопки на месте парада и Гитлера откопали, он был еще жив, но умер в больнице, не приходя в сознание.

Сталин узнал о случившемся вечером и долго смеялся.

Поскребышев испугался, что Сталин сошел с ума.

А Сталин смеялся над судьбой — он еще раз обманул ее. Он поставил себе лишь одну цель — отомстить мертвому Пилсудскому, уничтожить Варшаву — свой позор и скопище ненавистных ему поляков. А вместе с ними отделался от Гитлера. Нет, надо же, чтобы тот решил устроить парад, как говорится в песне...

— Поскребышев! — крикнул Сталин. — Как поется в песне?

— Не понял, — ответил тот.

— Ну есть такая песня! Наверное, Дунаевского. Там слова: «На том же месте, в тот же час!» — Сталин пропел эту фразу. — Да позвони ты Дунаевскому, спроси, как там дальше, пошевеливайся.

Когда Поскребышев ушел, Сталин откинулся на подушку.

— Одним ударом, — сказал он вслух. — Это похоже на чудо.

В этом состоянии духа он смог продиктовать по телефону в «Правду» сообщение о покушении на Гитлера, устроенном польскими патриотами. Покушение удачное — главный фашист погиб.

Потом он еще говорил по телефону с Ворошиловым, приказывая любой ценой двинуть войска на польскую территорию. Сегодня же.

И Ворошилов, вылетавший через час на границу, чтобы лично возглавить наступление, поражался гениальной прозорливости Сосо, который смог рассчитать такой точный удар в сердце фашистской империи. Теперь Ворошилову стало понятно, почему Сосо был недоступен в последние дни: он готовил гениальную операцию!

Позже, вечером, к Сталину приехал Берия.

Но Сталину стало хуже — прошли напряжение и эйфория победы.

Сталин впадал в забытье и снова приходил в себя. Он с трудом и не всегда узнавал Берию и, если узнавал, диктовал ему какие-то бессвязные приказы, потом заговорил о политическом завещании...

Берия прошел в кабинет Сталина и взял чистый лист бумаги, вложил в машинку. Он напечатал текст. По-сталински краткий:

«В случае моей смерти до решения съезда ВКП(б) обязанности генерального секретаря партии поручаю исполнять товарищу Лаврентию Павловичу Берии». Потом с отступом напечатал число: 19 июля 1939 года.

Поскребышев молча стоял в дверях за спиной Берии.

— Это надо подписать, — приказал Берия Поскребышеву.

Тот прочел, подумал. Берия ждал. От решения Поскребышева зависело многое — Берия был здесь один, не считая охранника и шофера, которые, наверное, играют в домино с подсменными охраны Сталина. У Поскребышева здесь были люди, и ему было достаточно мигнуть, чтобы Берию взяли. Берия ждал и не боялся — он не боялся, когда думал, что выиграет.

— Хорошо, — сказал Поскребышев. — Я попробую, Лаврентий Павлович.

Берия больше не входил в комнату, где лежал Сталин. Оттуда доносились стоны, хрип, Сталину было очень плохо. Потом ему показалось, что он слышит голос Поскребышева. И внятный голос Сталина: «Мы еще повоюем, друзья!»

Потом стало очень тихо.

В кабинет, где Берия сидел за столом и постукивал карандашом по зеленому сукну, вошел Поскребышев и положил перед Берией подписанное Сталиным завещание. Подпись была настоящая, твердая. Как этого удалось добиться Поскребышеву, Берия никогда не узнал.

— Он умер? — спросил Берия, не поднимаясь из-за стола.

— Иосиф Виссарионович скончался, — сказал Поскребышев и горько заплакал.

Известие о гибели Варшавы достигло европейских столиц через несколько часов — задержка была вызвана тем, что большинство журналистов находились на параде и погибли или были ранены вместе с верхушкой Третьего рейха. Те же, кто мог послать сообщение, столкнулись с параличом всей системы коммуникаций: не работала ни телеграфная, ни телефонная связь. Лишь после полудня один из журналистов, связанный с американской разведкой, смог отыскать дом резидента, сам резидент пропал без вести, но его жена, она же радист, несмотря на состояние шока, в котором пребывала, согласилась дать радиограмму в Вашингтон. Радиограмма была принята сначала центром в Копенгагене и воспринята там как «утка». Поэтому резидент в Копенгагене до проверки не разрешил передавать радиограмму дальше. Однако к тому времени в эфир вышли радиолюбители, видевшие огненный столб над Варшавой, а вскоре удалось наладить передатчик в полуразрушенном английском посольстве в Варшаве. В три часа о событиях в Польше уже знал Черчилль, и он при всем своем уме и политическом опыте не смог полностью осознать происшедшего. Потому что телеграммы и радиограммы с трудом поддавались проверке — в Варшаве царил полный хаос: атомная бомба Сталина, как перст Немезиды, как Божья кара, уничтожила не только цвет германской армии, вошедшей в Варшаву и дефилировавшей перед фюрером, но и мгновенно разорвала все связи как внутри Польши, так и внутри самого рейха, ибо все они, как нити паутины к пауку, стягивались в тот момент к Варшаве.

Может, поэтому, уже поверив в то, что атомная бомба упала на Варшаву, Черчилль не мог поверить в смерть Гитлера, Геринга и Гиммлера — бывают совпадения вне человеческого разумения, возможные лишь в авантюрных или фантастических романах. А Черчилль был сугубым реалистом, и притом осторожным, при оценке благоприятных совпадений.

Но уже к вечеру стало ясно, что Гитлер погиб, тело его было

извлечено из-под обломков, но врачам не удалось раздуть тлеющий огонек жизни. На месте были убиты также сопровождавшие фюрера бонзы Третьего рейха — Гальдер, Гиммлер, Геринг и Геббельс, не считая сонма генералов и чиновников поменьше рангом.

В тот день и последующие несколько дней некому было считать убитых Сталиным жителей Варшавы, впрочем, о них тогда думали лишь сами поляки — окружающему миру казалась более важной смерть диктатора.

Странно, но война в Польше еще несколько дней продолжалась, и ее характер изменился не сразу, но уже на третий день стало ясно, что со смертью главных вождей империи стало не за что сражаться, и Польша оказалась никому не нужна. Горстка бандитов придумала лозунги, вопли, а затем и идеологию, которая была принята населением государства, но, оказывается, вовсе не существовала вне банды, потому что была не более как набором вспомогательных способов убивать несогласных.

Года через два в Берлине была напечатана книга одного из последователей генерала Гаусгофера, в которой утверждалось, что крушение марша на Восток было вызвано именно этой мистической смертью, которая автором связывалась с женщиной — славянкой, обладавшей невероятной мистической силой и затянувшей Гитлера в «варшавскую ловушку». Известно было имя этой женщины — Альбина, но никогда не будут разгаданы появление ее в Берлине и причина ее таинственного влияния на Гитлера. А те лица, которые могли бы внести ясность в эту тайну, ушли на тот свет вместе с Гитлером либо по весьма существенным причинам предпочитали молчать.

Война не может кончиться и одночасье, если не было приказа ее кончить. Как только сведения о гибели фюрера были подтверждены в штабе войск «Ост» и в самом Берлине, верховное командование автоматически перешло к генерал-полковнику Кейтелю, а руководство партией взял на себя Рудольф Гесс.

Однако наступление германских армий вскоре застопорилось, словно из него выпустили воздух, а трехчасовое нарушение связи и почти десятичасовой перерыв в преемственности командования привели к переменам в самом характере военных действий.

Польские армии, отступившие из Варшавы и сконцентрированные как возле крепости Модлин, так и южнее, в районе Катовиц, воспользовавшись заминкой в немецком наступлении, пе-

решли к активной обороне, а на некоторых направлениях даже пытались наступать. В результате удачной атаки 2-го танкового полка, поддержанного Креховецкими уланами полковника Дибич-Волынского, 37-я немецкая пехотная дивизия очистила город и неорганизованно отступила к Лодзи. Это еще не было переломом в войне, но сведения о первой удаче, вкупе с известием о том, что немецкому десанту так и не удалось взять Вестерплатте, распространялись по Польше тем таинственным мгновенным образом, как некогда вести о наступлении тевтонских рыцарей или появлении турецких армий на южных границах.

А Черчилль — в том же старом кабинете в Адмиралтействе и в присутствии тех же действующих лиц, что несколько дней назад, — даже позволил себе возмутиться:

— Что же произошло? В мире должна быть логика!

— В политике нет логики, — ответил сэр Энтони Иден, присоединившийся к немногочисленным слушателям Главного лорда Адмиралтейства. — Я исповедую этот принцип весьма успешно.

— Вы молоды, сэр Энтони, — заявил Черчилль. — Вам простительно не видеть того, что скрыто под поверхностными водоворотами.

Он оглядел собеседников. Все они — и Иден, и Никольсон, и Маунтбэттен — были молоды и годились ему в сыновья. Но они были куда ближе сэру Уинстону, чем растерянные перед лицом бандитской наглости старомодные джентльмены.

— У Сталина, как мы можем предположить, есть только одна атомная бомба. И он бросает ее на Варшаву. Если кто-нибудь из вас сможет нормальным языком разъяснить мне, зачем он это сделал, я дарю ему на выбор любую бутылку вина из моей скромной коллекции!

— Он хотел убить Гитлера, — сказал Никольсон.

— Чепуха, — не согласился Иден. — С Гитлером у Сталина было заключено наивыгоднейшее соглашение — он получал половину Восточной Европы. Убив Гитлера, он расторгает союз, пусть даже союз двух бандитов, союз уголовников, но выгодный обеим сторонам. Даже в уголовном мире так не делается.

— У меня козырная карта, — продолжал рассуждать вслух Черчилль. — Всего одна. Я не могу с ее помощью выиграть большую игру, но этот кон — мой! Но какой кон? Я почти убежден, что, имея в кармане бомбу, Сталин мог торговаться с Гитлером с куда более выгодных позиций, чем раньше. Он мог за

эту бомбу получить и саму Варшаву, они могли разделить мир между собой...

— А как ему надо было ее употребить? — спросил Маунтбэттен, желая найти подтверждение собственным выводам.

— Я бы на его месте припугнул нас с вами, адмирал, — сказал Черчилль. — Нет, не обижайтесь, не лично вас, а тех, кто правит нашей страной, и политиков типа Даладье. Я представляю бандитский шантаж — совершенно в стиле дяди Джо или Адольфа: бомба падает на Париж! И затем следует совместный ультиматум — Франция должна выйти из игры, иначе она получит еще порцию... А затем наступит наша очередь.

— Но в Америке уже идут работы над бомбой, и наверное, скоро они смогут что-то противопоставить... — Никольсон оборвал собственную фразу и махнул рукой.

— То-то, — улыбнулся Черчилль. — Видите, насколько это неубедительно. Пока американцы сделают свою бомбу, у Сталина их будет уже двадцать. За последние дни я провел несколько часов, беседуя с нашими ядерными физиками. Для того чтобы сделать первую бомбу, нам потребуется несколько лет. Мы даже не знаем, с какого конца взяться за проблему. Но как только ты сделал первую — остальное дело техники. Она ведь проста, как яблоко.

— А как же русские?

— По нашим расчетам, русские потратили на бомбу семь-восемь лет, и для этого они угробили несколько десятков тысяч человек — потому что все, что там есть, строили рабы, заключенные лагерей...

— Как же они догадались? — спросил Иден.

Черчилль не стал отвечать на этот вопрос. Он снова принялся ходить по мягкому ковру — сильный и жесткий, как носорог, несмотря на свои годы.

— Ну, допустим, что Сталин решил сыграть в собственную игру. Значит ли это, что у него есть в запасе уже готовые бомбы? А наша разведка молчит.

— Наша разведка молчит. — Иден с упреком кинул взгляд на засевшего в темном углу сэра Рибли. Тот только пожал плечами, что ровным счетом ничего не означало.

— Допустим, что у Сталина несколько бомб и он решает сам диктовать свои условия миру...

— И решает убить Гитлера.

— Да не знал он, не мог знать, что Гитлер прилетит на этот парад! Никто даже в Берлине не знал — это было решение по-

следней минуты. Как теперь стало известно, Гиммлеру и его молодчикам пришлось лететь в Варшаву вечером, чтобы к утру выгнать из нее половину населения... и кстати, спасти множество поляков, — сказал Рибли.

Черчилль улыбнулся, присел к столу, на котором стояла коробка с бирманскими сигарами, и, откусив ножницами кончик, принялся раскуривать сигару.

— Тогда мы должны ждать от Сталина предложений мира, — сказал Маунтбэттен. — Все же он политик, а не только бандит. И ему нужны союзники.

— Кстати, — Черчилль обернулся к сэру Рибли, — из Москвы есть свежие известия?

Начальник разведки отрицательно покачал головой.

— Вот именно! — взъярился Черчилль. — Мир катится в тартарары, а мы не знаем, что происходит в Москве.

— Вернее всего, — тихо ответил сэр Рибли, — ничего не происходит. В ином случае мы бы услышали что-нибудь по радио.

Черчилль раскурил сигару, поднялся, прошел к холодному камину — в комнате стало душно, но шторы были наполовину сдвинуты, и окна закрыты.

— Мне кажется, — медленно сказал он, — что смерть Гитлера — счастливая или несчастливая случайность, такая же случайность для Сталина, как и для нас. А если так, то у нас еще остается надежда.

— Пока что русские не признали, что это была бомба, — заметил Маунтбэттен.

— Это тем более ставит их в ложное положение, — сказал Черчилль. — Завтра весь мир будет знать, что бомба — страшное преступление Советов. Никуда они не денутся. Но пока я представляю себе, как суетятся их пропагандисты, чтобы доказать своему народу и всему миру, что бомба заслуженно обрушилась на головы поляков.

— Может, они объяснят, что роняли ее только на голову Гитлеру?

— И договор о сотрудничестве и разделе мира с Гитлером подписывали только из большой хитрости? Нет, я не завидую этой публике, — сказал Иден.

Известие о событиях в Варшаве было неожиданностью для всех в Москве, кроме тройки исполнителей — Берии, Ворошилова и Рычагова, да Поскребышева, который находился в шоке от смерти вождя. Даже Шавло, догадавшийся о событии, а по-

том и уверившийся в безумном шаге Сталина, узнал о судьбе Варшавы лишь по радио — поздно вечером.

Из своих приближенных Берия поделился мыслями лишь со Вревским, а тот испугался, потому что был человеком трезвым и рассудительным, а происходящее было ненормальным.

Поняв состояние Вревского и даже частично разделяя его, ибо оставался холодным и жестоким практиком, для которого кошмар, сумасшествие были лишь орудием в борьбе за власть, Берия успокоил заместителя странным образом.

— Сталин долго не проживет, — сказал он. — Я уверен.

— А что? Что случилось? — Вревский был циничен, он видел куда более, чем положено видеть на веку нормальному человеку, но мысль о возможной смерти Сталина настолько выходила за пределы его понимания, что он потерял контроль над собой. — Этого не может быть! Что же тогда станет с нами?

И вдруг Берия весело засмеялся, поблескивая стекляшками пенсне.

— Вы только послушайте этого идеалиста! — говорил он, прерывая речь спазмами смеха. — Он прожил полжизни при царе и наверняка, когда царя ухлопали, тоже бил себя в грудь кулаками и кричал: «Этого не может быть! Что теперь с нами будет?» — Берия старался передразнить Вревского, но это у него плохо получалось, потому что ему мешал грузинский акцент. Отсмеявшись, он сказал, согнав с лица даже намек на улыбку: — А ничего не будет. Россия, Советский Союз как жил, так и будет жить. Просто на троне сменится еще один царь.

И Берия сказал это так, что у Вревского захватило дух от осознания открывшейся ему истины. Он понял, кто теперь хочет править страной. Если хватит сил...

— Будет оппозиция, сильная оппозиция, — сказал Вревский после паузы.

«Это правильные слова, правильная реакция, — подумал Берия. — Это слова разумного и достойного единомышленника. Я бы не простил ему глупости, если бы он спросил, кто же будет царем, и не простил бы ему слабости, если бы он бросился обнимать мои колени».

— Поэтому все должно быть сделано очень быстро и совершенно неожиданно. К счастью, Сосо очень боялся держать возле себя умных людей, он сразу рубил им головы. И с кем он остался — с дураками! — Берия улыбнулся.

Вревский отметил про себя, что Берия говорит о Сталине в прошедшем времени, и внутренне сжался.

— А когда... когда может скончаться Иосиф Виссарионович? — спросил он. Вревский стоял перед Берией прямо, коренастый и надежный в блестящих сапогах, которые вбирали в себя свет и даже, как показалось Берии, отражали переплет окна. Вот это лишнее, подумал он, нельзя так много времени уделять своим сапогам. Впрочем, у него могут быть ординарцы или даже сожительница, которая облизывает сапоги язычком.

— Сосо не очень доверяет врачам и не допускает их к себе. У великого человека бывают великие слабости. Поэтому мне пришлось по секрету привести к нему доктора, когда Сосо спал. Мы с товарищем Поскребышевым дали ему сильное снотворное, и он крепко спал. Доктор сказал, что товарищ Сталин жив только потому, что в жизни у него есть какая-то великая цель — она поддерживает его силы. Как только цель будет достигнута, он умрет.

— А когда?

— Когда да когда! Надо думать! Цель была. Цель достигнута.

— Простите, но я не все понял.

— Хорошо. Есть вещи, которые ты и не можешь понять. Но я должен тебе сказать, что у каждого человека есть самое главное чувство. Для одних — жадность, для других — честолюбие. А знаешь, какое самое важное чувство для товарища Сталина? Нет? Для товарища Сталина главное чувство — месть. Он кавказский человек, я думаю — это у него глубоко в крови. Пока он не отомстит, он не может спать спокойно. Пройдут годы, но он обязательно сведет счеты с человеком, даже с незнакомцем, который еще до революции нечаянно наступил ему на ногу в трамвае. Но была одна месть, которую он не мог осуществить, но не хотел, чтобы за него мстили другие, эта месть — Варшава. Это его унижение. Это его поражение. Я полагаю, что он послал самолет с бомбой на Варшаву не потому, что это была великая политика, а потому, что он был маленьким и злобным горцем.

Вревский покачал головой. Он не смог принять эту теорию.

— Дорогой мой, давай считать этот вариант сказкой, — усмехнулся Берия. — Мы никогда этого не докажем. Я останусь при своем мнении, а Клим Ворошилов, народный комиссар, будет думать, что это гениальный ход его учителя и друга, который так хитро убил Гитлера. И выиграл войну, которую ни с кем не вел.

— Этого быть не могло? — спросил Вревский, глядя на свои сапоги.

— Этого быть не могло, потому что ни наша разведка, ни лично товарищ Сталин не знали, что Гитлер будет в Варшаве. К тому же товарищу Гитлеру товарищ Сталин не собирался мстить — он хотел поделить с ним весь мир.

— А чем болен товарищ Сталин? — спросил Вревский, так и не убежденный словами своего шефа.

— Его убила бомба, — ответил Берия.

— Как? — Вревский решил было, что нарком шутит.

Берия не стал объяснять. Рано. Потом все узнается. И Сталин официально умрет сегодня ночью, счастливый от того, что убил Варшаву, которая так и не допустила его в свое лоно.

Андрей пребывал в своей умеренно благоустроенной тюрьме и мог получать новости лишь из приемника «телефункен», который ему привезли после настойчивых просьб. Приемник плохо ловил Москву, но Андрей немного знал английский и потому мог слушать последние известия из Лондона.

О союзе между Сталиным и Гитлером он узнал из сообщения английского радио. Оттуда же — известия о неожиданном для всего мира наступлении Гитлера на Варшаву.

Он понимал, что Сталин играет бомбой, как козырной картой, но Гитлер по их с Альбиной показаниям должен знать, что Сталин блефует, — у него же только одна бомба.

Андрей полагал, что Сталин делает вид, будто у него бомб — пруд пруди. Но ведь Гитлер, как призналась Андрею Альбина, знает уже, что у Сталина пока есть только «Иван» — вторая из изготовленных в институте бомб. И больше до осени не будет. Андрей верил Альбине, она же, как ни странно, получила эту уверенность после допросов Канариса — ее заставляли там вспоминать все, о чем говорилось в дирекции института, что она знала о перевозках и были ли другие центры атомных исследований. Оказывается, за последние два года работы в предбаннике у Шавло Альбина услышала столько, сколько не смог бы узнать опытный резидент. Но зачастую она не понимала смысла информации, которая накапливалась в ее головке и никогда никуда из нее не вываливалась. Так что показания Альбины, многочасовые и подробные, были сокровищем для аналитиков разведки. Правда, они хранились в ведомстве Канариса. И Фишер не имел к ним доступа.

Вечером английское радио сообщило об атомном взрыве в Варшаве, а еще позже — о возможной гибели самого Гитлера.

Андрей долго не спал, ловя хоть какие-нибудь сообщения из

Москвы. Но Москва передавала мелодии из «Лебединого озера», «Марш энтузиастов» и беседы о прополке свеклы. Там ничего не происходило.

Сообщение о взрыве в Варшаве затерялось среди прочих новостей в ночных последних известиях. Между сообщением об отважных защитниках Барселоны и новыми зверствами японских оккупантов в Китае. В сообщении говорилось, что в центре Варшавы произошел мощный взрыв, возможно, на варшавском арсенале. Не исключено, что взрыв произведен сознательно польскими военнослужащими для того, чтобы уничтожить оккупантов. Других известий с фронта боевых действий в Польше на настоящий момент не поступало. Тут же диктор перешел к описанию событий в Китае.

Утром он снова бросился к приемнику, но тут же пришлось отвлечься: у ограды особняка остановился знакомый «опель» Карла Фишера.

Андрей обрадовался разведчику, как родному брату.

Он кинулся к двери и открыл ее прежде, чем дремавший за столиком и не слышавший звука автомобиля охранник успел встать со своего места.

Карл Фишер поманил за собой Андрея и быстро пошел в гостиную. Там он бросил на кресло шляпу. Красные щечки Карла полыхали от волнения, очки запотели. Он снял их.

— Вы уже знаете, мой друг?! — воскликнул он, показывая на включенный приемник.

— Ни черта я не знаю, — ответил Андрей. — Москва ничего не хочет сказать, Лондон через каждые полчаса выдает новые версии, а что говорят ваши станции, я не понимаю.

— Кстати, — с искренним упреком заявил Фишер, — за время, пока вы здесь находитесь, иной, более разумный молодой человек выучил бы немецкий язык. Это полезно. Я сам учил французский язык во французской тюрьме. Но об этом после. Я пришел к вам для того, чтобы поговорить кратко, но совершенно искренне. Я предлагаю вам побег.

— Побег? Куда? Зачем?

— Вам нравится здесь?

— Нет.

— Вы чуть запнулись, потому что в сравнении с жизнью на родине ваше пребывание здесь кажется комфортабельным? И вы испытываете благодарность за то, что мы вас спасли?

— Я не такой наивный, — сказал Андрей. — Не нужны бы вам языки, никогда бы нас не стали спасать.

— Языки?

— Это военное слово. Значит пленный, у которого есть язык.

— Вы хотите сказать, что нам нужны были ваши языки, а не жизни?

— Так и хотел сказать.

— Вы не правы. Мне было искренне вас жаль. Потому я так спорил с Юргеном, с пилотом самолета.

— Наверное, это не так важно сейчас?

— Нет. Важно. Скажите, пожалуйста, у вас есть политические симпатии или антипатии?

— Есть, — сказал Андрей.

Карл Фишер открыл буфет, вынул оттуда бутылку, поглядел на свет, будто проверяя, не пил ли Андрей без него, разлил ликер по рюмкам.

— Тогда поделитесь ими. Хоть сейчас каждая секунда на счету, я согласен выслушать ваше искреннее мнение о мировой политике.

Он издевается? Нет, он взволнован, я ему для чего-то очень нужен. Он хочет склонить меня к своему плану так, чтобы это было моим добровольным решением.

— Я не люблю Сталина и государство, которое он создал.

— Но ведь вы сами — детище и создание этого государства.

— Мы говорили уже с вами об этом. Я воспитывался вне пионеров и комсомола — так уж получилось.

— И ни разу не объяснили мне, почему так получилось.

— Вас это не очень интересовало.

— Не интересует и сейчас.

Андрей пошире распахнул окно, захлопнувшееся с неприятным стуком от порыва ветра. Было жарко, душно, надвигалась гроза.

— Будет гроза, — сказал Фишер.

— Меня не радует фашистское государство. Я не люблю вас и ваши порядки, — сказал Андрей.

— Вот видите! — сказал Фишер почти с торжеством. Как будто Андрей угадал правильный ход.

— Вы об этом меня раньше не спрашивали, а я не говорил — я понимал, что убегу от вас, я надеялся, что будет война и два скорпиона не уживутся в одной банке.

— Вы осмелели, — Фишер показал на приемник, — как только узнали о смерти фюрера.

— Вы просили меня быть искренним. Если бы спросили меня об этом вчера, вы получили бы такой же ответ. Но вчера

вы не смели спросить, потому что иначе должны были бы донести на меня.

— Ах, что вы! — отмахнулся с улыбкой Фишер. — Я не мелкая сошка, которая должна давать отчет каждой нацистской козявке.

— Почему вы ко мне пришли?

— А если бы у вас появилась возможность эмигрировать?

— Как?

— Уехать, допустим, в Англию? Вы согласились бы?

— Как шпионская добыча? — спросил Андрей. — Чтобы там тоже сидеть в клетке?

— Вы слишком догадливы, мой юный друг, — сказал Фишер. — Но вы правы.

— Неужели дела в вашем королевстве так плохи, что вы решили бежать, а меня взять как пропуск?

— Ну, молодец! — Фишер поднялся и прошел к двери, чтобы посмотреть, не подслушивают ли их, на самом же деле, как показалось Андрею, чтобы скрыть свое смущение, — он не ожидал, что беседа повернется таким образом.

Фишер обернулся к Андрею, снял очки и принялся их протирать клочком замши.

— Никогда бы не узнал вас, — сказал он, надевая их и оглядывая Андрея, как собственное творение. — Вы не представляете, каким заморышем мы вас оттуда вытащили. Лысый, уши торчат, глаза ввалились — ну буквально живой труп. А сейчас вас впору срисовывать для плакатов: «Истинный ариец, вступай в ряды!» или, может, «Истинный комсомолец, вступай в ряды!»

— Карл, говорите же, — прервал его Андрей. — Я ведь не мальчик и понимаю, что все вокруг идет прахом.

— И хуже того, — согласился Фишер. — Вчера во время парада в Варшаве Сталин сбросил на Гитлера атомную бомбу. Как он догадался, что его главный соперник в борьбе за мировое господство будет именно там в тот момент, а Гитлер, который отлично знал, что у Сталина есть атомная бомба, доверился ему и решил, что ему-то ничего не угрожает, — я этого не понимаю! Но, как назло, эта мгновенная акция Сталина свалила карточный домик, который казался такой стройной и высокой пирамидой! Вместе с фюрером погибли основные чины партии. Сейчас в Берлине Рудольф Гесс пытается собрать воедино и держать в руках партию — на сколько его хватит? Сожрет его Борман или начнется переворот со стороны социал-демократов? Ты

же представляешь, сколько в Германии недовольных фашизмом, которые жили в трепете перед Гитлером и Гиммлером!

— И чего вы ждете?

— Я жду страшно опасных для тебя и меня пертурбаций в рейхе, я жду гибели рейха, потому что он, не забудь того, мой мальчик, находится в состоянии войны с Англией и Францией. А те молчали и лишь лениво пошевеливались, пока был жив Гитлер, и все надеялись, что Гитлер их не скушает. Теперь же там, поверь моему слову, к власти придут такие деятели, как Черчилль или де Голль, — ярые враги германского духа.

— Вы говорите, как газета «Правда», — улыбнулся Андрей.

— Мы с ней представляем родственные социальные структуры, — ответил Фишер. — И я знаю, что, почуя нашу слабость, зашевелятся так недавно съеденные нами Чехословакия и Австрия, не говоря уж о Польше, для которой смерть Гитлера — знамение католического Бога. Я не удивлюсь, если завтра французы перейдут немецкую границу с одной стороны, а поляки — с другой.

— Даже так страшно? — Андрею не было жалко фашистов, но каков Фишер! Как он спешит переменить флаг! Значит, и такие заслуженные крысы побежали с корабля?

— Простите, забыл вам сказать, — продолжал Фишер другим голосом, будто извиняясь перед Андреем. — Судя по всему, погибла ваша спутница Альбина.

— Где? — Андрею вдруг стало так больно.

— В Варшаве. Она была на параде вместе с Гитлером. Рядом с ним.

— Как жалко... — сказал Андрей. — Как ее жалко.

Андрей выпил ликер, ликер был душистый, но слишком сладкий. Он предпочел бы сейчас водки. И догадливый Карл крикнул охраннику — так, чтобы тот услышал в вестибюле, — и приказал принести из кухни шнапса.

Они молчали ту минуту или две, пока охранник принес бутылку, и Фишер налил Андрею водки в чайную чашку. Потом подумал, налил себе тоже.

Охранник молча вышел.

— И еще мне жалко, — сказал наконец Андрей, — что она так и не отомстила. Она хотела отомстить Алмазову, а может, Сталину — тем, кто был виноват в смерти ее мужа. Я думаю, что она согласилась стать... подругой Гитлера ради этой мести.

— Я согласен с вами, — сказал Фишер. — Но и вы согласны... — Он понизил голос. — Вы согласны лететь со мной в Англию?

— Разумеется, — сказал Андрей. — Куда угодно — только отсюда. Мне надоел очередной лагерь. Пора на пересылку.

В своих предчувствиях Карл Фишер был более чем прав.

Уже когда он сидел у Андрея Берестова, начались бои вокруг Варшавы — корпус Гудериана, попавший под удар в Варшаве, начал отступать, и с каждым часом все более обнаруживалось, что эта война — чистой воды авантюра Гитлера, которая могла бы принести плоды, если бы он оставался на верху пирамиды. Без него эту войну скорее следовало бы назвать операцией «Голый король». Эти слова принадлежали Рузвельту и были сказаны куда позже, после того как Черчилль стал премьер-министром. То есть на следующий день.

На улицах чешской столицы появились демонстранты — полиция и вызванные войска разгоняли их, в одном месте эсэсовцы открыли стрельбу и убили несколько человек, но к ночи на Вацлавскую площадь вышла вся Прага, и площадь украсилась миллионом зажженных свечей.

Генерал де Голль, столь тщательно оттесняемый Гемелином, без приказа свыше, так и не дождавшись окончательного решения генерального штаба Франции, сговорился с командующим 5-й армии и двинул свои танки на Кельн. Сопротивление этому удару было слабым и неорганизованным.

Когда стемнело, как раз во время первого налета английских бомбардировщиков на Берлин, не принесшего большого вреда, но посеявшего панику в городе, в рейхсканцелярии Рудольф Гесс принял приехавших из Варшавы, чудом оставшихся в живых тибетского ламу Ананду, который так и не промолвил ни одного слова, и Лобзанга Рапу. Оба были истерзаны дорогой и испытаниями, которые им пришлось перенести. Лобзанг Рапа первым делом заявил, что железные дороги к востоку от Берлина потеряли общее управление и вагоны переполнены дезертирами. Гесс отмахнулся от этой информации — это дело министерства транспорта и военных комендатур. Сейчас, после мученической кончины Великого Мага и Учителя — генерала Гаусгофера, следовало решить, что делать Посвященным далее. Ведь среди них нет согласия, как трактовать взрыв бомбы? Принять ли его за возмущение рока против неправильных и несвоевременных действий фюрера или пренебречь трагедией и продолжить великую борьбу? Вызванные на ту же встречу еще два представителя Посвященных, вчера еще обладатели великой страны и предмет тре-

пета соседей, не имели собственного мнения и надеялись на то, что тибетский учитель и камрад Гесс лучше них владеют связями с иррациональным миром.

— Мне необходимо срочно вылететь в Тибет, — сказал наконец лама Лобзанг Рапа. На этот раз он был без зеленых перчаток — он боялся, что его кто-нибудь узнает. — Попрошу выделить мне самолет и охрану. Я не могу дать ответа без консультаций с ламами монастыря в Лхассе, и вы это понимаете не хуже меня, герр Гесс.

Гесс отошел к столу, за которым еще недавно сидел фюрер.

— Все могут быть свободны, — сказал он. — Мой секретарь проводит вас на третий этаж в партийную кассу, где вы получите деньги на дорогу.

— Куда? — спросил один из берлинских магов. Голос его сорвался, и он откашлялся. Гесс никогда ранее не видел его без длинной лиловой тоги, в которой тот появлялся перед избранными, и потому никак не мог вспомнить его настоящего имени.

— К чертовой матери, — сказал Рудольф Гесс и, повернувшись, вышел в маленькую дверь за столом фюрера. Он не хотел больше видеть этих людей.

Гессу было необходимо успеть на чрезвычайный совет, собиравшийся на вилле Бормана. Туда приедут Геббельс и Розенберг. Может, будет алкоголик Лей. И они станут делить остатки власти, так как не понимают, что империя в нынешнем состоянии не устоит. И те, кто будет упорствовать в этом, погибнут под развалинами Берлина.

Гесс прошел в комнату правительственной связи. Дежурный приветствовал его. Гесс связался с верховным штабом вермахта. Польские войска заняли Данциг и выходят к границе с рейхом. Танки генерала де Голля продолжают преследовать отступающие местные гарнизоны. Палата общин английского парламента почти единогласно избрала премьером поджигателя войны Уинстона Черчилля. Лишь из России не было никаких вестей. Словно она затаилась для прыжка, — но куда прыгнет кавказский лев после убийства Варшавы?

Гесс приказал подать машину. Он вдруг понял, что единственный путь остановить войну и спасти империю в том, чтобы уговорить Англию на немедленный мир. На любых условиях. Как только Англия согласится на мир — остальные не так страшны. Две арийские державы, объединившись, спасут мир льда!

Рудольф Гесс вызвал по правительственной связи адмирала

Канариса, который оказался у себя в кабинете. Он приказал прибыть к нему в рейхсканцелярию через двадцать минут со всеми документами, касающимися «Полярного дела».

Канарис сказал, что выезжает. Из всех оставшихся в живых вождей рейха он более других мог положиться именно на Гесса, несмотря на мистический склад его ума. Гесс был англофилом, что в этой ситуации могло сыграть решающую роль. Канарис понимал, что при потере общего руководства продолжение войны с Польшей и Францией бессмысленно.

Гесс еще раз вернулся в кабинет фюрера. Он любил этого человека, он считал его пророком, близким к богам Валгаллы, он до конца дней будет оплакивать его как мессию... Зазвонил телефон. Это был Геббельс.

— Рудольф, мы не можем больше ждать. Мы должны немедленно избрать наследника фюрера. Неужели ты не понимаешь, что любая минута промедления опасна для рейха?

— Я не претендую на эту роль, — сказал Гесс.

— А мы и не рассматриваем твою кандидатуру, — отрезал Геббельс.

— Тогда мне нечего делать у вас.

— Если ты задумал предательство, — крикнул Геббельс, — мы найдем тебя и уничтожим! Понимаешь, уничтожим!

Гесс повесил трубку. Времени и в самом деле оставалось в обрез. Они могут попытаться арестовать его.

Гесс взял некоторые документы из сейфа фюрера — Гитлер всегда оставлял ему комбинацию, если ненадолго отлучался из столицы. Затем, с одним портфелем в руке, быстро спустился вниз. Его машина стояла у подъезда. Сзади — машина охраны.

Вдали показались огни приближающегося автомобиля. Гесс вдруг испугался, что это эсэсовцы, которых прислал Геббельс. Он отступил за спину охранника. Но это был «мерседес» адмирала Канариса.

Тот вышел из машины, и Гесс с облегчением сбежал по ступенькам и пожал ему руку.

— В тяжелые времена лучше быть вместе, — сказал он.

— И куда же? — спросил Канарис.

Было душно, надвигалась гроза, и молнии сполохами загорались на востоке.

— Хорошо бы уйти от плохой погоды, — сказал Гесс.

— У меня хороший пилот, — сказал Канарис.

Они ехали в машине Канариса, затем следовала пустая машина Гесса, потом машина с охраной.

Эсэсовцы настигли их почти у самого аэродрома — Геббельс все же успел послать их по следу.

Машина охраны вступила в бой. Ее изрешетили из пулемета, и она свалилась в кювет. Затем наступила очередь пустой машины Гесса, перегородившей дорогу. Пока преследователи расправлялись с ней, Гесс и Канарис успели прорваться на аэродром.

У Канариса все было продумано.

— Мы летим на частном гражданском самолете. Но мотор его посильнее, чем у «мессершмитта».

Гесс не стал спорить — эсэсовцы могли появиться в любой момент.

Самолет был невелик. Там сидел всего один офицер — адъютант Канариса.

Из кабины выглянул летчик — пожилой лысеющий человек, лицо в глубоких морщинах, как бывает у лесников или геологов, которые проводят значительную часть жизни на открытом воздухе.

— Все в порядке, — сказал человек, и Гесс узнал русского летчика.

— Тогда полетели, капитан Васильев, — сказал Канарис. — Вы знаете, что сегодня в небе слишком много самолетов, вам нужно всех обмануть и обогнать. Мы с господином Гессом слишком ценный груз. Может быть, в нас — будущее всего мира.

— Когда вы перечисляли ценные грузы, адмирал, — заметил летчик, — то забыли упомянуть меня. Я ведь тоже люблю жить.

— Простите, капитан Васильев, — сказал Канарис. — Я с вами согласен.

Васильев скрылся в кабине, и самолет вздрогнул от того, что пропеллер начал крутиться все быстрее и быстрее, пока не задрожала обшивка самолета.

— Он русский, — сказал Гесс, выказывая тоном сомнение в правильности действий Канариса.

— У вас есть больше оснований доверять господину Геббельсу или молодцам Мюллера?

— Разумеется, у меня нет таких оснований, — сказал Гесс.

Самолет разогнался и пошел к северу, чтобы обмануть истребители, если их поднимут в погоню.

Но истребители его не заметили, — правда, пришлось пройти краем грозового облака, гроза в ту ночь свирепствовала над всей Европой, и их сильно потрепало. Адмирал Канарис дер-

жался молодцом, а Гесс испугался. Он стал молиться так громко, будто хотел перекричать мотор. Канарис склонился к нему и спросил не без ехидства:

— Разве вы христианин? Профессора черной магии будут недовольны.

Гесс лишь отмахнулся.

Над проливом Васильев увидел в разрывах облаков одномоторный самолет, шедший параллельным курсом. Васильев не испугался, но взял чуть выше. И впрямь у него не было оснований опасаться — в увиденном им самолете спешил в Англию Карл Фишер и с ним — Андрей.

Над берегом Шотландии Васильев вышел на радиосвязь с аэродромом в Эдинбурге, Гессу было видно, как он говорит что-то в микрофон, прижав его к губам. Из Эдинбурга Васильеву дали связь на Лондон, откуда запросили, хватит ли у него горючего до Лондона. Через несколько минут их встретил поднятый в воздух истребитель и проводил до военного аэродрома под Лондоном.

В своей знаменитой речи в палате общин 22 июля 1939 года Черчилль заявил, что страны демократического мира не остановятся до тех пор, пока коричневая опасность не будет стерта с лица Земли. Где-то во второй половине речи он дал понять слушателям, что, судя по полученной правительством Его Величества строго секретной информации, оружие, разработанное в Советской России, не представляет угрозы для жизни и собственности подданных Королевства и правительство примет все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность в будущем.

В то время еще шел глубокий анализ показаний Альбины, привезенных Канарисом, и допросы Фишера, Васильева и Берестова — из многочисленных кусочков мозаики, ценность которых порой была неясна для самих рассказчиков, английской разведке требовалось составить общее представление о структуре Испытлага и Полярного института, его функциях и возможностях, о степени и уровне исследований. Андрея допрашивали не только военные и господа в цивильных костюмах, всегда делавшие комплименты его посредственному английскому языку, но и ученые, физики, их было легко отличить хотя бы по тому, что они позволяли себе сердиться на Андрея за то, что он так мало знает.

И лишь в начале августа в Лондоне было принято окончательное решение.

Оно могло быть принято потому, что военные действия в Европе к 18 августа фактически закончились. Линия перемирия была установлена на западе по Рейну, затем от Вюрцбурга до Мюнхена, на востоке польские армии заняли Бреслау и Штетин и не намеревались оттуда уходить. Временное коалиционное правительство в Берлине не включило в себя ни одного из членов национал-социалистской партии. А членские билеты партийцев медленно плыли по рекам и канализационным трубам империи.

Лишь события в России оставались загадочными и непонятными.

На следующий день после смерти Сталина Берия от его имени собрал Политбюро. Приехали все. Даже Ворошилов прилетел с фронта, изготовившегося к наступлению.

Лаврентий Павлович заставил себя ждать.

Под взглядами соратников — старых и недавних — он прошел в конец стола и собрался было сесть на место, которое обычно занимал Сталин, но вдруг вспомнил о чем-то и, нажав на звонок на углу письменного стола, вызвал Поскребышева.

Перемена, происшедшая в верном секретаре Сталина, была разительной и бросилась в глаза всем, наполнив их и без того охваченные подозрением сердца почти священным ужасом.

Берия показал на сверкающую каплю — пресс, которым Сталин придавливал у себя на столе бумаги.

— Унесите это и выбросьте... к чертовой бабушке. Нет, стойте! Прикажите отправить в Институт физики, я потом дам указания.

Все лица немолодых уже, толстеньких, низкого роста людей, сидевших за длинным столом, были обращены к Берии с ожиданием и страхом. Они так привыкли к собственной беззащитности перед лицом хозяина, что ими будет нетрудно управлять... может, не всеми, но можно.

— Товарищи, — сказал Берия, не садясь на сталинское место, а стоя во главе стола и медленно ведя по лицам искорками стеклышек пенсне. — Я собрал вас здесь, потому что Иосиф Виссарионович тяжко болен. На время своей болезни он просил меня выполнять его обязанности. И я намерен, — здесь голос Берии несколько повысился, — любой ценой исполнить волю нашего дорогого и любимого вождя.

— Подожди, подожди! — вскинулся Ворошилов. — Что ты говоришь, Лаврентий? Какая болезнь? Он всегда был здоровый.

Ага, обеспокоились, испугались, но еще недостаточно.

— Я согласен с Климом, — сказал Микоян, — нам бы хотелось получить доказательства. Или подтверждение Сосо, — поддержал он Ворошилова. — В конце концов здесь все равны. Мы все — члены Политбюро.

— Товарищ Поскребышев, вы еще здесь? — спросил Берия.

Поскребышев уже вернулся и, зная, что он понадобится, стоял в дверях кабинета.

— Будьте любезны, ознакомьте товарищей с документом, — сказал Берия. — И подтвердите мои слова.

— Что? Что случилось? — все тянулись к листу бумаги, который Поскребышев извлек из папки и положил на край стола.

Там собрались тертые калачи, и каждый из них поодиночке не выносил наркомвнудел, и каждый полагал себя куда ближе к вождю, чем этот выскочка, который и в наркомах-то без году неделя.

Кто-то поставил под сомнение подпись Сталина, но Поскребышев, преданность которого вождю не вызывала сомнений, подтвердил, что это так. И все же Политбюро постановило немедленно вызвать лечащих врачей Иосифа Виссарионовича и не расходиться до тех пор, пока они не отчитаются перед правителями страны.

— Тогда, — вздохнул Берия, — я предлагаю несколько иной путь, может быть, даже более простой.

— Какой? — осторожно спросил Молотов, ожидая подвоха.

— Я предлагаю всем нам поехать на ближнюю дачу, где находится товарищ Сталин...

Заскрипели стулья — почти сразу все стали подниматься, — решение показалось самым разумным, и непонятно было, почему его не приняли раньше.

— Там и поговорим с врачами! — крикнул Андреев.

Ехали все на своих машинах — кортеж «ЗИСов» в километр, давно так не выезжали.

Поскребышева, чтобы не выпускать из вида, Берия посадил в свою машину.

— Там косметологи были, как я приказывал? — спросил Берия.

— Были. — Поскребышев был в полном душевном раздрызге, он то и дело начинал плакать.

— Тебе надо отдохнуть, — сказал добродушно Берия, но Поскребышев сразу сжался — он знал о таких товарищеских предложениях, об отпусках, из которых люди не возвращаются.

— Спасибо, — сказал он. — Надеюсь, что все скоро пройдет.

— Не бойся меня, — сказал Берия, кладя мягкую руку на колено сталинского секретаря, — то, что было при Сосо, не может продолжаться. Я не надеюсь, что ты все сразу поймешь, но, наверное, потом подумаешь и поймешь. Только Сталин мог править как бог и убивать кого желал и от этого становился еще больше как бог. А я не могу — второго бога нашей стране не одолеть. Я буду мягким, добрым к народу, а жестоким только к тем, кто угнетает этот народ и неправильно им правит. И я хочу, чтобы ты мне помогал быть добрым, понял, генацвале?

Поскребышев кивнул. Он не поверил ни слову в искренней речи Берии.

Берия шел в толпе членов Политбюро, как один из равных, а вел всех Поскребышев. Было так тихо, что казалось — даже птицы в лесу замолкли.

Берия ввел их в комнату, где на диване, мирно сложив руки, лежал изможденный, совсем лысый, со страшным острым костлявым носом Сталин.

— Нет! — закричал Калинин. — Это не он!

Никто ему не возразил. Конечно же, это был не Сталин — это был Мертвый Сталин. И каждый это понимал.

Заседание Политбюро продолжалось в столовой за длинным обеденным столом. Принесли легкую закуску, вино и водку, старые товарищи помянули вождя, спрашивали, какой диагноз, и Берия отвечал: «Внутреннее заболевание». А Поскребышев всем говорил, что товарищ Сталин надеялся выздороветь и отказывался от врачей, а потом внезапно умер. Все знали об отношении Сталина к врачам и потому не спорили.

На том, уже мирном заседании Политбюро согласились выполнить волю вождя — да и как ее было нарушить в этом доме и в его присутствии? Никто еще не осознал окончательности этой смерти и неизбежности перемен. Кроме Берии.

Ввиду очевидных пертурбаций в фашистской Германии на том заседании было решено задержать намеченное наступление на Прибалтику и Польшу, так как неизвестно, каковы намерения наследников Гитлера. Неожиданно прозвучали возражения Кагановича, поддержанного Микояном, о классовой сомнительности союза с фашистами, особенно теперь, когда у фашистов не все так хорошо получается.

Наконец было решено — а это было решением самым главным — на некоторое время скрыть от народа смерть Сталина.

Это решение диктовалось как внутренними, так и внешними причинами. С одной стороны, надо как-то подготовить народ к тому, что великий вождь и учитель умер, а это не может быть внезапным, ибо травма может оказаться слишком сильной для всей страны и для дела строительства коммунизма. Во-вторых, международная обстановка была настолько сложной, что не исключено: если Германия, Япония или Англия узнают о смерти Сталина, они постараются воспользоваться этим моментом, чтобы ударить по стране социализма.

Окончательно решили — через три дня объявить о болезни Сталина. Затем давать последовательные бюллетени о его здоровье так, чтобы он умер примерно 29 июля.

Правда, когда съехались на следующий день — а Политбюро заседало ежедневно, — перенесли срок на два дня, всем было страшно сказать вслух... Берия же не спешил. Он, в отличие от своих товарищей, сменял сомнительных людей на местах и ставил в областях на руководящие ключевые места сотрудников НКВД. То же, пользуясь растерянностью Ворошилова, он старался делать и в армии.

Наконец, когда выяснилось, что в Германии власть нацистов рушится и она готова на любые мирные переговоры, тогда как Советский Союз для всего мира остается союзником и другом фашистов, было объявлено, что товарищ Сталин заболел. Что он перенес инсульт, что состояние его здоровья вызывает опасения, однако лучшие врачи не отходят от его постели, и можно надеяться — в ближайшие дни в здоровье товарища Сталина наступит облегчение.

Страна замерла в ужасе. Люди простаивали часами у черных тарелок репродукторов, ожидая очередного сообщения о здоровье живого бога, но, когда прерывалась классическая музыка, диктор чаще всего повторял медицинское заключение прошлых часов.

На следующий день здоровье товарища Сталина несколько ухудшилось, но оставалась надежда.

На третий день товарищ Сталин, не приходя в себя, скончался. Оставив после себя и вместо себя ленинско-сталинское Политбюро во главе с верным ленинцем, наркомвнудел товарищем Лаврентием Павловичем Берией.

Сообщение о смерти Сталина вызвало разногласия как в английском правительстве, так и среди военных. Главный маршал авиации Корнуэлл требовал отменить операцию, кото-

рая могла очень дорого обойтись Королевским воздушным силам.

Но Черчилль был непреклонен. И он, слетав в Париж, заручился безусловной и полной поддержкой генерала де Голля.

На узком заседании Военного совета Королевства, в ответ на сомнения, высказанные главным маршалом авиации Корнуэллом и генералом Монтгомери, он сказал так:

— Я согласен был бы отменить акцию, если бы она была направлена против Германии. По той простой причине, что у нас есть основания полагать, что Германия находится на пороге возвращения к нормальной цивилизованной жизни. Но в России к власти пришел еще более кровавый и страшный убийца, чем Сталин, — палач, который сделает все, чтобы залить кровью свою страну, а если сможет, и весь мир. И мы должны преподать ему урок. Иначе наша цивилизация останется под дамокловым мечом. Только что я разговаривал по прямому проводу с президентом Рузвельтом. Он полностью разделяет нашу позицию, и его участие в операции, обусловленное еще три дня назад, уже реализуется...

На Ножовку, на Полярный институт, тяжелые бомбардировщики Англии и Америки шли отдельными эскадрами, причем они имели точные карты расположения института и заводов по обогащению урана, а также складов и ангаров. Воздушные эскадры разделили цели между собой.

Американские Б-26 появились над институтом первыми — в середине дня, они шли с севера, через полюс, с канадских баз и не опасались советских истребителей.

Матя Шавло был на аэродроме.

Он встречал Вревского.

Первоначально договаривались, что сюда прилетит сам Берия, чтобы обговорить будущие планы института и меры по его охране от внешних хищников, которые наверняка теперь ищут к нему пути. Но потом обнаружилось, что Лаврентий Павлович не может покинуть столицу и прилетит Вревский, который останется здесь с Матей, чтобы сменить больного Алмазова.

Погода была ветреной, свежей, но солнце грело — все же середина лета. Недавно взлетную полосу удлинили и сделали вторую, покрыв ее металлической сеткой, чтобы сюда могли садиться тяжелые транспортные машины. Берия решил устроить рядом с объектом военно-воздушную базу и в будущем быть спокойным, что никто не покусится на Испытлаг с воздуха.

Устройство базы тоже входило в круг задач Вревского.

С утра Матя слушал радио — война в Европе завершилась, но началось восстание в Италии, и Мате было жалко, что в любимом им Риме сейчас стреляют и убивают людей. Как ему захотелось сейчас туда! Но теперь, с окончанием войны, у него появлялись надежды вернуться в академические круги не тюремщиком, а достойным членом семьи. Ведь о том, что он командовал тюремным институтом, через год-два забудут, а о том, что он — отец атомной бомбы, человечество будет помнить вечно. И хоть трагедия Варшавы в какой-то мере остается на совести бомбы, ученый, как известно, не может нести ответственности за решения политиков. Иначе изобретатель пулемета должен был бы повеситься, узнав, сколько человек убито из его изобретения.

— Летят! — закричал диспетчер, выглянув из небольшого домика, что с позапрошлого года стоял на краю поля. Возле домика поднимались высокие антенны. Через год здесь будет большой аэродром, подумал Матя. И может быть, скоро наступит то благодатное время, когда мы придумаем, как использовать бомбу для мирной работы на благо людей.

Черная точка быстро превратилась в самолет. Самолет, не делая круга, зашел на посадку — это была небольшая транспортная машина. Разбрызгивая воду из-под железной сетки, самолет затормозил недалеко от Шавло, и Матя поспешил к Вревскому, который, не дожидаясь трапа, спрыгнул на металлическую сетку. Они обнялись. Они чувствовали друг к другу искреннюю симпатию и доверие.

— Я рад, что вы будете здесь.

Сзади раздался шум мотора. Они обернулись. По разбитой, грязной дороге, разбрызгивая воду, ехала «эмка» Алмазова.

Она въехала на сетку аэродрома и затормозила.

Дверца распахнулась, и никто не появился из машины.

Сидевший рядом с шофером охранник вылез наружу и с трудом выволок из машины Алмазова. Алмазов был в полной форме и в фуражке, надвинутой так низко на лоб, что открытыми оставались лишь синие щеки и распухшие, потрескавшиеся губы.

Алмазов пошел к Шавло и Вревскому, но через два шага его повело в сторону, и охраннику пришлось его поддерживать.

— По вашему вызову, товарищ комиссар второго ранга, явился.

Матя понял, что мысли больного Алмазова путаются и язык

не подчиняется ему, потому что он накачался водкой, чтобы заглушить болезнь.

— Я намерен узнать, получил ли товарищ Берия мой доклад о изменнической деятельности Матвея Шавло, убийцы и предателя родины? — спросил он.

Вревский обернулся к Мате, словно за советом. Матя подумал, что Берия вряд ли показывал письмо Алмазова кому бы то ни было, даже Вревскому.

— Товарищу Алмазову плохо, — сказал он.

— Я тоже так думаю, — сказал Вревский. — Ян Янович, я думаю, тебе лучше вернуться к себе и отдохнуть.

— Я не шучу, — настойчиво повторил Алмазов. — Этот человек — изменник Родины, и я передал письмо об этом наркомвнудел товарищу Берии.

— Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) товарищ Берия мне никаких указаний на этот счет не давал, — мягко, но со значением произнес Вревский.

— Как? — Алмазов пытался осознать эту новость.

Внимание Вревского привлек новый шум — он доносился с севера. Вот показалась одна черная точка, вторая, третья...

— Это что значит? — обернулся Вревский к Мате. — Кто должен прилететь?

— Ума не приложу.

Они смотрели вверх — самолеты приближались, и становилось понятно, что это не наши, чужие самолеты.

— Немцы? — тупо спросил Матя.

— Какие к черту немцы! — закричал Вревский. — В укрытие!

— Здесь нет укрытия!

— Тогда в машину — и подальше отсюда!

— Куда же?

До машины Шавло надо было еще дойти — он оставил ее за пределами поля, рядом была только машина Алмазова.

— А ну, быстро в машину! — приказал Вревский, стараясь оттолкнуть Алмазова.

Вревский залез внутрь.

— Скорей же! — кричал он.

Но Матя задержался, потрясенный зрелищем гигантских четырехмоторных машин, которые медленно подплывали к аэродрому.

Так же не спеша они опускались все ниже, и Матя увидел, как от них начали отделяться многочисленные черные точки — бомбы.

Следующая волна самолетов, надвигавшаяся на Испытлаг, шла ниже, и два самолета на глазах Мати пошли на посадку — именно на ту посадочную полосу, где он только что встретил Вревского. Мате казалось, что это сон, кошмар...

Вревский высунулся из машины и тянул Матю внутрь.

Тот уже подчинился, но пытался сквозь шум что-то объяснить Вревскому, и тут увидел, как Алмазов, который понял, что его бросают здесь, а сами спасаются — одна шайка! — вытащил наградной револьвер с серебряной пластинкой и начал всаживать в Матю пулю за пулей.

Мате стало очень больно, он осел в руках Вревского, а тот сразу понял, в чем дело, пригнулся, отпрянул, упав спиной на сиденье, и крикнул шоферу:

— Гони, мать твою!

Оставшиеся три пули Алмазов пустил вслед машине, но промахнулся.

Тогда он обернулся к самолетам. Первый из них уже тормозил на взлетной полосе, и не успел он остановиться, как из открывшихся люков стали выскакивать солдаты в неизвестной Алмазову форме и с незнакомыми автоматами в руках. Они бежали, рассыпаясь веером и поливая свинцом из автоматов летное поле, диспетчеров, охрану, и они убили Алмазова, который так и не понял, почему здесь чужие солдаты.

Алмазов лежал на железной сетке и видел перед смертью, как взрываются здания Полярного института и как поднимается черный дым над объектами Испытлага.

— Нельзя! — закричал он, вернее, ему показалось, что он закричал. — Вы с ума сошли!

Но бомбардировщики пошли на второй круг, чтобы надежнее уничтожить все, что можно было уничтожить.

Последнее, что увидел Алмазов, — удивленное лицо негра, самого настоящего, угнетенного американского негра, в руках у которого был автомат. Негр увидел, как по железной сетке ползет залитый кровью, уже почти совсем мертвый человек и смотрит на него, будто просит освободить от земных мучений. Негр испугался этого человека, пожалел его и добил, пустив ему в голову очередь из автомата.

Когда две волны бомбардировщиков проутюжили основные объекты Полярного института, десант, высаженный на аэродроме, достиг горящих корпусов института. Ограждение было уничтожено, те ученые и техники, что еще оставались там, разбегались, спасая жизнь, но, придя в себя после бомбежки, охрана

института открыла огонь по убегавшим зэкам и вольным, не давая им выбраться из здания, потому что охранники таким образом выполняли свой долг. Увидев эту сцену, американские десантники смогли беспрепятственно достичь периметра института, и командир особо отличившейся в том налете шестнадцатой роты морских пехотинцев Ронди Симпсон, сообразив, что же происходит в этом, насыщенном черным дымом, пылающем, орущем и стреляющем аду, приказал своим подчиненным уничтожать людей в зеленых мундирах и синих галифе, но не убивать штатских. Потому что люди в зеленом и есть полиция Советов, слуги Сталина, которые держат в жутких концлагерях миллионы своих граждан.

Так что когда чекисты, увлекшиеся охотой за физиками, опомнились, морские пехотинцы США уже расстреливали их самих.

Следом за морскими пехотинцами, разбежавшимися по территории Испытлага, чтобы взрывать другие объекты, в институт проникли одетые в форму морских пехотинцев, но не относившиеся к ним офицеры, которые пробегали по помещениям, вскрывали замки сейфов и даже вытаскивали бумаги из письменных столов. Когда крыша института — «обезьяннику», где так недавно гуляли физики, — рухнула, они уже бежали к самолетам, похожие на опаздывающих на поезд пассажиров, которые волокут слишком тяжелые чемоданы.

Ученые, спасшиеся от бомбежки и пуль охраны, далеко не убежали — что делать человеку в тундре? Некоторые, отойдя на сотню шагов, с радостью или с грустью глядели, как погибает их тюрьма. Для одних — только тюрьма, для других — время великих открытий. Иные же устремились к баракам, полагая, что там расстреливать не будут.

Неожиданно в толпе тех, кто глядел на пожар, возник странный человек в зеленом маскхалате и круглой каске, с которой никак не вязалась дореволюционная адвокатская бородка.

— Господа и товарищи! — громко закричал он, и его голос далеко разнесся над тундрой, перекрывая звуки выстрелов и взрывы. — Разрешите к вам обратиться профессору Мичиганского университета Майклу Крутилину, а для тех, кто кончал Петроградский политехнический в шестнадцатом году, — Мишке Крутилину. Неужели среди вас, сволочи, нет ни одного моего однокашника?

— Почему нет? — спокойно сказал сгорбленный и кособокий — на допросах чекисты перебили позвоночник, а он назло им выжил — бывший профессор Ирчи Османов, посаженный, как он

сам шутил, за то, что маленькому кумыкскому народу не положено иметь своих физических гениев. — Почему нет, Мишка? Только ты меня не узнаешь.

Крутилин сделал несколько шагов к уродливому старику в зэковском бушлате.

— Прости, — сказал он, дотрагиваясь извиняющимся жестом до рукава Османова, — прости, но они с тобой столько сделали...

— Что меня не узнает мама, — сказал Османов.

Вокруг молчали. Сдвигались ближе. Подходили со стороны, привлеченные любопытством. На людей сыпалась черная сажа, и порой от дома долетали искры.

— Ирчи! — закричал Крутилин. — Ирчишка, мать твою! Ирчи Османов! Ты чего стоишь! — Он кинулся обнимать грязного зэка, и Ирчи, стесняясь, отталкивал его и повторял:

— Да ты что, да зачем, Мишка!

— Ирчи! — Крутилин отстранился от однокашника и, подняв его руку, обернулся к толпе узников Испытлага. — Подтвердите этим людям, что я — настоящий физик, любимый ученик самого Иоффе, а не какой-нибудь чекист...

Завершение фразы было настолько вычурно-матерным, что знатоки, покачивая головами, оценили талант Крутилина.

— А зачем подтверждать, когда Абрам Федорович здесь, — сказал Ирчи.

— Как так здесь?

— В нашей шараге, — сказал Ирчи Османов, и вокруг послышался шум голосов, подтверждавших эту горькую истину.

— Так где же он? — закричал Мишка Крутилин.

— Он там остался, — сказал кто-то, показывая на пылающий институт.

А другой сказал:

— Я видел, как его вохровец застрелил.

— Тогда делаем так! — остановил разнобой голосов энергичным жестом Крутилин. — У нас с вами есть всего пятнадцать минут. Добровольцы — двадцать человек — осматривают людей, которых расстреливала охрана. Мы ищем, кто остался живой, кому можно оказать помощь... Стойте! Вы еще не выслушали второе. На аэродроме вашего... института стоят два бомбардировщика Б-26. Это большие хорошие машины. Любой ученый, который хочет продолжать работу по специальности или склонности в Америке, должен добраться до самолетов своим ходом — пешком. Вход свободный. Зарплата в долларах.

Пошли, Ирчи, вдруг Абрам Федорович где-нибудь только раненый.

Когда через час двадцать минут самолеты поднялись с аэродрома, среди морских пехотинцев сидело человек шесть физиков из шараги, остальные по разным причинам остались в тундре.

Миша Крутилин особенно расстраивался, что нет Ирчи Османова.

— А у меня даже тушенки с собой не было, — пытался он передать свое разочарование ротному Ронди Симпсону, а тот рассматривал шестерых понурых и мрачных физиков, решившихся сменить лагерь на капиталистический мир, и в конце концов заявил Майклу Крутилину, что русские, как правило, очень похожи на неандертальцев.

По знаменательному, но не очень приятному совпадению те полтора часа, что американские морские пехотинцы провели в Полярном институте, а бомбардировщики разделывались с заводами и хранилищами по соседству, Вревский и Шавло прятались в подвале кирхи давно уже взорванного Берлина.

Шавло громко стонал — он был убежден, что погибнет, потому что его раны смертельны, но, по заключению Вревского, одна пуля пронзила мякоть предплечья, а вторая — прошла между двух нижних ребер, даже не вызвав большого кровотечения, так как там были жировые ткани. От раны в предплечье было много крови, и Вревский, занеся Матю с помощью шофера в кирху, рубашкой шофера перебинтовал Мате руку. Но долго там отсиживаться им не пришлось — американцы появились и в Берлине. Только Вревский и шофер спустили Матю по лестнице в подвал, как в кирху вбежали несколько морских пехотинцев с кинооператором. Десантники сначала осыпали внутренность кирхи пулями, а потом кинооператор снимал. Вревский, Матя и шофер в это время лежали в ледяной вонючей воде подвала рядом с трупом Айно.

Им казалось, что прошло много времени, прежде чем американцы убрались в свою Америку. «Эмку», брошенную у входа в кирху, американцы всю изрешетили пулями, — к сожалению, ее колеса были спущены. Пришлось посылать шофера за помощью, и его чуть не подстрелили свои.

Матю в тот же день эвакуировали в Москву.

Вревский навещал его в кремлевке. Там же лежал и Абрам Федорович Иоффе, найденный под обломками одного из зданий неподалеку от Полярного института.

Советские газеты об инциденте в Арктике не писали.

Но более удивительно то, что информация, просочившаяся об этом налете в американские газеты, была невразумительной и казалась читателям очередной газетной «уткой».

Вревский передал академикам Шавло и Иоффе личные пожелания здоровья от товарища Берии. В СССР началась кампания реабилитации невинно осужденных, и из лагерей стали возвращаться диверсанты и изменники Родины, так как наряду с законно осужденными преступниками, как оказалось, пострадали многие невиновные товарищи.

Полярный институт решено было восстанавливать под Москвой. А на Севере, на Новой Земле, оставить лишь полигон, но уже без готических домиков. Из сотрудников института никого пока на волю не отпустили, но к некоторым, уже переведенным в Среднюю Россию, привезли семьи.

И уж разумеется, не отпустили на волю Матвея Шавло, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, академика и т. д.

Андрей Берестов в августе получил предложение вернуться в Советскую Россию в качестве британского разведчика со всеми послужными и пенсионными льготами, причитающимися по службе. Но он отказался.

Он тогда жил под Ноттингемом в загородной вилле разведшколы.

— Ситуация в вашей стране неясная, — уговаривал его полковник Квинсли, слишком похожий на Карла Фишера, благожелательный и ровный в общении. — Я не думаю, что Берия долго продержится. Он слишком круто повернул к ограниченной свободе. Но свобода не может быть ограниченной, как девушка не может быть наполовину девственной.

В этом месте своей речи Квинсли надолго засмеялся и вынужден был достать чистый платок, чтобы вытереть набежавшие от смеха слезы.

— Мы вас доставим домой, аккуратно, как плод манго. И наша пенсия куда больше, чем та, которую вы сможете добыть честным путем.

На этот раз полковник лишь улыбнулся.

— И все же я пока останусь здесь, — сказал Андрей. — Вы, может, подыщете мне какую-нибудь работу...

Ему не хотелось служить мистеру Квинсли, даже если это обещало скорую встречу с Лидой. Он надеялся вернуться туда

легально, хотя и не верил в приверженность Берии к ограниченным свободам.

Квинсли предложил подумать столько, сколько мистер Берестов сочтет нужным.

Андрея никто не ограничивал в передвижениях, — правда, в Лондон он не ездил, он получал деньги лишь на сигареты.

Наступила осень. Она была здесь особенно печальна, потому что аккуратна, подобранна и тиха, как чистая старушка из приюта. Андрей уходил далеко в поля, по узким дорожкам, между зелеными лужайками и оранжевыми купами лип и кленов.

На одной из прогулок его подстерег пан Теодор.

Он был одет, как и положено английскому средней руки джентльмену, скажем, школьному учителю. Но за сто ярдов было ясно, что этот человек, изображающий из себя школьного учителя, в жизни им не был.

Сначала Андрей обрадовался Теодору, а лишь потом удивился, что он тут делает: как будто в этих местах, кроме местных жителей, встречались лишь шпионы.

— Я, как всегда, наблюдаю, — сказал пан Теодор.

— А почему вы оказались здесь?

— Потому что искал тебя, Андрей.

— Вы знаете, где Лида? — И с этим вопросом, с возможностью такого везенья, все исчезло — и серый, окрашенный яркой листвой день, и невнятность собственного будущего.

— Я помогу тебе возвратиться к Лиде, — сказал Теодор, — она тебя ждет.

— Где?

— В Москве.

— Так просто?

— Разумеется.

— Как же я туда попаду?

— Согласишься на предложение полковника Квинсли.

— Вы и это знаете?

— Андрей, ты стареешь. Основным признаком старости, на мой взгляд, может считаться стремление человека выразить в двадцати словах мысль, для которой достаточно трех слов.

— Но я не хочу быть агентом Интеллидженс сервис. Это непорядочно по отношению к России.

— О лояльности мы еще побеседуем. Но сейчас я должен тебе сообщить, что твои обязательства перед полковником ровно ничего не значат. Как только ты возвратишься в Москву, ты возьмешь табакерку, которую я тебе дам, и сделаешь рывок на

несколько дней вперед. С поправкой на то, что последние годы ты прожил в чужом мире... в сухой ветви времени.

— Вы хотите сказать, что это тупиковая ветвь?

— Я не знаю. Этим займутся другие. Но это не основное русло истории Земли.

— Там, где Лида, лучше?

— Там пока хуже. Там живы и Сталин, и Гитлер.

— Вы с ума сошли! Это значит, что будет страшная война!

— Это не я сошел с ума. Но там тебя ждет Лидочка. И ей одной нелегко.

— Разве я хоть на мгновение отказывался?

Ежик перешел перед ними тропинку, и они остановились, пропуская его. Сухой лист был наколот на его иголки.

— Вот тебе адрес Лидочки. По крайней мере, это адрес, который она мне дала, когда я впервые ушел в эту ветвь времени. Давно. Семь лет назад. Я думаю, что англичане сделают для тебя хорошие документы.

— А когда я вас увижу?

— Наверное, скоро. Как только этот вариант мира начнет рассыпаться.

— Но почему же? Он лучше, чем тот, в котором Сталин и Гитлер остались живы.

Теодор протянул Андрею табакерку.

— Логика эволюции Вселенной выше понятий «хорошо» или «плохо», придуманных людьми. Если моей жизни не хватит для того, чтобы понять ее смысл, я завещаю эту загадку тебе.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая
КАК ЭТО БЫЛО
5

Часть вторая
КАК ЭТО МОГЛО БЫТЬ
249

Кир БУЛЫЧЕВ

СОЧИНЕНИЯ В ТРЕХ ТОМАХ

ТОМ 1

Редактор *В. Попова*

Художественный редактор *И. Марев*

Технический редактор *Т. Фатюхина*

Корректор *Е. Евсеева*

ЛР № 071673 от 01.06.98 г.
Подписано в печать 09.02.99 г.
Гарнитура Таймс. Формат $60\times90^{1}/_{16}$.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 34,0.
Уч.-изд. л. 32,88. Заказ № 162.

ТЕРРА—Книжный клуб.
113093, Москва, ул. Щипок, 2, а/я 27.

Отпечатано в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ISBN 5-300-02496-1

Scan Kreyder - 02.04.2019 - STERLITAMAK

ISBN 5-300-02496-1